2. 1973

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия»
Москва

ФЕВРАЛЬ 1973

№ 2

СОДЕРЖАНИЕ

Из болгарской прозы

ДОНЧО ЦОНЧЕВ — Четыре красотки в лесу. Тандырлили. Туннель Шедевр Ветка. Далеко и навсегда *(Рассказы. Перевод Ю. Шалыгина)* 3

ДИКО ФУЧЕДЖИЕВ — Дикая слива. Корни *(Рассказы. Перевод Л. Лихачевой)* 28

ЗБИГНЕВ ХЕРБЕРТ — Стихи *(Перевод с польского и вступление В. Британишского)* 38

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО ЛОПЕС — Последняя женщина и близкий бой *(Роман. Окончание. Перевод с испанского Юрия Павлова)* 48

Из современной японской поэзии

ХИРОСИ СЭКИНЭ — Заданный рисунок. Туман. Горящий дом. Солдат. Дерево РУМИКО КОРА — Первый снег. Луна. В нашей стране. Неведомый город *(Перевод и вступление А. Долина)* 84

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Шум и ярость *(Роман. Окончание. Перевод с английского О. Сороки)* 92

Критика

ЛАСЛО КАРДОШ — Мировая литература: понятие и проблемы 199

Причастный огню будущего

К 175-летию со дня рождения Генриха Гейне 204

ЕВГ. ВИТКОВСКИЙ — Поэзия Гейне в советских переводах. Е. КНИПОВИЧ — «Германия. Зимняя сказка» 206

Культура и современность

Заметки на полях

Н. Анастасьев — Движение жизни — движение искусства. Е. Амбарцумов — Ученье — тьма? 218

Обсуждая напечатанное

ВЛ. ГУСЕВ — Ирония и пафос Отеро Сильвы 228

Наши гости

М. ВАШКЕВИЧ — Новая встреча с «далеким другом» (Алан Маршалл — в «Иностранной литературе») 232

Публицистика

ДЭВИД ФРОСТ, ЭНТОНИ ДЖЕЙ — Англии — с любовью *(Перевод с английского и предисловие О. Орестова)* 235

Среди книг

Издано в СССР

Г. Богемский — «В краю, забытом богом и людьми...» Алла Киреева — Обретение сознания В. Левик — Элюар и об Элюаре 260

Издано за рубежом

О. Россиянов — Горение. Г. Анджапаридзе — Революция в США: фантазии и реальность. С. Ильинская — «История моих лет». Вик. Ерофеев — Первый роман Альбера Камю. 265

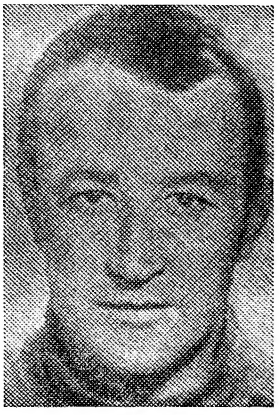
Из месяца в месяц 272

Авторы этого номера 287

На обложке. картина польского художника Ежи РАДВАНЕКА «Об обращениях». (К 500-летию со дня рождения Николая Коперника.)

На цветной вкладке: Сенегальские гобелены.

Из болгарской прозы



ДОНЧО ЦОНЧЕВ

Перевод Ю. ШАЛЫГИНА

Четыре красотки в лесу

Знаю, если я вам скажу: «Аландер, трудоваки [1], неожиданно из леса выпорхнут четыре девушки» — это может вас заинтересовать. Но, чтобы начать историю по порядку, надо обязательно пояснить, хотя бы вкратце, где же, собственно, мы были. Иначе не получится должного эффекта.

Короче говоря, были мы в Родопах [2]. Но не в тех Родопах, до которых легко добраться поездом или на машине, а в таком местечке, куда никак не подъедешь: давайте-ка на своих двоих — вглубь, к медведям и кабанам, по тропинке вдоль реки, потом, часа через два, придется полезть вверх, по высоченным каменистым обрывам, затем опять вниз, густым и темным лесом, и когда перевалите через последнюю гору (порядком крутую, но не очень высокую), тут уж идите широким и спокойным шагом, только не слишком медленным, по просторным ровным полянам и так вот к вечеру доберетесь до кошар, откуда — прямой путь к Аландеру. Здесь-то и располагается наш лагерь.

[1] Трудоваки — солдаты строительных войск в Болгарии.
[2] Родопы — горный массив на юго-востоке страны

Конечно, подробно объяснять, что означает слово «трудоваки», теперь особой нужды нет, единственное, что, по-моему, следует добавить — это чем мы занимались, когда из леса вдруг появились девушки.

А занимались мы тем, что булыжником мостили дорогу. Если это дело вам незнакомо, поясню: камень нужно угнездить основательно, по возможности на плоскость, но не так, чтобы он просто лежал,— острым краем обязательно наверх. Следующий — тем же порядком, вплотную к предыдущим, и чтобы как можно меньше дополнительных клинышков. Невелика премудрость. Точно так же укладывают и белые хлебы на решетку в любой пекарне — наверное, замечали. Разница лишь в том, что они помягче.

Еще одна подробность — к моменту, когда из лесу выпорхнули красотки, на ладонях у нас не осталось ни одной мозоли. Камень все их срезал, точно пилой. Между прочим, у землекопов тоже нет мозолей. На ладонях у них твердая, толстая, желтоватого оттенка — и совсем бесчувственная — кожа. Реджеп, например, на подушечке под безымянным пальцем пристроил иглу. Загнал ее туда, а боли — никакой. Боли, говорит, не больше, чем если бы в рукав ее воткнул. А когда Иван вырезал себе тросточку и ножом снял кору, то потом просто-напросто протянул ее через кулак. И тросточка вышла отполированная. Будто наждаком обработал.

Ну вот, теперь вы знаете, где наш лагерь на Аландере, разобрались в общих чертах, чем мы занимаемся,— теперь и девушки могут появиться. Последняя подробность: мы очень редко берем увольнительные (копим их на зиму, потому что на холоде долго не проработаешь), и живого человека тут месяцами не увидишь. Постороннего человека, хотел я сказать.

Итак, мостим мы дорогу. Рядом рокочет Аландер. Иван и Реджеп что-то напевают. Гудят себе под нос, посвистывают. Они здесь со вчерашнего дня — прежде работали в котловане, а теперь овладевают новым для них ремеслом. Время подбирается к пяти — еще немного, и на сегодня закончим. Если кто-нибудь когда-либо начнет вам заливать, будто мы в такие минуты от усталости валимся с ног, не вздумайте верить. Самые усталые мы утром, часам к восьми, когда день только-только начался и конца ему не видно. А сейчас — еще немного и работе конец! — мы бодры, словно молодые львы. Можете не сомневаться. Потому что впереди у нас свободные часы, долгий прекрасный вечер. Вечернее время каждый проводит как ему заблагорассудится наедине ли с самим собой или с теми, с кем ему хочется. Нынче вот, например, из леса появятся девушки — мы отведем их в лагерь, ненадолго оставим в библиотеке, пусть там подождут, пока мы побреемся, приведем себя в порядок, а потом уж — на танцы. У нас тут приличный клуб. Радио, телевизор, магнитофон. Уж мы себя покажем — пусть не думают, будто попали к каким-то недотепам. Что из того, что мы мостим дорогу? Что из того, что живем сейчас тут, где шумит Аландер?

Танцуем мы лихо, можете не сомневаться. Сегодня в обед, например, Реджеп перевернул вверх дном тачку (из тех, железных), взобрался на нее и, подпевая себе, показал, на что способен. В подобных случаях меня досада берет, что нет поблизости оператора телевидения: мог бы сделать шикарную передачу. А Иван так великолепно мяукает, что, когда он в настроении, белки сбегаются — рассядутся на ветках и слушают.

Одну из девушек я обязательно подцеплю. Уж будьте уверены. Сразу же, как только доставим их в лагерь и начнется веселье. Я все рассчитал, осечки не будет. Без лишней суеты, в начале вечера. И не

буду ее все время тянуть танцевать, как прочие, а сядем мы с ней скромненько и поведем беседу. Она, к примеру, спросит, как тут у нас дела,— все об этом расспрашивают.

«Работаем,— отвечу,— служба идет».

«Трудно?»

«Да уж не персики перебирать».

«Сколько месяцев осталось?»

«Кому? Мне?»

«Да».

«Еще пять».

«Уже к концу. А что потом будете делать?»

«После службы?»

«Да, когда уволитесь».

Вот тут я ее приглашу потанцевать. Это будет что-нибудь медленное — чтобы в обнимку,— а не из тех танцев, от которых пот ручьем. И пока мы, обнявшись, будем танцевать, я ей расскажу то, что знаю об одном инженере.

К нам здесь частенько наведывается один малый, с молотком на длинной ручке. Он — геолог на тех объектах, которые мы строим. Не знаю, известно ли вам, но такие вот лесные дороги сначала проектируют в министерстве лесов, а потом нам поручается их строить. Министерство располагает собственным геологом (о нем-то я вам сейчас и рассказываю), он определяет категории грунта, указывает места для каменных и других карьеров, следит, нет ли где оползней, а если есть, решает, что делать. Одним словом, приходится ему помотаться по объектам.

С этим геологом (ему сейчас лет тридцать пять) мы однажды выпивали в селе, и я долго его расспрашивал о разных разностях. В другой раз я с ним проехал до Пловдива (у него собственный «вартбург») и обратно в лагерь. А примерно с месяц назад гостил у него в Софии. В общем, близко его знаю.

Человек этот тоже служил в трудоваках, как мы сейчас. Служил он с капитаном Геровым, который прошлой зимой был здесь,— вкалывали на одном аэродроме возле Ямбола. Капитан Геров мне о нем рассказывал, да и у них в Софии я видел снимки. Мостили дорогу — точно так же, как и мы теперь. Прокладывали пути, строили взлетно-посадочные полосы, аэродромы. Потом он демобилизовался и принялся за учебу. Год, второй — на третий поступил в институт. Работал и учился, сидел на одной похлебке из требухи, но курс закончил и получил диплом инженера. Как я уже упоминал, хорошо его знаю — видел и в труде, и на отдыхе. Посмотрели бы вы, до чего он силен в работе! Целый день еле за ним поспеваешь, семь потов с тебя сойдет. Но когда он не спешит и в добром расположении духа, все расспрашивает об охоте и рыбной ловле, выпить тоже не дурак и в карты играет — словом, мужик что надо.

Пока мы будем танцевать, все так же обнявшись, я ей расскажу про геолога. Только не в третьем лице. А в первом — «я» и в будущем времени. И не для того, чтобы пыль в глаза пустить, а потому что всерьез об этом думаю. Мне просто приятно рассказывать про это — слушаю себя и все больше верю, что и у меня так все будет. Уточняю некоторые детали, готовлюсь психологически.

И тогда девушка (уверен, потому что так уже бывало) снова сядет со мной в уголке, потом мы будем танцевать еще — быстро и медленно,— и снова возвращаться в наш уголок, и рука ее все послушнее, все нежнее и доверчивее будет ложиться в мою ладонь, а потом мы выйдем из клуба — туда, где магнитофон почти не слышен, где глухо рокочет Аландер, и, хотя месяц еще не появился, яркие

звезды подмаргивают в темноте — уж они-то повидали на своем веку много разных людей и судеб,— и черные силуэты огромных деревьев застыли на поляне в величавом молчании; и там (знаю, это тоже бывало) ничего особенного не случится, только я прижму ее к себе и буду целовать, легко и нежно. А возможно, кое-что и случится, может, девушка сожмет мою руку и скажет, что хочет помогать мне на долгом жизненном пути,— так ведь случилось и с геологом. Мы с ним как-то мотались целый день по лесу, а потом спустились в горную деревушку, завернули в тамошнюю корчму немного передохнуть, и он мне подробно рассказал о своей жизни — о том, как одна девушка ему помогала.

До пяти осталось всего несколько минут. Иван начинает мяукать. Реджеп переворачивает тачку и с диким воплем вскакивает на нее. Девушкам пора бы появиться из лесу, а то мы закончим и потянемся к лагерю — одни, как и вчера. С натруженными, в сплошных мозолях руками. Или даже с разбитыми до крови пальцами — камень пощады не знает. Со своими мыслями и мечтами.

Что там говорить, мы не ракетчики и не пограничники. Мы только строим. Мостим дороги, пробиваем туннели, подрываем скалы, дробим их. Заводы строим, мосты, водохранилища, аэродромы — много чего. В нашем лагере на Аландере — перед бараками, из подбеленного известью щебня — выложены слова:

«Строим для Болгарии!»

Не знаю, что еще можно к этому добавить. Порой я думаю, что ракеты могут и не понадобиться. (И дай-то бог!) В другой раз приходит на ум, что никто уже не испытывает горячего желания нарушать наши границы. (И правильно делает!) В таком случае выходит, что ракетчики и пограничники (при всем к ним моем уважении) просто ждут, стоят на страже и готовятся к чему-то, что случается далеко не каждый день. А мы каждый день строим. Весной и осенью, зимой и летом. Иногда (бывает) и по воскресеньям.

Каждый божий день что-то воздвигается нашими грубыми руками для маленькой, милой Болгарии.

Да, чуть не забыл, пока не появятся четыре девушки, сообщить вам еще одну вещь: совсем недавно я опять встретил того человека, с молотком на длинной ручке. Здесь, у нас встретил: на своем «вартбурге» он карабкался в гору, и в машине с ним были его жена и крошечный мальчуган — ну, чистые куколки.

— Здрасьтеее! — кричу.— Эх, будет ли когда-нибудь конец, будет ли?..

Он остановил машину, улыбнулся и говорит мне:

— Будет, друг, будет. Рано или поздно на этом свете всему приходит конец. Даже самому сладкому.

А я ему:

— Пять месяцев еще, а потом — вперед и выше. Душу ты мне разбередил!

Смеется инженер:

— Не бойся, друг. На этом свете страшного для нас нет. Знаешь ведь: не у всякой матери рождается трудовак.

И двинулся на машине дальше. Иван мяукнул разок на его жену — я готов был треснуть Ивана по башке лопатой. Не позволю задевать жену моего друга, не допущу, чтобы хоть один волосок упал с его головы. Силы мне придал этот человек — что еще я могу к этому добавить?

Пять часов ровно. Иван отчаянно мяучит. Реджеп извивается на тачке, будто он сплошь из резины. Кое-кто сиреной воет в сложен-

ные возле рта ладони, другие подхватывают куски ржавого железа и колотят по ним камнями.

И на сегодня — конец. Мы отправляемся в лагерь. Четыре красотки и нынче не пришли.

Друг, а видел ты когда-нибудь, чтобы четыре девушки разом вдруг появились из леса?

Не видел, конечно. И я не видел. Хотя каждый день их жду. Похоже, эти девушки вертятся где-то в другом месте, и нам с тобой нужно их там поискать. Думаю, что точно знаю, где именно. Вот погоди, пройдут пять месяцев. А потом мы снова начнем эту длинную, но завлекательную беседу о пути инженера. И не бойся — страшного для нас нет. И я, и ты уже ударились пяткой о дно — того быть не может, чтобы мы не выплыли. Пусть подумают об этом те, кто не познал кирки и лопаты. У кого нет таких рук, как у нас.

Кто даже не слышал, что не у всякой матери рождается трудовак.

Тан-дырлили

Шесть часов утра. Погода чудесная, солнце приподымается на цыпочки, чтобы скорее увидеть Родопы. Заходим в подразделение, берем четверых трудовачков и направляемся с ними к объекту.

Я сказал «трудовачков», но они оказались этакими ражими парнягами — и ростом выше, и здоровее меня. Особенно один — черный скуластый весельчак. Едва мы сели в машину, он запел:

— Тан-дырлили, тан-дырлили!

Поет человек и прихлопывает руками по вещмешку, улыбается и подмигивает, вертит головой и подпрыгивает на скамейке — не удержать его на одном месте.

Спрашиваю:

— Тебя как звать?

Он прерывает песню, медленно отвечает:

— Смаил.

— Будешь работать со мной. Остальных распределит начальник.

— Заметано, бате [1]. Тан-дырлили? Тан-дырлили!

Мы вылезаем из грузовика, взваливаем на плечи жалоны, колья, треноги, теодолиты — и прямиком к вчерашней, последней точке. Этим своим «тандырлили, тандырлили» Смаил развеселил всю группу.

Начинаем работать. Я установил жалон, оставил возле него Смаила и двинулся вперед. Отыскал нужную точку и с тридцати метров кричу напарнику:

— Смаил, передвинь жалон чуть влево!

Тот ни с места.

— Жалон подвинь, Смаи-ил! Этот пестрый кол — подай его немного влево!

Стоит Смаил, ухватился за жалон — ну, словно окаменел.

— Смаи-ил! Э-э-эй!

Никакого ответа. Что он там, думаю, онемел или паралич его хватил? Возвращаюсь посмотреть, в чем дело. Подхожу и вижу — держится мой Смаил за жалон и спит. Веки опущены наполовину, под ними узкие полоски глаз. Рот открыт — короткое «хррт!» вырывается из горла.

[1] Бáте — почтительное обращение к старшему родственнику.

Хлопаю парня по плечу. Он вздрогнул, с трудом разлепил веки. С удивлением глядит на меня.

— Что случилось, Смаил?

— Ничего, бате.

— Как это «ничего»! Я ведь кричал, чтобы ты подвинул жалон влево.

— Не слышал, бате. Ты уж прости.

— Ладно. Стой пока тут, я снова отойду и тогда крикну.

— Заметано, бате.

Отхожу к своему жалону и реву, насколько хватает сил:

— Давай на две пяди влево и чуть приподыми!

Ни тебе влево, ни вверх. Думаю: не слишком ли я реванул — парень небось обмер с перепугу. Ну-ка, назад к нему.

Парень спит. Левый глаз полностью закрыт, правый — снова до половины. Набираю в грудь побольше воздуха и ору во всю мочь:

— Гоп!!!

Голова Смаила качнулась назад, веки поднимаются, он кротко глядит мне прямо в глаза.

— Слушай, парень, ты где?

— Здесь, бате. Жду, когда скажешь: «Влево».

— Признайся-ка, что ты делал ночью?

Смаил широко улыбается, зубы у него белые, один к одному, словно жемчужное ожерелье.

— Как чего делал, бате? Известно, что по ночам делают!

Вызываю к себе другого трудовака, оставляю возле жалона, а Смаила беру с собой. Теперь даю ему держать наклономер. По первой моей команде тот парень переместил жалон, забил его, куда приказано, и спрашивает:

— Теперь что, товарищ инженер?

— Возьми еще два жалона и давай ко мне.

Пришел он с жалонами, установили мы их дальше, в лесу — работа продолжается. Смаила я от себя не отпускаю, разговариваю с ним, чтобы не заснул.

— Ты хорошо знаешь по-цыгански?

— Как не знать, бате. Я и по-французски знаю.

— Как ты сказал?

— Французски, французски, разве не слышал? Французски язык. Мерси, оре-вуар...

— Ага. Доводилось слышать. А где же это ты учил французский?

— Не я, сестра моя. Сестра вкалывала в школе. Три года подряд, бате! От нее я выучил французски, там, в школе они проходят.

— Она что закончила?

— Кто?

— Твоя сестра.

— Закончила три года в школе, бате. От первого класса до третьего. Потом ее украл один цыган. Лудильщик, большой пройдоха. Женился на ней, а потом ее другой украл.

— Ага. А писать по-цыгански ты можешь?

— А?

— Писать. Писать!

— Тц.

— Слушай, Смаил, можешь ты писать по-цыгански?

— Не знаю, бате. Наверно, могу, почему нет? Если по-французски, по-болгарски можно...

— Французский, болгарский — это ведь языки, на них конечно можно. А цыганский — что это за язык!

— Очень хороший язык, бате. Все понятно!

— Ладно, хватит загибать. Есть десяток-другой слов — «шарах-марах» и все такое. Вот вы их и повторяете.

Смаил расплылся в улыбке:

— «Шарах-марах» нет, бате. Для всего есть свое слово.

— Врешь ты, Смаил...

— Для тебя — вранье, для меня — правда, бате.

— Ну, хорошо. Тогда скажи мне: «самолет».

— А?

— Самолет, самолет! Как по-цыгански будет «самолет».

Смаил уставился на меня, мигает, мигает, потом вдруг глаза его округляются:

— Айропланге лес!

— Слушай,— говорю,— держи-ка жалон и становись сюда. Я тебе покажу айропланге лес!

На время я его оставил — надо было сделать прокладку, потом вычислить угол. Расчеты особого труда не составляли, отняли минут пять-шесть. Когда я уже убирал блокнот в карман, сзади послышалось: «хрр». Оглянулся — Смаил спал. Все так же стоя, ухватившись за жалон,— веки опять приспущены наполовину.

— Гоп!!!

— Здесь я, бате, здесь.

— Хоть ты и здесь, а получается, что тебя нет! Ты хоть считать-то умеешь?

— А?

— Считать, говорю, считать!

— Умею, бате, сестра меня учила. Шесть на семь тринадцать — так ведь?

Второй трудовак рассмеялся, я тоже не мог удержаться. Солнце уже поднялось довольно высоко, роса высохла. Я объявил десятиминутный перерыв, угостил всех сигаретами, и мы присели на полянке. Стоило мне только сказать «перерыв», сонный Смаил встрепенулся, совершенно осмысленно взглянул на меня, в нем словно бы сработала какая-то пружина. Он тотчас выпустил жалон, сломал веточку и, похлопывая ею по штанине, весело и живо запел:

— Тандырлили, тандырлили!..

Ступал он теперь легко и проворно, будто кошка, глаза у него засверкали, руки и ноги подрагивали в ритм песни.

— Ложись немедля и вздремни,— говорю ему.— Пока перерыв, успеешь поспать.

Он вытянул вперед левую руку, ладонью к земле, поставил на пальцы сигарету, которую я ему дал. Хлопнул по кисти правой рукой, сигарета взлетела высоко в воздух и, проделав сальто, оказалась у него во рту.

— Тебе бы факиром быть, Смаил.

— Я не факир, бате. Вот есть у меня дружок, на него бы ты посмотрел!

— Давай-ка ложись и спи, нам еще придется попотеть.

— Так меня сейчас тянет на песню, бате! — пожал плечами Смаил.— Как раз пока перерыв!

— Ладно, пой, коли поется. Но уж потом чтоб не спать!

— Не буду, бате. Я тебя не подведу. Не сомневайся!

Второй трудовак улыбнулся Смаилу, а мне говорит:

— Вообще-то он неплохой парень. Если уж возьмется, вкалывает за троих.

— Чего же он сегодня такой сонный?

— А кто его знает... У всякого свои слабости... Когда как случится...

— Смаил! — говорю.— Скажи, как по-цыгански будет «иначе».

Тандырлили немедля ответил:

— Инакво, бате! Инакво!

— Ясно,— говорю.— Вот и я начал учиться по-цыгански. Коли уж ты знаешь французский, почему бы мне не знать цыганский язык? Скажи теперь какую-нибудь цыганскую поговорку.

Смаил присел к нам, выпустил колечко дыма и проговорил:

— Парни́ грасни́ друм мангела, шока́р бури́ кар мангёла!

Я повторил поговорку, спросил, что она означает. Смаил перевел:

— Белая кобыла дорогу ищет, и красивая молодица того же ищет!

— Чего?

— Мужа, бате, мужа! — Смаил снова обнажил в улыбке белые зубы.— Так ведь и должно быть...

Достаю из кармана блокнот, записываю, смеясь, народную мудрость и говорю, что признаю теперь цыганский язык. Конечно, записываю и «айропланге́лес».

— Бате, ты знаешь ли сказку про маленького цыганенка?

— Нет, расскажи.

— Цыганенок играет на поляне, отец его возвращается домой. Цыганенок кричит: «Татееей! Еси маро?» Есть хлеб? Цыган, старый хрыч, отвечает: «Нанай, нанай». Нет, нет! Только он врет — хлеб он спрятал под фуфайкой. Цыганенок ревет, бате, вопит на поляне. Жаль его стало старому цыгану, задрал он фуфайку, хлопнул по буханке, говорит: «Еси, еси!» Есть, есть хлеб! «Мама твоя цыганка, только про хлеб и спрашиваешь!» Тут сорванец, бате, как увидел хлеб под фуфайкой, перестал реветь, радуется — мама его цыганка,— лупит обеими руками по брюху, как по барабану. И начинает петь вот эту песню, бате: «Та-ан-дыр-лили, та-ан-дыр-лили!»

Смаил затягивает любимую песню, мы тем временем докуриваем сигареты, перерыв закончился.

— Ну-ка,— говорю,— разбирайте жалоны! За дело! До обеда мы должны добраться вон до той вершины.

Второй трудовак встает, а Смаил, резко оборвав песню, уныло глядит на меня. Рот его так и остается открытым, нижняя челюсть отвисла.

Я кричу как можно резче:

— Встать!

Смаил откидывается на траву, глядит на меня, потом тяжело, с трудом поднимается.

— Ты бы полегче, бате,— тихо, умоляюще говорит он.— До смерти так можешь напугать.

Дал я ему жалон, но только принялся объяснять, что предстоит сделать, вижу — веки у него сами собой опускаются.

До самого обеда таскал я его за собой, будто торбу. Все это время мы разговаривали, я учил цыганские слова. А когда подошла пора обедать и мы расположились на живописной полянке, «тандырлили» целый час оглашало окрестности.

После обеда я оставил его спать, работали мы вдвоем с другим трудоваком. Смаил, раскинувшись на травке, дремал четыре часа на солнцепеке, но стоило нам закончить и мы двинулись обратно, грузовик ходуном заходил от его буйного пения.

Когда трудоваки вернулись к себе в подразделение, я рассказал своим коллегам эту историю. А они — каждый в отдельности — стали просить уступить им Смаила на завтра.

Так вот Смаил каждый день менял начальника, пока не стал все-

общим любимцем. Разумеется, он целыми днями спал — стоя, сидя, лежа, с жалоном в руке или без него,— но только подойдет время отдыха, все тянулись к нему.

...Много мы проложили лесных дорог — мои приятели из министерства и я. На Балканском хребте, в Странджe, Ограждене. Места все были дикие и невероятно красивые, а названия объектов — как на подбор звучные. Но когда я сейчас пытаюсь их все припомнить, убеждаюсь, что многие забыл. То же самое рассказывал мне про себя и мой друг, геолог Митака, и другие дорожники.

Однако есть одна лесная дорога в Родопах, за которой закрепилось название «Тандырлили». Уж Смаила-то все помнят.

В сущности — если разобраться — этот Смаил сам ничего не сделал. Буквально былинки не перенес с места на место.

А вот поди ж ты — оказалось, что он навечно приворожил наши сердца.

Туннель

Привет!

Я тут ненадолго остался один и вспомнил про вас. Такое у меня сейчас настроение, что разговаривать с кем-нибудь из тех, кто поблизости, не хочется, а молчать — тоже кисло. Приглашаю составить мне компанию, покуда придет экселенц Георгиев. Словечко это — экселенц — слышал я от одной моей знакомой, у которой родственные связи в дипломатических кругах. Вообще-то я до конца не разобрался, что именно оно означает. Сдается мне, смахивает оно на «экселанс» — от того французского «парэкселанс», которое вроде бы значит «отлично», «превосходно» и что-то еще в том же духе. Или, как сказала бы бабушка Дона, оно походит на «аслъ», что в разговоре заменяет слова «в самом деле», «конечно».

Ну, а пока мы его ждем, расскажу вам историю про один туннель. Время от времени до меня доходят слухи, что я все еще могу рассчитывать на заочную дружбу с вами. Пусть так и будет, хотя бы до того момента, пока вам это не надоест или пока мне кто-нибудь не внушит, будто я гений, и тогда вы беспрепятственно сможете злословить по моему адресу. Много чего тогда всплывет, не правда ли? Получится что-то вроде старой любви, за которой последовал брак, скудно обеспеченный деньгами. Не дай бог, но сейчас, как бы там ни было, тешу себя надеждой, что время шумных перебранок еще не подошло, а потому позволяю себе занимать вас разными историями. Нынче, например, историей про туннель. Замечу предварительно, что я построил много туннелей. Не то чтобы самолично их построил, а спроектировал. В сущности, это делали проектировщики, но зато я подписывался снизу на проекте, там, где значится: «старший геолог». Тоже работа. Мне даже ночью часто мерещится, будто рухнул какой-нибудь туннель или дала трещину плотина водохранилища, и тогда, проснувшись в холодном поту, я долго хлопаю в темноте глазами. Вижу свою канцелярию на улице Димо Хаджидимова, тридцать один, напротив скверика, ясно представляю свой рабочий стол, а в его среднем ящике — папку, в которой есть графа «старший геолог», и в этой графе, в закорючках моей подписи — высочайший приговор. Страшновато, верно ведь? Ничего не поделаешь. Каждому свое — кто для чего себя готовит.

Впрочем, я заболтался и все никак не приступлю к истории с туннелем. Вот она:

Прокладывали по нашему проекту дорогу, и в одном месте предусматривался туннель. Место такое, что никак иначе трассу не проложишь. Ну, а утес, через который требовалось пробить туннель, оказался расколотым. На две половины, огромной трещиной в скалах. Я, понятное дело, с самого начала не соглашался подписывать проект. Однако некоторые крупные начальники из министерства настаивали, чтобы дорога была именно там.

— *Должна* быть! — заявили, как отрезали.

— Ну, коли должна,— говорю,— делайте. Только без меня. Не могу подписать из-за этого расколотого утеса.

— Поезжай, тщательно разберись на месте...

— Да ведь был я там, разбирался. Пядь за пядью...

— Ничего, поезжай снова. На этот раз должно получиться!

Ладно, отправился снова. В десятый раз все там облазил. С тем же результатом.

— Какой же ты геолог, с одним утесом не можешь справиться!..

— Такой же,— отвечаю,— как и другие геологи. Ничуть не хуже тех, из фильмов: пью, курю, молчу, режусь в карты дни и ночи напролет да еще браконьерствую. Только бороды вот нет и в конце не оказываюсь американским шпионом.

— А молодайки?

Секунду-две я обалдело гляжу на них, потом спрашиваю:

— Какие молодайки? Грибы молоканки или...

Шефы просто полегли со смеху, а я воспользовался суматохой и отфутболил их, куда замыслил с самого начала.

— Товарищ такой-то,— говорю я самому важному из шефов,— шутки шутками, однако я понимаю важность объекта. Случай, сами видите, сложный, особенный. Почему бы вам не привлечь какого-нибудь старого специалиста? Даже троих-четверых специалистов пригласите, чтобы все до конца стало ясно.

Так вот и вывернулся. Ну, а вскоре появляются старые спецы, отдуваясь и охая, бродят вокруг утеса и в конце предлагают систему бетонных инъекций для укрепления трещины. Между тем дорога уже «в процессе исполнения», как пишем мы в протоколах, рокочут бульдозеры, гремят взрывы, и трудоваки наступают по всему фронту.

— Сколько стоит вся эта укрепительная система? — запрашивают из министерства.

— Грубо говоря, около миллиона левов,— отвечают спецы.

— Даже так?! Утес вы, пожалуй, укрепите, да бюджет наш трещину даст, дорогие товарищи...

— Меньше нельзя. Место такое. Ваш геолог совершенно прав был, когда вас предупреждал.

На том и порешили. Спецы работают над проектом укрепительной системы. Министерство озабоченно похлопывает себя по карману. И мне больше нечего было бы вам рассказывать, не появись на сцене пресловутый «Аслъ» Георгиев.

В министерстве кто-то кому-то сказал, что есть-де некий Георгиев, которого непременно надо разыскать, если хотят, чтобы с дорогой все уладилось быстро, дешево и просто. Означенный Георгиев окончил-де два факультета — он и горный инженер и строитель,— да к тому же разработал особую суперсистему для объектов, которые *должны* быть сооружены. (Вроде как я, например, разработал свою суперсистему для бриджа: обычно я играю по способу Эли Колбертсона, но коли игра пошла на деньги, обращаюсь к собственной систе-

ме — легким подмигиваниям и еще сотне отрепетированных уловок). Оказывается, этот самый Георгиев — обладатель нескольких золотых медалей, а кроме того, служил прежде в строительных войсках и знает дело как никто другой. Говорили еще, будто в Сирии он построил нечто особенное и после там ему четыре гарема давали. В общем, много чего о нем рассказывали. Одним словом, отыскали его, и неделю назад он отправился поглядеть на треснувший утес. А вчера послали туда и меня — убедиться собственными глазами, как все получилось.

И знаете, как получилось?

Экселенц Г. два-три раза облазил утес и приказал со всех сторон наделать в нем дырок. Сверху, снизу и по бокам. Самолично начертил, где именно, и трудоваки, собрав на базе все перфораторы, навалились в четыре смены. Шестьсот зарядов по тридцать семь кило взрывчатки — не разобрал, сколько там с точностью до грамма, но что-то в этом роде. На седьмой день после обеда запалили фитили и отбежали на два километра. Вы уж небось представили себе картину: наверняка видели или хотя бы слышали более слабые взрывы. Теперь не было нужды в туннеле, поскольку не было самого утеса. Кстати, миновала нужда и в укрепительной системе спецов, которая обошлась бы в миллион (мягко говоря) и была бы готова ко второму кварталу будущего года.

И вот сейчас, присев на ствол поваленного бука, я мирно покуриваю и оглядываю перекроенный пейзаж. Река внизу озадачена — куда ж ей теперь податься? Набухшая, она уперлась в неожиданную запруду, то здесь, то там ощупывает ее. Ничего, отыщет путь. Она ведь сквозь горы пробилась. Весь склон побелел от пыли и осколков камней, торчат корни деревьев. Кто-то обеспечит себя топливом, кто-то построит дом — материала хватит. Лесхоз получит еще тысчонку кубов сверх плана, а тамошний главный инженер Пеню Мамарчев в конечном счете схлопочет взыскание. Но это детали. Вон там, где была полянка, стоял барак. Теперь его нет, как нет и полянки. И деревянного мостика тоже — представляю, как его прогнившие балки взлетели в воздух, словно зубочистки.

Гляжу на изменившийся пейзаж и спрашиваю себя, каким же он в сущности окажется, этот тип, который преподал такой урок и мне, и спецам, и вообще всем. Конечно, злюсь на него, хотя и великолепно все проделано. И тщетно пытаюсь представить, как он выглядит. Интересно, как он будет держаться со мной? Поскольку спецы по укрепительной системе умерили свой пыл, я теперь снова геолог объекта, дела опять зависят от меня. Если захочу, можно будет изрядно помотать экселенца Георгиева с количеством истраченной взрывчатки. Средство простое — категории скал. Эти категории определяю я (решительно и безапелляционно, как судья в футболе), а для каждой категории существует точная норма тротиловых единиц. Думаю, вы ухватили мою мысль. А если захочу, экселенца оставят в покое, тем более что проделано все так идеально и быстро. Но пока-то я не знаю, каким окажется этот чудак. Может, это мрачный нелюдим, может — надутый, будто пузырь. И какое у него имя? Лично для меня «Георгиев» никогда ничего не говорило. В мире полным-полно Георгиевых, Ивановых, Стефановых, Петровых, Василевых — повсюду их можно лопатой загребать. А вот, к примеру, если хоть однажды услышишь *Пеню Мамарчев, Родион Пискюльбашиев* или что-нибудь подобное, это запомнится на всю жизнь. Из Георгиевых я лично знаю одного скрипача — вместе ездили на состязания в Югославию. Необычайно интересные состязания на обычных автомашинах, возможно, вы о них слышали краем уха. Другой Георгиев, Борис,— мой приятель-боксер.

Мы зовем его «Мока», может, и про него вам доводилось слышать. Еще один Георгиев некоторое время увивался за моей женой. Потом попал на мотоцикле в катастрофу и через несколько дней умер в больнице. Был у меня и одноклассник — Валентином Георгиевым его звали. Валентин Иванов Георгиев, родом из Трыстеника, предпоследняя парта возле окна. Сорвиголова, каких мало. Встанет на кафедру, ухватит тебя зубами за воротник и поднимет в воздух. Висишь, будто котенок, и дрыгаешь ногами. А собой-то он невзрачный, ничего особенного, я же считался силачом и однажды решил повторить его номер. Ухватил за куртку Ивана Веселинова (он хотел выучиться в Софии на ветеринара, но потом что-то у него пошло наперекосяк и стал он художником), попробовал поднять его зубами — чуть себе жилы на шее не порвал. Впоследствии этот самый Валентин Иванов Георгиев стал жертвой нашей учительницы русского языка. Она еще в первый день ему сказала, что он «славный мальчик», а затем вкатила двойку и на классном собрании обрушилась на него. В общем, «ликвидировала его как такового», после чего затащила к себе на квартиру, и там что-то у них произошло. Так, во всяком случае, говорили. После этой истории с Валентином еще что-то стряслось, точно не знаю, но помню, как мы его исключали из комсомола, а учителя будто только этого и ждали — тотчас выставили из школы. Нам сказали, что он морально разложившийся тип, потом ему приписали буржуазное происхождение (кто-то из его дядьев до Девятого сентября несколько месяцев владел киоском) и вообще так расписали парня, что для него больше «не было места в наших рядах!» Не знаю, что с ним стало. Вроде бы мотался по стройкам, даже пробовал учиться в вечерней школе, после, по слухам, взяли его в трудоваки, и с тех пор (вот уже пятнадцать лет) я его не видел. Однажды только — я был уже на третьем курсе — мелькнул он в толпе. Продавали вареную кукурузу на углу улиц Графа Игнатьева и Евлоги Георгиева (вот вам, кстати, еще один Георгиев). На мосту перед стадионом. Я замешкался с этой кукурузой и не окликнул его. Показался он мне каким-то необычным и *старым*. Я как раз направлялся на матч с одной мадамой — той, о которой уже упоминал, что у нее родственные связи в дипломатических кругах. В общем — поскольку мы с вами беседуем сейчас о туннелях,— мы тогда этого Валентина словно бы затолкали в темный туннель, из которого неизвестно как и выбираться. Если вообще можно выбраться. У девушки моей было мягкое сердце, да к тому же она оказалась еще и умной — вечером, когда я рассказал ей про Валентина, она расплакалась, и ничего у нас из-за этого не получилось. Но хватит об этом, очень уж мы отвлеклись. Внизу майоры собираются вокруг строительной знаменитости и не спеша движутся сюда. Обхаживают его, словно невесту. Честно говоря, не представляю, что сейчас произойдет. Герой объекта наверняка будет так надменен со мной, что майоры умрут от удовольствия. Они давно тайно мечтают увидеть меня униженным, поскольку от моей милости во многом зависят их дела — и все непростые,— и, конечно, им опостылело мне кланяться. Не знаю, замечали вы или нет, но человек редко полностью сохраняет свое достоинство перед тем. от кого зависят его дела. Особенно, если они непростые.

Мысль моя работает напряженно, я подыскиваю самую серьезную и самую непроницаемую маску, сосредоточенно гляжу себе под ноги. Там две букашки живут спокойной жизнью — не торопясь внимательно изучают друг друга. Вытягивают лапки, принюхиваются и беседуют по-своему. Что получится из этого взаимного изучения? Может — война, может — союз. А может — любовь и третья букашка. Впрочем, нет у меня для них времени, хоть это и занимательно,— голоса майоров уже в пяти-шести шагах. Благодаря в душе надвигающиеся сумер-

ки, я пытаюсь найти в себе что-то такое, на что могу крепко опереться, и поднимаюсь со ствола бука.

— Здоро́во!..

Валентин протягивает мне костистую руку. Немного запыхавшись, он обнажает в улыбке зубы, которые столько раз впивались в воротник моей ученической куртки, а я повисал перед кафедрой и, счастливый, дрыгал ногами под бурные аплодисменты всего класса.

Майоры снова малость обманулись в своих ожиданиях. На меня они глядят с повышенным интересом — оказывается, я приятель Георгиева!

В сущности, тут мы могли бы и закончить, потому что с этого момента начинаются совсем другие истории. Я их, правда, вечером все перезабыл в корчме, но зато нашел там великолепный роман: жизнь Валентина за эти пятнадцать лет. Жаль, что побаиваюсь его написать,— настолько богат он мыслями, перипетиями, и особенно хорош его счастливый мужественный конец. Но если в будущем я все-таки решусь, в одном из эпизодов будет сказано примерно следующее:

«И впоследствии тот день, когда я высоко поднял руку, поскольку их подняли и другие, и мы «вышвырнули Валентина Иванова Георгиева из наших рядов!» — потом этот день, в справедливость которого я тогда, кажется, верил, станет самым тяжким и позорным мигом в моей короткой и во всем остальном чудесной, неповторимой юности».

Мы уже условились, что я заканчиваю, но тем не менее хочу еще добавить, хотя и с риском стать надоедливым:

Если заметите, что человека запихивают в туннель, не спешите с легким сердцем осуждать его. Не вычеркивайте его из списка тех, кто в данный момент остается под теплым и терпеливым солнцем. Может, в один из дней он все-таки выберется оттуда, больше нас влюбленный в свет. Может, окажется целеустремленным и сильным, словно поезд, и нас ошеломит мощный звук его гудка. И поразит буйная черная грива дыма из трубы и облака белого пара возле колес.

И поезд этот могучим громом огласит долину, в которой мы сами — всего лишь беспомощно-временные обитатели, а вот дела наши — они безжалостно вечны.

Шедевр

Ехал солдат с женой в поезде. До их станции было далеко, а свободных мест ни в одном купе не оказалось.

— Пошли в вагон-ресторан,— сказал он ей.— Там хоть сможем присесть.

Жена двинулась вслед за ним. Она старалась незаметно проскользнуть в коридорной толчее, но вагоны трясло, и ее то и дело прижимало к кому-нибудь. Одни моментально улавливали прикосновение ее груди и старались продлить этот миг с нарочитой рассеянностью. Другие кивали в ответ на ее смущенное, со смешком «извините» и отодвигались в почтительной незаинтересованности. Третьи просто таращились ей вслед, и взгляды их долго провожали ее. Когда молодая женщина вступала в гремящий, просвистываемый ветром переход между вагонами, она со страхом поглядывала на бешено вращавшееся колесо и размазанную белую линию рельса и крепко ухватывалась за черные железные поручни. Думая обо всем этом, солдат шел впереди. Он не оборачивался, отворял двери или дотрагивался до чьего-

нибудь плеча, прося подвинуться. А когда они добрались до вагона-ресторана, предложил ей место напротив себя. Молодая женщина села к окошку, сложила руки на скатерти и сказала:

— Ну, это совсем другое дело. Но ведь нас, наверно, заставят что-нибудь заказать?

— Обед на двоих,— ответил солдат.— Причем из ими же указанных блюд.

Она взглянула на него, мило и немного глуповато, потом радостно улыбнулась и повернулась к окошку. Там проплывали зеленые поля, приземистые, поникшие от тяжести плодов деревья; тонкие нити проводов разрезали на мягкие полосы далекие, прикрытые облаками холмы. У женщины стало легко на душе, и она вдруг подумала, что все в их жизни складывается хорошо, одно к одному. Он ведь говорил ей: «Мы поженимся, у нас пойдут дети. Будем любить друг друга и будем разумны. Я стану писателем, не смейся, и напишу книгу — литературный шедевр, понимаешь?». Они поженились, у них есть малышка — она сейчас ждет их на далекой станции. Они любили друг друга и были разумны — уж в себе-то она уверена. Он в самом деле писал очень серьезно — некоторые из его вещей ей нравились. И сейчас она спросила себя: не счастливы ли мы и без этого литературного шедевра, мысль о котором так сильно его мучает?

— Ну, как дела с «Состязанием»?

— С каким состязанием?

— С твоей книгой. Романом. Ведь таким будет его название?

— Глупости,— тихо проговорил он, стремительно обегая глазами соседние столики.— Вовсе не таким, и нечего об этом кричать во весь голос.

— А как он будет называться?

— Не знаю. Сейчас мне ни о чем не хочется говорить.

Быстрым движением она коснулась его руки.

— Нынче ночью ты спал всего полтора часа, а за остальное время выкурил четырнадцать сигарет.

— Ну, пять-шесть.

— Именно четырнадцать, я считала, сколько раз щелкнула твоя зажигалка.

Поезд влетел на мост, и в то время, как справа с гулом мелькали серые железные балки, слева склонился официант. Солдат заказал два кофе, в одну чашку — побольше сахару.

— Послушай,— сказал он жене, когда они снова остались одни,— это вовсе уж глупая солидарность с твоей стороны. Ты-то чего не спала?

— Обычно я сплю очень хорошо, но нынче не могла. Перед поездкой мне не спится.

— Тогда бы подала знак, что не спишь. Я и так ничего не сделал.

— А я нарочно.— Нос ее сморщился в улыбке.

Принесли кофе. Он дымился и подрагивал в фарфоровых чашках, походивших на два круглых черных глаза на длинном белом лице скатерти. Солдат достал из стойки у окна бутылку пива и положил между ними — вот и нос; жена не уловила сути композиции, тогда он поставил бутылку на место и повернулся к окну.

Зрелые, желтые и белые, нивы мирно прилегли по обе стороны узкого проселка. Пестрая полоска маков и васильков бежала по обочине вместе с поездом. Земля походила на полную сил русоволосую девушку — солдату захотелось медленно пойти по этой мягкой дороге, глубоко вдыхая чистый воздух, прислушиваясь к шелесту колосьев, тихому шепоту густых нив, а когда устанешь до изнеможения,

прилечь где-нибудь в леске, вовсе уж опьянев от его прохладного аромата,— руки раскинуты, рот широко открыт.

— Вот этот сладкий,— сказала жена, переставляя чашки,— пей, пока горячий.

Она всегда подавала такие советы. А он и сам отлично знал, что кофе надо пить, пока он горячий; и колосья должны быть скошены до того, как зерно начнет осыпаться на землю; и некий писатель должен стремиться к своему шедевру, покуда молод и полон сил. Он отхлебнул кофе и закурил сигарету. Подумал, имея в виду жену: «Если жизнь — горьковатый кофе, то ты — понюшка табаку к нему. Пил бы без удовольствия эту жизнь, если бы не ощущал рядом твой сладкий нежный дымок». Фраза показалась ему неплохой, но он не спешил принять ее окончательно — ему доводилось прежде не раз ошибаться, поскольку такого рода вещи очень редко можно оценить сразу. Граница между уродливым и прекрасным часто невидима. В это время вагон-ресторан вдруг наполнился — появилась шумливая ватага футболистов, сопровождаемых еще более шумными болельщиками.

— Ты в самом деле думаешь тут обедать? — тихо спросила она.

— Да,— сказал солдат.— А что, тебе не нравится меню?

Она посмотрела на него долгим взглядом, пожала плечами и улыбнулась. Молодая женщина знала, что денег у них лишь на билеты — туда и обратно. Семейный бюджет составлен точно, едва смогли выкроить двадцать «лишних» стотинок, чтобы купить шоколадку для малышки. Вчера вечером она чуть не расплакалась, повторяя непрерывно: «Когда же наконец я куплю ей что-нибудь большое и красивое? Когда?!»

— О, меню мне очень нравится,— сказала она,— но тебя я что-то не совсем понимаю.

Обронив быстрое, не ожидающее ответа и почти ироническое «Можно, не так ли?», трое толстяков уселись за их стол. Один из них, лысый, шумно отдувался, а другие вытащили огромные носовые платки и принялись вытирать потные лбы. С этого момента продолжать разговор о финансовых проблемах молодой семьи не представлялось возможным, и будущий автор литературного шедевра снова уставился в окно. Допивая кофе, он подумал, что человек за свою жизнь так же проходит мимо самого себя, как поезд — мимо этого летящего за окном пейзажа: то, что ближе всего, тотчас исчезает — размазанное и неясное; то, что несколько поодаль, видно уже лучше и перемещается медленней, а на заднем плане высится почти неподвижный, неизменный холм детских воспоминаний — милый, влекущий к себе и недостижимый, как всякий горизонт. Он поставил чашку на блюдце с изображенным на нем синим крылышком, сделал рукой заклинающее движение в воздухе и подмигнул жене. Относительно ценности фразы «человек за свою жизнь проходит мимо самого себя...» не было никаких сомнений — он достал из кармана карандаш и записал ее на сигаретной коробке. Может, однажды точно так же возникнет замысел шедевра: внезапно и категорично, как затаившаяся в глубинах лава. Неужели это сбудется? Возможно ли на самом деле столь большое счастье? Верит ли он в него? Так ли уж незначительно достигнутое до сих пор, что его все еще приходится стыдиться? Не нужно ли отдаться этому до конца, победить в себе все остальное, чтобы создать шедевр?

Его мысли прервал один из официантов, который подошел к столику, чтобы принять заказ на пять обедов. Вскоре другой принес блестящие металлические тарелки с супом — горячим и, судя по всему, вкусным. Лысый что-то сказал первому официанту, тот молча убрал три порции и вместо них принес три рюмки ракии и три салата. Толстяки чокнулись:

— Будем здоровы! За победу! — При этом они бегло взглянули на молодое семейство.

Уже принявшись за суп, солдат записал на коробке из-под сигарет: «беглое полупризнание собственной вины». Он усмехнулся и снова подмигнул жене. Она взяла его чашку с остатками кофе, пригляделась к черной кашице на дне. Проговорила, подняв брови:

— Очень скоро тебе предстоит встреча с одной очень славной маленькой девочкой.

— Ага,— сказал солдат.— И с ее дедом. И с бабушкой тоже. Верно?

— Совершенно верно, здесь в самом деле есть дедушка и бабушка, вот, можешь посмотреть сам. Серьезно! А девочка русенькая, с большим белым бантом на голове. О, вот и она!

— Знаю,— сказал солдат.— И с самыми красивыми в мире глазками. Ладно тебе, не увлекайся.

Их соседи завели шумный разговор о каком-то матче. Один из них убеждал остальных (хотя они были полностью с ним согласны), что иному и ногой так по мячу не ударить, как Гоце бьет головой. Слушать его было забавно, потому что он говорил не «голова», а «гылва», не «ракия», а «ракийц», но жена солдата воспользовалась суматохой и быстро проговорила:

— Обратные билеты очень вкусные!

— Не волнуйся,— ответил он,— ведь у девочки есть бабушка и дед.

— Мы с тобой совершенные нахалы. Всегда приезжаем к твоим как нищие.

— Пусть тебя это не волнует. Человек, покуда жив, все берет у своего отца. Потом ему возвращает.

— Когда «потом»?

Отпускник засмеялся.

— Эх, придет все-таки день, когда ты уволишься и возьмешься за работу,— сказала жена и замолкла.

Только что поданная жареная телятина помогала, с одной стороны, тайному семейному диалогу, а с другой (по чисто биологическим причинам), поднимала их настроение. Жена нащупала под столом ногу мужа и в знак особой нежности с силой наступила на нее. Он заглянул в меню и, щелкнув официанту пальцами, почти прокричал:

— Два коньяка, пожалуйста!

Когда две тонкостенные рюмки с прозрачной коричневатой жидкостью грациозно ступили на белую скатерть, ритмично, приятно позвякивая друг о друга — «трака-трак, трака-трак»,— будущий автор литературного шедевра почувствовал себя почти победителем в схватке с тремя толстяками. Плешивого «Гылву» и его приятелей по матчу и застолью необходимо было каким-либо способом одолеть. Во всяком случае, не допустить, чтобы они взяли верх. Они его раздражали своим смелым и спокойным расточительством и беззаботным разговором, уже самим фактом, что отправились в поездку ради какого-то матча. Раздражали его и эти третьеразрядные футбольные «Гоце», потому что ему доводилось видеть таких и он точно знал, как они играют: посредственно и лениво, глупо, не технично, с редкими и случайными всплесками по-настоящему спортивного состязания. Но зато им не приходится жаловаться на жизнь. Обед в вагоне-ресторане для них не проблема. Зарплата на каком-нибудь заводе — тоже, хотя они и понятия не имеют, что именно там «производят». Ко всему прочему были у них и постоянные ценители, облаченные в модерные костюмы из терилена. Его вдруг смутила мысль, что в этом мире посредственности живется очень легко. Даже больше: ежедневные досадные прома-

хи в игре этих мелкотравчатых «Гоце» наказываются бурной, но быстро забываемой бранью, а доведись случайно поскользнуться большому, настоящему футболисту — тотчас спортивные колонки заполнят сотни тысяч гневных ругательств и неумолимо подробных, пространных статей. Чем выше, тем лучше, но тем и хуже — он записал это на коробке из-под сигарет, а потом добавил: «Выше голову!»

Солдат воспрянул духом, потянулся к своей рюмке. Тут он обнаружил, что не сможет чокнуться с женой, поскольку она попросила официанта заменить ее коньяк большой плиткой шоколада — из тех, где корова на обертке. Толстяки тоже завершили свою неторопливую трапезу и заказали две длинногорлые бутылки вина. «Даже вздумай вы шампанское заказать,— подумал солдат,— этим меня уже не проймешь».

И вот наконец молодая женщина проговорила:

— Ты готов? Подъезжаем.

Он расплатился, и они торопливо поднялись. На маленькой станции поезд оставил только их двоих да еще сухонькую старушку с громоздким синим узлом. Отпускник чувствовал себя настолько счастливым, что даже оставшиеся в кармане желтые стотинки казались ему богатством. Он ощущал себя сильным и молодым. В том возрасте, когда одинаково легко засесть за литературный шедевр или извилистой тропкой отвести жену в укромную ложбинку.

От станции до села было около километра — по дороге между созревшими хлебами. Была тут и тропка, сбегавшая в прохладную, заросшую бузиной и дикими сливами глухую ложбинку. Он нежно взял жену под локоток и повел ее этой тропкой. Но она, сделав несколько шагов, вывернулась и побежала.

— Погоди, я хочу сказать тебе что-то очень важное! — крикнул солдат.

— Знаю, что именно! — прокричала она.— После!

Она продолжала бежать, размахивая сумочкой. В ней была заботливо спрятана плитка шоколада.

— Слушай, погоди! Мне пришло на ум что-то страшно важное!

Она звонко рассмеялась и припустила еще сильнее, к селу, к маленьким домам, чьи красные крыши проступали между тополями и сливами. Белая дорога мягко стлалась ей под ноги, своим быстрым бегом она вызывала легкий ветерок, который побуждал кланяться придорожные колосья.

Внезапная перемена в ее поведении разозлила его, но возникшую было мысль кинуться вслед он тут же оставил — почему, и сам не мог бы объяснить. Солдат сорвал тяжелый колос, растер его в ладонях. В небе слышалась трель жаворонка, а рядом — шелест колосьев. Он поглядел на крупные вышелушенные зерна, перекинул их два-три раза с ладони на ладонь, чтобы провеять, и, запрокинув голову, высыпал в рот.

И уже без ощущения, что делает великие открытия — лишь стыдясь в душе,— солдат понял, что не имеет никакого права сердиться на жену. Он понял — ничто на свете не могло бы сейчас остановить эту бегущую по дороге женщину. У нее был вид человека, который позабыв обо всем ином, устремился к лучшему своему творению, к шедевру своей жизни.

В самом деле, она спешила скорее увидеть этот свой шедевр — живой, с белым бантом на голове. И солдат с какой-то даже сладкой гордостью подумал: когда видишь такую женщину, хотя бы это и была твоя собственная жена, не пытайся ее остановить...

Ветка

Глубоко-глубоко в ущелье, меж отвесных каменных громад, в чаще диких, непроходимых зарослей жил огромный старый вепрь.

Лес издавна помнил его, и он знал эти места много лет. В округе водились и другие дикие свиньи, самцы и самки, матерые и хилые, но все они рождались и умирали как-то безлико, не оставляя по себе воспоминаний. Большая часть малышей болела и очень рано переселялась на вечные тихие пастбища праотцев. Самочки быстро (на второй год) становились мамашами, и тонкий скулеж многочисленной голодной оравы принуждал их вечно скитаться, а вечное скитанье медленно, но неизбежно подрывало их авторитет. В любовный период самцы с помутившимися глазами бились друг с другом, но поскольку победители всегда выходили из боя с не меньшим количеством ран, чем побежденные, большинство из них либо становилось калеками, либо их в конце концов прогоняли.

И только старый вепрь оставался верен этим местам. И никогда ни в чем не отступил от своих привычек — не было в лесу силы, способной хоть что-нибудь изменить в них. Это удалось бы только смерти, но он и ее не страшился, потому что родился, чтобы жить, а не загадывать, что там будет после.

Конечно, его долгая жизнь в этом лесу полна была кровавых схваток, опасностей, трудных моментов, однако он выдюжил — подобно неподвластному бурям Караташу, огромной черной глыбе на вершине, что испокон веку пристроилась там, взирая на жизнь живых в гранитном своем превосходстве.

Случались на веку нашего вепря жестокие зимы, стужей сковывали они все вокруг, насыпали повсюду глубокие сугробы. Другие свиньи не выдерживали, в одну из ночей вытягивались они отчаявшимся, голодным, молчаливым караваном вслед за наиболее храбрым из кабанов — вниз, в долину, где зима все же помягче, где на полях удастся сыскать оставшиеся с осени картофельные клубни.

Лишь вепрь оставался в огромной белой мертвой пустыне и сам, в одиночку, вел тихую, страшную битву с голодом.

Его здоровенным клыкам с трудом удавалось отколоть куски заледеневшей земли. Тяжелое тело увязало в сугробах, лавины обрушивались на него. За несколько корешков папоротника порой приходилось воевать всю долгую ночь, а случалось прихватывать и следующий день.

Однажды на него напали волки. Он уловил их вой еще предыдущей ночью — замерев, долго вслушивался в темноту, потом все же утоптал себе лежбище и не пожелал его оставить.

Он знал, что нынче ночью они придут. Еще на расстоянии почуял их. Небо было ясным, звезды на нем, казалось, окаменели.

Стая охватила свою жертву широким кругом и понемногу начала его сужать. При мысли о большом, теплом теле вепря волки совсем осатанели. Одни из них тонко, плачуще повизгивали, другие глухо клацали зубами.

Всю свою жизнь вепрь только оборонялся. Но в этот раз, когда между деревьями наконец замаячил длинный силуэт волчицы, ему захотелось напасть первым. То было желание подавить лавиной нарастающий страх — пусть скорее сбудется, чему суждено быть.

И все же он не напал. Не пожелал изменить самому себе. Кроме того, сообразил, что, стоит ему отделиться от скалы, они бросятся со всех сторон.

Волки тоже разобрались в ситуации и постепенно один за другим стали подтягиваться к волчице.

Тогда — в закоченевшей тишине ужасной ночи — из горла тощей, длинной волчицы вырвался короткий вой и она метнулась к вепрю.

Он ждал ее. Решился на все. Но она даже не коснулась его, припала к земле шагах в двух левее. Тело вепря инстинктивно дернулось в ее сторону, и в тот же миг справа два матерых волка повисли у него на шее.

Вепрь еще не осознал хитрость маневра, когда и другие волки метнулись к нему, словно подброшенные пружиной. Он почувствовал, как их зубы и когти глубоко впились в его твердую кожу. Их рычанье леденило ему кровь.

Стая очень быстро оторвала его от скалы — теперь он почуял боль и сзади, в паху.

Он сообразил, что нет больше времени на всякие хитрости и уловки,— бешено завизжал и принялся наносить удары во все стороны, его страшные клыки крушили все, что только могли ухватить.

В нос ему ударил густой запах крови. Тело его горело от острой боли. Глухой дол гудел от ужасного рева. Трещали деревья, камни, кости...

В какой-то миг вепрь понял, что здесь он наверняка и умрет, но вместо того чтобы отказаться от неравной борьбы, с еще большим ожесточением ринулся вперед. Теперь он сам гнал волков. Их наскоки вроде бы ослабели, стали разрозненными. Один из волков растянулся на снегу, второй принялся рвать его труп, третий сцепился со вторым; волчица покатилась по склону — с оторванной передней лапой, переломанными ребрами.

Боль и потеря крови сокращали силы вепря, но десятикратно возросла его ярость — он таранил, рвал, распарывал своими чудовищными клыками, покуда постепенно все не утихло.

Оставшись один в тишине страшной ночи, старый вепрь едва дотащился до скалы и свалился там в полном изнеможении.

Целую неделю он не мог двинуться с места. Питался мертвечиной вокруг и лизал кровавые пятна на снегу...

На смену зимам приходили весны и лета — старый вепрь снова становился нежным папашей (он не бился с соперниками, поскольку для него соперников давно не было), мягчел душой среди многочисленного потомства, длинным своим рылом упоенно перепахивал теплую землю в лесу.

Все шло хорошо, покуда признанный царь этой девственной округи не повстречал поистине равного себе противника. Это случилось на тропке, по которой он еще сызмальства привык добираться до широкой части оврага, где можно всласть поваляться в грязи.

Место, где произошла встреча,— крайне узкое. По одну сторону — отвесная скала, по другую — крутой обрыв. А напротив вепря замер огромный бурый медведище...

Он не мог отодвинуться в сторону (просто некуда было) и, похоже, не имел намерения вернуться назад.

Еще в меньшей степени этого можно было бы ждать от вепря.

Они долго стояли, уставившись друг на друга...

Медведь перебрался сюда недавно, и для него подобный поступок не имел бы особого значения. Но он хорошо понимал собственную силу (еще ни разу ему не случалось отступать), а потому не собирался и теперь показывать спину.

Старый вепрь провел в здешнем лесу всю свою жизнь, и для него было бы катастрофой, реши он сейчас уступить.

Каждый из них выжидал, что отступит другой. Но ни один не пода-

вал и малейшего к тому знака. Они уж и глядеть друг на друга перестали, прикинувшись, будто их занимают какие-то мелочи вокруг.

По одну сторону от тропинки возвышалась скала, крутая, как их характеры. По другую зияла бездна — страшная и невозможная, как унижение для сильного. Сверху огромным оком уставилось на них небо с его безучастной синевой.

Вепрь (он же все-таки здесь хозяин!) в конце концов взъярился, предупреждающе хрюкнул, опустил рыло до самой земли и — во имя спасения собственного достоинства — устремил вперед свое гранитное тело.

Медведь поднялся на задние лапы (огромный и страшный!), тревожно взревел и, подскочив, ухватился за нависавшую над тропинкой ветку.

Вепрь промчался под медведем. В тот момент он даже не успел оценить случившееся.

Лишь потом, уже приближаясь к излюбленной луже, он сообразил, что вроде бы дело обернулось для него победой. Вместе с тем косолапый проявил подобающее силачам благоразумие. Впрочем, вепря недолго занимало это, а спустя несколько дней, на том же месте и в то же самое время, сцена повторилась вновь. Они опять встретились.

«Не изменяй себе, будь тверд»,— взывала кровь вепря, и он, поддавшись ее призыву, снова устремился вперед.

«Уважай достоинство других, будь благоразумным» — медведь подчинился этому закону леса и снова повис на ветке.

Удовлетворенные тем, что они не сцепились из-за пустяка, не поддались суетным мелочам, каждый спокойно отправился восвояси, весьма довольный самим собой. И поскольку медведи не любят менять места водопоя, а кабаны не отказываются от грязевых ванн, эта сцена повторялась снова и снова, стала для них чем-то вроде ритуала. Каждый знал свою роль и охотно играл ее. Таким образом, распорядок в старом диком лесу остался неизменным. Конечно, косолапый пришелец явно решил тут обосноваться. Но вепрь этому не препятствовал. Обширный лес всегда давал приют животным. Кроме того, он неизмеримо более вечен, чем они,— ему ли не быть гостеприимным. И, возможно, больше не случилось бы ничего особенного, если бы однажды (тишина утра, нарушенная стуком топора) не появился человек.

С ружьем в руках он обошел здешние лощины, стрельнул несколько раз и исчез. На первый взгляд, ничего не изменилось. Лишь на тропинке, застывшая в нелепой позе, осталась сова — ей хотелось разглядеть вершину дерева, откуда она свалилась после выстрела и откуда мир представлялся совсем иным, но не могла, потому что мухи еще задолго до заката выпили у нее глаза.

Спустя несколько дней человек появился вновь — на этот раз он привел с собой еще двоих. Один из них, одетый по-городскому, был невероятно говорлив и все никак не хотел во что-то поверить.

Когда они прибыли в третий раз, горожанин тащил с собой пилу. Он спустился в лощину, по тропке добрался до ветки, за которую цеплялся медведь при встречах с вепрем. Пришелец вскарабкался на дерево и подпилил эту ветку — лишь бы чуть-чуть держалась. Затем он вернулся к своим спутникам, и все они куда-то скрылись.

В урочный час первым на месте встречи появился медведь. Он замер на тропке в ожидании. В иные разы случалось, что вепрь поджидал его, поскольку оба знали, как разминуться, не доводя дела до фатального спора.

Вскоре с другой стороны показался вепрь. Теперь он и не думал налетать, как вначале. Косолапый сам подпрыгнул (в его движениях было даже что-то игривое) и ухватился за ветку.

Она, конечно, тут же подломилась, и тяжелое тело благоразумного животного обрушилось на ошеломленного вепря.

Схватка между ними была неожиданной, но неизбежной и последней. Оба сразу это поняли. В первый миг вепрь оказался повергнутым, но тут же вскочил, резким ударом отшвырнул к скале подлого агрессора. Обманутый и разъяренный, медведь навалился на вепря, стреб его в свои чудовищные объятия. Тот напряг все силы, вырвался и одним движением распорол противнику брюхо.

От ужасного рева содрогнулся лес. Медведь впился когтями в спину вепря, выдирая из нее куски. Сплетенные не на жизнь, а на смерть, противники свалились с обрыва — камнем рухнули вниз.

Оттуда — в треске ветвей и грохоте сорванных с места камней — донесся предсмертный рев медведя и клокочущее, с кровью, хрипение вепря, пока постепенно все не затихло.

Один из сражавшихся явно был побежден, а возле него, наверно, подыхал и победитель.

Люди выбрались из укрытия и поспешили к месту схватки. Горожанин подоспел первым, с удивительной для него ловкостью спустился на дно лощины к двойной добыче.

Вдруг оттуда раздались его отчаянные вопли. Любой ценой он хотел вернуться наверх, но камни и пучки травы, за которые он цеплялся, не выдерживали его тяжести. Все же ему, вконец осипшему от страха, удалось-таки выбраться на тропку. Он кинулся по ней прочь, но уже на втором шагу споткнулся и упал. Раскинув руки, он застыл в немой неподвижности.

На тропинку выскочил вепрь...

Весь в крови, истерзанный и обезумевший, он прижал к земле тяжелое рыло, собирая последние силы. Он жаждал — о, к этому стремился он каждой клеточкой своего тела, ради всей своей достойной жизни! — во что бы то ни стало добраться до распростертого на тропке перед ним создания, принесшего ему вражду с медведем.

Он уже ринулся вперед, оставалось несколько прыжков, когда тупой удар отдался у него в мозгу. Пуля вонзилась ему под лопатку, глаза забило пылью.

И все же старый вепрь рвался вперед, бежал изо всех сил, бежал, только земля не давала ему сделать ни шагу. Она словно бы приклеила его к себе, быстро набивала глаза кровавым прахом.

Последнее, что удалось ему увидеть в этом мире и навсегда унести на тихие пастбища праотцев, было лицо человека. Ощерившееся, будто пила, в усмешке, оно с опаской наклонялось над ним, все больше и больше закрывая собой небо.

Далеко и навсегда

Далеко от людей, домов и селений, за густым ивняком по берегам Осыма [1], вплоть до лесистого хребта Пустия раскинулось урочище Узунбас — древние, обширные болота в низинах между отрогами. Нигде ни одного участка, пригодного под ниву, только болота. Единственные гости этого дикого края — стада, пастухи да охотники. А до чего же красивы эти места! Глаз не оторвать от спокойной водной глади, в которую опрокинулось небо. Чистое наслаждение — побывать

[1] Осым — река в центральной части Болгарии, приток Дуная.

там, вдохнуть тамошний воздух. Заглядеться на узкую полоску неба — глубокую, с белыми облаками, синюю. Кажущуюся бескрайней за отражением старых вязов — потрескавшихся, черных и строгих. И на их ветви, увитые диким виноградом, и на буйные заросли высоченного тростника.

■

Вода здесь мелкая и теплая. Гнездо укрыто выше, среди травы на большой кочке. Нырять возле нее — одно удовольствие, и дикая утка только этим и занималась. Размеренно, не торопясь, загребала она клювом мягкую тину, потом тщательно процеживала ее. Так, хотя и не всякий раз, в клюве оставалась какая-нибудь улитка или даже червячок, которых ловко подхватывал ее быстрый язык. Порой попадались семена, вкусные травяные стебли, разные утопшие козявки.

Таким вот образом — медленно плавая вдоль промоины — дикая утка и добывала себе на пропитание. Чтобы существовать, оставаться живой — высиживать птенцов и уберегаться от врагов своих. Всё здесь, только здесь, всегда — с того времени, как появилась на белый свет. Потому что многие ее сестры — и другая родня — обычно покидали эти места. Быстрые, словно ветер, крылья в один из дней уносили их высоко в небо — далеко и навсегда. Разумеется, утиные стаи потом снова наведывались сюда (чаще всего весной и осенью); сделав несколько кругов в воздухе, они тяжело падали в воду, и вскоре густые болотные заросли оглашало многоголосое «кря-я-я, кря-я-я, кря, кря!..»

Это был настоящий праздник — особенно в апреле, когда она встречала своего селезня. Ах, как радостно было ей — похудевшей и ослабевшей от голода в здешних камышах — любоваться блестящим оперением у него на шее, зеленой его головкой и этим огненным атласным хвостом, которым он так маняще подергивал. Он медленно плавал неподалеку, со всех сторон демонстрируя свой свадебный наряд, и время от времени тихонько окликал ее. Потом, после любви — она продолжалась целую неделю,— утка приводила старое гнездо в порядок, снова выстилала его прутьями, мхом, перьями. Увлеченная хлопотами, она даже не замечала, как другие улетают.

Яйца в гнезде были для нее самой милой компанией. Она нежно укрывала их своим телом, лежала дни и ночи напролет без малейшего движения. Со стороны могло показаться — умерла на них. Прошелестит ли поблизости листок, задетый пичугой или тронутый ветром,— только круглый глаз ее шевельнется тревожно.

Конечно, изредка ей приходилось подняться, чтобы поесть. Не наесться как следует, а наскоро перехватить, чтобы только не помереть с голодухи. И хотя отлучки длились самое большее минут десять, она, прежде чем уйти, обязательно прикрывала мхом каждое яйцо.

Наконец появлялись утята. Сначала совсем крошечные и смешные. Ни к чему не способные и глупые. Никто, кроме нее, не знал, что нужно сделать, чтобы утята могли уцелеть. А если бы даже и знал, едва ли смог бы сделать. Лишь она могла — их мать. И каждый год повторялось это, а потом смешные утятки вырастали, голые тельца их покрывались оперением, и в один из дней они улетали — высоко в небо, далеко и навсегда.

Птица не знала, что надо, чтобы их удержать. Кроме того, не знала она, а надо ли вообще их удерживать. Однажды получилось так, что один из них остался с ней. У него было сломано крыло. Они жили вместе, и все было хорошо, но однажды утром утенок не вернулся в гнездо Старая утка разглядела в грязи лисьи следы (она и сама не раз убегала от этой лисицы) и теперь точно знала, что случилось. Вот тог-

да-то — еще более одинокая, чем когда-либо,— старая утка впервые подумала, что после того, как вырастут, ее утята должны улетать. Пусть отправляются на большие озера и за моря и там, вместе с другими родичами, живут, как им на роду написано.

Год от году все более хитрая и опытная, прошедшая через множество опасностей за долгую жизнь на болоте, дикая мать все ревностней исполняла свой долг, с удовольствием растила малышей.

Особенно волновалась она сейчас, в конце лета, выхаживая свой второй в нынешнем году выводок. Весной хорек разорил гнездо, выпил все яйца, но не успела еще улечься горечь утраты, как в небе появилась стая. Сделав круг, стая опустилась на болото, и один пестрый, крупный селезень горячо ее полюбил. Хотя было это в июле, вскоре она снова вывела птенцов, и вот — они уже плавают вокруг.

Кому бы объяснить, до чего же радостно это — плавать среди своих малышей, все показывать им, ухаживать за ними... За каждым надо проследить, по сто раз ему повторить. Приласкать, а то и взбучку дать. И все равно нет уверенности, усвоил ли он урок, справится ли сам. Сплошь да рядом уроки были шумные и веселые — вода просто кипела от свалки.

Вот и нынче — жарким летним днем — обучение велось буйно. Утята смешно суетились, лезли куда не надо, пытались взлететь, ныряли.

Счастливая тем, что они так быстро растут, мамаша — один глаз у нее на вечном дежурстве, зорко присматривается к окружающему — окликала их тихо, предупреждающе. Тогда они замирали на миг, подчиняясь врожденному голосу страха, но — маленькие и глупые — тут же отвлекались. И снова вода и прибрежные заросли ходуном ходили от их шумной, жизнерадостной возни.

■

Собака держалась шагах в тридцати впереди — она бегала из стороны в сторону, замирала, принюхивалась, нервно шарила в траве.

Охотник шел медленно — внимательно приглядывался к зарослям тростника.

Он знал: здесь всегда водятся утки. И сейчас был готов к тому, что они вот-вот взмоют в воздух. Ружье заранее заряжено для такого случая. Он следил за собакой, ухватывал любую подробность. В любой момент ожидал услышать хлопанье крыльев.

В любой момент, в любой. Он был опытен и ловок, ружье — наизготовку, легкого движения травы ему достаточно. И вот тут-то все и случилось.

В десятке шагов от него густая болотная трава вдруг зашевелилась, и семь-восемь утят прыснули в разные стороны. Он было вскинул ружье, но в тот же миг собака ринулась за ними, не давая возможности выстрелить. Впрочем, охотник уже понял, что стрелять нет нужды. Утята явно позднего выводка, еще не умеют летать, так что собака сама переловит их до единого. А вообще-то они чудесные — достаточно крупные и упитанные.

Собака, конечно, этим и занялась — скользнула в траве за одним из утят и уже почти настигла его, когда что-то камнем плюхнулось в двух шагах от нее.

Брызги так и полетели — от неожиданности собака даже отскочила.

В следующий миг и она, и охотник увидели дикую утку, которая с близкого расстояния тоже глядела на них. Полными ужаса круглыми глазами — то на собаку, то на человека, то вслед несчастному утенку.

В первый момент безумие дикой мамаши действительно оправдало себя — утенок успел скрыться в тростнике. Но затем произошло нечто, ею не предвиденное: собака не бросилась к ней. Она снова устремилась за малышом.

Тогда утка захлопала крыльями, взлетела всего на метр и опять упала перед собакой.

Та с досадой глянула на нее, но от прежнего намерения не отказалась.

Охотник, опустив ружье, наблюдал со своего места. Утка вновь свалилась в двух шагах от собаки, бешено забила крыльями, начала громко крякать и дергаться, словно в агонии.

Наконец-то собака кинулась к ней. Но из-под самого собачьего носа утка взмыла вверх, чтобы через секунду снова свалиться — все так же в двух шагах от преследовательницы.

Собака опять рванулась вперед, утка опять взлетела и упала — эта смертельная игра продолжалась долго.

Гнездо осталось далеко позади. Мать уводила от него собаку. Той никак не удавалось схватить утку, это все больше злило собаку, и вскоре охотник слышал их уже где-то метрах в трехстах от себя.

Потом все утихло. Он не знал, что и подумать, когда опытная собака вернулась, быстро обнаружила малышей в траве и с новой злобой бросилась к ним. Они снова прыснули в разные стороны — несчастные, неуклюжие, отчаявшиеся. Буквально за миг до того, как один из них должен был оказаться в зубах у собаки, сухие стебли тростника с треском подломились и в воду врезался словно бы снаряд.

Целый гейзер вздыбился вверх — мамаша снова была здесь. С раскрытым клювом, тяжело повисшими крыльями, остекленевшими круглыми глазами.

На этот раз собака сразу кинулась к ней, но утка взлетела, перемахнула через неприятельницу, выбралась на противоположный берег, захромала по нему.

Страшная игра началась снова — теперь уже на суше. Собаке тут было легче, но утка быстро добралась до следующей промоины, отделенной от берега полосой вязкого ила, в котором собака не могла сделать и шагу. Ей только и оставалось, что бегать по твердому берегу.

Утка плыла совсем близко — кажется, дотянуться можно — и подманивала собаку. При этом утка крякала все громче, притворяясь раненой.

Охотник, по-прежнему стоявший неподвижно, заметил, как четверо утят выбрались из зарослей и заспешили по открытому месту. В детском своем страхе они проковыляли чуть ли не у него под ногами — в метре от заряженного ружья. Потом один за другим спустились в промоину — туда, откуда слышалось отчаянное кряканье их матери, где прибрежная полоска ила была глубокой и вязкой, так что собаке не сделать и шагу.

Затем он увидел в воздухе их мамашу, а через минуту — и свою собаку. Взмокшая и грязная, рассвирепевшая до предела, она бросилась к старому месту, где оставались еще утята.

— Нельзя! — охотник крикнул так, что собака замерла на бегу.— Ко мне!

Она опустила голову, подобрала свисавший набок красный язык и медленно приблизилась к его ногам.

Охотник, поставив ружье на предохранитель, вскинул его на плечо. Потом достал сигарету, облокотился о ствол старой разлапистой

вербы и загляделся на притихшую воду. Туда, где виднелась узкая полоска неба — глубокого, с белыми облаками, синего. Казавшаяся бескрайней за отражением старых вязов — потрескавшихся, черных и строгих.

И на их ветви, увитые диким виноградом, и на буйные заросли высоченного тростника.

■

Двумя часами позже утка лежала на своем месте. Малыши снова были с ней. Она всматривалась в надвигавшиеся сумерки и, бодрствуя, снова, словно бы во сне, переживала все случившееся за день.

Как глядела на нее собака и смерть глядела на нее сквозь тростники — блестящая, черная, с двумя дырочками; утка ее отлично знала, сама видела: отец прошлогодних утят, когда собрался улетать, уже поднялся в воздух, но его настиг страшный гром, ужасный грохот; она помнит, как он вдруг словно бы наткнулся на что-то, как откинулась назад его шея и как упал он, вон там, еще более тяжелый и пестрый. Ладно, пусть и она умрет в этом грохоте, в зеленом облаке ивняка и задыхающемся рычании собаки, лишь бы утята остались, любой ценой, любой,— камыш тоже каждый год умирает с первым снегом, но каждая весна снова приходит со свежими ростками крапивы, чемерицы, свежим и буйным, пьянящим ароматом жизни, желтым цветением кизила, огромным и теплым небом — да не в этом ли единственный путь живых: далеко и навсегда?

Лежала так дикая утка, бодрствуя и в то же время словно во сне, повторившая себя в своих утятах — сейчас даже, хотя и не намного, слабее, чем они,— маленькая в этих густых зарослях, в знакомой тишине родного болота, в благословенном шелесте трав и камыша — столь же простого, сколь и дорогого ей, такого зеленого, стойкого, бескрайнего. И не будучи способной мыслить, вслушивалась в этот вечный шепот вокруг; в нем для нее звучал рассказ о сути вещей: родиться, устроить собственное гнездо, защищать его. Ничего, что милые маленькие дурачки так быстро вырастают и потом рвут ей сердце на части, улетая. Высоко в небо, на сильных крыльях — далеко и навсегда.

Вслушивалась дикая мать, в последний раз слышала все это; ее разбитое тело кричало от радости. Только глаза у нее стали еще круглее, чем обычно, а пульс отдавался даже в тине.

А в остальном все было, как прежде.

О, в остальном все снова было хорошо.

■

ДИКО ФУЧЕДЖИЕВ

Перевод Л. ЛИХАЧЕВОЙ

Дикая слива

Односельчанин мой Тырчан любит предаваться созерцанию. В этом не было бы ничего странного, будь он хоть чуточку грамотнее. А Тырчан толком даже и не учился-то нигде.

Мы с ним сидим на высоком крутом склоне, а внизу под нами Велека мчит свои зеленые весенние воды. Совсем зеленые. Мы сидим и молчим. Я и сам предпочитаю помалкивать, но меня просто бесит, если собеседник тоже играет в молчанку.

— Скажи что-нибудь, Тырчан,— начинаю я, скрывая раздражение.— Чего молчишь?

— Созерцаю,— отвечает Тырчан, не глядя на меня.

— А чего тут созерцать? — спрашиваю я хмуро.

Я злюсь, потому что он наверняка не знает точного значения слова, которое так действует мне на нервы. Он, видите ли, созерцает!.. И подписаться-то еле умеет! Мне, например, это слово всегда внушает особое почтение. Я и слушаю его, и произношу с какой-то робостью и уважением. Созерцать... Оно и звучит как-то скрипуче и угрожающе, словно зубами скрежещет.

— Да так вот, созерцаю,— отвечает Тырчан.— Зачем еще жить на этом свете, если не созерцать.

Сказал и снова умолк. А я, и без того личность весьма угрюмая, злюсь еще больше. Потому что лишний раз убеждаюсь, до чего же я все-таки несносный угрюмец. Молчим мы так, молчим, и вдруг Тырчан заявляет:

— Большое это дело наша джанка, эгей!

Я вздрагиваю и оглядываюсь вокруг, а Тырчан залихватски заламывает на затылок фуражку. Лежащая у его ног собака вскидывает голову, настораживается, но, проследив за рукой хозяина, успокаивается. Я чувствую, что меня охватывает какое-то странное беспокойство и нежелание разговаривать.

— Большое! Что уж в ней такого большого? — откликаюсь я сердито.— Ни тебе дерево как дерево, ни плод как плод. Ощетинилась колючками, так и смотрит, кого бы ободрать. Кошка деревенская...

— Вот-вот... У нее, если хочешь знать, это не от хорошей жизни. Кошка, она тоже без причины не царапается,— говорит Тырчан, улыбаясь. Зубы у него сверкают совсем по-молодому, хотя им уж никак

не меньше пятидесяти.— Так что говорю тебе, джанка — большое дело! — повторяет он, помолчав.

Я смотрю на него подозрительно. Вроде ничего такого не случилось, но рот мой неожиданно заливает слюной, а в голову лезут какие-то совсем никчемные истории, просто даже неуместные. Деревенские истории, хоть я давно уже горожанин.

Не знаю, какие мысли будит весна у других, но мне она всегда напоминает о дикой сливе — джанке. Может, это потому, что я все-таки крестьянин, а, на мой взгляд, нет такого крестьянина, который не испытывал бы умиления перед джанкой. Черт ее знает почему — в ней ведь и вправду нет ничего особенного.

Мы сидим на крутом склоне, а день нынче сумрачный — начало марта. Небо нависает над головой низкое, свинцовое, словно в ноябре. Горы на том берегу Велеки черны, печальны и до такой степени голые, что даже отсюда видно каждую ветку. Поверху, по самому гребню плывет рваный туман, и нигде нет никакого просвета Не только горы, все вокруг черно и печально. Настоящий ноябрь. Нет только той неповторимой ноябрьской сырости — не то дождя, не то тумана,— которая для дождя слишком мелка, а для тумана слишком уж влажна и пробирает до самых костей. Даже Тырчановой собаке не по себе от этой черноты и скуки — муха на нос не сядет, язык не высунешь. Пес положил морду на громадные лапы и, не в силах задремать, старательно таращит глаза на этот мрачный и холодный мартовский день.

Тырчан, как всегда, в прекрасном настроении, а я сегодня такой же кислый, как его собака. Мало меня угнетает ноябрь, так на тебе, изволь терпеть плохую погоду еще и в марте, когда каждая косточка так и жаждет наконец понежиться в весеннем тепле.

— Никуда она не годится, твоя джанка,— говорю я и подымаю воротник куртки.— Холодно...

— Это ты со зла,— отзывается Тырчан, продолжая улыбаться.

Слева от нас простирается ровное и широкое плато, которое с трех сторон огибает Велека. Такое же черное и неприветливое, как все вокруг.

Да, но этот весенне-ноябрьский день, доводящий меня до бешенства, освещен несколькими ярко-ярко-белыми цветущими деревьями. Это и есть джанки, дикие сливы. Одна из них растет над самыми нашими головами, и я слышу, как в ее белом клубящемся облаке что-то тихонько жужжит.

И как будто именно от этого жужжанья мне вдруг делается тепло. Я расстегиваю куртку. Просто не верится. В такой холод!

— Пчелы,— говорю я, глядя на дерево.

— Нет. Пчелам еще рано. Они через денек-другой вылетят,— отвечает Тырчан.— Это сама джанка жужжит. Она, когда цветет, всегда так жужжит.

— Будет тебе,— усмехаюсь я.

— Точно тебе говорю, сама жужжит,— невозмутимо сочиняет Тырчан.

То ли от его слов, то ли от белого цветения джанки, но моя крестьянская кровь, порядком позаржавевшая в городе, начинает играть. По коже пробегает горячая волна, а нежная белизна дерева и это тонкое ласковое жужжание еще немного — и, кажется, доведут меня до слез.

Может, кому-нибудь это покажется смешным, но Тырчан и в самом деле прав — джанка удивительное дерево. Она словно добрый дух, скромный и непритязательный, который живет рядом с каждым деревенским домом, где-нибудь в углу двора, на заросшей меже, в

поле, в лесу. Живет тихая и неприметная, не требует ни подрезки, ни поливки — никаких забот. Как и все самосевки, она бесконечно живуча и устойчива против всяких жизненных невзгод, потому что надеется только на себя, на свою ничем не разбавленную силу, которую всасывает прямо из земли.

Я вспоминаю о современных садовых деревьях, так называемых пальметах. До чего же они жалки, изнеженны и беспомощны по сравнению с джанкой. Даже не знают, куда расти, и людям приходится направлять их, иной раз чуть ли не распиная на кресте. И вообще, без людей они не могут ступить ни шагу.

Джанке нечем особенно похвастаться. Как дерево она невидная, ствол кривой. А о плодах и говорить нечего — мелкие, кислые; правда, когда созревают, будто становятся послаще, но все равно возле самой косточки всегда таится кислота, от которой сводит губы.

У нас в селе мужики варили из джанки ракию — джанковицу по-нашему. Бывало, все котлы и лохани наполнят джанкой. А бабы ругаются. Лохань и есть лохань — дерево, котел же — совсем другое дело. Баба, может, целый день с цыганом торговалась, чтобы тот котел подешевле вылудил. В нем и пряжу, и одежу вымачивают и красят. Котел всюду сгодится — на целую свадьбу в нем можно угощение наварить. А положишь в него джанки, кислота мигом всю полуду разъест, как языком ее слизнет, проклятая. Большие скандалы бывали из-за этой джанковицы.

Но интереснее всего было, когда начинала работать винокурня. Со всего села тащили к ней мужики полные котлы и лохани джанки, а потом в винокурне в самое неподходящее время вдруг начинались песни, не смолкавшие до поздней ночи. Ракия, хотя бы и джанковица, известно ведь, туманит разум и делает человека легкомысленным. И те песни тоже были от легкомыслия.

Гнали мужики ракию, а косточки ссыпали в обрыв. Они низвергались туда сплошным потоком, и все село задыхалось от нестерпимо кислого запаха, который проникал в самые укромные уголки. Избавиться от него не было никакой возможности. Повсюду даже цветы, даже садовая мята, даже чеснок начинали пахнуть кислым. Каждый знает, до чего неистребим чесночный дух, но эти чертовы джанки и его забивали. А о курах и говорить нечего. Наши сельские пеструшки чрезвычайно любили вертеться возле винокурни, и мясо у них становилось кислым, как старая конина. Вот какая напасть была эта джанковица!

Время от времени в село наезжали габровские торговцы с телегами, полными товара. Они продавали большие и малые ножи с костяными и деревянными черенками, струганые деревянные судки с крышками и прочую дребедень. Но самым главным был мармелад, сухой, темно-серый, свернутый в трубку, словно подошвенная кожа. За одно яйцо габровец отрезал кусок шириной с узкую ленту и все покрикивал:

— Мармелад, мармела-а-ад! Кому мармелад!

И пока тебе, бывало, отрежут кусок, столько слюны во рту наберется, что и слова не можешь вымолвить. Ужасно соблазнительная была штука!

Яйца нужны были и на другое, поэтому мать однажды решила сама сварить мармеладу, чтобы хоть как-то меня ублаготворить. Я набрал джанок, желтых и красных — помню, все удивлялся, что из желтых тоже может получиться такой же темный, красно-серый мармелад, как у габровцев.

Мать сварила джанки, размяла их, отделила косточки и вылила горячую кашу в деревянное корытце. Принюхался я и чуть, можно

сказать, голову не потерял — чудо, а не запах! На следующий день мармелад застыл, и мать вырезала его из корытца. Оказался он покислее габровского — сахар ведь тоже покупали на яйца. Но и такой я уничтожил за несколько дней, хотя рот у меня был сведен оскоминой и ничего другого я даже проглотить не мог.

Все бы ничего, но на стенках корытца осталось немного мармелада — мать так и не смогла отскоблить его до конца. Тогда я принялся выскребать остатки ножичком — где просто мармелад, а где и вместе с деревом. Надо сказать, что корытце тоже насквозь пропиталось этой удивительно вкусной кислотой. Так резал я и жевал, резал и жевал, пока не заметил, что проел у корытца дно.

— Мартин,— спрашивает как-то мать,— куда дно девалось?

— А я почем знаю,— беззаботно ответил я, после чего мать подхватила меня под мышки и так отлупцевала, что я недели две правой рукой не мог ни за что взяться.

И ведь я вправду не знал, не заметил даже — а дно у корытца было толстое, не меньше двух сантиметров,— с таким остервенением набросился на этот джанковый мармелад. А пока мать меня колотила, я и звука не проронил — за испытанное удовольствие стоило вытерпеть и не такие муки.

Из джанок можно варить и компот. Сахару, правда, туда требуется побольше, а так лучше компота не бывает. Я и сейчас, как увижу где джанковый компот, теряю самообладание — готов схватить банку и тут же ее опорожнить. Только очень уж редко он мне попадается. Те, кто делает компоты, к сожалению, джанку ни во что не ставят.

У нас, как и в каждом крестьянском дворе, тоже была своя джанка. Сожмешь, бывало, созревший плод двумя пальцами и выстрелишь косточкой, словно пулей.

Потрясающее дерево была наша джанка. Не успеют осыпаться листья, а она уже ждет не дождется, когда пройдут эти несколько зимних месяцев. Почки у нее набухают еще в начале февраля. И тут, стоит подуть теплому ветерку, нет уж нашей джанке никакого удержу. Засмеется белым цветом, разольет вокруг удивительный свой аромат — земли и молодости,— сама вся вытянется, словно на цыпочки становится, белому свету себя показывает. А белый-то свет в это время куксится да хмурится — настоящая весна, она пока на другой половине земного шара. Распустится джанка, и тут же неизвестно откуда берутся разные там мухи да букашки. Особенно если солнышко пригреет. Пройдешь мимо дерева, услышишь это тонкое, невидимое, серебристое жужжанье, и ноздри у тебя сами собой расширяются, чтоб глотнуть побольше воздуха. Весна — вот что такое расцветшая джанка.

Случалось, приходилось ей и расплачиваться за свое весеннее легкомыслие. Ударит запоздавший морозец, побьет цвет. Но на следующий год упрямица как ни в чем не бывало снова зацветала будто по часам, минута в минуту.

Есть начинают джанку, можно сказать, сразу же, как только осыплется цвет. К Юрьеву дню плоды у нее были уже почти с кизиловую ягоду, а вместо косточек — белые мягкие пузырьки. Мы, ребятишки, нанизывали их на веточку и жарили на костре, будто шашлык. Зеленая джанка и без того кислая, а о печеной и говорить нечего. Лимонная кислота — пустяк в сравнении с ней. Отведаешь и, того гляди, на всю жизнь перекошенным останешься. Но мы продолжали жарить свои «шашлыки» и уписывали их с превеликим удовольствием.

Одним из главнейших наших деликатесов была молодая крапива. Пшеничная каша с крапивой да с молодыми джанками — исключительная штука, но современная цивилизация, разве она что-нибудь понимает?

Плоды у нашей джанки были круглые, словно дешевые карамельки. Вообще-то в селе росли всякие — и с круглыми плодами, и с продолговатыми, и с заостренными, и даже с совсем длинными, вроде кизила. А что касается формы и вкуса, джанка неисправимый индивидуалист — собери плоды хоть с тысячи деревьев, не найдешь двух одинаковых.

Когда я вижу джанку, мне всегда кажется, что это первое плодовое дерево, выращенное человеком. Может быть, потому, что ее и выращивать-то не надо. Сама по себе тянется вверх, зацветает, приносит плоды. Посмотришь иной раз — росточек от земли не видать, а уж всем напоказ выставил свои пять-шесть цветочков и знать ни о чем не желает. Встретить ее можно повсюду — и на селе, среди людей, и в лесу. Где косточка упадет, там и дерево. По джанкам иной раз можно узнать, где жили люди, которых давно уже нет на свете. Жили, умерли, и место давно заросло-запустело, а смотришь, где-нибудь у разрушенной ограды или кучи камней стоит как ни в чем не бывало джанка и ждет самомалейшей ласки, чтобы зацвести.

Сидим мы с Тырчаном. Мне холодно, и я снова подымаю воротник куртки. Пес все так же таращит глаза и время от времени поскуливает. Может, не столько от холода, сколько от омерзения.

Я смотрю на цветущие джанки, похожие в этой черноте на белые, опустившиеся с неба облака, вдыхаю доносящийся до меня аромат, слышу уже и запах весны, и весенней земли, и ветра, играющего под синим горячим небом. А ведь сейчас еще холодно и неприютно — одни только джанки цветут, ни на что не обращая внимания.

Я уже чувствую этот сладостный и кислый запах винокурни, мармелада, печеных джанок...

Тырчан смотрит на меня улыбаясь и сдвигает на затылок фуражку. Пес настораживается, но, проследив за рукой хозяина, снова укладывает морду на лапы.

— Говорю тебе, большое дело эта джанка,— улыбаясь, повторяет Тырчан.

Я молчу. Не могу отвести глаз от этих удивительных, мудрых, легкомысленных, беззащитных белых облаков — одиноких предвестников весны. И думаю: какое там большое дело — чудо из чудес эта наша джанка.

Корни

Машина преодолела последнее возвышение и выехала на ровное место. По-настоящему это была вовсе не дорога — просто две колеи, примятые в густой траве автомобильными шинами. Колеи извивались, огибая особенно крутые места, а немного в стороне по прямой тропинке двигалась вверх пестрая вереница крестьян, горожан, деревенских ребятишек.

Сидевший в машине генерал предложил:

— Давай выйдем, а? Немного осталось...

Шофер, пожилой человек с седыми висками, сдержанно улыбнулся.

— Тогда я поставлю машину здесь, в тени.

— Как у тебя с обувью?

— А, все в порядке,— засмеялся шофер.— По такой траве можно и босиком ходить.

Он отъехал в тень, а генерал, не успев ступить на землю, уже кричал:

— Райна! Бабушка Райна!

Среди людей, направлявшихся к вершине, шагала старуха. В руках у нее была сетчатая сумка и старый, очень старый зонтик из выгоревшей заштопанной ткани. Зонтик был сложен — светило солнце, но на здешних вершинах каждую минуту мог пойти дождь.

Далеко внизу виднелись выстроившиеся в ряд автобусы и грузовики, которые не могли подняться выше. На них и приехали все эти люди.

Старуха подняла голову, и из-под черного, низко надвинутого на лоб платка показалось лицо, изрезанное глубокими морщинами, коричневое, обветренное ветрами многих лет. Многих и трудных.

— Ты ли это, Слав, сыночек? — воскликнула старуха и неловко заковыляла к генералу.

Ветхий сборчатый сукман, расшитый по подолу шелком, доходил ей до щиколотки и, казалось, мешал идти. Из-под подола и у ворота виднелась полоска чистой белой рубахи.

Еще миг — и генерал уже обнимался со старухой. Она, так и не выпустив из рук ни сетки, ни зонтика, прижалась головой к его груди. Старушка была маленькая, выше не доставала, но все равно казалось, что она прижалась так нарочно, чтобы послушать, как бьется генеральское сердце.

Он тихо спросил:

— Как поживаешь, бабуся?

— Помаленьку, Слав, только к концу они подходят, мои годочки. Восемьдесят стукнуло...

Так, в обнимку, они и пошли наверх — молодцеватый высокий генерал и низенькая старушка.

— Волосики-то у тебя совсем побелели, сынок,— глядя на него, вздохнула старуха.

Генерал потрогал свои густые волосы и тоже вздохнул:

— В те годы мне двадцать восемь было, бабуся...

В те годы и Райне не было восьмидесяти, хотя она уже и тогда была немолода. Немолодая, но крепкая и жилистая крестьянка, двадцати лет оставшаяся вдовой с тремя детьми на руках. Райна пахала, жала, рубила дрова, растила детей — все, что на селе обычно делят между собой муж и жена. Райна все делала одна, потому что не пожелала выйти замуж вторично — ей довольно было детей.

А генерал в те годы был молодым человеком в полном расцвете сил с черной и пышной шевелюрой — бравый партизанский командир. Он гораздо чаще, чем теперь, встречался с тогдашней тетушкой Райной, но обниматься им было недосуг. Генерал — да и Райна тоже — был в ту пору суровее. Теперь, с годами, она как будто стала еще меньше ростом. Может, генерал и обманывался, но он никак не мог отделаться от навязчивой мысли, что сейчас, встретившись с ним, старая женщина нарочно прижимает голову к его груди там, где бьется сердце. Это смущало и тревожило его, потому что ведь каждому становится не по себе, когда кто-то начинает интересоваться его сердцем, особенно если этот кто-то не врач.

Генерал и Райна шли по тропе, а из пестрой, двигавшейся вверх толпы то и дело доносилось:

— Слав!.. Эй, Слав! Ты ли это, Слав, как поживаешь?

С мужчинами ему было легче. Мужчины, а особенно здешние крестьяне, не целуются — прижмутся друг к другу щеками, похлопают по плечам и все, разве только усом пощекочут, да словно проволочным скребком проедутся небритой щекой по твоему лицу.

Но женщины? Все они были пожилые — от пятидесяти и старше,— невысокие, сухие, жилистые, может, потому, что кто знает, кем им чаще доводилось быть: женщинами или пахарями. Здесь ведь даже замужние большей частью жили одни — испокон веков трынские мужики, прославленные по всей Болгарии строители, не очень-то засиживаются по домам.

Генералу тоже было уже за пятьдесят, но вспоминал он об этом, лишь когда видел в зеркале свои седые волосы. А мало ли отчего могут поседеть волосы! Это началось еще в те юные, тяжкие годы, когда он бродил по этим горам, останавливаясь в разбросанных по их склонам домах и деревеньках. Волосы седели от постоянной угрозы смерти, и тогда его спасали эти самые женщины. Они лечили его, перевязывали раны и до тех пор укрывали от чужих глаз и даже от собственных детей, пока он не подымался наконец на ноги и не уходил. Волосы седели от холода и жажды, от засад, преследований и мучительной неизвестности.

Каждый год приезжал генерал в эти горы, на эти луга, на эту вершину, с которой, казалось, можно было увидеть чуть ли не весь мир. Под лугами, ограждая их, начинались чудесные буковые леса, тихие и спокойные. Здесь в жестоком бою был убит их отрядный пулеметчик. Сейчас на месте его гибели высилась небольшая, посеревшая от времени каменная пирамида.

Каждый год здесь устраивали слет. Луга расцветали женскими платьями и зонтами, детские свистульки и дудки, которые в изобилии продавали лоточники, подымали веселый гвалт. Подростки с еле пробивающимся светлым пушком на щеках и парнишки постарше увивались вокруг девушек в пестрых нарядных платьях. Мало кто в этой многотысячной толпе вспоминал о погибшем пулеметчике, да и вообще о том времени. Генерала это не огорчало. Что поделаешь, слишком уж большое счастье жить на этом свете. Генерал, столько раз встречавшийся со смертью, знал это лучше других. И потому дудки и свистульки ребятишек казались ему чудесной музыкой. А ведь на этих самых лугах он слышал грозный смертоносный гул боя, который зловещее эхо разносило на десятки километров вокруг.

Детишкам было страшно интересно увидеть настоящего, живого генерала. Они пробирались меж окружавшими его людьми, просовывали под локти свои стриженые головы и всячески старались дотронуться до генеральских лампасов. Все будет чем похвастаться перед каким-нибудь невеждой с соседней улицы.

Отправляясь на слет, генерал всегда испытывал смешанные чувства. Многое вспоминалось — он ведь из тех, кому было что вспомнить. Но больше всего его мысли занимали женщины, прижимавшие головы к его груди, там, где бьется сердце. Чуть-чуть выше располагались ленточки орденов и медалей, которыми генерала награждали за его жизнь и службу.

Может быть, с возрастом он и в самом деле становится сентиментальным. Он чувствовал, что сердце его порастеряло былую твердость — правда, вспоминая всю свою многотрудную жизнь, генерал приходил к заключению, что оно, собственно, никогда и не было особенно непреклонным. Просто в решающие минуты он всегда находил в себе силы преодолеть слабость, хотя потом иной раз чуть не плакал. Но об этом никто не знал, в те годы нельзя было и допустить, чтобы кто-нибудь даже заподозрил подобное.

Он не мог забыть, как еще мальчишкой накинулся на какого-то бродячего торговца, проезжавшего через село, который безо всякой надобности избивал свою лошадь. Тот сначала удивился, потом рявкнул:

— Марш отсюда, щенок!

И одним ударом ноги отшвырнул его от телеги. Озлобленный и ожесточенный — не от боли, а от бессилия,— он долго швырял в торговца камнями, пока тот не выехал из села. До сих пор помнится, какой тогда был горячий, побелевший от жары и пыли июльский день.

Такой же, как сегодня. Но здесь, на этой вершине, откуда можно было видеть все далеко вокруг, жара не чувствовалась. Достаточно было взглянуть на сочную буковую листву, чтобы ощутить ее освежающую прохладу.

Такой же день был и когда здесь, на этих полянах произошло то решающее сражение. Оно тянулось бесконечно долго, ведь летние дни такие длинные, но бойцы жевали буковую листву, и это прогоняло жажду.

Генерал старался не думать обо всем этом. Даже рассказывать и то не любил. Все это были давние истории — одни менее, другие более тяжелые, а некоторые просто страшные. Но сущность их, истинная их ценность воплотилась в прошедших с тех пор двадцати с лишним годах. А больше всего, быть может, в тревоге, с какой он ожидал встречи с теми, кто его когда-то укрывал.

Память не прощает ничего — ни хорошего, ни плохого. Генерал мог заставить себя не думать о прошлом, но победить свои сны был не в силах.

Видел он их редко, потому что давно уже не мог спать спокойно — ведь волосы его не зря побелели.

Нет на свете судьи беспристрастнее памяти, она ничего не прощала и генералу. И когда его посещали сновидения, он видел во сне коня.

В отряде был свой конь, но не для того, чтобы на нем ездил командир или кто-нибудь другой из партизан. Конь возил отрядную радиостанцию.

Это было кроткое животное, отлично выполнявшее свое дело,— тогда генерал думал даже, что конь чересчур усерден. Он вообще недолюбливал чрезмерных святош и не слишком им доверял, но к коню относился снисходительно — животное все-таки не может делать что-нибудь преднамеренно.

Жизнь у коня была так же трудна, как и у партизан. Можно сказать — еще труднее, ведь в отряде далеко не всегда имелась для него подходящая кормежка. Зимой не было даже сена, и коню часто приходилось голодать. Он, фыркая, отдирал массивными своими зубами куски коры и не сводил с бойцов кротких и преданных глаз. Вдобавок ему приходилось карабкаться по таким головокружительным кручам, которые не пришлись бы по нраву самому опытному мулу. Немало, ох, немало мук изведал в отряде этот крестьянский конь.

И вот теперь он регулярно появлялся в редких сновидениях генерала. Вместе с погибшим пулеметчиком и бабушкой Райной. Образы их странно сливались воедино и настойчиво спрашивали чужим голосом:

— Слав, сыночек, помнишь того коня?

Пулеметчик знал коня, потому что однажды залечил ему раны и иногда возил на нем свой пулемет. А бабушка Райна, та не раз коня кормила.

Генерал боялся этого вопроса и все никак не мог на него ответить. Сон внезапно обрывался, и он просыпался огорченный — опять не успел сказать, что не забыл, что помнит...

Да разве можно было его забыть?

Когда начинали таять снега, река становилась просто страшной. Бешено хлестала во все стороны пенной гривой, выворачивала целые утесы. Мост был только один, и по нему отряд должен был переправиться на другой берег. Бывает, что пять мостов рядом, а перейти можно только по одному, а тут, хоть все горы обойди, только один этот мост и был.

Вечер стоял тогда сырой, холодный, насквозь пропитанный влагой. Враг опередил их, сумев закрепиться над рекой на скалах, и вскоре оттуда засверкали огоньки пулеметов. Позднее генерал вспомнил, что именно эти зловещие вспышки натолкнули его на спасительную мысль.

— Не стрелять! — шепотом приказал он, но насторожившиеся бойцы услышали сразу.

Те стреляли вслепую, никак не могли нащупать узенький мостик. Стреляли бешено, нервно, неистово, стараясь заглушить страх, который вызывала в них лежащая впереди черная, безмолвная неизвестность. Они стреляли, и горы вокруг стонали, истерзанные зловещим эхом.

На бойцов начали сыпаться срезанные пулями ветки — враг почти уже нащупал мост. И тут люди не выдержали. Враги боялись мрака и безмолвия, а партизаны — смертоносных вспышек, падающих веток и собственного бездействия.

— Не стрелять! — тихо повторил он.— Мост будем переходить бегом, друг за дружкой!

Но люди уже залегли. Никто не пошевелился. Бойцы лежали, и он знал, что они прячут головы. Вдруг до него дошло, что он единственный возвышается надо всеми.

Ему хотелось закричать, но это было невозможно. Тогда, обезумев от ярости, он наклонился и руками зашарил под деревьями. Наконец нашел большую ветку, вернее, сук. Выпрямился и, не глядя, хлестнул. Разъяренный, он бил налево и направо, куда попало, в отчаянии, что уходят последние, скудные, драгоценные секунды. Еще немного — и вражеские пулеметы нащупают мост.

И хотя это показалось ему невероятным, партизаны испугались хворостины больше, чем пуль. А может быть, устыдились. Вскочив, они за несколько минут переправились на тот берег, не потеряв ни одного человека.

Он перебежал последним, все еще не выпуская из рук ветки. Партизаны уже пересчитывались.

— На что это похоже? — приглушенно ворчал кто-то.— Теперь по меньшей мере два дня не сядешь.

— А мне всю щеку ободрал. Хорошо хоть, что глаза целы остались,— отозвался чей-то юношеский тенорок.

И тут внезапно мрак содрогнулся от смеха. Партизаны смеялись приглушенно, прерывисто, задыхаясь от нервных спазм и огромного, еще неизведанного облегчения.

Он слушал, стоя в сторонке в нескольких шагах от них. Потом бросил ветку и тоже беззвучно засмеялся.

Враги продолжали бешено стрелять. Со стороны моста доносился звон — это пули ударяли о железные перила.

— Эй, а где же конь? — крикнул вдруг чей-то испуганный голос.

И словно в ответ, по мосту простучали копыта. Конь налетел на партизан, с усилием преодолел разбег и остановился.

— Тпру-у-у, ты же меня ударил, негодник! — охнул кто-то.

Конь тихо фыркнул, нервно переступал с ноги на ногу, и люди похлопывали его по влажным бокам.

— Ой, он меня поцеловал! — вдруг воскликнул кто-то. В голосе прозвучало совсем детское удивление.

— И меня...— отозвался другой.

— Ну, хватит,— тихо сказал командир.— Пора отходить.

Люди примолкли, построились в колонну и двинулись.

Утром оказалось, что конь, забытый людьми и последним переправившийся через мост, получил две раны. Пулеметчик, немного разбиравшийся в животных, долго и старательно прочищал их, а конь совал ему под мышку морду и довольно пофыркивал.

— Ну чего ты к нам пристал, спрашивается? — ворчал пулеметчик.— Жизнь у нас собачья... Мы-то хоть знаем за что, а ты? Ничего б они тебе не сделали, забрали бы радиостанцию — и все. И не голодал бы больше, как с нами...

Генерал слышал это и улыбался.

А через два месяца пулеметчик погиб на этой вот самой поляне. Кинулся с пулеметом в руках за жандармами, а те ему выстрелили прямо в сердце.

Генералу не хотелось вспоминать все эти истории, но память стояла на своем посту, как часовой. Тем временем на поляне, прямо на траве, была уже расстелена длинная скатерть, разложено угощенье. Справа у самого его колена сидела, поджав ноги, бабушка Райна. Генерал не любил пить и сейчас с удивлением замечал, что далекие голубые вершины словно покачиваются под его взглядом. Похоже, это было от желтой трынской ракии, которую ему то и дело подливали мужчины и женщины, и чокались с ним, и следили, чтобы он пил до дна. И генерал пил. Эту ракию гнали из желтой полудикой сливы, которая росла на крутых склонах и в заросших терновником лощинах. И в запахе ее было что-то от дикой силы терновника и его дикого аромата.

Рядом запели. Генерал смотрел на ребятишек, бегавших по поляне и дувших изо всей силы в свои свистульки, смотрел на легкие и пестрые платья девушек, вокруг которых табунками толпились подростки со светлым пушком на щеках и деревенские парни в белых рубашках с молодецки закатанными рукавами. А к генералу все тянулись людские руки с рюмками желтой ракии, он чокался и улыбался, охваченный какой-то непривычной легкостью. Может быть, от ракии.

Бабушка Райна стукнула его по колену:

— Слушай, сынок, сказала я давеча, что голова у тебя поседела, так это ничего. Волосы, они от всего поседеть могут. А вот смотрю я на тебя и вижу — ничуть ты не изменился, все такой же, как раньше...

— Правда? — засмеялся генерал.— Спасибо на добром слове, бабушка Райна, и давай выпьем!

Он вспомнил о тревоге, с какой каждый год подымался на эту вершину. Сейчас ему было здесь очень легко и хорошо, и он подумал, что без той тревоги он, наверно, был бы очень несчастлив.

Ему действительно сейчас было легко и хорошо. Может быть, от желтой ракии, которую сельчане гнали из плодов полудикого дерева, и от тех упрямых воспоминаний, что до сих пор живут в этом горном краю.

■

ЗБИГНЕВ ХЕРБЕРТ

Перевод с польского и вступление В. БРИТАНИШСКОГО

Задумываясь над причинами столь устойчивого в течение многих лет и столь единодушного признания, сопутствующего творчеству Збигнева Херберта, поэт и критик З. Беньковский размышлял недавно в газете «Культура» (№ 9, 1972): «Херберт не двинул, как это говорят, вперед средства поэтического выражения. Он не экспериментировал ни со словом, ни с образом, ни с «антисловом» или «антиобразом». Он не открыл и не закрыл эпоху в поэзии. Он был и есть посреди: посреди поэтов, посреди людей, посреди забот сегодняшнего мира. Настолько посреди, насколько это возможно. И здесь-то, мне думается, секрет его привлекательности, его масштаба, его славы». Статья З. Беньковского так и называется — «Посреди жизни».

Буквально в те же дни другая польская газета «Политика» (№ 9, 1972) предоставила целую страницу для интервью с самим Хербертом. «Есть писатели,— сказал Херберт в этом интервью,— которые служат чистому искусству. Я им нисколько не завидую, я даже испытываю некоторое отвращение к такой позиции. Я знаю, что значит ад эстетов, ад людей, оторванных от действительности».

Самому Збигневу Херберту (род. в 1924) не приходилось жить в отрыве от действительности. Польская действительность военных лет, с ее трагизмом и героизмом, составляла содержание юности Херберта. Даже учиться в годы оккупации означало для молодого поляка идти на постоянный риск: Херберт, как многие его сверстники, получил аттестат зрелости на тайных курсах и начал изучать филологию в тайном университете. Но главным экзаменом для его поколения было участие в Сопротивлении.

...записка
«Предупредите Войтека
явка на улице Длугой
провалилась»

Эта маленькая деталь вырастает сейчас до значения символа тех лет, но тогда она была повседневностью. После войны Херберт — студент, затем служащий Польского банка, инженер-экономист в проектном бюро торфяной промышленности, где он занимался проектированием спецодежды для рабочих. В биографии Херберта нет исключительности, да и сам Херберт, кстати, добродушно посмеивается, например, в стихотворении «Притча» над претензиями поэтов на какую-либо исключительность по сравнению с остальными людьми: исключительны, по мнению Херберта, лишь обязанности поэта.

Разумеется, жизнь — жизнь самого поэта, его друзей, его сверстников, его соотечественников—лишь материал искусства, между жизнью и ее воплощением в искусстве всегда стоят труд и мастерство художника. Тем более когда речь идет об искусстве Херберта, поэзия которого, при всей ее простоте и общечеловечности, весьма далека от поэзии «голого факта» (наоборот, факты иной раз одеты у него в античные костюмы).

В предисловии к книге очерков о поездках по городам, музеям и древним руинам Италии и Франции («Варвар в саду», Варшава, 1964) Херберт пишет, что в искусстве старых мастеров его интересовала «связь с историей», но также «техническая структура (как именно положен камень на камень в готическом соборе)». И если

мы порой не замечаем, как сложены стены старых соборов, как сложены строки и строфы белых стихов и верлибров Херберта (его верлибры сохраняют строфическую структуру), так это лишь потому, что мастерство в произведениях настоящих мастеров ненавязчиво и незаметно. Но оно присутствует, оно необходимо, а дается оно нелегко и не сразу.

Прочтя две тысячи опусов начинающих авторов, присланных в адрес жюри конкурса на лучшее стихотворение в дни Варшавской поэтической осени 1972 г., Херберт, председатель жюри, отметил отдельные интересные стихи, но добавил с улыбкой: «Некоторые молодые думают, что написать стихотворение — нечто очень простое, не хотят верить, что дело обстоит иначе. Мой пример 15-летнего ученичества не представляется им ни типичным, ни — тем более — привлекательным».

С выходом первой же книги стихов («Струна света», 1956) 32-летний Херберт сразу же предстал перед польскими читателями и критиками, как Афина Паллада, вышедшая из головы Зевса: в полном вооружении. Можно лишь гадать, каковы были годы «ученичества», каков был путь к первой книге поэта, первые поэтические опыты которого относятся, как нетрудно высчитать, к 16—17-летнему возрасту.

За первой книгой последовали вторая («Гермес, пес и звезда», 1957) и третья («Исследование предмета», 1961), затем «итальянское путешествие» и его итог — уже упомянутая книга очерков.

Не только в первых трех, но и в четвертой книге стихов («Надпись», 1969) Херберт возвращается к годам войны, годам гибели и мужества. В «Прологе», которым начинается эта книга, лирический герой, глядя на «закрытые окна» и «сверкающие дверные дощечки» отстроенной и давно уже благополучной и мирной Варшавы, вспоминает погибших героев Сопротивления. Давно уже наступил мир, давно уже «медяшки пуговиц солдатских» (этой строкой Херберта назвал Ярослав Ивашкевич свою статью о военных реминисценциях в современной польской поэзии) «бренчат в коробке из-под спичек». Но по-прежнему Вислой, то есть символом Польши, Херберту видится «ров залитый водой», ему все еще вспоминаются пустыри и пожары (стихотворение «Красная туча», цикл «О Трое» и др.). «Такой пронзили нас отчизной»,— восклицает автор.

При восстановлении Варшавы, прежде чем строить, приходилось разбирать развалины и даже разрушать остатки старых стен (стихотворение «Красная туча»). Нечто подобное происходило и в душе молодых участников Сопротивления, для которых переход к «нормальной» мирной жизни был психологически нелегким. В стихотворении «Мона Лиза» Херберт показывает такое трудное возвращение своего героя к миру прекрасного, к шедеврам прошлого, к истории культуры. В Лувре, «на берегу пурпурного шнура», ограждающего драгоценную картину Леонардо, на руинах древнегреческих городов, перед готическими соборами — везде, в любой стране и в любом столетии Херберт чувствует себя послом от своего поколения: не только от уцелевших, но и от погибших товарищей. Именно это позволяет ему показать, насколько смешон и жалок такой «классик», такой специалист по древностям, который не замечает, что прожилки в мраморе — это жилы рабов из каменоломен (стихотворение в прозе «Классик»). Именно это позволяет ему оценить отъезд Цицерона в свою усадьбу Тускулум, подальше от политических треволнений Рима, как «позорное бегство» (стихотворение «Тускулум»). Именно это позволяет ему так ярко изобразить крупным планом «пядь земли», на которой растет тамариск и на которой умирает в этот момент греческий воин (стихотворение «Тамариск»).

Античность занимает особое место во «всемирной истории» Херберта. Отчасти это объясняется классическим образованием самого Херберта (он окончил юридический факультет в Торуне и учился на философском в Варшаве). Отчасти же это связано с особенностями истории Польши, страны, где греко-римские традиции вошли в плоть и кровь польской национальной культуры, где Гомер и Гораций воспринимаются как польские поэты, где античные стихи и драмы Херберта заставляют вспоминать не только античные драмы Ст. Выспянского, но и первую польскую драму — «Отказ греческим послам» Яна Кохановского, написанную по мотивам «Илиады». И когда Херберт отождествляет Польшу и Варшаву с Троей (стихотворение «О Трое»), для польского читателя эта параллель подкреплена польской поэзией предшествующих полутораста лет.

Греки и Шекспир (и снова Ян Кохановский) стоят за одним из популярных в Польше стихотворений Херберта «Трен Фортинбраса». В трагедии Шекспира норвежский принц Фортинбрас появляется лишь в самом конце, под занавес, чтобы торжественно похоронить Гамлета и занять датский престол. Стихотворение Херберта — это как бы не уместившийся в рамки трагедии монолог Фортинбраса над телом Гамлета, а точнее, диалог Фортинбраса с Гамлетом, потому что Фортинбрас мысленно разговаривает и даже спорит с принцем датским. Слово «трен» происходит от греческого «тренос» — «оплакивание», а самый жанр восходит к народным плачам и причитаниям, которые в древней Греции вряд ли особенно отличались от звучавших еще недавно в русских деревнях. В Польше этот жанр утвердился в литературе со времен знаменитых «Тренов» Кохановского, написанных на смерть дочери.

Столь же древний жанр — надписи. Их высекали на скалах, на стенах дворцов и храмов. В стихотворении Херберта «Надпись» собственно надписью (которую поэт

предлагает высечь в камне) являются последние четыре строки, выделенные автором ритмически: четырехстопный ямб на фоне верлибра предыдущих строф. Начинается же стихотворение диалогом: лирический герой, утверждающий необходимость мужества и активности, спорит с проповедью пассивного, созерцательного, эпикурейского отношения к жизни.

С выходом «Собрания стихотворений» Херберта (1971) начинают стираться грани между отдельными его книгами, вся его поэзия кажется единым и монолитным архитектурным сооружением. Но это сооружение было сложено камень за камнем, книга за книгой, стих за стихом. Лучшие из этих стихов, как писал Ивашкевич в связи с изданием третьей книги Херберта, «достойны стоять рядом с высшими достижениями польской поэзии».

Поэзия Херберта издана отдельными книгами на английском, немецком, чешском и словацком языках, циклы его стихов публиковались в журналах и антологиях на венгерском, итальянском, сербо-хорватском, датском, шведском, норвежском. На немецком языке (в ГДР и ФРГ) печатались также его драмы.

Пролог

ОН
Кому пою? Закрытым окнам
сверкающим дверным дощечкам
фаготам водосточных труб
крысам что пляшут на руинах
В день похорон на пустыре
как барабаны били бомбы
крест-накрест доски шлем дырявый
и в небе розой цвел пожар

ХОР
На вертеле барашка вертят.
От печи пахнет теплым хлебом.
Пожары гаснут. Лишь домашний огонь вовеки пребывает.

ОН
И на досках простая надпись
как залпы кратки имена
«Гриф» «Волк» «Стрелок» но кто их помнит
ржавую краску дождь смывает
Отстирывали мы годами
бинты. Никто не плачет нынче
медяшки пуговиц солдатских
бренчат в коробке из-под спичек.

ХОР
Выбрось реликвии. Забудь их и снова вступишь ты в поток.
Есть лишь земля. Она все та же меняется лишь время года.
Войны людей — войны букашек и смерть над чашечкой цветка.
Дубы цветут. Хлеба поспели. Реки текут впадают в море.

ОН
Я должен плыть против теченья
они со мной глядят мне в очи
и шепчут мне слова все те же
и хлеб отчаянья нам горек

Я должен схоронить их честно
должен насыпать холм песка
пока осыплет их цветами
и зельем опоит весна
Город —

ХОР
Его давно уж нету
он закатился

ОН
Мне он светит

ХОР
Как свет гнилушки

ОН
Пустота
но воздух все еще колеблют
те голоса

■

Ров залитый водой зову я
Вислой. Стыдиться ль правды чистой:
такой любви нас обрекли
такой пронзили нас отчизной

Из цикла «О Трое»

Шли по ущельям бывших улиц
шли красным морем пепелищ

и как закатом красной пылью
был озарен погибший город

Шли по ущельям бывших улиц
рассвет своим дыханьем грели

и говорили что нескоро
подымется здесь первый дом

Шли по ущельям бывших улиц
надеялись найти хоть след

Поет гармошка
инвалида
об ивах
и о чьих-то милых

Поэт безмолвен
Дождь

Красная туча

Красная туча пыли —
память о том пожаре
когда закатился город
за горизонт земли

нужно разрушить
еще одну вот эту стену
еще один кирпичный хорал
чтобы открытая рана
между взглядом
и воспоминаньем
зарубцевалась

рабочие те что утром
кофе пьют с молоком шелестя газетой
отогрели дыханьем рассвет и дождь
коченевший так долго в умершем воздухе

стальным канатом
напряженным молчаньем
подымают как флаг
освобожденное от руин пространство
опадает красная туча пыли
перелет через пустыню

на высоте уничтоженных этажей
выплыли окна без рам

когда падет
последняя вертикаль
рухнет кирпичный хорал
и поднимется из руин мечта

о городе который здесь был
о городе который здесь будет
которого нет

Мона Лиза

Через тридевять гор граничных
и колючую проволоку рек
и расстрелянные леса
и повешенные мосты
шел я —
водопадами лестниц
водоворотами крыльев
небом барокко
полным пухленьких ангелов
— шел я к тебе
град господень в раме

стою
среди густой крапивы экскурсантов
на берегу пурпурного шнура
и глаз твоих

вот я и пришел
видишь

я не надеялся
но вот

улыбается деловито
немая выпуклая словно

собирательная линза
на фоне вогнутого пейзажа

между черной ее спиной
что сияет как месяц в тучах

и первым деревом дальней рощи
лишь пустота и пена света

вот я и пришел
временами бывало
временами казалось что
но не стоит сейчас об этом

математическая улыбка
и голова неподвижный маятник

глаза мечтают в бесконечность
но в томном взоре спят улитки

вот я и пришел
мы все должны были
но я один

когда
уже он головой не мог пошевелить
сказал
как только все это кончится
поеду в Париж
между вторым и третьим пальцем
правой руки
промежуток
вкладываю туда
пустые скорлупки судеб

вот я и пришел
это я
стою упершись в пол
живыми пятками

довольно толстая итальянка
на скалах волосы распустила

от мяса жизни она отрублена
из дому вырвана из истории

с ушными раковинами из воска
она задушена лентой лака

пустые фолианты тела
блестят в оправе из алмазов

между черной ее спиной
и первым деревом моей жизни

меч положен
зияет бездна

Притча

Поэт подражает пению птицы
вытягивает длинную шею
неуклюжий кадык
торчит как палец на крыле мелодии

поющий он искренне верит
что помогает солнцу взойти
отсюда и теплота звучания
и чистота высоких тонов

поэт подражает спящему камню
спрятавший голову в плечи
он подобен обломку скульптуры
у которой редкий и слабый пульс

спящий он уверен что только он
углубляет тайну существования
что он без помощи теологов
ухватит жаждущими устами вечность

во что превратился бы мир
если бы не наполнял его
поэт копошащийся неустанно
среди птиц и камней

Трен Фортинбраса

Теперь оставшись одни мы можем с тобой побеседовать принц как
мужчина с мужчиной
хоть ты лежишь на ступенях и видишь не больше мертвого муравья
черное солнце со сломанными лучами

Я никогда без улыбки не мог вспоминать твои руки
и теперь лежащие будто сброшенные с деревьев гнезда
они так же беспомощны как раньше Это и есть конец
Руки лежат отдельно Шпага отдельно Голова отдельно
и ноги рыцаря в мягких туфлях

Похоронят тебя по-солдатски хоть ты и не был солдатом
но это единственный ритуал немного знакомый мне
Не будет ни свеч ни молитв лишь фитили да залпы
Шлемы грохот сапог бой барабанов артиллерийские лошади
ничего изящного я и сам понимаю
это будут мои маневры перед принятием власти
нужно взять этот город за горло и слегка потрясти

Так или иначе ты не мог не погибнуть Гамлет ты был не для жизни
ты верил в кристальные понятия а не в людскую глину
как во сне ты ловил химеры судорожно хватая
жадно глотал ты воздух и тут же тебя тошнило
ничего не умел как люди даже дышать не умел

Ты спокоен Гамлет ты сделал то что тебя касалось
и спокоен А все дальнейшее касается только меня
Ты выбрал самое легкое эффектный удар
но что геройская смерть по сравнению с вечным бдением
того кто сжимает холодный скипетр сидя на высоком кресле
с видом на муравейник и циферблат часов

Прощай же принц мне пора обратиться к проекту канализации
и к декрету о проститутках и нищих
я должен также обдумать улучшение системы тюрем
ведь Дания это тюрьма как ты справедливо заметил
Пора заняться делами Сегодня ночью родится
звезда по имени Гамлет А мы уже не столкнемся
то что останется после меня не будет предметом трагедии

Нам ни встретиться ни проститься мы живем на архипелагах
а эта вода эти слова что могут что могут принц

Тамариск

я описывал битвы
корабли бастионы
героев резавших и рубивших
героев зарезанных и зарубленных
забыл я лишь об одном

я описывал бури морские
рушащиеся башни
полыхающие хлеба
развороченные холмы
забыл я лишь об одном
о тамариске

ведь когда лежит
человек пронзенный копьем
и уста его раны
смыкаются плотно
он не видит
ни моря
ни дома
ни друга
видит
рядом с собой
тамариск

он возносится
на самую верхнюю
веточку тамариска
выше этих листочков
тонких как птичьи перья
и пытается
улететь на небо
без крыльев
без крови
без мысли
без —

Тускулум

Никогда не веривший счастью свистящему в корабельных снастях
он купил себе дом и усадьбу наконец-то он сможет
писать как писали они в согласии с Натурой
с высокой башни травы среди смертных листьев

труд муравьев столетние войны бурьяна и чертополоха
любовные игры животных слепая ярость убийств
гармонии не было лишь посыпанная песком дорожка
давала успокоение

вскоре он от всего отступился столь несомненно
что никто уже не смел его спрашивать

позорное бегство

Классик

Огромное деревянное ухо заткнуто ватой и цитатами Цицерона Великолепный стилист — говорят о нем все окружающие. Никто уже теперь не умеет сочинять такие длинные фразы. К тому же, какая эрудиция. Даже камни читает. Но никогда не догадается, что прожилки мрамора в термах Диоклетиана — это лопнувшие кровеносные сосуды рабов из каменоломен.

Надпись

Смотришь на мои руки
слабые — говоришь — как цветы

смотришь на мои губы
им не под силу словом объять мир

— покачаемся лучше на стебельке мгновенья
упьемся ветром
посмотрим как заходят наши глаза
запах увяданья прекрасней всего на свете
очертанья руин смягчают боль

во мне огонь который мыслит
ветер который полнит парус

руки мои нетерпеливы
могут
голову друга
изваять из воздуха

твержу я стих который хотел бы
перевести на санскрит
или на пирамиду:

когда источник звезд иссякнет
мы осветим собою ночь

когда окаменеет ветер
мы приведем в движенье воздух

■

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО ЛОПЕС

Последняя женщина и близкий бой

РОМАН

Перевод с испанского ЮРИЯ ПАВЛОВА

ЧАСТЬ III

...Дороги у нас здесь всегда или пыльные, или грязные. И в воздухе если не дождь, то пыль. А сколько происшествий на дорогах! И нынче случаются. Пропади пропадом эти дороги! Что тут хуже всего? Грозы — раз, пыль — два, дороги — всегда. Особенно ночью. Если ты, к примеру, ночью сшибешь светлячка — упаси боже! — и он упадет на дорогу, то сразу же разрастется, станет большущим и как мячик будет кататься взад-вперед. А то еще в ночной темноте вдруг загорятся разноцветные огни, нет, не маленькие, а с фрутабомбу[1], и осветят всю дорогу. Это, говорят, души грешников. А другие огни, еще побольше, голубые, это — души праведников Или птиц возьми. Порой они возле дорог кричат человечьими голосами. Страсть какие здесь дороги! А как-то, говорят, на дорогу с неба даже зонтики спустились, цветастые и разные. А кто лошадей на дорогах треножит? Конечно, нечистый. А вот по дороге к Бабьему ручью кот бродит. Черный-пречерный. И говорят, ежели кто в новолунье повстречается с ним, то в тот же миг кот оборачивается жеребцом и скачет вдоль ручья.

По этим дорогам и мертвецы подчас попадаются. Нет, не привидения, а самые настоящие мертвецы, потому как они гниют и стервятники над ними кружатся. Не раз я сам видел. Понятно, давно это было, еще при Полковнике Вешателе...

Много страха наводят тут дороги, не дай господи! Другой раз тянется-тянется дорога и вдруг нежданно-негаданно пропала, утонула в траве, в зарослях марабу. Неизвестно почему, как и неизвестно, кто ее проторил и зачем. Нынче, конечно, дороге не зарасти травой — вон какие чудища — машины ходят. Под таким грузовиком и былинки не останется в живых. Да вот, кстати, погляди, погляди, опять махина прет, даже земля задрожала, вот-вот треснет, расколется...

«ЗИЛ», груженный свежеспиленными смолистыми бревнами, легко катит по ровной дороге, оставляя за собой длинный, медленно оседающий пыльный хвост.

Циклон прошел и здесь, но большого ущерба лесам не нанес. Не устояли перед напором циклона главным образом эквалипты и махагуа, повалило их немало. А вот сосны выдержали почти повсюду, если не считать кое-каких молодых посадок. В бригадах Монте Гранде и «Феликс Лопес» убытки незначительны. Хуже положение в Лас Десеадас, а особенно — в низине Эль Деррумбадеро.

После проливных дождей наступило затишье, знойный ветерок быстро высушил лужи. Лишь тогда появился Сиако, охотно рассказывавший о страшных злоключениях, которые им с Куэто выпали на долю. Позже — с неба уже исчезли последние клочья

Окончание. Начало в № 1.

[1] Местное название крупного плода тропического дерева папайо.

серых облаков и солнце вновь засияло над дорогами — стала сходить вода и из Эль Деррумбадеро. Тут нашли и негра Амансио. Неестественно искривленный, он свисал с узловатых сучьев вымытой потоком коряги. Нос и широко разинутый рот его плотно забило тиной и грязью. Стервятники уже успели выклевать ему глаза, растерзать живот.

Бруно, Луис и Хорхе возвратились в Эль Деррумбадеро после наводнения, когда над сырой землей, как дым над пожарищем, еще поднимались испарения. Вместе с ними в долину на нескольких грузовиках приехали рабочие отряды, немедленно приступившие к валке и вывозке поврежденного леса, к восстановлению пострадавших построек в Лас Десеадас. К тому времени в поселок стали прибывать и грузы в ящиках из Гаваны. Особенное любопытство и перетолки среди людей возбудил самый большой ящик: черной краской на нем были нарисованы рюмка и зонтик.

С раннего утра в поселке царила деловая атмосфера. К полудню густой и неподвижный, прогретый солнцем воздух настолько насыщался влагой, что тело сплошь покрывалось сильной испариной, как будто человек только что вылез из воды.

Серхио и Пипе занимались распределением спецодежды, обуви, инструмента, а также учетом работ. Бруно успевал везде: его можно было встретить и среди строителей поселка, и в Эль Деррумбадеро, и в конторе, и среди рубщиков леса. На Мерседес была возложена организация питания.

Как-то утром на голове Мерседес появился новый платок — ярко-апельсинового цвета, издалека его можно было увидеть: резко выделялся он на фоне окружающей влажной зелени. На дороге показывался «газик» Бруно — и Мерседес тотчас же снимала сомбреро, которое обычно носила поверх платка. Этого никто из ее подруг не замечал, во всяком случае теперь никто над ней не смеялся.

Земля, высыхая, постепенно теряла свой прежний красный цвет, а сосны, покрываясь пылью, теряли зеленый. Дороги затвердели, о прошедших ливнях напоминали по обочинам промоины, на дне которых извивались муаровые илистые разводы — следы пронесшихся здесь потоков. Почву опять изморщинили трещины, солнце и ветер усердно перемалывали сухую глину в мелкую пыль.

На строительные работы ушло более месяца. Когда последствия наводнения были окончательно ликвидированы, а кроме того, воздвигнуто здание школы, в Лас Десеадас состоялось небольшое торжество. В тот вечер в приютившемся среди холмов поселке наконец зажглись электрические огни — пустили первый из полученных движков. И как-то по-новому засверкали глаза людей, необычными казались окружающие вещи; даже воздух, насыщенный пылью, засветился праздничным красноватым светом. Старухи и ребятишки перетрухнули немало, когда на площади одновременно вспыхнуло несколько лампочек. Оправившись от неожиданности, народ восторженно загудел. Послышались старушечьи ахи-охи, детский галдеж, солидные рассуждения мужчин.

— Да так и ослепнуть можно,— бормочет какая-то бабка, прикрывая ладонью глаза.

— Вот не представлял, что и ночью у нас столько пыли.

— Чего это рты разинули, будто никогда не видели электрического света?

— А что ты думаешь, многие и не видели.

— Нет, вы только посмотрите!

— Сколько раз я видел. Не здесь, понятно. И вот здесь-то все выглядит как-то странно.

— Господи, сверкают как!

Дети поменьше прячутся за матерей, но любопытство побеждает — и они все смелее и смелее выглядывают из-за юбок.

— Неужто и правда есть такие, кто никогда электрического света не видывал?

— Конечно есть. Молодежь-то видела, а старики и детишки отсюда не выезжали, где же им увидеть?

— Что делается! Что делается!

— И теперь что же, лампочки всегда будут гореть?

В праздничном свете улыбки кажутся шире, а удивление и растерянность — глубже.

— Нет, вы только посмотрите!

— Вот это да!

— Мама, это звездочки с неба спустились?

— Через месяц дадим свет во всех бригадах. Радио наладим...

— Чего плачешь, бабка?

— Мамочка, а как это делают?

— Видишь, выполнили — как и обещали. А ты говоришь.

— Загляденье!

...Она проходит под скрещивающимся светом электрических лампочек, чувствуя на себе жадные взгляды, обшаривающие ее с ног до головы. Мужчины смотрят так, что она чуть не физически ощущает их бесцеремонное разглядывание. Невольно оборачивается — во всех глазах одно и то же. И проходит дальше, мягко покачивая бедрами, выставив вызывающе высокие груди, туго натянувшие кофточку. Идет притворно безразличная, будто переполох в мужских глазах вызван не ею.

— Ты на лампочки смотри, нечего на нее глаза пялить!

— Мать честная, вот это да!

— Только мотор больно шумит, а то бы совсем хорошо.

— Видишь, все, как обещали, так и сделали. И одежу выдали, то-другое, а теперь и свет!

— А в дома будут проводить?

— С такой женой я бы не мог жить: на корню засушит!

— Нет, это только для правления да общежитий.

— А может, в ближние дома проведут?

— Не знаю, может и проведут.

— Как идет-то!

Сиако, сделав равнодушное лицо, следит за ней. Однако замечая, что кто-нибудь на него смотрит, тотчас же отводит глаза, выжимает улыбку, переходит от одной группы мужчин к другой.

— Какая приятная неожиданность! — слышен его наигранный голос.

Нати и Клементе шагают рядом, он крепко прижимает ее к себе, обняв за талию. Она идет с безучастным видом, словно это не на нее уставились десятки голодных глаз. Лишь изредка, окидывая взглядом толпу, ищет в ней Сиако. «Что это он мне вчера сказал? Что же теперь делать? И говорил как-то необычно, чего-то недоговаривал...» — преследуют ее мысли.

Осмелевшие ребятишки с криками носятся по площади, старухи продолжают умиленно ахать, не сводя глаз с новоявленного чуда. Молодежь собралась вокруг грузовика, на который один за другим взбираются доморощенные поэты, чтецы, музыканты. В стороне от праздничной суеты одиноко сидит на скамейке Клаудиа. Уставилась на лампочки, и будто высвеченные их светом в памяти всплывают воспоминания... Вот они с Сиако в городе. Он взял ее с собой, как и обещал. Сколько света! Даже глаза заболели. Туфли ей купил, платье, в кино водил... В комнатушке гостиницы обнимал ее, целовал. Потом она попросила его выключить свет, он не хотел, говорил, что при свете ему нравится больше. А ей было стыдно. Сиако успокаивал: «Не бойся. Все будет в порядке. Я сам поговорю с твоим отцом. А жить мы уйдем куда-нибудь в другое место. Дом построим». Зачарованная необыкновенным светом, не похожим на свет ни луны, ни солнца, ни керосиновой лампы, смотрела она в его глаза, в которых тоже прыгали огоньки, и шептала: «У нас будут дети, много детей, да?» «Сколько ты захочешь»,— отвечал Сиако. «И ты всегда, всегда будешь меня любить» — «Всегда..»

— Что с тобой? — спрашивает Сиако, подойдя к жене и положив ей руку на плечо.

— Ничего, я так. А что?

— Пойдем выпьем. Слышь, Клаудиа, пойдем.

— Народ-то разгулялся и спать не думает.

— Еще бы, светло.

— Даже пыль видна.

— Оказывается, и ночью пыль в воздухе.

— А вон туда взгляни!

— Говорят, в грозу зажигать их нельзя — молнии притягивают.

Заметив Клаудию и ее мужа, Хорхе говорит:

— Чего-то Сиако в последнее время переменился. Каждый день на работу выходит. К жене смотри как ласкается.

— Человек на краю гибели был. После такого почувствуешь раскаяние да угрызения совести,— отвечает Аресио.

— Ну прямо как пава идет!

— А что вы скажете о Сиако? — с улыбкой обращается Аресио к Бруно.

— Не совсем понятно...

Улыбка сходит с лица Аресио.

...Так вот я и говорю: дороги. Для меня они как люди. Она, дорога-то, значит, по-своему тебе обо всем расскажет, пока идешь по ней... Что я думаю? Для старика, к примеру, как для меня, здешняя дорога все равно что человек. Она тоже идет куда-то, идет, а потом смотришь — и нет ее. Сперва понемногу, а далее все больше травой зарастает — и считай, это уже не дорога. И некоторые люди со временем тоже вроде зарастают сорняком, пока человеческое совсем не скроется из глаз. И к старости вокруг тебя ни дорог, ни людей...

Китайчик Тилин на мулах тут работал. Здесь же, у самой дороги стоял наш дом, а дальше — дом, где жила Ольгита. Мимо нас Тилин все время и ездил — уголь возил, габак. С малых лет его помню. Да и как не помнить. На этой дороге я и вылечился от страха. Мне тогда уже четырнадцать лет было. А после, лет через шесть, опять боязливость на меня напала. С тех пор и остался я на всю жизнь таким пугливым. Вот почему мне запомнилась эта дорога. Да и как не запомнить? Здесь, именно здесь она проходила. Шла, значит, мимо этого дерева и дальше — туда, через ручей...

Когда возвращались с праздника, настроение Клаудии несколько приподнялось. То ли потому, что Сиако приласкал ее при всех, то ли лунная дорога напоминала ей ту, другую,— но в душу ее закралась было робкая надежда. Однако чем дальше они шли, тем заметнее менялся Сиако, в голосе его вновь зазвучали резкие, раздраженные нотки.

— А хорошо сделали со светом-то. Слышишь, Сиако?

— Поторапливайся! Поторапливайся!

— И директор, похоже, неплохой человек.

— Лиса! Хуже лисы!

Пыльная дорога слегка отсвечивает в темноте. Клаудиа догоняет Сиако, идет рядом. Их тени нескладно прыгают по частоколу длинных неподвижных теней деревьев, пересекающих дорогу.

— Ко мне он отнесся очень хорошо,— продолжает Клаудиа.— И Мерседес тоже, и Пипе. Все отнеслись хорошо.

— Поэтому они и хорошие?

Высокая сосна закрыла своей кроной луну, дорога потемнела.

— Сиако, не понимаю я, почему ты стал такой...

— Ну, завела!

— Я ничего не говорю. Просто мне хотелось, чтобы ты знал, как ко мне хорошо отнеслась Мерседес. Словно за матерью родной ходила. Вечером все время сидела со мной в столовой, разговаривала, успокаивала... И директор тоже.

— О чем разговаривали?

— Да обо всем. И Бруно вежливо говорил.

— Лиса! Что он тебе сказал? — насторожился Сиако.

— Ничего особенного.

— Как это ничего?

— Да не помню я. У меня в ту пору в голове все перемешалось, очень волновалась из-за тебя.

— Так уж совсем и перемешалось?

Луна, выбравшись наконец из-за мешавших ей сосен, светит прямо в лицо Клаудии, и под этим светом лицо становится более бледным, безжизненным.

— Что он сказал?..— пытается вспомнить Клаудиа.— Говорил, чтобы я не беспокоилась, что в беде, мол, меня не оставят. И что ты, наверно, не утонул, а укрылся где-нибудь в безопасном месте.

— Так и сказал? — нервничает Сиако.

— Так, а что?

— Спрашивал что-нибудь еще про меня?

— Ничего.

Сиако останавливается. Лицо его зловеще насуплено.

— Говори, что еще спрашивал про меня!

— Да ничего, я же сказала тебе,— отвечает Клаудиа, также остановившись.

Угрюмо сверкнув на жену глазами, Сиако быстрым шагом идет дальше. Клаудиа спешит за ним. Вдруг он опять резко поворачивается, хватает ее за плечи и сильно встряхивает, будто надеясь вытрясти из памяти женщины то, что его интересует.

— Вспомнишь ты или нет, чертова баба? Что ты ему про меня говорила?

— Ну, я сказала, что ты какой-то чудной стал, не как раньше.

— Дура! Что еще?

— Что в последнее время ты чувствуешь себя неважно. Вроде чем-то озабочен.

— А он что?

— Ничего. Даже внимания не обратил. Улыбнулся только.

— Сука!

Железные пальцы мужа сжимают запястья Клаудии, она вскрикивает от боли.

— Молчи! Про мой приемник рассказывала? — впивается он глазами в ее лицо.

С холмов, заросших соснами, потянуло ветерком, крепко насыщенным запахом свежей хвои и смолы. Внезапно где-то совсем рядом раздается не то крик, не то свист. Вздрогнув, Клаудиа инстинктивно припадает к Сиако.

— Это птица,— отстраняет он жену от себя.— Так о приемнике говорила или нет?

— О приемнике ничего не говорила. Зачем же я стану говорить?

— Ни слова об этом, никому! Учти, я связался с одним делом, и это может стоить мне жизни, понимаешь? Если кто-нибудь тебя будет расспрашивать обо мне, ничего не рассказывай!

— Ни за что не буду, Сиако.

— Ну ладно, идем.

Снова две тени шагают рядом.

— Поторапливайся, поздно уже. Видишь, как они за меня взялись,— бормочет Сиако.— Но погодите, мы еще рассчитаемся. Я вам покажу такое, что быть повешенным на сосне покажется счастьем. Ты, Клаудиа, выбрось из головы, что они хорошие,— обращается он к жене.— Они хуже собак.

Клаудиа молчит. В ее расширившихся глазах — страх и покорность. В эти минуты только и осталась от прежней Клаудии — той, которая ждала его когда-то в кустах,— испуганная покорность глаз.

...До четырнадцати лет я страсть какой был боязливый. Дед, помню, по вечерам ходил к куму в домино играть и меня брал с собой. Так вот пока они там играли, я сидел ни жив ни мертв. Вцеплюсь, бывало, в табуретку и сижу. А когда обратно шли — от деда ни на шаг, все время за его штаны держался. Идти надо было два километра, и всю дорогу я думал о привидениях, хоть и не знал, что это такое. У нашего дома дед ждал, пока не откроют мне дверь. Я сразу в нее прошмыгну и скорей спать. С братом спал — один боялся. И ночью тоже, если мне, значит, на двор выйти надо, я будил брата, он постарше меня был, ну и провожал меня каждый раз. Как-то проснулся я утром и спрашиваю мать: «Мама, почему я так боюсь по ночам, никуда не могу один ходить?» А она мне в ответ: «А ты, сынок, не бойся, ты скажи: «Именем господа бога и пресвятой девы Марии»,— и тогда никакая нечисть к тебе не пристанет». Ну, тут я сразу осмелел и говорю: «Нынче вечером пойду один к куму, ничего не побоюсь!» Приготовил мачете, заранее заговоренный именем господа бога и пресвятой девы Марии, и чувствовал себя настоящим мужчиной. Извелся весь, пока вечера дождался. Наконец пришел за мной дед. Я, значит, повесил на пояс мачете и пошел. И не цепляюсь больше за деда, а иду позади. Он кричит, чтобы я не отставал, а я все равно иду себе не спеша и ничего ему не отвечаю. Тогда дед и говорит: «Видать, ты где-то прикупил нынче храбрости». Когда мы уже почти дошли до кума, я взял да и повернул назад и один пошел домой. Иду, а сам все думаю, как меня мать учила, и потихоньку про себя повторяю: «Именем господа бога и пресвятой девы Марии». И за мачете держусь: то выну его чуть-чуть, то опять всовываю в чехол. Миновал я, значит, дом Ольгиты, от него до нашего еще с километр. Понятно, нет-нет, да и назад поглядываю. Подхожу к тому дереву, где, по рассказам, ночами привидение в образе женщины появлялось. Честно говоря, дрожь меня стала пробирать. Ветерок откуда ни возьмись подул, и слышу — шуршит что-то, как вроде шевелится в темноте. Потом ветер завертел, закрутил сильнее, и вдруг донесся будто крик приглушенный. Обомлел я, ну, думаю, — эта самая женщина и есть! Потом оказалось, что это бумажка какая-то шуршала. Кто-то обронил ее, стало быть, на дороге. Конечно, заметив бумажку, я понял, что зря испугался. Однако на всякий случай прямо по дороге не пошел, а взял правее — мимо дерева, напрямки к мостику. Был такой мосток, перекошенный, на честном слове держался. Теперь-то он уже развалился. Вдоль него, значит, две слеги протянуты, вроде перил. Взошел я на этот мосток, сперва все вниз смотрел, а потом, как взглянул вперед-то... и вижу: у конца мостика человек стоит, желтый весь, ровно мертвец. Мертвых-то к тому времени я повидал: бабка моя незадолго до того умерла. Как сейчас помню — огромная шишка у нее на лбу была. Ну так вот, смотрю — стоит человек и вроде поджидает кого-то в сторонке. Меня, надо полагать, дожидается. Только я с мостика сошел, а он ногу — раз — и на тропинку. «Доброй ночи»,— говорит. Я, конечно, сразу же: «Именем господа бога и пресвятой девы Марии»,— и наутек. Бегу, кричу и сам не знаю, что кричу и куда бегу. Потом очухался, а я — в овраге. Метров двадцать пять глубиной овраг-то и травой весь зарос, высокой, густой. Споткнулся обо что-то и кубарем вниз, руку подвернул. Лежу на дне, ору что есть мочи. А дом был близко. Услышали родные, бегут ко мне. Мать спрашивает: «Что с тобой, сынок?» Я говорю: «Мертвец! Мертвеца я увидел!» «Где?» — спрашивают. «Вот там, у мостика». А там у мостика и вправду человек стоит. Стоит и тоже никак в себя прийти не может. Когда отец к нему подошел, человек рассказал: «Понимаете, сеньор, я вижу, что по мосту кто-то идет, ну и решил подождать, чтобы разминуться. Потом пожелал ему «доброй ночи», а он мне в ответ: «Именем господа бога и пресвятой девы Марии» — и в овраг.

Ну, привели меня домой, и мать говорит: «Сынок, чего же ты испугался? Ведь это Тилин был, китаец». Тут я тоже понял, что это был Тилин, и говорю матери: «Знаешь, что? Не верю я больше ни в бога, ни в пресвятую деву Марию, и в привидения ваши не верю, и бояться их никогда не буду». Четырнадцать лет мне тогда было. И правда, перестал бояться. А в двадцать лет опять меня страх обуял. Вот так-то и все тут у нас...

— Здесь картина совсем не та, что в Лас Десеадас,— объясняет Хорхе.— Расчистку придется делать только на участках, где лес моложе шести лет.

Они стоят возле «газика». Бруно слушает агронома-лесовода, а глаза его следят за группой женщин, спускающихся по дороге к питомнику.

— При расчистке нужно не только освобождаться от ненужных зарослей, нет. Надо будет выбрать поврежденные деревца и подсадить вместо них новые, надо

уничтожить весь кустарник, плющ, лианы. Необходимо детально проинструктировать рабочих, постоянно контролировать их,— продолжает Хорхе.

— Вы не пробовали применить гербициды? — интересуется Бруно, отрывая взгляд от дороги и поворачиваясь к Хорхе.

— Пробовали. Но дело в том, что здесь очень сухие почвы, случается самовозгорание,— отвечает Хорхе и продолжает свою мысль: — Ливни оставили здесь много канав и промоин. Надо перегородить их. Подсобный материал получим при расчистке плантаций. На первый взгляд ущерба здесь не так много, но почва разрушена гораздо серьезнее, чем в Лас Десеадас.

Бруно опять взглянул на дорогу, но теперь женщин не видно.

— Как часто следует ставить перемычки? Это зависит, разумеется, от глубины и вообще от характера размыва,— деловито поясняет Хорхе.— Важно все ветви, сучья и кустарник закреплять камнями и складывать в определенном порядке — против течения, корнями вверх. Начинать надо тоже сверху.

— И много народа потребуется? — спрашивает Бруно, продолжая вглядываться в дорогу, снова отыскав глазами пеструю группу, она уже далеко — на подходе к питомнику.

— С рабочей силой по-прежнему трудно,— вмешивается Яйо.

— Прогулы? — настораживается Бруно.

— Чуть меньше, но еще есть... Понимаете, когда начинается уборка на личных участках, народ неохотно выходит на работу...

Бруно еще смотрит в сторону питомника, но теперь группа скрылась окончательно.

— Как с выпасом скота? Инструкция соблюдается? — спрашивает он.

— Соблюдается,— неуверенно отвечает Яйо.

— Результаты?

— Да вот, задержали лесники двоих или троих. Понимаете, трудно уследить сразу за всеми...

— Скоро будет легче,— говорит Бруно.— А пока надо следить. Вот установим радиосвязь и начнем организованное наблюдение. Радиостанцию у вас поставили?

— Готова,— отвечает Яйо.

— И как народ?

— Довольны, конечно. Вы же представляете...

Бруно замечает быстро приближающихся к ним троих мужчин. На их запыленных лицах потные разводы. Волосы мокрые и слипшиеся, словно на голову каждого только что выплеснули по ведру воды. Самый старый — лицо его изрезано глубокими морщинами — нервно ворочает во рту потухшую сигару.

— Мы к вам... С вопросом..— обращается он к Бруно, голос его прерывается одышкой.

— Чего же вы так спешите? Стряслось что-нибудь?

— Спросить вас хотим...— продолжает старик.

— Хорошо, теперь спешить уж больше некуда. Пойдемте в столовую, отдышитесь немножко, воды выпьете, кофе. Там и поговорим,— приглашает Бруно.

По дороге он кладет руку на плечо старика и интересуется:

— Что же вас взволновало?

— Нас, знаете, вызывали в город — опять о Миле расспрашивали. Ну, мы, конечно, то же самое сказали, что и раньше. Правду то есть. Потом мы их тоже спросили: будут у нас землю отбирать или нет? Они ответили, что не знают. Знают только, что земля государственная — и все.

В столовой расселись за длинным столом. Яйо принес кофе. Пришедшие пьют молча, переглядываясь между собой, будто подталкивая взглядами друг друга.

— Ну и что дальше? — расспрашивает Бруно старика.

— Что дальше? Слухи у нас тут ходят, что отбирать землю будут. Кооперативы какие-то будут делать.

— Кто это вам сказал?

— Народ говорит, люди то есть Вот мы и хотим, чтобы сказали нам прямо: отберут землю или нет. И без всяких, значит, отговорок да уверток. Не люблю я этого...

...Девчонка одна у меня была, жила близ этой самой дороги. Дочка дона Ансельмо. А я, надо вам сказать, в то время был гол как сокол, ну, скажи — умереть, и го негде. Дон Ансельмо и слышать обо мне не хотел — он-то богач был, дом у него — всей округе на зависть. Когда в город собирался, новую гуайаберу надевал, шляпу дорогую, на лошадь — серебряную сбрую, мексиканскую. Чтобы свидеться с Ольгитой — так его дочку звали,— я через Тилина передавал ей весточки. Встречались мы в сарае для сушки табака, неподалеку от их дома. В те времена тут по долинам еще разводили табак. Давно это было. Девчонка, правду говоря, не по мне была — любой богач за честь бы посчитал... Ну вот, значит, прихожу я раз к ней на свидание в сарай в этот самый, сижу и жду. А уже темнеть стало. Чувствую, рядом со мной ящик какой-то. Сунул руку — рыба вяле-

ная. Взял одну, прилег на сиденье от старой коляски, лежу, жую и думаю о всякой всячине, чтобы время как-то убить. Ольгита ведь приходила ко мне украдкой, потому, случалось, и запаздывала. Жую я, значит, и вдруг чувствую: во рту у меня пена. А тут еще кто-то ящик этот как толкнет! Я сперва подумал, что это дон Ансельмо, узнав о наших с его дочкой проделках, подстерег меня. Потом гляжу — нет: волосатый какой-то стоит, то ли на сову похож на большую, то ли на обезьяну. И руки, не то лапы, растопырил, чтобы, значит, я не выскочил из сарая. А я ни шелохнуться не могу, ни крикнуть: рот-то пеной забит, и еще тошнит меня. Схватил меня этот лохматый за шиворот и поволок через весь сарай, а сам бормочет: «Карамба! Карамба!» Я только ногами дрыгаю, и вдруг вспомнил, как меня мать учила. «Именем господа бога,— говорю,— и пресвятой девы Марии». И тут чудище это, гляжу, затихло. А потом отшвырнуло меня обратно к ящику с рыбой и исчезло, как и не было. Пришел я немного в себя и тогда уж по-настоящему перепугался — а вдруг, думаю, снова вернется! От сарая отлетел, как черт от заутрени. Прибежал домой, жар у меня, весь огнем горю. Всю ночь бредил и кричал что-то. А наутро позвал Тилина и попросил его передать Ольгите, что больше к ней не приду. Да бог с ней теперь, с Ольгитой, до сих пор я вот понять не могу, что это за лохматое было. Думается, что дон Ансельмо колдунью мне подослал. Потом кто-то рассказывал, что видели лохматое в доме у Карлоты, на Бабьем ручье, там, где крест торчал из вроды. А Карлота могла, говорят, превращаться в большую сову... Потом, спустя год, слышал я, вышла Ольгита замуж за одного дона из Монте Гранде, и отсюда они уехали. Теперь небось этот дон-подонок, то есть муж Ольгиты, уж помер давно, и могила его чертополохом заросла. Как и эта наша с Тилином дорога заросла травой...

■

Не успела она заметить, когда рука выскользнула из кармана брюк и взметнулась над ним. Единственно, что увидела,— это мелькнувшее в воздухе лезвие бритвы. Она только вернулась в зал, и в это мгновение Марио выбил бритву из руки противника. Сейчас даже трудно сказать, как все это произошло; она лишь помнит, что летевшее лезвие стукнулось о стол и упало на пол. А мужчины уже сцепились в рукопашной драке. Лицо у противника Марио было вымазано кровью. Сидевшие за столиками бросились к ним, скрутили руки, растащили. Нати подошла к Марио и увела его в их комнатушку.

— Что он с тобой сделал? Что с рукой? Ну-ка, покажи!

Тут она поняла, отчего лицо у противника Марио было в крови. На ладони Марио зиял глубокий разрез.

— Похоже, я схватил лезвие, а он отдернул руку,— сказал Марио.

Нати лежит в постели и вспоминает...

В тот вечер она ни о чем ином не думала. Не думала и не хотела думать. Но так уж вышло — не смогла, да и не дали ей остаться в тот вечер такой, как ей хотелось. А почему так вышло — она и сама объяснить не может. Вышло — и все. Тогда ей так же, как и теперь, очень хотелось уйти куда глаза глядят из этих проклятых мест...

Когда она разжала его ладонь, кровь еще сочилась.

— Из-за чего дрались-то?

— Ни из-за чего,— буркнул Марио, выдергивая руку.

— Сожми кулак и так сиди, пока я не вернусь.— И вышла из комнаты.

Собственно, это была не комната, а четверть комнаты, разделенной картонными перегородками. Ее убранство — две железные койки и несколько ящиков из-под пива. Там, где перегородки скрещивались, был сделан вырез для лампочки, тускло освещавшей сразу все четыре части комнаты.

Через несколько минут Нати принесла таз с водой, чистое полотенце и пузырек с йодом.

— Будет щипать.

Залив рану, она развязала узелок, лежавший на кровати, разорвала свою кофточку и туго забинтовала руку Марио.

— Из-за чего дрались-то?

— Ни из-за чего...

Как сейчас видит его Нати перед собой.

...Он приходился племянником Клементе. В течение нескольких месяцев они втроем выжигали уголь в низинах у болот. Она собирала дрова по склону ближайшего холма, варила пищу. Спали на земле под навесом, устроенным рядом с очагом... Ее поразил взгляд Марио, очень смахивающий на взгляд Клементе, но чем-то и непохожий. Если Клементе посмотрел на нее тогда в «Лас Ботес», будто спрашивая: «Могу ли я надеяться?» — то во взгляде Марио даже этого не было. Он вообще старался не смотреть на нее. А если и приходилось взглянуть, то сразу можно было заметить,

что его взгляд не таков, как у Клементе. И с той минуты как она это поняла, глаза Клементе потеряли для нее интерес, потеряли свою силу, больше уже не ласкали ее. А Марио, когда вынужден был оглянуться на Нати, старался делать это так, чтобы не видеть ее. Чаще всего просто не смотрел. И за этим что-то таилось. Нати чувствовала. Работал Марио как мул — изводил себя на работе, лишь бы не видеть ее. Даже в тот день и в тот вечер он старался не смотреть на нее. И только потом — ночью, при свете луны — он бросил на нее первый и последний взгляд, который поразил ее: в его глазах, где-то в самой глубине, вспыхнул бешеный огонек. И все! Он тут же отвел глаза, резко оттолкнул Нати и бросился бежать...

В тот день они ходили в Байаху, к врачу. Очень не хотелось Нати видеть этот городок. Но Марио обжег себе ступни, когда пытался затоптать костер, в котором выжигал уголь. Да и сама она уже давно чувствовала недомогание. Клементе дал им несколько песо — заплатить врачу, и они пошли. Одна нога у Марио уже поджила, и он свободно наступал на нее, но другая нагноилась, очень болела. Разумеется, пройти за день оба конца — до Байахи и обратно — он не мог. Ничего другого им не оставалось, как переночевать в городке. Денег было в обрез, и они решили снять у Фермина комнатушку на двоих: все-таки тут стояло две койки.

Возвратившись от врача, зашли сначала в передний зал заведения Фермина — немного перекусить перед сном. Тут-то к Марио и привязался какой-то мужчина, или Марио сам к нему пристал — этого она не видела, в тот момент выходила. Возвратившись, только и успела заметить, как, словно молния, сверкнула бритва...

Легли рано, не раздеваясь. Оба лежали на своих койках с закрытыми глазами, но Нати не спала. Не спала и знала, что Марио тоже не спит. Когда погасили лампочку, она встала с постели и опустилась возле него на колени. В жидком лунном свете, проникавшем через маленькое окошко, она различала черты его бледного лица и завитки светлых волос. Марио по-прежнему лежал, закрыв глаза. Ее охватила жалость, и она поцеловала его перевязанную руку. Ни о чем другом она тогда не думала. Не думала и не хотела думать. Она ощущала себя чистой и доброй, как никогда раньше. Такой бы ей хотелось и остаться. Хотелось, но вот — не смогла.

— Из-за чего вы подрались? — спросила она, приблизив свое лицо к нему.

Марио все еще не раскрывал глаз, но мускулы его лица слегка вздрагивали под ее пристальным взглядом.

— Вы дрались из-за меня, да?

Марио рывком сел в кровати. Теперь глаза его были широко раскрыты, но она понимала, не видит он ее — не хочет видеть.

— Давай уйдем отсюда. Я пойду с тобой, куда ты хочешь, буду делать то, что ты хочешь. Буду тебе самой хорошей женой, в жизни не обману тебя. Я буду такой, какой ты захочешь. Возьми меня, увези с этих проклятых гор, увези подальше, чтобы позабыть все, все, все!..

Марио молчал. И тогда Нати начала медленно раздеваться. Он сидел неподвижно, напряженно, словно сведенный судорогой. Сбросив с себя белье, она подошла к нему и вдруг заметила, как в его глазах, где-то в самой их глубине, сверкнул бешеный огонек. Забинтованной рукой он оттолкнул ее и опрометью бросился бежать. В памяти запечатлелось, как ударом ноги он распахнул картонную дверь и, прихрамывая, побежал. Накинув платье, Нати выскочила за ним, но Марио как в воду канул. На следующий день она его искала по всему городку. Не нашла. Так одна и вернулась к Клементе. Он спросил про Марио. Нати ответила, что тот не вернется и просил передать, что больше не будет работать с ними на выжиге угля, ушел... Больше она ничего не сказала.

— Как это ушел? А куда?

— Откуда я знаю?

— Куда он пойдет — с больной ногой?

— Нога у него уже лучше.

— Обжигать уголь — дело, понятно, нелегкое, немногие тут могут работать. А он чересчур молод. Странно, почему же мне он ничего не сказал? — удивлялся Клементе.

— Наверно, не хотел огорчать.

С тех пор его она больше не видела. Позднее одна из сестер Клементе передавала, что Марио будто бы уехал в Гавану, устроился где-то садовником.

...Что значит, как мы жили здесь? Вы уж, быть может, сами знаете. Хотите, чтобы еще я вам рассказал? Пожалуйста, расскажу. Хоть мне и невесело вспоминать об этом, но рассказывать я люблю.

Разве это жизнь была? Горе, а не жизнь!

Я тут неподалеку от залива построил себе хижину, рыбачил — ловил, значит, биахайбу, ею и кормились. Понятно, не всем так везло. Многие питались только пальмовыми побегами. Опять же дикий миндаль собирали, пекли из него лепешки. Да, еще забыл сказать — соли тут у нас не было. Сюда вообще ничего не привозили. За солью приходилось самим ходить на побережье. Есть там одно местечко — Плайеро мы его называем. В этом Плайеро выпаривали соль из морской воды. А идти-то туда,

знаете, каково было? Не то беда, что далеко,— мимо земель кровопийцы Ла О приходилось идти, вот в чем дело. И чуть с дороги собьешься — говори пропал. Хорошо еще, если просто в подвал посадит... А соль-то, знаете, какая получалась? Такими вот плитками, вроде большой чешуи. Потом ее надо было дробить и толочь. К тому же очень невкусная — с горчинкой. Что и говорить, никудышные были здесь места!

В столовой густо накурено. Старик жует беззубыми деснами кончик сигары и сквозь синие струйки дыма настороженно поглядывает на Бруно. Остальные сидят, потупившись. Вынув наконец сигару изо рта, но продолжая вертеть ее меж коричневых и морщинистых, как старые корни, пальцев, старик уже в который раз твердит вопрос:

— Все нам очень понятно, только с землей-то как: отберете или нет?

— Могу опять объяснить — спокойно продолжает Бруно,— эта земля государственная, она не принадлежала Миле и точно так же не может принадлежать вам.

— Но мы же деньги за нее платили,— стоит на своем старик.— Раскорчевали ее, очистили.

— Ну ладно, подойдем к вопросу с другого конца,— Бруно глубоко затягивается сигаретой.— Что вас беспокоит? Почему вы так волнуетесь?

— Как же не волноваться? Если у нас отберут землю, чем мы кормиться-то будем? Не на продажу сеем, а для себя, для своего пропитания.

— Я не говорю, что на продажу, хотя точно знаю: кое-кто здесь спекулирует продуктами.

— Кое-кто — может быть, а мы только для себя,— бубнит старик, снова вынув сигару изо рта и обильно сплюнув на пол.

— Стало быть, вас беспокоит вопрос о питании?

— Само собой...— удовлетворенно кивает старик.

— Я вот что скажу,— говорит Бруно, оглядывая своих собеседников.— Революция не занимается утешительной болтовней. Здесь многое делалось неправильно, и мы обязаны все исправить. И исправим! Но что касается питания — это не должно вас беспокоить. Вас именно питание больше всего волнует? — обращается он к старику.

— Само собой... Значит, я так понимаю, что не будете отбирать?

Старик хочет еще что-то сказать, но прилипший к губе листик табака от сигары отвлекает его. Он торопливо проводит по губе языком, находит и слизывает листик, тут же его сплевывая.

— Я уже объяснил, что земля эта вам не принадлежит. Но это, повторяю, не должно вас беспокоить. Для того мы и совершили революцию, чтобы те, кто не имел ничего, стал бы жить лучше, чем прежде.

— Как же лучше, если землю отберете? — вмешивается один из спутников старика.— С такими сказками ищите того, кто подурее.

— Какими сказками? — резко поворачивается к нему Бруно, голос его становится жестким.— О каких сказках вы говорите?

— Видите,— приходит на выручку товарищу третий, самый молодой из них.— Сейчас мы имеем землю, а если ее отберут, то что? Ведь не все равно, что с землей, что без земли...

— Когда Миле продал вам землю? — наклонившись над столом, в упор смотрит на них Бруно.

— Что-то около года,— отвечает старик.

— А раньше чем жили? Что у вас было?

— То-то и оно, что ничего не было,— признает старик.

— И как вы тогда жили?

— Хуже собак, понятно. Поэтому и хотим...

— Так вот я вам говорю, что теперь вы будете жить намного лучше, чем раньше. Будете спокойно работать, будет пропитание... Чего же вы замолчали? — обращается Бруно к тому, который ссылался на сказки.— Что вы об этом думаете?

— Ничего.

— Вы нам не про «хорошо» или «лучше», а ответьте, можно сеять или нет? — поднимаясь, спрашивает старик.

— Можете,— отвечает, встав Бруно.— И все будет решено правильно.

Встают и его собеседники. Нахлобучив сомбреро, уходят, но между собой о чем-то толкуют приглушенными голосами. Отойдя несколько шагов, останавливаются, как бы собираясь вернуться, чтобы еще о чем-то спросить. Однако, перекинувшись еще парой фраз, удаляются в сторону питомника.

— Я вас предупреждал, что с этими проблемами — земли, коллективных хозяйств — не так просто,— говорит Хорхе и осекается, поняв свою бестактность.

— Так что же,— обращается к нему Бруно,— расчистку лесов можно будет организовать во всех бригадах одновременно?

— Если рабочих рук хватит.

— Тогда надо быстро разыскать Серхио, Луиса и Пабло, и давайте все вместе соберемся в правлении,— распоряжается Бруно.— Я тоже подъеду.

Поверите или нет — пройти нельзя было по этим, будь они прокляты, дорогам, которые сделал для себя Ла О. Чуть что — стреляли. Люди шагу не могли сделать У него, видите ли, скот там пасся! А на что ему был скот? Коровы умирали так просто, от старости. Свиньи тоже...

Я тогда зарабатывал от силы песету в день. На рубке и вывозке леса в горах. Заготавливали мы бревна в шесть четвертей длиной, потом складывали их в штабеля двенадцать на семь четвертей. И чтобы ни одной щели между бревнами не было, чтоб одно к одному. Стволы, ясно, надо было окорить, сучья снять, потом спустить вниз к дороге. Уж это под вечер делали, когда темнеть начинало. А не успеешь — денег не получишь. Расплачивался с нами приказчик, он тут на землях Алисио Артеаги жил. Посмотрит, бывало, твой штабель и, если что-нибудь ему не так покажется, возьмет и не заплатит — и живи как хочешь Или лес ему сегодня, к примеру, не нужен. «Не годится»,— скажет и сентаво не даст.

Издалека доносятся еле слышные глухие удары волн о прибрежные скалы. Когда ветер стихает и листья молчаливо повисают на неподвижных ветвях, рокот прибоя звучит более явственно. Временами в этот шум вплетается птичий посвист, словно долетающий сюда вместе с музыкой моря...

— Знаешь, мне уже дьявольски надоел Бебе с его бесконечными поучениями: «Надо иметь терпение. Надо уметь ждать. Пусть время уходит, а мы — не имеем права»... Зануда!

Роби растянулся на земле. Левой рукой лениво перебирает пожухлые листья, а правую держит на лежащем рядом автомате.

— У меня у самого терпение на исходе,— отвечает другой.— Еще хорошо, что место надежное...

— Ты думаешь, что эта история с захватом нашего катера у побережья Кубы...

— Вряд ли. Случилось не в здешнем районе, хотя, черт его знает...

Собеседник Роби сидит, поджав под себя ноги и опираясь обеими руками на вертикально поставленный автомат.

— Сейчас бы прошвырнуться по Пятой авеню,— мечтательно прищуривается он.— Хотя лучше не думать о жизни «на поверхности»: «Парадис», вино, девочки — пока это не для нас... И вспоминать об этом — одно расстройство. До сих пор из памяти не выходит девчонка, одни ляжки — во! Представляешь, из-под резинки так и выпирают! Эх! «Мэри скрестила ножки и подмигнула мне...» — припевает он.

Они сидят под плотным шатром сомкнувшихся ветвей, с которых свисают, извиваясь, воздушные корни мангровых деревьев, лианы. Если отвлечься от доносящегося издали глухого морского гула, окрестности шатра полны своих таинственных и разнообразных лесных звуков.

— Это Бебе там?

— Он.

— Черт знает что! Сидим здесь, как в загробном мире,— говорит Роби, перекатывая во рту жевательную резинку.

— Собачья жизнь!

— Ты потише, а то услышит зануда.

— Точно — зануда.

— Да-а!

— Интересно, здесь кто-нибудь бывал до нас?

— Сиако, когда готовил укрытие.

— А еще раньше? Это место мне кажется девственным.

— Что ты? В нашем мире ничего девственного давно не осталось — время само по себе лишает девственности все.

— Я хочу сказать, что место вроде надежное. Эти типы — Сиако и его приятель — похоже, действуют осторожно.

— Место, быть может, и надежное, да наше положение ненадежное. Ты же понимаешь, достаточно одного выстрела — и провал.

— Поэтому здесь придется действовать ножами.

— Черт знает что! Забрасывали нас сюда с одним заданием, теперь готовят другое! О чем они там думают?! Слыхал, какие указания пришли вчера?

— К черту! А что ты думаешь об их новых катерах береговой охраны?

— Думаю, что попали мы в переплет.

— В смысле выезда отсюда?

— Чтобы выбраться — стоит рискнуть, но что касается доставки сюда людей и снаряжения, по-моему, каюк...

— Похоже.

— Ты стал говорить со мной, как с Бебе.

— Согласен — и все. Когда я захаживал в «Парадис»...

— Слушай, а ты заметил, какая морда была у Бебе, когда он узнал об усилении охраны здешнего побережья? Да еще о стычке их катера с нашим? Говорят, новые катера у них очень быстроходны. Неужели наше руководство ничего не знало?

— Когда я заходил в «Парадис»...— пытается продолжить свой рассказ собеседник Роби.

— Ни один мускул у него не дрогнул,— перебивает его Роби.

— Он всегда такой. Когда я в первый раз встретил его в «Парадисе»...

— Чем он занимался раньше?

— Бебе? Был в Гаване представителем «Дженерал моторс».

— Откуда же он знает военное дело?

— Участвовал во второй мировой войне.

— Но он же кубинец.

— Кубинец, но до войны жил в США. Говорят, что воевал на Тихом океане. А после войны приехал на Кубу от «Дженерал моторс».

— М-да! И какого дьявола они нас здесь маринуют?

— Слушай, Роби, всю жизнь ты был бестолковым. Ничего не соображаешь. Неужели тебе не ясно, почему мы еще здесь?

— Убей, не пойму.

— А мне предельно ясно. Сам по себе этот район наших интересует. Это раз. Кроме того, вывезти нас отсюда сейчас просто невозможно.

— Как это невозможно?

— Я хочу сказать — пока невозможно. Но все равно, раньше, чем нас отсюда заберут, нам придется проделать кое-какую работенку. Не думаешь ли ты, что нас сюда забросили от нечего делать?..

Их разговор прерывается хрустом веток. Оба напряженно замирают, изготовившись для стрельбы. Внимательно вглядываются в ту сторону, откуда послышался шум. Помимо автоматов у каждого по кинжалу. Внезапно из-за кустарника доносится тонкий, словно плач ребенка, голосок. Настороженность на их лицах сменяется улыбками.

— Ну и мастер этот Бебе,— восхищенно произносит жующий резинку.

И в самом деле, из-за куста появляется Бебе. Подходит к ним.

— Ну как, связаться удалось?

— Все в порядке.

— Что?

— Приказ получен...

Скатерть в красную и белую клетку, развешенная на веревке, полощется под порывами ветра...

«Я не сплю, Сиако, думаю о тебе.— Широко раскрытые глаза Нати лихорадочно блестят, губы плотно сжаты.— Я думаю о тебе, Сиако. О твоей горячей упругой коже и о том, что ты мне сказал.— Нати дышит неровно и тяжело, ноздри ее раздуваются. Как будто ощущая прикосновение тонких, нервных пальцев Сиако к груди, она еще шире раскрывает глаза, воспаленные и радостные.— Неужели и вправду больше ничего не нужно будет бояться? И там, в других местах, я сама стану другой? Неужели это может быть, Сиако? — Она не говорит и даже не думает, она чувствует. Потому что когда она находится с Сиако, пусть даже в воображении, она не думает, а только чувствует.— А по-твоему, Сиако, смогу я стать другой? И ты не обманешь меня? — Нати представляет, что разглаживает его волнистые волосы, в которых серебрятся сединки.— И не будешь жалеть о том, что взял меня с собой? — Ей кажется, что его пальцы ласково пробегают по ее телу. И эти прикосновения, воздушные, неуловимые, словно выхватывают ее из действительности, уносят в другой мир. Его пальцы, его упругая кожа цвета сухого табачного листа, его необычные слова обновляют ее, делают ее другой, совсем не той, какой она бывает без них.— Я хочу навсегда стать другой, Сиако, не только сейчас, а навсегда. Хочу быть доброй и чистой. Только нужно уехать отсюда, где все, все, все — одно страшное воспоминание. Уже давно, всегда я хотела вырваться отсюда, стать доброй и чистой, хотела, но не смогла. А здесь и без тебя, Сиако, я никогда не стану такой, какой мечтаю быть. Ты возьмешь меня с собой? Не обманешь? Ты не представляешь, что это такое — спокойно ходить, зная, что не встретишь тех людей, которым известно, кто ты такая, которые помнят все, что связано с тобой. Я так хочу быть с тобой, Сиако, только с тобой, там, где никто и ничто меня не знает, где никто не будет смотреть на нас, как на тех, кем мы были. Там мы станем такими, какими хотим быть. Мне так хочется быть доброй и чистой, Сиако».— Нати не говорит и не думает, она чувствует. «Но я боюсь, что все это не сбудется»,— это она ему сказала, а он спросил: «Чего ты боишься, дорогая моя?» «Всего,— ответила Нати,— за тебя боюсь, за нас. Мне кажется, Сиако, что мы делаем что-то нехорошее. Нет, правда, ты возьмешь меня с собой? А когда это будет?» — «Не знаю, сегодня я поеду к ним. Когда вернусь, все тебе расскажу».— «Ой, Сиако, береги себя. Я боюсь!..» «Они о тебе уже знают. Все будет в порядке, дорогая моя,— успокаивал он ее, мягко прикасаясь нервными пальцами к ее груди.— У тебя будет все, Нати. Там все не так, как здесь. От одного того, что мы приедем туда, мы сами станем другими».— «Я так рада, Сиако, только боюсь. Боюсь, что не сбудется это, мне кажется, будто все время я делаю что-то плохое и что-то плохое меня ждет за это».— «Ну что ты, дорогая. Все, что ты делаешь,— это так радостно...»

А Сиако нет. Во дворе на веревке, привязанной к дереву, полощется под порывами ветра скатерть в белую и красную клетку, то взлетает вверх, то бессильно обвисает, а потом снова — мощно и требовательно — взмывает к небу.

...Он посмотрел на меня так, что я даже не знаю, что и думать. И когда о нем вспоминаю, тоже не знаю, как понять его. Но все равно, насколько приятно думать о нем! Приятно и боязно. И когда он на меня смотрит, мне тоже боязно и приятно. Сразу начинаю нервничать, боюсь, что он заметит, и от этого нервничаю еще больше... Надо держать себя в руках, а то все время краснею и, наверно, выгляжу очень смешной. Иногда не хочется смотреть на него: если посмотрю, обязательно покраснею. Что он обо мне подумает? Да и вообще неудобно глаза на мужчин пялить. А почему он улыбается? Вероятно, догадывается, что я вся обмираю, когда он смотрит на меня. Я вовсе не хочу смотреть на него. Это глаза смотрят. А он тоже: как я на него посмотрю, так сразу взгляд в мою сторону переводит. А быть может, он влюблен в меня? Потому и смотрит на меня не так, как на других. И говорит не так. Наверно, любит, только признаться не хочет. Вот вчера, когда проезжал мимо, остановился, и видно было, что хотел что-то сказать. Правда, ничего не сказал, но было видно, что он, наверно, любит меня. Тогда пусть лучше и не говорит. А то как вчера — он только взглянул да улыбнулся, а у меня во рту пересохло и в ногах слабость. А если начнет говорить? Что со мной будет! Конечно, было бы приятно, если бы сказал. А я бы могла ему ответить. И поцеловать его. Вот как-то на днях проходит он, а я была без платка и волосы у меня растрепались. Он и говорит: «Мерседес, тебе очень идет, когда волосы у тебя распущены». Я, конечно, сразу же покраснела, как дурочка. И тут же подумала: «А вдруг ему вовсе и не нравятся эти, с модными прическами, как в журналах, раз он мне так сказал?» А в тот вечер, когда пустили электростанцию, я, наоборот, укладку сделала, туфли надела и платье новое — сама сшила из той ткани, что недавно выдали. Он все время поглядывал на меня. Не хотел, чтобы я заметила, и делал вид, что не смотрит, но я все равно заметила и сама от него глаз не могла оторвать. Он даже на Нати не обратил внимания, хотя все ею любовались. Я так боялась, что он подумает, будто я для него нарядилась, и еще боялась, что покажусь ему смешной. А ведь он подошел ко мне и сказал, что я выгляжу очень хорошо и что мне все очень идет. Ой, как было бы здорово, если бы сейчас он стоял вот здесь, рядом! И чтобы только мы вдвоем! Я смотрела бы на него, смотрела, а потом... поцеловала! Пусть бы он даже был серьезный-серьезный, он мне таким тоже нравится. Я все время смотрю, как у него жилка на виске бьется. Нет, правда, как было бы хорошо, если бы он сейчас был здесь. Я думаю, все-таки он меня любит. Вот вчера, например, я ведь загадала: если любит, то обязательно улыбнется и поздоровается. А он и вправду улыбнулся и сказал: «Здравствуй, Мерседес». Ой, как здорово! Конечно, загадывать — это предрассудки, а предрассудки и приметы всякие ему не нравятся. Но все равно — здорово. А насчет предрассудков он говорил мне и Клаудии, когда наводнение было. Народ вспоминал про всякие страшные случаи и вообще рассказывал небылицы разные. А он говорит, что это от темноты и от неграмотности. Если бы, говорит, у нас тут было побольше электрического света, то меньше было бы сказок про привидения да про вещие сны. И еще он что-то говорил, да так складно. Он очень умный, все знает. Аресио говорил, что он университет окончил, а потом и я у него спрашивала. Но он только посмотрел на меня и улыбнулся. Он так улыбается, что прямо хочется обнять его и расцеловать крепко-крепко. И пускай потом целую неделю я пролежу в постели с температурой и буду вся дрожать. Все равно и так дрожу, лишь его увижу...

Представляете, очень он похож на Педро Бульдозера. У того тоже кто-то раз спросил, как, мол, вы ухитряетесь жить без жены и вообще без женщины. О чем же вы тогда все время думаете? И он, говорят, знаете, что ответил? «А думаем мы о той женщине, последней, которую оставили, чтобы идти в близкий бой». Сказал это, хлопнул того парня по плечу, который, значит, его спрашивал, засмеялся и ушел. Ну что за человек был! И мне кажется, это он и есть.

Целый день дует ветер, и усталые птицы, пролетая над поселком, опускаются передохнуть на провода антенны. Посидят и снова взмывают в синее небо, удаляясь в сторону гор. А на смену им прилетают другие: беспорядочными стаями, или чинными рядами, или, отбившись от подруг,— в одиночку. С утра до вечера над антенной не смолкает птичий гомон.

Бруно и Серхио стоят у входа в правление, наблюдая за птицами.

— Когда будет у нас радиосвязь? — спрашивает Бруно.

— Послезавтра. Я приказал установить еще одну станцию, у тебя в машине.

— Хорошо. Сегодня вечером возвращаются Пабло и Луис.

— Но они проверяют в бригадах, как с инструкцией?

— Я велел передать, чтобы возвращались. Кстати, а как выполняется инструкция? Как, например, пишут в документах: по-прежнему Ла О или же «Феликс Лопес»?

— Да кто как.

— Все бумаги, исполненные в нарушение инструкции, возвращай обратно. И растолковывай, в чем ошибка. Мы должны добиваться исполнения наших инструкций даже от буквы до буквы.

Птицы чинно сидят на проводах антенны. Внезапно стая дружно срывается и улетает в сторону гор, превращаясь в беспорядочную россыпь черных точек по синему шелку неба. И тут же прилетают другие птицы. На какое-то время между ними разгорается шумный спор, по-видимому, за право сидеть на проводах. Наконец счастливчики плотно усаживаются на антенне, а остальные находят себе место на ближайших крышах.

— Зачем вызваны Пабло с Луисом? — спрашивает Серхио.

— Думаю, пора приступать к организации коллективных подсобных хозяйств.

— И боишься, что возникнут волнения?

— Не исключено,— отвечает Бруно.— Кроме того, я продумал план одновременной расчистки лесных зон во всех бригадах.

— А людей где возьмем?

— К нам должны прибыть добровольцы из Гаваны. Ожидаем студентов для проведения политико-социологических исследований. Их используем и на производственных работах. Есть у меня еще кое-какие соображения. Ты был здесь, когда мы дали первый свет?

— Был. Здорово получилось! — оживляется Серхио.

— Знаешь,— задумчиво говорит Бруно,— иногда мне кажется неправдоподобным, что в наше время есть люди, ни разу не видевшие кино.

— Почему же неправдоподобно? Тут такая глушь.

— Да, но вот возьми Сьерра Гранде,— возражает Бруно,— там и то лучше, а уж на что глухомань глухоманью. По-моему, дело не в удаленности, а в какой-то заброшенности. Много здесь всякой сволочи подвизалось вроде Миле. А в руководстве тихой сапой действовали Давиды и ему подобные... Кстати, сегодня же мне надо связаться с Гаваной,— бросает Бруно, входя в правление.

Над антенной не прекращается птичий гвалт.

...Люди рассказывали, что когда у Клаудии умер ребенок, она так горевала, так горевала — и день и ночь слезы лила. До того извелась, что даже смотреть на нее было жалко. И от прежней Клаудии — веселушки да хохотушки — ничего не осталось. А бабке Томасе, говорят, тогда же приснился сон. Ну, вы сами знаете Томасу, ей вечно то приснится во сне, то привидится наяву. Приснились ей будто бы ангелочки, много ангелочков, и все летают на крылышках, один за другим. А в самом конце летит, значит, сынок Клаудии. Печальный такой, и крылья у него обвисли. Томаса-то как увидела этот сон — сразу к Клаудии и говорит ей: ты, мол, Клаудиа, не должна больше плакать, потому что, если по ребенку столько слез проливать, то он не может радоваться на небе и летать вместе с другими ангелочками. От этих слов Клаудиа очень, говорят, расстроилась и обещала Томасе плакать поменьше или совсем перестать. Только совсем прекратить она не могла, но все-таки стала придерживать себя. И Томасе больше не снился покойный ребенок Клаудии. Сама Томаса обо всем этом рассказывала, а уж она-то в этих делах дока...

Синеватый дым висит над столом. Крепкий табачный запах смешивается с запахом пота и мокрой глины. Мусоля беззубым ртом кончик неизменной сигары, старик поднимается навстречу Куэто и Сиако. Двое молодых остаются сидеть.

— Мы хотели у вас спросить ваше мнение,— говорит старик, вынимая сигару изо рта.— А то я толкую одно, а они заладили свое...

Куэто и Сиако остановились в дверях.

— Ты мотор-то выключи,— обращается старик к Куэто.— А то так и будет тарахтеть. Терпеть не могу. Лошадь на этот счет куда лучше — уткнет морду в траву, и не слышно ее. Выключи его, потолковать надо.

— О чем же? — спрашивает Сиако, слегка улыбнувшись.

— Ходили мы, понимаешь, к новому директору, насчет земли спрашивали,— отвечает один из молодых.— Старик сам с ним взялся разговаривать, ну и поговорил: с чем пришли, с тем и ушли. Я, говорит, сам будут спрашивать, меня, говорит, не проведешь. А как до дела дошло, у него язык к горлу прилип.

— У самих у вас прилип! — сердится старик.— Когда обратно шли, всю плешь мне проели. А там небось и ртов не раскрыли.

— Директор-то что сказал? — прекращая перебранку, спрашивает Куэто.

— Что сказал? Все, говорит, здесь переменится. Земля эта, выходит, не наша. Что сказал? То же, что и в тот раз. Вы что об этом думаете?

— Тут все ясно,— отвечает Сиако.— Землю, конечно, отберут, это уж как пить дать. И не только у вас — у всех.

— Не может быть! — расстраивается старик.— Неужели и вправду отберут? А он сказал, что можно сеять.

— Эх, старик, и ты поверил? — с укором смотрит на него Сиако.— Не сегодня, так завтра, но учти, тут у нас всё отберут. У всех!

— А что я тебе говорил? — наскакивает на старика самый молодой.— Что я тебе говорил? Это же самое и я говорил.

— Я вот недавно читал про коммунизм,— опять вмешивается Куэто.— Там сказано, что коммунизм — это голод и нищета.

Сиако развивает свою мысль:

— Пойми, старик, это как петля: ее аккуратно, вроде даже ласково надевают тебе на шею, а потом — дерг! — и конец.

— Он еще сказал, что в любом случае мы будем жить лучше, чем раньше,— припоминает старик.

— Без земли лучше, чем с землей? — с издевкой спрашивает тот же, самый молодой из них.— Ты уже совсем из ума выжил.

— Я-то не выжил,— распаляется старик.— А ты слушай, что говорят! Он как сказал? «Лучше, чем раньше», то есть когда у нас совсем ничего не было.

— А теперь у нас есть земля? — не сдается молодой.

— Но он-то сказал «раньше».

— А мне наплевать, как раньше. Важно, как сейчас. И выходит, что будет хуже.

— Ясно! — поддерживает молодого Сиако.

Воспользовавшись паузой в перепалке, Куэто продолжает:

— Сами увидите, что так оно и будет. Сперва много всяких приятных слов да обещаний — говорить они мастаки. А потом появятся колхозы, полная отмена собственности. Я сам читал. А что такое отмена собственности? Это значит, что у тебя отберут все: землю, скот. Детей отберут и пошлют их учиться в эти .. вроде приютов. Представляете? Даже детей отберут и будут их учить на свой манер, чтобы у них, понимаешь, никакого уважения к старшим. И пойдет! Своими глазами читал, что такое полная отмена собственности. Все будет общее: и дети, и женщины, и мачете, и ложки. А если тебе захочется, к примеру, зарезать поросенка и свинины попробовать — стой, шалишь, брат. Должен есть то, что всем дают. Как в Гаване, например. Там все едят одно и то же, что дали.

— А если я не хочу? — удивленно протягивает старик.

— Они заставят! — подает реплику Сиако.

— Неверно это — высказывает свои сомнения старик,— нипочем не заставишь.

— Вот посмотришь,— уверяет Сиако.

— Все равно не может быть,— упирается старик.

— Здесь и сейчас-то никакой жизни не стало,— зло говорит Сиако.— Во все, понимаешь, свой нос суют. Слышали новую инструкцию? Выходит, я не могу продать ничего со своего огорода кому хочу. Так и следят за всеми, так и вынюхивают. А не нравится тебе — уходи из своего дома на все четыре стороны. Или с нормами с этими, которые тут они установили?

Какая-то женщина, похоже хозяйка дома, молча проходит мимо них во двор.

— Так что не сомневайтесь, землю у вас отберут,— авторитетно заявляет Куэто.

— Нет, этого нипочем не может быть,— старик явно растерян.

— Сам увидишь,— бросает Сиако.

Женщина снова проходит мимо них. В открытую дверь откуда-то доносится далекий собачий лай.

— Мать честная! — старик подавлен, бессмысленно трет ладонью лоб.— Выходит, надули они меня...

— Ясно, надули,— с готовностью соглашается Сиако.— От такой жизни ни радости нет, ни удовольствия. Ты вот сам подумай, даже петухов держать запретили — сказать смешно! А помнишь, я вам говорил, что бойцовых петухов будут отбирать, а вы не верили: «Этого быть не может!» Вот вам и «не может быть»! У них все может. Эти коммунисты гайку завертывают потихонечку, а потом спохватишься — уже поздно.

— Все-таки этого нипочем не может быть,— поразмыслив, говорит старик.

Женщина входит с кофейными чашками и молча расставляет их на столе. На улице начинает темнеть. Вдалеке лает и лает собака.

Трое суток не вылезая впятером сидели они в правлении. В четверг к вечеру Пабло выехал в Лас Десеадас, а Луис — в Монте Гранде. Бруно, Хорхе и Серхио остались на месте. Часов в десять Бруно связался по радио с бригадами, выслушал дневные сводки. Потом снова вместе с Серхио и Хорхе засел за работу.

— Наступление начинается! — торжественно произносит Бруно, поднимаясь наконец из-за стола.

(...Два момента запомнились мне особенно: когда он диктовал мне нашу первую инструкцию и потом, когда после долгих споров и обсуждений был выработан план создания совместных поселений и коллективных подсобных хозяйств — «микроплан». Да, кое у кого из нас были сомнения и опасения, но он сумел убедить всех и заставил загореться энтузиазмом. «Я верю в народ,— повторял он.— Без веры в людей я ни минуты не оставался бы здесь». Одному из нас он поручил вести заметки, записывать, как тут все было и с чего начинались перемены, чтобы потом рассказать об этом тем, кто придет после нас. «Нет ничего удивительного,— говорил он,— что народ живет здесь и мыслит так, как жил и мыслил испокон веков. И надо на деле показать людям полезность перемен. Показать, а уж потом и убеждать!»

Я не могу забыть его слов о том, что нам следовало меньше всего заниматься приклеиванием к людям тех или иных ярлыков, а обращать больше внимания на побудительные мотивы их поступков, сопоставлять причины и результаты их действий, потому что народ здесь гораздо сложнее и своеобразнее, чем представляется на первый взгляд. Он сказал: «Быть последовательным революционером — это не значит быть безразличным к отдельному человеку. Наоборот, только проявляя всестороннюю заботу о человеке, мы и сможем построить живой социализм, а не бумажный. Кое-кто склонен видеть только деревья, не замечая леса, но есть и такие, которые за лесом не видят деревьев. Они восторгаются лесом, в то время как деревья гниют. Мы должны охватывать взором и лес в целом, и каждое отдельное дерево. Такова наша позиция и наш долг, а без деревьев нет леса».

«Простите, товарищи, что я сейчас говорю об этом, но я не могу не напомнить»,— скажет Серхио годы спустя многим людям, которые придут на то место в лесу, к той самой сосне...)

Предвечернюю тишину нарушают лишь беспокойное хлопанье крыльев или резкие выкрики као, сидящих на верхушках сосен. Марипоса слоняется по двору, вынюхиваясь в густой смолистый воздух и лениво пошевеливая ушами. Клаудиа с болезненно-скорбным лицом, ссутулясь, сидит за столом, что-то шьет. Жалкая, опустошенная, одинокая. Даже воспоминания с течением времени блекнут в ее памяти, и столь яркие бугенвильи кажутся теперь пожухлыми, их сморщенные сухие листья постепенно опадают, превращаясь в прах...

Вдруг Марипоса насторожилась и пулей вылетела за ворота. Вскоре и Клаудиа услыхала глухой стук копыт по сухой земле. Уронив шитье, она поднимает голову, видит, что Сиако въезжает во двор, спрыгивает с лошади, расседлывает ее. Марипоса, весело повизгивая, вертится у его ног. Лицо мужа мрачно. С раздражением он пнул сапогом в морду некстати разыгравшейся Марипосы. Поджав хвост, собака с жалобным тявканьем бежит в дом и, спрятавшись под столом, внимательно следит из-за ног Клаудии за хозяином. Сиако молча проходит мимо жены, даже не поглядев на нее. В последнее время он совершенно не переносит молчаливого укора, вопроса, недоумения, однажды возникших и застывших в ее глазах. Марипоса неосторожно высунулась из-под стола.

— Что уставилась, сучка?! — кричит на нее Сиако.— Обрадовалась, безмозглая тварь?! Ну, погодите! Я с вами рассчитаюсь! В пыль сотру!

Клаудиа молчит. Подымает на него глаза. Взгляд ее по-прежнему безжизнен. Не то чтобы не было в нем никакого выражения, просто выражение, возникшее однажды, так и осталось, словно у скульптуры,— навсегда. Есть у нее и другой взгляд, обращенный внутрь и в прошлое. Людям он не виден, это лишь для нее одной.

— Землю хотят отобрать,— рявкает Сиако, не обращаясь ни к кому.

Никто ему и не отвечает. Клаудиа встает, подбирает с пола упавшее шитье и, положив его на стол, направляется к плите. Движется медленно и неуверенно, как в полусне. Разогревает кофе и, налив чашку, ставит на стол.

— А ты, что ты думаешь? — поворачивается наконец Сиако к жене.

Но Клаудиа не обращает на него внимания. Она молча садится за стол, опершись локтями на гладкие сосновые доски и обхватив ладонями голову.

— Не слышишь, что ли? Кому белье шьешь?

Клаудиа задумчиво разглаживает ладонью детскую распашонку.

— Сколько раз я тебе говорил, чтобы никого не пускала в мой дом! — раздраженно кричит Сиако.— Что тебе за выгода обшивать соседских детей?

— Это меня отвлекает.

— А я еще раз повторяю: никого не пускать! Нечего им делать в моем доме! Не нужны мне гости!

— Я знаю, Сиако. Ты лучше сам им отнесешь мое шитье...

— Издеваться вздумала?! — грозно переспрашивает он.— Им так же сказала?

— Ничего я не сказала. Народ и так догадывается.

— О чем?

— Что тебе здесь люди не нравятся. Вот о чем...

— Стерва! — словно плевок вылетает из перекошенного рта Сиако.

Чтобы сдержать себя, он отворачивается, берет чашку и медленно пьет остывший кофе. Клаудиа молча наблюдает за ним — видит, как, что-то бормоча под нос, он решительно выходит из дома. Через несколько минут от ворот доносится громкий стук копыт. Марипоса, забыв об обиде, по привычке с лаем бросается вслед за хозяином и вдруг раздается отчаянно-пронзительный и как бы захлебнувшийся визг. Клаудиа выглядывает в дверь — уже ничего не слышно, не видно.

...Тут в нашей округе воды почти нет. Пыль есть, этого добра хватает. А родников и колодцев совсем мало. Другой раз идешь-идешь — ни капли не встретишь. Родников днем с огнем наищешься, а колодцы, как их выроют, сразу пересыхают. Но только я вам вот что скажу: в этом деле с водой тут не все так просто, как кажется. Потому что на дне некоторых оврагов — обратили внимание? — всегда есть лужицы, и они не пересыхают. А почему? А вот почему. Говорят, там проглядывает вода-мать. Похожа она на огромную змею и живет под землей. И где она выглядывает, там и лужицы. Толщиной вода-мать бывает с пальму, а если еще вырастет, то в небольшом овражке ей уж не поместиться, и тогда она выливается рекой и течет к морю. А когда вода-мать с какого-нибудь места уходит, то и лужицы там высыхают...

На площадке между столовой и общежитием установлена небольшая трибуна. На электропроводах подвешены флажки, на столбах — громкоговорители. Здания украшены пальмовыми ветвями. С раннего утра к поселку Монте Гранде съезжаются рабочие всех бригад и жители района. Едут на повозках, на тракторных прицепах, на грузовиках. Те, кто живет неподалеку, пришли пешком — их сразу можно распознать по мокрым от росы брюкам.

Люди беспокойно переговариваются, собираются группками, снова расходятся. Над площадью стоит глухой рокот толпы. Вдруг в репродукторах что-то щелкнуло и раздался режущий слух писк. Кое-кто затыкает уши, но ненадолго: на трибуну поднимаются Бруно, Луис и Яйо. Толпа настораживается. Яйо делает выразительный жест руками, и гомон на площади стихает. Бруно говорит в микрофон:

— Товарищи! Теперь вам всем уже известно, что здесь проделывал Миле. Он жульнически обманул нескольких товарищей из нашего хозяйства. Но не только это. Миле совершил здесь много противозаконных действий, занимался поборами с рабочих, требовал деньги за транспорт. Было это или нет?

Толпа отвечает неразборчивым гулом.

— Это не ответ,— говорит Бруно.— Нужно, чтобы мы с вами были откровенными. Я постараюсь говорить ясно, но если кто-то из вас чего-нибудь не поймет или будет в чем-то сомневаться — пусть поднимет руку и переспросит, а если хочет возразить — возражает. Если я где-то буду неправ или кому-нибудь покажется, что я неправ, поднимайте руку и говорите. Не бойтесь перебивать меня. Мы собрались сегодня здесь, чтобы сообща разобраться во всем и сделать выводы. Я еще раз спрашиваю, обманывал вас Миле, брал незаконно с вас деньги?

— Брал, брал...

— А с меня не брал..

— Ну ладно, давайте тогда так: пусть поднимут руки те, с кого Миле хотя бы раз взял плату за поездку в город.

Поднялось довольно много рук.

— Но он не имел никакого права брать с вас за это деньги. Это была его обязанность — в случае необходимости обеспечивать бесплатным транспортом рабочих и членов их семей, если кто-нибудь из них заболел или в силу другой необходимости. Он раздавал казенную одежду кому хотел или продавал ее, а вам говорил, что государство не отпускает одежды. Как так не отпускает? Я на собраниях в бригадах обещал одежду? Обещал. Выдали ее вам?

— Выдали,— несется над площадью.

— Дали.

— Это правильно, чего говорить.

— Мы обещали обеспечить вас веревками для содержания скота. Дали веревку?

— Дали!

— Платите ли вы теперь за транспорт, когда едете в город?

— Нет! — дружно раздается в ответ.

— Но мы собрали вас не только для того, чтобы говорить о Миле. Я вот что хотел с вами обсудить. Вы знаете, что не все здесь живут в одинаковых условиях. Поднимите руки, кто пользуется огородами на землях нашего хозяйства.

Поднимаются две или три руки.

— Только и всего? — спрашивает Бруно и поворачивается к Яйо.— Больше нет? Тогда придется по списку,— снова обращается он к слушателям.— Яйо сейчас будет за-

читывать фамилии, и кого он назовет, прошу подойти поближе к трибуне, чтобы слышнее было. Потому что прежде всего именно с вами нам и надо сегодня поговорить. Поговорить и договориться. Речь идет о том, что вы занимаете земли, которые государство выделило для лесоводческого хозяйства. Огороды завели, дома построили. Эти земли надо будет вернуть лесхозу. Но значит ли это, что вы останетесь без жилья и без пропитания? Собираемся ли мы выгонять вас из ваших домов на улицу, как это делали Алехандро Ла О, Фермин Кано, Рамон Менендес? Нет. Революция не может идти по такому пути. Но с другой стороны, можем ли мы согласиться с незаконным использованием государственных земель? Нет. И по такому пути революция тоже идти не может. Так что же делать? Надо дать вам дома лучше, чем те, которые у вас сейчас есть. В этом выход.

Над площадью несется нестройный гул голосов.

— Что же это, значит, вы им вроде премию даете,— кричит кто-то из толпы,— за то, что они на государственной земле жили?

— Почему премию? — взглядом Бруно разыскивает спрашивавшего.

— А потому. Я вот не на казенной земле живу, а на своей, да дом-то у меня почти совсем развалился. Может, я тоже хочу иметь жилье лучше, чем сейчас.

— Если ты законный хозяин своей земли, можешь на ней и оставаться. Но если хочешь, можешь присоединиться к нашему совместному жилью и хозяйству. Тогда и тебе будет выделен новый дом.

— А что это за совместное жилье такое?

— А это вот что: мы здесь создадим благоустроенный поселок. Людям не надо будет ходить или ездить за несколько километров на работу. Если кто заболеет, не нужно тащиться в город — у нас здесь будет свой медицинский пункт. Понятно, в тяжелых случаях больных придется отправлять в город, но транспорт будет у нас тоже здесь, под рукой. В магазин вы теперь куда ездите? В Байаху. А кому не на чем ехать, то надо просить кого-нибудь, да еще заплатить ему. А в новом поселке мы откроем свой магазин. Будет здесь у нас и школа своя. Ясно? Что ты теперь скажешь? — обращается Бруно в ту сторону, откуда ему выкрикивались вопросы.

— Оно конечно. Прекрасно все это... А вот с землей-то как же?

— Ну зачем тебе земля?

— Как зачем? А есть что буду?

— Что ты, землю ешь? Едят ведь не землю, едят то, что она приносит, а этого у нас будет достаточно. В рамках государственного плана, который выполняет наш заповедник, мы разработали еще один план, будем его называть «микроплан». В чем он заключается? А вот в чем. Вы знаете, что окрестные холмы позаросли чем попало: много неценных пород леса, много больных деревьев. Таким образом, большие площади надо будет расчищать и готовить под культурные посадки. Организуем тут выжиг угля — он принесет нам определенный доход. Но это не главное. Главное в том, что освободившиеся площади, а также плантации с молодыми посадками можно будет использовать для выращивания овощей и другого продовольствия. Пока саженцы не поднимутся достаточно высоко — а на это уходит четыре года, пять лет,— междурядья займем под огороды. И для работы удобно: одновременно будем ухаживать и за посадками, и за огородами и продовольственную проблему решим полностью, даже с излишком. Я ответственно заявляю: как только мы «микроплан» запустим в действие, рабочие нашего хозяйства будут питаться бесплатно. Сейчас, как вы знаете, обед у нас в столовой стоит пятьдесят сентаво, а тогда будет бесплатно. Здорово? Больше того, мы тут подсчитали и видим, что с течением времени сможем выделять с этих наших коллективных огородов продукты для каждой семьи по потребности.

— Как это по потребности?— спрашивают из толпы.

— А вот как: ты говоришь, сколько и каких продуктов необходимо твоей семье, и тебе их выдают.

— Мало ли кто сколько скажет.

— Понятно, правление заранее уточнит списки семей, учтет возраст и так далее. Все это будет сделано, будет организован необходимый учет, контроль...

Среди пестрой группы женщин, собравшейся возле общежития, Бруно замечает оранжевый платок.

— Если больше вопросов нет, я хотел бы поговорить еще вот о чем,— продолжает директор.— Нам надо уже сейчас серьезно заняться учебой. Во всех бригадах организуются курсы по ликвидации неграмотности и повышению производственной квалификации. Необходимо также подготовить нескольких женщин для работы в детских садах, которые мы намерены здесь открыть. Кроме того, ряд девушек направим на учебу в техникумы, чтобы подготовить специалистов по семенам, рассаде, сеянцам для работы в питомниках. И наконец хочу довести до вашего сведения, что правление назначает ответственных за «микропланы»: здесь, в Монте Гранде,— товарища Луиса, в Лас Десеадас — товарища Пабло. С завтрашнего дня они постоянно будут находиться в этих бригадах, обойдут все дома, и с любыми вопросами прошу обращаться к ним... Товарищи! Работы по расчистке лесов и заброшенных земель мы начнем уже в этом году,— и во всех бригадах одновременно. В этом нам помогут отряды добровольцев из Гаваны, часть которых будет заниматься и социально-политическими исследованиями в на-

шем районе. Что касается работ по расчистке земель, то агроном, товарищ Хорхе, и бригадиры все вам разъяснят. Хочу вот еще чем порадовать вас: со следующей недели во всех бригадах будут проводиться вечера отдыха, будут показывать кинофильмы. Вы что-то хотите сказать!

Уже знакомый Бруно беззубый старик, пробравшийся поближе к трибуне, мнет в корявых пальцах сигару.

— Я так и думал,— говорит он,— что не могут у нас за здорово живешь взять да отобрать землю, как раньше бывало. Нипочем не могут.

— А кто вам говорил, что отберут? — наклоняется к нему Бруно.

— Народ говорил, люди то есть Всякое говорили.

— Ну а теперь что скажут?

— Теперь, понятно, что они могут сказать?

— Еще раз напоминаю, товарищи, со всеми вопросами, со всеми сомнениями обращайтесь к нашим уполномоченным. Они обойдут все дома,— оповещает Бруно и соскакивает с трибуны.

...Я тогда работал в поместье Фермина Кано. У него там в глубине, за эвкалиптами, была огромная пасека. А я, значит, приходил соты подрезать и мед снимать. И все бы ничего, только по дороге к пасеке мне встречался белый человек. Весь белый: ботинки у него, штаны, рубаха, лицо, руки — все белое как мел. И сигару курил тоже белую. Появлялся он, значит, чуть со стороны сигара — в руке, и начинал свистеть и камнями в меня кидать. А потом раз — и нет его, как и не бывало. И что мне особенно не нравилось — мед у меня стал пропадать Я, грешным делом, припрятывал на кухне бочоночек-другой для себя. А тут прихожу, смотрю — нет моего меда. Тогда я надумал сходить к Томасе — она ведь по всяким этим делам большая дока. Прихожу к ней и говорю, так, мол, и так, Томаса, встречается мне на дороге к пчельнику белый человек, ну, как есть весь белый. Про мед-то я, понятно, умолчал. Не знаю, поняла, в чем тут дело, Томаса или нет, только говорит: пойдем вместе, я хочу сама взглянуть на него. Ну, пошли мы, значит, с ней, а человек-то уж тут как тут, опять выходит к дороге и свищет вовсю, курит сигару и камнями в нас бросает. Томаса, конечно, сразу догадалась, что это не человек, а дух, и говорит ему: «Ты чего же это к людям-то пристаешь? Или не понимаешь, что ты — мертвец?» У меня аж волосы дыбом встали, как она с ним запросто разговаривала. Потом Томаса смеялась надо мной: ты, говорит, в ту пору сам стал белее мертвеца. А я и вправду готов был броситься наутек. Но тут мертвец-то ей и отвечает: «Я прихожу сюда и свищу как хочу, и камнями бросаюсь, потому что я — хозяин этой земли и никому ее не отдам». А Томаса ему: «Это ты при жизни был хозяин, а теперь нет здесь другого хозяина, кроме Фермина Кано. А если не согласен, иди к нему, с ним и разговаривай». Погрустнел мертвец и говорит: «Нет, с ним я не могу — боюсь. Это ведь он убил моего отца, чтобы завладеть нашей землей». Тогда Томаса догадалась, что это был дух внука Мундо Каррансы, и пообещала причислить его к лику святых... Не знаю чем все это потом кончилось, только с тех пор не мог я больше на той пасеке работать и ушел. Нанялся батрачить к другому помещику.

Издалека доносятся монотонные удары прибоя по прибрежным скалам. Легкий бриз задумчиво перебирает листья деревьев.

Присев на корточки, Бебе, погруженный в раздумья, ворошит палкой мокрую листву, густо устилающую землю. Лицо его серьезно.

— Черт знает что! Час от часу не легче,— злится Роби.

— Как народ отнесся к этому? — спрашивает Бебе у Сиако.

— Многие довольны, прежде всего босяки,— отвечает тот.

— Босяки и дурачье! — спокойно соглашается Бебе.— И когда же они это думают начать?

— Начали уже,— отвечает ему Сиако.

— Я больше не могу! — стонет Роби.— Это еще на три месяца затянется. И так все тело болит Я не выдержу. Две недели температура не снижается а лекарств нет. Не могу! — истерически взвизгивает он и неожиданно умолкает.

Воткнув палку в землю и выпрямляясь. Бебе в упор смотрит на него.

— Что с тобой, Роби? — ледяным тоном спрашивает он.

Исподлобья поглядывает на остальных. Вынимает обойму из своего пистолета и, покрутив ее в руке, вставляет на место.

— Потому что больше я не в состоянии,— чуть не со слезами в голосе отвечает Роби и валится на землю.

— Ну, а ты можешь? — обращается Бебе к третьему — тому, кто постоянно жует резинку.

— Я?

— Да, что ты думаешь?

— Думаю, что действительно пора что-то делать да и убираться отсюда.

— Что делать?

— Что-нибудь. И рвать когти. Поджечь леса — и ходу!

— Точно! — вмешивается Сиако.— Трава теперь сухая — вспыхнет как порох. Тут в эту пору такие пожары бывали — по пятнадцать дней горело. Конечно, сейчас они повсюду лесников расставили, вышки сделали. Только хороший огонь ничем не остановишь.

— Правильно,— приподнимая лицо от земли, чуть оживляется Роби.— Иначе я не выдержу. И сразу выбираться отсюда! К чертовой бабушке!

— Выбираться как? Вплавь? — тонкие губы Бебе иронически скривились.

— Почему вплавь? — говорит третий, не прекращая жевать резинку.— Согласовать с Центром, доложить, что предполагаем сделать, и пусть нас забирают отсюда.

— Понятно! Все крайне просто: дать приказ Центру, да?

— Зачем дать приказ? — снова поднимает голову Роби.— Подсказать им.

— Так, а вы какого мнения? — обращается Бебе к Сиако и Куэто.

— Я... я...— заикается Куэто.

— Похоже, единственное, чего вам хочется,— это спокойно отсиживаться дома. Каждый раз, как вы сюда приходите, штаны у вас тяжелеют.— Бебе с явным пренебрежением осматривает Куэто.

— Я тоже думаю, что пора действовать,— рассудительно и спокойно вмешивается Сиако.— Кроме всего прочего, по словам Роби, у вас три дня назад кончилось продовольствие. Конечно, здесь можно раздобыть юкки[1] и вяленой трески еще недели на три, но нельзя забывать: каждая наша поездка сюда — лишний риск. Для вас и для нас.

— Понятно,— говорит Бебе.— Однако прежде нужно запросить о возможностях вывоза нас отсюда.

— Прошу иметь в виду, я еду с женщиной,— неожиданно сообщает Сиако.

— С женщиной? — Бебе не скрывает крайнего удивления.

— Да, с женщиной.

— Но раньше ты ничего не говорил...

— Я не думал, что надо говорить.

— Я тоже уеду с вами,— заявляет Куэто.— После всего оставаться здесь нельзя...

— А вам-то что грозит? Что вы сделали? Слишком сильно дрожали? За это не судят!

— Его тоже заберем с собой,— вступается Сиако за дружка.

Роби и его приятель внимательно следят за Бебе, который все еще поигрывает обоймой, то вынимая ее из пистолета, то снова вставляя. Тот, что жует резинку, гримасничает, будто съел что-то горькое.

— Насчет женщины я должен запросить Центр,— заявляет Бебе.

— Так и передайте — я уеду только с ней,— предупреждает Сиако.— А нет — никто отсюда не уедет!

— Что ты сказал? — дергается Бебе, словно получив неожиданный удар.— Что ты сказал? — тычет он пистолетом в грудь Сиако.

Рука Сиако тоже рванулась было к кобуре, но на полпути замерла, остановленная резким окриком жующего резинку:

— Стоп! Один выстрел — и мы все пропали!

Он решительно встает между Бебе и Сиако.

— Ладно,—спокойно, словно ничего не произошло, Бебе обращается к Сиако:—Ты думаешь, поджечь леса будет нетрудно?

— Я не говорю — нетрудно, но можно.

— Когда прибывают эти, из Гаваны? — спрашивает Бебе.

— Их ждут,— отвечает Сиако.

— Хорошо. Тогда идите по домам и обдумайте как следует всю операцию: где, как, когда. К нам явитесь по вызову. Примете необходимые меры предосторожности... Да, насчет женщины не беспокойся, я сумею добиться согласия Центра.

...Темное это дело насчет воды-матери... На уже заросшей теперь дороге от поместья Ла О к морю дом стоит. Старый-престарый, перекосился весь, оброс лианами и плющом. Этот дом — тоже дело темное. Прежде всего запах там тяжелый. Как потянет ветерок, как пройдет между досками дома, так и распространяется повсюду этот запах. Говорят, вода в нем живет, потому дом никак и развалиться не может. Перекосился весь, перекривился, а не падает, будто ждет чего-то. Крыши уже давно нет. Пальмовые ветви, которыми он был накрыт, давно уже истлели и труху ветром разнесло, а он все стоит. За это самое, да за запах, да за воду, которая в нем живет, народ и боится этого дома. Сами посудите: доскам давно уже пора

[1] Съедобный корнеплод.

бы сгнить и рассыпаться, но плющ и лианы перевили их и держат. Рассказывают, что в этот дом и теперь нет-нет да заглядывает вода-мать. И еще будто у самого дома родник бьет, там, где вода-мать, как говорят, помочилась—в кустах Ла О под старость не бывал в этом доме, совсем забросил его. Тогда-то в нем и поселилась вода. И сразу же стали разрастаться лианы да плющ, опутали весь дом и не дают ему развалиться. Некоторые думают, что вода-мать — это животное вроде змеи. Только я полагаю, что, скорее всего, она — как дух, и увидеть ее может только тот, у кого особый глаз на это дело. Бабка Антоньика, к примеру, тоже считала ее святым духом. А дядя мой, наоборот, рассказывал, что один раз воочию видел водумать. Она была как змея и лежала, грелась на мостике, а когда он стал подходить, уползла в реку. В одном только все сходятся, что живет она вечно, и если кто попытается убить ее, то сам умрет. А первой вода-мать ни на кого не нападет. И еще говорят, что она светится даже днем, а кто на нее посмотрит, того сразу лихорадка пробирает. И вылечить эту лихорадку можно только молитвами святому чудотворцу — Луису Бельтрану... Так вот я про дом начал. Стоит он, значит, весь гнилой среди трухи, которая с крыши обвалилась. А сквозь нее, и кругом дома, и по стенам вьющиеся растения, плющ, лианы, так и прут. У самого дома — лужица, и из нее ручеек течет. А воздух — вроде женщиной пахнет. Говорят. Ла О, когда был молодой, привозил сюда женщин — оттого и запах. Только, по-моему, пахнет это папоротником, свежей травой и цветами. Там, внутри дома-то, тоже трава растет, очень густая, и цветочки в ней лиловые. И запах от них, как от женщины после купанья...

Она приглаживает волосы, расправляет складки юбки на бедрах, подчеркивая их упругую крутизну. То выходит на кухню, то снова возвращается в комнату. Делает вид, что не слушает, а на самом деле старается не пропустить ни слова. Молодые, двигая глазами, словно заведенные, следят за ее икрами, легким колыханием юбки, дразнящим покачиванием бедер. Она чувствует эти взгляды, хотя вида не подает — к этому ей не привыкать. Однако... «Как надоело все это! Когда же наконец я вырвусь отсюда? Скорее бы уж. Уйти, скрыться от этих людей, которые все о тебе знают! От этих взглядов!»

Клементе без рубашки сидит к ней спиной: Нати смотрит на его бледную кожу, усыпанную желтыми веснушками, на глубокие морщины, впившиеся в шею, на крепкий дубленый затылок. Переводит взгляд на старика Панчо с его впалым беззубым ртом и морщинистым, как паутина, лицом. На молодых не смотрит... Присаживается в сторонке на скамейку и, опустив голову, слушает, о чем говорят мужчины.

— Я и сам так думал,— шамкает Панчо, мусоля сигару.— Теперь уже не может быть, как раньше. Нипочем не может. И мне по вкусу, как директор все объяснил.

— Мне тоже,— соглашается Клементе.

— А эти,— кивает Панчо на молодых,— заладили одно и то же: враки все это да враки. Говорил он, дескать, красиво, да надо посмотреть, что на деле будет. Сиако вот тоже говорит, что обманут нас.

— Сиако добром не кончит, если и дальше так себя будет вести,— уверенно заявляет Клементе.

Большие глаза Нати, постоянно таящие в своей глубине тревогу и беспокойство, еще больше раскрываются, и откровенный страх явственно трепещет в ее зрачках.

— А я верю тому, что директор говорил,— продолжает старик, пыхнув в который раз сигарным дымом.

— И у меня никакого сомнения нет,— соглашается Клементе.— Если бы я сомневался, разве я стал бы добровольно землю отдавать?— спрашивает он Панчо.— А у меня земля собственная, законная.

— Тебе-то за нее заплатят,— вздыхает старик.

— Нет! То-то и оно, что я отдаю ее задаром. Дарю! А сам вступаю в ихний «микроплан». На кой шут мне деньги? Я пожить хочу по-человечески, работать спокойно...

Нати слушает и вспоминает, что уже тогда, когда они еще только собирались покупать эту землю, Клементе гяготило одиночество.

— ...Никогда я. наверно, не привыкну жить без людей,— сказал он ей как-то вечером, одной рукой отмахиваясь от москитов, а другой расчесывая до крови искусанные ими ноги.— Трудно мне это. Не то что работать одному будет трудно, а — жить. Я ведь всю жизнь на шахте провел, с народом. Конечно, там тоже было не сладко — хребет ломали на эту сволочь, на хозяина. Только поэтому я и задумал купить немного земли, поработать на себя. А ты как смотришь на это?— спросил он у нее тогда.

Тогда Нати безразлично пожала плечами, не отрывая взгляда от легкого дымка над кострищем, в котором они выжигали уголь.

— Можно бы, конечно, поработать еще немножко здесь, чтобы деньжат подкопить,— продолжал Клементе,— если бы взять кого-нибудь в помощники. Одному-то становится тяжело. Марио ушел, а тебе тоже все нездоровится.

— Нет. Ты сюда больше никого не зови,— наотрез заявила она.

— Ты же говорила, что не будешь вмешиваться в мои дела?

— Марио доводился тебе племянником. Это другое дело. А чужих сюда не приводи. Не надо

Сказала, поднялась и пошла к реке помыть перед сном ноги...

— Здорово они это придумали,— продолжает Клементе.— Понимаешь: дома хорошие, кругом народ, все, что тебе надо,— тут же, под рукой! Я почему здесь землю купил? Денег у меня было маловато, а то бы, конечно, поближе к людям поселился. Тут ведь как в ссылке, я это и тогда понимал. Только уж очень мне не хотелось на хозяев работать, пропади они пропадом. Вот и купил.

— И земля-то здесь неважная.— поддакивает Панчо.— Да тут где ни возьми—все одна глина.

— Какая уж земля,— соглашается Клементе.— Почти как на болоте, только москитов нет...

— ...А почему бы тебе опять на шахту не устроиться?— спросила его Нати тогда.

— Я тебе уже сказал почему!— решительно заявил Клементе.— И больше не говори мне об этом!..

— Если бы я знал, что здесь такая земля...— говорит он сейчас.— Ни к черту не годится! Поэтому, когда победила революция, я и пошел работать в лесничество и здесь почти ничего не сею. Так только, по мелочи, для себя — самое необходимое. А теперь вот и совсем отдам ее. Подарю! Мне всегда хотелось работать и жить спокойно. Жене, правда, не нравится эта затея, не хочет она уезжать отсюда. Видать, привыкла к одиночеству. Нати!— зовет он жену.— Слышишь, Нати!

— Ну что тебе?

— Да вот я говорю, что будем переезжать с тобой в новый поселок.

— Как хочешь.

— Принеси-ка нам немного кофейку.

— Сейчас.

— Что с тобой?

— Так, задумалась чего-то.

— Скоро жизнь у тебя будет повеселее, и сразу себя лучше почувствуешь,— в голосе Клементе слышна уверенность.

...Среди народа, конечно, всякие разговоры идут. Обсуждают. Одни одно болтают, другие — другое. Такой разброд идет! Народ ведь как рассуждает? На словах, говорит, все очень красиво, а ты на деле докажи, тогда поверим. Дома эти самые покажи, тогда и решать будем. Люди тут словам не доверяют — каждый себе на уме. Есть, конечно, которые сразу поверили: здорово, говорят, придумано. Так что одни радуются, другие призадумались, и надо только взглянуть на каждого — и сразу поймешь, как он относится к этому делу. Некоторые, к примеру, сперва так говорили: иди, иди, отдавай свою землю, а потом сиди и жди, когда ихние слова превратятся в дома! На собрании в Лас Десеадас один прямо так и рубанул директору Только директор все сразу разъяснил. Сказал, что землю сдавать не надо, пока тебе не дадут готовый дом. Это совсем другое дело. Тут уж ничего не скажешь. Ну и, конечно, этим самым многим рты заткнули. Только слухи всякие и сплетни все равно со всех сторон так и сыплются, как сосновые шишки в зрелую пору. Томаса вот шепчет, что скоро в здешних горах кровь прольется, что она будто знамение зловещее видела. А как она, чертова баба, рассердилась, когда я ей сказал, что на самом-то деле это не знамение было, а... Зашипела на меня, как змея. Желтая вся сделалась.

Завтра, слышно, приезжают добровольцы из Гаваны. А тут Томаса со своими сказками. Она, видишь ли, говорит, что красная звездочка, которая виднеется ночью между горами,— это не к добру: к крови. Я тогда подзываю ее, значит, и объясняю, что, мол, звездочка-то ее это вовсе и не звездочка, а лампочка. У нас тут на антенне, понимаешь, на самой верхушке лампочку поставили и ночью зажигают. Я говорю, ты подойди поближе-то да погляди как следует. А она как окрысится на меня!..

Яркие кудрявые облачка легко плывут по синей глади и скрываются за горами. Вершины сосен, выстроившихся по гребню далекого хребта, чернеют на фоне светлого неба, словно зубья огромной пилы. Солнце вертикально втыкает лучи в сухую землю, спекая ее намертво...

Там, где пыльная полевая дорога подползает к асфальтовому шоссе, Бруно встречает добровольцев из Гаваны. После взаимных приветствий приехавшие оставляют автобусы и рассаживаются в кузовах грузовиков. Подняв до неба столб желтой пыли, колонна направляется к главному поселку. По приезде Бруно собирает в правлении руководителей групп. Студенты между тем осматривают постройки, толпятся у большой карты и схемы лесоводческого хозяйства, вывешенных на стене столовой. Закон-

чив инструктаж, Бруно выходит на улицу и, собрав вокруг себя всех приехавших, рассказывает о своих задачах, о трудностях, о намеченных на ближайшее время планах. Молодежь слушает внимательно, заражаясь его энтузиазмом. Снова по машинам рассаживаются тогда, когда солнце уже почти опустилось к горизонту и длинные тени эвкалиптов от края до края перечеркнули площадку перед правлением. «Газик» Бруно выезжает первым и втягивает за собой в узкую лесную просеку вереницу грузовиков. Колонна медленно поднимается по склону холма туда, где из-за хребта неслышно выползает ночь. Свежий ветерок подхватывает и разносит далеко по горам веселые студенческие песни.

Распределив приехавших по общежитиям, Пабло и Яйо подходят к Бруно, который беседует с группой преподавателей.

— Сами убедитесь, что работа здесь будет очень интересная,— говорит Бруно.— Вы столкнетесь с такими явлениями, что и поверить трудно.

— Что касается нас, то, конечно, мы постараемся сделать все, что в наших силах,— заверяет кто-то из преподавателей.

— Как с подготовкой «микроплана»?— обращается Бруно к Пабло.

— Есть кое-что примечательное,—отвечает тот.—Я хотел рассказать тебе об одном здешнем рабочем. У него тут собственный участок земли. Так вот приходит он к нам и говорит: «Хочу передать свою землю лесхозу». Я спрашиваю: «Продать хочешь?» «Нет,— говорит,— дарю. А сам вступаю в ваш «микроплан». Яйо его знает: хороший работник, серьезный и трудолюбивый. Ни одного прогула.

— Работник что надо,— подтверждает Яйо.— Я тут еще вот о чем думал,— обращается он к Бруно.— И с Пабло советовался. Этот товарищ, который землю отдает, много лет проработал в горах на рубке леса и на выжиге угля, его и надо назначить у нас ответственным за эту работу.

— Дело!— соглашается Бруно.— Так, пожалуй, и решим.

Разговор их перебивает один из преподавателей:

— Извините. Правильно ли мы поняли основную идею «микроплана»? Из ваших слов следует, что это — единственный путь решения специфических проблем, возникших в вашем хозяйстве Помимо всего прочего, он создает предпосылки дли ликвидации в будущем частной собственности на землю вообще. И для пролетаризации крестьянства. А это, в свою очередь, позволит создать организованную и подготовленную рабочую силу для целлюлозного комбината, который здесь намечено построить. Так ли?

Бруно утвердительно кивает головой. Яйо в недоумении таращит на него глаза. «Какого еще комбината?» — вспыхивает у него вопрос, но показать свое удивление он не хочет.

— Что говорит народ?— спрашивает Бруно.

— Многие довольны, но есть и такие, кто предпочитает выжидать.

— Я останусь у вас тут на несколько дней. Надо поработать вместе,— говорит Бруно, а потом обращается к остальным:— Извините, пожалуйста, мне нужно связаться с бригадами.

Бруно направляется к будке, где разместилась радиостанция. Не дойдя до нее нескольких шагов, замечает вдруг Мерседес, идущую ему навстречу.

...Детей у меня шестеро... Слушай, парень, а зачем ты мне всякие эти вопросы задаешь? А-а, понятно. Ну, насчет сказок и историй разных, это к Анастасио Риосу иди. Он их тьму знает. Понятно, к нему, значит, другой пойдет. Ну ладно. Только я хочу сказать, что с таким блокнотиком у него делать нечего. Вдвое больше тетради — и то не хватит. Так тебе тоже рассказать что-нибудь? Расскажу я тебе о том, что случилось на дороге из Ла О в Лас Десеадас лет тому одиннадцать. Я, кстати, сам видел эту женщину. Первым, правда, заметил ее Пипе. Он говорит, что шел по этой самой дороге и вдруг видит — прислонившись к сосне, сидит женщина. Но он подошел, потрогал — она еще теплая. Тогда Пипе быстрее взвалил ее на плечи и бегом по дороге. Кричит изо всех сил — на помощь зовет. Но кругом никого. А он чувствует, что женщина-то уж холодеть начала, сверху вниз. Добежал до первого дома, положил ее там и людей созвал. Я тоже ходил смотреть. Красивая была, даже очень, и никто ее у нас тут не знал и никогда раньше не видел. Ну, конечно, сообщили куда надо: врач приехал, судья, полицейский. Врач при всех тут же раздел ее — это я хорошо помню — осмотрел всю, но ни раны, ни царапинки не нашел. Девушка была еще совсем молодая, на лицо красивая и фигурой складная. Очень жалко было. Потом увезли ее. И вот что интересно: никто ее тут до той поры не знал. Слух, понятно, сразу всю округу облетел. Все расспрашивали друг друга: «Не знаете, кто бы это мог быть, лицо у нее вот такое, а одета она вот этак?» Очень конечно, странно, что никто ее не знал. А Пипе говорит, что нашел ее тут неподалеку. Сидела она в траве, прислонившись к дереву, будто отдохнуть присела. И это не сказка, а истинная правда. Хотите, у самого Пипе спросите, он в питомнике работает...

— Были?

— Недавно ушли.

— Что спрашивали?

— Про разное. Спрашивали, сколько мне лет и сколько тебе, есть ли дети, расписаны ли мы с тобой. Интересовались, работаешь ли ты в хозяйстве, что на своей земле посадили, сколько ты зарабатываешь Даже спросили, сколько классов мы окончили, выписываем ли газеты или журналы. Про уборную спрашивали, где у нас уборная, слушаем ли радио...

— Про радио что сказала? — резко прерывает Сиако.

— А что я скажу?

— Ну, знаешь ли! Когда надо, слова из тебя не вытянешь.

— Это когда врать заставляют.

— Ты мне ответишь, что ты сказала? — подчеркивая каждое слово, спрашивает Сиако.

— Ну что мне оставалось сказать? Сперва я подумала ответить, что нет радио, а потом вспомнила про Росу. Она же знает...

— Тварь! Чтоб тебя так-расперетак с матерью твоей и с Росой вместе! — ругается Сиако и с силой бьет ногой по табурету, отшвырнув его далеко в утол. Подходит к кухонному столику и, взяв бутылку, делает большой глоток. Вытирая рот рукавом, снова обращается к Клаудии:

— Что еще спрашивали?

— Спрашивали, не думаем ли мы расписаться по закону. Они готовят какую-то «операцию Семья».

— Это еше что за операция?

— Говорят, будут расписывать всех, кто хочет. Б один и тот же день. И общий праздник устроят. «Коллективная свадьба» — по-моему, так они сказали.

— А ты что?

— А что я? — Клаудиа смотрит куда-то в сторону.— Сказала, что не знаю, хочешь ты или нет, что поговорю с тобой...

— Подонки! — сплевывает Сиако, возвращаясь к кухонному столику.— Еще что?

— Да всякое, много всего.

— Все и выкладывай!

— Я и не помню уж.

— Вспоминай! Шевели мозгами! — приказывает Сиако, снова поднося бутылку ко рту.

— Спросили, местные мы или нет. Ты больше не пей, Сиако. С каких пор живем здесь.

— Дальше!

— Где работал раньше.

— Что ответила?

— Сказала, что был гальеро.

— Дура набитая!

— А что же я должна говорить, если все вокруг про это знают?

— Все знают! — передразнивает Сиако.— А ты могла бы сказать что-нибудь другое, разве они перепроверять пойдут?

— Сиако, ты же знаешь, я не умею врать. Еще хуже получится. Помнишь, как тогда вышло с радио?

— А вот нашкодить ты умеешь?!

— Успокойся, Сиако. Я боюсь с тобой говорить.

— Еще что спрашивали?

— Просили рассказать что-нибудь про мертвецов, привидения всякие, про клады...

— Точно,— бормочет Сиако,— Пипе тоже про это спрашивали. Черт те что! Во все лезут. Даже про мертвецов им рассказывай. Ничего святого у них нет. Соображаешь?

— Сперва я им ответила, что ничего такого не знаю, потому что сама боюсь страшных рассказов. Но потом... Они, понимаешь, такие приятные в обхождении...

— Сукины дети они, а не приятные!

— ...они говорят, что не обязательно про мертвецов и про страшное. Тогда я им рассказала историю, которую слышала от бабушки,— о том, как ударила молния и расколола дорогу.

— Записывали?

— Нет, просто сели напротив меня и слушали. У них в руках записная книжка, и они только отмечают, кто и про что рассказывает. Вежливые такие.

— Вежливые! — снова передразнивает Сиако.— На нашу голову!

— Не надо так, Сиако. Я боюсь, когда ты такой.

...Я только про грозу могу рассказать, а больше ничего не знаю... Тогда я еще девчонкой была. Стояла у окна и вижу — мой дядя верхом к нам едет. И мама из двери выглянула, ему улыбается, а он ей рукой

машет — готовь, мол, кофе. И дождя-то совсем не было, солнце светило. Вдруг откуда ни возьмись — молния. Лошадь покатилась кувырком, а дядю я больше и не видела. Не дали мне на него посмотреть. А потом уже дождичек чуть-чуть покрапал...

— Сюда!.. Сюда!..

Голос доносится из кустов, и оттуда же через мгновение, словно рожденная ночными тенями, появляется черная фигура.

— Опять запаздываете?

— Пришлось сделать большой крюк.

— Ладно, пошли.

Не видно ни зги. Впереди глухая черная стена — то ли тьмы, то ли зарослей. И только когда по лицу начинают хлестать колючки, становится ясно: кустарник марабу. Раздирая руками сцепившиеся друг с другом, усеянные шипами ветви, с трудом пробираются вперед.

— Ходят по домам, расспрашивают,— тяжело дыша, рассказывает Сиако.

— Что такое?

— Расспрашивают, говорю Вопросы всякие задают.

— Кто?

— Добровольцы приехали. Из университета. Утром работают на расчистке леса, а после обеда и вечером ходят по домам.

— Много?

— С сотню будет.

Идут, как слепые, гуськом, скользят, спотыкаются о торчащие из земли узловатые корневища, то и дело одному приходится поддерживать другого.

— Надолго они?

— Похоже, побудут.

— А вообще как там дела?

— Дома начали строить.

Разговор тревожен и смутен, как и окружающий их лес.

— Кто строит?

— Тоже приехали.

— Сколько?

— Человек тридцать. Потому должны были дать круголя: ходят везде, чтоб им провалиться. Даже сейчас по дороге одного встретили. Правда, ничего не сказал.

Наконец выбираются на небольшую поляну. Лес вокруг темен, только вверху, среди расступившихся ветвей, видны редкие крупные звезды да заметно, что один край небесной прогалины чуть светлее другого.

Возле стены шалаша лежит человек, прикрытый светлым пледом.

— Занемог наш приятель,— кивает Бебе в сторону Роби.— Ничего, пройдет,— в голосе слышится легкая издевка.

— Что с ним?

— Температура.

Высунув лицо из-под пледа, Роби смотрит на них неподвижными глазами. Скулы туго обтянуты бледной кожей. С заметным усилием он садится и вдруг срывающимся голоском кричит:

— Он меня ножом! Вот! — И оголяет плечо, но в темноте им ничего не видно.— Убить хотел!

— Перестань, Роби, и не болтай глупостей! Пристал, понимаете, ко мне, точно рехнулся,— сообщает Бебе пришедшим.— Пришлось его немного подлечить. Эй, Роби, не хочешь еще лекарства?

Роби бурчит что-то сквозь зубы, снова валится на землю.

— Он тут заговариваться начал. Лучше, говорит, умереть, чем сидеть здесь. Ну, я и дал ему свой кинжал. На, говорю, умирай. Он схватил его да как пырнет себе в плечо. Правда ведь, Роби, ты не хотел резаться насмерть?

Роби молчит.

— Нервы расстроились,— продолжает Бебе.— Зло его разобрало, а на кого тут будешь злиться? Ну, вот и кольнул сам себя. Но когда увидел, как кровь из плеча брызнула, начал кричать: «Не хочу, говорит, умирать». С той поры спокойнее.

У Куэто мурашки бегают по спине.

— Так вот: приказ получен. Садитесь,— приглашает Бебе.— Кстати, насчет твоей красотки — все в порядке, возьмем ее. Но прежде чем уехать отсюда, нам предстоит серьезно поработать. Надо все как следует обмозговать и спланировать, чтобы избежать осечки.

— Понятно,— говорит Сиако.— Давай рассказывай все по порядку,— и усаживается рядом с Бебе.

— Правда, придется подождать, когда эта орава отсюда уберется. В общем, задача такая: ликвидировать нового директора, поджечь леса, а уже потом смываться. Подготовить надо все заранее, но операцию начнем только тогда, когда подойдет наш катер и вышлет за нами к берегу лодку. Подумай, как лучше устроить засаду, но учти:

все надо сделать без единого выстрела. Набросай план округи, отметь место для засады. Потом доложишь. Он один ездит?

— Когда как.

— Оружие при себе имеет?

— Да.

— А те, кто с ним ездит?

— Смотря кто едет.

— Ладно, давай обдумай все как следует, выбери место. Не торопись, все равно придется ждать, пока разъедутся эти чертовы добровольцы. И запомни — действовать надо будет наверняка. Ошибаться нельзя.

— Придумаем что-нибудь,— говорит Сиако.

— Ну, а этому дадим что-нибудь полегче,— пренебрежительно кивает Бебе в сторону Куэто.— Слышите, вы! Вас избавили от участия в деле. А то еще случится что-нибудь с вашими штанами — по запаху нас обнаружат.

Куэто так трусит, что и не думает об оскорблении. Опустив голову, он старательно разглядывает в полутьме ворох сухих листьев.

...Слушай, а ведь это Педро Бульдозер. Он! Говорю тебе — он. Я, конечно, немного его видел, да никто здесь его много-то не видел, он ведь недолго пробыл у нас. В Сьерра Гранде ушел. Но это точно он. Как-то ночью, помню, пришлось мне с ним даже разговаривать. Конечно, ночью лицо как следует не рассмотришь, но голос его и манера говорить, точно — он. Я услышал его на собрании и сразу понял. Иначе не может быть. Конечно, в какой-то степени переменился — времени сколько прошло,— да и все мы переменились. И все-таки — это он. И голос его, и манера говорить...

— Сиако, ты знаешь, что бабка Антоньика говорила?

— Нет.

— Она говорила, что если мужчина носит с собой фотографию вместе с волосами женщины, он будет принадлежать ей всегда. И эта карточка будет хранить мужчину от любой опасности. Он только должен одной рукой перекреститься, а другой крепко прижать к себе фотографию. Она еще, знаешь, что говорила? Чтобы привязать к себе мужчину, надо прокипятить свои волосы в кофе и дать ему выпить. Я никогда не пробовала это делать. Мне казалось, что, если я сделаю такое без твоего ведома, а потом ты узнаешь, мне будет неловко перед тобой. А сейчас мне с тобой хорошо, только я боюсь. Я очень боюсь за тебя, Сиако. Знаешь, у меня есть фотография. Это когда я еще служила в «Лас Ботес». Какой-то заезжий фотограф снял меня вместе с клиентами. Их всех я отрезала и осталась одна. Возьми ее с собой, Сиако.

— Брось, Нати, вечно ты со своими штучками.

— Значит, ты не хочешь иметь при себе что-то мое. А говоришь, что возьмешь меня с собой куда угодно. Я отрежу немножко волос? А, Сиако?

— Нет, уж тогда я сам.

Он обнимает Нати и целует ее за ухом, пытаясь ухватить зубами завиток черных волос.

— Мне щекотно, Сиако!

— Ничего,— бормочет он, крепко прижимая Нати к себе.

— Больно! — кричит она.

— Пройдет! — Сиако с силой дергает головой.

Из глаз Нати выступили слезы, и глаза кажутся еще выразительнее, еще прекраснее.

— Ой, Сиако, что-нибудь ты всякий раз придумаешь,— говорит она уже с улыбкой.— Ну как мне тебя такого не любить?!

Нати встает и достает из шкафчика иголку и красную нитку. Присев рядом с Сиако на кровать, она пришивает прядь к своей фотографии.

— Всегда будешь носить ее с собой?

— Всегда.

— Запомни: она защитит нас от любого несчастья!

ЧАСТЬ IV

И сразу наступила тишина, смолк веселый гомон, более не слышно дружного смеха и праздничной переклички молодых голосов. Опустела площадка перед правлением, которую студенты прозвали «Рампой». Затихли горячие споры и задушевные вечерние беседы в конторе — в «ЦК», как говорили студенты. Всему они дали свои названия, и в течение тех дней, пока работали в хозяйстве, столовая была уже не столо-

вая, а кафе «Коппелия», а дощатая стена, выкрашенная известкой, превратилась в экран кинотеатра «Трианон».

И вот они уехали. «Рампа» опять стала прежней пыльной площадкой между правлением и общежитиями, «Коппелия» — старой столовой, крытой пальмовыми листьями. Нелепо возвышался возле питомника побеленный известкой дощатый щит бывшего «Трианона». Поселок погрузился в тоскливую тишину. Это была даже не тоска, а грустное воспоминание об отшумевшем веселье — подобное чувство возникает, когда посетишь заброшенные места, которые еще совсем недавно бурлили шумной, искрящейся жизнью.

После отъезда студентов поселок будто вымер. На прощальном вечере они обещали вернуться, заверяли, что дни и вечера, проведенные здесь, надолго останутся в их памяти. Да и как забыть все это, если даже в строгих, умных глазах преподавателя Марре вдруг навернулись слезы, а у многих ребят комок подступил к горлу, когда однажды вечером бабка Лусиа во время показа кинофильма вдруг вскочила со своего места и, что-то шамкая беззубым ртом, заковыляла к экрану, чтобы заглянуть за него и разобраться, где там прячутся артисты, собственноручно потрогать сверкающие автомобили, поближе рассмотреть роскошные здания. Ее корявые, узловатые пальцы, не найдя ничего, долго и растерянно ползали по шершавому деревянному экрану, пока Марре не подошел к ней и не увел на место, тихонько объясняя бабке на ухо. Конечно, это было смешно, и зрители смеялись от души. Но было и грустно...

Марре — ответственный за социологические исследования — не один вечер провел в беседах с бабкой Лусией, копаясь с большим интересом в ее богатейшем архиве сказок, преданий, народных поверий. В сумерки она рассказывала их хрипловатым приглушенным голосом старой, больной и суеверной женщины.

На следующий после кинопросмотра вечер Марре решил наведаться к ней, поинтересоваться ее впечатлениями. Бабка показалась ему какой-то странной: тревожный, бегающий взгляд, суетливые движения, сбивчивая, неразборчивая речь. Марре, предчувствуя недоброе, пытался успокоить Лусию, но ее дочка Ремихия со слезами на глазах рассказала, что мать с самого утра начала нервничать и бестолково хлопотать по дому, утверждая, что сегодня к ним должны приехать какие-то гости. Старуха дважды заставила дочь убирать в комнате, приказала приготовить праздничный обед и особенно беспокоилась о том, чтобы не забыли сварить крепкий кофе. Так и не поговорив с бабкой Лусией, расстроенный Марре ушел, сообщив о случившемся Бруно.

А позже Лусиа снова подошла к экрану и до самой ночи стояла там, отгоняя любопытных. Она объясняла им, показывая на побеленные доски, что из этой самой двери вот-вот должны появиться гости: «Тут они, родимые, придут, через эту дверь войдут, по этой дороге приедут. Мои гости! И смотрите у меня, чтобы никто не смел их к себе зазывать!» Народ пытался уговорить ее, угомонить, но никого она не хотела слушать и под конец стала сердиться. На следующий вечер повторилось то же самое поэтому Бруно и Марре поутру вынуждены были усадить бабку Лусию в «газик» и отвезти в город. Возвратились оба печальные «Не выдержала, сошла с ума»,— с трудом выговорил Бруно.

Вот почему отъезжающие с полным правом говорили, что у них в памяти надолго останутся проведенные здесь дни и вечера. И не только из-за случая с бабкой Лусией, и не потому, что вообще нелегко бывает забыть места, щедро политые твоим трудовым потом, и даже не из-за того, что их поразило в день «общественного содействия»,— а из-за всего вместе, что здесь они увидели и услышали, к чему прикоснулись своими руками.

А в день «общественного содействия», проведенный в одно из воскресений, их поразило вот что. Утро прошло без происшествий — оживленно и организованно. Со всей округи жители съехались семьями в центральную усадьбу. Нуждающимся оказывалась медицинская помощь, женщины толпились возле импровизированной парикмахерской— там делали «городские» прически и даже маникюр. Сапожники чинили желающим обувь, а портнихи давали советы по пошивке одежды. Ближе к полудню в торжественной обстановке был заложен первый камень будущего поселка. Под вечер детям были показаны кукольные представления, их угощали лимонадом, сладостями. Все шло хорошо, пока не стали раздавать мороженое. Несколько малышей с удовольствием схватили свои порции и, далеко высовывая языки, стали лизать сладкую холодную мякоть. Но большинство детей, едва дотронувшись до мороженого, в испуге отдергивали ручонки, а если успели взять его, роняли на землю. Поднялись крики, плач. Ребят пугал густой пар, поднимавшийся из ящиков, а непривычные белые кубики обжигали руки и рты. И удивленные горожане стали свидетелями того, как здешние дети впервые в своей жизни увидели мороженое, внушившее им страх,— горько и обидно было за этих детей.

Нет, студенты и преподаватели не бросались словами, когда при прощании говорили, что надолго в их памяти останутся эти дни и вечера.

— Каждый день он возвращается в правление вот по этой дороге через мостик. Здесь самое подходящее место,— говорит Сиако, ткнув пальцем в карту.— И с той, и с другой стороны моста вдоль дороги — дикие заросли марабу.

— Итак, завтра! Ждать больше нельзя... Обычно он возвращается один? — уточняет Бебе.

— Когда как.

— Плохо, что это место далеко от побережья,— задумчиво произносит Бебе.— Сколько времени потребуется, чтобы добраться отсюда до моря?

— На «джипе» — часа полтора, на лошади можно проехать напрямую за час, пешком — часа за три-четыре,— отвечает Сиако.

— Далековато

— Но это единственное верное место. Здесь он обязательно проедет.

— А если нас кто-нибудь обнаружит еще по пути туда? Дорога ведь не близкая.

— Будьте спокойны, я проведу так, что ни одна собака не заметит,— убеждает Сиако.

— Полтора часа,— задумывается Бебе.— В таком случае, тем более необходимо избежать стрельбы.

— Место наиболее подходящее,— продолжает Сиако.— Надо будет выманить его из машины, а уж тут наваливаться с ножами. Там остановить легко: положить заранее бревно поперек моста — и все.

— Заранее нельзя,— возражает Бебе.— Если кто-нибудь раньше поедет через мост, тогда пиши пропало. Нужно установить наблюдение, нужно быть абсолютно уверенным, что едет именно он и что едет один.

— А если не один?

— Все равно придется действовать, но мы должны знать наверняка, один или не один. Если не один, тогда выстрелов не избежать. В этом случае лес здесь не поджигай. Подавайся прямо на побережье.

— А как вы думаете задержать его у моста?

— Как только убедимся, что это он, вывесим красную тряпку, а если будет темно, зажжем фонарь. Откуда удобнее вести наблюдение?

— Да с любого холма весь поселок как на ладони.

— Наблюдение поручим Куэто,— решает Бебе,— лучше, если его не будет с нами в момент действия, он может все дело испортить. Тут работать надо хладнокровно. Его задача такова: он выберет удобное место для наблюдения за поселком и, как только увидит, что директор выехал, гонит на своем «джипе» к нам, сообщает, один он выехал или с кем-нибудь. После этого Куэто переедет через мост и подождет нас вот здесь, за поворотом. Ясно?

— Все ясно.

— А ты со своей кобылой находишься вот тут. Мост оттуда виден? Хорошо. Как только убедишься, что мы с ним покончили, сразу же запаливай в нескольких местах и подавайся к берегу. А начнется стрельба, здесь не поджигай — скачи в сторону моря и там, где-нибудь поблизости от побережья, если успеешь, пустишь им «петуха». Согласен?

— Полностью.

— О'кей. Тогда доложим наш план Центру. Если все будет четко скоординировано, я думаю, операция пройдет гладко. Не забудь: услышишь стрельбу — сразу же к берегу. А поэтому Куэто дай что-нибудь от нервов или пусть он себе завтра рот заткнет тряпкой.

...Я спросил у Пабло: он это или не он, и Пабло подтвердил, что он. Я ему: «Чего же ты мне раньше-то не сказал?» А он: «А чего же ты не спрашивал?» Ну, ладно. Главное, что это он. Еще я спросил у Пабло: «Говорят, он адвокат, университет окончил?» А Пабло ответил: «Какое это имеет значение?» Я, понятно, удивился и спросил, как же все-таки это получилось, что он тогда оказался у нас, да еще простым рабочим. Тут Пабло мне и рассказал, вернее, пересказал то, что когда-то слышал от Бруно. У Бруно в тот вечер была высокая температура, и Пабло принес ему мараньоны, чтобы, значит, сбить лихорадку. Он сам просил чего-нибудь кислого—внутри все горело. Тогда-то он кое-что и поведал, хотя о себе и не любил особенно говорить. А тут рассказал и про то, как попал на бульдозер, и как ушел, оставив объявление. Пабло говорит, что всю эту историю ни с каким кино не сравнишь — дух захватывает.

А дело было так. У него, понимаешь, там в Гаване, в его адвокатской конторе, однажды утром полиция вдруг устроила обыск. Сам-то он на всякий случай скрывался с товарищами в другом доме. Но когда они узнали про обыск, пришлось искать новое укрытие, выйти из того дома в город. И в тот же вечер полицейские их «засекли». Тогда и погибли его друзья— Рене, Мачито и Роке, с которыми он работал в Гаване Куда ему было деваться? Руководителем их ячейки был Мачито, а его, понимаешь, напополам так и разрезали автоматной очередью. И у Бруно — ни адресов, ни связей. Сам-то просто чудом уцелел. Он, значит,—к одним друзьям, к другим, но все под разными оговорками отказались его спрятать. Потом все-

таки с одним инженером договорился. Вообще-то едва знакомый был этот инженер: Бруно однажды выступал в суде по какому-то делу его фирмы. Объяснил он этому инженеру свое положение, сказал, что «горит». Тот ответил, что при таких обстоятельствах укрыть его у себя надолго, конечно, не может, но свяжет со своим другом, работающим на строительстве дорог в горах. Там Бруно под видом рабочего мог бы жить, сколько ему понадобится. Так и получилось, что Бруно попал в наши края. Не сюда, понятно, а ближе к побережью. Работал какое-то время на бульдозере, пока не установил связь со своими. Потом ушел в горы. Пабло мне это рассказывал, то есть пересказывал. Вот он, оказывается, кто такой Бульдозер-то был!..

Копыта стучат по сухой дороге, взметая клубы пыли... Клаудиа задыхается, кашляет, поворачивается в постели, отирает пот с лица. Перестук копыт приближается... Она стоит у дороги, укрывшись в зарослях буганвильи. Земля вздрагивает, вдруг проваливается под ее ногами. Цокот разносится в воздухе, и воздух дрожит, и Клаудиа дрожит, и кусты буганвильи дрожат тоже, и вдруг мгновенно засыхают и рассыпаются пылью у нее над головой... Клаудиа ворочается на кровати, кашляет, отирает пот с лица, ощущает, как на ее голову сыплется лиственная труха и сама она начинает превращаться в пыль, смешиваясь с пылью дороги, с прахом листьев. А лошадь бьет копытами... Клаудиа вскрикивает, и от собственного крика просыпается. Дотрагивается пальцами до висков, проводит по лицу, осматривается: Сиако нет. Несколько мгновений лежит отрешенная, словно вернувшаяся в сон, потом медленно поднимается и бредет через дом, ссутулив плечи, волоча ноги по пыльному полу. «Сиако!— кричит она.— Сиако!» А в ответ — тишина. Зовет Марипосу, а в ответ — тишина. Ведь знает, что Марипоса уже никогда не прибежит к ней, и сама не понимает, почему зовет ее, не понимает, почему вдруг начинает звать детей, которых у нее нет. И всякий раз отвечает ей тишина. Опять дотрагивается пальцами до висков, а глаза ее проваливаются в глубину глазниц, на лице остаются лишь темные впадины. Губы вытягиваются в горестную прямую линию, фигура сжимается. Срывающимся, нечеловеческим голосом Клаудиа кричит: «Сиако! Марипоса! Сиако! Мигель! Флора!..» А в ответ — тишина. Тело женщины съеживается, застывает, деревенеет. Снова неловко и неуверенно, как во сне, идет она к двери. Опустошенная, тащится сквозь пустоту, выглядывает за дверь и смотрит на пустынную дорогу, и кажется ей, что слышит она, как где-то далеко, замирая, стучат копыта. Ее глаза тянутся туда, словно желая выпрыгнуть из глазниц и припуститься по этой дороге, шрамом рассекающей сумрак ночи. Так в дверях и остается. Стоит час, другой, закрыв глаза, перебирая непослушными губами слова, воспоминания. Временами губы вдруг плотно сжимаются, а глаза приоткрываются, тогда в них тускло отражается свет рождающегося утра.

...Никто не знал, на что он жил и где, откуда пришел и куда ходил каждый день. Он не любил об этом рассказывать, и если кто-нибудь задавал ему такой вопрос, он сразу же переводил разговор на другое. Казался он человеком культурным: никогда не обижался на людей и не выходил из себя, даже если над ним и надсмехались. Ходил тут по всем дорогам вечно пьяный, ходил в надежде встретить кого-нибудь и поговорить. Был он уже стариком, хоть и трудно было определить его возраст, просто было видно, что в любой момент он может умереть. Худущий, в одном и том же черном костюме, выцветшем и мятом, в белой засаленной сорочке, перевязанной на шее галстуком, видавшим виды. Странный был человек—мог появиться где угодно, как привидение. Только, конечно, это было не привидение: при попутном ветре спиртной запах от него за километр слышался. Ну каждый божий день, как его ни встретишь, всегда был выпивши. Щупленький, маленький, с седой бороденкой, спотыкаясь, бродил он тут по дорогам. И очень любил поговорить. На любой вопрос отвечал. Но больше всего говорил о деревьях: называл их мудрецами. Называл мудрецами и подолгу смотрел на их кроны, слушал, как шепчутся они на ветру. Его считали сумасшедшим, и мы, тогда еще мальчишки, поддразнивая старика, спрашивали: «Скажите, сеньор, а что такое сумасшедший?» Он не сердился. Становился серьезным, но не сердился. И всегда отвечал одно и то же. Я это хорошо запомнил, потому что все время он повторял одно и то же: «Знаете, сеньоры, я не уверен, что есть кто-нибудь, кто имел бы право точно ответить вам, что такое сумасшедший». И опять начинал говорить о деревьях. «Деревья—это мудрецы. Они-то знают, что все кончается, что все проходит и уходит навсегда. Слышите, как листья шумят? Это они прощаются с нами». Теперь-то старик, наверно, уже помер. А может быть, ушел куда — никто не знает. Однажды исчез — и все, больше его здесь не видели...

— Пора,— говорит Сиако.

Они вылезают из лесной чащи. Темная стена смыкается за ними. На фоне светлеющего края неба видно, как черный силуэт «джипа» Куэто удаляется по гребню холма, постепенно растворяясь в сером полумраке. Ночная темнота борется с рождающимся утром, заползая в низины, прячась за выступами скал. Предметы в этот час кажутся нереальными, расплывчатыми, расстояния искажаются. Четыре призрачные фигуры медленно движутся вверх по склону, огибая скалы, окунаясь в сумрак ущелий и впадин и вновь появляясь в туманном полусвете. Идут тихо, сосредоточенно, пригибаются в высокой траве, изредка обмениваются настороженными взглядами. Сиако — впереди. Временами он останавливается, внимательно вглядываясь по сторонам и напрягая слух. Вот и солнце выглянуло из-за гор. Теперь наклоняться приходится еще ниже, тщательнее осматривать окрестности и ближайшие вершины — идут они уже по открытой местности. Чем дальше, тем реже и суше трава, а воздух постепенно наполняется пылью, поднимаемой утренним ветерком. Выходят к оврагу и по неровному, изрезанному склону начинают спускаться вниз, цепляясь за острые выступы, увлекая за собой россыпи камней. Низ оврага с одной стороны порос кустарником марабу, а на другой, более пологой его стороне, раскинулась эвкалиптовая роща. Достигнув дна, по которому, вероятно, когда-то протекал ручей, Сиако говорит:

— Вот это самое место и есть.

— Неплохо,— одобрительно замечает Бебе.— Как в траншее.

Хотя воды в ручье нет, земля в его русле еще влажная и мягкая, и к ней жадно тянутся с берега извилистые лианы и корни растений.

В нескольких десятках метров от места спуска среди буйного переплетения кустарника, обступающего дорогу, виднеется небольшой деревянный мостик.

— Здесь,— показывает Сиако на мост.— Вы тут устраивайтесь, пока я сгоняю за моей зазнобой.

Трое укрываются на дне оврага, а Сиако выезжает на дорогу и внимательно всматривается в ту сторону — на вершину холма, где должен находиться Куэто. Не найдя его и ощущая за собой чей-то пристальный взгляд, он поворачивает лошадь к неглубокой лощине, на склоне которой виднеется дом Нати. Привычной бело-красной скатерти на веревке нет, и, прежде чем приблизиться, Сиако несколько раз свистит. Ему видно, как Нати с распущенными волосами выбегает из дома — прямо к изгороди. Подъехав ближе, Сиако, не слезая с лошади, зовет:

— Пора, Нати!

— Уже?

— Да, поехали.

— Дай хоть я сбегаю искупаюсь на счастье.

— Слушай, вечно ты с этими глупостями. Поехали, времени нет. Ты должна ждать меня там на берегу, как договорились, а туда добрых два часа ходьбы. Ну, быстро, забирайся ко мне.

— На лошадь? Нет, Сиако. Нас могут увидеть.

— Какая теперь разница? Больше нас никогда не увидят.

— Все равно, Сиако, на лошади не поеду. Лучше пешком

— Как хочешь, иди пешком, только быстро!

— Дай хоть узелок собрать.

— Никаких узелков. Пошли.

По пути Сиако слегка придерживает свою кобылу, а Нати шагает рядом, на ходу приводя в порядок волосы, собирая их сзади в пучок.

— Рада?

— Очень. Только чего-то боюсь. Лучше бы я искупалась.

*

С этого холма поселок похож на детские кубики, разбросанные среди песчаных холмиков. Растянувшись на траве, Куэто из-за сосны рассматривает поселок в бинокль. Долго регулирует резкость, пока красный трактор, стоящий у водонапорной башни, не вырисовывается четко и ясно. Потом переводит бинокль на контору, на общежития, на столовую. Замечает, что Хесус и Туте, беседуя, пересекают пыльную площадку. В бинокль видны питомники, антенна, радиостанции, плантации ярко-зеленых саженцев, женщины, работающие в междурядьях, а еще дальше — строящиеся новые дома. Куэто рассматривает дальние холмы и сосны на них — стройные стволы, темную морщинистую кору. Снова нацелив бинокль на поселок, видит, как к столовой подъезжает «газик» и останавливается в ее тени. Из машины выходят трое. Он узнает Бруно и Хорхе, третьего не знает — никогда его прежде не видывал. Оторвав взгляд от поселка, Куэто смотрит на часы: ровно половина одиннадцатого. Когда он опять прижимает бинокль к глазам, трое входят в контору...

— Как дела с «микропланом»? — спрашивает Бруно.

— Народ работает все с большим подъемом,— отвечает Луис.— К концу месяца домов восемь заселим.

— Возможно, лучше подождать и переселение начать, когда будут готовы все дома.

— Ну что же, можно и так,— не возражает Луис.— А завтра начнем расчистку по склону Ораско. Руководить работами — рубкой и выжигом угля — будет Клементе.

— Неплохо, — соглашается Бруно.— Вот еще что. Свяжись с Лас Десеадас и бригадой «Феликс Лопес», передай Бланко, пусть завтра приедет сюда вместе с Аресио и Пабло. Пора уже поговорить о создании партийной ячейки. Отсюда поедем в правление. Да, и спроси: товарищи уже выехали?

...Куэто видит, как они выходят из конторы и, вздымая облачка пыли, шагают к питомнику. Несколько минут разговаривают с женщинами, потом направляются к строящимся домам. Бинокль десятикратный и, приглядевшись внимательнее, Куэто может различить даже мелкие детали. Бруно одет в серую спецовку, одна штанина у него заправлена в ботинок, другая выбилась. Куэто убеждается, что оружие при себе имеет только Бруно. Вот они обходят стройку. Останавливаются. Бруно поворачивается лицом в сторону холма, и Куэто несколько мгновений видит его как будто совсем рядом. Бруно смотрит на него в упор и что-то строго говорит, словно спрашивая: «А зачем это вы оттуда за нами подглядываете?» — и вдруг улыбается, понимающе прищурив глаза. Вздрогнув, Куэто опускает бинокль и с каким-то облегчением смотрит на маленького, далекого и потому неопасного Бруно. Когда он снова подносит бинокль к глазам, Бруно уже отвернулся от него и, вытянув руку в сторону, что-то объясняет тем, кто стоит рядом с ним.

Потом вся группа снова возвращается в поселок, заглядывает в общежития и скрывается в столовой.

Над головой Куэто раскинулось знойное полуденное небо. Солнце сосредоточенно жжет притихшую, словно в ожидании чего-то, землю. Все вокруг пышет жаром. Воздух волнами поднимается от раскаленных скал, и предметы в его восходящих струях кажутся изломанными, дрожащими. Куэто чувствует, как солнечные лучи до боли припекают ему спину. Отложив бинокль, он поворачивается вверх лицом. Долго лежит так в траве, раскинув руки и стараясь ни о чем не думать. Встать его заставляет жажда. Он бредет к своему «джипу», достает из-под сиденья термос и отпивает несколько глотков, мысленно ругая себя за то, что не догадался захватить съестного. Возвращается на свой наблюдательный пункт под сосной. Большой као, устроившийся было на ее верхушке, увидев приближающегося человека, недобро кричит и, распластав по сини неба большие черные крылья, улетает.

Куэто опять ложится на траву, берет бинокль, пробегает взглядом по пустынному, залитому ярким светом поселку. «Газик» стоит, как и раньше, прижавшись к столовой, но теперь уже над ним нет никакой тени. Мысли Куэто возвращаются к тем троим, что ждут его у моста, к Сиако, к тому, что должно произойти. От сознания близости кровавых и теперь уже неотвратимых событий ему становится еще жарче, душу охватывает расслабляющее тоскливое чувство страха, в голове проносятся какие-то обрывочные видения, то четкие и ясные, то неопределенные и расплывчатые, смысла которых ему никак не удается ухватить. Так и не освободившись окончательно от этого полусна, Куэто вновь прижимает бинокль к глазам и вглядывается в далекие постройки. Там по-прежнему все спокойно. Какая-то собака не спеша трусит через площадку перед столовой. Глухой повар, неподвижно стоящий у косяка двери, внимательно наблюдает за ней и даже не оборачивается, когда сзади, почти вплотную к нему, подкатывает еще один «газик». Из машины выпрыгивает Бланко и быстро входит в контору. Куэто успевает осмотреть и его снаряжение.

Часов около трех пополудни к конторе подъехали Пабло и Аресио. У Пабло на ремне поблескивает пистолет. Аресио — без оружия. Куэто провожает их взглядом до дверей.

По мере того как солнце проходит свой извечный дневной путь, нервозность Куэто все возрастает. Его маленькие, глубоко посаженные глаза затравленно бегают. Прошуршала где-то рядом в траве ящерица, и у него испуганно екает сердце. Осмотревшись вокруг, немного успокаивается, облизывает пересохшие губы. Воды в термосе уже не осталось, воздух по-прежнему сух и горяч, хотя солнце и начинает потихоньку подбираться к зубчатому хребту.

Куэто видит, как повозка с рабочими отъезжает от питомника. А двери конторы все еще закрыты. Солнце повисло уже над самыми горами, оглядывая напоследок добротно прожаренную за день землю. Вот золотистый край его диска царапнул каменистую вершину, разбросав во все стороны снопы разноцветных лучей, а двери конторы по-прежнему неподвижны. Наконец солнце устало скатилось за сразу почерневший гребень гор, и только тут Куэто увидел, как из конторы выходит Бруно. Положив руку на плечо Луиса, он продолжает еще что-то говорить...

— Здорово запаздываем,— сокрушается Бруно.

— Вы поезжайте прямо сейчас,— советует ему Луис ,— а мы вас догоним по дороге...

Улыбнувшись Луису, Бруно садится в свой «газик». Ловко развернувшись на площадке, машина выезжает на дорогу.

Руки Куэто дрожат от волнения. Отбросив бинокль, он стремглав подбегает к «джипу» и, резко включив мотор, не разбирая дороги, летит вниз — к оврагу. У знакомого моста останавливается и растерянно оглядывается: никого! Наконец замечает Бебе, осторожно подающего ему сигнал из кустов. Скороговоркой докладывает:

— Едет. С ним еще двое.

Быстро прогромыхав по мосту, «джип» скрывается за поворотом дороги.

Бебе и его помощники кладут поперек дороги несколько бревен, вешают на перила моста красную тряпку, зажигают фонарь.

■

...Говорят, что ночью войти в лес не всякий может. Сперва надо спросить разрешения у желтых ночных бабочек и поздороваться с ними: они сторожат лесной покой. У наших горных зарослей свои законы, и законы эти нельзя нарушать. Надо их знать, чтобы ночью войти в лес. Лучше всего, говорят, идти в новолуние, тихонечко посвистывая. Ночью в лесу скапливается вся дневная ненависть и вся любовь. Дремлют там, затаившись в корнях. А корой и листвой деревья чутко прислушиваются ко всему, охраняя сон любви и ненависти. Говорят, что и святые по ночам живут не в небе, а спускаются на землю и гуляют в лесу. А в самых темных зарослях прячутся души покойников. Старая Карлота, говорят, знала, как надо входить в лес, поэтому и могла беседовать с деревьями, и они рассказывали ей, какие мечты, какую любовь и какие силы они хранят в своих корнях...

Сумерки едва-едва спустились на землю, а в лесу уже царствует ночная тьма...

Хорхе сидит за рулем, рядом с ним — Бруно, а Суарес — член провинциального комитета партии — устроился на заднем сиденье. Два скрещивающихся луча фар шарят по дороге, и кажется, что это они поднимают в воздух клубящуюся пыль и тучи мошкары.

— Действительно, неплохо получается с «микропланом»,— говорит Хорхе, не отрывая глаз от дороги.— А я, признаться, серьезно сомневался.

— Дело в том,— поворачивается к нему Бруно,— что люди, познавшие настоящий голод, всегда нас поймут и поддержат. Кроме того, Луис и Пабло отлично ведут разъяснительную работу.

Выбравшись из низины, «газик» некоторое время едет по склону горы, а потом снова сворачивает вниз, туда, где через русло высохшего ручья перекинут мостик...

Метрах в ста от моста, не отпуская дрожащей руки от кнопки стартера, сидит в своем «джипе» Куэто. В стороне и несколько выше — Сиако, крепко натянув поводья, прячется за чахлыми пальмами. У самого моста притаились в кустах трое. Чувства и мышцы напряжены до предела. Один из них, скорчившись в непролазных колючих зарослях марабу, раздирающих при каждом движении и одежду и тело, сжимает в руке длинный и тяжелый кинжал. С противоположной стороны укрылись Бебе и Роби: у них в руках автоматы. Пока только ветерок с легким шорохом поглаживает ветви, других звуков не слышно. Но вот издалека доносится шум мотора. Все настораживаются. Машина быстро приближается. Неожиданно из-за поворота выскакивают два огненных глаза и, пронзив лучами света темноту, упираются в завал у моста. Машина резко тормозит. Из нее выходит Бруно и быстро шагает к лежащим поперек дороги бревнам. Тут же от черной стены марабу отделяется тень и сзади набрасывается на него. Хорхе пытается включить заднюю скорость, Суарес на ходу вытаскивает пистолет, выпрыгивает из машины, но стрелять не решается: две темные фигуры, схватившись в борьбе, покатились в дорожной пыли, и невозможно разобрать, которая из них — Бруно.

— Ни с места! — слышится резкий окрик с другой стороны.

Суарес мгновенно стреляет на звук голоса. И тотчас же раздается несколько ответных выстрелов. «Газик» медленно ползет назад, неуклюже скатывается с дороги и, уткнувшись в эвкалипт, останавливается. Перепрыгнув через завал, Суарес приседает и стреляет по вспышкам. Глаза немного освоились в темноте. На сероватом фоне дороги ему видно, как Бруно, стоя на коленях, пытается подняться, а над ним заносит руку какой-то человек. Суарес стреляет, и человек, моментально перегнувшись, оседает на Бруно, валится набок и медленно ползет к кустам. Суарес стреляет еще раз, и в это мгновение чувствует: что-то резануло его левую руку. Быстро обернувшись, он успевает сделать несколько выстрелов по удаляющимся вспышкам и падает. К мосту на полной скорости подлетают еще два «газика». Из них выпрыгивают с пистолетами в

руках Пабло и Луис. Выстрелы уже смолкли, и над лесом нависла зловещая тишина, нарушаемая лишь вздохами ветра. В бледном свете показавшейся луны можно рассмотреть поникшую на сиденье «газика» фигуру Хорхе: руки его лежат на руле, голова неестественно откинута назад. Подойдя поближе, Луис различает на его лице и шее струйки крови. Хорхе мертв. Ветровое стекло машины сплошь изрешечено пробоинами. Около моста находят Бруно, лежащего поперек дороги. Левая рука как-то странно завернулась за спину, правая — на кобуре. На животе и чуть выше по рубашке расплываются два больших темных пятна. Склонившись над ним, Пабло и Луис убеждаются, что он еще жив: дышит, едва заметно шевелит веками. Вдвоем они поднимают Бруно и укладывают на заднее сиденье машины. Пабло садится рядом, а Бланко быстро включает мотор и, развернув машину, направляется по дороге к поселку. Позднее обнаруживают Суареса. Над мостом видны только его ботинки, тело свисает вертикально, вдавившись головой во влажное, мягкое дно ручья. Луис спускается вниз и убеждается, что Суарес тоже мертв. Быстро вспрыгнув на мост, Луис командует:

— Яйо! Быстрее в поселок! Поднимай людей! Надо немедленно оцепить берег! Их нельзя выпускать! — Обращаясь к Аресио, он добавляет: — А мы пойдем по следу! Далеко уйти они не могли.

...Бабка Антоньика, та, лечившая водой, говаривала, что женщина, если она хочет ночью идти в лес, должна быть чистой, должна вымыться речной водой с листьями альбааки [1] и с белыми цветами. Она говорила, что это будто бы нужно для того, чтобы отогнать страх, потому как страх может сделать с женщиной все что угодно...

Торопятся. Бегут без передышки. Спотыкаются, падают, поднимаются и снова бегут. Выйти на дорогу боятся, выбирают места поглуше, потемнее. Колючие ветви рвут одежду, хлещут по лицам. Ноги путаются в невидимой паутине плюща. Около вершины холма, где заросли марабу кончаются, ложатся и ползут, прячась в сухой траве. Карабкаются по-кошачьи. Дрожащими руками и ногами цепляются за небольшие выступы, за камни. Срываются, падают, молча смотрят друг на друга, дышат тяжело, но без передышки спешат вперед. Широко раскрытыми ртами ловят воздух, лезут дальше. Оба охвачены бессильной яростью и страхом. Камни вылетают из-под ног, но оба опять и опять цепляются за уступы, упрямо лезут вверх. Издалека доносятся одиночные выстрелы. Преодолев вершину, останавливаются передохнуть. Особенно плох Роби. Ему кажется, что больше не выдержит. Его тошнит, тело покрывается холодным потом. Трясущиеся руки едва держат автомат. Он ненавидит свою слабость, ненавидит Бебе за то, что тот устал меньше, ненавидит недождавшегося их Куэто. Временами ярость сменяется в нем острой жалостью к самому себе, и злоба против Бебе, заставившего его, еще больного, приехать сюда, разгорается сильнее. Бебе подает знак: «Пора идти». Но Роби лежит неподвижно, уставившись на него ненавидящим взглядом.

— Вперед! — приказывает Бебе.— Нельзя медлить!

Роби с трудом поднимается и, механически переставляя ноги, делает несколько шагов. Ослепляющий свет ракеты внезапно разрывает темноту ночи. Оба замирают на месте.

Нати видит, как где-то вдалеке ракеты одна за одной взвиваются в небо. Она начинает потихоньку дрожать. Сиако не пришел к ней, теперь уже не придет — она это знает: на его пути пляшут ослепительные огни ракет. Ее всю передергивает — голова, как от резкого удара, сразу запрокидывается назад. Она смотрит на необыкновенно светлое в зените и черное по краям небо, и в глазах ее начинает рябить от взлетающих и падающих огней. Ей представляется, что белые дымные жгуты, оставляемые ракетами, тянутся к ней, чтобы связать, опутать ее всю. «Сиако!» — зовет она, и ее одинокий крик ей самой слышится глухим и слабым в тревожной перекличке ракетниц. С ужасом оглядевшись по сторонам, Нати бросается бежать, куда и зачем — она сама не знает. Остановится на миг, оглядится, позовет Сиако и опять бежит. Впереди небольшая поляна. В свете утренней зари Нати замечает ветхий домик без крыши, обвитый до верха буйной растительностью. Сгнившие доски стен накрепко стянуты ветвящимися побегами плюща. Она проводит рукой по глазам, словно стараясь прогнать какое-то смутное воспоминание, и слышит, как совсем рядом журчит вода. И вдруг время останавливается в ее глазах — и чудится ей другое журчание в другой ночи...

Она тихо, медленно приближается к небольшому углублению, наполненному водой, раздевается и, черпая ладонями прозрачную воду, начинает плескать ее на себя. Потом входит в полуразвалившийся дом, ложится на заросший травой и фиолетовыми цветами пол...

---

[1] Растение с ароматными листьями.

К полуночи мы отрезали подступы к морю, к четырем часам замкнули кольцо. Народ рассвирепел. К утру приехал команданте. Он сказал... Точно я не помню, как он сказал, то есть помню, но не могу повторить его слова. В общем, примерно так: люди умирают а идеи — нет. Людей, значит, можно убить, а мысли — нет. И это правильно. Идеи погибшего теперь живут в нас, мы боремся за них, и они не умрут. Пускай ему пришлось погибнуть, но его идеям мы погибнуть не дадим, и я уверен, что здесь у нас все будет так, как он говорил. А вот кто не знал, за что борется, так это Куэто. Он и сам потом признал это, когда его привели и посадили на скамейку в столовой. Лицо в слезах, весь грязный, а штаны, понимаешь, того.. Его в лесу тогда первого схватили, потому что он стоял и кричал: «Я здесь, вот я! Только не убивайте меня! Только не убивайте!» И когда команданте его спросил, за что он борется, Куэто так ничего и не смог ответить. На коленки упал, хотел ботинки целовать, плакал и все умолял, чтобы его не убивали. Потом рассказал все как было. Рассказал, что втянул его в это дело Сиако и что Нати тоже хотела убежать вместе с ними. Рассказал про троих, заброшенных сюда с оружием: одного, говорит, звали Бебе, а как звали двоих других, не запомнил. Сказал, что не дождался их, как ему было приказано. Он их, значит, должен был до берега довезти на своем «джипе», но заслышав стрельбу, тут же понял, что добром их затея не кончится. Плакал, в соплях весь — ну прямо как маленький. Ладанка такая у него на шее висела с образом девы Марии — все целовал ее. Только, я думаю, хоть он и плакал, и рассказывал все, и по полу ползал, но пощады ему не должно быть. Не должно!

А Клементе! Каково ему было, когда он узнал про Нати, про то, что она ушла к Сиако? Команданте сказал, что с теми троими уже покончено. И Сиако тоже никуда не уйдет.

Рассветает. Напуганные ночными событиями птицы молчат. Все кругом тихо. Неслышно парит над головой черная птица — карпинтеро. Неожиданно кобыла, издав какой-то странный звук, будто охнув, оседает, валится набок, и только сейчас Сиако слышит звук выстрела, многократно повторенный эхом гор. Из шеи лошади бьет струя алой дымящейся крови. Копыта конвульсивно дергаются в воздухе. Сиако бессильно опускается в траву рядом с затихающим животным и настороженно оглядывается вокруг. Что-то резко ударило в ствол ближайшей сосны, кусочки коры посыпались ему на голову, доносится звук еще одного выстрела. Встрепенувшись, Сиако быстро ползет в сторону, прячась за стволами. Там, где трава высокая, он приподнимается и, согнувшись, делает короткие перебежки. Из-под его ног вылетают камни и, оставляя пыльный след в воздухе, скатываются по склону. Выстрелы приближаются. Сделав еще несколько шагов, он неожиданно оказывается на голой каменистой площадке. Здесь каждое мгновение его может настигнуть пуля. Он мысленно представляет, как раскаленный свинец впивается в его тело и подгоняемый этой мыслью, обдирая в кровь пальцы, спешит вскарабкаться вверх по крутому откосу. Уже сверху в нескольких десятках метров от себя различает он глубокий и густо заросший овраг. За какие-то мгновения в мозгу Сиако проносятся яркие, но бессвязные воспоминания... Он приподнял голову, услышав голоса преследователей, перекрестился, поставил пистолет на боевой взвод и вынул из кармана фотографию Нати с пришитым завитком волос. Бросив взгляд на снимок, зажал его в кулаке и побежал по склону вниз — к оврагу. Стук каблуков сливался с треском выстрелов но он уже ничего не различал, бежал, бежал, изредка оборачиваясь и отстреливаясь на ходу, и вдруг, словно наткнувшись на невидимую стену, остановился. Рука его разжалась, выпустив смятую фотографию, тело неуклюже перегнулось, рухнуло ничком и сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее покатилось в овраг, увлекая за собой поток мелких камней.

— Я должна ехать! Ты возьмешь меня!— не владея собой, кричит Мерседес.
— Да успокойся ты.
— Я должна! Захвати меня к нему!
— Ладно, садись.

Стены коридора в больнице окрашены в спокойный нежно-зеленый цвет. Возле двери палаты стоит группа врачей и военных. Выждав, пока они отойдут, Мерседес приближается к сестре и прерывающимся голосом спрашивает:

— Как он?
— Снова будут оперировать.
— Очень плохо?
— Положение тяжелое.
— Но он не умрет?
— Положение очень тяжелое. Вы его родственница?
— Я...

Сестра, отведя взгляд, сочувственно кладет руку на плечо Мерседес.

— Пропустите меня.

— Сейчас нельзя.

— Я должна его видеть.

— Подождите.

Сестра скрывается за дверью палаты.

Кусая пальцы, чтобы сдержать навертывающиеся слезы, Мерседес сиротливо стоит в коридоре. Смутно, как сквозь мокрое от дождя стекло, она видит Пабло, который, проходя по коридору, поднял было руку в жесте отчаяния, но, заметив девушку, медленно провел ладонью по волосам. Дверь палаты открылась, вышел Луис. Лицо его очень серьезно.

— Мне надо его увидеть!— подбегает Мерседес к Луису.

— Да успокойся ты!

— Успокоюсь, успокоюсь,— твердит Мерседес, вытирая глаза.

Пабло и Луис, разговаривая шепотом, удаляются. Дверь приоткрывается, сестра знаком приглашает девушку войти.

Не видя ничего, кроме глаз Бруно, Мерседес наклоняется над его кроватью. Бруно, с трудом приподняв руку, проводит ею по оранжевому платку.

— Вам нельзя двигаться,— предупреждает врач.

Бруно опускает ладонь на руки Мерседес.

— Не плачь,— тихо говорит он — Не надо.

— Ведь правда с тобой ничего не будет? Ты выздоровеешь? Ведь правда?

— Я знаю, положение серьезное,— говорит Бруно, не убирая ладони с ее рук.— Никогда не боялся смерти. Но сейчас... не хочу.

— Ты понял, зачем я надевала этот платок?

— Конечно... И все будет...

— Вам нельзя разговаривать,— прерывает его врач.

Вместе с вошедшим Луисом сестра берет девушку под руки, пытаясь увести ее, но Мерседес не выпускает пальцы раненого.

— Оставьте меня!

Сестра отходит.

Глядя на осунувшееся лицо друга, Луис вспоминает другого Бруно... Гимнастерка, пропитанная потом, грязью и кровью. Задумчивый, ушедший в себя взгляд. Это было перед самым боем; они стояли, прислонившись к дереву, докуривая сигареты. «Всегда надо определить заранее перед собой и перед людьми свое отношение и к смерти, и к любви, и к жизни. Надо сделать свой выбор — и идти на риск и продираться сквозь жизнь, царапаясь, оставляя клочья самого себя на ее острых углах, теряя частицы себя, но и находя новые»... Подняв глаза, Бруно задумчиво всматривался в капризную изменчивость облаков, словно пытаясь разрешить какую-то очень важную загадку. И вдруг сказал, что, если нужно умереть, он готов умереть в любую минуту, но все же хотелось бы уйти лишь тогда, когда осуществится мечта всей жизни: «Умереть, воплотив мечту в жизнь»... «Бог создал на земле хаос,— говорил он,— и человек сам должен навести здесь порядок». «Одни и те же вещи становятся важными или неважными в зависимости от цели, которую себе ставишь. Главное — конечная цель». Потом он вдруг вспомнил давно прочитанный рассказ Джека Лондона о мужчине, который, прижавшись спиной к дереву, готовится с достоинством встретить смерть... «В жизни не все происходит так, как ждешь, но никогда нельзя терять своего достоинства»,— мелькают в памяти Луиса слова Бруно. И еще: «В нас самих есть такие уголки, о которых мы даже и не подозреваем»... «Отдельным людям можно не верить, но в народ я всегда верил». «В жизни нет невозможного»...

Луис смотрит на Бруно и замечает, что черты лица его стали застывать. Мерседес чувствует, как тяжелеет ладонь Бруно на ее руках. Она вглядывается в его остановившиеся глаза — и навсегда они сохранятся в ее памяти...

— А ее где схватили?— спрашивает Пипе.

— Да ее не схватили, увидели — и все,— не торопясь рассказывает Туте.

— Ну? А народ-то черт знает что болтает.

— Понять можно,— отзывается Туте.

...Было уже позднее утро. Мужчины, вытянувшись цепочкой, сомкнули кольцо и теперь тщательно прочесывали лес до самого побережья. На поляне выжженной солнцем, они встретили зеленеющий островок — оазис. Нати слышала приближающиеся шаги, но по-прежнему неподвижно лежала на полу, заросшем травой и цветами...

— Ну и как же вы ее увидели?— нетерпеливо расспрашивает Пипе.

— Лало на всякий случай заглянул и...

— Куда?

— В дом.

— А она разве в доме была? В каком?

— Ну, вот тот домишко, знаешь, который без крыши стоит на дороге от Ла О к берегу. Про него еще молва идет, будто он заколдован, перекосился весь, а никак не развалится,— объясняет Туте.

— Вон куда она зашла! А дом, правду говорят, что рассыпался?

— В один миг,— подтверждает Туте.

— Да ты рассказывай, не тяни!..

...Сначала в двери показался ствол винтовки, а за ним — голова Лало. Нати не шелохнулась, не сказала ни слова и даже не прикрыла своей наготы. Широко раскрытыми испуганными глазами, покрасневшими то ли от слез, то ли от бессонной ночи, она молча следила за Лало. Одежда ее, связанная в узелок, лежала рядом. «Оденься!— приказал ей Лало.— Слышишь, оденься!» А она молниеносно схватила узелок и забросила его подальше от себя...

— Лежит она, значит, там, и вся как есть голая,— уточняет Туте.

— Неужто голая?— восхищенно спрашивает Пипе.— И ты сам видел?

...Лало вышел из дома и крикнул товарищам: «Здесь она, только одеваться не хочет!» К нему подошел лейтенант, руководивший прочесыванием: «Что вы сказали?» «Я говорю, здесь она. Голая и одеваться не желает»,— ответил Лало. Лейтенант, продравшись сквозь ветви плюща, проник в дом...

— И ты видел ее?

— Видел, только после. Все как-то чудно́ было...

— Ну и что? Дальше-то что, рассказывай.

— Сперва, значит, зашел Лало, а потом лейтенант,— не торопится Туте.— Лейтенант послал за Клементе, он где-то рядом был, в нашей же цепи. И вдруг домишко на наших глазах стал рассыпаться. Доски разом обвалились, будто держались до того на паутине. Торчали только столбы от двери. И тут мы ее увидели...

...Нати среди плюща и лиловых цветов появилась перед всеми. Встала и, раздвинув руками мешавшие ей ветви, прошла к роднику. Опустилась на колени и, зачерпывая воду ладонями, стала плескать ее на лицо и на тело...

— Голая?— никак не может поверить Пипе.— Шикарно! Нати на коленях? Шика-а-арно! Небось вы-то так и обомлели, а?

— Нет,— отвечает Туте.— Ты не поверишь, но что-то такое со мной случилось... Да и с другими, по-моему, тоже...

— Что случилось?— чуть не подпрыгивает Пипе.— Да не тяни ты, говори!

— Понимаешь, даже не знаю, как тебе объяснить. Она стоит перед нами на коленях, а мы как-то ее наготу не видим, ну вроде не замечаем, что она голая. Жалкая она...

— Погоди, чего ты плетешь?

— Не знаю, что-то с нами случилось. Чудно́ все это как-то выглядело.

...Мужчины выходят из леса на поляну, толпятся вокруг развалившегося домишка. Нати, по-прежнему стоя на коленях, сосредоточенно плескает на себя воду из лужи у родника, не обращая никакого внимания на окружающих...

— Не может быть!— категорически заявляет Пипе — Что-то ты не то болтаешь!

— А вот так было. Какой-то другой она предстала перед нами, не как раньше. Ну, ты сам знаешь, идет она, бывало, мимо, так глаз от нее не оторвешь, так и норовишь хотя бы взглядом ее раздеть... А тут будто собственными взглядами мы ее одевали...

— Вот дураки!— искренне удивляется Пипе.— Ты что, стариком стал, вроде Анастасио Риоса?

— Нет, ни черта ты не понимаешь. Мы смотрели на нее и не видели в ней живой женщины. Ну, словно она уже была какая-то не из плоти и крови.

— Как?— непонимающе кивает головой Пипе.

— Трудно тебе это объяснить. Все там было как-то чудно. Клементе и тот не хотел видеть ее. Лейтенант заставил подойти. А Нати тоже вроде не замечала, что вокруг стоят люди и смотрят на нее. Подошел, значит, к ней Клементе, положил на плечо руку, а она не взглянула на него, стоит себе на коленках и брызгается водой.

— А Клементе что?

— Он вообще ничего не хотел делать, даже подходить не хотел, это лейтенант его уговорил.

— А она что, когда Клементе увидела?

— Да тоже ничего. Вроде даже и не заметила его, не заметила, что он ей руку на плечо положил. Что-то он сказал, она словно не слышала. Нет, тебе надо было самому там быть. А так трудно рассказать. Непонятно все это как-то было.

— Нет, а как же все-таки Клементе-то?— не успокаивается Пипе.

— Да я же говорю: положил ей руку на плечо и что-то стал говорить. Вероятно, сказал, чтобы она оделась.

...Зеркало воды отражает лица Нати и Клементе. Он молча стоит над ней, стискивая ее плечо, а она смотрит в воду на отражение круглого овала его лица, густо усыпанного веснушками и каплями пота, с незнакомым взглядом. Пальцы Клементе впиваются в тело Нати, и она — возможно, чтобы умерить боль,— зачерпывает пригоршни воды и обрызгивает себя, шею, плечи, всю себя. Лица в воде колышутся, расплываются...

— И она оделась?

— Мы стояли в стороне, он что-то говорил ей. Только она не обращала на него внимания, а смотрела в воду. Я далековато был, не слышал, что он ей там говорил.

...Пальцы так больно сдавили плечо, что Нати не выдержав, все же взглянула на мужа. Его бледное лицо, обрамленное рыжеватыми волосами, почему-то напомнило ей электрическую лампочку на фоне солнечного дня. Но в глазах его теперь светились решимость и сила, как тогда в «Лас Ботес»... Нати шевельнулась, чтобы подняться, но рука Клементе крепко прижимала ее к земле. Не отрывая взгляда от его глаз, она спокойно сказала: «Теперь я чиста, как эта вода»...

— И долго они так стояли?

— Как-то этого я даже не заметил. Он ей все что-то говорил, наверно, чтобы оделась, а она — ни с места...

...Нати чувствует, как рука Клементе стискивает кожу плеча, она дергается, пытаясь вырваться, но его сильные пальцы резко подталкивают ее вперед. Нати беспомощно падает в лужу...

— А дальше-то, дальше что было?

— А дальше Клементе толкнул ее. Вероятно, надоело ему стоять, ну и он толкнул ее в воду. Надо было слышать, как она взвыла... Барахтается, стало быть, в луже и стонет, вроде дико хрипит, не разберешь. У меня и сейчас в ушах звучат ее стоны.

— А чем кончилось-то?

— Быть может. Клементе стало жалко ее. Он как-то странно посмотрел на нее... А потом круто отвернулся и пошел прочь. Когда проходил мимо, взглянул на нас, но ничего не сказал и припустился вниз по дороге, в пыли. А тут прибежала какая-то женщина, принесла простыню. Лейтенант вместе с нею и еще с двумя мужчинами вытащил Нати из воды. А она, понимаешь, еще отбивалась, не давалась. Ну, завернули ее кое-как в простыню, втолкнули в машину и увезли...Только знаешь...— Туте на мгновение задумывается.— Только знаешь, вот когда ее завернули и простыня облегла ее мокрое тело, нам опять она показалась, какой была прежде. Чудно́ все это...

Из современной японской поэзии

■

Перевод и вступление А ДОЛИНА

Хироси Сэкинэ и Румико Кора принадлежат к поколению поэтов, сказавшему новое слово в послевоенной японской литературе. Не похожи их биографии, различны направления творчества. Сэкинэ — непримиримый бунтарь, пришедший в поэтические журналы из заводских цехов, вооруженный талантом прирожденного полемиста. Кора— прежде всего тонкий лирик. Ее волнует полет снежинки, завораживает музыка прибоя. Объединяют же этих поэтов, прошедших через ужасы войны и живущих в современном капиталистическом обществе,—демократизм, любовь к своей родине, Стране восходящего солнца, забота о ее будущем.

Хироси Сэкинэ не молод, ему уже за пятьдесят. Молоды и полны «силы, бурлящей в городах Японии», его стихи, статьи об искусстве, политические памфлеты. К поэзии Сэкинэ обратился уже в зрелом возрасте. До этого он переменил множество профессий, жил в разных городах, работал на заводах, участвовал в стачках и... учился писать.

Выходец из бедной рабочей семьи, Сэкинэ с тринадцати лет сам зарабатывает себе на жизнь. Ему удалось окончить лишь начальную школу — на учебу не хватало средств. До войны Сэкинэ работает на металлургических предприятиях, затем устраивается корреспондентом в небольшую провинциальную газету. После войны сотрудничает в отраслевых печатных органах профсоюзов, занимаясь вопросами рабочего движения. Вскоре имя Сэкинэ появляется на страницах центральных журналов. Его статьи касаются самых разных сфер общественной жизни: искусства, культуры, политики. Одновременно Сэкинэ публикует свои первые стихотворения. В эссе «Найти свое место» поэт обращается к современникам: «Я считаю, что те, кто пережил войну, должны лучше и яснее сознавать свое место на земле и свою ответственность перед людьми. Они должны бороться за свои убеждения и помогать другим различать добро и зло, прекрасное и безобразное».

В 1958 г. выходит сборник стихов «Усталые заводы Явата», в котором Сэкинэ показывает социальные контрасты индустриальной Японии. Своеобразная художественная манера привлекает к начинающему поэту внимание читателей. Даже буржуазная критика вынуждена была признать, что «хотя среди «левых» поэтов немногие постигли тайны высокого искусства, Сэкинэ, безусловно, относится к числу избранных». Через три года появляется новый сборник Сэкинэ «Поджечь храм Тодайдзи!» В нем чувствуется зрелое мастерство художника, объявившего войну существующему миропорядку.

Широкую известность приносит поэту его книга «Собрание стихов Хироси Сэкинэ», увидевшая свет в 1968 г. Стихотворения из этого сборника, явившегося как бы итоговой работой Сэкинэ, были включены в «Антологию лучших произведений новой и новейшей японской поэзии». А на следующий год Сэкинэ публикует еще один цикл стихов «Наш Синдзюку» — рассказ о жизни родного Токио.

Став профессиональным поэтом, Сэкинэ не покинул своего боевого поста. Он открыто признает социальную направленность своих стихов. Всегда и во всем Хироси Сэкинэ остается верен девизу: «Не забывай! Пусть ослепнешь в бою — ты еще человек. Пусть осколком станешь, помни, что сделан ты из железа!»

В японской поэзии наших дней много имен, которые пока неизвестны зарубежным читателям. Этого нельзя сказать о Румико Кора, чьи произведения публиковались в журнале Ассоциации афро-азиатских писателей «Лотос», выходили в поэтических антологиях на европейских языках.

Кора не носит кимоно и не пишет стихов в традиционных японских жанрах. Для ее стиля характерен нервный и четкий верлибр, иногда сменяющийся ритмической прозой. И все же в стихах этой высокой изящной женщины, получившей европейское образование, живет воспетая в сказаниях и легендах «душа Японии», чувствуется кровная связь с многовековой культурой страны. В Японии, где так умеют ценить искусство, Румико Кора была удостоена в 1963 г. высшей награды для поэтов — премии Н.

Румико Кора родилась в 1932 г. в Токио. Детство, прошедшее в годы войны, нашло отражение в одном из автобиографических циклов ее стихов. После войны для поэтессы наступила пора исканий, надежд и разочарований. «Война кончилась — и вот в разрушенном, сожженном Токио, бродя по неузнаваемым улицам, я пыталась постигнуть смысл происходящих перемен. В мире, потерпевшем страшную катастрофу, я жила надеждой, жила мечтой, что существование людей скоро изменится к лучшему. Но время бежало, а жизнь оставалась по-прежнему тяжелой, полной горечи. Своими стихами я хотела помочь людям, открыть для них красоту природы, донести голоса вещей». Стремление помочь людям в поисках прекрасного, облегчить стихами тяготы и невзгоды жизни Румико Кора пронесла через все свое творчество.

В первые послевоенные годы молодая поэтесса участвует в литературной группе «Кибо» и сотрудничает в токийском Музее современного искусства. Вскоре Кора отправляется в Европу и проводит в Париже год вольнослушателем филологического факультета Сорбонны. Близкое знакомство с западной поэзией помогает Кора найти новые изобразительные средства, открывает перед ней мир неведомых ранее красок и звуков: «Меня особенно притягивали стихи Лорки, полные силы и ярости... У того, кто прикасается к этим стихам, кровь закипает в жилах». Позже Кора посвящает специальные исследования творчеству французских писателей: Артюра Рембо, Франсиса Понжа, Алена Роб-Грийе.

Первый сборник поэтессы «Школьник и птица» выходит в 1958 г. и сразу же завоевывает всеобщее признание своей простотой и безукоризненным поэтическим мастерством. За ним появляется следующий — «Пространство», содержащий лирические зарисовки из жизни города. В 1968 г. объектом дискуссий японских писателей и литературоведов становится сборник статей и эссе Кора «Слова вещей». Стихи из своей последней книги «На невидимой земле» Румико Кора читала на международном конгрессе писателей Азии и Африки в Дели в 1970 г.

В Японии существует понятие «дзюн бунгаку» — «настоящая литература», совершенное произведение искусства. Таковы стихи Румико Кора, в которых бьется пульс современной Японии. «С детства я привыкла размышлять, молча, иногда закрыв глаза. Я думаю о черных волнах океана, о горах и лесах моей страны, думаю о бабочках над белыми хризантемами, о смуглых людях на рисовых полях. Так рождаются стихи. Так рождается жизнь».

ХИРОСИ СЭКИНЭ

Заданный рисунок

Кто хозяин рыбы?
Я сама! — сказала рыба.
Да, но, между прочим.
Ее поймал рыбак.

Вот здесь и нарисуйте
Рыбака, поймавшего рыбу.

А кто хозяин рыбака?
Я сам! — сказал рыбак.
Да, но, между прочим,
Разрешение на лов выдал чиновник.

Вот здесь и нарисуйте
чиновника, выдавшего разрешение.

Кто же хозяин чиновника?
Я сам! — сказал чиновник.
Да, но, между прочим,
Его уволил директор компании.

Вот здесь и нарисуйте
Директора, уволившего чиновника.

Ну, а кто хозяин директора?
Я сам! — сказал директор.
Да, но, между прочим,
Его охраняли солдаты.

Вот здесь и нарисуйте
Солдат, охраняющих директора.

А кто хозяин солдат?
Мы сами! — сказали солдаты.
Да, но, между прочим,
Они получали жалованье.

Вот здесь и нарисуйте
Солдат, получающих жалованье.

Кто же хозяин жалованья?
Я само! — сказало жалованье.
Да, но, между прочим,
С жалованья взимался налог.

Вот здесь и нарисуйте
Жалованье за вычетом налога.

А кто хозяин налога?
Я сам! — сказал налог.
Да, но, между прочим,
Налоги платим мы.

Вот здесь и нарисуйте
Нас, платящих налоги.

Кто же наш хозяин?
Мы сами! — ответим мы.
И когда каждый будет сам себе хозяин,
Вся Япония станет нашей.

Вот здесь и нарисуйте,
Какими мы будем.

Туман

Поезда в этой стране
Идут сквозь туман.
Пароходы в этой стране
Отплывают от пристаней в тумане.
Самолеты в этой стране
Взлетают с аэродромов в тумане.
В тумане
Я прожил пять лет.
В тумане страдал,
Туман ненавидел...
Туман... я понял, что порождает его
Холодный пассат с Тихого океана
И тепло моего тела,
Нет — всех наших тел.
Тогда я отдал свое тепло,
Я обратился в лед —
И туман рассеялся.

Горящий дом

Горящий дом —
Это верфи, где строят корабли
Для чужих стран.

Горящий дом —
Это фабрика, где собирают швейные машины
Для чужих стран.

Горящий дом —
Это завод, где вместо красителей
Снова делают порох.

Горящий дом —
Это завод, где отливают пушки,
Для которых нужен порох.

Горящий дом —
Это металлургический завод,
Работающий на сырье из страны доллара.

Горящий дом —
Это ткацкая фабрика,
Работающая на сырье из страны фунта.

Горящий дом —
Это дом крестьянина, где не на что купить швейную машину,
Потому что не удалось продать рис.

Горящий дом —
Это дом рабочего, где не топят очаг,
Чтобы суметь вовремя уплатить долги.

Горящий дом —
Это цех накопленной силы,
Бурлящей в городах Японии.

Горящий дом —
Это невидимый завод,
Где с грохотом дробят прошлое.

Солдат

Солдат на дороге как мертвый лежал.
Я поднял его, за врачом побежал.
Вернулся, гляжу —
А солдат помирает.

Я гроб приобрел в похоронном бюро,
А стоит недешево это добро.
Вернулся, гляжу —
Его смех разбирает.

Явился к портному я — так, мол, и так,
Солдату воскресшему нужен пиджак.
Вернулся, гляжу —
Он другой выбирает.

Пристроить солдата решил я тогда,
Достал ему карточку с биржи труда.
Вернулся, гляжу —
А он дом прибирает.

Я фото солдата по клубам таскал,
Жену недурную ему подыскал,
Вернулся, гляжу —
Он на флейте играет.

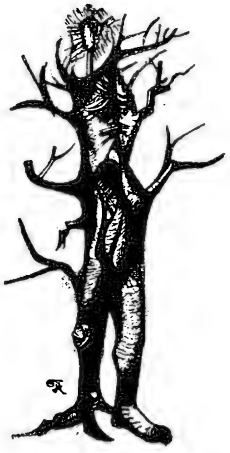
За мебелью парню я как-то пошел,
Купил для солдата и стулья, и стол.
Вернулся, гляжу —
А он деньги считает.

Я в писчебумажную лавку сходил,
Купил ему ручку, бумаги, чернил.
Вернулся, гляжу —
А он режется в карты.

Но этот оживший солдат
Был все-таки только солдат.
И что бы ни делал служивый сейчас,
Приказ для него — как и прежде, приказ.

Услышав команду,
Мундир он надел,
Медали навесил
И марши запел.

Дерево



Пламя окрасило в кровавый цвет
бледных, как смерть, людей.
Пламя
сожгло дерево,
сожгло мое дерево,
осушило слезы,
Вспыхнула листва.
Мгновение
в пламени
чернел лишь неподвижный ствол.

В тот день
между морем огня
и грызущими песок волнами реки
я стоял, словно дерево,
приоткрыв обожженные глаза.

И сейчас, когда я брожу между деревьями,
я боюсь, что они вдруг закричат.

РУМИКО КОРА

Первый снег

Падает снежинка,
падает медленней, чем дождевая капля.
Она летит во всем блеске красоты,
шестиугольной красоты своего хрупкого тела,

делаясь все тоньше и тоньше,—
и наконец умирает
на ресницах земли.

■

В дереве —
дерево, которое еще не родилось.
Ветви его
раскачивает ветер.

В клочке неба —
небо, которое еще не родилось.
Горизонт его
рассекает крыльями птица.

Где-то в человеке —
Человек, который еще не родился.
Тело его
живет материнской кровью.

В городе —
город, который еще не родился.
Площади его
машут руками прохожих.

Луна

Стреляю в луну!
А луна смеется.
Ее серебристый смех
Вспугнул стаю птиц
С дремотных ветвей
Моей души.

В нашей стране

В нашей стране на прощанье махали последним летчикам,
а потом топили авианосцы, чтобы самолетам некуда было вернуться.

В нашей стране с флажками провожали детей в эвакуацию,
а потом сжигали города, где остались отцы и матери.

В нашей стране пожимали руки юношам,
а потом сажали их за штурвал торпеды.

В нашей стране молодых рабочих радушно встречают на заводе,
а потом превращают их в послушные машины.

В нашей стране с улыбкой пожимают руки,
а потом вкладывают в руки оружие.

Неведомый город

Проходят
женщины в модных платьях.
Движутся мимо
сумки и детские коляски.
Эта мощенная камнем
дорога
называется — улица.
И у человека, с которым мы живем,
тоже должно быть свое имя.
Вот оно прозвучало — случайно,—
и за черною телефонной трубкой
мне открывается новый мир.

■

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

Шум и ярость

РОМАН

Перевод с английского О. СОРОКИ

Труба видна еще. В той стороне вода, к морю течет, к тихим гротам. Тихо будут на дне рассыпаться, и, когда Он повелит воскреснуть, всплывут только одни утюги. Уходя на весь день на охоту, мы с Вершем не брали поесть, и в двенадцать начинало сосать под ложечкой. Длилось это примерно до часа, а потом я вдруг забывал и о том даже, что голод у меня уже прошел. *Фонари уходят под гору а немного погодя услышал как автомобиль ушел туда же Подлокотник плоский прохладный гладкий под моим лбом выгиб кресла ощутим и на волосы сверху веет яблоней над платьем подвенечным которое по запаху услышал нос...* «У тебя жар Я вчера заметил Как от печки пышет»

«Не трогай»

«Кэдди раз ты больна ты не можешь Не за этого прохвоста»

«Я должна замуж за кого-нибудь...». *И тут мне говорят что кость придется ломать заново*

Наконец труба скрылась из виду. Дорога идет вдоль стены. Поверх нее деревья клонят ветви, кропленные солнцем. Камень стены прохладен. Идешь вблизи нее, и на тебя веет прохладой. Только всё здесь скудней, чем у нас. Дома, бывало, выйдешь — и точно окунешься в тихое и яростное плодородие, всеутоляющее, как хлеб — голод. Сплошным щедрым потоком вкруг тебя, не скряжничая, не трясясь над каждым жалким камушком. А здесь зелени отпущено деревьям как будто ровно столько, чтобы хватило с грехом пополам для прогулок, и даже лазурь дали — не обильна, не наша фантастическая синева... *что кость придется ломать заново и внутри у меня что-то Ох Ох Ох и в пот ударило Большая важность пусть ломают Знаем уже что такое сломанная нога и ничего тут страшного Придется только дома просидеть немного дольше вот и все А скулы мои сводит и губы сквозь пот выговаривают Обождите Минуту обождите Ох Ох стиснул зубы И отец: Проклятый жеребец проклятый конь Подождите я сам виноват Каждое утро он с корзиной идет к кухне тарахтя палкой по штакетинам забора и каждое утро я волокусь к окну хоть нога в гипсе и подстерегаю его с куском угля в руке А Дилси: Ты себя загубишь ты видать вовсе без разума еще и четырех дней нету как сломал Обождите Дайте минуту привыкнуть одну минуту только обождите*

Окончание. Начало в № 1.

Здесь даже и звуки глуше, как будто здешний воздух обветшал, столько уже лет передавая звуки. Собачий лай слышно дальше, чем поезд,— в темноте, по крайней мере. И людские голоса тоже некоторые. Негритянские. Луис Хэтчер никогда не трубил в рог, хоть и таскал на себе вместе с тем старым фонарем. Спрашиваю его:

— Луис, ты когда фонарь последний раз чистил?

— Не так чтобы давно. Вот когда у северян там паводком все смыло — в тот день как раз и вычистил. Сидим мы со старухой вечером у очага, она говорит: «Луис, а что, если и нас затопит?» А я ей: «И то правда. Пожалуй, вычищу-ка я фонарь». И в тот самый вечер вычистил.

— Наводнение было совсем далеко, в Пенсильвании,— говорю я.— К нам оно не могло бы дойти.

— Это так по-вашему,— говорит Луис.— А по-нашему, вода — она и в Джефферсоне мокрая, подыматься и затапливать может не хуже, чем в Пенсильване. Вот такие, что говорят: до нас, мол, не дойдет,— глядишь, как раз и плывут потом на коньке крыши.

— Вы с Мартой небось и дома не остались ночевать?

— Само собой. Вычистил я фонарь, и до самого утра мы с ней потом просидели на бугре за кладбищем. А знать бы местечко повыше бугра, так мы и туда с ней не поленились бы забраться.

— И с тех пор так ни разу фонарь и не чищен?

— А зачем его чистить без надобности?

— Значит, до следующего наводнения?

— Что ж, в тот раз он нас упас.

— Да ну, дядюшка Луис, брось шутки,—говорю я.

— Ага, шутки. Вы по-своему, а мы по-своему будем. Если чтоб упастись от воды, только и надо, что фонарь почистить, то уж я артачиться не стану.

— Дядя Луис не привык, чтоб фонарь свет давал, ему в потемках сподручней опоссумов брать,— говорит Верш.

— Я, парень, тут на опоссумов охотился еще в те времена, когда твоему отцу мамаша керосином вымывала гнид из головенки,— говорит Луис.— И домой приходил не с пустыми руками.

— Что правда, то правда,— говорит Верш.— Навряд ли есть такой у нас в округе, чтоб за жизнь добыл больше опоссумов, чем дядя Луис.

— То-то же,— говорит Луис.— Опоссумам моим света хватает. Они у меня не жалуются на фонарь. А теперь кончай, ребята, разговоры. Слышите, учуяли. Ого-го! Веселей, собачки! — И мы сидим средь сухих листьев, они слегка шуршат от наших затаенно-ждущих выдохов и вдохов и от неспешного дыхания земли в безветренной октябрьской ночи. В жесткой свежести воздуха — вонь фонаря, лай собак и замирающий вдали эхом голос Луиса. Он никогда его не напрягал, но в тихий вечер, бывало, этот голос доносило даже к нам на веранду. Когда Луис сзывал собак, голос его звучал трубно, как рог, праздно висевший у него через плечо,— но чище, мягче рога, словно голос этот был частью тьмы и тишины, возникал, развивался из них и снова уходил, свивался в темноту. Ого-гоОоооо. Го-гоООо. Го-гооОоооооооооооооооооо. *«Должна выйти замуж»*

«У тебя их очень много было Кэдди»

«Не знаю Слишком много Обещай заботиться о Бенджи и о папе»

«И ты не знаешь от кого у тебя А он знает ли»

«Не трогай меня Обещай о Бенджи и о папе»

Еще не подошел к мосту, а уже ощутилась вода Мост из серого камня, мшистого, в плесенных пятнах медленно ползущей сыри. В те-

ни под ним вода негромкая и чистая журчит, курлычет, обтекая камень, в гаснущих воронках вертя небо. *«Кэдди не за этого»*

«Я должна за кого-нибудь...» Верш рассказывал, как один малый сам себя изувечил. Ушел в лес и, сидя там в овражке,— бритвой. Сломанной бритвой отчекрыжил и тем же махом через плечо швырнул их от себя кровавым сгустком. Но это все не то. Мало их лишиться. Надо, чтоб и не иметь их отроду. Вот тогда бы я сказал: «А, вы про это. Ну, это китайская грамота. По-китайски я ни бе ни ме». Отец мне говорит: «Ты потому так, что ты девственник. Пойми, что женщинам вообще чужда девственность. Непорочность — состояние негативное и, следовательно, с природой вещей несовместное. Ты не на Кэдди, ты на природу в обиде». А я ему: «Одни слова все». И в ответ он: «А девственность будто не слово?» А я: «Вы не знаете. Не можете знать». И в ответ: «Нет уж. С момента, как это осознано нами, трагедия теряет остроту».

Там, где воду кроет тень от моста, видно далеко вглубь, хотя не до самого дна. Если листок в воде долго, то со временем всю зеленую ткань размывает и одни только тонкие жилки веют медленным движеньем сна. Каждая колеблется раздельно, как бы спутаны ни были раньше, как бы плотно ни прилегали к костям. И может, когда Он повелит воскреснуть, глаза тоже всплывут из мирной глубины и сна на горнюю славу взглянуть. А следом уж всплывут и утюги. Спрятав их под мостом с краю, я вернулся и облокотился на перила.

Не до дна, но до глуби ток воды прозрачен, и вижу — там какая-то теневая черта висит, как жирно проведенная стрела, нацелившаяся в течение. А над самой водой мошкара — веснянки снуют из тени на солнце и снова в тень моста. *Если бы просто за всем этим ад — чистое пламя и мы оба мертвее мертвых Чтобы там один я с тобой я один и мы оба средь позорища и ужаса но чистым пламенем отделены...* Без шевеления малейшего стрела выросла в размерах, и, взрябив губой гладь, форель утянула под воду веснянку с той великаньей уклюжестью, с какой слон подбирает фисташку. Воронка, сглаживаясь, поплыла течением, и опять стрела нацелилась, чуть колышемая водным током, над которым вьются и парят веснянки. *Чтоб только ты и я там средь позорища и ужаса но отгороженные чистым пламенем...*

Форель висит уклюже и недвижно средь зыбящихся теней. Подошли трое мальчуганов с удочками, и мы, облокотясь, стали вместе глядеть на форель. Эта рыбина — их старый знакомец. Достопримечательность местная.

— Ее уже двадцать пять лет ловят и поймать не могут. Одна бостонская лавка объявила, что даст спиннинг ценой в двадцать пять долларов тому, кто ее поймает на крючок.

— Ну и чего же вы зеваете? Разве не хочется иметь такой спиннинг?

— Хочется,— ответили они, следя с моста за форелью.— Еще как хочется,— сказал один.

— Я бы не стал брать спиннинг,— сказал второй.— Деньгами взял бы.

— А они, может, деньгами не дали бы,— возразил первый.— Спорим, дали бы спиннинг, и все.

— А я б его продал.

— Двадцать пять долларов ты бы за него не выручил.

— Сколько б выручил, столько бы и выручил. Я этой удочкой рыбы не меньше могу наловить, чем тем спиннингом.— И разговор свернул на то, что́ можно бы купить на двадцать пять долларов. Все сразу заговорили — горячо, наперебой, запальчиво, нереальное обращая в

возможное, затем в вероятное, затем в неоспоримый факт, как это у людей всегда выходит, когда они желания выражают словами.

— Я бы лошадь купил и фургон,— сказал второй.

— Как же, продадут тебе за эту цену,— сказали первый и третий.

— А я говорю, продадут. Я знаю, где можно купить. Один человек продает.

— А кто он?

— Да уж кто б ни был. Двадцать пять долларов дам — и отдаст.

— Ага, после дождичка,— сказали второй и третий.— Никакого он не знает человека. Болтает только.

— Вы так думаете? — сказал второй. Те продолжали насмехаться, но он молчал. Опершись о перила, смотрел вниз на рыбину, которую уже пустил в оборот мысленно,— и вдруг весь задор, вся едкость ушли из голосов тех двоих, как будто и они уверились, что форель поймана и лошадь с фургоном куплены: подействовало горделивое молчание, не только взрослых, но и мальчишек способное убедить в чем угодно. По-моему, это логично, что люди, столько водя себя и других за нос при помощи слов, наделяют молчание мудростью, и в наступившей паузе почувствовалось, как те двое спешно ищут возражение, средство какое-то отнять фургон и лошадь.

— Никто тебе не даст двадцать пять долларов за спиннинг,— сказал первый.— Спорю на что хочешь, не дадут.

— Да он и не поймал еще форелину,— вспомнил третий, и оба закричали:

— Ага, а я что говорю! Ну-ка, как того человека зовут? Слабо сказать. Его и нет на свете.

— Да заткнитесь вы,— сказал второй.— Смотрите, опять выплывает.— Они нагнулись и застыли одинаково, и одинаковые удочки тонко и косо блестят на солнце. Форель не спеша всплыла зыбко растущей тенью; опять воронка ушла по течению, медленно разглаживаясь.

— Ух ты,— пробормотал первый.

— Мы и не пробуем уже ее ловить,— сказал он.— Только смотрим, как приезжие бостонцы пробуют.

— А другой, кроме нее. тут рыбы нет?

— Нету. Из этого омута она других всех повыгоняла. Для уженья самое лучшее место ниже, у водоворота.

— А вот и нет,— сказал второй.— У мельницы Бигелоу в два раза больше словишь.— Они поспорили немного, где клев лучше, затем внезапно замолчали и стали глядеть, как форель опять всплывает и как воронка всасывает клочок неба. Я спросил, далеко ли отсюда до ближайшего городка. Они сказали.

— Но к трамвайной линии ближе всего вон туда,— показал второй в сторону, откуда я пришел.— Вам куда?

— Никуда. Гуляю просто.

— Вы из университета студент?

— Да. А фабрика в том городке есть?

— Фабрика? — Смотрят на меня.

— Нет,— сказал второй.— Там фабрик нету.— Смотрят на мой костюм.— Вы что, работу ищете?

— А про мельницу Бигелоу ты забыл? — сказал третий.

— Тоже фабрику нашел. Он про настоящую фабрику спрашивает.

— Чтобы с фабричным гудком,— сказал я.— Тут часового гудка ниоткуда что-то не слыхать.

— А-а,— сказал второй.— Ну, там на унитарийской колокольне

есть часы. Узнать время можно по ним. А на цепке у вас не часы разве?

— Я их утром разбил.

Показал им часы. Осмотрели, посерьезнев.

— А идут все-таки,— сказал второй.— Сколько такие часы стоят?

— Они дареные,— сказал я.— Отец мне дал их, когда я кончил школу.

— Вы не из Канады? — спросил третий. Рыжеволосый.

— Из Канады?

— Нет, у канадцев выговор не такой,— сказал второй.— Я слышал, как говорят канадцы. А у него, как у артистов, которые неграми переряжаются.

— А ты не боишься,— спросил третий,— что он тебя двинет за это?

— За что?

— Ты сказал, что он, как негры, говорит.

— Да ну тебя,— сказал второй.— Вон за тем холмом вам станет видно колокольню.

Я поблагодарил их.

— Желаю вам наловить много рыбы. Только эту старую форелину не троньте. Она заслужила, чтобы ее оставили в покое.

— Да ее все равно не поймаешь,— сказал первый. Смотрят на воду с моста, и три удочки на солнце,— как три косые нити желтого огня. Иду и снова втаптываю свою тень в пятнистую тень деревьев. Дорога повернула, подымаясь от реки. Взошла на холм, извилисто спустилась, маня глаз и мысль за собой, под зелено застывший кров; там над деревьями квадрат башни и круглое око часов, но еще в удаленье достаточном. Сел у обочины. Трава по щиколотку, несметнолистая. Тени на дороге застыли, как по трафарету впечатанные, вчерченные косыми грифелями солнца. Но это поезд всего-навсего, и вскоре протяжный гудок заглох за деревьями, и стало мои часы слышно и гаснущий стук колес, как будто поезд шел где-то совсем в другом месяце и сквозь иное лето, мчался под реющей чайкой, как и все на свете мчится. Кроме Джеральда. Он тоже как бы реет — одиноко и торжественно гребет сквозь полдень, выгребает из полдня по длинным и ярким лучам, точно в апофеозе возносясь в дремотную бескрайность, где только он и чайка: она неистово-недвижная, он же в четких гребках и возвратах, мерностью сродных с покоем, и на блеске солнца — тени их обоих, а внизу — весь мир карликово. *Кэдди не за этого прохвоста не за этого Кэдди*

С косогора спускаются их голоса и три удочки — пойманными нитями бегучего огня. Они смотрят, проходя, не замедляя шага.

— Что-то не вижу форелины,— окликнул я их.

— А мы и не пробовали,— сказал первый.— Ее все равно не поймаешь.

— Вон там часы,— сказал второй, указывая на башню.— Чуть ближе подойдете, станет видно стрелки.

— Да-да,— сказал я.— Хорошо.— Я встал.— Вы в город?

— Мы к водовороту, за голавлями,— сказал первый.

— У водоворота клева нет,— сказал второй.

— Тебе обязательно хочется к мельнице, где полно ребят плескается и вся рыба распугана.

— У водоворота не наловишь ничего.

— Вот будем стоять здесь — много наловим,— сказал третий.

— Заладил: водоворот, водоворот,— сказал второй.— Там же не клюет.

— А ты не ходи,— сказал первый.— Ты ко мне веревкой не привязан.

— Пошли на мельницу купаться,— сказал третий.

— Я пошел к водовороту за голавлями,— сказал первый.— А вы как хотите.

— Ну скажи ты ему, сколько уже лет, как в последний раз у водоворота клевало,— сказал второй третьему.

— Пошли на мельницу купаться,— сказал третий. Башенка медленно тонет в деревьях, и круглый цифеблат еще достаточно далек. Мы идем в пятнистой тени. Подходим к саду, белому и розовому. Он весь полон пчел, нам их уже слышно.

— Пошли на мельницу купаться,— сказал третий. У сада тропинка ответвилась от дороги. Третий замедлил шаг, остановился. Первый мальчуган продолжает идти, и солнечные пятна скользят с удочки на плечо и по рубашке вниз.— Пошли, а,— сказал третий. Второй тоже встал. *«Кэдди зачем тебе замуж»*

«Хочешь чтоб я ответила зачем Думаешь скажу и причина исчезнет»

— Пошли с нами на мельницу,— сказал третий.— Пойдем.

Первый не слушает. Босые ноги его ступают без шума, мягче листьев ложатся шаги в легкую пыль. Пчелы в саду шумят, как подымающийся ветер,— звук доведен до самой почти вершины нарастанья и пойман, длится как бы волшебством. Тропинка уходит вдоль стены, усыпанная цветом, под сводом цветущим и вдали теряется в деревьях. Сквозь ветки солнце — косо, нечастым горячим накрапом. Желтые бабочки в тени мелькают солнечными крапинами.

— Зачем тебе к водовороту? — сказал второй.— Как будто нельзя у мельницы удить.

— Да пусть идет,— сказал третий. Глядят вслед первому. Солнце мажет пятнами его уходящие плечи, желтыми муравьями скользит по удочке.

— Кенни,— позвал второй. *«Отцу скажи ладно» «Скажу» «Мы же от него Родитель Я его породил создал я его Скажи отцу тогда оно исчезнет потому что он скажет «Меня нет» и тогда не будет нас с тобой тоже раз он родитель»...*

— Да пошли,— сказал третий.— Там уже все наши.— Смотрят первому вслед.— Ну и пускай,— сказали оба вдруг.— Ну и иди себе, сынок мамин. Боится, что от купанья голова будет мокрая и мама выпорет.— Они свернули на тропинку, пошли тенью, и вокруг них желто мигают мотыльки.

...потому что ничего другого нет Мне верится что есть но возможно и нет и тогда я Ты поймешь что даже вселенская несправедливость едва ли стоит того что ты намерен... Он не обращает на меня внимания, скула его упряма в профиль, лицо отвернуто слегка под помятой шляпой.

— Почему ты не пошел с ними купаться? — спросил я. *...не за этого прохвоста Кэдди*

«Ты что драку с ним хотел затеять»

«Он лжец и негодяй Кэдди его из студенческого клуба выгнали за шулерство потом перевели в Ковентри и там в зимнюю сессию поймали со шпаргалкой и исключили»

«Ну и что Я с ним в карты играть не собираюсь»

— Значит, рыбу удить ты больше любишь, чем купаться? — сказал я. Пчелиный гуд убавился, но длится, как будто не он сникает в тишину, а тишина растет между садом и нами, как вода прибывая. Дорога опять повернула и сделалась улицей между тенистых лужаек и

белых домов. *«Кэдди как ты можешь за этого прохвоста Подумай о Бенджи о папе не обо мне»*

«А о ком я думаю если не о Ради кого еще я это делаю...» Мальчик свернул. Не оглянувшись, перелез через забор, прошел лужайкой к дереву, удочку положил на землю, влез на дерево и сел в развилке сучьев, спиной к улице, и зайчики застыли наконец на белой рубашке. *«Ради кого еще я и выплакаться не могу даже Прошлым летом я говорила тебе что мертва но тогда я еще не знала что говорю не знала что это значит...»* Такие дни бывают у нас дома в конце августа — воздух тонок и свеж, как вот сегодня, и в нем что-то щемяще-родное, печальное. Человек — это сумма климатов, в которых приходилось ему жить. Так отец говорил. Человек — это сумма того и сего. Задачка на смешанные дроби с грязью, длинно и нудно сводимая к неизменному нулю — тупику страсти и праха. *«Но теперь говорю тебе и знаю что мертва...»*

«Так зачем тебе Слушай давай уедем ты Бенджи и я куда-нибудь где нас никто не знает где»... В пролетку впряжен белый конь, копыта бьют легкую пыль; паутинноспицые колеса сухо поскрипывают, катясь в гору под лиственной рябью, под вязами. Под академическими вязами.

«А на какие деньги На те что за твое ученье отдали что за луг выручили Неужели ты не понимаешь что теперь ты обязан кончить курс иначе у Бенджи не будет совсем ничего»

Продали луг... Белая рубашка его неподвижна в развилке, в мерцающей тени. Колеса паутинноспицые. Под осевшим на рессоры кузовом мелькают копыта, проворно и четко, как игла вышивальщицы, и пролетка уменьшается без продвиженья — так марионетка топчется на месте, а в это время ее быстро тянут за кулисы. Опять поворот, и стало видно белую башню и круглоликую глупую самоуверенность часов. *Луг продали*

«Врачи говорят что папе не прожить и года если пить не бросит а он не бросит не сможет теперь после того что я после того что прошлым летом И тогда Бенджи в Джексон отвезут И выплакаться не могу даже выплакаться...» Застыла в дверях на миг а в следующий Бенджи уже тащит ее за платье ревет голос раскатами от стены к стене а она вжимается в стенку все больше съеживается и в белом лице глаза как пальцем вдавленные выпихнул ее из комнаты Голос раскатывается точно не в силах собственный раскат остановить уместить в тишину ревет

Я открыл дверь, и колокольчик прозвенел — всего однажды, высоко, чисто и слабенько звякнул в опрятном сумраке над дверью, как будто металл и размер с тем и выбраны, чтобы получался этот чистый слабый звяк, и не изнашивался колокольчик, и не слишком велик был расход тишины на ее водворение после того, как дверь открылась и навстречу тебе теплый дух свежевыпеченного хлеба; и стоит замурзанная девочка с глазами, как у плюшевого медвежонка, и с двумя лакированными косичками.

— Привет, сестренка.— В теплой хлебной духовитости — личико, как чашка молока с малой домесью кофе.— А где продавец?

Смотрит молча, но вот задняя дверь отворилась, и вошла хозяйка. Над прилавком, где за стеклом ряды румяных корок, воздвиглось опрятное серо-стальное лицо — жидкие волосы туго оттянуты с опрятного серо-стального лба, очки в опрятной серо-стальной оправе,— воздвиглось, прикатило, водрузилось, как магазинная стальная касса. На библиотекаршу похожа. На нечто мирно-засушенное среди пыльных полок, где в строгом порядке расставлены непреложные и про-

писные истины, давно отрешенные от жизни,— как будто стоит лишь дунуть ветерку из мира, где неправедность творится...

— Пожалуйста, вон тех две, мэм.

Взяла под прилавком квадратно нарезанную газету, положила на прилавок, достала две плюшки. Девочка смотрит на них не моргая и глаз не сводя, похожих на две коринки, всплывшие в чашке некрепкого кофе. Страна для мойш, отчизна итальяшкам. Смотрит на булочки, на опрятные серо-стальные пальцы, на широкое золотое кольцо за синеватым суставом указательного левого.

— Вы их сами выпекаете, мэм?

— Простите, сэр? — переспросила. Вот так: «Простите, сэр?» — точно на сцене.— С вас пять центов. Что-нибудь еще желаете?

— Нет, мэм. Я-то нет. А вот юная леди желает.— Из-за витрины хозяйке ее не видно. Подошла к краю, смотрит оттуда на девчушку.

— Она с вами?

— Нет, мэм. Я вошел — она уже здесь была.

— Ах ты негодница маленькая,— сказала хозяйка. Вышла из-за прилавка, но не доходя остановилась.— Небось набила уже карманы?

— У нее нет карманов,— сказал я.— Она ничего не брала. Стояла и ждала вас.

— А почему колокольчик молчал? — грозно блеснула на меня очками. Ей не хватает только пучка розог и на доске чтоб классной позади: 2×2=5.— Она так спрячет под платье, что ввек не догадаетесь. Скажи-ка мне, деточка, как ты вошла сюда?

Молчит девчушка. Смотрит на хозяйку. На меня летучий черный взгляд — и снова на хозяйку.

— Эти иностранцы,— сказала хозяйка.— Как она так вошла, что и звонка не было слышно?

— Я открыл дверь, она и вошла,— сказал я.— Колокольчик доложил о нас обоих сразу. Отсюда за прилавок ей все равно не дотянуться. К тому же, она бы и не стала. Правда, сестренка? — Смотрит на меня взором тайным, раздумчивым.— Что тебе? Хлеба?

Протянула кулачок. Разжала — в нем влажные и грязные пять центов, и на ладошке влажно-грязный отпечаток. Монета сырая и теплая. Слышен запах монетный, слабо металлический.

— Дайте нам, пожалуйста, пятицентовый хлеб.

Хозяйка достала из-под прилавка газетный лоскут, постлала сверху, завернула хлеб. Я положил монету на прилавок и еще одну такую же.

— И булочку еще, пожалуйста.

Вынула из витрины плюшку.

— Дайте-ка ваш сверток.

Я дал, она развернула, присоединила третью плюшку, завернула, взяла монетки, нашла у себя в фартуке два цента, подала. Я вложил их девочке в руку. Пальцы сжались, горячие и влажные, как червячки.

— Эту третью вы — ей? — спросила хозяйка.

— Да, мэм,— ответил я.— Я думаю, она съест вашу булочку с не меньшим удовольствием, чем я.

Я взял оба свертка, отдал хлеб девочке, а серо-стальная за прилавком смотрит на нас с холодной непреложностью.

— Погодите-ка минутку,— сказала она. Ушла в заднюю комнату. Дверь отворилась, затворилась. Девчушка на меня глазеет, прижав хлеб к грязному платьицу.

— Как тебя зовут? — спросил я. Отвела взгляд, но ни с места. Даже как будто не дышит. Хозяйка вернулась. В руке у нее какой-то

странный предмет. Она держит его чуть на отлете, как несла бы дохлую ручную крысу.

— Вот тебе,— сказала хозяйка. Девочка подняла на нее глаза.— Бери же,— сказала хозяйка, суя принесенное.— Оно только на вид неважное. А на вкус разницы не будет никакой. На же. Некогда мне с тобой тут.— Девочка взяла, смотрит на хозяйку. Та вытерла руки о фартук.— А колокольчик надо будет починить,— сказала. Подошла к входной двери, распахнула. Невидимый над дверью колокольчик звякнул чисто и слабо. Мы пошли к двери, к сосредоточенной спине хозяйки.

— Благодарим вас за пирожное,— сказал я.

— Уж эти иностранцы,— сказала она, всматриваясь в сумрак над дверью, где прозвучал колокольчик.— Мой вам совет, молодой человек, держаться от них подальше.

— Слушаю, мэм,— сказал я.— Пошли, сестренка.— Мы вышли.— Благодарю вас, мэм.

Она захлопнула дверь, опять распахнула рывком, и колокольчик тоненько звякнул.

— Эт-ти иностранцы,— проворчала хозяйка, вглядываясь в наддверный сумрак.

Мы пошли тротуаром.— Ну, а как насчет мороженого? — сказал я. Надкусила свое пирожное-уродину.— Мороженое любишь? — Подняла на меня спокойный черный взгляд, жует.— Что ж, идем.

Мы вошли в кондитерскую, взяли мороженого. Хлеб она по-прежнему прижимает к себе. «Дай положу его на столик, тебе удобнее будет есть». Не дает, прижимает, а мороженое жует, как тянучку. Надкусанное пирожное лежит на столике. Методически съела мороженое и опять взялась за пирожное, разглядывая сласти под стеклом витрин. Я кончил свою порцию, мы вышли.

— Где ты живешь? — спросил я.

Пролетка опять, с белой лошадью. Только доктор Пибоди толще. Триста фунтов. Он подвозил нас на гору. Цепляемся, едем на подножке. Ребятишки. Чем цепляться, легче пешком. *«А к доктору ты не ходила к доктору Кэдди»*

«Сейчас не нужно и нельзя пока А после все уладится и будет все равно»

Ведь женское устройство хитрое, таинственное, говорит отец. Хитрое равновесие месячных грязнений меж двумя лунами. Полными, желтыми, как в жатву, бедрами, чреслами. Это снаружи, снаружи-то всегда, но. Желтыми. Как пятки от ходьбы. И чтоб мужлан какой-то, чтобы все это таинственное, властное скрывало. А снаружи, несмотря на это, сладость округлая и ждущая касанья. Жижа, что-то утопшее, всплывшее, дряблое, как серая плохо надутая камера, и во все вмешан запах жимолости.

— А теперь тебе пожалуй, пора домой хлеб отнести, согласна?

Смотрит на меня. Жует себе спокойно, через равномерные интервалы по горлу скользит книзу катышек. Я развернул свой сверток, дал ей булочку, сказал: «До свидания».

Пошел прочь. Оглянулся. Идет за мной. «Тебе разве по пути?» Молчит. Идет рядом, под самым локтем у меня, ест булочку. Идем дальше. Вокруг тихо, никого почти *...во все вмешана жимолость Она бы мне наверно сказала чтоб только не сидел на ступеньках не слышал как дверь ее хлопнула сумерками и Бенджи плачет до сих пор К ужину придется ей сойти и всюду вмешан запах жимолости...* Дошли до перекрестка.

— Ну, здесь мне поворачивать,— сказал я.— До свиданья.— Остановилась тоже. Доела пирожное и принялась за булочку, не сводя с

меня глаз.— До свидания,— сказал я. Завернул за угол и пошел улицей, а оглянулся, лишь дойдя до следующего перекрестка.

— Да живешь-то ты где? Вон там? — указал я рукой в сторону, куда шел. Смотрит на меня, молчит.— Или вон в той стороне? Ты, наверное, живешь у вокзала, где поезд? Угадал? — Смотрит на меня загадочно, невозмутимо и жует. Улица пуста в обоих направлениях, тихие газоны и чистенькие домики среди деревьев, но никого нигде, лишь возле дома позади нас. Повернули, идем обратно. Двое на стульях у входа.

— Не знаете ли вы, чья это девочка? Увязалась за мной, а где живет, не говорит.

Глаза их переместились с меня на нее.

— Это, должно быть, итальянцев. Их несколько семей поприезжало,— сказал один, в порыжевшем сюртуке.— Я ее уже видел тут как-то. Тебя как звать, девочка?

Черным взглядом смотрит на сидящих, мерно двигая подбородком. Глотнула, не переставая жевать.

— Она, может, не умеет по-английски,— сказал второй.

— Ее за хлебом послали,— сказал я.— Значит, хоть два слова да умеет.

— Как твоего папашу звать? — спросил первый.— Пит? Джо? Имя Джон, да?

Еще откусила от булочки.

— Что мне с ней делать? — сказал я.— Ходит за мной неотступно. А мне надо возвращаться в Бостон.

— Студент?

— Да, сэр. И мне надо ехать.

— Сдайте ее, что ли, Энсу, нашему полисмену. Идите прямо, дойдете до городской конюшни. Он там сейчас.

— Придется, видимо,— сказал я.— Надо же что-то предпринять. Благодарю вас. Пошли, сестренка.

Идем по улице, теневой стороной, где ломаную тень фасадов медленно вбирает мостовая. Дошли до конюшни. Полисмена там нет. Прохладный темный ветерок, пахнущий нашатырем, повевает между рядами стойл, а в широких и низких воротах покачивается на стуле человек и советует нам поискать Энса на почте. Чья девочка, и он не знает.

— Для меня эти иностранцы все на одно лицо. Ихние дома за линией, сводите ее туда, может, кто признает.

Повернули обратно, на почту идем. На почте сидит тот, в сюртуке, газету разворачивает.

— Энс сейчас только уехал за город,— говорит он.— Пройдитесь-ка с ней за вокзал, к тем приречным домам. Там вам скажут, чья она.

— Пожалуй,— сказал я.— Идем, сестренка.— Запихнула в рот остаток булочки, ест.— Еще хочешь? — спросил я. Дожевывает, смотрит на меня взором черным, немигающим и дружеским. Я дал ей одну из двух оставшихся булочек и сам принялся за другую. Спросил у встречного, где здесь вокзал, и он показал дорогу.

— Пошли, сестренка.

Дошли до вокзала, перешли через рельсы, к реке. Мост, а дальше вдоль берега — дома, сбитые кое-как из досок и выходящие задами на реку. Улочка убогая, но вида пестрого, даже цветистого. За щербатым забором, посреди бурьяна стоит кривобокий от ветхости шарабан, а поодаль — облупленный домишко, и в верхнем окне сушится ярко-розовое платье.

— Не ваш ли это дом? — спросил я. Смотрит на меня поверх булочки.— Вот этот,— показал я рукой. Жует и молчит, но я как будто

уловил в ее лице что-то утвердительное, соглашающееся, хотя без особого пыла.— Ты здесь живешь, да? Тогда идем.— Я вошел в покосившуюся калитку. Оглянулся на нее.— Здесь ведь? Узнаешь свой дом?

Кивнула несколько раз быстро, смотрит на меня, кусает влажный полумесяц булочки. Идем к дому. Дорожка из расколотых и разномастных плит, пронзенных жесткими копьями свежепроросшей травы, ведет к разбитому крылечку. В доме — ни шороха, и розовое платье безветренно повисло сверху из окна. Фаянсовая ручка — дергать колокольчик; я потянул и, когда вытащилось футов шесть проволоки, перестал тянуть и постучал. У девчушки из жующих губ ребром торчит корка.

Дверь открыла женщина. Взглянула на меня и стала быстро говорить по-итальянски, обращаясь к девочке. Кончила на повышенье, замолчала вопросительно. Опять заговорила, а девочка смотрит на нее, запихивая корку в рот чумазой ручонкой.

— Она говорит, что живет здесь,— сказал я.— Я ее из города веду. Это ведь вы ее за хлебом посылали?

— Не говорю англиски,— сказала женщина. Обратилась снова к девочке. Та смотрит и молчит.

— Она не здесь жить? — спросил я. На девочку указал, на женщину, на дверь дома. Женщина усердно замотала головой. Быстро заговорила. Подошла к краю крыльца и, не переставая говорить, показала рукой вниз по улице.

Я закивал — усердно тоже.— Вы пойдете покажете? — сказал я. Взял ее за локоть, другой рукой махнул в сторону дороги. Торопливо заговорила, пальцем указывает.— Пойдемте покажете,— сказал я, пытаясь свести ее с крыльца.

— Si, si,— сказала она, упираясь и куда-то указуя.

Я снова закивал.

— Благодарю.— Я сошел с крыльца и направился к калитке, не бегом, но довольно-таки скорым шагом. Дошел до калитки, стал, смотрю на девочку. Она сжевала уже корку и таращит на меня черные дружелюбные глаза. Женщина с крыльца следит за нами.

— Что ж, пошли,— сказал я.— Так или иначе, а придется все же разыскать твой дом.

Семенит у меня под локтем. Идем дальше. В домах все как вымерло. Ни души не видно. Бездыханность, присущая пустым домам. А ведь не может быть, чтобы все пустые. Комнат сколько всяких. Раскрыть бы переднюю стенку у всех разом. Мадам, прошу вас — ваша дочка. Не ваша. Тогда ваша — бога ради, мадам. Идет под локтем у меня, блестит заплетенными туго косичками, а вот и мимо последнего дома прошли, улица впереди поворачивает и берегом уходит за глухой забор. Из разбитой калитки та женщина вышла, на голову накинула шаль, рукой придерживает у подбородка. Дуга дороги пустынна. Я нашарил монету, дал девочке. Четверть доллара.— Прощай, сестренка,— сказал я. И пустился бегом.

Во весь дух, без оглядки. У самого лишь поворота обернулся. Стоит фигурка посреди дороги, к грязному платьицу прижала хлеб, смотрит неподвижно, черноглазо, немигающе. Побежал дальше.

В сторону от дороги — проулок. Свернул туда и немного погодя с бега перешел на быстрый шаг. Слева и справа задние дворы некрашеных домов — на веревках тряпье, веселое, цветное, как то платье в окне; провалившийся сарай мирно догнивает среди заросшего бурьяном буйнокронного сада, среди деревьев розовых и белых, гудящих от солнца и пчел. Я оглянулся. В устье проулка — никого. Еще сбавил шаг, и тень моя ведет меня, головой влачась по кроющему забор плющу.

Проулок дошел до ворот, заложенных брусом, и канул в свежую траву, стал дальше тропкой, тихим шрамом в мураве. Я перелез через ворота, миновал деревья, пошел вдоль другого забора, и тень позади меня теперь. Здесь плющ и лоза увивают ограды, а у нас на юге — жимолость. Запах густо из сада, особенно в сумерки, в дождь, и мешается — как будто без него недостаточно тяжело, недостаточно невыносимо. *«Ты зачем ему дала поцеловать себя зачем».*

«Это не он а я сама хотела целоваться». И смотрит как меня охватывает злость Ага не нравится тебе! Алый отпечаток от руки выступил на лице у нее будто свет рукой включили и глаза у нее заблестели

«Я не за то ударил что целовалась». Локти девичьи в пятнадцать лет. Отец мне: «Ты глотаешь точно в горле у тебя застряла кость от рыбы Что это с тобой» Напротив меня Кэдди за столом и не смотрит на меня «А за то что ты с каким-то городским пшютиком вот за что. Говори будешь еще Будешь Не хочешь сказать: не буду?» Алая ладонь и пальцы проступили на лице. Ага не нравится тебе Тычу ее лицом в. Стебли трав впечатались крест-накрест в горящую щеку Скажи: не буду скажи

«А сам с грязной девчонкой целовался с Натали...» Забор ушел в тень, и моя тень в воду. Опять обманул свою тень. Я и забыл про реку, а улица берегом ведь повернула. Влез на забор. А девчушка — вот она, жмет к платьицу свой хлеб и глядит, как я спрыгиваю.

Стою в бурьяне, смотрим друг на друга.

— Что ж ты не сказала мне, сестренка, что живешь у реки здесь? — Хлеб уже проглядывает из обертки, новая нужна бы.— Ладно, так и быть, доведу тебя, покажешь, где твой дом... *с грязной девчонкой с Натали. Идет дождь и в пахучем высоком просторе конюшни нам слышно как он шелестит по крыше.*

«Здесь?» — дотрагиваюсь до нее

«Нет не здесь»

«Тогда здесь?» — Дождь несильный но нам ничего кроме крыши не слышно и только кровь моя или ее шумит

«Столкнула с лесенки и убежала оставила меня Кэдди гадкая»

«Кэдди значит убежала А ты здесь ушиблась или вот здесь?» Шумит Семенит под локтем у меня, блестит своей макушкой чернолаковой, а хлеб все больше вылезает наружу.

— Скорее домой надо, а то вся бумага на хлебе порвется. И мама тогда забранит! *«А спорим я тебя поднять могу»*

«Не можешь я тяжелая»

«А Кэдди куда убежала домой из наших окон конюшни не видно Ты пробовала когда-нибудь увидать конюшню из»

«Это она виновата Толкнула меня а сама убежала»

«Я могу тебя поднять смотри как»

Ох Шумит ее или моя кровь... Идем по легкой пыли, бесшумно, как на каучуке, ступаем по легкой пыли, куда косые грифели солнца вчертили деревья. И снова ощутимо, как вода течет быстро и мирно в укромной тени.

— А ты далеко живешь. Ты прямо молодчина, что из такой дали сама в город ходишь. *«Это как бы сидя танцевать Ты танцевала когда-нибудь сидя?» Слышно дождь и крысу в закроме и давний запах лошадей в пустой конюшне. «Когда танцуешь ты как руку держишь вот так?»*

Шумит

«А я танцуя так держу Ты думала у меня не хватит сил поднять»

Шумит кровь

«А я держуя так танцу то есть ты слышала как я сказал я сказал»

Шумит ох Шумит

Дорога стелется безлюдная и тихая, и солнце все ниже за листвой. Тугие косички на концах стянуты малиновыми лоскутками. Угол газеты отлохматился, на ходу болтается, и выглядывает горбушка. Я остановился.

— Послушай-ка. Ты правда живешь там, на этой дороге? Мы прошли почти уже милю, а домов ни одного не видно.

Смотрит на меня черным, таинственным, дружеским взглядом.

— Да где же твой дом, сестренка? Верно, в городке там позади остался?

В лесу пташка где-то за косым и нечастым солнечным накрапом.

— Твой папа, верно, тревожится, где ты. И попадет же тебе, что не прямо домой пошла с хлебом.

Пташка опять просвиристела невидимкой свой однотонный звук, бессмысленный и многозначащий, замолчала, как ножом отрезало, и опять пропела, и где-то вода течет быстро и мирно над тайными глубями — неслышная, невидимая, лишь ощутимая.

— Ах, будь оно неладно.— Пол-обертки оттеребилось уже и болтается.— Проку все равно от нее никакого.— Я отодрал лохмот и бросил на обочину.— Пошли, сестренка. Придется в город возвращаться. Мы берегом пойдем сейчас обратно.

Свернули с дороги. Среди мха бледные цветочки, и эта ощутимость воды, текущей немо и невидимо. *«Я держуя так танцу то есть я танцуя так держу»*

Стоит в дверях и смотрит на нас подбоченясь

«Ты столкнула меня Я из-за тебя ушиблась»

«Мы танцевали сидя А спорим Кэдди не умеет сидя танцевать»

«Не смей Не смей»

«Я только с платья сзади хочу стряхнуть сор»

«Убери свои гадкие руки Это из-за тебя Ты толкнула меня Я на тебя сержусь»

«Ну и пускай» Смотрит на нас «Сердись хоть до завтра» Ушла Вот стало слышно крики, всплески; загорелое тело блеснуло.

Хоть до завтра сердись. Дождь сразу рубашку и волосы мне намочил Теперь крыша громко шумит и сверху мне видно как Натали уходит домой через сад под дождем. Ну и иди мокни вот схватишь воспаление легких узнаешь тогда морда коровья. Я с маху прыгнул вниз в свиную лужу и вонючие брызги желто облепили по пояс Еще еще упал катаюсь по грязи...

— Слышишь, как купаются, сестренка? Я и сам бы не прочь.— Будь у меня время... Когда время будет. Часы мои тикают... *грязь теплей дождя, а запах мерзкий. Отвернулась, но я спереди зашел. «Знаешь, что я делал?» Отворачивается, я опять спереди зашел. Дождь разжижает на мне грязь, а ей сквозь платье обозначает лиф. А запах ужасный. «Обнимался с ней, вот что я делал». Отвернулась, но я снова забежал спереди. «Я обнимался с ней, слышишь».*

«А мне все равно мне чихать»

«Все равно Все равно Я заставлю заставлю чтобы тебе не все равно». Ударом оттолкнула мою руку но я другой рукой мажу ее грязью Шлепнула мокро и я не почувствовал Сгребаю грязь с ног и мажу Кэдди мокрую тугую верткую Она ногтями по лицу но мне не больно, даже когда у дождя стал на губах сладкий привкус

Те, что в реке, увидели нас прежде. Головы и плечи. Крик подняли, и на берегу один вскочил, пригибаясь, и прыгнул к ним вниз. Как бобры, и вода лижет им подбородки. Кричат:

— Убери девчонку! Зачем привел сюда девчонку? Уходите!

— Она ничего вам не сделает. Мы только посмотрим немного, как вы плаваете.

Присели в воде. Головы сгрудились, глядят на нас, и вдруг кучка распалась и — ринулась к нам, хлеща на нас воду ладонями. Мы отскочили.

— Полегче, мальчики. Она же вам ничего не сделает.

— Уходи давай, студент! — Это тот мальчик с моста, второй, что вымечтал себе фургон и лошадь.— Водой на них, ребята!

— Давайте разом выскочим и в речку их! — сказал другой.— Испугался я девчонки, что ли.

— Водой их! Водой! — И к берегу, хлеща на нас воду. Мы еще отошли.— Уходите совсем! — кричат.— Уходите!

Уходим. Они под самым берегом присели, гладкие головы их в ряд на блестящей воде. Идем от них прочь. «Оказывается, нам нельзя». Сквозь ветви солнце все горизонтальнее крапит мох. — Ты ведь девчонка, бедная малышка.— Среди мха цветочки, никогда не видал таких меленьких.— Ты ведь девчонка. Бедная малышка.— На тропку вышли, вьется берегом. И вода опять мирная — темная, тихая, быстрая.— Всего лишь девочка. Бедная сестренка. *В мокрую траву упали переводим дух Дождь по спине холодными дробинами «Теперь-то не все равно тебе не все равно» «Господи как мы измазались Вставай»*

Лоб под дождем защипало Рукой коснулся стала красная и дождь стекает с пальцев розово «Болит»

«Конечно А ты как думала»

«Я прямо глаза тебе хотела выцарапать Ну и разит от нас Давай сойдем к ручью отмоемся...»

— Вот и город опять показался. Теперь, сестренка, тебе домой надо. А мне — в свою школу. Смотри, скоро уже вечер. Ты теперь прямо домой пойдешь, правда? — Но она только молча смотрит на меня таинственно-черным и дружеским взором, жмет к себе хлеб с остатками обертки.— А хлеб подмок. Я думал, мы успели вовремя отскочить.— Я вынул носовой платок, принялся вытирать, но стала сходить корка, и я бросил.— Сам высохнет. Держи его вот так.— Держит. Вид у него такой, как будто крысы грызли... *а вода выше выше по окунающимся спинам грязь отшелушивается всплывает в кипящую от капель рябь как жир на горячей плите «Я сказал заставлю чтоб тебе не все равно»*

«А мне и теперь все равно»

Мы услышали топот за собой, остановились, оглянулись — он бежит тропинкой, и косые тени по ногам мелькают.

— Спешит парень куда-то. Давай-ка мы посторо...— Тут я увидел еще одного, за ним пожилой бежит тяжело, в руке палка, а за ними голый до пояса мальчик, на бегу штаны придерживает.

— Это Джулио,— сказала девочка, и ко мне метнулось итальянское лицо парня, глаза — он прыгнул на меня. Мы упали. Он кулаками в лицо мне, кричит что-то, кусаться лезет, что ли, его оттаскивают, рвется, отбивается, орет, его за руки держат, ногой хочет пнуть меня, но его оттащили. Девчушка вопит, прижимая к себе хлеб обеими руками. Полуголый мальчик скачет, вертится, штаны подтягивает. Кто-то меня поставил на ноги, и в это время из-за тихого лесного поворота выскочил еще мальчик, голехонький, и с лету шарахнулся от нас в кусты, только зажатые в руке одежки вымпелом протрепетали. Джулио рвется по-прежнему в драку. Пожилой, меня поднявший, сказал: «Тпру, голубчик. Попался». Поверх рубашки у него жилетка. На жилетке полицейская бляха. В свободной руке он держит узловатую, отполированную дубинку.

— Вы Энс, да? — сказал я.— Я вас искал. За что он на меня?

— Предупреждаю, все ваши слова будут использованы как улика,— сказал полисмен.— Вы арестованы.

— Я убию его,— сказал Джулио. Вырывается. Двое держат. Девочка не переставая вопит и хлеб прижимает.— Ты крал мою сестру. Пустите, мистеры.

— Украл его сестру? — сказал я.— Да я же...

— Хватит,— сказал Энс.— Судье расскажешь.

— Украл его сестру? — сказал я. Джулио вырвался, снова ко мне, но Энс загородил дорогу, сцепился с ним, и остальные двое опять скрутили Джулио руки. Тяжело дыша, Энс отпустил его.

— Ты, иностранец чертов,— сказал Энс.— Я, кажется, и тебя арестую сейчас, за оскорбление действием.— Энс повернулся ко мне.— По-доброму пойдешь или наручники надеть?

— По-доброму,— сказал я.— Что угодно, только возьмите... примите... Украл его сестру... Украл...

— Я вас предупредил,— сказал Энс.— Он вас обвиняет в уводе с преступными целями. Эй ты, уйми свою девчонку.

— Вот как,— сказал я. И засмеялся. Еще два мальчугана с прилизанными водой волосами — глаза круглые — явились из кустов, застегивают рубашки, сразу же прилипшие к плечам. Я хотел унять смех и не смог.

— Гляди в оба, Энс, он, кажется, тронутый.

— Сейчас п-перестану,— выговорил я сквозь смех.— Через минуту оно кончится. Как в тот раз, когда охало: ох! ох! Дайте присяду.— Сел, они смотрят, и девочка с лицом в грязных полосах и с хлебом, словно обгрызенным; а под берегом вода быстрая и благодатная. Скоро смех весь иссяк. Но горло все еще сводит — точно рвотой напоследок, когда желудок уже пуст.

— Хватит,— сказал Энс.— Возьми себя в руки.

— Да-да,— сказал я, напрягаясь, чтобы усмирить горло. Снова желтый мотылек порхает, будто сдуло одну из солнечных крапин. Вот уже можно и не напрягаться так. Я встал.— Я готов. Куда идти?

Идем тропой, те двое ведут Джулио и девчушку, и мальчики позади где-то. Тропа берегом вывела к мосту. Мы перешли мост и рельсы, на нас люди глядят с порогов, и всё новые мальчики возникают откуда-то, так что когда мы повернули на главную улицу, то возглавляли уже целую процессию. У кондитерской стоит большой легковой автомобиль, а в пассажиров я не вгляделся, но тут миссис Блэнд произнесла:

— Да это Квентин! Квентин Компсон!

За рулем Джеральд, а на заднем сиденье Споуд развалился. И Шрив тут. Обе девушки мне незнакомы.

— Квентин Компсон! — сказала миссис Блэнд.

— Добрый день,— сказал я, приподнимая шляпу.— Я арестован. Прошу прощения, что ваше письмо не застало меня. Шрив вам сказал уже, наверное?

— Арестован? Простите.— Шрив грузно поднялся, по ногам их вылез из машины. На нем мои фланелевые брюки, как перчаточка обтягивают. Я и забыл, что не вложил их в чемодан. И сколько у миссис Блэнд подбородков, я тоже забыл. И уж, конечно, та, что посмазливей, впереди рядом с Джеральдом. Смотрят сквозь вуальки на меня с этаким изящным ужасом.— Кто арестован? — сказал Шрив.— Что это значит, мистер?

— Джеральд,— сказала миссис Блэнд.— Вели этим людям уйти. А вы, Квентин, садитесь в авто.

Джеральд вышел из машины. Споуд и не пошевелился.

— Что он тут натворил у вас, начальник? — спросил Споуд.— В курятник забрался?

— Предупреждаю: не чинить препятствий,— сказал Энс.— Вам арестованный известен?

— Известен? — сказал Шрив.— Да мы с...

— Тогда можете проследовать с нами. Не задерживайте правосудия. Пошли! — дернул за рукав меня.

— Что ж, до свидания,— сказал я.— Рад был всех вас видеть. Простите, что не могу к вам присоединиться.

— Ну что же ты, Джеральд,— сказала миссис Блэнд.

— Послушайте, констебль,— сказал Джеральд.

— Предупреждаю: вы чините препятствия служителю закона,— сказал Энс.— Если желаете дать показания про арестованного, то пройдемте в суд, там их дадите.— Идем дальше улицей. Целое шествие, а впереди я с Энсом. Мне слышно, как те им объясняют, за что меня взяли, и как Споуд задает вопросы, потом Джулио бурно сказал по-итальянски что-то, я оглянулся и увидел, что девчушка стоит с краю тротуара, глядит на меня своим дружеским и непроницаемым взором.

— Марш домой! — кричит на нее Джулио.— Я из тебя душу выбию.

Мы свернули с улицы в поросший травой двор. В глубине его — одноэтажный кирпичный дом с белой отделкой по фасаду. Булыжной дорожкой подошли к дверям, и дальше Энс никого, кроме причастных, не пустил. Вошли в какую-то голую комнату, затхло пропахшую табаком. Посредине, в дощатом квадрате с песком, железная печка; на столе — пожелтелая карта и засиженный макет городка. За выщербленным и захламленным столом — человек со свирепым хохлом сивых волос — уставился на нас поверх стальных очков.

— Что, Энс, поймали-таки? — сказал он.

— Поймали, судья.

Судья раскрыл пыльный гроссбух, поближе придвинул, ткнул ржавое перо в чернильницу, во что-то угольное, высохшее.

— Послушайте, мистер,— сказал Шрив.

— Фамилия и имя подсудимого? — произнес судья. Я сказал. Он неторопливо занес в свой гроссбух, с невыносимым тщанием корябая пером.

— Послушайте, мистер,— сказал Шрив.— Мы его знаем. Мы...

— Соблюдать тишину в суде! — сказал Энс.

— Заткнись, Шрив-дружище,— сказал Споуд.— Не мешай процедуре. Все равно бесполезно.

— Возраст? — спросил судья. Я сказал возраст. Он записал, шевеля губами.— Род занятий? — Я сказал род занятий.— Студент, значит, гарвардский? — сказал судья. Слегка нагнул шею, чтобы поверх очков взглянуть на меня. Глаза холодные и ясные, как у козла.— Вы с какой это целью детей у нас похищать вздумали?

— Они спятили, судья,— сказал Шрив.— Тот, кто его смеет в этом обвинять...

Джулио встрепенулся.

— Спиятили? — закричал он.— Что, не поймал я его? Я собственными глазами видел...

— Лжете вы! — сказал Шрив.— Ничего вы не...

— Соблюдать тишину в суде! — возвысил голос Энс.

— Утихомирьтесь-ка оба,— сказал судья.— Если еще будут нарушать порядок, выведешь их, Энс.— Замолчали. Судья посозерцал Шрива, затем Споуда, затем Джеральда.— Вам знаком этот молодой человек? — спросил он Споуда.

— Да, ваша честь,— сказал Споуд.— Он к нам из провинции приехал учиться. Он и мухи не обидит. Я уверен, ваш полисмен убе-

дится, что задержал его по недоразумению. Отец у него деревенский священник.

— Хм,— сказал судья.— Изложите нам свои действия в точности, как оно было.— Я рассказал, он слушал, не сводя с меня холодных, светлых глаз.— Что, Энс, похоже оно на правду?

— Вроде похоже,— сказал Энс.— Эти иностранцы чертовы.

— Я американец,— сказал Джулио.— Я имею документо.

— А девочка где?

— Он ее домой отослал,— сказал Энс.

— Она что — испуганная была, плакала и все такое?

— Да нет, покамест этот Джулио не кинулся на задержанного. Просто шла с ним к городу береговой тропинкой. Там мальчишки купались, показали нам, в каком направлении.

— Это недоразумение, ваша честь,— сказал Споуд.— Дети и собаки вечно вот так за ним увязываются. Он сам не рад.

— Хм,— сказал судья и занялся созерцаньем окна. Мы на судью смотрим. Слышно, как Джулио почесывается. Судья обернулся к нему.

— Вот вы — вы согласны, что девочка не потерпела ущерба?

— Не потерпела,— хмуро сказал Джулио.

— Вы небось бросили работу, чтоб бежать на поиски?

— А то нет. Я бросил. Я бежал. Как шпареный. Туда смотрию, сюда смотрию, потом один говорит, видал, как он ей кушать давал. И с собой брал.

— Хм,— сказал судья.— Думается мне, что ты, сынок, обязан возместить Джулио за отрыв от работы.

— Да, сэр,— сказал я.— Сколько?

— Доллар, думается.

Я дал Джулио доллар.

— Ну, и с плеч долой,— сказал Споуд.— Полагаю, ваша честь, что теперь ему можно восвояси?

Судья и не взглянул на Споуда.

— А что, Энс, далеко пришлось вам за ним бежать?

— Две мили самое малое. Часа два ухлопали на розыск.

— Хм,— сказал судья. Задумался. Смотрим на него, на его сивый хохол, на сидящие низко на носу очки. На полу желтый прямоугольник окна медленно растет, достиг стены, всползает по ней. Пылинки пляшут, снуют косо.— Шесть долларов.

— Шесть долларов? — сказал Шрив.— Это за что же?

— Шесть долларов,— повторил судья. Глаза его скользнули по Шриву, опять на меня.

— Но послушайте,— сказал Шрив.

— Помолчи,— сказал Споуд.— Плати, приятель, и идем отсюда. Нас дамы ждут. Найдется у тебя шесть долларов?

— Да,— сказал я. Дал судье шесть долларов.

— Дело слушанием кончено,— сказал он.

— Возьми квитанцию,— сказал Шрив.— Пусть даст расписку в получении.

Судья мягко поглядел на Шрива.

— Дело слушанием кончено,— сказал он, не повышая тона.

— Будь я проклят, если...— начал Шрив.

— Да брось ты,— сказал Споуд, беря его под локоть.— До свидания, судья. Премного вам благодарны. — Когда мы выходили из дверей, снова бурно взлетел голос Джулио, затем стих. Карие глазки Споуда смотрят на меня с насмешливым, холодноватым любопытством.— Ну приятель, надо думать, с этих пор ты ограничишь свою растлительскую деятельность пределами города Бостона?

— Дурень ты несчастный,— сказал Шрив.— Какого черта ты забрел сюда, связался с этими итальяшками?

— Пошли,— сказал Споуд.— Нас там заждались уже.

Миссис Блэнд сидит в машине, занимает девушек беседой. Мисс Хоумс и мисс Дейнджерфилд; бросив слушать миссис Блэнд, они снова воззрились на меня с изящным и любознательным ужасом. На белых носиках вуальки приотвернуты, и глаза за сеткой зыбкие, загадочные.

— Квентин Компсон,— произнесла миссис Блэнд.— Что бы сказала ваша мать? Молодому человеку свойственно попадать в переплеты, но — арестантом по улице, пешком, под конвоем какого-то сельского полисмена! В чем они обвиняли его, Джеральд?

— Ни в чем,— сказал Джеральд.

— Вздор. Ответьте вы мне, Споуд.

— Он пытался похитить ту маленькую замарашку, но был вовремя схвачен,— сказал Споуд.

— Вздор,— сказала миссис Блэнд, но голосом угасающим как бы, и уставилась на меня, а девушки тихо и согласованно ахнули.— Чепуха,— бодро сказала миссис Блэнд.— Выдумка в духе этих невежественных простолюдинов-северян. Садитесь в авто, Квентин.

Мы со Шривом поместились на двух откидных сиденьях. Джеральд завел мотор, сел за руль, мы тронулись.

— А теперь, Квентин, извольте рассказать мне, из-за чего весь этот глупый сыр-бор,— сказала миссис Блэнд. Я объяснил; Шрив гневно сутулится на откидном сиденье, а Споуд снова развалился рядом с мисс Дейнджерфилд.

— Пикантность здесь в том, как ловко все это время Квентин дурачил нас всех,— сказал Споуд.— Мы его считаем юношей примерным, которому каждый может доверить родную дочь, и вдруг нате вам — полиция разоблачает его черные делишки.

— Перестаньте, Споуд,— сказала миссис Блэнд. Мы спустились к реке, и через мост, и проезжаем дом, где розовое платье висит в окне.— Это вам за то, что не прочли моей записки. Почему вы не вернулись, не прочли ее? Мистер Маккензи ведь сказал вам, что вас ждет письмо.

— Да, мэм. Я намеревался, но так и не зашел к себе.

— А мы бы сидели и ждали вас не знаю сколько времени, если бы не мистер Маккензи. Он сказал, что вы не зашли за письмом, и мы пригласили его третьим кавалером вместо вас. Разумеется, мы и так всегда рады вам, мистер Маккензи.— Шрив молчит. Скрестил руки, сердитый взгляд устремлен вперед, мимо каскетки Джеральда. Английские спортсмены-автомобилисты носят такие каскетки. По словам миссис Блэнд. Миновали дом и три соседних, а во дворе четвертого, в воротах, стоит та девчушка. Без хлеба уже, и по лицу разводы точно сажей. Я помахал рукой — не отвечает, только тихо поворачивает голову за машиной, смотрит не мигая вслед. Едем вдоль стены. тени наши бегут по стене, потом на обочине мелькнул лоскут газеты, и меня снова начал разбирать смех. К горлу подступило, и я стал глядеть в листву деревьев, где косо просвечивал день, стал думать про день клонящийся, про пташку, про мальчишек в реке. Но смех одолевал, я понял, что заплачу, если буду сдерживаться чересчур, и стал думать уже думаное: что я давно уже недевствен, раз столько их бродит в тени, голосками девичьими шепчут, затаясь по тенистым местам, и оттуда на меня слова, и духи, и глаза, невидимые, ощутимые; но если все это так несложно, то ничего оно не значит, а если ничего не значит, то из-за чего тогда я... И миссис Блэнд сказала: «Вы что, Квентин? Ему нехорошо, мистер Маккензи?» — и Шрив пухлы-

ми пальцами тронул меня за колено, а Споуд заговорил, и я перестал сдерживаться.

— Если ему мешает корзинка с бутылками, то пододвиньте ее к себе, мистер Маккензи. Я захватила корзину вина, поскольку считаю, что молодым джентльменам пить следует виноградные вина, хотя отец мой, дед Джеральда... *«ни разу Ты ведь ни разу еще» В серой тьме растворено немного света Руками*

— Было бы вино, а уж джентльмены не откажутся,— сказал Споуд.— Верно, Шрив? — *...обхватила колени себе голова запрокинута На лице на горле запах жимолости сплошь разлит*

— И от пива тоже,— сказал Шрив. Снова тронул за колено. Я снова убрал ногу... *как тонкий слой сиреневой краски Все о нем говорит заслоняя себя им*

— Тогда ты не джентльмен,— сказал Споуд... *и очертания ее не сумраком уже размыты*

— Нет, я канадец,— сказал Шрив... *все о нем да о нем Мигают весла движут его переблесками у английских автомобилистов такие каскетки а время несется внизу и только они двое очертаньем слитным навсегда Он в армии служил и людей убивал*

— Обожаю Канаду,— сказала мисс Дейнджерфилд.— Чу́дная страна.

— А одеколон тебе пить приходилось? — спросил Споуд... *одной рукой он мог поднять ее на плечо себе и унести бегом Бегом*

— Нет,— ответил Шрив... *убегает зверем о двух спинах и она размыта в переблесках весел Бегом как Евбелеевы свиньи спарясь на бегу «А сколько их Кэдди»*

— И мне не приходилось,— сказал Споуд... *«Не знаю Слишком много Во мне было что-то ужасное ужасное» Отец я совершил Ты ведь ни разу еще Мы ни разу ни разу А может*

— ...и дед Джеральда всегда сам нарвет себе мяты до завтрака, пока на ней еще роса. Даже своему старому Уилки не разрешал — помнишь, Джеральд? — всегда сам нарвет, и сам приготовит себе джулеп [1]. Был педантичен в этом, как старая дева, отвешивал и отмеривал дозу по особому рецепту. Помнил этот рецепт наизусть, и только с одним человеком поделился им, а именно с...— *Да У нас было Как ты могла забыть Подожди сейчас я напомню тебе Это было преступление мы совершили страшное его не скрыть Ты думала скроешь но подожди Бедный Квентин ты же ни разу еще А я говорю тебе было ты вспомнишь Я расскажу отцу и тогда волей-неволей Ты ведь любишь отца и мы уйдем на ужас и позорище в чистое пламя Я тебя заставлю подтвердить я сильнее тебя Заставлю тебя вспомнить Ты думала это они а это был я Слышишь я тебя обманывал все время Это я был Ты думала я в доме остаюсь где не продохнуть от проклятой жимолости где стараюсь не думать про гамак кедры тайные всплески дыханье слито пьют неистовые вздохи да Да Да да...*— самого пить виноградное вино не заставишь, но всегда говорил, что без корзины вин... (в какой вы это книге вычитали — должно быть, там же, где про канотье) ...джентльмены на пикник не ездят.— *«Ты любила их Кэдди любила их» «Когда они дотрагивались я мертвела»*

Застыла в дверях на миг а в следующий Бенджи уже вопя тащил за платье в коридор и вверх по лестнице Вопит Толкает ее выше к двери в ванную Встала спиной к двери прислонилась прикрыв лицо сгибом руки а он вопит толкает в ванную К ужину вернулась Ти-Пи его кормил как раз Он снова Сперва тихо захныкал но лишь подошла

[1] Напиток из коньяка или виски с водой, сахаром, льдом и мятой.

и коснулась он в голос Встала глаза зверьками загнанными Потом я бегу в сером сумраке пахнет дождем и всеми запахами цветов какими насыщен парной этот воздух А в траве вовсю пилят кузнечики но вместе со мною чуть опережая скользит островок тишины Из-за забора смотрит Фэнси смутно-пегая как лоскутное одеяло на веревке Вот чертов негр опять забыл задать ей корму Я сбежал к ручью в кольце кузнечиковой немоты скользящем как дыхание по зеркалу Она лежит в ручье головой на песчаном намыве и вода обтекает ей бедра На воде чуть светлей чем вокруг Подол намок тяжело зыблется с боков в такт течению зыбь гаснет и возникает опять из своего же струения Я стал на берегу Весь просвет водный в запахе жимолости а сверху так и сеет сеет жимолостью и треском кузнечиков и это даже кожей чувствуешь

«Что Бенджи плачет еще»

«Не знаю Да плачет Не знаю»

«Бедный Бенджи»

Я сел на берегу Трава волглая Так и есть промочил туфли

«Выйди из воды с ума сошла»

Но она лежит Лицо смутно белеет волосами откаймленное от смутного песка

«Выйди сейчас же»

Она села затем встала Юбка хлюпает вода стекает Вылезла на берег хлюпает подолом села

«Выжми же Простудиться захотела»

«Да»

Вода шумит бормочет по песку и дальше отмелями между темных ив зыблясь как ткань и свет на плесе еще теплится как всегда на воде вечерами

«Он за океаны плавал кругом всего света»

И стала говорить о нем обхватив мокрые колени запрокинув лицо в сизой мгле в запахе жимолости В маминой комнате свет и у Бенджи Там Ти-Пи его укладывает спать

«Неужели ты любишь его»

Протянула ко мне руку я не двигаюсь Пальцы ощупью скользнули по плечу нашли мою ладонь притянули ее к груди к бьющемуся сердцу

«Нет не люблю»

«Тогда он силой значит он принудил он же сильней тебя и он Завтра я убью его клянусь А до того отцу и знать не надо а после мы с тобой уедем Никто и не узнает никогда На те деньги что мне за ученье платить Я не поеду в университет Кэдди он тебе мерзок правда правда»

Прижимает ладонь к груди Сердце гулко бьется Я повернулся к ней схватил за локоть

«Кэдди ты его ненавидишь правда»

Прижала мою ладонь выше у горла там сердце колотится

«Бедный Квентин»

Лицо запрокинуто кверху а небо нависло так низко что все запахи и шумы ночи сгустились у земли как под осевшей парусиной палатки и гуще всего жимолость забила ноздри мне а ей сизой мглой осела на лицо и шею Кровь ее колотится в ладонь мне а рука которой оперся о землю вдруг дрогнула заплясала и я с трудом ловлю воздух тяну из этой густой сизой жимолости

«Да ненавижу Я готова умереть за него я уже умерла за него я каждый раз мертвею когда он»

Оторвал от земли руку она горит от врезавшихся вперекрест стеблей и веточек

«Бедный Квентин»
Откинулась назад не расцепляя пальцев на коленях
«Ты ведь ни разу еще»
«Что ни разу»
«То что у меня с ним»
«Тыщу раз с тыщей девчонок»
Заплакал Рука ее опять коснулась и я плачу ей в мокрую блузку Лежит смотрит поверх головы моей в небо Под зрачками мерцают полоски белка Я ножик раскрыл
«Помнишь в тот день когда умерла бабушка как ты села в ил запачкала штанишки»
«Помню»
Приложил острием к горлу ей
«Одна секунда всего секунда и конец. А потом и себе тоже потом и себе»
«Хорошо А ты сам себе сможешь»
«Смогу лезвие длинное Бенджи спит уже»
«Да»
«Одна секунда и все Я постараюсь чтобы не больно»
«Хорошо»
«Закрой же глаза»
«Нет с открытыми Только надо сильней нажать»
«Возьми своей рукой тоже»
Не берет Глаза широко раскрыты глядят поверх головы моей в небо
«Кэдди помнишь как Дилси тебя за грязные штанишки бранила»
«Не плачь»
«Я не плачу Кэдди»
«Сильней Что ж ты»
«А ты хочешь»
«Да Сильней коли»
«Возьми своей рукой»
«Не плачь Бедный Квентин»
Но никак не перестану Прижала голову мою к тугой влажной груди Слышу как сердце уже не колотится стучит спокойно мерно и вода журчит меж ивами во тьме и волнами накатывает жимолость а плечо и рука подо мной онемели
«Ты чего Что ты хочешь»
Мышцы ее напряглись Я приподнялся сел
«Да ножик уронил»
Привстала тоже
«Который час»
«Не знаю»
Поднялась на ноги Я шарю по земле
«Я ухожу брось искать»
Она стоит Я слышу запах ее сырой одежды слышу ее над собой
«Он здесь где-то»
«Пусть лежит завтра найдется Идем»
«Подожди минуту Я сейчас найду»
«Боишься что»
«Вот он Лежал тут все время под носом»
«Вот как Ну идем»
Я встал пошел вслед Поднимаемся склоном и кузнечики смолкают перед нами
«Смешно как бывает Уронишь в траву рядышком а после ищешь ищешь всюду»

Мглистый косогор от росы сизый восходит в сизое небо а вон и деревья вдали

«Чертова жимолость распахлась как»

«Ты раньше любил этот запах»

Вышли наверх идем Хотела повернуть к опушке натолкнулась на меня не стала поворачивать Ров зачернел шрамом на сизой траве Опять повернула натолкнулась на меня коротко глянула не стала Дошли до рва

«Пойдем здесь»

«Зачем»

«Посмотрим не истлели еще Нэнсины кости Я давно не ходил смотреть а ты»

Во рву все спутано от лоз и колючек темно

«Они вон там валялись но мне теперь не разглядеть отсюда а тебе»

«Хватит Квентин»

«А ты иди и не сворачивай»

Ров сузился сомкнулся она повернула к деревьям

«Дай пройти»

«Кэдди»

Я опять загородил ей дорогу

«Кэдди»

«Пусти»

Держу не пускаю

«Я сильнее тебя»

Напряглась не поддается но не вырывается

«Я не хочу с тобой драться пусти лучше пусти»

«Кэдди не надо туда Кэдди»

«Все равно не поможет сам знаешь не поможет дай пройти»

Жимолостью кропит и кропит Трещат кузнечики чутким кольцом обступив нас Обошла меня направилась к опушке

«А ты возвращайся домой тебе незачем»

Но я иду следом

«Почему ты домой не идешь»

«Чертова жимолость»

К изгороди подошли Она пролезла Я тоже пролез разогнулся вижу он из деревьев в сизую мглу вышел идет к нам высоким плоским и недвижным силуэтом даже на ходу как бы храня недвижность Навстречу ему пошла

«Это Квентин Я мокрая на мне все промокло Подымешь пеняй на себя»

Их силуэты слитной тенью голова ее поднялась в небо маячит выше чем его Две головы в небе очерчены

«Пеняй на себя самого»

И головы слитно уже Сумрак пахнет дождем сырой травой листьями Сизая мгла кропит жимолостью накатывает влажными волнами Ее лицо белеет на плече у него Он держит ее как ребенка на одной руке другую протянул мне

«Рад познакомиться»

Пожали руки стоим Она высоко тенью на тени их силуэты слитной тенью

«Ты куда Квентин»

«Пройдусь немного лесом выйду на дорогу и вернусь через город домой»

Ухожу

«До свидания»

«Квентин»

Останавливаюсь.

«Что тебе»

В лесу древесные лягушки распелись к дождю словно шарманки игрушечные вертятся с натугой и жимолость

«Иди сюда»

«Что тебе»

«Иди сюда Квентин»

Я вернулся Она смутной тенью нагнулась тронула мое плечо склонясь пятном лица с его высокой тени Я отстранился

«Осторожней»

«Иди прямо домой»

«Мне спать не хочется пойду пройдусь»

«Иди у ручья подожди меня»

«Нет я пройдусь»

«Я скоро приду подожди меня слышишь»

«Нет я пойду лесом»

Иду не оглядываюсь Лягушки без умолку не стесняясь меня ничуть Мглистый свет как мох на ветках каплющий а дождя еще нет Спустя немного повернул назад вышел на опушку и сразу же опять запахло жимолостью На здании суда часы освещены и в небе отсвет городских огней над площадью а вдоль ручья темнеют ивы В маминых окнах свет и в комнате у Бенджи горит еще Я пролез под изгородью лугом побежал в сизой траве бегу среди кузнечиков а жимолостью пахнет все сильнее Потянуло водой вот она мглисто-жимолостная Я лег на берегу лицом к земле чтобы не слышать жимолости И правда теперь не слышу Лежу чувствую как земля холодит сквозь рубашку слушаю шум воды и скоро дышать стало легче и я лежу и думаю о том что если головы не подымать то жимолость не проникает и дыханья не теснит а потом ни о чем не стал думать Идет берегом остановилась я лежу

«Уже поздно иди иди домой»

«Что»

«Домой иди поздно уже»

«Ладно»

Шуршит по траве подолом Лежу Шуршание остановилось

«Говорят тебе домой иди»

«Ты мне сказал что-то»

«Кэдди»

«Да раз ты хочешь да»

Я приподнялся сел Она сидит на берегу колени обхватив

«Иди домой говорят тебе»

«Да я сделаю все что ты хочешь все сделаю да»

А сама не смотрит даже Схватил за плечо ее с силой потряс

«Замолчи»

Трясу ее

«Да замолчишь ты Замолчишь ты»

«Да да»

Подняла лицо но по мерцанию белков я понял смотрит мимо

«Вставай»

Тяну ее обмякшую на ноги ставлю

«Ну иди теперь»

«Когда ты уходил Бенджи плакал еще»

«Иди же»

Перешли по отмели ручей Вот крышу стало видно потом окно верхнее

«Он уже спит»

Задержался у калитки запирая она уходит в мглистом свете в

запахе дождя а дождя все нет жимолость увившая забор уже дохнула прихлынула Кэдди вошла в тень шаги лишь слышно

«Кэдди»

Встал у ступенек крыльца шагов не слышно

«Кэдди»

Слышно шаги Рукой коснулся не горячая не прохладная просто неподвижная а платье еще не совсем высохло

«Любишь его теперь»

Не дышит дышит медленно как будто вдалеке

«Кэдди любишь его теперь»

«Не знаю»

Двор в сизой мгле и предметы как тени как утопшие в воде стоячей

«Лучше бы ты умерла»

«Ну тебя Входи же в дом»

«Ты о нем сейчас думаешь»

«Не знаю»

«Скажи о чем ты сейчас думаешь скажи мне»

«Перестань не надо Квентин»

«Замолчи ты замолчи слышишь замолчи замолчишь ты или нет»

«Молчу молчу Мы шумим слишком»

«Я убью тебя слышишь ты»

«Отойдем к гамаку Ты в голос прямо»

«Я не плачу Ты сказала плачу»

«Нет Тише а то проснется Бенджи»

«Иди в дом иди в дом говорю тебе»

«Иди Такая уж я Не плачь Я скверная и ничего ты тут не сделаешь»

«Это проклятье на нас мы не виноваты чем мы виноваты»

«Тсс Иди и спать ложись»

«Не пойду на нас проклятье»

Наконец я увидел его Он входил как раз в парикмахерскую Взглянул Я прошел дальше стал ждать

«Я ищу вас уже два или три дня»

«Что разговор есть»

«И безотлагательный»

Быстро в два приема свернул сигарету большим пальцем зажег спичку

«На улице тут неудобно Где б нам встретиться»

«Я приду в номер вы в гостинице ведь»

«Нет там тоже не совсем удобно Знаешь тот мост через ручей за городом»

«Да Хорошо»

«В час ровно»

«Да»

Я повернулся уходить

«Весьма признателен»

«Слушай»

Я остановился обернулся

«Что-нибудь с ней»

Как из бронзы отлит в своей защитной рубашке

«Что-нибудь неладно Я ей нужен спешно»

«В час потолкуем»

Она слышала как я велел Ти-Пи сделать Принца в первом часу Глаз не спускает не ела почти вышла следом

«Что ты затеял»

«Ничего Нельзя верхом проехаться мне что ли»

«У тебя на уме что-то Что ты затеял»

«Не твое дело шлюха шлюха»

Ти-Пи уже подал Принца к заднему крыльцу

«Я раздумал пешком пойду»

Аллеей вышел из ворот свернул в проулок и бегом Еще издали увидел его на мосту Стоит облокотился на перила Лошадь в зарослях привязана Покосился на меня через плечо и больше не взгляды-вал пока я не подошел вплотную В руках у него кусок коры обла-мывает и роняет с перил в воду

«Я пришел вам сказать чтобы вы уезжали из города»

Отломил кусочек не спеша аккуратно бросил в воду глядит как уплывает

«Слышите сегодня же»

Поглядел на меня

«Это она послала»

«Я не слова отца передаю вам или чьи-либо Это я от себя велю вам убираться»

«Слушай Горячиться успеешь Я хочу знать ничего с ней не слу-чилось У нее вышли дома неприятности да»

«Уж это не ваша забота»

Затем я услышал как губы мои сказали

«Даю вам сроку до заката солнца»

Он отломил кусочек бросил в воду положил кору на перила размял сигарету в два быстрых приема щелчком послал спичку в ручей

«А если не уеду что ты сделаешь»

«Убью вас Пусть я кажусь вам мальчишкой»

Из ноздрей его дым двумя струйками перечеркнул лицо

«А сколько тебе лет»

В дрожь бросило а руки мои на перилах и я подумал что если уберу их он поймет почему

«Даю вам до вечера сроку»

«Слушай приятель забыл твое имя Бенджи это дурачка вашего а тебя»

«Квентин»

Это губы а совсем не я сказал

«Даю вам сроку до заката»

Он аккуратненько снял пепел с сигареты сбил его о перила не спеша и тщательно словно очиняя карандаш руки мои уже не дро-жат

«Слушай Ты зря мальчик так к сердцу принимаешь Ты же за нее не ответчик Ну не я так другой бы»

«А у вас была когда-нибудь сестра Была»

«Нет но все они сучки»

Я взмахнул рукой чтобы пощечину не дав пальцам сжаться в кулак Его рука с той же быстротою что моя Сигарета полетела за перила Тогда я левой он и левую поймал еще и сигарета воды не коснулась Сжал мои обе в одной руке а другая скользнула под мышку в пиджак За плечами его солнце и где-то за солнечным блеском поет пташка Смотрим друг на друга а пташка поет Выпустил мои руки

«Гляди сюда»

Он взял кору с перил и бросил в воду Кора вынырнула подхва-тило течением уплывает Его рука лежит на перилах держит небреж-но револьвер Стоим ждем

«Попадешь в нее отсюда»

«Нет»

Кора плывет В лесу ни шороха Пташка снова пропела вода журчит Вот поднял револьвер и не целясь вовсе Кора исчезла затем куски всплыли веером Еще поразил два кусочка с доллар серебряный не больше

«Хватит пожалуй»

Открыл барабан дунул в ствол тонкий дымок растаял Заново зарядил три гнезда закрыл барабан протянул мне рукояткой

«Зачем Я не собираюсь состязаться»

«По твоим словам судя он тебе понадобится Бери ты видел бой отменный»

«Убирайтесь к черту с вашим револьвером»

Я снова взмахнул рукой Давно уже он поймал мои обе руки а я все ударить пытался пытался Но тут он точно за цветное стекло от меня ушел В висках шумит Потом небо вернулось и ветви и солнце косое сквозь ветви а он держит за плечо и не дает упасть

«Вы меня ударили»

Что-то ответил не слышу

«Что»

«Да Прошло уже»

«Прошло Пустите»

Пустил Я прислонился к перилам

«Как себя чувствуешь»

«Хорошо Отстаньте»

«Домой дойти сам сможешь»

«Уйдите отстаньте»

«А то садись на мою лошадь»

«Не хочу Уйдите»

«А после зацепишь поводья за седло и пустишь сама вернется на конюшню»

«Отстаньте Уйдите Оставьте в покое меня»

Оперся на перила гляжу в воду Слышу как он отвязал лошадь уехал и скоро все затихло лишь вода а вот и снова пташка Я сошел с моста сел прислонился спиной и затылком к дереву закрыл глаза Сквозной солнечный луч упал на мои веки я подвинулся уходя от луча Пташка снова пропела вода шумит А затем все от меня как бы отхлынуло ушло и мне стало почти хорошо после всех этих дней и ночей когда жимолость из темноты накатывает в мою комнату а я заснуть пытаюсь Почти хорошо хотя чуть спустя мне сделалось ясно что вовсе он меня не двинул что это он солгал ради нее тоже а со мной просто обморок был как с последней девчонкой но даже и это было уже мне все равно Я привалился к дереву сижу а солнечные зайчики скользят лицо щекочут желтолистой веткой Слушаю шум воды и ни о чем не думаю И даже когда услышал быстрый топот лошадиный то не открыл глаза Слышу как песок зашуршал из-под круто вставших копыт и бегущие ноги и ее твердые пальцы бегущие

«Дуралей ох дуралей ты ранен»

Я открыл глаза ее руки бегут по моему лицу

«Я не знала куда за тобой скакать пока не услыхала выстрелы Не знала в какую ты сторону Я же не думала что он тебя Зачем ты убежал улизнул Я же не думала что он»

Обеими руками обхватила мне лицо и стукает о дерево затылком

«Перестань перестань»

Схватил ее за руки

«Перестань говорят тебе»

«Я знала он не тронет Я знала»

И опять затрясла меня затормошила

«А я-то ему сейчас сказала чтоб больше и заговаривать со мной не смел А я-то»

Тянет руки вырываясь

«Пусти руки»

«Не пущу я сильнее тебя и не пробуй»

«Пусти Я же должна догнать его и изви Пусти руки Ну пожалуйста Квентин Пусти Пусти»

И вдруг перестала и руки обвяли

«Ну что ж Я и после могу Он и после поверит всегда»

«Кэдди»

Она не привязала Принца Надоест ему стоять и порысит домой

«Он мне всегда поверит»

«Любишь его Кэдди»

«Люблю ли»

Смотрит на меня затем глаза пустые стали как у статуи незрячие пустые безмятежные

«Приложи руку вот сюда»

Взяла мою руку прижала к ключице

«Теперь говори его имя»

«Долтон Эймс»

Гулко толкнулась кровь в ладонь Еще еще все убыстренней

«Повтори опять»

А лицо вдаль обращено где солнце в деревьях и пташка

«Повтори опять»

«Долтон Эймс»

Кровь неустанно и гулко стучит стучит в ладонь

Все течет и течет, а лицо мое холодное и словно омертвело, и глаз, и порез на пальце щиплет снова. Слышно, как Шрив качает воду у колонки, вот вернулся с тазом, в тазу колышется круг сумеречный, с краешков желтоватый, как улетающий воздушный шар, затем появилось мое отражение. Стараюсь разглядеть лицо.

— Не течет уже? — спросил Шрив.— Дай-ка мне свою тряпку.

Тянет из руки у меня.

— Не надо,— сказал я.— Я сам могу. Почти уже не течет.— Я опять окунул носовой платок, разбив шар. Вода окрасилась.— Жаль, чистого нет.

— Сырой бы говядины к глазу — вот что хорошо бы,— сказал Шрив.— А то будешь завтра светить фонарем. Подарочком этого сукина сына.

— А я ему не засветил?

Я выжал платок, стал счищать им кровь с жилета.

— Так не сойдет,— сказал Шрив.— Придется отдать в чистку. Приложи лучше опять к глазу.

— Хоть немного да сниму,— сказал я. Но почти не отчистилось.— А воротничок тоже выпачкан?

— Не знаю,— сказал Шрив.— Ты к глазу приложи. Дай сюда.

— Полегче,— сказал я.— Я сам. А я ему, значит, совсем ничего?

— Я, возможно, не заметил. Отвлекся в ту секунду или, может, моргнул. Но он-то тебя разделал по всем правилам бокса. Как тренировочную грушу. Какого дьявола ты полез на него с кулаками? Дурила несчастный. Ну, как самочувствие?

— Отличное,— сказал я.— Чем бы мне отчистить жилет?

— Да забудь ты про паршивые свои одежки. Болит глаз?

— Самочувствие отличное,— сказал я. Вокруг все вроде как лиловое и тихое, а небо иззелена-золотистое над гребнем крыши, и дым

из трубы султаном в безветренную тишину. Опять кто-то у колонки. Мужчина с ведром, смотрит на нас через плечо свое качающее. В дверях дома женщина прошла, не выглянув. Корова мычит где-то.

— Кончай,— сказал Шрив.— Брось тереть, приложи к глазу. Завтра прямо с утра пошлю твой костюм в чистку.

— Ладно, кончаю. А жаль, пусть бы я его хоть моей кровью заляпал немного.

— Сукин он сын,— сказал Шрив.

Из дома вышел Споуд—говорил с той женщиной, должно быть,— пошел к нам через двор. Смотрит на меня насмешливо-холодным глазом.

— Ну, брат,— сказал Споуд.— Свирепые, однако, у тебя забавы. Похищенья малолеток, драки. А на каникулах чем ты душу отводишь? Дома поджигаешь?

— Ладно,— сказал я.— Ну, что говорит миссис Блэнд?

— Жучит Джеральда за то, что кровь тебе пустил. А потом возьмется за тебя, что дался раскровянить. Она не против драки, ее кровь шокирует. Думаю, ты малость упал, приятель, в ее глазах, поскольку обнаружил недержание крови. Ну, как себя чувствуешь?

— Разумеется,— сказал Шрив.— Уж если не родился Блэндом, то самое благородное, что тебе осталось,— это, зависимо от пола, либо блуд сотворить с представителем Блэндов, либо, напившись, подраться с таковым.

— Совершенно верно,— сказал Споуд.— Но я не знал, что Квентин пьян.

— Не пьян он,— сказал Шрив.— А у трезвого руки разве не чешутся двинуть этого сукина сына?

— Ну уж мне потребуется быть крепко пьяным, чтобы полезть с ним в драку после Квентина. Где это Блэнд выучился боксу?

— Да он ежедневно занимается у Майка в городе,— сказал я.

— Вот как,— сказал Споуд.— И ты знал это и полез драться?

— Не помню,— сказал я.— Да. Знал.

— Намочи опять,— сказал Шрив.— Может, свежей принести?

— И эта хороша,— сказал я. Снова намочил платок, приложил к глазу.— Жаль, нечем жилетку отчистить.— Споуд все еще смотрит на меня.

— Скажи-ка,— Споуд опять.— За что ты ударил его? Что он сказал такого?

— Не знаю. Не помню за что.

— Ты вдруг вскочил ни с того ни с сего, спросил: «А у тебя была когда-нибудь сестра? Была?» — он ответил, что нет, и ты его ударил. Я приметил, что ты все смотришь на него, но ты вроде и не слушал, о чем разговор, а потом вдруг вскочил и задал свой вопросец.

— Шел обычный джеральдовский треп,— сказал Шрив,— о женщинах Джеральда. Ты же знаешь его манеру заливать перед девчонками, напускать туману подвусмысленней. Разные намеки-экивоки, вранье и просто чушь несусветная. Насчет бабенки, с которой он на танцульке в Атлантик-Сити уговорился о свидании, а сам пошел к себе в отель, лег спать, и как он лежит, и ему ее жалко, что она там ждет на пристани, а его нет, и некому ее удовлетворить. Насчет телесной красоты и низкого ее предназначенья, и как, мол, женщинам несладко, их удел навзничный — этакой Ледой таиться в кустах, поскуливая и томясь по лебедю. Ух, сукин сын. Я б его сам двинул. Только я бы схватил корзинку ее чертову с бутылками — и корзинкой бы.

— Скажите какой заступник дамский,— сказал Споуд.— Прия-

тель, ты возбуждаешь не только восторг, но и ужас.— Смотрит на меня насмешливо-холодным взглядом.— Ну и ну!

— Я жалею, что ударил его,— сказал я.— Как у меня вид — удобно мне вернуться к ним и помириться?

— Извиняться перед ними? Нет уж,— сказал Шрив.— Пусть катятся куда подальше. Мы с тобой сейчас домой поедем.

— А ему бы стоило вернуться,— сказал Споуд,— показать, что он как джентльмен дерется. То есть принимает побои как джентльмен.

— Вот в этом виде? — сказал Шрив.— Заляпанный кровью?

— Что ж, воля ваша,— сказал Споуд.— Вам видней.

— Он еще не старшекурсник, чтобы щеголять в нижней сорочке,— сказал Шрив.— Ну, пошли.

— Я сам,— сказал я.— А ты возвращайся в машину.

— Да ну их к дьяволу,— сказал Шрив.— Пошли.

— Что прикажете доложить им? — спросил Споуд.— Что у тебя с Квентином тоже драка вышла?

— Никаких докладов,— сказал Шрив.— Скажи ей, что время ее истекло с закатом солнца. Пошли, Квентин. Я сейчас спрошу у этой женщины, где тут ближайшая оста...

— Нет,— сказал я.— Я домой не еду.

Шрив остановился, повернулся ко мне. Очки блеснули желтенькими лунами.

— А куда же ты сейчас?

— Не домой. Ты возвращайся к ним. Скажешь им, что и я бы рад, но лишен возможности из-за одежды.

— Слушай,— сказал Шрив.— Ты чего это?

— Ничего. Так. Вы со Споудом возвращайтесь на пикник. Ну, до встречи, до завтра.— Я пошел через двор на дорогу.

— Ты ведь не знаешь, где остановка трамвая,— сказал Шрив.

— Найду. Ну, до встречи, до завтра. Скажите миссис Блэнд: я сожалею, что испортил ей пикник.— Стоят, смотрят вслед. Я обошел дом. Мощенная камнем аллейка ведет со двора. С обоих боков растут розы. Через ворота я вышел на дорогу. Дорога к лесу спускается под гору, и в той стороне у обочины виден их автомобиль. Я пошел вверх по дороге. По мере подъема кругом становилось светлее, и не успел я взойти на гору, как услышал шум трамвая. Он доносился издали сквозь сумерки, я стал, прислушиваюсь. Автомобиль уже не различим, а перед домом на дороге стоит Шрив, смотрит на гору. И желтый свет за ним разлит по крыше дома. Я вскинул приветно руку и пошел дальше и вниз по склону, прислушиваясь к трамваю. Вот уже дом скрылся за горой, я встал в желто-зеленом свете и слушаю, как трамвай громче, громче, теперь послабее,— и тут звук разом оборвался. Я подождал, пока трамвай снова тронулся. Зашагал дальше.

Дорога шла вниз, и свет медленно мерк, но не меняясь в своем качестве — будто это не он, а я меняюсь, убываю. Однако даже под деревьями газету читать было бы видно. Скоро я дошел до развилки, свернул. Здесь деревья росли сомкнутей и было темнее, чем на дороге, но когда я вышел к трамвайной остановке — опять к деревянному навесу,— то вступил все в тот же неизменный свет. Так поярчело кругом, как будто я прошел тропкой сквозь ночь и вышел снова в утро. Вот и трамвай. Я поднялся в вагон — оборачиваются, глядят на мой подбитый глаз — и сел на левой стороне.

В трамвае уже горело электричество, так что, пока проезжали под деревьями, не видно было ничего, кроме собственного моего лица и отраженья женщины — она сидела справа от прохода, и на ма-

кушке у нее торчала шляпа со сломанным пером; но кончились деревья, и опять стали видны сумерки, этот свет неизменного свойства, точно время впрямь приостановилось, и чуть за горизонтом — солнце, а вот и навес, где днем старик ел из кулька, и дорога уходит под сумерки, в сумерки, и за ними ощутима благодатная и быстрая вода. Трамвай тронулся, в незакрытую дверь все крепче тянет сквозняком, и вот уже он продувает весь вагон запахом лета и тьмы, но не жимолости. Запах жимолости был, по-моему, грустнее всех других. Я их множество помню. Скажем, запах глицинии. В ненастные дни — если мама не настолько плохо себя чувствовала, чтоб и к окну не подходить,— мы играли под шпалерой, увитой глициниями. В постели мама — ну, тогда Дилси оденет нас во что похуже и выпустит под дождь: молодежи дождик не во вред, говаривала Дилси. Но если мама на ногах, то играем сперва на веранде, а потом мама пожалуется, что мы слишком шумим, и мы уходим под глицинии.

Вот здесь мелькнула река в последний раз сегодня утром — примерно здесь. За сумерками ощутима вода, пахнет ею. Когда весной зацветала жимолость, то в дождь запах ее был повсюду. В другую погоду не так, но только дождь и сумерки — как запах начинал течь в дом; то ли дождь шел больше сумерками, то ли в свете сумеречном есть что-то такое, но пахло сильнее всего в сумерки; до того распáхнется, бывало, что лежишь в постели и повторяешь про себя — когда же этот запах кончится, ну когда же он кончится. (Из двери трамвая тянет водой, дует крепко и влажно.) Повторяешь-повторяешь и уснешь иногда, а потом так оно все смешалось с жимолостью, что стало равнозначно ночи и тревоге. Лежишь, и кажется — ни сон, ни явь, а длинный коридор серого полумрака, и в глубине его там все опризрачнено, извращено все, что только я сделал, испытал, перенес, все обратилось в тени, облеклось видимой формой причудливой, перековерканной, и насмехается нелепо, и само себя лишает всякого значения. Лежишь и думаешь: я был — я не был — не был кто — был не кто.

Сквозь сумерки пахнет речными излуками, и последний отсвет мирно лег на плесы, как на куски расколотого зеркала, а за ними в бледном чистом воздухе уже показались огни и слегка дрожат удаленными мотыльками. Бенджамин, дитя моей. Как он сидит, бывало, перед этим зеркалом. Прибежище надежное, где непорядок смягчен, утишен, сглажен. Бенджамин, дитя моей старости, заложником томящийся в Египте. О Бенджамин. Дилси говорит: причина в том, что матери он в стыд. Внезапными острыми струйками прорываются они вот этак в жизнь хозяев, на мгновенье беря белый факт в черное кольцо неоспоримой правды, как под микроскоп; все же остальное время они — лишь голоса, смех, беспричинный с твоей точки зрения, и слезы, тоже без причин. Похороны для них — повод об заклад побиться, сколько человек идет за гробом: чет или нечет. Как-то в Мемфисе целый бордель их выскочил нагишом на улицу в религиозном экстазе. На каждого понадобилось по три полисмена, чтобы усмирить. Да, наш господине. О Иисусе благий. Человече добрый.

Трамвай остановился. Я сошел, навлекая внимание на свой подбитый глаз. Подошел городской трамвай — полон. Я встал на задней площадке.

— Впереди есть свободные места,— сказал кондуктор. Я взглянул туда. С левой стороны все заняты.

— Мне недалеко,— сказал я.— Постою здесь.

Переезжаем реку. Через мост едем, высоким и медленным выгибом легший в пространство, а с боков — тишь и небытие, и огни желтые, красные, зеленые подрагивают в ясном воздухе, отображаются.

— Пройдите сядьте, чем стоять,— сказал кондуктор.

— Мне сейчас сходить,— сказал я.— Квартала два осталось.

Я сошел, не доезжая почты. Впрочем, в этот час они все уже где-нибудь лоботрясничают, и тут я услыхал свои часы и стал прислушиваться, не прозвонят ли на башне; тронул сквозь пиджак письмо, написанное Шриву, и по руке поплыли гравированные тени вязов. На подходе к общежитию в самом деле раздался бой башенных часов и, расходясь, как круги на воде, обогнал меня, вызванивая: четверть — чего? Ну и ладно. Четверть чего.

Наши окна темны. В холле никого. Я вошел, держась левой стены, но там пусто — только лестница изгибом вверх уходит в тени, в отзвуки шагов печальных поколений, легкой пылью наслоившихся на тени, и мои ноги будят, поднимают эти отзвуки, как пыль, и снова оседает она, легкая.

Еще не включив света, я увидел письмо на столе, прислоненное к книге, чтобы сразу увидел. Мужем моим окрестили. Но Споуд ведь говорил, что они куда-то еще едут и вернутся поздно, а без Шрива им не хватало бы одного кавалера. Притом бы я его увидел, а следующего трамвая ему целый час ждать, потому что после шести вечера. Я вынул часы — тикают себе, и невдомек им, что солгать они теперь и то не могут. Положил на стол вверх циферблатом, взял письмо миссис Блэнд, разорвал пополам и выбросил в корзинку, потом снял с себя пиджак, жилет, воротничок, галстук и рубашку. Галстук тоже заляпан, но негру сойдет. Скажет, что Христос этот галстук носил, оттого и кровавый рисунок. Бензин отыскался в спальне у Шрива, я расстелил жилет на столе, на гладкой поверхности, и открыл пробку.

...первый автомобиль в городе у девушки Девушка Вот чего Джейсон не выносит ему от бензинного запаха худо и тогда он еще злее потому что девушка Девушка У него-то сестры нет Но Бенджамин Бенджамин дитя моей горестной Если бы у меня была мать чтобы мог сказать ей Мама мама Бензина извел уйму, и теперь не понять, кровяное ли еще пятно или один бензин уже. От него порез на пальце снова защипало, и я пошел умываться, повесив прежде жилет на спинку стула и притянув пониже электрический шнур, чтобы лампочка пятно сушила. Умыл лицо и руки, но даже сквозь мыло слышен запах острый, сужающий ноздри слегка. Открыл затем чемодан, достал рубашку, галстук и воротничок, а те, заляпанные, уложил, закрыл чемодан и надел их. Когда причесывался, пробило половину. Но времени у меня, по крайней мере, до без четверти, вот разве только если... *на летящей тьме он одно лишь свое лицо видит а сломанного пера нет разве что их две в такой шляпе но не в один же вечер две такие будут следовать в Бостон трамваем И вот мое лицо с его лицом на миг сквозь грохот когда из тьмы два освещенных окна в оцепенело уносящемся грохоте Ушло лицо его одно мое вижу видел а видел ли Не простясь Навес без кулька и пустая дорога в темноте в тишине Мост выгнувшийся в тишину темноту сон вода благодатная быстрая Не простясь*

Я выключил свет, ушел в спальню к себе от бензина, но запах слышен и здесь. Стою у окна, занавески медленно приколыхиваются из темноты к лицу, словно кто дышит во сне, и медленным выдохом опадают опять в темноту, оставив по себе касанье. *Когда они ушли наверх, мама откинулась в кресле, прижав к губам накамфаренный платок. Отец как сидел рядом с ней, так и остался сидеть, держа ее за руку, а рев все раскатывается точно в тишину ему не уместиться...* В детстве у нас была книжка с картинкой — темница и слабенький луч света косо падает на два лица, поднятых к нему из мрака. «*Знаешь,*

что б я сделала, когда бы королем была? — (Не королевой, не феей — всегда королем только, великаном или полководцем).— *Я разломала бы тюрьму, вытащила б их на волю и хорошенько бы выпорола*». Картинка оказалась потом вырвана, выдрана прочь. И я рад был. А то все бы глядел на нее, пока не стала бы той темницей сама уже мама,— она и отец тянутся лицами к слабому свету и держатся за руки, а мы затерялись где-то еще ниже, и нам даже лучика нет. А потом примешалась и жимолость. Только, бывало, свет выключу и соберусь уснуть, она волнами в комнату так и нахлынет, гуще, гуще, до удушья, и приходится вставать и ощупью, как маленький, искать дверь... *руки зрят осязаньем в мозгу чертя невидимую дверь Дверь а теперь ничего не видят руки...* Нос мой видит бензин, жилетку на столе, дверь. Попрежнему коридор пуст от всех шагов печальных поколений, бредших в поисках воды... *а глаза невидящие сжатые как зубы не то что не веря сомневаясь даже в том что боли нет Щиколотка голень колено длинное струение невидимых перил где оступиться в темноте налитой сном Мама Отец Кэдди Джейсон Мори дверь я не боюсь но мама Отец Кэдди Джейсон Мори уснув настолько раньше вас я буду крепко спать когда дверь Дверь дверь...* И там тоже никого, одни трубы, фаянс, тихие стены в пятнах, трон задумчивости. Стакан взять я забыл, но можно... *руки зрят холодящую пальцы невидимую шею лебяжью Обойдемся без Моисеева жезла Вот и стакан Касаньем осторожным чтоб не Журчит узкой шеей прохладной Журчит холодя металл стекло Полон через край Холодит стенки пальцы Сном промывает оставив в долгой тиши горла вкус увлажненного сна...* Коридором, будя в тишине шуршащие полки́ шагов погибших, я вернулся в бензин, к часам, яростно лгущим на темном столе. А оттуда — к занавескам, что вдохом наплывают из тьмы в лицо мне и на лице оставляют дыхание. Четверть часа осталось. И тогда меня не будет. Успокоительнейшие слова. Успокоительнейшие. Non fui. Sum. Fui. Non sum [1]. Где-то слышал я перезвоны такие однажды. В Миссисипи, то ли в Массачусетсе. Я был. Меня нет. В Массачусетсе, то ли в Миссисипи. У Шрива в чемодане есть бутылка. *Ты даже и не вскроешь?* Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон извещают... *Три раза. Дня. Ты даже и не вскроешь...* о свадьбе дочери их Кэндейси... *напиток сей нас учит путать средства с целью.* Я есмь. Выпей-ка. Меня не было. Продадим Бенджину землю, чтобы послать Квентина в Гарвардский, чтобы кости мои стук-постук друг о друга на дне. Мертв буду в. Кэдди как будто говорила: один курс. У Шрива в чемодане есть бутылка. Отец к чему мне у Шрива Я продал луг за право смерти в Гарвардском Кэдди говорила в пещерах и гротах морских им мирно крошиться колеблемым донным теченьем Гарвардский университет звучит ведь так утонченно Сорок акров не столь уж высокая цена за красивый звук Красивый мертвый звук Променяем Бенджину землю на красивый мертвый звук. Этого звука Бенджамину надолго хватит, он ведь его не расслышит, разве что учует... *только на порог ступила, он заплакал...* Я все время думал, он просто один из тех городских пшютиков, насчет которых отец вечно поддразнивал Кэдди, пока не. Я и внимания на него не больше обращал, чем на прочих заезжих коммивояжеров. Думал, это у него армейские рубашки, а потом вдруг понял, что он не вреда от меня опасается, а просто о ней вспоминает при виде меня, смотрит на меня сквозь нее, как сквозь цветное стекло. «*Зачем тебе соваться в мои дела Знаешь ведь что ни к чему Предоставь уж маме с Джейсоном*»

«*Неужели это мама научила Джейсона шпионить за тобой Я бы ни за*»

---

[1] Меня не было. Я есмь. Я был. Меня нет *(лат.)*.

«Женщины умеют лишь использовать чужие понятия о чести Она ведь из любви к Кэдди»... Даже расхворавшись, не уходила к себе наверх, чтобы отец не трунил над дядей Мори при Джейсоне. Отец шутя сказал, что дядя Мори неважный знаток античности и потому не рискует прибегать к персональным услугам бессмертного слепого сорванца. Только ему следовало бы избрать в почтальоны Джейсона, ибо Джейсон способен допустить оплошность лишь того же рода, что и сам дядя Мори допустил бы, но отнюдь не чреватую глазоподбитием. И верно, мальчишка Патерсонов был младше и щуплей Джейсона. Они клеили змеев и продавали по пяти центов штука, пока не рассорились из-за дележа доходов. Тогда Джейсон нового себе партнера подыскал, еще замухрышистей, надо думать, потому что Ти-Пи сказал, что Джейсон опять казначеем. Но, говорит отец, зачем дяде Мори работать? Если он, отец то бишь, может содержать пять-шесть негров, у которых только и дел, что сидеть, сунув ноги в духовку, то уж, конечно, он может время от времени предоставлять дяде Мори стол и кров и деньжат ссужать малую толику — зато ведь дядя Мори поддерживает в нем и раздувает огонь веры в небесное происхождение нашей породы; и тут мама, бывало, заплачет и скажет, что отец ставит ее род ниже своего, что он насмехается над дядей Мори и нас тому же учит. Не понимала она, что отец тому единственно учил нас, что люди всего-навсего труха, куклы, набитые опилками, сметенными с мусорных куч, где все прежние куклы валяются и опилки сыплются из ничьей раны в ничьем боку не в мое искупленье не распятого. В детстве я воображал себе смерть пожилым господином вроде моего деда, другом, что ли, его близким и особым — вот как письменный стол дедушкин был для нас особым, мы к нему робели и притронуться и в комнате, где этот стол стоял, даже не говорили громко; я всегда представлял себе так, что они вдвоем где-то вместе все время — на каком-то холме, за кедрами — и ждут, чтобы к ним подсел старый полковник Сарторис, а он где-то еще повыше, ведет за чем-то удаленным наблюдение, и вот они ждут, когда полковник кончит наблюдать и сойдет к ним. Дедушка в своей генеральской форме, и голоса их все время бормочут за кедрами — ведут беседу, и дедушка все время прав.

Вот и три четверти бьет. Первая нота раздалась размеренная, безмятежная и, отзвучав спокойно и бесповоротно, освободила медленную тишину для следующей; в чем все и дело, если б люди так могли менять друг друга навсегда, преображаться, взвихрясь пламенем на миг, и чистыми затем быть уносимы сквозь прохладный вечный мрак, а не лежать у себя в комнате, стараясь забыть про гамак, пока, наконец, ко всем кедрам не прилип этот яркий мертвый запах духов, которого так не терпит Бенджи. Стоило мне представить ту кедровую кущу и казалось — слышу шепоты и всплески, чую толчки горячей крови в одичалом неукрытом теле, вижу — на красном фоне век — стадо на волю пущенных свиней, спаренно кидающихся в море. А отец: Нам до́лжно лишь краткое время прободрствовать среди творимого зла отнюдь не вечность А я: И краткого не нужно если обладаешь мужеством Он: Ты считаешь это мужеством Я: Да сэр считаю а вы нет Он: Каждый человек волен в оценке своих качеств То что ты считаешь такой поступок мужественным важнее самого поступка В противном случае твое намерение несерьезно Я: Вы не верите что я серьезно Он: Думаю, ты чересчур даже серьезно и мне можно не тревожиться иначе ты не чувствовал бы надобности в этой выдумке насчет кровосмешения Я: Я не лгал я не лгал Он: Ты хотел акт естественной человеческой глупости возвысить до грозного ужаса и очистить затем правдой Я: Я чтоб отгородить ее от орущего мира чтоб ему иного выбора

не было как исторгнуть нас обоих из себя и тогда былое бы звучало так как если б никогда его и не было Он: И ты склонял ее к этому Я: Нет я боялся Я боялся она согласится и тогда б оно не помогло Но если вам отцу скажу то оно совершится тем самым и упразднит все что у нее с другими было и мир прочь угрохочет Он: Вернемся к другому твоему намерению Ты не солгал и в этом но ты еще не разбираешься в себе в той части всеобщего закона что правит сцеплением событий и причин и чья тень на челе у каждого не исключая Бенджи Тобою не взята в расчет конечность всего на свете Тебе рисуется апофеоз в котором нынешнее — временное — состояние твоего духа будет симметризировано и вознесено над телесным но сохранит навеки в себе ощущенье и себя и тела и ты не вовсе будешь устранен собственно даже не мертв Я: Временное Он: Тебе невыносима мысль что когда-нибудь твоя боль притупится Мы с тобой подходим к самой сути Ты кажется смотришь на смерть как на некую встряску которая так сказать сединой тебе выбелит голову за ночь но в остальном не коснется твоего облика Не в таком настроении кончают У игры свои законы Странней всего что человек само уже зачатие которого случайность и чей каждый новый вдох подобен очередному пробросу костей насвинцованных шулером что человек никак не хочет примириться с неизбежностью финального кона а прибегает к насилию ко всяческим уловкам вплоть до мелкой подтасовки неспособной и ребенка обмануть — пока однажды в крайнем отвращении на одну слепую карту бросит все Не в первом яростном приступе отчаяния горя угрызений кончают с собой а лишь когда осознают что даже и отчаяние горе угрызения твои не столь уж важны для сумрачного Игрока Я: Временное Он: Нелегко осознать что любовь ли горесть лишь бумажки боны наобум приобретенные и срок им истечет хочешь не хочешь и их аннулируют без всякого предупреждения заменят тебе другим каким-нибудь наличным выпуском божьего займа Нет ты не сделаешь этого ты прежде придешь к осознанью что даже и она быть может не вовсе достойна отчаяния А я: Никогда я не приду к такому Никто не знает того что я знаю А он: Возвращайся-ка ты лучше теперь в свой Кембридж а не то на месяц съезди в Мейн Денег хватит если экономно Тебе будет на пользу Копеечные развлечения врачуют успешней Христа А я: Допустим что я уже пробыл там неделю или месяц и понял то что по-вашему я там пойму А он: Тогда ты вспомнишь что мать с момента твоего рождения лелеяла мечту что ты кончишь Гарвардский а разрушать надежды женщин это не по-компсоновски. А я: Временное Так будет лучше для меня и для всех нас А он: Каждый человек волен в самооценке но да не берется он предписывать другим что хорошо для них что плохо А я: Временное И он: Не было слова печальней Все в мире временное И отчаяние лишь до времени и само время лишь в прошедшем

Последняя раздалась нота. Отзвенела наконец, и снова темнота затихла. Я вошел в нашу общую комнату, включил свет, надел жилетку. Бензином пахнет уже слабо, еле-еле, и пятно в зеркале не заметно. Глаз, во всяком случае, куда заметней. Надел пиджак. Письмо Шриву хрустнуло в кармане, я достал его, проверил адрес, переложил в боковой. Затем отнес часы к Шриву в спальню, спрятал ему в столик, пошел в свою комнату, достал свежий носовой платок, вернулся к дверям, поднял руку к выключателю. Вспомнил, что зубы не чищены, и пришлось снова лезть в чемодан. Вынул щетку, взял у Шрива из тюбика пасты, пошел в ванную, зубы вычистил. Выжал щетку посуше, вложил обратно в чемодан, закрыл, опять пошел к дверям. Прежде чем выключить свет, огляделся вокруг, не забыл ли чего. Так и есть: забыл шляпу. Мне идти мимо почты, и непременно кого-нибудь встре-

чу из наших, и подумают, что я правоверный гарвардец и корчу из себя старшекурсника. Шляпа не чищена тоже, но у Шрива есть щетка, и чемодан не надо больше открывать.

6 апреля 1928 года

А по-моему так: шлюхой родилась — шлюхой и подохнет. Я говорю:

— Если вы за ней не знаете чего похуже, чем пропуски уроков, то это еще ваше счастье. Ей бы в данную минуту,— говорю,— в кухне быть и завтрак стряпать, а не у себя там наверху краситься-мазаться и ждать, пока ее обслужат шестеро ниггеров, которые сами со стула не могут подняться, пока не набьют брюхо мясом и булками для равновесия.

А матушка говорит:

— Но чтобы дирекция и учителя имели повод думать, будто она у меня совсем отбилась от рук, будто я не могу...

— А что,— говорю,— можете разве? Вы и не пробовали никогда ее в руках держать,— говорю.— А теперь, в семнадцать лет, хотите начинать воспитывать?

Помолчала, призадумалась.

— Но чтобы в школе... Я не знала даже, что у нее есть дневник. Она мне осенью сказала, что в этом году их отменили. А нынче вдруг учитель Джанкин мне звонит по телефону и предупреждает, что если она совершит еще один прогул, то ее исключат. Как это ей удается убегать с уроков? И куда? Ты весь день в городе; ты непременно бы увидел, если бы она там гуляла на улице.

— Вот именно,— говорю.— Если бы она гуляла на улице. Не думаю, чтоб она убегала с уроков для невинных прогулочек по тротуарам.

— Что ты хочешь сказать этим? — спрашивает мамаша.

— Ничего я не хочу сказать,— говорю.— Я просто ответил на ваш вопрос.

Тут мамаша опять заплакала — мол, ее собственная плоть и кровь восстает ей на пагубу.

— Вы же сами у меня спросили,— говорю.

— Речь не о тебе,— говорит мамаша.— Из всех них ты единственный, кто мне не в позор и огорчение.

— Само собой,— говорю.— Мне вас некогда было огорчать. Некогда было учиться в Гарвардском, как Квентин, или сводить себя пьянством в могилу, как отец. Мне работать надо было. Но, конечно, если вы желаете, чтобы я за ней следом ходил и надзирал, то я брошу магазин и наймусь на ночную работу. Тогда я смогу следить за ней днем, а уж в ночную смену вы Бена приспособьте.

— Я знаю, что я тебе только в тягость,— говорит она и плачет в подушечку.

— Это для меня не ново,— говорю.— Вы твердите мне это уже тридцать лет. Даже Бен уже, должно быть, это усвоил. Так хотите, чтобы я поговорил с ней об ее поведении?

— А ты уверен, что это принесет пользу? — говорит матушка.

— Ни малейшей, если чуть я начну, как вы уже сошли к нам и вмешиваетесь,— говорю.— Если хотите, чтоб я приструнил ее, то так и скажите, а сами в сторонку. А то стоит мне взяться за нее, как вы каждый раз суетесь, и она только смеется над нами обоими.

— Помни, она тебе родная плоть и кровь,— говорит матушка.

— Само собой,— говорю.— Только эту плоть умерщвить бы не-

множко. И чуточку бы крови пустить, была б моя воля. Раз ведешь себя как негритянка, то и обращение с тобой как с негритянкой, независимо, кто ты есть.

— Я боюсь, что ты погорячишься,— говорит матушка.

— Зато уж вы,— говорю,— со своими методами многого добились. Так желаете, чтобы я занялся ею? Да или нет? Мне на службу пора.

— Ох, знаю я, что жизнь твоя тратится в каторжном труде на всех нас,— говорит матушка.— Ты знаешь сам, что будь моя воля, у тебя была бы сейчас своя собственная контора и часы занятий в ней, приличествующие Бэскому. Ты ведь Бэском, не Компсон, несмотря на фамилию. Я знаю, что если бы отец твой мог предвидеть...

— Что ж,— говорю,— отец тоже имел право давать иногда маху, как всякий смертный, как простой даже Смит или Джонс.

Она снова заплакала.

— Каково мне слышать, что ты недобром поминаешь своего покойного отца,— говорит.

— Ладно,— говорю,— ладно. Пускай по-вашему. Но поскольку конторы у меня нет, то мне сейчас надо на службу, на ту, какая у меня есть. Так хотите, чтобы я поговорил с ней?

— Я боюсь, что ты погорячишься,— говорит матушка.

— Ладно,— говорю.— Тогда не буду.

— Но надо же что-то делать,— говорит матушка.— Ведь иначе люди будут думать, что я сама ей разрешаю прогуливать уроки и бегать по улицам или что я бессильна воспретить ей... О муж мой, муж мой,— говорит.— Как мог ты так. Как мог ты покинуть меня в моих тяготах.

— Ну-ну,— говорю.— Вы этак совсем расхвораетесь. Вы либо на день ее тоже бы запирали, либо препоручили б ее мне и успокоились на том бы.

— Родная плоть и кровь моя,— говорит матушка и плачет.

— Ладно,— говорю.— Я займусь ею. Кончайте же плакать.

— Старайся не горячиться,— говорит она.— Не забывай, что она еще ребенок.

— Постараюсь,— говорю. Вышел и дверь затворил.

— Джейсон,— мамаша за дверью. Я не отвечаю. Ухожу коридором.— Джейсон,— из-за двери снова. Я сошел вниз по лестнице. В столовой никого, слышу — Квентина в кухне. Пристает к Дилси, чтобы та ей налила еще кофе. Я вошел к ним.

— Ты что, в этом наряде в школу думаешь? — спрашиваю.— Или у вас сегодня нет занятий?

— Ну, хоть полчашечки, Дилси,— Квентина свое.— Ну, пожалуйста.

— Не дам,— говорит Дилси,— и не подумаю. В семнадцать лет девочке больше чем чашку нельзя, да и что бы мис Калайн сказала. Иди лучше оденься, а то Джейсон без тебя уедет в город. Хочешь опять опоздать.

— Не выйдет,— говорю.— Мы сейчас с этими опозданиями покончим.

Смотрит на меня, в руке чашка. Отвела с лица волосы, халатик сполз с плеча.

— Поставь-ка чашку и поди на минуту сюда в столовую,— говорю ей.

— Это зачем? — говорит.

— Побыстрее,— говорю.— Поставь чашку в раковину и ступай сюда.

— Что вы еще затеяли, Джейсон? — говорит Дилси.

— Ты, видно, думаешь, что и надо мной возьмешь волю, как над

бабушкой и всеми прочими,— говорю.— Но ты крепко ошибаешься. Говорят тебе, чашку поставь — даю десять секунд.

Перевела глаза с меня на Дилси.— Засеки время, Дилси,— говорит.— Когда пройдет десять секунд, ты свистнешь. Ну, полчашечки. Дилси, пожа...

Я схватил ее за локоть. Выронила чашку. Чашка упала на пол, разбилась, она дернула руку, глядит на меня — я держу. Дилси поднялась со своего стула.

— Ох, Джейсон,— говорит.

— Пустите меня,— говорит Квентина,— не то дам пощечину.

— Вот как? — говорю.— Вот оно у нас как? — Взмахнула рукой. Поймал и эту руку, держу, как кошку бешеную.— Так вон оно как?— говорю.— Вот как оно, значит, у нас?

— Ох, Джейсон! — говорит Дилси. Из кухни потащил в столовую. Халатик распахнулся, чуть не голышом тащу чертовку. Дилси за нами ковыляет. Я повернулся и захлопнул дверь ногой у Дилси перед носом.

— Ты к нам не суйся,— говорю.

Квентина прислонилась к столу, халатик запахивает. Я смотрю на нее.

— Ну,— говорю,— теперь я хочу знать, как ты смеешь прогуливать, лгать бабушке, подделывать в дневнике ее подпись, до болезни ее доводить. Что все это значит?

Молчит. Застегивает на шее халатик, одергивает, глядит на меня. Еще не накрасилась, лицо блестит, как надраенное. Я подошел, схватил за руку.— Что все это значит? — говорю.

— Не ваше чертово дело,— говорит.— Пустите.

Дилси открыла дверь.— Ох, Джейсон,— говорит.

— А тебе сказано, не суйся,— говорю, даже не оглядываясь.— Я хочу знать, куда ты убегаешь с уроков,— говорю.— Если б на улицу, то я бы тебя увидел. И с кем ты убегаешь? Под кусточек, что ли, с которым-нибудь из пижончиков этих прилизанных? В лесочке с ним прячетесь, да?

— Вы — вы противный зануда! — говорит она. Как кошка рвется, но я держу ее.— Противный зануда поганый! — говорит.

— Я тебе покажу,— говорю.— Старую бабушку отшугнуть — это ты умеешь, но я покажу тебе, в чьих ты сейчас руках.

Одной рукой держу ее — перестала вырываться, смотрит на меня, глазищи широкие стали и черные.

— Что вы хотите со мной делать?

— Сейчас увидишь что. Вот только пояс сниму,— говорю и тяну с себя пояс. Тут Дилси хвать меня за руку.

— Джейсон,— говорит.— Ох, Джейсон! И не стыдно!

— Дилси,— Квентина ей.— Дилси.

— Да не дам я тебя ему. Не бойся, голубка.— Вцепилась мне в руку. Тут пояс вытянулся наконец. Я дернул руку, отпихнул Дилси прочь. Она прямо к столу отлетела. Настолько дряхлая, что еле на ногах стоит. Но это у нас так положено — надо же держать кого-то в кухне, чтоб дочиста выедал то, что молодые негры не умяли. Опять подковыляла, загораживает Квентину, за руки меня хватает.

— Нате, меня бейте,— говорит,— если сердце не на месте, пока не ударили кого. Меня бейте.

— Думаешь, не ударю? — говорю.

— Я от вас любого неподобства ожидаю,— говорит.

Тут слышу: матушка на лестнице. Как же, усидит она, чтоб не вмешаться. Я выпустил руку Квентинину. Она к стенке отлетела, халатик запахивает.

— Ладно,— говорю.— Временно отложим. Но не думай, что тебе удастся надо мной взять волю. Я тебе не старая бабушка и тем более не полудохлая негритянка. Потаскушка ты сопливая,— говорю.

— Дилси,— говорит она.— Дилси, я хочу к маме.

Дилси подковыляла к ней.— Не бойся,— говорит.— Он до тебя и пальцем не дотронется, покамест я здесь.

А матушка спускается по лестнице.

— Джейсон,— голос подает матушка.— Дилси.

— Не бойся,— говорит Дилси.— И дотронуться не пущу его.— И хотела погладить Квентину. А та — по руке ее.

— Уйди, чертова старуха,— говорит. И бегом к дверям.

— Дилси,— мамаша на лестнице зовет. Квентина мимо нее вверх взбегает.— Квентина,— матушка ей вслед.— Остановись, Квентина.

Та и ухом не ведет. Слышно — бежит уже наверху, потом по коридору. Потом дверь хлопнула.

Матушка постояла. Стала спускаться дальше.

— Дилси,— зовет.

— Слышу, слышу,— Дилси ей,— сейчас. А вы, Джейсон, идите выводите машину. Обождете ее, довезете до школы.

— Уж можешь быть спокойна,— говорю.— Доставлю и удостоверюсь, что не улизнула. Я взялся, я и доведу это дело до конца.

— Джейсон,— мамаша на лестнице.

— Идите же, Джейсон,— говорит Дилси, ковыляя ей навстречу.— Или хотите и ее разбудоражить? Иду, иду, мис Калайн.

Я пошел во двор. Слышно, как Дилси на лестнице:

— Ложитесь сейчас же обратно в постельку. Знаете ведь сами, что нельзя вставать, пока не отхворались! Идите ложитесь. А я ее отправлю сейчас в школу, чтоб не опоздала.

Я пошел в гараж к машине. А оттуда пришлось идти искать Ластера, обойти вокруг всего дома, пока не увидал их.

— Я как будто велел тебе укрепить там сзади запасное колесо,— говорю.

— У меня не было времени,— Ластер в ответ.— За ним некому больше глядеть, пока мэмми в кухне стряпает.

— Само собой,— говорю.— Кормлю тут полную кухню черномазых, чтобы ходили за ним, а в результате шину и ту некому сменить, кроме как мне самому.

— Мне не на кого было его оставить,— отвечает. Кстати и тот замычал слюняво.

— Убирайся с ним на задний двор,— говорю.— Какого ты тут дьявола торчишь с ним на виду у всех.

Прогнал их, пока он не развылся в полный голос. Хватит с меня и воскресений, когда на этом треклятом лугу полно людей, гоняют шарик чуть побольше нафталинного — чувствуется, что нет у них домашнего цирка и полдюжины негров кормить им не надо. А Бен знай бегает вдоль забора взад-вперед и ревет, чуть только завидит игрока; еще, того и гляди, станут взимать с нас плату за участие, и тогда придется мамаше с Дилси взять по костылю, а вместо мячей — пару круглых фаянсовых дверных ручек, и включиться в игру. Или же мне самому заняться гольфом — с фонарем ночью. Тогда, возможно, всех нас сообща отправят в Джексон. То-то праздник был бы у соседей по сему случаю.

Пошел в гараж опять. Колесо стоит, прислоненное к стене, но будь я проклят, если сам к нему притронусь. Я вывел машину, развернул. Квентина стоит ждет в аллее. Я говорю ей:

— Что учебников у тебя нет ни единого, это я знаю. Я хотел бы только, если можно, спросить, куда ты их девала. Натурально, я ни-

какого права не имею спрашивать,— говорю.— Я всего-навсего тот простофиля, который выложил за них в сентябре одиннадцать долларов шестьдесят пять центов.

— За мои учебники платит мама,— она мне.— Ваших денег на меня не тратится ни цента. Я лучше с голоду умру.

— Да ну? — говорю.— Ты скажи бабушке — услышишь, что она тебе ответит. И насчет одежек — ты вроде не совсем еще голая ходишь,— говорю,— хотя под этой штукатуркой лицо у тебя — самая прикрытая часть тела.

— По-вашему, на это платье пошел хоть цент ваших или бабушкиных денег?

— А ты спроси бабушку,— говорю.— Спроси-ка ее, что со всеми предыдущими чеками сталось. Помнится, один она сожгла на твоих же глазах.— Она и не слушает, лицо всплошную замазано краской, а глаза жесткие, как у злющей собачонки.

— А знаете, что бы я сделала, если бы думала, что хоть один цент ваш или бабушкин потрачен был на это? — говорит она, кладя руку на платье.

— Что же бы ты сделала? — спрашиваю.— Бочку бы надела вместо платья?

— Я тут же сорвала его с себя бы и выкинула на улицу,— говорит.— Не верите?

— Как же,— говорю.— Ты уже не одно платье так выкинула.

— А вот смотрите,— говорит. Обеими руками схватилась за вырез у шеи и тянет, будто хочет разорвать.

— Порви только попробуй,— говорю,— и я тебя так исхлещу прямо здесь же, на улице, что запомнишь на всю жизнь.

— А вот смотрите,— говорит. И я вижу: она в самом деле хочет разорвать, сорвать его с себя. Пока машину остановил, схватил ее за руки — собралось уже больше десятка зевак. Меня до того досада взяла, даже как бы ослеп на минуту.

— Перестань,— говорю,— моментально, или ты у меня пожалеешь, что родилась на свет божий.

— Я и так жалею,— говорит. Перестала, но глаза у нее сделались какие-то — ну, думаю, попробуй только разревись сейчас на улице, в машине, тут же выпорю. Я тебя в бараний рог скручу. На счастье ее, сдержалась, я выпустил руки, поехали дальше. Удачно еще, что тут как раз переулок, и я свернул, чтобы не через площадь. У Бирда на пустыре уже балаган ставят. Эрл уже отдал мне те две контрамарки, что причитались нам за афиши в нашей витрине. Она сидит отвернувшись, губу кусает.— Я и так жалею,— говорит.— И зачем только я родилась...

— Я знаю по крайней мере еще одного человека, кому не все в этой истории понятно,— говорю. Остановил машину перед школой. Звонок уже дали, как раз последние ученики входят.— Хоть раз не опоздала,— говорю.— Сама пойдешь и пробудешь все уроки или мне отвести тебя и усадить за парту? — Вышла из машины, хлопнула дверцей.— И запомни мои слова,— говорю,— я с тобой не шучу. Пусть только еще раз услышу, что ты прячешься по закоулочкам с каким-нибудь пижоном.

На эти слова обернулась.— Я ни от кого не прячусь,— говорит.— Все могут знать все, что я делаю.

— Все и знают,— говорю.— Каждому здешнему жителю известно, кто ты есть. Но я этого больше терпеть не намерен, слышишь ты? Лично мне плевать на твое поведение,— говорю.— Но в городе здесь у меня дом и служба, и я не потерплю, чтобы девушка из моей семьи вела себя как негритянская потаскуха. Ты меня слышишь?

— Мне все равно,— говорит.— Пускай я плохая и буду в аду гореть. Чем с вами, так лучше в аду.

— Прогуляй еще один раз, и я тебе такое устрою, что и правда в ад запросишься,— говорю. Повернулась, побежала через двор.— Помни, еще только раз,— говорю. Даже не оглянулась.

Я завернул на почту, взял письма и поехал к себе в магазин. Поставил машину, вхожу — Эрл смотрит на меня. А я на него смотрю: давай, если желаешь, заводи речь насчет опоздания. Но он сказал только:

— Культиваторы прибыли. Поди помоги дядюшке Джобу поставить их на место.

Я вышел на задний двор, там старикашка Джоб снимает с них крепеж со скоростью примерно три болта в час.

— По такому, как ты, работяге моя кухня тоскует,— говорю.— У меня там кормятся все никудышные ниггеры со всего города, тебя лишь не хватает.

— Я угождаю тому, кто мне платит по субботам,— говорит он.— А уж прочим угождать у меня не остается времени.— Навинтил гаечку.— Тут у нас на весь край один только и есть работяга — хлопковый долгоносик.

— Да, счастье твое, что ты не долгоносик и не заинтересован кровно в этих культиваторах,— говорю.— А то бы ахнуть не успели, как ты бы уработался над ними насмерть.

— Что верно, то верно,— говорит.— Долгоносику туго приходится. В любую погоду он семь деньков в неделю вкалывает на этом адовом солнце. И нет у долгоносика крылечка, чтоб сидеть смотреть с него, как арбузы спеют, и суббота ему без значения.

— Будь я твоим хозяином,— говорю,— то и тебе бы суббота была без значения. А теперь давай-ка высвобождай их от тары и тащи в сарай.

От нее письмо я вскрыл первым и вынул чек. Жди от бабы аккуратности. На целых шесть дней задержала. А еще хотят нас уверить, что могут вести дело не хуже мужчин. Интересно, сколько бы продержался в бизнесе мужчина, который бы считал шестое апреля первым днем месяца. Когда матушке пришлют месячное извещение из банка, она уж обязательно приметит дату и захочет знать, почему я свое жалованье внес на счет только шестого числа. Такие вещи баба в расчет не берет.

«Мое письмо про праздничное платье для Квентины осталось без ответа. Неужели оно не получено? Нет ответа на оба последних моих письма к ней — хотя чек, что я вложила во второе, предъявлен к оплате вместе с вашим очередным. Не больна ли она? Сообщи мне немедленно, иначе я приеду и выясню сама. Ты ведь обещал давать мне знать, как только у нее будет нужда в чем-нибудь. Жду ответа до 10-го. Нет, лучше дай сейчас же телеграмму. Ты вскрываешь мои письма к ней. Я знаю это так же твердо, как если бы сама видела. Слышишь, телеграфируй мне сейчас же, что с ней, по следующему адресу».

Тут Эрл заорал Джобу, чтобы поторапливался, и я спрятал письма и пошел во двор — расшевелить немножко ниггера. Нет, нашему краю просто необходимы белые работники. Пусть бы эти черномазые лодыри годик-другой поголодали, тогда бы поняли, какая им сейчас малина, а не жизнь.

Вернулся со двора — десятый час. У нас сидит коммивояжер какой-то. До десяти еще осталось время, и я пригласил его пойти тут рядом выпить кока-колы. Разговор у нас зашел насчет видов на урожай.

— Толку мало,— говорю.— От хлопка прибыль одним биржевикам. Забьют фермеру мозги, давай, мол, урожаи подымай — это чтоб им вывалить на рынок по дешевке и оглоушить сосунков. А фермеру от этого какая радость — шея красная да горб на спине. Потом землю крапит, растит хлопок, а думаете, он хоть ржавый цент выколотит сверх того, что на прожитье нужно? Если урожай хороший,— говорю,— так цены до того упадут, что хоть на кусту оставляй, а плохой — так и в очистку везти нечего. А для чего вся чертова музыка? Чтоб кучка нью-йоркских евреев — я не про лиц иудейского вероисповедания как таковых, я евреев знавал и примерных граждан. Вы сами, возможно, из них,— говорю.

— Нет,— отвечает,— я американец.

— Я не в обиду сказал это,— говорю.— Я каждому отдаю должное, независимо от религии или чего другого. Я ничего не имею против евреев персонально,— говорю.— Я про породу ихнюю. Они ведь не производят ничего — вы согласны со мной? Едут в новые места следом за первыми поселенцами и продают им одежду.

— Вы старьевщиков-армян имеете в виду,—говорит он,—не правда ли? Первопоселенец не охотник до новой одежды.

— Я не в обиду,— говорю.— Вероисповедание я никому в упрек не ставлю.

— Да-да,— отвечает.— Но я американец. У нас в роду примесь французской крови, откуда у меня и этот нос. Я коренной американец.

— То же самое и я,— говорю.— Немного нас теперь осталось. Я про тех маклеров говорю, что сидят там в Нью-Йорке и стригут клиентов-сосунков.

— Уж это точно,— говорит.— В биржевой игре мелкота как муха вязнет. Законом следовало бы воспретить.

— Может, я неправ, по-вашему? — говорю.

— Нет-нет,— говорит.— Правы, конечно. На фермера все шишки.

— Еще бы не я прав,— говорю.— Обстригут тебя как овцу, если только не получаешь конфиденциальной информации от человека, который в курсе. Должен вам сказать, я держу прямую связь кой с кем там на бирже в Нью-Йорке. У них в советчиках один из крупнейших воротил. Притом мой метод,— говорю,— в один прием большой суммы не ставить. Я не из тех сосунков, что думают, они все поняли, и хотят за три доллара убить медведя. Таких-то сосунков и ловят нью-йоркцы. Тем и живут.

Пробило десять. Я пошел на телеграф. День начался с небольшого повышения, как они и предсказали мне. Я отошел в уголок и перечел их телеграмму, на всякий пожарный случай. А пока читал, телеграфист принял новую сводку. Акции поднялись на два пункта. Наши, что на телеграфе собрались, все поголовно покупают. Это уже из разговоров их понятно. Мол, прыгай скорей на подножку, ребята, а то укатит счастье. Как будто трудно понять, к какому клонится исходу. Как будто закон такой и обязали тебя покупать. Ну что ж, и нью-йоркским евреям жить надо. Но что за времена настали, будь я проклят, если любой сволочной иностранец, светивший задом у себя на родине, где его господь бог поселил, может являться к нам в страну и прямо тащить барыши у американца из кармана. Еще на два пункта поднялись. Итого, на четыре. Но черт их дери, они же на месте там и в курсе дела. И если поступать не по их советам, так на кой тогда платить им десять долларов ежемесячно. Я ушел было, но вспомнил и вернулся, дал ей телеграмму. «Все благополучно. К напишет сегодня».

— К напишет? — удивляется телеграфист.

— Да,— говорю.— Ка. Буква такая.

— Я просто для верности спрашиваю,— говорит.

— Вы давайте шлите, как написано, а уж верность я вам гарантирую,— говорю.— Заплатит получатель.

— Телеграммы отбиваем, Джейсон? — встревает Док Райт, заглядывая мне через плечо.— Что это — шифровка маклеру, чтоб покупал?

— Да уж что бы ни было,— говорю.— Вы, ребята, своим умом живете. Вы ведь больше в курсе, чем нью-йоркские дельцы.

— Кому же, как не мне, в курсе быть,— говорит Док.— Я бы деньги сэкономил нынче, если б играл на повышение — по два цента за фунт.

Еще сводка пришла. Упали на пункт.

— Джейсон продает,— говорит Хопкинс.— По физиономии видать.

— Да уж продаю ли, нет ли,— говорю.— Продолжайте действовать своим умом, ребята. Этим богачам евреям из Нью-Йорка тоже надо жить, как всем прочим.

Я пошел обратно в магазин. Эрл занят у прилавка. Я прошел в заднюю комнату, сел к столу, вскрыл то письмо, что от Лорейн. «Милый папашка хочу чтоб ты приехал. Мне без папочки не та компания скучаю об миленьком папашке». Еще бы. Прошлый раз я дал ей сорок долларов. В подарок. Женщине я никогда и ничего не обещаю и вперед не говорю, сколько дам. Это единственный способ держать их в узде. Пускай сидит гадает, какой сюрприз я ей преподнесу. Если тебе нечем бабу другим удивить, удиви оплеухой.

Я порвал письмо и зажег над урной. У меня правило: с женским почерком ни клочка бумаги у себя не оставляю, а им я вообще не пишу. Лорейн меня все просит — напиши, но я ей отвечаю: все, что я забыл тебе сообщить, подождет до следующего моего приезда в Мемфис. Ты-то, говорю, можешь написать мне иногда, без обратного адреса на конверте, но посмей только по телефону вызвать, и ты кувырком полетишь из Мемфиса. Когда я у тебя, то я клиент не хуже всякого другого, но телефонных звонков от бабья не потерплю. На, говорю, и вручаю ей сорок долларов. Но если, говорю, спьяна тебе взбредет в голову позвонить мне, то советую прежде посчитать до десяти.

«Когда же теперь?» — говорит.

«Что?»

«Ждать тебя».

«Там видно будет»,— говорю. Она хотела было заплатить за пиво, но я не дал. «Спрячь,— говорю.— Купи себе платье на них». Горничной тоже дал пятерку. В конце концов, я считаю, что деньги сами по себе не имеют цены; важно, как ты их тратишь. Трястись над ними нечего, они же не наши и не ваши. Они того, кто их умеет поймать и удержать. Тут в Джефферсоне у нас есть человек, наживший уйму денег на продаже неграм гнилого товара. Жил он у себя над лавкой, в каморке размером со свиной закут, сам и стряпал себе. А лет примерно пять назад он вдруг заболел. Струхнул, видно, крепко, и когда поднялся на ноги, то начал в церковь ходить и миссионера содержать в Китае. Пять тысяч долларов ежегодно в это дело вкладывает. Я частенько думаю — ну и взбесится же он, если после смерти обнаружит вдруг, что никаких небес нет и в помине и что плакали его ежегодных пять тысяч. По-моему, умер бы уж лучше без проволочек и деньги бы сэкономил.

Догорело письмо, я хотел было сунуть обратно в пиджак остальные, но меня будто толкнуло что-то — дай-ка, думаю, еще до обеда

вскрою письмо, которое Квентине; но тут слышу, Эрл орет, чтобы шел обслужить покупателя. Спрятал я письма, вышел к ним, стою жду, пока чертов вахлак четверть часа решает, какой ему ремешок взять для хомута — за двадцать центов или же за тридцать пять.

— Брать, так уж хороший,— говорю.— С дешевеньким инвентарем далеко, братцы, не уедете, хозяйства вперед не подвинете.

— Если этот негодящий,— говорит,— так для чего он на продажу выставлен?

— Я не сказал, что этот не годится,— говорю.— Я сказал, тот лучше.

— А откуда вы знаете,— говорит.— Вы что, пробовали их на хомуте?

— Я оттуда знаю,— говорю,— что у того цена выше на пятнадцать центов. Оттуда ясно, что тот лучше.

Мнет в руках двадцатицентовый ремешок, пропускает его через пальцы.— Пожалуй, этот все ж таки возьмем,— говорит. Я предложил завернуть, но он смотал его колечком и сунул в карман своей робы. Потом вытащил кисет, развязывал-развязывал, вытряс на ладонь несколько монеток. Отделил четвертак.

— А на пятнадцать центов я в обед перекушу,— говорит.

— Что ж,— говорю,— дело хозяйское. Только на будущий год не приходите жаловаться, что новую сбрую надо покупать.

— До нового года еще ого-го,— говорит.

Отделался от него наконец, но стоит мне только вынуть из кармана этот конверт, как опять что-нибудь. Они все приехали в город на представление, прямо косяками хлынули отдавать свои денежки ловкачам, от которых городу ни пользы, ни дохода, если не считать того, что хапуги в городской управе поделят между собой. А Эрл хлопочет, суетится, как курица по курятнику: «Слушаю вас, мэм. Мистер Компсон вас обслужит. Джейсон, покажи-ка даме маслобойку», или: «Джейсон, отпусти на пять центов гардинных колец».

Да уж, Джейсона работа любит. Конечно, говорю матушке, в университеты нас не посылали, не обучали в Гарвардском, как ночью прыгать с моста, не умея даже на воде держаться; а в Севонийском вообще, что такое вода, не проходят. Так и быть, говорю, пошлите меня в университет нашего штата — может, выучусь пипеткой стенные часы заводить и заступлю на место Бена, и тогда Бена сможете послать служить на флот. А нет, так в кавалерию, там мерины в ходу. А тут еще она Квентину прислала ко мне на прокорм. Что ж, говорю, и это тоже правильно — чем мне на север ехать куда-то на должность к ним в банк, так они мне прямо на дом прислали мою должность. Тут матушка в слезы, а я ей:

— Что вы, что вы, я не возражаю, пусть живет; чтобы вам сделать удовольствие, я и службу могу бросить, и сам буду нянчить ее, а уж вы с Дилси позаботитесь, чтоб у нас мучная кадь не пустовала, или Бена в кормильцы приспособьте. Отдайте его напрокат в бродячий цирк, непременно где-нибудь в других местах найдутся охотники платить за погляденье десять центов.

Тут опять слезы и причитания — дескать, мой бедный убогий малютка, а я ей: Да-да, дайте ему только подрасти, большим помощником вам будет, а то теперь он всего в полтора раза выше меня ростом. А она мне: Скоро я умру, и тогда всем вам будет лучше,— а я на это ей: Ладно, ладно, пускай по-вашему. Спору нет, она вам действительно внучка, вопрос только, кто у нее другая бабушка. Но, говорю, время покажет, кто прав. Если вы думаете, что она сдержит обещание и не будет ездить к ней сюда, то вы сами себя дурачите.— На похоронах и объявилась в первый раз. Мать сидит причитает —

хоть то слава богу, что в тебе ничего компсоновского, кроме фамилии, ты все, что у меня теперь осталось,— ты и Мори, а я ей: Ну, лично я мог бы преспокойно обойтись без дяди Мори,— и тут они входят и говорят, что все готово, можно ехать. Матушка перестала плакать. Опустила вуаль, сошла вниз. Дядя Мори выходит из столовой, платочком прикрывает себе рот. Все расступились, сделали для нас проход, мы вышли на крыльцо — как раз вовремя, чтоб увидать, как Дилси гонит за угол Бена с Ти-Пи. Сошли с крыльца, в карету сели. Дядя Мори все бубнит: «Бедная моя сестрица, бедная сестрица» — и гладит мамашину руку, а во рту у него что-то есть.

— Ты не забыл траурную повязку? — спрашивает она.— Трогали бы уже, пока Бенджамин не вернулся им всем на посмешище. Бедный мальчик. Он и не знает. Не способен даже осознать.

— Ну, ну, ну,— бубнит дядя Мори, не раскрывая рта, и руку ей поглаживает.— Так оно и лучше. Пусть не ощущает своего сиротства, пока может.

— У других женщин дети служат опорой в годину утраты,— говорит матушка.

— У тебя Джейсон есть и я,— утешает дядя Мори.

— Это такой ужас для меня,— говорит она.— За каких-то два неполных года потерять их обоих, и как потерять.

— Ну, ну, ну,— бубнит тот. А чуть погодя поднес ко рту руку потихоньку и выкинул их за окно. Тут я понял, чем это пахнет от него. Гвоздичками, жевал, чтоб заглушить. Он, должно быть, посчитал, что на отцовских похоронах прямой его долг клюкнуть, а может, это буфет спутал его с отцом и не дал пройти мимо. По-моему, если уж приспичило тогда отцу продавать имущество, чтобы послать Квентина в Гарвардский, то куда больше проку бы нам всем было, если бы он продал лучше этот буфет и на часть денег купил себе смирительную рубашку с одним рукавом. Должно быть, оттого во мне, по мамашиным словам, и компсоновского ничего нет, что он проспиртовался без остатка, пока до меня дошла очередь. По крайней мере, я не слышал, чтоб он хоть раз предложил продать что-нибудь и меня послать в Гарвардский.

Сидит, мямлит: «Бедная сестрица»,— и руку ей гладит своей в черной перчатке — за эти перчатки нам прислали счет через четыре дня, точно двадцать шестого числа, потому что тогда ровно месяц исполнился, как отец ездил к ним и чадо нам привез, и не захотел даже сказать ни где она, ни как она, а мать плача спрашивает: «И ты с ним даже и не виделся? И не попытался заставить его обеспечить младенчика?» — а отец ей: «Нет уж, она ни к центу его денег не притронется». А матушка: «Его по суду можно заставить. Он ничего не может доказать, если только... Джейсон Компсон! Неужели вы были настолько глупы, что...»

«Помолчи, Кэролайн»,— отец ей и послал меня, чтобы помог Дилси старую колыбель притащить с чердака. Я и говорю Дилси:

— Вот и должность моя — с доставкой на дом.— Мы ведь все время надеялись, что у них как-то уладится и он не станет ее гнать, и мать все говорит, бывало, что уж мою-то карьеру она просто не вправе подвергать опасности, после того как семья столько сделала для нее и для Квентина.

— А где ей место, как не дома,— Дилси мне.— Кому ее растить, когда не мне? Не я ли вас всех вырастила?

— Да уж, хвалиться есть чем,— говорю.— Ну, теперь матушке, по крайней мере, будет чем терзаться.— Снесли мы колыбель с чердака, и Дилси поставила ее в бывшей Кэддиной комнате. Того только матушка и ждала.

— Тшш, мис Калайн,— Дилси ей.— Вы же дитя разбудите.

— В эту комнату? — говорит матушка.— В эту зараженную атмосферу? Не предстоит ли мне и так тяжелая борьба с тем, что она унаследовала?

— Полно тебе,— говорит отец.— Не глупи.

— Где ж ей быть, как не здесь,— говорит Дилси.— В той самой спаленке, где я ее маму каждый божий вечер укладывала с тех самых пор, как она подросла и стала у себя спать.

— Тебе не понять,— говорит матушка.— Чтобы моя родная дочь была брошена собственным мужем. Бедный невинный младенчик,— говорит и смотрит на Квентину.— Ты не узнаешь никогда, сколько ты горя причинила.

— Полно тебе, Кэролайн,— отец говорит.

— Зачем вы такое при Джейсоне,— говорит Дилси.

— Я ли не ограждала Джейсона,— говорит мамаша.— Как только могла ограждала. И уж все, что в моих слабых силах, сделаю, но ее защищу от заразы.

— Хотела бы я знать, какой ей вред от спанья в этой комнате,— говорит Дилси.

— Уж вы как хотите,— говорит матушка.— Я знаю, что я всего-навсего беспокойная старая женщина. Но я знаю, что нельзя безнаказанно попирать установления господни.

— Сущий вздор,— говорит отец.— Что ж, Дилси, тогда поставь ее в спальню миссис Кэролайн.

— Пусть, по-твоему, вздор,— говорит матушка.— Но она и узнать никогда не должна. Ни разу даже не должна услышать это имя. Дилси, я запрещаю тебе произносить это имя при ней. Я вознесла бы хвалу господу, если бы она могла вырасти и не знать даже, что у нее есть мать.

— Ты говоришь, как дурочка,— отец ей.

— Я никогда не вмешивалась в то, как ты воспитывал их,— говорит матушка.— Но теперь я уже больше не могу. Мы должны решить это сейчас же, нынче же вечером. Либо это имя никогда не будет произнесено в ее присутствии, либо увозите ее прочь, либо же уйду я. Выбирайте.

— Ну, полно,— говорит отец.— Просто ты расстроена. Кроватка здесь пусть и останется, Дилси.

— Как бы вы сами не слегли,— говорит Дилси.— Вид у вас, будто с того света. Идите-ка в постель, я вам стаканчик пунша сделаю, и спите себе. Небось за все эти разъезды ни разу не выспались.

— Никаких стаканчиков,— говорит матушка.— Разве ты не знаешь, что доктор не велит? Зачем ты потворствуешь ему? Вся его болезнь в этих стаканчиках. Ты на меня взгляни, я тоже ведь страдаю, но я не так слабохарактерна и я не пью, не свожу себя в могилу этим виски.

— Чепуха,— говорит отец.— Ни аза эти врачи не знают! Зарабатывают себе на жизнь предписаньицами делать что-нибудь такое, чего пациент в данное время не делает, и в этом весь предел наших познаний в устройстве выродившейся двуногой обезьяны. Сегодня врача, а завтра ты еще духовника мне приведешь.— Матушка в слезы, а он вышел из комнаты. Сошел вниз и — слышу — скрипнул дверцей буфета. А ночью я проснулся и опять слышу, как он сходит к буфету. Матушка уснула, что ли, потому что в доме стало тихо наконец. И он старается, чтобы не зашуметь, отворил дверцу неслышно, только видно подол ночной рубашки и босые ноги у буфета.

Дилси постелила Квентине, раздела, уложила. Как отец внес ее в дом, так она и не просыпалась еще.

— Скоро уж, гляди, из люльки вырастет,— говорит Дилси.— Ну вот и ладно теперь. Постелю себе тюфяк тут же рядом через коридор, чтоб вам ночью не вставать к ней.

— Я все равно не усну,— говорит мамаша.— Ты ступай домой. Я обойдусь. Я буду счастлива остаток своей жизни посвятить ей, если только смогу оградить ее...

— Тшш! — Дилси ей.— Мы уж о ней позаботимся. А ты иди-ка тоже спать,— говорит она мне.— Тебе завтра в школу вставать.

Я пошел, но матушка обратно позвала и поплакала надо мной.

— Ты моя единственная надежда,— говорит.— Ежевечерне я благодарю за тебя господа.

Сидим с ней ждем, пока скажут «готово», и она мне: «Если уж и мужа я лишилась, то хоть за то благодарение господу, что ты мне оставлен, а не Квентин. Слава богу, что ты не Компсон, ибо все, что у меня теперь осталось,— ты и Мори», а я и говорю: «Ну, я лично мог бы обойтись без дяди Мори». А он знай гладит руку ей своей перчаткой черной и бубнит невнятно. Перчатки снял, только когда очередь дошла кинуть ком земли лопатой. Он почти самый первый стоял, где над ними держали зонтики, и могильщики то и дело ногами топали, стучали заступами, чтоб налипшую грязь сковырнуть, и комья глухо шлепались на крышку, а когда потом я отошел к карете, то увидел, как он за чьим-то могильным камнем тянет из бутылки. Я думал, он навеки присосался, а на мне мой новый костюм, но хорошо, что на колесах еще не так много было грязи, только все равно матушка увидела и говорит: «Нескоро теперь у тебя будет новый», а дядя Мори ей: «Ну, ну, ну. Не волнуйся ни о чем. Ты всегда можешь на меня рассчитывать».

Что верно, то верно. Всегда можем. Четвертое письмо сегодняшнее — от него, но я и не вскрывая знаю, о чем там. Я его письма уже сам писать бы мог или читать мамаше наизусть, набавив десять долларов для верности. Но то, третье, меня так и подмывало проверить. Прямо чувство такое, что уже надо ждать от нее очередной каверзы. С того первого раза она поумнела все же. Я тогда ей быстро дал понять, что со мной — это не с отцом иметь дело. Стали засыпать могилу, матушка расплакалась, конечно, и дядя Мори усадил ее в карету и укатил с ней. «А ты,— говорит,— сядешь в любой другой экипаж; тебя, говорит, каждый с удовольствием подвезет. А мне придется сейчас сопроводить матушку». Я хотел ему сказать: «Да-да, оплошность ваша, конечно. Вам надо было две бутылки взять, а не одну». Но вспомнил, где мы, и промолчал. Им что, пускай я мокну, зато мамаша хоть всласть набеспокоится, что я воспаление легких схвачу.

Подумал я про все это, посмотрел, как они туда землю валят, шлепают грязь заступами, вроде раствор для кирпичей готовят или забор ставят, и стало не по себе как-то, и я решил пройтись, что ли. Но если пойду по дороге в город, то они нагонят в экипажах, сажать к себе станут, и я подался от дороги к негритянскому погосту. Встал от дождя под кедрами, где слегка только покапывало и откуда видно будет, когда кончат и уедут. Скоро все уехали, я еще чуть подождал, потом пошел оттуда.

Трава вся мокрая, и я иду по тропке — и только у самой уже почти могилы увидал ее: стоит в черной дождевой накидке и на цветы глядит. Я сразу понял, кто это,— еще прежде чем она обернулась, посмотрела, подняла вуаль.

— Здравствуй, Джейсон,— говорит и руку подает. Поздоровались мы с ней.

— Ты зачем здесь? — говорю.— Ты же как будто дала обещание не ездить к нам. Я думал, у тебя хватит ума не приезжать.

— Да? — говорит. Отвернулась, смотрит на цветы. Их там было долларов на пятьдесят, не меньше. И Квентину на плиту кто-то положил букетик.— Ума, говоришь?

— Впрочем, меня это не удивляет,— говорю.— Ты же на все способна. Ты ни о ком не думаешь. Тебе на всех плевать.

— А,— говорит.— Ты про свою должность.— Смотрит на могилу.— Мне жаль, Джейсон, что так получилось.

— Сильно тебе жаль,— говорю.— Теперь, значит, кроткие речи в ход пущены. Только напрасно приехала. Наследства нету ни гроша. Мне не веришь — спроси дядю Мори.

— Да никакого мне не нужно наследства,— говорит. Смотрит на могилу.— Почему не сообщили мне? — говорит.— Я случайно увидела в газете. На последней странице. Совсем случайно.

Молчу. Стоим, смотрим на могилу, и мне вспомнилось, как мы маленькие были и всякое такое, и опять стало не по себе, и досада какая-то давит, что теперь дядя Мори все время будет торчать у нас и распоряжаться, как вот сейчас оставил меня под дождем одного добираться домой.

— Да, много ты о нас думаешь,— говорю.— Только умер, сразу шмыг обратно сюда. Но впустую ты хлопочешь. Не думай, что тебе удастся под шумок домой вернуться. Не усидела в седле — пешком ходи,— говорю.— У нас в доме даже имя твое под запретом,— говорю.— Понятно? Мы знать вас не знаем, тебя, его и Квентина,— говорю.— Понятно тебе?

— Понятно,— говорит.— Джейсон,— говорит и смотрит на могилу.— Если ты устроишь, чтобы я ее на минутку увидела, я дам тебе пятьдесят долларов.

— Да у тебя их нету,— говорю.

— А сделаешь? — говорит и на меня не смотрит.

— Сперва деньги покажи,— говорю.— Не верю, чтоб у тебя было пятьдесят долларов.

Смотрю, задвигала руками под накидкой, потом показала руку. А в руке, будь ты неладно, полно денег. Две или три желтенькие бумажки светят.

— Разве он до сих пор шлет тебе деньги? — говорю.— Сколько в месяц?

— Не пятьдесят — сто дам,— говорит.— Сделаешь?

— Но только на минуту,— говорю.— И чтобы все, как я скажу. Я и за тысячу долларов не соглашусь, чтобы она узнала.

— Да, да,— говорит.— Все, как ты скажешь. Только дай мне увидеть ее на минутку. Я ни просить, ни делать ничего больше не стану. Сразу же уеду.

— Давай деньги,— говорю.

— Ты их после получишь,— говорит.

— Не веришь мне? — говорю.

— Не верю,— говорит.— Я слишком тебя знаю. Мы ведь вместе росли.

— Уж кому бы говорить насчет доверия. Ну что ж,— говорю.— Под дождем мне стоять здесь нечего. Прощай,— говорю и вроде ухожу.

— Джейсон,— говорит. Я остановился.

— Что — Джейсон? — говорю.— Скорее только. Льет ведь.

— Ладно,— говорит.— Бери.— Вокруг никого. Я вернулся, беру деньги. А она еще не выпускает их.— Но ты сделаешь? — говорит, глядя на меня из-под вуали.— Обещаешь?

— Пусти деньги,— говорю,— пока никого нет. Хочешь, чтоб нас увидел кто-нибудь?

Разжала пальцы. Я спрятал в карман деньги.

— Но сделаешь, Джейсон? — говорит.— Я бы тебя не просила, если бы иначе как-нибудь могла устроить.

— Вот это ты права, что иначе никак не можешь,— говорю.— Обещал — значит, сделаю. Или, может, я не обещал? Но только чтобы все, как я тебе сейчас скажу.

— Хорошо,— говорит,— согласна.— Я сказал ей, где ждать, а сам в городскую конюшню. Прибежал— они как раз выпрягают из кареты. Я к хозяину — заплачено, спрашиваю, уже за карету, он говорит — нет, тогда я говорю, что миссис Компсон забыла одно дело и ей опять нужна карета,— и мне дали. Править сел Минк. Я купил ему сигару, и мы до сумерек ездили по разным улочкам подальше от глаз. Потом Минк сказал, что лошадям пора в конюшню, но я пообещал еще сигару, подъехали мы переулком, и я прошел к дому задним двором. Постоял в передней, определил по голосам, что мать и дядя Мори наверху, и — на кухню. Там Дилси с ней и с Беном. Я взял ее у Дилси, сказал, что матушке потребовалось,— и обратно в дом с ней. Там с вешалки снял дяди Морин макинтош, завернул ее, взял на руки — и в переулок с ней, в карету. Велел Минку ехать на вокзал. Мимо конюшни он боялся, пришлось нам взять в объезд, а потом смотрю — стоит на углу под фонарем, и я говорю Минку, чтобы ехал вдоль тротуарной кромки, а когда скажу: «Гони», чтобы хлестанул лошадей. Я раскутал макинтош, поднес ее к окошку, и Кэдди как увидела, прямо рванулась навстречу.

— Наддай, Минк! — говорю, Минк их кнутом, и мы пронеслись мимо не хуже пожарной бригады.— А теперь, как обещала,— кричу ей,— садись на поезд! — Вижу в заднее стекло — бежит следом. — Наддай-ка еще разок,— говорю.— Нас дома ждут.

Заворачиваем за угол, а она все бежит.

Вечером пересчитал деньги, спрятал, и настроение стало нормальное. Это тебе наука будет, приговариваю про себя. Лишила человека должности и думала, что это тебе так сойдет. Мне же и в мысль не приходило, что она не сдержит обещания, не уедет тем поездом. Я тогда их еще мало знал, как дурачок им верил. А на следующее утро — пропади ты пропадом — является прямо в магазин, хорошо еще, вуаль опущена, и ни с кем ни слова. День субботний, так что с утра Эрла не было, я сижу за столом в задней комнате, и она прямо ко мне быстрым шагом.

— Лгун,— говорит.— Лгун.

— Ты что, с ума сошла? — говорю.— Ты что это надумала? Да как ты смеешь сюда со скандалом? — Осадил ее тут же, не дал и рта раскрыть.— Ты уже стоила мне одной должности, а теперь хочешь, чтоб и эту потерял? Если у тебя есть что сказать мне, то встретимся, когда стемнеет, где-нибудь. Только о чем у нас может идти разговор? — говорю.— Что я, не выполнил все до точки? Уговор был на одну минуту, так или нет? Минуту ты и получила.— Стоит и только смотрит на меня, трясет ее как в лихорадке; руки стиснула, ломает себе пальцы.— Я-то,— говорю,— сделал все по уговору. Это ты солгала. Ты ведь обещала сразу же на поезд. Ну что? Не обещала, скажешь? Или денежки обратно захотелось? Дудки,— говорю.— Я на такой риск шел, что тысячу долларов если бы взял, и тогда бы ты мне еще должна осталась. Семнадцатый пройдет — если не сядешь на него и не уедешь, я скажу матери и дяде Мори,— говорю.— А тогда можешь крест поставить на своих свиданиях.

Стоит смотрит только и сжимает руки.

— Будь проклят,— говорит.— Будь проклят.

— Правильно,— говорю.— Давай, давай. Только учти мои слова. Не уедешь семнадцатым поездом, и я им все расскажу.

Ушла она, и у меня настроение опять стало нормальное. Теперь-то, говорю себе, ты дважды подумаешь, прежде чем лишать человека обещанной должности. В то время я ведь еще зеленый был. Верил на слово. С тех пор поумнел. Притом я как-нибудь уж без чужой поддержки в люди выйду, с детства привык стоять на собственных ногах. Но тут я вдруг вспомнил про Дилси и про дядю Мори. Дилси она улестит без труда, а дядя Мори отца родного продаст за десять долларов. А я сижу как прикованный, не могу уйти из магазина, чтобы оградить родную мать от посягательств. Если уж суждено, говорит матушка, было мне лишиться сына, то хвала господу, что оставил мне тебя, а не его: в тебе моя опора верная. Да, говорю, дальше прилавка, видно, мне от вас действительно не уйти. Должен же кто-то поддерживать своим горбом то немногое, что у нас осталось.

Ну, как только я пришел домой, тут же взял Дилси в работу. У нее проказа, говорю, достал Библию и прочел, как человек гниет заживо. Достаточно ей, говорю, на тебя взглянуть, или на Бена, или на Квентину, как проказа и вам передастся. Ну, думаю, теперь дело в шляпе. Но возвращаюсь я как-то со службы — Бен мычит на весь дом. И никак его не успокоят. Матушка говорит, ступай принеси уж ему туфельку. Дилси как будто не слышит. Матушка повторно, а я говорю, сам пойду принесу, чтоб только прекратился этот треклятый шум. Я так скажу, человек я терпеливый, многого от них не ожидаю, но, проработав целый день в дрянной лавке, заслуживаю, кажется, немного тишины, чтобы спокойно поесть свой ужин. Говорю, что я сам схожу, а Дилси быстренько так:

— Джейсон!

Ну, я мигом смекнул, в чем тут дело, но просто чтобы убедиться, пошел принес ему туфлю, и как я и думал: только он ее увидел — завопил, как будто его режут. Я за Дилси, заставил сознаться, потом сказал матери. Пришлось тут же вести ее наверх в постель, а когда тарарам поутих, я взял Дилси в оборот, нагнал на нее страху божьего. То есть насколько это с черномазыми возможно. В том-то и горе со слугами-ниггерами, что если они у вас долгое время, то начинают так важничать, что хоть выкидывай на свалку. Воображают, что они в доме главные.

— Хотела бы я знать,— говорит,— кому какой вред от того, что она, бедняжка, со своим родным дитем свиделась. При мистере Джейсоне было б оно по-другому.

— Беда только, что он в гробу,— говорю.— Меня ты, я вижу, не ставишь ни в грош, но матушкин запрет для тебя, надеюсь, что-то значит. Вот погоди, доволнуешь ее до того, что тоже в гроб сведешь, а тогда уже хоть полон дом напусти подонков и всякого отребья. Но зачем ты еще идиоту этому несчастному дала с ней увидеться?

— Холодный вы человек, Джейсон, если вы человек вообще,— говорит.— Пускай я черная, но, слава богу, сердцем я теплее вашего.

— Холодный или какой, а только интересно, чей вы все тут хлеб едите,— говорю.— Но посмей хоть раз еще такое сделать, и больше тебе у меня его есть не придется.

Так что когда она в следующий раз явилась, я ей сказал, что если опять стакнется с Дилси, то матушка выгонит Дилси в шею, Бена отправит в Джексон, а сама с Квентиной уедет отсюда. Она смотрит так на меня. Мы стоим от фонаря поодаль, и лица мне ее почти не видно. Но я чувствую, как она смотрит. В детстве она, бывало, когда разозлится, а поделать ничего не может, то верхняя губа у нее так и запрыгает. Дерг, дерг, и зубы с каждым разом все видней, а сама стоит как

столб, ни мускулом не дрогнет, и только губа скачет над оскалом все выше и выше. Однако промолчала. Говорит только:

— Ладно. Сколько платить?

— Ну, если один показ через каретное окошко стоит сотню...— говорю. Так что после этого она заметно посмирнела, раз только както захотела посмотреть книжку с банковским счетом.

— Я знаю, мать их получает,— говорит.— Но я хочу видеть банковский отчет. Хочу сама убедиться, куда эти чеки идут.

— Это личное дело матери,— говорю.— Если ты считаешь себя вправе вмешиваться в ее личные дела, то я так и скажу ей, что, потвоему, деньги по этим чекам незаконно присваиваются и ты требуешь проверки счетов, поскольку не доверяешь ей.

Молчит, не шевельнется. Только слышно, как шепчет: «Будь ты проклят, о, будь проклят, о, будь проклят».

— Говори вслух,— говорю.— Это ведь для нас не секрет, что мы друг о друге думаем. Может, захотелось денежки назад? — говорю.

— Послушай, Джейсон,— говорит.— Обещай мне, только без лганья. Относительно нее. Я не стану проверять счета. Если мало, больше буду каждый месяц слать. Обещай мне только, что она... что ей... Тебе же нетрудно это. Бывает, ей что нужно. Чтобы поласковее с ней. Всякие мелочи, которые я не могу ей, не дают мне... Но тебя же не упросишь. В тебе капли теплой крови нет и не было. Тогда вот что,— говорит.— Уговори ты маму, чтобы вернула мне ее, и я дам тебе тысячу долларов.

— Ну уж тысячи у тебя нет,— говорю.— Это ты врешь, я чувствую.

— Нет, есть. Будет. Я могу добыть.

— А я знаю, каким способом,— говорю.— Тем же самым, каким и дочку свою. А подрастет — и она...— Тут я решил, что она на меня сейчас бросится с кулаками, но потом непонятно стало, что она хочет делать. С минуту она была как игрушка, которую слишком туго завели и вот-вот ее разнесет на куски.

— Ох, я с ума сошла,— говорит,— я не в своем уме. Не могу я взять ее. Нельзя мне с ней. И думать об этом нельзя мне. Джейсон,— говорит и за руку мою хватается. А руки у нее горячие как жар.— Ты должен обещать, что будешь заботиться о ней, что... Она ведь не чужая, она родная тебе. Обещай мне, Джейсон. Ты носишь отцовское имя: как по-твоему, пришлось бы мне папу просить об этом дважды? Или хотя бы раз?

— Что верно, то верно,— говорю.— Он меня не вовсе обделил, имя мне свое оставил. Ну и чего ты хочешь от меня? — говорю.— Чтобы я себе передник повязал и коляску катал? Я, что ли, втравил тебя в это,— говорю.— Я и так многим рискую в этом деле, не то что ты. Тебе-то терять нечего. И если еще думаешь...

— Конечно,— говорит, и засмеялась вдруг, и в то же время старается сдержать смех.— Конечно. Мне терять нечего,— говорит, и хохочет, и руки ко рту поднесла.— Нне-нне-чего...

— Ну-ка,— говорю,— прекрати шум.

— Сейчас,— говорит, зажимая себе рот руками.— О господи. О господи.

— Я пошел,— говорю.— Не хватает еще, чтобы увидели меня с тобой. А ты уезжай сейчас же, слышишь?

— Подожди,— говорит и за руку схватила.— Я уже перестала. Не буду больше. Так обещаешь, Джейсон? — говорит и глазами прямо жжет мне лицо.— Обещаешь? Если у нее нужда в чем будет... Те чеки, что я маме... Если я тебе еще вдобавок к ним присылать стану, будешь

ей сам покупать? Не скажешь матери? Будешь заботиться, чтобы у нее все, как у других девочек, было?

— Разумеется,— говорю.— Если ты будешь делать все, как я скажу, и не строить каверз.

Тут Эрл выходит из задней комнаты в шляпе своей и говорит мне:

— Я пошел в закусочную Роджерса, перехвачу чего-нибудь. Домой идти обедать у нас, пожалуй, времени сегодня не будет.

— Это почему же? — говорю.

— Да из-за артистов этих,— говорит.— Сегодня они и дневное представление дают, и народ, который понаехал, захочет до начала покончить со всеми покупками. Так что давай обойдемся сегодня закусочной.

— Что ж,— говорю.— Желаете себе отравлять желудок, в раба своей торговли обращаться — дело ваше личное.

Уж ты-то, я вижу, не собираешься быть рабом торговли,— говорит.

— Не собираюсь, кроме как под вывеской «Джейсон Компсон»,— говорю.

Так что когда я пошел в заднюю комнату и вскрыл конверт, то удивило меня одно только — что там не чек, а почтовый перевод. Это уж так. Им верить нельзя ни одной. На такой риск идти приходится, родной матери лгать, чтобы не узнала, что она ездит сюда ежегодно, а то и по два раза в год. И после всего — вот тебе благодарность. С нее станется и на почту написать, чтоб не выдавали никому, кроме Квентины. Подростку-девчонке хлоп пятьдесят долларов. Да я пятьдесят долларов в руках не держал до двадцати одного года. Все парни с обеда гуляют, а в субботу — весь день, а я в магазине гни спину. Что я и говорю: как может кто-нибудь с ней справиться, если она ей за спиной у нас шлет деньги. Дом, говорю, у нее тот же самый, в котором ты росла, и воспитание даем не хуже. А о нуждах ее, я считаю, матери нашей лучше знать, чем тебе, бездомной. «Желаешь давать ей деньги,— говорю,— так матушке их посылай, а не ей в руки. Если уж я на такой риск иду чуть не ежеквартально, то делай как велят, иначе скажу матушке».

А кстати, время заняться тем чеком, потому что если Эрл думает, что я побегу к Роджерсу, чтоб на его счет наглотаться несварения желудка на несчастный четвертак, то он крепко ошибается. Пускай я не сижу, задрав ноги на стол красного дерева, но мне здесь платят за то, что я за прилавком делаю, а не обедаю где. И если мне и за пределами этого сарая не дадут жить по-культурному, то я могу найти другое место. Я на собственных ногах привык стоять, мне их не надо упирать ни в какие чужие столы красного дерева. Но только достану из пиджака, как приходится бросать все и бежать отпускать вахлакам гвоздей на десять центов и тому подобное, а Эрл уже сжевал, наверно, бутербродик и, того гляди, сейчас назад вернется. И вдруг вижу: бланков нет, кончились. Тут-то я вспомнил, что собирался раздобыть еще, но поздновато хватился. В это время на тебе — Квентина входит. Со двора. Хорошо, я услыхал, как она у Джоба спрашивала, где я. Еле успел сунуть все в стол и задвинуть ящик.

Подходит к столу. Я на часы глянул.

— Уже отобедала? — говорю.— Двенадцать всего, сейчас только било. Ты по воздуху, видно, слетала домой и обратно.

— Я не пойду домой обедать,— говорит.— Письма мне не было сегодня?

— А ты разве ждешь от кого? — говорю.— Среди твоих дружков завелись и грамотные даже?

— От мамы жду,— говорит.— Есть мне письмо от мамы? — спрашивает и на меня смотрит.

— Тут есть, на матушкино имя,— говорю.— Я не читал. Придется тебе обождать, пока она вскроет. Возможно, она даст тебе прочесть.

— Пожалуйста, Джейсон,— даже не слушает, опять свое.— Есть мне письмо?

— А что случилось? — говорю.— Прежде я не замечал, чтобы ты о ком-нибудь так беспокоилась. Не иначе, денег ждешь от нее.

— Она сказала, что...— говорит.— Ну пожалуйста, Джейсон. Ведь есть мне письмо?

— А ты, я вижу, действительно провела утро в школе,— говорю.— Научили тебя даже говорить «пожалуйста». Обожди минуту, пока я клиента обслужу.

Вышел к нему, обслужил. Повернулся, чтоб идти обратно, а ее не видать, за стол зашла. Я бегом туда. На горячем поймал — она только руку из ящика дерг. Я хвать, и руку эту пальцами об стол, об стол, пока не выпустила конверта.

— Так вот ты как,— говорю.

— Отдайте,— говорит.— Вы уже вскрыли. Дайте его мне. Пожалуйста, Джейсон. Оно мне ведь. Я видела адрес.

— Я тебе дам сейчас,— говорю.— Вожжой. Как ты смеешь рыться в моих бумагах?

— Там же деньги должны быть,— говорит и тянется рукой.— Она говорила, что пришлет. Обещала мне Отдайте.

— А для чего тебе вдруг деньги? — говорю.

— Она сказала, что пришлет,— говорит.— Отдайте. Ну пожалуйста, Джейсон. Если теперь отдадите, то я никогда ничего больше не попрошу у вас.

— Дам, только без нахрапа,— говорю. Вынул письмо и перевод, отдаю ей письмо. А она на письмо даже не взглянула, за переводом тянется.

— Распишись тут сперва,— говорю.

— На сколько он? — спрашивает.

— А ты прочти,— говорю.— В письме, надо думать, все сказано.

Пробежала вскользь, в два счета.

— Здесь об этом ничего,— говорит, поднявши глаза от письма. Уронила его на пол.— Сколько там?

— Десять долларов,— говорю.

— Десять? — говорит, уставясь на меня.

— Да ты и этому должна быть жутко рада,— говорю.— Ты же еще малолетняя. Зачем тебе вдруг так понадобились деньги?

— Десять долларов? — бормочет, как во сне.— Всего-навсего десять?..— И цап! — чуть было не выхватила у меня перевод.— Врете вы,— говорит.— Вор! — говорит.— Вор!

— Ах, ты так? — говорю и рукой ее на расстоянии от себя держу.

— Отдайте! — говорит.— Он мой. Он мне послан. Все равно прочту, сколько там. Все равно.

— Неужели? — говорю и подальше ее от себя отодвигаю.— Это каким же способом?

— Дайте только взгляну, Джейсон. Ну пожалуйста. Больше я у вас никогда ничего не буду просить.

— По-твоему выходит, я лгу? — говорю.— Вот в наказание за это и не дам.

— Но как же так, десять долларов только,— говорит.— Она же сказала мне, что... сказала... Джейсон, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мне очень надо. Очень-очень. Отдайте мне, Джейсон. Я все сделаю, только отдайте.

— Скажи, зачем тебе деньги,— говорю.

— Они мне обязательно нужны,— говорит. Смотрит на меня. Потом раз — и перестала смотреть, хотя и не отвела глаз. Понятно, сейчас врать начнет.— Я в долг брала,— говорит.— И мне надо отдать. И обязательно сегодня.

— Брала — где? — говорю. Она пальцами этак задвигала. Прямо видно, как старается испечь ложь.— Опять в магазинах? — говорю.— И не трудись, не поверю. Если найдется в городе торговец, который продаст тебе в долг после того, как я их всех предупредил, то пускай это мой убыток будет.

— У девочки брала,— говорит,— у девочки. Заняла у нее деньги. И надо вернуть. Отдайте мне, Джейсон. Пожалуйста. Я все сделаю. Мне надо обязательно. Мама вам заплатит. Я напишу ей, чтобы заплатила и что больше я никогда у нее ничего не попрошу. Напишу и письмо вам покажу. Ну пожалуйста, Джейсон. Мне без них никак нельзя.

— Признайся, зачем тебе, а тогда посмотрим,— говорю.— Признавайся.— Стоит, платье теребит.— Ну, что ж,— говорю.— Если десять долларов тебя не устраивают, то я этот перевод доставлю домой матушке, и сама знаешь, что с ним тогда будет. Конечно, если ты такая богачка, что десять долларов для тебя не деньги...

Стоит, опустила глаза, бормочет словно про себя:

— Она сказала, что пришлет мне денег. Сказала, что все время сюда шлет деньги, а вы говорите, что нет. Сказала, что прислала уже очень много. На мое содержание. И что часть их я могу брать себе. А вы говорите, никаких денег нет.

— Ты сама не хуже меня знаешь,— говорю.— Сама видела, что матушка с этими чеками делает.

— Да,— говорит.— Десять долларов,— говорит.— Десять долларов.

— Благодари еще судьбу, что десять,— говорю.— Ну-ка,— говорю. Положил перевод оборотной стороной кверху и рукой придерживаю.—Распишись вот тут.

— Но дайте же взглянуть! — говорит.— Я просто взгляну. Все равно, на сколько б ни был, я возьму только десять долларов. А остальное берите. Я хочу только взглянуть.

— Нет уж,— говорю,— раз ты действовала нахрапом. Придется тебе усвоить одну вещь, а именно — что если я тебе чего велю, то надо выполнять беспрекословно. Вот на этой черте распишись.

Взяла перо, но не расписывается, а стоит понурясь, и перо в руке дрожит. В точности как мать ее.

— О господи,— говорит.— О господи.

— Вот так-то,— говорю.— Если ничего другого, то уж это ты наверняка усвоишь у меня. Расписывайся и ступай отсюда.

Расписалась. «Где деньги?» — говорит. Я взял перевод, промакнул, спрятал в карман. Потом дал ей десятку.

— После обеда чтоб обратно в школу, слышишь ты? — говорю. Молчит. Скомкала деньги в кулаке, как тряпку какую-нибудь, и вон из лавки. А тут как раз Эрл входит и ведет к прилавку покупателя. Я собрал свои бумаги, надел шляпу, вышел к ним.

— Ну как, народу густо было? — спрашивает Эрл.

— Не слишком,— говорю. Он выглянул на улицу.

— Это твоя машина там стоит? — говорит.— Не ездил бы ты сегодня обедать домой. Перед самым представлением опять надо ждать наплыва. Поешь у Роджерса, а чек мне в стол положишь.

— Покорнейше благодарю,— говорю.— Уж как-нибудь сами прокормимся.

И вот так он и будет торчать, глаз не спускать с двери, пока я не войду в нее обратно. Что ж, придется ему подзапастить терпением — я разорваться не могу. Еще в прошлый раз говорю себе: заметь, последний бланк расходуешь; не откладывая, надо новых раздобыть. Но кто может что-нибудь упомнить в этом тарараме. А теперь, плюс ко всем домашним заботам, гоняй по городу, ищи в последний момент бланки чеков, а тут еще как раз сегодня этот балаган проклятый в городе и Эрл зыркает, как ястреб.

Заехал в типографию и говорю хозяину, что хочу подшутить над одним парнем, но у него не нашлось ничего. Посоветовал заглянуть в бывший театр, там полно бумаг свалено и рухляди, что остались от прогоревшего Коммерческо-сельского банка. Я дал крюку переулками, чтоб не попасться Эрлу на глаза, разыскал старика Симмонса и взял у него ключ. Рылся там, рылся, нашел книжку чеков на какой-то банк в Сент-Луисе. И, уж конечно, именно сегодня ей взбредет в голову поближе приглядеться к чеку. А, ладно, сойдут и эти. Больше времени терять я не могу.

Я вернулся в магазин. «Кой-что забыл тут из бумаг. Мать хочет сегодня в банк идти»,— говорю Сел к столу, заполнил чек. Все наспех делается. Хорошо хоть, у нее зрение стало сдавать, а тут еще эта потаскушка в доме — каково все это матушке. Действительно, можно сказать, христианка многотерпеливая. Говорю ей, сами знаете не хуже моего, кем она станет, когда вырастет, но, говорю, дело ваше, если желаете держать и воспитывать ее у себя в доме только потому, что отец так хотел. Тут она в слезы: мол, родная плоть и кровь, а я на это: ладно. Пускай по-вашему. Вам терпится — и я могу терпеть.

Вложил письмо обратно, заклеил опять, выхожу.

— Постарайся не задерживаться,— говорит Эрл.

— Постараюсь,— говорю. Зашел на телеграф. А там все эти умники в полном сборе.

— Ну как, ребята,— говорю,— кого поздравить с миллионом?

— Как можно сделать что-нибудь при такой конъюнктуре? — говорит Док.

— А сколько теперь? — говорю Вошел, посмотрел. На три пункта ниже начального.— Да ну, ребята,— говорю,— неужели вы дадите этим маклеришкам-хлопковикам вас нагреть? Вам же ума не занимать.

— Ага, не занимать,— говорит Док.— В полдень на двенадцать пунктов было понижение. Как липку меня ободрали.

— На двенадцать пунктов? — говорю.— Какого же дьявола меня не известили? Почему вы мне не сообщили? — спрашиваю телеграфиста.

— Мое дело принять сводку,— говорит.— У меня не подпольная биржевая контора.

— Смотри ты, какой умник,— говорю.— Я тут плачу столько денег, а у него и сообщить мне нет. видите ли времени Или может, ваша чертова компания в одной шайке с этими проклятыми нью-йоркскими акулами?

Молчит. Делает вид, будто занят.

— Много на себя берете,— говорю.— Избаловались на легких хлебах, как бы вы их не лишились.

— А чего ты горячишься? — Док мне.— У тебя и сейчас еще три пункта в запасе.

— Да,— говорю.— Это если б я продавал. А я пока вроде не говорил, что продаю. Так, значит, вас, ребята, всех обчистили?

— Меня дважды,— говорит Док.— Вовремя еще переключился.

— Что ж,— говорит Ай. О Сноупс.— Так и положено. Не все ж мне их уделывать, надо, чтоб иногда и они меня.

Ушел я, а они остались продавать-покупать меж собой по пять центов за пункт. Я подозвал ниггера, послал за моей машиной, сам стою на углу, жду. Эрл там обязательно торчит в дверях, одним глазом на часы, а другим меня высматривает, и если я его не вижу, то лишь потому, что отсюда дверей не видно. Часов, примерно, через сто подъехал тот ниггер в машине.

— Ты где околачивался? — говорю.— Перед черномазыми шлюхами ездил покрасоваться?

— Я никак быстрей не мог,— говорит.— Там все фургонами забито, пришлось в объезд площади.

Я еще не встречал такого черномазого, у которого бы не было припасено железной отговорки на все случаи жизни. Но ты только дай ему машину, обязательно форсить покатит перед бабами. Я сел, взял в объезд. На той стороне мельком Эрла в дверях заметил.

Дома я прошел прямо на кухню и велел Дилси поскорей накрывать на стол.

— Квентины еще нету,— отвечает.

— Ну и что? — говорю.— Скоро ты мне еще скажешь, что Ластера придется подождать. Квентине известно, в котором часу здесь обед. Поторапливайся.

Матушка была у себя в комнате. Я дал ей то письмо. Распечатала, вынула чек и сидит, держит его в руке. Я пошел, взял в углу совок, подаю ей спичку.

— Давайте, — говорю,— кончайте. А то сейчас плакать начнете.

Взяла спичку, но не зажигает. Сидит, смотрит на чек. Так я и знал.

— Я с великой неохотой это делаю,— говорит.— Добавлять к твоему бремени еще и содержание Квентины...

— Как-нибудь проживем,— говорю.— Ну давайте же. Кончайте.

Сидит как сидела и держит чек в руке.

— Этот чек на другой банк,— говорит.— Прежние были на индианаполисский.

— Да,— говорю.— Женщинам это тоже разрешается.

— Что разрешается? — спрашивает.

— Держать деньги в двух разных банках.

— А,— говорит. Еще поглядела на чек.— Я рада, что она так... что у нее столько... Господь не допустит, чтобы я поступала неправильно,— говорит.

— Давайте же,— говорю.— Кончайте забаву.

— Забаву? — говорит.— Каково мне думать...

— А я думал, вы для забавы каждый месяц жжете двести долларов,— говорю.— Ну, давайте же. Хотите, я вам зажгу спичку.

— Я бы сумела переломить себя и принимать их,— говорит.— Ради детей моих. Я лишена гордыни.

— Вы же навсегда бы нокой потеряли,— говорю.— Сами знаете. Один раз решили, так и оставайтесь при своем решении. Проживем как-нибудь.

— Воля твоя,— говорит.— Но временами я начинаю опасаться, что, поступая так, лишаю вас средств, принадлежащих вам по праву. Возможно, я буду за это покарана. Если ты желаешь, я подавлю в себе гордость и стану принимать их.

— Какой смысл начинать сейчас, после того как вы пятнадцать лет их жгли? — говорю.— Если вы и дальше будете уничтожать их, то вы не потеряли ничего. Но если начнете принимать эти чеки, то вы потеряли пятьдесят тысяч долларов. До сих пор мы вроде жили как-то,— говорю.— Вы пока еще не в богадельне.

— Да-да,— говорит.— Мы, Бэскомы, не принимаем ничьей милостыни. А от падшей женщины — и подавно.

Чиркнула спичкой, зажгла чек, бросила в совок, следом бросила конверт и смотрит, как горит.

— Тебе не понять этого,— говорит.— И слава богу, что тебе не дано испытать материнских терзаний.

— На свете есть сколько угодно женщин таких же, как она,— говорю.

— Но они не дочери мои,— говорит.— Я не ради себя,— говорит.— Я бы с радостью приняла ее в дом, со всеми ее грехами, ибо она моя плоть и кровь. Я ради Квентины.

Ну, тут я мог бы ответить, что уж Квентину этим черта с два вгонишь в краску, но как я всегда говорю: многого я не хочу, но хочу хоть спокойно есть и спать, без бабьих ссор и плача в доме.

— И ради тебя,— говорит.— Я ведь знаю, как она оскорбляет твои чувства.

— По мне, пусть возвращается хоть завтра,— говорю.

— Нет уж,— говорит.— Это мой долг перед памятью покойного отца твоего.

— Да ведь он вас уговаривал все время, он хотел, чтобы она домой вернулась, когда Герберт ее выгнал,— говорю.

— Тебе не понять,— говорит.— Я знаю, ты вовсе не хочешь усугубить мои огорчения. Но кому и страдать за детей, как не матери,— говорит.— И я приемлю свой тяжелый крест.

— Думается, вы еще и сами от себя центнер-другой тяжести накидываете,— говорю. Бумага догорела. Я отнес совок к камину, сунул за решетку. — Жалко все же полноценные деньги зря жечь,— говорю.

— Да не доживу я до дня, когда дети мои примут эту мзду греха,— говорит.— Да увижу я прежде тебя неживого в гробу.

— Будь по-вашему,— говорю.— Так скоро мы сядем обедать? — говорю.— Мне обратно надо ехать. Сегодня у нас денек жаркий.— Встала с постели.— Я уже сказал ей раз,— говорю.— Но она ждет, что ли, Квентину, или Ластера, или еще кого. Погодите, я сам позову.

Но она подошла уже к перилам, зовет Дилси.

— Квентины еще нету,— откликается Дилси.

— Что ж, мне пора,— говорю.— Куплю себе в городе бутерброд. Не стану вмешиваться в Дилсины распорядки,— говорю. Ну, матушке скажи только. Тут уж Дилси заковыляла взад-вперед, ворчит:

— Ладно уж, ладно, сейчас подаю.

— Я всем вам угодить стараюсь,— говорит мамаша.— Стараюсь вас как можно меньше обременять собой.

— Я как будто не жалуюсь,— говорю.— Сказал я хоть слово кроме, что мне пора?

— Знаю я,— говорит,— знаю, что у тебя не было тех возможностей, какие даны были им, что тебе приходится прозябать в захолустной лавчонке. А я так мечтала о твоем преуспеянии. Я знала, отцу твоему не понять, что ты единственный из них всех, обладающий здравым практическим умом. И когда все остальное рухнуло, я надеялась, что хоть она, выйдя замуж за Герберта... он обещал ведь...

— Ну, он и солгать мог вполне,— говорю.— Возможно, у него и банка никакого не было. А и был, так не думаю, чтобы ему понадобилось везти работника через всю страну из Миссисипи.

Сидим обедаем. Из кухни Бен голос подает, его там Ластер кормит. Что я и говорю, если уж у нас прибавился едок, а деньги за нее принимать не хотите, то почему бы не отправить Бена в Джексон. Ему там веселее будет среди таких, как он. Где уж нам, говорю, в нашей семье заводить речь о гордости, но какая же это гордость, если неприятно видеть, как тридцатилетний остолоп по двору мотается на пару с негритенком, бегает вдоль забора и мычит коровой, стоит им только

начать партию в гольф. Если бы, говорю, с самого начала поместили его в Джексон, мы все бы теперь были в выигрыше. Вы, говорю, и так свой долг перед ним выполнили, совершили все, что можно от вас ожидать, редкая мать на такое способна,— так почему бы не поместить его туда и хоть эту выгоду иметь от налогов, что мы платим. А она мне: «Скоро уж я уйду от вас. Я знаю, что я только в тягость тебе», на что я ей: «Я столько раз уже слыхал это ваше насчет тягости, что, того и гляди, вы меня в этом убедите». Только, говорю, когда уйдете, то так, чтоб я не знал, а то я его как миленького в тот же вечер отправлю семнадцатым поездом. Притом, говорю, я, кажется, знаю местечко, куда и ее можно определить, и помещается оно никак не на Молочной улице и не на Медвяном проспекте. Тут она в слезы, а я: «Ладно вам, ладно. Я за свою родню не хуже всякого другого — пусть даже я не про всех родственников знаю, откуда они взялись».

Обедаем дальше. Мать опять посылает Дилси на парадное крыльцо: не идет ли Квентина.

— Сколько вам твердить, что она не придет нынче обедать,— говорю.

— Как так не придет,— мамаша свое.— Она ведь знает, что я не разрешаю ей бегать по улицам и что надо являться к обеду домой. Ты хорошенько там глядела, Дилси?

— Надо, так заставьте,— говорю.

— Что же я могу,— говорит.— Вы все воспитаны в неуважении ко мне. Всегда не слушались.

— Если бы вы не вмешивались, я б ее живо заставил слушаться,— говорю.— В течение одного дня бы приструнил.

— Ты слишком был бы груб с ней,— говорит.— У тебя тот же горячий нрав, что у твоего дяди Мори.

При этих словах я вспомнил про письмо. Достал его, даю ей.

— Можете и не вскрывать,— говорю.— Банк известит вас, сколько он в этот раз возьмет.

— Оно адресовано тебе,— говорит.

— Ничего, читайте,— говорю. Вскрыла, прочла и протянула мне. Читаю:

> Дорогой племянничек!
>
> Тебе приятно будет узнать, что я располагаю в настоящее время возможностью, относительно которой — по причинам, весомость которых уяснится из последующего,— я не стану вдаваться в подробности, пока не представится случай снестись с тобой по этому вопросу более надежным образом. Деловой опыт научил меня избегать сообщения сведений конфиденциальных всяким иным более конкретным способом, нежели изустный; сугубые предосторожности, к каким я прибегаю, дадут тебе намек на ценность упомянутой возможности. Излишне присовокуплять, что мною уже завершено самое исчерпывающее рассмотрение всех ее фаз и аспектов, и не побоюсь сказать, что предо мною — тот золотой шанс, какой представляется нам в жизни лишь однажды, и что я ныне ясно различаю цель, к которой стремился долго и неутомимо,— то есть ту окончательную консолидацию моих дел и финансов, каковая позволит роду, коего я имею честь быть последним представителем мужеского пола, вновь занять подобающее общественное положение; к роду же этому я всегда сопричислял не только твою уважаемую матушку, но равно и детей ее.

Нынешние, однако, мои обстоятельства не позволяют мне в надлежащей и наиполнейшей мере воспользоваться представившейся мне возможностью, и, не желая выходить за пределы семейного круга, я прибегаю к заимствованию с банковского счета твоей матушки незначительной суммы, необходимой для восполнения моего начального взноса, и в этой связи прилагаю, в порядке чистой формальности, свой вексель из расчета восьми процентов годовых. Нужно ли говорить, что формальность эта соблюдена мною единственно затем, чтобы обеспечить твою матушку на тот прискорбнейший исход и случай, игралищем которого являемся все мы. Ибо я, разумеется, употреблю эту сумму, как если бы она была моя собственная, и тем позволю и матушке твоей вкусить от выгод упомянутой возможности, которую мое исчерпывающее изучение явило мне как чистейшей воды и ярчайшей игры бриллиант и лакомый кусочек,— да простится мне этот вульгаризм.

Все вышеизложенное прошу рассматривать как доверительную информацию, направленную одним деловым человеком другому. Огласка — враг успеха, не так ли? А зная хрупкое здоровье твоей матушки и эту робость, натурально, свойственную таким, как она, деликатно воспитанным дамам-южанкам в отношении материй деловых, равно как их очаровательную склонность нечаянным образом разглашать таковые в ходе своих разговоров, я, пожалуй, просил бы тебя и не сообщать ей этого совсем. По зрелом же раздумии, я даже настоятельно советую тебе воздержаться от такого сообщения. Не лучше ли, если по прошествии времени я попросту возвращу эту сумму на ее банковский счет купно, скажем, с другими небольшими, мною ранее заимствованными суммами, а она ничего о том и знать не будет. Ведь ограждать ее по мере сил от грубого материального мира — не что иное, как долг наш.

Твой любящий дядя
Мори Л. Бэском

— Ну и как, дадите? — спрашиваю и щелчком переправляю письмо ей обратно через стол.

— Я знаю, тебе жаль их,— говорит.

— Деньги ваши,— говорю.— Захотите птичкам их бросать, тоже никто вам запретить не сможет.

— Он ведь родной брат мне,— говорит мамаша.— Последний из Бэскомов. С нами и род наш угаснет.

— То-то потеря будет,— говорю.— Ну, ладно вам, ладно,— говорю.— Деньги ваши, как вам угодно, так и тратьте. Значит, оформить в банке, чтоб перевели?

— Я знаю, что тебе их жаль,— говорит.— Я понимаю, какое на плечах твоих бремя. Вот не станет меня, и наступит тебе облегчение.

— Я бы мог прямо сейчас сделать себе облегчение,— говорю.— Ну ладно, ладно. Молчу — хоть весь сумасшедший дом здесь поселите.

— Бенджамин ведь родной твой брат,— говорит.— Пусть даже и прискорбный главою.

— Я захвачу вашу банковскую книжку,— говорю.— Сегодня внесу на счет свое жалованье.

— Шесть дней заставил тебя ждать,— говорит.— Ты уверен, что

дела его в порядке? Как-то странно, чтобы платежеспособное предприятие не могло своевременно производить выплату жалованья.

— Да все у него в ажуре,— говорю.— Надежней, чем в банке. Я ему сам твержу, что не к спеху, могу обождать, пока соберут месячную задолженность. Потому иногда и бывает задержка.

— Я просто не перенесла бы, если бы ты потерял то немногое, что я могла внести за тебя,— говорит.— Я часто думаю, что Эрл неважный бизнесмен. Я знаю, он не посвящает тебя в состояние дел в той мере, какая соответствует доле твоего участия. Вот я поговорю с ним.

— Нет-нет,— говорю,— не надо его трогать. Он хозяин дела.

— Но ведь там и твоих тысяча долларов.

— Оставьте его в покое,— говорю.— Я сам за всем слежу. Вы же дали мне доверенность. Все будет в полном ажуре.

— Ты и не знаешь, какое ты мне утешение,— говорит.— Ты и прежде был моею гордостью и радостью, но когда ты сам пожелал вносить ежемесячно жалованье на мое имя и не стал даже слушать моих возражений — вот тогда я возблагодарила господа, что он оставил мне тебя, если уж отнял всех их.

— А чем они плохи были? — говорю.— Исполнили свой долг блестяще.

— Когда ты говоришь так, я чувствую, что ты недобром поминаешь отца,— говорит.— И думается, ты имеешь на то право. Но слова твои терзают мне сердце.

Я встал из-за стола.

— Если вам захотелось поплакать,— говорю,— то вы уж без меня как-нибудь, а мне надо ехать. Пойду вашу банковскую книжку возьму.

— Я принесу сейчас,— говорит.

— Сидите на месте,— говорю.— Я сам.— Поднялся наверх, взял у нее из стола банковскую книжку и поехал в город. В банке внес тот чек и перевод плюс еще десятку, потом на телеграф заехал. Поднялись на пункт выше начального. Итого, потеряно тринадцать пунктов, а все потому, что она ко мне вперлась в двенадцать часов, пристала с ножом к горлу — подавай ей письмо.

— Когда эта сводка получена? — спрашиваю.

— С час назад,— говорит.

— Целый час? — говорю.— Да за что же мы вам деньги платим? — говорю.— За недельные сводки, наверно? Там вся биржа полетит вверх тормашками, а мы тут ни черта и знать не будем. Как можно действовать в таких условиях?

— А я от вас и не требую никаких действий,— говорит.— Тот закон, по которому все граждане обязаны играть на хлопковой бирже, уже отменен.

— Неужели? — говорю.— Не слыхал, представьте. Наверно, и об этом тоже сообщено было через ваш «Вестерн юнион».

Поехал обратно в магазин. Тринадцать пунктов. Ни шиша в этой чертовой механике никто не смыслит, кроме штукарей, что сидят развалясь в своих нью-йоркских конторах и только смотрят, как провинциальные сосунки подносят на тарелочке им деньги и умоляют принять. Да, но тот, кто не рискует повышать ставку, лишь показывает, что у него нет веры в себя. И по-моему, так: не хочешь поступать по совету, так на кой ты тогда платишь за совет. Притом, они ведь там сидят на месте и в курсе дела полностью. Вот она, телеграмма, в кармане. Доказать бы только, что у них сговор с телеграфной компанией с целью надувательства клиентов. Это вещь подсудная. И мне недолго. Черт их дери, однако, неужели крупная такая

и богатая компания, как «Вестерн юнион», не может вовремя передавать сводки? Вот если телеграмму «Ваш счет закрыт», это они тебе мигом передадут. Крепко эти сволочи о народе беспокоятся. Они же одна шайка с той нью-йоркской сворой. Это и слепому ясно.

Вошел я — Эрл покосился на свои часы. Но ни слова, пока не ушел покупатель. А тогда говорит:

— Домой, значит, ездил обедать?

— К зубному пришлось заехать,— говорю, потому что хотя не его чертово дело, где я обедаю, но после обеда я тут же обязан вернуться опять за прилавок. И так с утра на части разрываюсь, а теперь еще от него выслушивай. Что я и говорю: возьмите вы такого мелкоплавающего лавочника захолустного — человечку цена пятьсот долларов со всеми потрохами, а хлопочет, шуму подымает на пятьдесят тысяч.

— Ты мог бы меня предупредить,— говорит.— Я ждал, что ты сразу же вернешься.

— Хотите, уступлю вам этот зуб и еще приплачу десять долларов,— говорю.— У нас по уговору часовой перерыв на обед,— говорю,— а если мой образ действий вам не нравится, то вы прекрасно знаете, что делать.

— Знаю, и давненько,— говорит.— И если не делаю, то из уважения к твоей матушке. Я ей крепко сочувствую, Джейсон. Если бы кой-кто из моих знакомых так ее уважал и сочувствовал ей.

— Ну и держите при себе свое сочувствие,— говорю.— Когда оно нам потребуется, я вам заблаговременно сообщу.

— Я ведь все молчу про это дельце, покрываю тебя, Джейсон,— говорит.

— Да? — подзуживаю его. Прежде чем осадить, дай послушаю, что скажет.

— Думается, я больше твоей матушки в курсе, откуда у тебя автомобиль.

— Вот как? — говорю.— Ну и когда же вы собираетесь объявить эту новость, что я его купил на уворованные у родной матери деньги?

— Я ничего не говорю. Я знаю,— говорит,— она тебе дала доверенность на ведение дел. Но знаю также, что она все еще думает, будто та тысяча долларов до сих пор в деле.

— Что ж,— говорю.— Раз вы уже столько знаете, то сообщу вам еще одну мелочь: сходите-ка в банк и спросите, на чей это счет я каждый месяц первого числа вот уже двенадцать лет вношу сто шестьдесят долларов.

— Я ничего не говорю,— говорит.— Только прошу, чтобы ты впредь не опаздывал.

Я не стал и отвечать. Бесполезно. Давно понял, что если человек вбил себе что в голову, то разубеждать его — пустое дело. А если к тому же втемяшил себе, что он обязан осведомить кого-то насчет вас для вашего же блага, то и вовсе ставь крест. У меня тоже есть совесть, но, слава богу, мне с ней не надо вечно нянчиться, как с хилым щеночком. Уж я бы не щепетильничал, как он, чтоб ненароком не получить от своей лавчонки больше, чем восемь процентов прибыли. Ясное дело, боится, как бы не привлекли по закону о лихоимстве, если больше восьми процентов выжмет. Какой тут к черту шанс может быть у человека в таком городке и при таком хозяине. Да посади он меня на свое место, я бы за год обеспечил его на всю жизнь, только он все равно отдал бы на церковь или еще куда. Кого я не переношу, так это сволочных лицемеров. Которые, если сами

чего недопонимают до конца, то сразу кричат про мошенничество и морально обязаны тут же доложить кому не следует, хоть это совсем не их собачье дело. Что я и говорю: если б я, чуть только чего недопойму в поступках человека, сразу же записывал его в мошенники, то я бы мог без труда откопать что-нибудь в бухгалтерских книгах, и тогда б вы вряд ли захотели, чтобы я счел себя обязанным побежать с докладом к третьим лицам, которые и так в курсе дела побольше меня, а не в курсе, так все равно не черта мне соваться. А он мне на это: — Мои книги открыты для всех. Всякий, кто имеет — или имел и считает, что и посейчас имеет,— пай в моем деле, может проверить по книгам, пожалуйста.

— Вот, вот,— говорю.— Сами вы, конечно, ей не скажете. Вам совесть не позволит. Вы только раскроете перед ней книги, чтоб она сама дозналась. А вы — вы ничего не скажете.

— Я вовсе не желаю вмешиваться в твои дела,— говорит.— Я знаю, тебе не дали тех возможностей, какими пользовался Квентин. Но ведь и у матери твоей жизнь сложилась несчастливо, и если вдруг она придет сюда ко мне и спросит, что понудило тебя выйти из дела, то мне придется рассказать ей. И не из-за той тысчонки, ты сам знаешь. Но — что на деле, то и в отчетности должно быть, иначе далеко не уедешь. И лгать я никому не стану, ради себя ли самого или чтобы другого покрывать.

— Ну что ж,— говорю.— Видно, эта ваша совесть ценнее меня как приказчик, поскольку она не отлучается домой обедать. Но поститься я пока не собираюсь,— говорю, потому что разве можно что-нибудь обделать более-менее гладко, когда у тебя на шее эта чертова семейка, а мамаша и ее и всех их распустила окончательно, только знает, как в тот раз: увидела, что один из тех целует Кэдди, и назавтра весь день проходила в черных платье и вуали, и даже отец от нее не мог добиться ничего, кроме плача и причитаний, что ее доченька умерла; а Кэдди всего пятнадцать лет было, и если тогда уже траур, то что же через три года — власяницу или из наждачной бумаги чего-нибудь? По-вашему, говорю, я могу допустить, чтоб она бегала по улицам с каждым заезжим коммивояжером и чтоб они потом своим приятелям на всех дорогах сообщали, что когда заедешь в Джефферсон, то есть там одна на все готовая. Хоть я человек и не гордый, не до гордости тут, когда приходится кормить полную кухню ниггеров и лишать джексонский сумасшедший дом главной его звезды и украшения. Голубая, говорю, кровь, губернаторы и генералы. Это еще жутко повезло, что у нас в роду не было королей и президентов, а то мы бы все теперь в Джексоне за мотылечками гонялись. Было бы, говорю, достаточно скверно, если б я ее с кем прижил, но хоть знал бы, что она просто незаконная, а теперь сам господь бог вряд ли точно знает, кто она такая.

Немного погодя слышу: оркестр заиграл, и покупателей как ветром сдуло. Все поголовно — туда, в балаган. Торгуются из-за двадцатицентового ремешка, чтоб зажать пятнадцать центов и отдать их потом банде приезжих янки, которые за весь грабеж уплатят городу каких-то десять долларов. Я вышел на задний двор.

— Ну,— говорю,— при таких темпах ты смотри, как бы этот болт не врос тебе в руку. А тогда придется мне его вырубать оттуда топором. Пока ты с культиваторами возишься, сев пройдет, чем тогда прикажешь долгоносику питаться — шалфеем?

— А здорово ихние трубы гремят,— мне старикашка Джоб в ответ.— Говорят, там у них есть один, играет на пиле. Прямо как на банджо.

— Это ладно,— говорю.— А вот известно ли тебе, сколько эти ловкачи потратят денег у нас в городе? Десять долларов,— говорю.— Те самые десять долларов, что сейчас уже у Бака Тэрпина в кармане.

— А за что мистер Бак взял с них десять долларов? — спрашивает.

— За право давать здесь свои представления,— говорю.— А что они протратят сверх этой десятки, то поместится у тебя в ухе.

— То есть они нам представляют и они же еще платят десять долларов?

— Всего-навсего,— говорю.— А сколько, по-твоему, они...

— Надо же такое,— говорит.— Значит, с них еще и деньги дерут, а иначе представлять не дадут? Да я бы им за то одно дал десять долларов, чтоб поглядеть, как он там на пиле играет. Так что завтра утром я им еще останусь должен девять долларов и семьдесят пять центов.

И после этого какой-нибудь паршивый северянин будет вам морочить голову, что неграм надо вперед продвигаться. Ладно, я скажу, давай двигай их вперед. Двигай отсюда с ними, чтоб и духу их южнее Луисвиля не осталось. Я ему толкую, что за сегодня и за субботу они облапошат наш округ минимум на тысячу долларов и поминай как звали, а он мне отвечает:

— И на здоровье. Мне моего четвертака для них не жалко.

— Кой там черт четвертак,— говорю.— Как будто на этом конец. Ты приплюсуй-ка сюда десять-пятнадцать центов, что ты им выложишь за несчастную двухцентовую пачечку конфет. И еще приплюсуй время, что ты сейчас ухлопываешь, слушая этот оркестр.

— Спорить не стану,— говорит.— Однако если доживу до вечера, то они отсюда увезут еще и мои четверть доллара, это как пить дать.

— Ну, и дурак дураком будешь,— говорю.

— Что ж,— говорит,— и против этого спорить не стану. Только если б дураков в тюрьму сажали, то не все бы арестанты были негры.

В это примерно время гляжу — она переулком идет. А его не успел сразу и рассмотреть, потому что я скорей за дверь и часы из кармашка. Ровно половина третьего, и еще сорок пять минут до конца школы, где все, кроме меня, считают, что она сейчас сидит и занимается. Выглянул из-за двери, и сразу же мне бросилось в глаза, что на нем галстук красной расцветки, и я тут же подумал — что это еще за пижон в таком галстуке. Но она спешит мимо прошнырнуть и смотрит на дверь, и я о другом пока что думаю. Неужели, думаю, у нее в такой мере нет ко мне уважения, чтоб не только в пику мне прогуливать уроки, но еще и мимо магазина сметь пройти у меня на глазах. Ей-то меня не видно, потому что солнце светит прямо в дверь и в тени сбоку ничего не разглядеть — все равно как сбоку от автомобильной фары, а я стою и смотрю, как она идет — рожа у нее раскрашенная, точно у клоуна, волосы перекручены и слеплены все вместе, а платьице — если бы, когда я парнем был, какая-нибудь даже шлюха мемфисская вышла на улицу из своего борделя светить ногами и задницей в таком платье, то моментально бы угодила за решетку. Будь я проклят, если они не нарочно для того так одеваются, чтоб каждому прохожему хотелось рукой пощупать. Стою, значит, и думаю, какому это пижону взбрело нацепить красный галстук, и вдруг дошло — как будто она мне сама сказала,— что это из тех артистов. Ну, я многое способен вытерпеть; иначе не знаю, что б я делал. Завернули они за угол, я раз — и за ними. Мне — без шляпы, среди бела дня — бегать за ней переулками, чтобы матушкино доброе имя не дать замарать. Что я и говорю, раз это у нее в крови, то ничего с ней не поделаете. Горбатого могила

исправит, а шлюху тем более. Единственное, что можно, это выставить ее за дверь, пусть отправляется к себе подобным.

Выскочил на улицу из переулка, но их и след простыл. А я посреди тротуара стою без шляпы, как будто я тоже рехнулся. Натурально, так все и подумают: один ненормальный у них, другой утопился, а третью муж из дома выгнал, стало быть, и остальные психи. Как коршунье следят все время, так и чувствую, ждут только повода, чтобы сказать: «Ну, я-то не удивляюсь, я всегда этого ожидал, у них вся семья сумасшедшая». Продали землю, чтоб послать его в Гарвардский, а сами всю жизнь налоги платим властям штата на местный университет, который я только и видел, что два раза на бейсболе. Запретила имя дочери родной упоминать у себя в доме, а отец скоро вообще перестал в городе бывать в конторе, только целый день сидел с графином, и ночью видишь подол сорочки и ноги босые и слышишь, как дребезжит графином об стакан, так что под конец уже не мог и налить себе сам без Ти-Пи, а она мне говорит: «Ты не хранишь, не уважаешь памяти отца», а я ей на это: «Не знаю, как ее еще хранить. Она как будто проспиртована неплохо»; только если я тоже такой, то пес его знает, в чем мне свою ненормальность проявить: к реке мне даже подходить противно, а чем рюмку виски, так я скорей бензину выпью, и Лорейн им в ответ: «Пускай он у меня непьющий, но если вы хотите убедиться, что он мужчина, то я научу вас как. Если я,— говорит,— застукаю тебя с какой-нибудь из этих стерв, ты знаешь, что я сделаю. Исхлещу ее, за волосы поганку, места живого на ней не оставлю». А я ей говорю: «Что не пью, так это мое дело, но тебе я вроде не жалею. Да я тебе столько пива куплю, хоть ванны принимай, потому что честную и приличную прости-господи я крепко уважаю»... чтобы при здоровье матушкином и при моих стараниях поддержать нашу репутацию, чтоб она так не уважала моих забот о ней, с грязью смешивала и свое, и мое, и матушкино имя всему городу на посмеяние.

Улизнули куда-то. Заметила, что я сзади, и шмыгнула в другой переулок, шныряет закоулками с паршивым пижоном в красном галстуке, при одном взгляде на который каждый подумает — ну и шантрапа. А мальчик все не отстает, и я взял у него телеграмму совершенно без соображения. Очнулся только, когда стал за нее расписываться. Развернул ее, и как-то даже все равно мне, что там. Так я, собственно, и знал все время. Только этого еще и можно было ожидать. Притом додержали, пока не внес чек в книжку.

Не пойму я, как в пределах всего-навсего Нью-Йорка может уместиться весь тот сброд, что занят выкачкой денег из нашего брата сосунка провинциального. Как проклятый трудись день-деньской, шли им деньги, а в итоге получай клочок бумажки — «Ваш счет закрыт при курсе 20.62». Мажут тебя, дурачка, по губам, считаешь центы липового своего барыша, а потом — хлоп! «Ваш счет закрыт при курсе 20.62». И при этом ты еще за советы, как побыстрей лишиться своих денег, десять долларов ежемесячно платишь сволочам, которые либо не смыслят ни шиша, либо же стакнулись с телеграфной компанией. Ладно, с меня хватит. Это последний раз я им дался. Да любой дурак, не замороченный евреями, смекнул бы, что дело пахнет повышением, когда тут всю дельту, того и гляди, затопит, как в прошлом году, и смоет весь хлопок к чертям. Тут год за годом паводок губит фермерам посевы, а правительство там в Вашингтоне знай всаживает по пятьдесят тысяч долларов в день на содержание армии где-нибудь в Никарагуа. Опять, конечно, будет наводнение, и цена хлопку подскочит до тридцати центов за фунт. Мне ведь только б разок их поддеть и вернуть свои деньги. Мне не надо многотысячных кушей, они только мелкоте провинциальной снятся. Мне единственно вернуть деньги, что

у меня эти евреи выжулили своей гарантированной конфиденциальной информацией. А потом баста, пусть поцелуют меня в пятку, чтоб я им выдал еще хоть медный цент.

Вернулся в магазин. Почти половина четвертого. Попробуй сделай что-нибудь в оставшееся время до закрытия биржи, но мне не привыкать, хотя мы в Гарвардском не учены. И оркестр отдудел уже. Пентюхи уже внутри все, чего ж им зря энергию расходовать. Эрл спрашивает:

— Ну как, вручили тебе телеграмму? Он забегал сюда не так давно. Я думал, ты где-то во дворе.

— Да,— отвечаю,— вручили. Не удалось им оттянуть до вечера— слишком маленький наш городок. Мне тут нужно домой на минуту,— говорю.— Можете сделать вычет из моего жалованья, если вам от этого легче будет.

— Валяй,— говорит.— Теперь и сам управлюсь. В телеграмме, надеюсь, никаких худых вестей?

— Это вам придется сходить на телеграф и выяснить,— говорю.— У них есть время для разговоров. А у меня нет.

— Я просто спросил,— говорит.— Твоя матушка знает, что всегда может рассчитывать на меня.

— Она вам весьма за то признательна,— говорю.— Постараюсь не задерживаться.

— Можешь не спешить,— говорит.— Теперь я и сам управлюсь. Валяй себе спокойно.

Я сел в машину, поехал домой. Утром раз, в обед вторично, теперь снова, плюс грызня и беготня за ней по всему городу, а дома еле выпросил обед, на мои деньги купленный и сваренный. Иногда так подумаю — к чему биться как рыба об лед. Действительно, я тоже ненормальный, как прочие наши, если не бросил давно все к дьяволу. А теперь приеду домой как раз вовремя, чтоб совершить еще чудесную автомобильную прогулку к черту на рога за корзиной каких-нибудь помидоров и вернуться после в город провонявшим насквозь камфарой, иначе голова тут же в машине расколется. Твердишь ей, что в этом аспирине одна только мука́, на водичке замешанная, для мнимых больных. Вы, говорю, еще не знаете, что такое настоящая головная боль. По-вашему, говорю, я бы сидел за рулем в этой проклятой машине, если б от меня зависело. Я и без нее бы прожил, я привык без всего обходиться, но если вы желаете рисковать своей жизнью в этом ветхом шарабане с сопляком ниггером за кучера, то дело ваше, говорю, притом о таких, как Бен, господь заботится, поскольку хоть что-то он ему обязан уделить, но если думаете, что я доверю тонкий механизм ценой в тысячу долларов черномазому подростку или даже взрослому, то вы лучше сами купите им машину, потому что кататься, говорю, вы любите, чего тут скрывать.

Дилси сказала, что матушка в доме. Я вошел в холл, прислушался — нигде ее не слышно. Поднялся наверх, но только хотел пройти мимо ее двери, как она окликнула меня.

— Я всего лишь хотела узнать, кто идет,— говорит.— Я все ведь одна да одна и каждый шорох слышу.

— А кто вам велит,— говорю.— Если бы хотели, могли бы весь день по гостям, как другие.

Подошла к двери.

— Не заболел ли ты,— говорит.— Тебе пришлось сегодня обедать в такой спешке.

— Ничего, сойдет,— говорю.— Вы что-нибудь хотели?

— Не стряслось ли чего? — говорит.

— А что могло стрястись? — говорю.— Неужели нельзя мне днем заехать лишний раз, чтобы не переполошить весь дом?

— Ты не видел, Квентина не пришла еще? — спрашивает.

— Она в школе,— говорю.

— Четвертый час,— говорит.— Три пробило по крайней мере полчаса тому назад. Она должна бы уже быть дома.

— Должна? — говорю.— А она за все время хоть раз вернулась домой засветло?

— Из школы она должна прямо домой,— говорит матушка.— Когда я была девочкой...

— Вас было кому в руках держать,— говорю.— А ее некому.

— Я бессильна совладать с ней,— говорит.— Я столько раз пыталась.

— А мне вмешаться тоже не даете почему-то,— говорю.— Вот и радуйтесь.— Прошел к себе в комнату. Заперся тихонько на ключ, постоял. Она подошла, ручку подергала.

— Джейсон,— говорит за дверью.

— Чего вам,— говорю.

— Я все думаю, не случилось ли чего.

— Только не у меня,— говорю.— Вы ошиблись адресом.

— Я вовсе не хочу тебя сердить,— говорит.

— Рад это слышать,— говорю.— А то я усомнился было. Совсем было засомневался. Вам что-нибудь угодно?

Помолчала. «Нет, ничего». Ушла. Я достал шкатулку, деньги отсчитал, обратно ее спрятал, отпер дверь и вышел. Вспомнил про камфору, но уже все равно поздно. Притом осталось мне один раз в город и обратно. Она у себя в дверях стоит, ждет.

— Вам что-нибудь из города привезти? — спрашиваю.

— Нет,— говорит.— Я вовсе не хочу вмешиваться в твои дела. Но не знаю, что бы я стала делать, Джейсон, если бы с тобой что-нибудь случилось.

— Со мной все в порядке,— говорю.— Просто голова болит.

— Ты бы хоть аспирину принял,— говорит.— Раз уж не можешь без этого автомобиля.

— При чем тут автомобиль? — говорю.— Как от автомобиля может болеть голова?

— Ты сам знаешь, от бензина у тебя с детства голова разбаливалась,— говорит.— Я бы хотела, чтобы ты принял аспирину.

— Продолжайте хотеть,— говорю.— Хотение — вещь безобидная.

Сел в машину, направился обратно в город. Только вырулил на улицу, смотрю — «форд» навстречу на предельной скорости. Вдруг как тормознет с ходу, заскользил, визжа колесами, дал задний, развернулся круто. Я успел только подумать, что́ за дурацкие фокусы, и тут за ветровым стеклом мне мелькнул красный галстук. А затем и ее лицо узнал в боковом стекле, ко мне повернутое. «Форд» метнулся в наш переулок, оттуда повернул на параллельную улицу. Но когда я до угла доехал следом, то их еще секунду только видно было, прямо как бешеные рванули.

Ну, у меня помутилось в глазах. Чтобы после всех моих предупреждений этот галстучек — тут уж я про все забыл. Даже про голову свою, пока не доехал до первой развилки и встал, не знаю, куда дальше. Дерут, дерут с нас деньги на дороги, а ехать — как по проклятому железу кровельному гофрированному. Интересно знать, как по такой дороге угнаться даже за паршивой тачкой. А я своей машиной дорожу, на куски ее растряхивать не собираюсь, это не «фордик» ихний. Притом они его скорей всего украли, так что им тем более плевать. Что я и говорю, кровь не может не сказаться. Раз в ней такая кровь,

то на все будет способна. Если вы, говорю, считаете, что у вас в отношении ее родственный долг, то он давно уже вами выполнен, и с этих пор, говорю, можете единственно себя винить, потому что сами знаете, как любой разумный человек поступил бы. Если уж, говорю, мне половину времени приходится быть несчастным сыщиком, то я по крайней мере пойду наймусь, где мне за это платить будут.

Встал, значит, у развилки. И сразу же голова. Будто кто изнутри бьет молотом. И я еще всегда старался, говорю, не волновать вас ее поведением; что же касается меня, говорю, то туда ей и дорога на самое дно, и чем скорей, тем лучше. Чего от нее и ожидать другого, кроме как с каждым комми и площадным скоморохом заезжим, потому что здешние пижоны и то уже от нее воротят нос. Вы же не в курсе совсем, что творится, говорю, вы же не слышите всего того, что мне приходится выслушивать, и притом я их еще осаживаю, уж насчет этого будьте спокойны. Мои деды, говорю им, владели тут рабами, когда вы держали грошовые ларечки или издольщиками копались на клочках, на которые даже ниггер не польстился бы.

Если бы хоть обрабатывали как положено. Хорошо еще, господь бог позаботился уплодородить эту землю, потому что здешний народ пальцем о палец не ударит. Пятница сегодня, а от развилки отсюда кругом на три мили еще даже и не вспахано, а все трудоспособное мужское население округа сейчас в городе там, в балагане. Будь сейчас на моем месте приезжий и умирай он тут с голоду, так спросить даже дорогу в город не у кого, ни души кругом. А она мне сует аспирин. Мучное, говорю, я только за столом употребляю. Вы вот, говорю, все хвалитесь, что стольким жертвуете для нас, а сами могли бы себе десять новых платьев ежегодно покупать на те деньги, что тратите на эти липовые патентованные лекарства. Не глушить мозги лекарствами мне требуется, а хоть бы небольшой промежуток спокойный, чтоб она и не болела вовсе, но пока не перестану гнуть горб по десять часов в день, чтоб кормить полную кухню ниггеров, которые привыкли на широкую ногу жить и на каждом представлении торчать вместе с прочими черномазыми со всего округа,— только он припоздал. Пока дойдет, там уже кончится.

Поравнялся он с машиной, спрашиваю его, не проезжали тут мимо двое в «форде»; наконец дошел до него мой вопрос, говорит — проезжали, и я поехал дальше. Доехал до места, где от дороги отходит проселок, и по следам шин вижу, что свернули на него. Вон Эб Рассел на своем участке, но не к чему и спрашивать, и чуть скрылся его коровник за пригорком, как я увидел их «форд». Это у них называется спрятать. Так же умело сделано, как она все прочее делает. Что я и говорю, меня не так само по себе оно бесит — может, она естество свое и побороть не в силах,— но меня возмущает, насколько у нее нет уважения к семье — чтоб не соблюдать приличия ни капли. Все время так и боюсь, что наткнусь на них где-нибудь посреди улицы или под фургоном на площади, как на собачью свадьбу.

Поставил машину, вышел. А теперь придется зайти с тыла, пересечь все поле — первое вспаханное, что мне встретилось с самого города, и каждый шаг по этой пахоте, как будто кто идет за мной сзади и дубиной по голове — грох! грох! Дойду, думаю, до опушки, дальше хоть будет по ровному. Но вошел в лес, а там полно кустарника, надо петлять, продираться, а потом уперся я в лощину, сплошь заросшую шиповником. Взял вдоль нее, а заросли все глуше, а Эрл домой уже, наверно, звонит, меня ищет и матушку опять всю растревожил.

Пробился, наконец, через шиповник, но столько уже напетлял, что пришлось остановиться и соображать, в какую теперь сторону идти к этому «форду». Понимаю, что их далеко искать не надо, под бли-

жайшим же от «форда» кустиком. Повернул, продираюсь к дороге, но насколько я к ним близко, я теперь не знаю, то и дело замираю и прислушиваюсь, и тогда вся кровь из ног мне ударяет в голову — сейчас вот пополам расколется, а солнце уже снизилось и точно в лицо мне бьет, и в ушах такой звон, что ровно ничего не слышу. Иду, стараюсь, чтоб не хрустнуть, как вдруг чья-то собака голос подала: ну, думаю, сейчас она меня учует, прибежит, подымет лай, и пиши пропало.

Стою весь в шипах, колючках, дряни всякой, в башмаки полно набилось и за шиворот везде, смотрю, а у меня рука на ветке ядовитого сумаха. Странно только, что всего-навсего за эту ветку взялся, а не, скажем, за гремучую змею. Пусть — я не стал и руку убирать. Постоял так, переждал собаку. Потом пошел дальше.

А в какой стороне их машина, уже не имею понятия. И ни про что уже не думаю, кроме как про свою голову, и только приостановлюсь, так и не знаю вроде, а видел ли я вообще этот «форд» или нет, и даже как-то почти все равно мне. Что я и говорю: пускай себе хоть днюет и ночует под кустами со всяким кобелем, на котором штаны,— какое мне дело. Что мне до нее, раз она так меня не уважает и настолько низко пала, чтоб прятать там этот «фордик», причем заставила меня полдня ухлопать, а Эрл в это время препроводит матушку к своему столу и покажет ей книги, по той причине, что он чересчур для этого мира праведный. Вы, говорю, на небесах изноетесь от скуки, там же не к кому будет в грешные дела соваться; только, говорю, не дай бог, если я тебя застукаю, я закрываю глаза на твое поведение единственно ради бабушки, но пусть только раз тебя застану за твоим занятием — здесь в городе, где моя мать живет. Эти собачьи пижоны прилизанные думают, что они черт те какие ухари,— я их так ухну, я тебе покажу с ними вместе. Я ему такого задам жару, что он одного цвета станет со своим галстуком, если он думает, что может безнаказанно мою племянницу в лес водить.

Солнце в глаза, кровь в висках бухает, еще шаг — и голова лопнет и кончится мучение, а шипы, сучья цепляют за одежу, и тут я вышел к песчаному рву, где они сейчас были, и дерево узнал то, под которым «форд», и только выкарабкался из рва и пустился бегом, как слышу — завели мотор у «форда» и ходу, а сами сигналят непрерывно. Гудок за гудком, как будто насмехаются ослино: «И-а. И-а. И-аааааа», и все дальше отсюда. Только мелькнули багажником, когда я на дорогу выбрался.

Пока добежал до своей машины, они уже исчезли из виду, но гудки еще слышно. А я сразу не догадался, только приговариваю: «Давай-давай. Жми обратно в город. Домой к бабушке беги. Убеди ее, что я тебя не видел в этом «фордике». Что я не знаю, с кем ты там была. Что я не был от вас в пяти шагах, чуть-чуть не застукал во рву. И что ты в этот момент и не лежала вовсе».

Все еще сигналят: «И-аааа, и-аааа, и-ааааааа», но доносится слабее и слабее. Замерло, и слышно стало, как корова у Рассела мычит. А я все еще не догадываюсь. Подошел, открыл дверцу, занес ногу. Подумалось, правда, что машина как-то слишком накренилась по сравнению с дорожным уклоном, но не сообразил, пока не сел за руль и не тронул с места.

Ну, я так и остался сидеть, как сидел. А время уже к закату, и до города пять миль. Им даже не хватило храбрости сделать прокол, продырявить шину. Просто воздух выпустили. А я сижу и думаю про всю эту ораву черномазых на кухне у меня, и хоть бы один нашел время поставить запасное колесо на место и пару гаек затянуть. Немного только странновато, ведь даже она не могла предвидеть все заранее и насос из машины стянуть — разве что сейчас тут, пока он выпускал

воздух из камеры. Но всего вернее, что насос отдали Бену играть вместо брызгалки, потому что захоти он, так они для него всю машину разберут по винтику, а Дилси мне: «Никто до вашей машины не касался. На что она сдалась нам трогать». А я ей так скажу: «Ты и не знаешь, какие вы, ниггеры, счастливчики. Я в любое время готов с тобой меняться шкурами, потому что только белый может быть таким безмозглым, чтоб портить себе кровь из-за дрянной девчонки».

Пешком направился к Расселу. Автомобильный насос у него нашелся. Вот это уж просчет с их стороны. Но я все еще не мог поверить, что она настолько обнаглела. Просто не укладывалось в голове. Не знаю почему, но я никак до сих пор не усвою, что женщина способна на все. Ладно, думаю, забудем на минуту, что мы чувствуем друг к другу, поговорим спокойно. Я бы по отношению к тебе не смог так поступить. Какую б на тебя ни держал обиду. Что ни говори, а родство есть родство. И дело тут не в шуточке, на которую восьмилетний малыш и то способен, а в том, что ты родного дядю выставила на посмешище перед пижоном в красном галстучке. Наезжают к нам сюда, чтоб облапошить, и дальше — на кой им тут засиживаться у вахлачья, как они нас считают. Что правда, то правда, он у меня тут не засидится. Да и она тоже. Если ты так, то скатертью дорожка, можешь хоть и домой не заезжая.

У фермы Рассела я остановился, вернул ему насос и поехал дальше в город. Зашел в аптеку, выпил кока-колы, а оттуда на телеграф. К закрытию биржи курс упал до 12.21, на сорок пунктов. Помножь пять долларов на сорок и купи себе ума на эту сумму, а она тебе тут будет петь: мне обязательно надо, мне без них нельзя. Очень жаль, скажу ей, но обратись к кому-нибудь другому, а у меня нет — я слишком занят был, некогда было деньги зарабатывать.

Стою и только гляжу на него.

— Я вам сообщу новость, которая вас крайне удивит,— говорю.— Представьте, меня интересует курс на хлопковой бирже,— говорю.— Вам это и в голову не приходило никогда, не правда ли?

— Я сделал все, что мог, чтобы вручить ее вовремя,— говорит.— Дважды посылал в магазин и домой к вам звонил, но никто не знал, где вы,— говорит и роется в ящике.

— Вручить что? — спрашиваю. Подает мне телеграмму.— Она когда получена? — спрашиваю.

— В половине четвертого,— говорит.

— А сейчас десять минут шестого,— говорю.

— Я пытался вручить ее вовремя,— говорит,— но не мог нигде вас найти.

— А я при чем? — говорю. Распечатал ее, просто интересно глянуть, какую ложь они мне испекли на этот раз. Туговато, видимо, беднягам, если приходится им из Нью-Йорка в штат Миссисипи тянуть лапу, чтобы уворовать десять долларов в месяц. Продавайте, советуют. Ожидаются колебания курса общей тенденцией к понижению. Не впадайте панику связи правительственным отчетом.

— Во сколько такая писулька могла обойтись? — спрашиваю. Сказал.

— Она оплачена отправителем,— добавил.

— Премного им обязан,— говорю.— И без них знал. Пошлите-ка им вот что, с оплатой получателем,— говорю и беру бланк. Покупайте, пишу. Биржа накануне бурного поднятия. Колебания целью подловить дюжину-другую свеженьких провинциальных сосунков. Не впадайте панику.— Вот. С оплатой получателем,— говорю.

Пробежал глазом, потом на часы.

— Биржа закрылась час назад,— говорит.

— Ну,— говорю,— я тут тоже ни при чем. Я этой музыки не сочинял, я только позволил втянуть себя на небольшую сумму — понадеялся, что телеграфная компания будет держать меня в курсе.

— Мы вывешиваем сводку сразу же по получении,— говорит.

— Да ну,— говорю.— А в Мемфисе каждые десять секунд на доске новое,— говорю.— Я всего на шестьдесят семь миль не доехал туда днем.

— Так хотите, чтоб я передал это? — спрашивает.

— Все еще не изменил намерения,— говорю. Написал вторую телеграмму и отсчитал за нее деньги.— И эту тоже. Не спутайте только «покупайте» с попугаем.

Я вернулся в магазин. С конца улицы опять оркестр доносится из балагана. Замечательная вещь сухой закон. Бывало, в субботу приезжает семейство фермерское в город — «сам» при башмаках, остальные босиком, и шествуют улицей в пересыльную контору за своим заказом; теперь же все являются босые, включая «самого», и прямиком к балагану, а торговцы стоят в дверях лавок и только смотрят, все равно как тигры в клетках в два ряда. Эрл говорит:

— Надеюсь, ничего серьезного не случилось?

— Чего? — говорю. Он взглянул на свои часы. Потом подошел к дверям и сверил с башенными, что на здании суда.— Вам бы надо часики ценой в один доллар,— говорю.— Тогда не обидно хоть будет сверять каждый раз.

— Чего? — говорит.

— Ничего,— говорю.— Надеюсь, я не затруднил тут вас своим отсутствием.

— Народу было не особо,— говорит.— Все там на представлении. Так что все в порядке.

— А если не в порядке,— говорю,— то вы знаете, как поступить.

— Я сказал, все в порядке,— говорит.

— Я не глухой,— говорю.— А если не в порядке, то вы знаете, как поступить.

— Ты что, уволиться желаешь? — говорит.

— Хозяин здесь вы,— говорю.— Мои желания в расчет не принимаются. Только не воображайте, что вы держите меня здесь из милости.

— Ты был бы неплохой работник, Джейсон, если бы хотел,— говорит.

— По крайней мере, свою работу я исполняю, а в чужие дела носа не сую,— говорю.

— Не пойму, зачем ты так напрашиваешься на увольнение,— говорит.— Знаешь ведь, что в любое время можешь уйти по-хорошему и мы расстанемся друзьями.

— Потому я, может, и не ухожу,— говорю.— Пока что я свои обязанности выполняю, даром жалованья не беру.— Я пошел в заднюю комнату, выпил воды и вышел на крыльцо. Джоб кончил с культиваторами все-таки. Тихо во дворе, и скоро голове стало легче немного. Слышно, как в балагане запели, а вот опять оркестр. А ну их, пусть хоть до последнего цента обирают округ, не с меня же они дерут. Я свое сделал; в моем возрасте надо уже знать, когда махнуть рукой и отойти, иначе будешь просто-напросто дурак. Тем более какое мне дело. Будь она мне дочь, тогда разговор другой, тогда бы ей не до того было, она бы у меня тоже трудилась на прокорм нашего сборища инвалидов, кретинов и ниггеров, потому что я просто постеснялся бы ввести жену в наш дом. Я слишком уважаю человека. Я-то мужчина и способен выносить, притом они родня мне, и я желал бы посмотреть, какого цвета глаза будут у того, кто неуважительное слово посмеет

сказать про женщину, мою приятельницу, именно добропорядочные этим-то и занимаются. Найдите мне такую из добропорядочных и церковь посещающих, чтоб была хоть вполовину такая честная, как Лорейн, даром что прости-господи. Попробовал бы я жениться, говорю, то-то бы вы взвились, скажете, нет? А она мне: Я хочу, чтобы ты был счастлив, завел бы семью, не тратил бы свою жизнь в каторжном труде на нас. Вот скоро уж я уйду навеки и тогда ты женишься, но тебе не найти женщину, достойную тебя. Как же, говорю, женись я только. Да вы бы из гроба вскочили — нет, скажете? Нет уж, говорю, спасибо, достаточно с меня заботы о тех женщинах, которые у меня уже в доме. Стоит мне жениться, и наверняка окажется какая-нибудь наркоманка. А в нашей семейке единственно этого недостает.

Солнце спустилось уже за методистскую церковь, вокруг шпиля голуби туда-сюда летают, и когда оркестр кончил, то стало слышно, как они бормочут. Еще и четырех месяцев не прошло с рождества, а их опять уже столько почти, сколько было. Пастор Уолтолл может сиять и радоваться. Такой шум поднял, как будто мы людей убиваем, лезет с увещеваниями, даже у одного за ружье ухватился, мешает прицелиться. Про мир на земле нам поет и благоволение ко всему сущему и что малая птица не должна упасть. Ему-то что, пусть хоть миллион их расплодится. Зачем ему знать, который час, что он — делом занят? Притом и налогов не платит, не его ж это денежки ежегодно ухлопываем на чистку башенных часов, чтоб хоть шли мало-мальски. Сорок пять долларов ухнули мастеру в тот раз. Больше сотни новооперившихся я насчитал там сейчас на земле. Дурачье, что не улетают отсюда из этого города. А хорошо все же, что я семьей не связан, свободен как голуби.

Опять заиграли, наяривают, как обычно под занавес. Вахлачье, надо думать, довольно. Возможно, им хватит теперь этой музыки на четырнадцать-пятнадцать миль обратной тряски в фургоне и пока в потемках распрягать будут, корму задавать, доить. Коровам своим смогут насвистывать эти мотивчики и пересказывать остроты, а после смогут прикинуть, сколько выгадали на том, что скотину не водили с собой в балаган. Скажем, если у тебя детей пятеро, а мулов семеро и был ты с семьей на представлении, то в итоге получилось четверть доллара чистого прибытку. Такие калькуляции в их духе. Эрл в дверях показался со свертками.

— Вот еще несколько заказов для доставки на дом,— говорит.— А где дядюшка Джоб?

— Надо думать, на представление отправился,— говорю.— За ними глаз да глаз.

— Он не сказавшись не уйдет,— говорит.— На него-то я могу положиться.

— То есть не то что на меня,— говорю.

Эрл подошел к дверям, выглянул, прислушался.

— А хорош у них оркестр,— говорит.— Пожалуй, сейчас они и кончат.

— Если не собираются заночевать там,— говорю. Ласточки засновали уже, и слышно, как на деревьях во дворе суда воробьи начинают базар. То и дело стайка вспорхнет, затолчется над крышей и обратно скроется. По-моему, от них вреда не меньше, чем от голубей. И во дворе не посидишь там из-за них. Не успел присесть — кап! Прямо на шляпу. Но это надо быть миллионером, чтобы стрелять их, когда заряд стоит пять центов. Вот рассыпать бы отравленной приманки на площади, и в течение одного бы дня избавились, потому что если торговец не может углядеть за курами, чтоб не бродили по всей площади, то ему не птицу надо продавать, а нежрущий товар — капусту или

там плуги. А если собак не могут удержать при доме, то, значит, не нужна хозяину собака или такой уж никудышный он хозяин. Что я и говорю, если в городе всю торговлю и дела вести по-деревенски, то и будет не город, а деревня.

— Все равно мало радости вам, если даже и кончили,— говорю.— Они сразу же запрягать и по домам, и то доберутся только к полуночи.

— Что ж,— говорит.— Зато хоть развлечение им было. Не страшно, если они иногда и потратятся на такое дело. Фермер на холмах у нас трудится как каторжный, а благ — никаких.

— Никто его не принуждает,— говорю.— Ни на холмах, ни в низинах.

— А где бы мы с тобой были, когда бы не фермеры? — говорит.

— Я лично лежал бы сейчас дома,— говорю.— И на лбу у меня сейчас пузырь был бы со льдом.

— У тебя слишком часто эти головные боли,— говорит.— Ты бы занялся своими зубами как следует. Он утром их тебе все как следует проверил?

— Кто — он? — говорю.

— Ты же сказал, что у зубного был?

— Вам досадно, что у меня головная боль в рабочее время? — говорю.— Вам это досаждает? — Через переулок уже потянулись с представления.

— Идут гуляки наши,— говорит Эрл.— Пойду-ка за прилавок.— И ушел. Забавное дело, на что б вы ни пожаловались, мужчина вам посоветует сходить к зубному, а женщина посоветует жениться. Причем всегда так: у самого всю жизнь все из рук валится, а вас станет поучать, как вести дело. Какой-нибудь профессоришка из колледжа— пары целых носков за душой нет, а вас будет учить, как за десять лет сделаться миллионером, а баба, которая даже мужа себе подцепить и то не сумела, будет вас наставлять по семейным вопросам.

Старикашка Джоб во двор въехал. Когда замотал наконец вожжи вокруг державки для кнута, я спрашиваю его:

— Ну как, понравились артисты?

— Я еще там не был,— говорит.— Но если меня вечером сегодня арестовывать придут, то смогут найти в той палатке.

— Так я и поверю тебе,— говорю.— Не был, как же. С трех часов дня пропадаешь. Мистер Эрл сейчас только во двор выходил, искал тебя.

— Я делом занимался,— говорит.— Мистер Эрл знает, где я был.

— Это ты его морочить будешь,— говорю.— Да не бойся, я тебя не выдам.

— А как же,— говорит,— кого ж мне тут другого и морочить, кроме него. Какой мне расчет тех морочить, с кем на исходе дня субботнего что мы видались, что мы не видались. Нет уж, вас я морочить не стану,— говорит.— Слишком вы хитрый, где уж мне. Это точно,— говорит и укладывает несчастных пять-шесть сверточков в фургон со страшно занятым видом.— Слишком вы хитрый. Вас во всем городе нету хитрей. На что уж тут есть человек, сам себя кругом пальца обведет, а вы и его в дураках оставляете.— Влез в фургон, отмотал вожжи.

— Это какой такой человек? — спрашиваю.

— А мистер Джейсон Компсон,— говорит.— Н-но, коняга!

Колесо одно вот-вот соскочит. Смотрю вслед: интересно, успеет хоть он выехать из переулка. Дай только черномазому фургон или там шарабан. В этом ветхом драндулете, говорю, срам и на люди показываться, а вы будете держать его в каретнике еще сто лет, чтоб

только принца этого раз в неделю катать в нем на кладбище. Не он, говорю, первый, кому не все то по вкусу, что делать приходится. Я бы с ним так: либо в машине езди, как все люди, либо торчи дома. Как будто он понимает, куда его везут и на чем везут, а мы для него шарабан держи и лошадь, чтобы выезд совершал по воскресеньям.

Сильно Джоба беспокоит, слетит колесо или нет,— ему только бы пешком идти обратно не слишком далеко было. Что я и говорю: им место в поле, гнуть горб от зари и до зари. Сытость, легкая работа — для них хуже нет. Достаточно ниггеру чуть пообжиться при белых, и хоть на помойку выбрасывай. Такими становятся ловчилами — прямо на глазах тебя обжулит, отвертится от дела. Взять хоть Роскуса, что единственную допустил оплошность — однажды взял нечаянно и помер. Отлынивать и воровать мастера, причем огрызаться тебе будут с каждым днем все наглее, пока не доведут, что схватишь первую попавшуюся планку тарную и раскроишь ему башку. Дело, конечно, хозяйское. Но я б на месте Эрла посчитал это убийственной рекламой магазину, чтобы мой товар по городу развозил ниггер, из которого песок сыплется, причем в фургоне, который, того и гляди, тоже рассыплется на первом повороте.

Солнце уже все ушло в верхушки деревьев, и в магазине понемногу делается темно. Я прошел к входным дверям. На площади пусто. Эрл в задней комнате запирает сейф, а вот и часы ударили на башне.

— Замкни-ка со двора,— говорит. Я пошел, запер, вернулся.— Ты, значит, вечером на представление,— говорит.— Я, помнится, дал тебе вчера контрамарки?

— Да,— говорю.— Хотите их обратно?

— Нет-нет,— говорит.— Я просто уточнить, дал их или нет. А то еще зря пропадут.

Эрл запер двери, сказал «до свиданья» и пошел. Воробьи по-прежнему трещат на деревьях, но на площади пусто, только машины две-три. У аптеки стоит какой-то «форд», но я даже не взглянул проходя. Хорошенького понемножку. Попробовал на путь ее наставить — и хватит с меня. Научить, что ли, Ластера водить машину, пусть тогда гоняются за ней хоть целыми днями, а я дома посижу, поиграю с Беном.

Вошел, купил сигар. Потом — дай, думаю, еще головной боли себе подбавлю для ровного счета — постоял, поболтал с ними.

— Ну, а ты,— говорит Мак,— надо думать, на «Янки» в нынешнем сезоне ставишь?

— Это с какой стати? — говорю.

— Как с какой? — говорит.— Ведь первая команда во всей лиге.

— Дудки,— говорю.— Они уже выдохлись. Что ж, по-твоему, им вечно будет так везти?

— Я бы не назвал это везеньем,— говорит Мак.

— А я в жизни не поставлю на команду, где этот лбина Рут[1] играет,— говорю.— Даже если буду знать заранее, что они выиграют.

— Да ну? — говорит Мак.

— Я тебе в обеих лигах насчитаю по десятку игроков куда более ценных, чем Рут,— говорю.

— А что ты имеешь против Рута? —спрашивает Мак.

— Ничего,— говорю.— Ровно ничего. Мне даже на фотографию его смотреть противно.— Я вышел на улицу. Фонари загораются, народ домой идет. Иногда воробьи не унимаются до самой ночи. В тот вечер, когда у суда зажгли новые фонари, свет разбудил их, и всю ночь они летали и тыкались в лампочки. И так несколько дней подряд,

[1] Бейб Рут — знаменитый бейсболист.

а потом утром как-то их не стало. А месяца через два опять вернулись всей оравой.

Поехал домой. В доме у нас огней еще не зажигали, но все они высматривают меня в окна, а Дилси на кухне разоряется, что ужин преет на плите,— как будто на ее деньги куплено. Послушать ее, можно подумать, что этот ужин всемирной важности и все пропало, если он из-за меня на несколько минут задержан. Зато хоть раз приехал и не вижу Бена с ниггеренком за воротами. Как медведь с мартышкой в одной клетке. Чуть только завечереет — он к воротам, как корова в родной сарай,— уцепится за прутья, мотает башкой, постанывает. И науки ему никакой. Кажется, крепко поплатился за тот раз с незапертой калиткой. Если бы надо мной такое сотворили, я бы как от огня от этих школьниц. Мне иногда любопытно, о чем он думает там у калитки, когда смотрит, как девочки идут из школы, и силится что-то хотеть, а что — не помнит и не помнит того даже, что оно уже ему не нужно и не может быть нужно теперь. Или о чем он думает, когда его спать кладут и он раздетый на себя вдруг глянет и тут же заревет. Только я скажу, что зря они им ограничились. Знаю, говорю, какое к тебе надо средство. То же самое, что к Бену, тогда бы ты вела себя прилично. А если тебе неясно, о чем речь,— поразузнай у Дилси.

У матушки в комнате горит свет. Я поставил машину в гараж, вошел в кухню. Там Ластер с Беном.

— А где Дилси? — спрашиваю.— На стол накрывает?

— Мэмми наверху у мис Калайн,— говорит Ластер.— Там у них шум. Как мисс Квентина вернулась домой, так и началось. Мэмми их там разнимает. Мистер Джейсон, а артисты сегодня уже представляют?

— Да,— говорю.

— Я так и думал, что это их оркестр играет,— говорит.— Вот бы мне пойти,— говорит.— Если б только было у меня четверть доллара.

Вошла Дилси.

— Пожаловали-таки, наконец? — говорит.— Где это вас носило? Вы же знаете, сколько у меня работы, неужели не можете вовремя?

— Возможно, я ходил на представление,— говорю.—Готов ужин?

— Вот бы мне пойти,— говорит Ластер.— Если б только у меня был четвертак.

— Нечего тебе ни на какие представления,— говорит Дилси.— А вы идите в гостиную посидите,— говорит.— Наверх не ходите, а то снова их разбудоражите.

— А что там такое? — спрашиваю.

— Квентина пришла и говорит, вы гонялись за ней весь вечер, а мис Калайн на нее как накинется. Зачем вы ее обижаете? Неужели нельзя вам жить в одном доме с собственной племянницей родной и не ссориться?

— Когда мне было с ней ссориться, если я ее с утра сегодня не видел,— говорю.— И чем это я ее обидел? Что в школу заставил пойти? Свинство, конечно, с моей стороны,— говорю.

— Вы лучше занимайтесь своими делами, а ее не трожьте,— говорит Дилси.— Я уж сама с ней полажу, только вы с мис Калайн не даете мне вот. Идите посидите тихо-мирно, пока на стол накрою.

— Если бы мне четвертак,— говорит Ластер,— то я бы пошел на артистов.

— А если бы тебе крылья, то на небо полетел бы,— говорит Дилси.— Хватит, ни словечка мне больше про этих артистов.

— Да, кстати,— говорю.— Мне тут дали два билета.— Достал их из пиджачного кармашка.

— И вы пойдете? — спрашивает Ластер.

— Ни за что,— говорю.— Десять долларов приплатят, и то не пойду.

— Дайте мне один, мистер Джейсон,— говорит он.

— А ты купи у меня,— говорю.— Желаешь?

— У меня денег нету,— говорит.

— Жаль-жаль,— говорю. И вроде ухожу.

— Дайте мне один, мистер Джейсон,— говорит.— Вам же они оба не нужны.

— Да уймись ты,— Дилси ему.— Знаешь ведь, он даром ничего не даст.

— А сколько вы за него хотите? — Ластер меня спрашивает.

— Пять центов,— говорю.

— У меня столько нету,— говорит.

— А сколько у тебя есть? —спрашиваю.

— Нисколько нету,— говорит.

— Ну что ж,— говорю. И к дверям направляюсь.

— Мистер Джейсон,— опять он.

— Да замолчишь ты? — Дилси ему.— Он же тебя нарочно дразнит. Ему самому нужны эти билеты. Идите себе, Джейсон, не мучьте его зря.

— Они мне вовсе не нужны,— говорю и вернулся обратно к плите.— Я, собственно, вошел, чтобы сжечь их. Но если хочешь, за пятак уступлю один,— говорю и смотрю на него, а сам открываю конфорку.

— Да у меня нету,— говорит.

— Ну что ж,— говорю. И бросил в огонь одну контрамарку.

— Ох, Джейсон,— Дилси мне.— И не стыдно вам?

— Мистер Джейсон,— говорит Ластер.— Пожалуйста, сэр. Я целый месяц буду вам шины каждый день накачивать.

— Деньги на бочку,— говорю.— Всего за пятак уступаю.

— Молчи, Ластер,— говорит Дилси и за руку его как оттащит от плиты.— Ну, чего же вы? — говорит.— Жгите и второй. Кончайте.

— Всего за пятак,— говорю.

— Да кончайте,— говорит Дилси.— Нет у него пятака. Кончайте. Кидайте в огонь.

— Ну что ж,— говорю. Бросил и вторую в огонь, и Дилси задвинула конфорку.

— А еще взрослый человек, мужчина,— говорит.— Уходите из моей кухни. Замолчи,— говорит она Ластеру.— А то и Бенджи заплачет. Я нынче у Фрони возьму для тебя четвертак, завтра вечером пойдешь. Ну, уймись.

Я пошел в гостиную. Наверху там они как воды в рот набрали. Раскрыл газету. Немного спустя вошли Бен с Ластером. Бен прямо к темному пятну на стене, где раньше зеркало висело, водит по этому месту руками, слюни пускает, мычит. Ластер давай кочергой ковыряться в камине.

— Ты зачем? — говорю.— Нечего камин сегодня разжигать.

— Это я, чтобы он утихомирился,— говорит.— И на пасху всегда же холодно.

— Сегодня пока что не пасха,— говорю.— Поставь кочергу, где стояла.

Поставил, с матушкиного кресла взял подушечку, дал Бену, тот ссутулился перед камином на полу и замолчал.

Читаю газету. Наверху у них по-прежнему ни шороха, а уже Дилси вошла к нам, Ластера с Беном услала на кухню кормиться и «Ужин подан» говорит.

— Хорошо,— говорю. Вышла. Сижу, газету читаю. Немного погодя слышу: Дилси дверью скрипнула, засматривает.

— Что ж вы не идете кушать? — спрашивает.

— Жду ужина,— говорю.

— Ужин подан,— говорит.— Я же сказала.

— Вот как? — говорю.— Виноват, но я не слышал, чтобы сверху кто-нибудь сошел в столовую.

— Они не сойдут,— говорит.— Идите поужинайте, тогда я смогу им наверх отнести.

— Скоропостижно заболели? — говорю.— Ну и что сказал доктор? Надеюсь, не оспа?

— Идите же, Джейсон,— говорит.— Не задерживайте.

— Ну что ж, подождем ужина,— говорю и опять газету раскрываю.

Дилси, чувствую, смотрит на меня с порога. Продолжаю читать.

— Ну зачем вы это? — говорит.— Знаете же, сколько у меня и без того хлопот.

— Днем матушка спускалась вниз обедать,— говорю.— Конечно, если сейчас она себя чувствует хуже, делать нечего. Но тем, кто меня помоложе, придется потреблять купленные мной продукты за общим столом. Позовешь меня, когда ужин будет подан,— говорю и продолжаю читать газету. Слышу, как Дилси наверх взбирается, волоча ноги, кряхтит, охает, как будто лестница отвесная и каждая ступенька вышиной в три фута. Слышу голос ее у матушкиной двери, потом у Квентининой — та заперлась, должно быть,— потом обратно к матушке заковыляла, и матушка сама пошла, зовет Квентину. Теперь спускаются. Читаю газету.

Дилси снова стала на пороге.

— Ну идите же,— говорит,— пока нового неподобства не выдумали. Раскуролесились сегодня.

Вошел в столовую. Квентина сидит, опустив голову. Опять уже накрасилась. А нос белеет, как фарфоровый изолятор.

— Приятно, что вы чувствуете себя в состоянии сойти к столу,— говорю матушке.

— Я рада угодить тебе хоть этой малостью,— говорит.— Как бы плохо я себя не чувствовала. Я ведь знаю, что после целодневного труда человеку хочется поужинать в кругу семьи. Я уж стараюсь угождать. Если бы только вы с Квентиной были в лучших отношениях. Мне бы тогда легче было.

— У нас с ней отношения нормальные,— говорю.— Я же не против, пускай хоть весь день у себя дуется там запершись. Но завтракать, обедать и ужинать попрошу к столу. Я понимаю, что это я чересчур многого от нее требую, но такой порядок в моем доме. В вашем то есть.

— Дом твой,— говорит матушка.— Глава дома теперь ты ведь.

Квентина так и сидит опустив голову. Я распределил жаркое по тарелкам, принялась за еду.

— Как там у тебя — хороший кусок мяса? — говорю.— Если нет, то я получше выберу.

Молчит.

— Я спрашиваю, хороший кусок мяса достался тебе? — говорю.

— Что? — говорит.— Да. Хороший.

— Может, еще риса положить? — говорю.

— Не надо,— говорит.

— А то добавлю,— говорю.

— Я больше не хочу,— говорит.

— Не за что,— говорю.— На здоровье.

— Ну, как голова? — спрашивает матушка.

— Какая голова? — говорю.

— Я боялась, что у тебя начинается приступ мигрени,— говорит.— Когда ты днем приезжал.

— А-а,— говорю.— Нет, раздумала болеть. Не до головы мне было, дел было по горло в магазине.

— Потому-то ты и приехал позже обычного? — спрашивает матушка. Тут замечаю, Квентина навострила уши. Наблюдаю за ней. По-прежнему ножом и вилкой действует, но глазами — шнырь на меня и тут же обратно в тарелку.

— Да нет,— говорю.— Я днем, часа в три, дал свою машину одному человеку, пришлось ждать, пока он вернется.— И ем себе дальше.

— А кто он такой? — спрашивает матушка.

— Да из этих артистов,— говорю.— Там муж его сестры, что ли, укатил за город со здешней одной, а он за ними вдогонку.

У Квентины нож и вилка замерли, но жует.

— Напрасно ты вот так даешь свою машину,— говорит матушка.— Слишком уж ты безотказный. Я сама только ведь в экстренных случаях беру ее у тебя.

— Я и то начал было подумывать,— говорю.— Но он вернулся, все в порядке. Нашел, говорит, что искал.

— А кто эта женщина? — спрашивает матушка.

— Я вам потом скажу,— говорю.— Эти вещи не для девичьего слуха.

Квентина перестала есть. Только воды отопьет и сидит, крошит печенье пальцами, уткнувшись в свою тарелку.

— Да уж,— говорит матушка.— Затворницам вроде меня трудно себе даже и представить, что творится в этом городе.

— Да,— говорю.— Это точно.

— Моя жизнь так далека была от всего такого,— говорит матушка.— Слава богу, я прожила ее в неведенье всех этих мерзостей. Не знаю и знать не хочу. Не похожа я на большинство женщин.

Молчу, ем. Квентина сидит, крошит печенье. Дождалась, пока я кончил, потом:

— Теперь можно мне уйти к себе? — не подымая глаз.

— Чего? — говорю.— Ах, пожалуйста. Тебе ведь после нас не убирать посуду.

Подняла на меня глаза. Печенье уже докрошила все, но пальцы еще двигаются, крошат, а глаза прямо как у загнанной в угол крысы, и вдруг начала кусать себе губы, будто в этой помаде и правда свинец ядовитый.

— Бабушка,— говорит.— Бабушка...

— Хочешь еще поесть чего-нибудь? — говорю.

— Зачем он со мной так, бабушка? — говорит.— Я же ничего ему не сделала.

— Я хочу, чтобы вы были в хороших отношениях,— говорит матушка.— Из всей семьи остались вы одни, и я так бы хотела, чтобы вы не ссорились.

— Это он виноват,— говорит.— Он мне жить не дает, я не могу так. Если он не хочет меня здесь, почему ж не отпускает меня к...

— Достаточно,— говорю.— Ни слова больше.

— Тогда почему он мне жить не дает? — говорит.— Он... он просто...

— Он тебе с младенчества взамен отца дан,— матушка ей.— Мы обе едим его хлеб. Он ли не вправе ждать от тебя послушания?

— Это все из-за него,— говорит. Вскочила со стула.— Это он до-

вел меня. Если бы он хоть только...— смотрит на нас, глаза загнанные, а локтями как-то дергает, к бокам жмет.

— Что — если б хоть только? — спрашиваю.

— Все, что я делаю, все будет из-за вас,— говорит.— Если я плохая, то из-за вас одного. Вы довели меня. Лучше бы я умерла. Лучше б мы все умерли.— И бегом из комнаты. Слышно, как пробежала по лестнице. Хлопнула дверь наверху.

— За все время первые разумные слова сказала,— говорю.

— Она ведь прогуляла сегодня школу,— говорит матушка.

— А откуда вы знаете? — говорю.— В городе, что ли, были?

— Так уж, знаю,— говорит.— Ты бы помягче с ней.

— Для этого мне надо бы видеться с ней не раз в день,— говорю,— а чуточку почаще. Вот вы добейтесь, чтобы она приходила к столу в обед и в ужин. А я тогда ей буду каждый раз давать дополнительный кусок мяса.

— Ты бы мог проявить мягкость в разных других вещах,— говорит.

— Скажем, не обращал бы внимания на ваши просьбы и позволял бы ей прогуливать, да? — говорю.

— Она прогуляла сегодня,— говорит.— Уж я знаю. По ее словам, один мальчик днем повез ее кататься, а ты за ней следом поехал.

— Это каким же способом? — говорю.— Я ведь отдал на весь день машину. Прогуляла она нынче или нет, это дело уже прошлое,— говорю.— Если вам обязательно хочется переживать, попереживайте-ка лучше насчет будущего понедельника.

— Мне так хотелось, чтобы вы с ней были в хороших отношениях,— говорит.— Но ей передались все эти своевольные черты. И даже те, что были в характере у Квентина. Я тогда же подумала — зачем еще давать ей это имя вдобавок ко всему, что и так унаследовано. Временами приходит на ум, что господь покарал меня ею за грехи Кэдди и Квентина.

— Вот так да,— говорю.— Хорошенькие у вас мысли. С такими мыслями немудрено, что вы беспрерывно хвораете.

— О чем ты? — говорит.— Я не пойму что-то.

— И слава богу,— говорю.— Добропорядочные женщины много такого недопонимают, без чего им спокойнее.

— Оба они были с норовом,— говорит.— А только попытаюсь их обуздать, они тотчас к отцу под защиту. Он вечно говорил, что их незачем обуздывать, они, мол, уже научены чистоплотности и честности, а в этом вся возможная наука. Теперь, надеюсь, он доволен.

— Зато у вас остался Бен,— говорю.— Так что не горюйте.

— Они намеренно выключали меня из круга своей жизни,— говорит матушка.— И вечно вдвоем с Квентином. Вечно у них козни против меня. И против тебя, но ты слишком мал был и не понимал. Они всегда считали нас с тобой такими же чужаками, как дядю Мори. Не раз, бывало, говорю отцу, что он им слишком дает волю, что они чересчур отъединяются от нас. Пошел Квентин в школу, а на следующий год пришлось и ее послать раньше времени; раз Квентин — значит, и ей непременно. Ни в чем буквально не хотела от вас отставать. Тщеславие в ней говорило, тщеславие и ложная гордость. А когда начались ее беды, я так и подумала, что Квентин захочет перещеголять ее и в этом отношении. Но как могла я предположить, что он таким эгоистом окажется и... мне и не снилось, что он...

— Возможно, он знал, что ребенок будет девочка,— говорю.— И что двух таких цац ему уже просто не выдержать.

— А он мог бы наставить ее на хорошее,— говорит.— Он был,

кажется, единственным, кто мог в какой-то мере на нее влиять. Но и в этом господь покарал меня.

— Да-да,— говорю.— Какая жалость, что он утонул, а я остался. С ним бы вам совсем другое дело.

— Ты говоришь это в упрек мне. Впрочем, я его заслуживаю,— говорит.— Когда стали продавать землю, чтобы внести плату за университет, я говорила отцу твоему, что он и тебя обязан обеспечить в равной мере. Но затем Герберт предложил устроить тебя в своем банке, я и подумала, что теперь уж твоя карьера обеспечена; потом, когда стали накопляться долги, когда мне пришлось продать нашу мебель и остаток луга, я тотчас написала ей — не может же она не осознать, думаю, что ей с Квентином досталась помимо их доли частично также доля Джейсона и что теперь ее долг возместить ему. Она, говорю, сделает это хотя бы из уважения к отцу. Тогда я верила еще — я ведь всего только бедная старуха, с детства приученная верить, что люди способны чем-то поступиться ради родных и близких. В этой вере я повинна. Ты вправе меня упрекать.

— По-вашему, выходит, я нуждаюсь в чужой поддержке? — говорю.— Тем более от женщины, которая даже кто отец ее ребенка затрудняется сказать.

— Ах, Джейсон,— мамаша в ответ.

— Нет-нет,— говорю.— Я нечаянно. Не подумавши сказал.

— Неужели еще и это уготовано мне после всего, что я перестрадала.

— Что вы, что вы,— говорю.— Я не подумавши.

— Надеюсь, хоть сия чаша минует меня,— говорит.

— Само собой,— говорю.— Она слишком похожа на них обоих, чтобы еще сомневаться.

— Я просто уж не в состоянии ее испить,— говорит.

— Так перестаньте вы об этом думать,— говорю.— Что, опять она вас растревожила, не хочет сидеть дома вечерами?

— Нет. Я заставила ее осознать, что это делается для ее же блага и что когда-нибудь она сама мне будет благодарна. Она берет к себе наверх учебники, я запираю ее на ключ, и она сидит, учит уроки. У нее до одиннадцати часов иногда горит свет.

— А откуда вам известно, что она уроки учит? — говорю.

— Я уж не знаю, чем ей больше одной там заниматься,— говорит.— Книг ведь она не читает.

— Натурально,— говорю.— Где вам знать. И благодарите судьбу, что не знаете,— говорю, но не вслух. Все равно без толку. Расплачется только опять, и возись с ней.

Слышу, как всходит по лестнице в спальню. Потом окликнула Квентину, и та отозвалась из-за двери: «Чего вам?» — «Покойной ночи»,— матушка ей. Щелкнула в дверном замке ключом и обратно к себе в спальню.

Я докурил сигарету и поднялся наверх, а у Квентины еще горит свет. Замочная скважина светится, но ни звука оттуда. Что-то тихо очень она занимается. Возможно, в школе выучилась этому искусству. Я пожелал матушке спокойной ночи, прошел к себе, достал шкатулку и снова пересчитал. За стеной Великий Американский Мерин басом храпит, как лесопилка. Я где-то читал, над певчими нарочно производят эту операцию, чтоб голос стал как женский. Но, возможно, он не знает, что над ним произвели. По-моему, он даже и не знает ни зачем он на ту девочку тогда, ни почему мистер Берджес доской от забора его успокоил. А если бы со стола его прямо, пока под наркозом, переправили в Джексон, то он даже не заметил бы и разницы — что ему там, что дома. Но Компсону такой простой выход

и в голову не придет. Сложности нам подавай. И вообще зачем с этим было ждать, пока он вырвется на улицу и на школьницу набросится на глазах у ее родного отца. Я так скажу, тем хирургам раньше бы начать и позже кончить. Я знаю по крайней мере еще двух, кого бы заодно не мешало оформить в том же духе, причем одну из них недалеко искать. Хотя, по-моему, и это не поможет. Что я и говорю, шлюхой родилась, шлюхой подохнет. Но вы мне дайте одни сутки, чтоб ко мне не совались с советами эти нью-йоркские обиралы. Мне не надо тысячных кушей — на эту удочку ловите игрочишек-сосунков. Дайте мне только честный шанс вернуть свои деньги обратно. А после чего можете вселять ко мне хоть все мемфисские бордели и сумасшедший дом в придачу: парочка ложись в мою постель, третий займи за столом мое место — милости прошу.

8 апреля 1928 года

День начинался промозгло и мутно. Надвигался с северо-востока пеленой серого света, сеющей не капли, а пылевидную едкую морось, и когда Дилси отворила дверь своей хибары и показалась в проеме, ее косо и колюче обдало этой словно бы не водяной, а какой-то жидко-масляной леденеющей пылью. В черной жесткой соломенной шляпе поверх платка-тюрбана, в шелковом пурпурном платье и в бурого бархата накидке, отороченной облезлым безымянным мехом, Дилси встала на пороге, подняв навстречу ненастью морщинистое впалое лицо и дрябло-сухую, светлую, как рыбье брюшко, ладонь, затем отпахнула накидку и осмотрела перед платья.

Цвета царственного и закатного, оно поло падало с плеч на увядшие груди, облегало живот и вновь обвисало, слегка раздуваясь над нижними юбками, что с разгаром весны и тепла будут сбрасываться слой за слоем. Дилси смолоду была дородна, но ныне только остов громоздился, дрябло драпированный тощей кожей, тугою разве лишь на животе, почти отечном,— как если бы мышца и ткань были зримый запас стойкости или бесстрашья духа, весь израсходованный за дни и годы, и один костяк остался неукротимо выситься руиной иль вехой над чревом глухим и дремотным, неся над собой опавшее и костяное лицо, подставленное сейчас непогоде с выражением вместе и покорствующим, и по-детски удивленно-огорченным. Постояв так, Дилси повернулась, ушла обратно в хибару и затворила дверь.

Земля вокруг порога была голая, точно от многих поколений босых ног покрывшаяся патиной, налетом, какой бывает на старом серебре или на стенах мексиканских мазанок. Рядом с хибарой, в летнюю пору ее затеняя, стояли три тутовых дерева, и молодая листва их, которая позднее станет спокойной и широкой, как ладони, плоско трепетала, струилась под ветром. Порывом его неизвестно откуда принесло двух соек, пестрыми клочками бумаги или тряпок взметнуло на сучья, и они закачались там, хрипуче ныряя и вскидываясь на ветру, рвущем, уносящем — тоже как тряпье или бумагу — их резкие крики. Еще три сойки прилетели, и все впятером заныряли и загалдели на мятущихся ветвях. Дверь открылась, и снова показалась Дилси, на этот раз в мужской войлочной шляпе, в синем ситцевом линялом платье, в армейской шинели и пошла через двор в кухню, а платье трепыхалось вокруг ног, криво пузырясь из-под обшарпанных шинельных пол.

Минутой позже она вышла из кухни с зонтиком и, наклонно загораживаясь им, направилась к поленнице; там положила было раск-

рытый зонтик наземь, но — еле поймав — ухватила снова, озираясь, борясь с ветром. Затем закрыла, положила зонтик, набрала поленьев в охапку, подняла зонтик, раскрыла его наконец, понесла дрова на крыльцо и, шатко удерживая их на согнутой руке, ухитрилась закрыть зонтик и поставила в углу за дверью. Дрова ссыпала у плиты в ящик. Сняла шинель и шляпу, сдернула с гвоздя грязный передник, надела и принялась растапливать плиту, стуча колосниками и гремя конфорками. В это время с черной лестницы послышался призывающий голос миссис Компсон.

Она стояла на верхней площадке, запахивая у горла стеганый черный атласный халат. В другой руке она держала красную резиновую грелку и через безжизненно-равные промежутки роняла: «Дилси!» в тихий лестничный пролет, уходящий во мрак и снова светлеющий в самом низу от серого окошка. «Дилси»,— звала она тоном бесцветным, ровным и неторопливым, как бы вовсе и не ожидающим ответа. «Дилси».

Та откликнулась и перестала громыхать, но не успела еще подойти к дверям столовой, как зов раздался снова, а пока дошла до лестницы — еще раз. Голова Дилси очертилась на брезжущем пятне окна.

— Иду, иду,— сказала Дилси.— Вот она я. Только нагреется, сразу же налью вашу грелку.— Подобрав подол, она стала всходить, заслонив собою совершенно свет окошка.— Положьте ее на пол и идите обратно в постель.

— Мне не понять было, в чем дело,— сказала миссис Компсон.— Я проснулась не менее часа назад, и все это время из кухни ни звуки.

— Положьте грелку и в постель идите,— сказала Дилси. Она одолевала ступеньки, бесформенная, тяжело сопящая.— Через минуту растоплю, а еще через две — закипит.

— Я пролежала не менее часа так,— сказала миссис Компсон.— Стала уж думать: возможно, ты ждешь, чтобы я сама спустилась и разожгла плиту.

Дилси взошла наверх, взяла грелку.— Сейчас будет вам горяченькая,— сказала она.— Ластер нынче проспал, вчера с представления ночью вернулся. Сама уж растоплю. Ну, идите, не будите остальных, пока я не управлюсь.

— Раз ты позволяешь Ластеру манкировать обязанностями, то и страдай сама из-за него,— сказала миссис Компсон.— Джейсон узнает — не похвалит. Сама знаешь.

— Не на Джейсоновы денежки билет был бран,— сказала Дилси.— За это уж будьте спокойны.— Она стала спускаться. Миссис же Компсон вернулась в свою комнату. Ложась снова в постель, она слышала, как Дилси все еще спускается, и эта мучительная медленность стала бы полностью невыносимой, если бы шаги наконец не убыли, не заглохли за качающейся створкой двери.

Войдя в кухню, Дилси развела огонь в плите и принялась готовить завтрак. Среди дела она вдруг подошла, глянула в окно на хибару, затем отворила дверь во двор и крикнула сквозь непогодь:

— Ластер! — Прислушалась, клоня, пряча лицо от ветра.— Ла-астер! — Прислушалась, снова хотела позвать, но тут Ластер выюркнул из-за угла.

— Да, мэм? — сказал он столь невинным голоском, что Дилси так на него и уставилась, удивленно и проницающе.

— Ты где там куролесишь? — спросила она.

— Нигде,— ответил он.— Просто в погребе был.

— А зачем ты туда лазил? — сказала она.— Да не стой под дождем, дуралей.

— Ни за чем,— ответил Ластер. Поднялся на крыльцо.

— И не смей мне на порог без охапки дров,— сказала Дилси.— Я тут и дрова за тебя таскай, и плиту за тебя топи. Говорено тебе было вчера, чтоб наносил полон ящик, прежде чем на артистов идти.

— Я наносил,— сказал Ластер.— Полный-полный.

— Куда ж дрова девались — улетели?

— Не знаю, мэм. Я их не трогал.

— Сейчас же давай наноси,— сказала Дилси.— А потом ступай наверх, займись Бенджи.

И закрыла дверь. Ластер пошел к поленнице. Сойки крикливо взмыли над домом всей стайкой и опять вернулись на деревья. Ластер поглядел. Поднял камень, швырнул в них: — Кы-ыш! Обратно в пекло улетайте. Вам там срок до понедельника.

Нагрузясь гороподобной, застящею свет охапкой, он взобрался пошатываясь на крыльцо и слепо ткнулся, грохнул в дверь дровами, роняя поленья. Дилси подошла и открыла дверь, и он двинулся наугад через кухню.— Полегче, Ластер! — крикнула она, но Ластер уже с громом и треском обрушил дрова в ящик.— Уфф! — выдохнул он.

— Ты что, хочешь разбудить весь дом? — сказала Дилси и шлепнула его ладонью по затылку.— А теперь марш наверх одевать Бенджи.

— Да, мэм,— сказал Ластер. Направился опять к наружной двери.

— Куда ж ты? — сказала Дилси.

— Я лучше обойду кругом, подымусь с парадного, а то еще разбужу и мис Калайн и всех.

— Иди с черного хода, делай, что велят,— сказала Дилси.— Ну иди же, одень Бенджи.

— Да, мэм,— сказал Ластер, вернулся и пошел через столовую. Створка двери покачалась, перестала. Дилси занялась тестом. Мерно вертя ручку мукосейки над хлебной доской, она вполголоса запела что-то почти без мотива и слов, монотонное, строго-печальное, а мука негустым ровным снегом сеялась на доску. В кухне стало теплеть, внятнее забормотали миноры огня, и Дилси запела погромче, словно голос ее оттаял в тепле,— и тут из внутренних покоев опять донесся голос миссис Компсон. Дилси подняла лицо, вгляделась — как будто глаза ее, проницая потолок и стены, способны были видеть и действительно увидели старуху, вставшую на лестничной площадке и с неукоснительностью автомата повторяющую ее имя.

— О господи! — сказала Дилси. Положила мукосейку, обтерла руки о подол передника, взяла грелку со стула и, обкутав передником ручку, сняла было чайник, пустивший уже струйку пара.— Несу-несу,— отозвалась она.— Только что закипело.

Однако хозяйке требовалось теперь другое, и, за горлышко держа грелку, как зарезанную курицу, Дилси прошла к лестнице.

— А Ластер не с ним разве? — спросила она, задрав голову.

— Ластер и не поднимался еще к нам. Я лежу, прислушиваюсь, а его все нет и нет. Я знаю, что Ластеру не к спеху, но я все же надеялась, что он придет, вовремя оденет и уведет Бенджамина и даст Джейсону отоспаться за неделю каторжного труда.

— Хотите, чтоб спали, а сами ни свет ни заря шумите тут на весь коридор,— сказала Дилси. С усилием начала всходить по лестнице.— Я этого Ластера еще полчаса тому послала наверх.

Придерживая у горла свой халат, миссис Компсон смотрела на Дилси.

— Что ты намереваешься делать? — спросила она.

— Пойду одену Бенджи и в кухню сведу, чтоб не разбудил Джейсона и Квентину,— сказала Дилси.

— А завтрак готовить ты еще не принималась?

— Будет вам и завтрак,— сказала Дилси.— Вы лучше в постель пока ложитесь. Придет Ластер, затопит вам камин. Утро холодное нынче.

— Ох, знаю я. Мои ноги как лед, оттого я и проснулась,— сказала миссис Компсон, глядя, как Дилси подымается — медленно, долго.— Ты ведь знаешь, как сердится Джейсон, когда завтрак запаздывает.

— Не могу ж я сто вещей делать разом,— сказала Дилси.— Идите ложитесь, а то еще с вами придется мне с утра возиться.

— Раз ты решила бросить все и идти одевать Бенджамина, то надо, видно, мне самой спуститься вниз и заняться завтраком. Ты не хуже меня знаешь, как нервирует Джейсона, когда завтрак не подан вовремя.

— А вы мне скажите сперва, кто станет есть вашу стряпню,— сказала Дилси.— Ложитесь идите,— сказала она, продолжая свой трудный подъем. Миссис Компсон стояла и смотрела, как она взбирается, одной рукой опираясь о стену, другой придерживая юбку.

— И ради того только, чтобы одеть, ты его решила разбудить?— сказала миссис Компсон.

Дилси остановилась. Нога поднята на следующую ступеньку, рука уперта в стену — и так она застыла, бесформенно и смутно обозначаясь на сером фоне окошка.

— Так он, выходит, спит еще? — сказала она.

— Спал, когда я к нему заглянула,— сказала миссис Компсон.— Но ему давно уж пора просыпаться. Он никогда не спит долее половины восьмого. Сама ведь знаешь.

Дилси не ответила. Она стояла неподвижно, держа за горлышко пустую грелку, и хотя миссис Компсон различала Дилси лишь как округлое пятно, ей знакома была эта Дилсина поза — слегка понурая, точно у коровы под дождем.

— Тебе-то что,— сказала миссис Компсон.— Не на тебе ведь тяготеет это бремя. Ты всегда вольна уйти. Не тебе приходится день за днем нести на плечах своих всю тяжесть. Что тебе до них всех и до уважения к памяти мистера Компсона. Я ведь знаю, ты никогда не любила Джейсона. Ты никогда и не скрывала своей нелюбви к нему.

Дилси не ответила. Медленно повернулась и, держась рукой за стену, стала спускаться, обеими ногами становясь на каждую ступеньку, как это делают маленькие дети.

— Вы уж его не будите,— сказала она.— Не входите к нему сейчас больше. Я пришлю Ластера, как только разыщу. А вы уж не будите его.

Она вернулась в кухню. Проверила плиту, затем сняла через голову передник, надела шинель, отворила наружную дверь и окинула глазами двор. Ветер нес в лицо колючую морось, но иного чего-либо движущегося в поле зрения не отмечалось. Она осторожно, как бы крадучись, сошла с крыльца и обогнула угол кухни. И в это самое время Ластер с невинным видом вышнырнул из погреба.

Дилси остановилась.— Ты чего это затеял? — спросила она.

— Ничего,— сказал Ластер.— Мистер Джейсон велел поглядеть, откуда там вода в погребе.

— Велел — только когда? — сказала Дилси.— Помнится, еще на Новый год.

— Я подумал — дай поищу, пока спят,— сказал Ластер. Дилси подошла к двери погреба. Ластер посторонился, и она стала вглядываться в сумрак, отдающий сырой землей, плесенью и резиной.

— Хм,— сказала Дилси. Опять посмотрела на Ластера. Он встретил ее взгляд своим — спокойным, невинным, открытым.— Что ты затеял, не знаю, но не смей делать этого. Сегодня мне с утра покоя не дают, и ты туда же? Сейчас же ступай займись Бенджи, слыхал?

— Да, мэм,— сказал Ластер и побежал к крыльцу.

— Постой,— сказала Дилси, подымаясь следом.— Пока ты под рукой, принеси-ка еще охапку дров.

— Да, мэм,— сказал Ластер. Прошел мимо нее к поленнице. Когда через минуту он снова ткнулся в дверь, опять ослепший и скрытый в своей дровяной оболочке, Дилси отворила ему и твердой рукой провела через кухню.

— Посмей только опять грохнуть,—сказала она.—Только посмей.

— А как же мне их? — сказал, пыхтя, Ластер.— Я никак иначе не могу.

— Так стой смирно и держи,— сказала Дилси, разгружая его по чурбачку.— Что это с тобой за чудо нынче? В жизни ты больше чем полешек шесть за раз не приносил, хоть режь тебя. Ну-ка, что опять у тебя на уме? Что будешь просить, чтоб разрешила? Разве артисты не уехали еще?

— Уехали, мэм.

Она опустила в ящик последнюю чурку.— А теперь ступай наверх за Бенджи, как велено тебе,— сказала она.— Чтоб я достряпала спокойно, чтоб больше мне не орали оттуда. Слыхал, что говорю?

— Да, мэм,— сказал Ластер и скрылся за качающейся створкой двери. Дилси подбросила дров, вернулась к тесту. И вскоре запела опять.

От плиты шло тепло, и кожа у Дилси приняла лоснящийся, сочный оттенок взамен прежнего, зяблого, ластеровского, словно припорошенного пеплом. Она двигалась по комнате, сноровисто действуя, собирая на стол. На стене над буфетом тикали кабинетные часы, различимые лишь вечером при лампочке, но и вечером многозначительно загадочные из-за недостающей стрелки; заскрежетав, как бы прокашлявшись, они пробили пять раз.

— Восемь часов,— проговорила Дилси. Оторвавшись от дела, подняла голову, прислушалась. Но в доме ни звука, лишь часы да огонь. Она открыла духовку и, нагнувшись к противню с булочками, насторожилась — по лестнице спускался кто-то. Шаги прошли столовую, дверь отворилась, и явился Ластер, а за ним — мужчина, крупное тело которого казалось странно развинченным, рыхлым, расклеенным. Кожа его была землиста, безволоса; одутловатый, он ступал, косолапо шаркая подошвами на манер ученого медведя. Белесые тонкие волосы гладко, челочкой, зачесаны на лоб, как на старинных детских фотографиях. Глаза чистые, нежно-васильковые; толстые губы обвисли слюняво.

— Он не озяб? — спросила Дилси. Вытерла пальцы о передник и коснулась его руки.

— Он — не знаю, а я зверски,— сказал Ластер.— На пасху всегда холодно. Прямо как закон. Мис Калайн сказала про грелку, что если вам некогда, то она обойдется.

— Ах ты, господи,— сказала Дилси. Подвинула стул в угол между плитой и ящиком для дров. Мужчина пошел и сел послушно.— Поди-ка поищи в столовой, я там где-то ее положила,— сказала Дилси. Ластер принес грелку. Дилси налила, подала ему.— Отнеси скорей,— сказала она.— И посмотри, не проснулся там Джейсон. Скажи им, что завтрак готов.

Ластер вышел. Бен сидел у плиты. Он сидел вяло, неподвижно и,

зыбким синим взором глядя на занятую Дилси, только головой все поматывал вверх-вниз. Вернулся Ластер.

— Встал уже,— сказал он.— Мис Калайн велела подавать на стол.— Он подошел к плите, протянул над ней руки ладонями книзу.— Причем встал с левой ноги.

— А что там с Джейсоном такое? — спросила Дилси.— Да отойди ты от плиты. Ничего же делать не даешь мне.

— Я замерз,— сказал Ластер.

— А не надо было в погребе торчать,— сказала Дилси.— Так на кого там Джейсон?

— Да на меня с Бенджи, будто мы окно разбили в его комнате.

— А что, у него окно разбито?

— Разбито, говорит,— сказал Ластер.— И меня виноватит.

— Как же ты мог, когда у него дверь день и ночь заперта?

— А будто я камни в окно кидал.

— А оно правда твоя работа?

— Нет, мэм,— сказал Ластер.

— Только не лги мне, парень,— сказала Дилси.

— Да не разбивал я,— сказал Ластер.— Спросите хоть у Бенджи. Не видал я окон, что ли.

— А кто же тогда разбил? — сказала Дилси.— Это он нарочно подымает шум, чтоб разбудить Квентину,— сказала она, вынимая из духовки противень.

— Не иначе,— сказал Ластер.— Чокнутый они народ. А хорошо, что я не Компсон.

— Тебя послушать только,— сказала Дилси.— А я тебе, парень, скажу, что в тебе сидит компсоновский бес не хуже, чем в любом из них. Правду говори — разбил окно?

— Да на что мне его разбивать?

— А на что ты творишь другие свои неподобства? — сказала Дилси.— Присмотри за ним, чтоб снова руку не обжег, а я принесу тарелку.

Пошла в столовую, погремела там посудой, затем вернулась, поставила тарелку на кухонный стол, наполнила ее. Бен глядел, пуская слюнки, нетерпеливо поскуливая.

— Ну вот, голубок,— сказала Дилси.— Вот и завтрак тебе. Захвати его стул, Ластер.— Ластер принес стул, и Бен сел, слюняво похныкивая. Дилси повязала ему тряпку на шею, концом ее утерла губы.— И хоть раз постарайся не заляпать ему одежу,— сказала она, вручая Ластеру ложку.

Бен замолчал. Глядел, как ложка поднимается ко рту. Казалось, даже нетерпение в нем связано по рукам и ногам, даже голод неосознан, бессловесен. Ластер кормил его с небрежной ловкостью. Мысли Ластера явно витали где-то; порой внимание ненадолго возвращалось, тогда он делал обманное движение ложкой, и губы Бена смыкались впустую. Левая рука Ластера лежала на спинке стула, поигрывая, потрагивая ее пальцами, словно пробуя добыть из мертвой пустоты неслышную мелодию. Позабыв о розыгрышах ложкой, он даже разыграл по неживому дереву беззвучное и сложное арпеджио, но Бен хныкнул, и кормление продолжилось.

В столовой Дилси накрывала на стол. Затем прозвенел чистым звуком колокольчик в ее руке. Послышались шаги спускающихся миссис Компсон и Джейсона, донесся голос Джейсона, и Ластер повел яркими белками глаз, прислушиваясь.

— Само собой,— говорил Джейсон.— Натурально, не они разбили. От перемены погоды раскололось.

— Мне непонятно, каким образом оно могло разбиться,— гово-

рила миссис Компсон.— Уезжая в город, ты ведь запираешь свою комнату, и так она и остается на весь день. Мы никто туда не входим, разве что по воскресеньям для уборки. Я не хочу, чтобы ты заподозрил, будто я способна непрошеною войти в твою комнату или другим позволить это.

— Я вас, кажется, не обвиняю,— сказал Джейсон.

— Мне незачем туда входить,— сказала миссис Компсон.— Я не привыкла вторгаться непрошено. Будь даже у меня ключ, и тогда бы я на порог не ступила.

— Да,— сказал Джейсон.— Я знаю, что ваши ключи не подходят. Для того и замок менял. Но меня другое интересует — я хочу знать, кто разбил окно.

— Ластер говорит, не разбивал,— сказала Дилси.

— Без него знали,— сказал Джейсон.— А Квентина где? — спросил он.

— Там же, где каждое утро воскресное,— сказала Дилси.— Да что за бес в вас вселился последние дни?

— Ну так вот, придется нам этот порядок поломать,— сказал Джейсон.— Ступай наверх, скажи ей, что завтрак готов.

— Вы уж ее не трожьте, Джейсон,— сказала Дилси.— Она всю неделю к завтраку встает, а уж в воскресенье мис Калайн разрешает ей поспать подольше. Будто вы не знаете.

— И целая кухня ниггеров будет сидеть и ждать, чтоб ее обслужить,— сказал Джейсон.— К сожалению, этой роскоши мы себе не в состоянии позволить. Ступай позови ее.

— Да никому не надо ни ждать, ни обслуживать,— сказала Дилси.— Я ее завтрак ставлю в духовку, и она сама...

— Ты слышала, что я тебе велел? — сказал Джейсон.

— Слышала,— сказала Дилси.— Когда вы дома, только вас одного и слыхать. Если не Квентину пилите, то маму вашу, а не маму, так Ластера с Бенджи. Хоть бы вы его усовестили, мис Калайн.

— Ты лучше делай, как велят,— сказала миссис Компсон.— Он ведь у нас глава семьи. Он вправе требовать от нас, чтобы воля его уважалась. Я стараюсь исполнять ее, а уж если я, то ты и подавно можешь.

— Но зачем это надо — подымать Квентину только потому, что он сердитый и ему так хочется,— сказала Дилси.— Или, по-вашему, она окно ваше разбила?

— Не додумалась еще, а вообще-то она способна,— сказал Джейсон.— Ты ступай и делай, что велят.

— А и поделом бы,— сказала Дилси, идя к лестнице.— Как вы дома, так житья ей от вас ни минутки.

— Молчи, Дилси,— сказала миссис Компсон.— Не нам с тобой учить Джейсона. Временами думается мне, что он не прав, но и тогда ради всех вас я стараюсь выполнять его желания. А уж если я нахожу в себе силы спуститься к столу, то Квентина и подавно может.

Дилси вышла. Начала всходить по лестнице. Слышно было, как длится ее восхождение.

— Первоклассная у вас прислуга,— сказал Джейсон, накладывая в тарелку матери, потом себе.— Но хоть один не паралитик ниггер был у вас все-таки когда-нибудь? На моей памяти не было.

— Я вынуждена им потакать,— сказала миссис Компсон.— Я ведь всецело от их услуг завишу. Если бы только мне силы. Как бы я желала быть здоровой. Как бы желала сама выполнять всю их работу по дому. Хоть бы это бремя сняла с твоих плеч.

— И в отменном бы свинушнике мы жили,— сказал Джейсон.— Веселей там, Дилси,— крикнул он.

— Я знаю,— сказала миссис Компсон,— ты за то на меня сердишься, что я разрешила им всем пойти сегодня в церковь.

— Куда пойти? — сказал Джейсон.— Разве этот чертов балаган еще в городе?

— В церковь,— сказала миссис Компсон.— У черномазеньких нынче пасхальная служба. Я еще две недели назад дала Дилси разрешение.

— Другими словами, обед сегодня будем есть холодный,— сказал Джейсон.— Или вообще останемся без обеда.

— Я знаю, что выхожу виновата,— сказала миссис Компсон.— Знаю, что ты возлагаешь вину на меня.

— За что? — сказал Джейсон.— Христа как будто не вы воскрешали.

Слышно было, как Дилси взошла на верхнюю площадку, медленно прошаркали ее шаги над головой.

— Квентина,— позвала она. Тут же Джейсон опустил нож и вилку, и оба, сын и мать, застыли друг против друга в одинаковых, ждущих позах — он, холодный и остро глядящий карими с черной каемкой глазами-камушками, коротко остриженные волосы разделены прямым пробором и два жестких каштановых завитка рогами на лоб пущены, как у бармена с карикатуры; и она, холодная и брюзгливая, волосы совершенно белые, глаза же с набрякшими мешками, оскорбленно-недоумевающие и такие темные, будто сплошь зрачок или начисто лишены его.

— Квентина,— звала Дилси.— Вставай, голубушка. Тебя завтракать ждут.

— Я не могу понять, как оно разбилось,— сказала миссис Компсон.— Ты уверен, что это случилось вчера, а не раньше? Дни ведь стояли теплые, ты мог и не заметить. Тем более — вверху, за шторой.

— Последний раз вам повторяю, что вчера,— сказал Джейсон.— По-вашему, я своей комнаты не знаю? По-вашему, я могу в ней неделю прожить и не заметить, что в окне дыра, куда свободно руку просунуть...— Голос его пресекся, иссяк, и он вперился в миссис Компсон глазами, из которых на миг улетучилось все выражение. Глаза его словно дыханье затаили, а мать сидела, обратясь к нему своим обрюзглым и брюзгливым лицом, и взгляд ее был нескончаем, вместе и ясновидящ и туп. А Дилси между тем звала:

— Квентина, милая. Не играй со мной в прятки. Иди, милая. Они там ждут.

— Непостижимо,— сказала миссис Компсон.— Как будто в дом пытались проникнуть взломщики...— Джейсон вскочил. Грохнул опрокинувшийся стул.— Что ты...— проговорила миссис Компсон, уставясь на сына, но он ринулся мимо нее на лестницу, взбежал наверх в несколько прыжков. Навстречу шла Дилси. Лицо Джейсона было в тени, и Дилси сказала:

— Она там дуется. Мама ваша еще и не отперла...— Но Джейсон пробежал мимо нее и — коридором, к одной из дверей. Квентину окликать не стал. Схватился за ручку, подергал, постоял, держась за ручку и чуть склонив голову, точно прислушиваясь к чему-то, не в комнатке происходящему за дверью, а где-то гораздо удаленней и уже расслышанному им. Вид у него был человека, который наклоняется, прислушивается затем лишь, чтобы разуверить себя в том, что уже внятно прозвучало. А за спиной у него миссис Компсон подымалась по лестнице и звала его. Затем она увидела Дилси и заладила «Дилси» взамен.

— Говорю ж вам, дверь еще не отперта,— сказала Дилси.

Он повернулся на голос и подскочил к Дилси, но не с криком, а с негромким и деловитым вопросом: — Ключ у нее? То есть при ней он, или придется ей еще....

— Дилси,— звала миссис Компсон с лестницы.

— Чего ключ? — не поняла Дилси.— Погодите, она...

— От комнаты от этой ключ,— сказал Джейсон.— В кармане он у нее сейчас? У матушки.— Тут он увидел миссис Компсон, сбежал к ней.— Ключ дайте,— сказал. И зашарил по карманам ее заношенного черного халата. Она не давалась.

— Джейсон. Джейсон! Вы с Дилси, я вижу, хотите, чтобы я слегла снова,— говорила она, отталкивая шарящие руки.— Неужели даже в воскресенье не дадите мне покоя?

— Ключ,— сказал Джейсон, продолжая шарить.— Дайте сюда.— Оглянулся, словно в надежде, что дверь распахнется сама еще до того, как он вернется к ней с ключом, которого нет.

— Дилси! — звала на помощь миссис Компсон, обеими руками зажимая карманы.

— Дай же ключ, дура старая! — крикнул вдруг Джейсон. Выдернул у нее из кармана огромную связку ржавых, точно у средневекового тюремщика, ключей на железном кольце и побежал обратно к двери, а обе женщины — за ним.

— Дже-ейсон! — сказала миссис Компсон.— Дилси, ему без меня и не найти там нужного ключа... Я никому не разрешаю брать мои ключи,— запричитала она слезно.

— Тшш,— сказала Дилси.— Он ей ничего не сделает. Я не допущу его.

— Но чтобы в воскресное утро, в моем доме,— сказала миссис Компсон.— Когда я так старалась воспитать их в христианском духе. Джейсон, дай я найду этот ключ.— Взяла его за руку. Затем стала было силой отнимать, но он движением локтя отбросил ее, покосился холодным и страждущим глазом и опять занялся дверью и непослушными ключами.

— Тихо! — сказала Дилси.— Ох, Джейсон.

— Случилось ужасное что-то,— запричитала снова миссис Компсон.— Я знаю, знаю. Джейсон,— снова уцепилась она за него.— Он даже не дает мне найти ключ от комнаты в моем собственном доме!

— Ну, ну,— сказала Дилси.— Что может случиться? Я с вами. Я ее не дам ему в обиду. Квентина,— громко позвала она.— Не бойся, голубка, я здесь.

Дверь отомкнулась, растворилась внутрь. Джейсон постоял на пороге с момент, заслоняя собой комнату, затем отступил в сторону.— Входите,— сказал он сипловатым, неотчетливым каким-то голосом. Они вошли. Комната была — не девичья, ничья. И слабый запах дешевой косметики, две-три дамские вещицы и прочие следы неумелых и гиблых попыток сделать комнату уютной, женской лишь усугубляли ее безликость, придавая ей мертвенно-стереотипную временность номера в доме свиданий. Постель не смята. На полу — грязная сорочка дешевого шелка, не в меру ярко-розового; из незадвинутого ящика комода свисал чулок. Окно распахнуто. Груша росла там у самого дома. Она была в цвету, ветви скреблись и шуршали о стену, и вместе с пылинками мороси в окно несло грушевым печальным ароматом.

— Ну вот,— сказала Дилси.— Говорила же я, что ничего с ней не случилось.

— Ничего? — сказала миссис Компсон. Дилси вошла вслед за ней, тронула за руку.

— Идите ложитесь,— сказала она.— Я через десять минут разыщу вам ее.

Миссис Компсон стряхнула Дилсину руку.— Ищи записку,— сказала она.— Квентин тоже перед этим оставил записку.

— Ладно,— сказала Дилси.— Буду искать. А вы к себе идите.

— Я знала, что это случится, с той минуты знала, как ей дали это имя,— сказала миссис Компсон. Подошла к комоду, начала перебирать валявшееся там — склянки от духов, коробочки пудры, огрызок карандаша, одноногие ножницы, а под ними — штопаный шарф, весь в пудре и пятнах румян.— Записку ищи,— повторила она.

— Хорошо, хорошо,— сказала Дилси.— Вы идите. Я и Джейсон — мы разыщем. А вы к себе идите.

— Джейсон,— сказала миссис Компсон.— Где Джейсон? — Пошла из комнаты, Дилси следом. Прошли по коридору к другой двери. Она была заперта.— Джейсон,— позвала миссис Компсон через дверь. Ответа не было. Миссис Компсон повертела ручку, снова позвала. Но ответа опять не последовало: Джейсон в это время вышвыривал без оглядки из глубокого стенного шкафа одежду, туфли, чемодан. Вот он показался из шкафа с аккуратно выпиленным куском деревянной обшивки в руках, положил его на пол, скрылся в шкафу и явился оттуда опять — с металлической шкатулкой. Поставил ее на кровать, воззрился на взломанный замок, порывшись, зачем-то извлек из кармана ключи, отделил один от связки, постоял с этим ключиком в пальцах, глядя на замок, спрятал ключи в карман, бережно высыпал содержимое шкатулки на кровать. Все так же бережно разобрал бумаги, подымая каждую и встряхивая. Опрокинул шкатулку вверх дном, встряхнул ее тоже, не спеша вложил в нее бумаги, еще постоял со шкатулкой в руках, нагнув голову и глядя на сломанный замок. За окном пролетела, провихрила стайка соек, ветер свеял и унес их крики, автомобиль проехал где-то, замер. За дверью мать снова позвала его, но он не шелохнулся. Он слышал, как Дилси увела ее и как закрылась в коридоре дверь. Отнес шкатулку на место в тайник, покидал обратно выброшенные вещи и пошел вниз к телефону. Прижав трубку к уху, он стоял и ждал, пока соединят. Дилси сошла сверху, поглядела на него и прошла, не останавливаясь.

Соединили.— Говорит Джейсон Компсон,— сказал он, так хрипло и невнятно, что пришлось повторить.— Джейсон Компсон,— сказал он опять, совладав с голосом.— Готовьте полицейскую машину, через десять минут едем, с вами или с вашим помощником. Я сейчас приеду... Что?.. Ограбление. В моем доме. Знаю кто... Ограбление, говорят вам. Машину готовьте... Что? А за что вам платят? Вы охраняете правопорядок... Да, через пять минут буду. Приготовьте машину, едем сейчас же вдогон. В противном случае подаю губернатору жалобу.

Он со стуком повесил трубку, прошел через столовую, мимо тарелок с почти не тронутой, уже остывшей едой, вошел в кухню. Дилси наливала грелку кипятком. Бен сидел незамутненный, безмятежный. Рядом с ним зорко — ушки на макушке — поглядывал Ластер. Он что-то ел. Джейсон направился во двор.— Вы же не завтракавши,— сказала Дилси. Джейсон молча шел к двери.— Идите дозавтракайте, Джейсон.— Он вышел, хлопнув дверью. Ластер встал, подошел к окну, выглянул.

— Ух ты! — сказал он.— Что у них там? Он мисс Квентину побил, да?

— Помалкивай знай,— сказала Дилси.— Только разбудоражь мне Бенджи, я тебя самого побью. Сидите тут с ним тихо-мирно, пока не вернусь.— Навинтив крышечку на грелку, она вышла. Им слышно было, как она подымалась по лестнице, как Джейсон провел машину

мимо дома со двора. И в кухне наступила тишина, только чайник сипел и часы тикали.

— А спорим,— сказал Ластер.— Спорим, он побил ее. Спорим, он ей дал по голове и теперь за доктором поехал. На что хочешь поспорю.— Часы потикивали многозначительно — словно это слышался бескровный пульс запустевающего дома; вот они зажужжали, прокашлялись и пробили шесть раз. Бен поднял глаза к часам, посмотрел затем на круглый, как ядро, затылок Ластера в окне и опять закивал головой, заслюнил. Хныкнул.

— Заткнись, придурок,— сказал Ластер не оборачиваясь.— А пожалуй, раз такое, ни в какую церковь нас сегодня не потащат.— Но, сидя обмякло на стуле, свесив вялые ручищи меж колен, Бен тихо постанывал. Внезапно он заплакал — мычаньем неспешным, бессмысленным, долгим.— Тихо,— сказал Ластер. Повернулся к Бену, замахнулся.— Хочешь, чтоб выпорол? — Но Бен глядел на него, при каждом выдохе протяжно мыча. Ластер подошел, качнул его, прикрикнул: — Замолчи сейчас же! На вот, смотри...— Поднял Бена со стула, подтащил стул к устью плиты, открыл дверцу, пихнул Бена обратно на стул — точно буксир, орудующий неуклюжей громадиной танкером в узком доке. Бен сел, лицом к алому зеву. Замолчал. Опять слышны стали часы, затем медленная поступь Дилси на лестнице. Она вошла, и Бен захныкал снова. Потом громко замычал.

— Ты зачем обижал его? — сказала Дилси.— И без того сегодня, а тут ты еще.

— Не трогал я его нисколечко,— сказал Ластер.— Это мистер Джейсон его испугал, вот и ревет. Что, он там не насмерть зашиб мисс Квентину, а?

— Тшшш, Бенджи,— сказала Дилси. Бен затих. Дилси подошла к окну, глянула на двор.— Перестал, значит, дождь? — спросила.

— Да, мэм,— сказал Ластер.— Давно перестал.

— Тогда идите погуляйте от греха,— сказала Дилси.— Я сейчас только утихомирила мис Калайн.

— А в церковь как же — идти сегодня? — спросил Ластер.

— Потерпи — узнаешь. Гуляй с ним подальше от дома, пока не кликну.

— А на луг можно? — спросил Ластер.

— Можно. Лишь бы не у дома. А то у меня уже сил нет.

— Хорошо, мэм,— сказал Ластер.— Куда мистер Джейсон поехал — а, мэмми?

— Тоже твое дело,— сказала Дилси. Принялась убирать со стола.— Тшш, Бенджи. Сейчас пойдете с Ластером на волю, в игры играть.

— Что он сделал мисс Квентине — а, мэмми? — спросил Ластер.

— Ничего не сделал. Ну, ступайте отсюда.

— А спорим, ее и дома нету,— сказал Ластер.

Дилси поглядела на него.— А ты откуда знаешь, что нету?

— Мы с Бенджи видели, как она вчера вечером из окна спускалась. Правда, Бенджи?

— Видели? — сказала Дилси, глядя на Ластера.

— Да она каждый вечер,— сказал Ластер.— Прямо по той груше и слазит.

— Не врал бы ты мне, парень,— сказала Дилси.

— Я не вру. Спросите хоть у Бенджи.

— Тогда почему ж ты молчал?

— А оно не мое дело,— сказал Ластер.— Дурак я, что ли, мешаться к белым в дела ихние. Ну, топай, Бенджи, поехали на двор.

Они вышли. Дилси постояла у стола, затем убрала из столовой

посуду, позавтракала, прибрала в кухне. Сняла с себя передник и повесила на гвоздь, подошла к лестнице, прислушалась — сверху ни звука. Надела шинель, шляпу и пошла в свою хибару.

Дождь кончился. Дуло теперь с юго-востока, голубели плывущие разрывы туч. За деревьями, крышами, шпилями города солнце белесым лоскутом крыло гребень холма, снова меркло. Приплыл по ветру удар колокола, и его, как по сигналу, подхватили и завторили другие колокола.

Дверь хибары открылась, показалась Дилси, снова в бурой накидке, пурпурном платье, черной соломенной шляпе, но теперь без платка — и в грязновато-белых перчатках до локтей. Она вышла во двор, позвала: «Ластер!» Помедлив, направилась к дому, обогнула угол, держась поближе к стене, и заглянула в дверь погреба: Бен сидит на ступеньках. Перед ним, на сыром полу на корточках — Ластер. Левой рукой Ластер упирает стоймя в пол пилу, слегка изогнув, напружинив ее, в правой же руке у него стертый деревянный пест, который уже тридцать с лишним лет служит Дилси для приготовления печенья. Вот ударил сбоку по пиле. Пила лениво дзинькнула и смолкла с безжизненной моментальностью, застыла под рукой Ластера тонкой, ровной дугой полотнища. Выгнулась, немая и непостижимая.

— Он точка в точку так делал,— сказал Ластер.— Видно, мне биту надо другую.

— Так вот ты чем занят,— сказала Дилси.— Дай-ка сюда пест.

— Ничего с ним не поделалось,— сказал Ластер.

— Дай его сюда,— сказала Дилси.— Но сперва поставь пилу на место.

Он поставил пилу, принес пест. И снова раздался плач Бена, звук безнадежный и длинный. Шум. Ничего более. Как если бы — игрой соединения планет — все горе, утесненье всех времен обрело на миг голос.

— Слышите, мычит,— сказал Ластер.— Вот так он все время, что мы во дворе. Не знаю, что это сегодня с ним.

— Веди его сюда,— сказала Дилси.

— Идем, Бенджи,— сказал Ластер. Сошел по ступенькам, взял за руку. Бен пошел покорно, плач его подобен был пароходным сиплым гудкам, чей медленный звук возникает и гаснет как бы с опозданием.

— Сбегай за его шапкой,— сказала Дилси.— Только тише, не потревожь мис Калайн. Ну, быстрей. И так замешкались.

— Она все равно услышит Бенджи, если не уймете,— сказал Ластер.

— Выйдем со двора, он и уймется,— сказала Дилси.— Чует он. Потому и плачет.

— Чует — а что чует, мэмми? — спросил Ластер.

— Ты беги за шапкой,— сказала Дилси. Ластер ушел. Дилси с Беном остались стоять в дверях погреба, Бен ступенькой пониже. Ветер гнал по небу облачные клочья, их быстрые тени скользили убогим огородом, поверх щербатого забора, через двор. Дилси медленно, мерно гладила Бена по голове, разглаживала челку на лбу. Он плакал ровно и неторопливо.— Тшшш,— сказала Дилси.— Тихо. Еще минутка, и уйдем отсюда. Ну, тихо же.— Бен плакал спокойно и ровно.

С матерчатой шапкой в руке вернулся Ластер — в новой жесткой соломенной шляпе с цветной лентой. Шляпа эта резко обрисовывала, высветляла, как юпитером, углы и грани черепа. Столь своеобразна была его форма, что на первый взгляд казалось, будто шляпа не на

Ластере надета, а на ком-то, стоящем вплотную за ним. Дилси покосилась на шляпу.

— А почему не в старой своей? — сказала она.

— Я не мог ее найти,— сказал Ластер.

— Так я и поверила тебе. Ты ее с вечера еще небось запрятал, чтоб не найти было. Новую шляпу решил загубить.

— Ой, мэмми,— сказал Ластер.— Дождя ж не будет.

— Как ты можешь знать? Ступай старую одень, а эту спрячь.

— Ой, мэмми.

— Тогда зонтик возьми.

— Ой, мэмми.

— Одно из двух,— сказала Дилси.— Или старую шляпу, или зонтик. Мне все равно что.

Ластер ушел в хибару. Бен ровно плакал.

— Идем,— сказала Дилси.— Они нас догонят. Пойдем пенье послушаем.— Они обогнули дом, пошли по аллее к воротам.— Тшш,— время от времени повторяла Дилси. Дошли до ворот. Дилси открыла калитку. Позади в аллее показался Ластер с зонтиком. Рядом с ним шла женщина.— Вот и они,— сказала Дилси. Вышла с Беном за ворота.— Ну, теперь уймись.— Бен замолчал. Ластер и Фрони, мать Ластера, поравнялись с ними. На Фрони — худощавой, с плоским приятным лицом — была украшенная цветами шляпа и ярко-голубое шелковое платье.

— Это платье, что на тебе,— оно твой шестинедельный заработок,— сказала Дилси.— А если дождь польет, что ты тогда будешь делать?

— Мокнуть буду,— сказала Фрони.— Моему приказу дождь пока не подчиняется.

— Мэмми всегда думает, что дождь польет,— сказал Ластер.

— Если я не подумаю, то не знаю, кто еще об вас подумает,— сказала Дилси.— Ну пошли, а то опаздываем.

— Нынче проповедь будет говорить преподобный Шегог,— сказала Фрони.

— Да? — сказала Дилси.— А кто он такой?

— Из Сент-Луиса,— сказала Фрони.— Большой мастак на проповеди.

— Хм,— сказала Дилси.— Проповедник нужен такой, чтоб научил страху божьему эту нашу нынешнюю непутевую молодежь.

— Преподобный Шегог будет,— сказала Фрони.— Объявлено было.

Они шли улицей. Во всю ее нешумную длину нарядными группами двигались, направляясь в церковь, белые — под ветровыми колоколами, в переменчивых проблесках солнца. Ветер налетал порывами с юго-востока, сырой и холодный после недавних теплых дней.

— Вы бы не брали его в церковь, мэмми,— сказала Фрони.— А то меж людей разговоры.

— Меж каких это людей? — спросила Дилси.

— Да уж приходится выслушивать,— сказала Фрони.

— Знаю я, какие это люди,— сказала Дилси.— Шваль белая, вот кто. Мол, для белой церкви — он нехорош, а негритянская — для него нехороша.

— Так ли, этак ли, а люди говорят,— сказала Фрони.

— А ты их ко мне посылай,— сказала Дилси.— Скажи им, что господу всемилостивому неважно, есть у него разум или нет. Это только для белой швали важно.

Поперечная улочка повела их вниз и легла грунтовою дорогой.

По обе стороны ее, под откосами насыпи, широко стлалась низина, усеянная хибарками, обветшалые крыши которых были вровень с полотном дороги. Дворики захламлены битым кирпичом, обломками штакетин, черепками. Вместо травы — бурьян, а из деревьев попадались здесь акация, платан, тутовник, пораженные тем же тлетворным оскудением, что и все кругом лачуг,— и даже зелень на деревьях этих казалась всего-навсего печальной и стойкой памяткою сентября, словно весна и та их обделила, оставила питаться лишь густым запахом негритянской трущобы, которого ни с чем не спутать.

Адресуясь большей частью к Дилси, обитатели лачуг окликали их с порогов.

— А, сестра Гибсон! Как живется-можется с утра сегодня?

— Ничего. А вы как?

— Пожаловаться не могу, спасибо.

Негры выходили из хибар, пологой насыпью подымались на дорогу — мужчины в солидных и скромных коричневых, черных костюмах, с золотой цепочкой от часов по жилету, иные — с тросточкой; кто помоложе — в дешевом броско-синем или полосатом, в залихватских шляпах; женщины шуршали платьями чопорновато, а дети шли в поношенной купленной у белых одежонке и посматривали на Бена со скрытностью ночных зверьков.

— Слабо тебе подойти к нему дотронуться.

— А вот и не слабо.

— Спорим, не дотронешься. Спорим, побоишься.

— Он на людей не кидается. Он дурачок просто.

— А дурачки как будто не кидаются?

— Этот — нет. Я уже пробовал.

— А спорим, сейчас побоишься.

— Так ведь мис Дилси смотрит.

— Ты и так бы побоялся.

— Он не кидается. Он просто дурачок.

Люди постарше то и дело заговаривали с Дилси, но сама она отвечала только совсем уж старикам, с прочими же разговор вести предоставляла Фрони.

— Мэмми с утра нынче нездоровится.

— Это не годится. Ну ничего, преподобный Шегог ее вылечит. Он даст ей облегченье и развязку.

Дорога пошла в гору, и местность впереди стала похожа на декорацию. Окаймленный поверху дубами, открылся обрывистый разрез красной глины, дорога вклинилась в него и кончилась, как обрубили. А рядом траченная непогодами церквушка взнесла хлипкую колокольню, словно намалеванная, и весь вид был плосок, лишен перспективы, точно раскрашенный картонный задник, установленный по самому краю плоской земли, на солнечном и ветровом фоне пространства, апреля и утра, полного колоколов. Сюда-то и тек народ с праздничной степенностью. Женщины и дети проходили внутрь, а мужчины, собираясь кучками, негромко толковали меж собой при входе, покуда не отзвонил колокол. Тогда и они вошли.

Внутренность была украшена необильными цветами с грядок и изгородей да полосками цветной жатой бумаги, пущенными сверху и по стенам. Над кафедрой подвешен видавший виды рождественский колоколец. На кафедральном возвышенье — пусто, но хор уже на месте и обмахивается веерами, невзирая на прохладу.

Большинство пришедших в церковь женщин, сгрудясь в сторонке, занято было разговором. Но вот звякнул колоколец, они разошлись по местам, и с минуту паства сидела и ждала. Колоколец звякнул вторично. Хор встал, запел, и все головы, как одна, повер-

нулись к входящим. В упряжи из белых лент и цветов шестерка малышей — четыре девочки с тряпичными бантиками в тугих косичках и два под машинку остриженных мальчика — подвигалась по проходу, а позади детей шли друг за другом двое. Шедший вторым был внушителен размерами, светло-кофеен лицом, осанист, в белом галстуке и сюртуке. Голова его была величественна и глубокодумна, сочными складками выпирала холка из воротника. Но он был здешний пастор, и головы остались по-прежнему обращены назад, в ожидании приезжего священнослужителя, и лишь когда хор смолк, все поняли, что проглядели его; когда же тот, проследовавший первым, взошел на возвышение, все так же держась впереди пастора,— смутный ропот, вздох разнесся, звук удивления и разочарования.

Приезжий был щуплый человечек в потертом альпаговом пиджачке. Личико у него было черное и сморщенное, как у престарелой обезьянки. Опять запел хор, малыши встали все шестеро и пропели безголосо, писклявыми испуганными шепоточками,— и все это время прихожане в какой-то оторопи глядели на замухрышку, присевшего рядом с монументальной тушей пастора и от этого казавшегося еще щуплей и захудалей. Все так же оторопело, не веря глазам, сидели они и слушали, как пастор, встав, представлял гостя собравшимся в сочных и раскатистых тонах, елейная торжественность которых лишь подчеркивала весь мизер приезжего.

— И стоило везти такое к нам аж из Сент-Луиса,— шепнула Фрони.

— Что ж, я видывала и почудней орудия божьи,— ответила Дилси.— Тшшш,— зашептала она Бену.— Они запоют сейчас снова.

Гость поднялся и заговорил, и речь его звучала, как речь белого. Голос у него оказался бесстрастный, холодный, несоразмерно зычный. И они прислушались — из любопытства, как если бы мартышка вдруг заговорила. Стали следить за ним, как за канатоходцем. Даже невзрачность его позабыли — так виртуозен был этот бег, балансировка и скольженье по ровной и холодной проволоке голоса; и когда наконец, плавно и стремительно сойдя на низы, он смолк, стоя у аналоя, положив на него поднятую на уровень плеча руку, а обезьяньим своим тельцем застыв, как мумия или как опорожненный сосуд, слушатели вздохнули и пошевелились, точно пробуждаясь от сна, приснившегося всем им сообща. Позади кафедры хор обмахивался веерами не переставая. Дилси прошептала: «Тшш. Запоют, запоют сейчас».

И тут раздался голос:

— Братие...

Проповедник не изменил позы. Не снял с аналоя руки, так и стоял недвижно, пока голос затухал в гулких отзвуках меж стенами. Как день от ночи, разнился этот голос от прежнего; печалью тембра напоминая альтгорн и западая в сердца их, он заново звучал там, когда уже и эхо кончило накатывать, затихло.

— Братие и сестрие,— раздалось снова. Проповедник убрал руку, заходил взад-вперед пред аналоем — убогая, в три погибели скрюченная фигурка человека, давно и наглухо замуровавшегося в борьбу с беспощадной землей.— Во мне жива память и кровь агнца божьего! — Сгорбясь, заложив руки за спину, он упорно вышагивал из угла в угол помоста под колокольцем и бумажными фестонами. Он был как стертый обломок утеса, снова и снова захлестываемый, крушимый волнами собственного голоса. Казалось, он телом своим питает этот голос, что, как упырь, впился в него и поглощает на глазах у них всех, и вот уже не осталось ни его, ни их, ни даже голоса, а одни лишь сердца говорили с сердцами в поющих ладах, и в словах уже не было нужды,— и когда он застыл, заведя руку на аналой для

опоры, задрав обезьянье лицо, точно распятый в светлой муке, преодолевшей, лишившей всякого значения неказистость его и убогость,— протяжный выдох-стон исторгся из слушателей и чье-то сопрано: «Да, Иисусе!»

По небу рваными облаками плыл день, и тусклые окна зажигались и меркли в призрачных отсветах. Автомобиль проехал, пробуксовывая по песку дороги, и затих вдалеке. Дилси сидела выпрямившись, положив руку Бену на колени. Две слезы проползли по ее запавшим щекам, изморщиненным годами, жертвенностью, самоотреченьем.

— Братие,— произнес проповедник трудным шепотом, не двигаясь.

— Да, Иисусе! — послышался тот же высокий женский голос, приглушенный покамест.

— Братья и сестры! — вновь зазвучали грустные альтгорны. Он распрямился, воздел обе руки.— Во мне жива память про божье ягня и про кровь его пролитую! — Они не заметили, когда именно речь его, интонация, выговор стали негритянскими,— они лишь сидели и слегка раскачивались, и голос вбирал их в себя без остатка.

— Когда долгие, холодные... О братья, говорю вам, когда долгие холодные... Я, бедный грешник, вижу свет и вижу слово! Рассыпались в прах колесницы египетские, ушли поколенья. Жил богач — где он теперь, о братья? Жил бедняк — где он теперь, о сестры? Говорю вам — горе будет вам без млека и росы спасенья древлего, когда холодные, долгие годы пройдут и минут!

— Да, Иисусе!

— Говорю вам, братья, и говорю вам, сестры,— придет срок для каждого. Скажет бедный грешник: Допустите меня лечь у господа, дозвольте, сложить мою ношу. Что же спросит Иисус тогда, о братья? О сестры? А жива в тебе, спросит, память про божье ягня и про кровь его? Ибо негоже мне небеса отягощать сверх меры!

Он порылся в пиджаке, достал носовой платок, утер пот с лица. В комнате стоял негромкий, дружный гул: «Мммммммммммм!» Высокий женский голос восклицал: «Да, Иисусе! Иисусе!»

— Братья! Взгляните на малых детей, что сидят вон там. Когда-то и Иисус был как они. Его мэмми знала материнскую радость и муку. Она, может, на руках усыпляла его вечерами, и ангелы пели ему колыбельную; и, может, выглянув из двери, видела она, как проходят полисмены-римляне.— Проповедник вышагивал взад-вперед, отирая потное лицо.— Внимайте же, братья! Я вижу тот день. Мария сидит на пороге, и на коленях у нее Иисус, младенец Иисус. Такой же, как вон те малые дети. Я слышу, как ангелы баюкают его, поют мир и славу в вышних, вижу, как дитя закрывает глаза, и вижу, как Мария всполохнулась, вижу лица солдат: «Мы несем смерть! Смерть! Смерть младенцу Иисусу!» Я слышу плач и стенанье бедной матери— у нее отымают спасение и слово божье!

— Мммммммммммммм! Исусе! Младенче Исусе! — и еще голос:

— Вижу, о Исусе! Вижу! — и еще голос без слов, и еще,— как вскипающие в воде пузырьки.

— Вижу, братья! Вижу! Вижу то, от чего вянет сердце и слепнут глаза! Вижу Голгофу и святые древеса крестов, и на них вижу вора, и убийцу, и третьего вижу; слышу похвальбу и поношенье: «Раз ты Иисус, чего ж ты не сходишь с креста?» Слышу вопли женщин и стенания вечерние; слышу плач, и рыданье, и отвращенное прочь лицо господа: «Они убили Иисуса, сына моего убили!»

— Мммммммммммммммммм! Исусе! Вижу, о Исусе!

— О слепой грешник! Братья, вам говорю, сестры, вам глаголю—

отворотился господь лицом мощным и сказал: «Не отягощу небеса ими!» Вижу, как затворил осиротелый господь двери свои, как воды, преграждая, хлынули; вижу мрак и смерть вековечную на все поколения. Но что это! Братья! Да, братья! Что вижу? Что вижу, о грешник? Я вижу воскресение и свет, вижу кроткого Иисуса, говорящего: «Меня убили, дабы вы воскресли; я принял смерть, чтоб те, кто видит и верит, жили бы вечно». Братья, о братья! Я вижу час последнего суда, слышу золотые трубы, трубящие славу с небес, и вижу, как встают из мертвых сберегшие память об агнце и пролитой крови его!

Среди голосов и рук Бен сидел, глядел, как в забытьи, васильковым взором. Рядом Дилси сидела вся прямая и немо, строго плакала над пресуществлением и кровью воспомянутого страстотерпца.

В ярком полдне подымались они в город по песчаной дороге среди расходящихся по домам прихожан, что снова уже беззаботно перекидывались словом, но Дилси по-прежнему плакала, отрешенная от всего.

— Вот это я понимаю проповедник! Спервоначала — сморчок сморчком, а после — держись только!

— Уж он-то видел всю силу и славу.

— Еще бы не видел. Лицом к лицу видел.

Дилси плакала беззвучно, не искажая лица, слезы ползли извилистыми руслами морщин, а она шла с поднятою головой и не утирала их даже.

— Вы бы перестали, мэмми,— сказала Фрони.— Народ кругом смотрит. А скоро мимо белых пойдем.

— Ты на меня уж не гляди,— сказала Дилси.— Я видела первии и вижу последнии.

— Какие первии-последнии? — спросила Фрони.

— Да уж такие,— сказала Дилси.— Видела начало и вижу конец.

Когда вошли в город, она остановилась, однако, отвернула платье и вытерла глаза подолом верхней из юбок. Затем пошли дальше. Бен косолапо ступал рядом с Дилси, а Ластер с зонтиком в руке резвился впереди, лихо сдвинув набекрень свою блестящую на солнце шляпу,— и Бен глядел на него, как смотрит большой и глупый пес на проделки смышленого песика. Пришли к воротам, вошли во двор. И тотчас Бен захныкал снова, и с минуту все они стояли и смотрели в глубину аллеи, на облупленный квадрат фасада с трухлявыми колоннами.

— Что там сегодня у них? — спросила Фрони.— Не иначе, случилось что-то.

— Ничего не случилось,— сказала Дилси.— Тебе своих дел хватает, а уж белых дела пусть тебя не касаются.

— Ну да, не случилось,— сказала Фрони.— Он с утра пораньше разорялся, я слыхала. Ну, да это дело не мое.

— Ага, а я знаю что,— сказал Ластер.

— Больно много знаешь, как бы не завредило тебе,— сказала Дилси.— Слыхал, что Фрони говорит — что дело это не твое. Ступайка лучше с Бенджи на задний двор да гляди, чтоб он не шумел там, пока обед на стол подам.

— А я знаю, где мисс Квентина,— сказал Ластер.

— Ты знай помалкивай,— сказала Дилси.— Как потребуется твой совет, я тебе сообчу. Ступайте-ка с Бенджи, погуляйте там.

— Как будто вы не знаете, какой вой будет, как только на лугу начнут гонять мячики,— сказал Ластер.

— Пока они там начнут, так Ти-Пи уже придет и повезет его кататься. Постой, дай-ка мне эту новую шляпу.

Ластер отдал ей шляпу и отправился с Беном на задний двор. Бен, хотя негромко, но похныкивал по-прежнему. Дилси с Фрони ушли к себе в хибару. Немного погодя Дилси показалась оттуда — снова уже в ситцевом линялом платье — и пошла на кухню. Огонь в плите давно погас. В доме ни звука. Дилси надела передник и поднялась наверх. Ни звука ниоткуда. В Квентининой комнате все так и осталось с утра. Дилси вошла, подняла сорочку с пола, сунула чулок в комод, задвинула ящик. Дверь в спальню миссис Компсон притворена плотно. Дилси постояла, послушала. Затем открыла дверь — и вступила в густой, разящий запах камфары. Шторы опущены, комната и кровать в полумраке, и, решив, что миссис Компсон спит, Дилси хотела уже было закрыть дверь, но тут миссис Компсон подала голос.

— Ну? — сказала она.— Что?

— Это я,— сказала Дилси.— Вам не надо ли чего?

Миссис Компсон не ответила. Помолчав, она спросила, не поворачивая головы: — Где Джейсон?

— Еще не вернулся,— сказала Дилси.— Так ничего вам не надо?

Миссис Компсон молчала. Подобно многим черствым, слабым людям, она — припертая к стене неоспоримым уже бедствием — всякий раз откапывала в себе некую твердость, силу духа. Сейчас ей служила поддержкой неколебимая уверенность в роковом значении того, что обнаружилось утром. «Ну,— сказала она, помолчав.— Нашла уже?»

— Что нашла? Вы об чем это?

— Записку. Хоть на записку-то, надеюсь, у нее хватило уважения. Даже Квентин, и тот оставил после себя записку.

— Что вы такое говорите? — сказала Дилси.— Как будто с ней может что случиться. Вот увидите, еще до вечера войдет прямо вот в эту дверь.

— Нет уж,— сказала миссис Компсон.— Это в крови у нее. Каков дядя, такова и племянница. Или какова мать... Не знаю, какой исход хуже. Не все ли равно.

— Для чего вы говорите такое? — сказала Дилси.— Да зачем она станет это делать?

— Не знаю. А Квентин, а он зачем сделал? Зачем, ответь ты мне ради всего святого. Ведь не может же быть, чтобы с единственной только целью поступить назло и в пику мне. Кто б ни был бог, а уж такого надругательства над благородной дамой он не допустил бы. А я ведь благородная. Хотя, глядя на моих детей, и не подумаешь.

— Вот подождите и увидите,— сказала Дилси.— Прямо в постельку к себе и воротится к ночи.— Миссис Компсон не ответила. На лбу у нее лежал пропитанный камфарой платок. Черный халат брошен был в ногах, поперек кровати. Дилси стояла, держась за ручку двери.

— Ну,— сказала миссис Компсон.— Что тебе нужно? Может быть, ты намерена оставить вовсе без обеда Джейсона и Бенджамина?

— Джейсона нету еще,— сказала Дилси.— Сейчас пойду, займусь обедом. Так, может, вам надо чего? Грелка еще не выстыла?

— Ты могла бы подать мне мою Библию.

— Я утром до ухода дала ее вам.

— Ты положила в изножье постели. Сколько ей прикажешь там еще лежать?

Дилси подошла к кровати, порылась с краю, среди складок и теней, нашла горбом валявшуюся Библию. Разгладила смятые листы, положила опять книгу на постель. Глаза миссис Компсон были за-

крыты. Волосы ее цветом не отличались от подушки, лоб покрыт белым, и она походила на старую монашенку за молитвой.

— Снова кладешь туда,— произнесла миссис Компсон, не открывая глаз.— Она и прежде там лежала. Я, по-твоему, должна подняться, чтобы взять ее?

Дилси нагнулась над хозяйкой, положила книгу рядом, сбоку. «Все равно вам читать не видно будет,— сказала она.— Разве штору чуть поднять?»

— Нет. Не трогай ничего. Иди займись обедом для Джейсона.

Дилси вышла. Затворила дверь за собой и вернулась на кухню. Постояла у плиты, почти остывшей. Часы над буфетом пробили десять раз. «Час дня,— сказала Дилси вслух.— А Джейсона нету. Видела первии, вижу последнии,— сказала она, глядя на потухшую плиту.— Видела первии и вижу последнии». Достала из духовки холодную еду, накрыла на стол. На ходу она напевала спиричуэл. Она пела, повторяя вновь и вновь первые две строчки, заполняя ими весь мотив. Затем подошла к дверям, позвала Ластера, и немного спустя Ластер с Беном явились. Бен все еще помыкивал, про себя как бы.

— Так все время и ноет,— сказал Ластер.

— Садитесь кушать,— сказала Дилси.— Будем обедать без Джейсона.— Они сели за стол. С твердой пищей Бен справлялся довольно сносно сам, но, хотя обедали без первого, Дилси все же повязала ему слюнявчик. Бен с Ластером сидели ели, а Дилси хозяйничала, напевая все те же две строчки,— дальше слов она не помнила.

— Кушайте все,— сказала она.— Джейсон не сейчас вернется.

Джейсон в это время был в двух десятках миль от дома. Со двора он на полной скорости направился в город, обгоняя праздничные неспешные группы горожан и властные колокола в облачном, плывущем небе. Проехав по пустынной площади, он повернул в узкую улочку и разом окунулся в глушь задворков; затормозил у дощатого дома и пошел к веранде по обсаженной цветами дорожке.

Из-за сетчатой внутренней двери доносился говор. Он поднял руку постучать, но услышал шаги, подождал, и ему открыл рослый человек в черных суконных брюках и в белой, с крахмальной манишкой, рубашке без воротничка. У него была буйная седая со стальным отливом шевелюра, серые глаза круглились и блестели, как у мальчика. Приветственно тряся и не выпуская руку Джейсона, он потащил его в дом.

— Прошу,— приговаривал он.— Прошу.

— Ехать надо. Вы готовы? — сказал Джейсон.

— Входите, входите,— говорил тот, за локоть увлекая его в комнату, где сидели двое, мужчина и женщина.— Вы знакомы с мужем моей Мэртль? Нет? Джейсон Компсон — Вернон.

— Да,— сказал Джейсон. Он и не взглянул на Вернона, и тот произнес:

— Мы выйдем, не будем мешать. Идем, Мэртль.

— Нет, нет,— сказал шериф, неся через комнату стул.— Вы, друзья, сидите как сидели. Не настолько уж это серьезно — а, Джейсон? Садитесь.

— Расскажу доро́гой,— сказал Джейсон.— Надевайте пиджак и шляпу.

— Мы выйдем,— сказал Вернон, вставая с места.

— Вы сидите,— сказал шериф.— А мы с Джейсоном потолкуем на веранде.

— Наденьте пиджак и шляпу,— сказал Джейсон.— У них уже и так двенадцать часов форы.— Шериф вышел на веранду, за ним и Джейсон. Мимо дома прошли двое, поздоровались с шерифом. От-

ветный жест шерифа был размашист и сердечен. Колокола по-прежнему слышны были — из Низины, из негритянского поселка.— Идите за шляпой, шериф,— сказал Джейсон. Шериф пододвинул два стула.

— Присаживайтесь и рассказывайте, что у вас стряслось.

— Я вам говорил уже — по телефону,— сказал Джейсон не садясь.— Думал время этим сэкономить. Но, видно, придется мне обратиться к властям, чтобы заставить вас выполнить долг и присягу.

— Да вы сядьте расскажите, как и что,— сказал шериф.— А о дальнейшем уж моя забота.

— Хороша забота,— сказал Джейсон.— Вот эту мешкотню вы называете заботой?

— Вы сами же нас задерживаете,— сказал шериф.— Садитесь и рассказывайте.

Джейсон принялся рассказывать, каждым новым словом так распаляя свое чувство обиды и бессилия, что скоро и спешка была позабыта в этом яростном громожденье праведных и гневных жалоб. Шериф не сводил с него блестящих холодных глаз.

— Но вы же не знаете наверняка, что это их рук дело,— сказал он.— У вас одни предположения.

— Предположения? — сказал Джейсон.— Это когда я, заботясь о ней, битых два дня гонялся за ними по всем закоулкам, причем предупредил, что я с ней сделаю, если увижу с ним, и после всего я еще, по-вашему, не знаю, что эта малолетняя б...

— Ну, хватит,— сказал шериф.— Довольно. Предостаточно.— Он сунул руки в карманы, перевел взгляд на ту сторону улицы.

— А теперь прихожу к вам, должностному лицу, поставленному охранять закон,— сказал Джейсон.

— Эту неделю они в Моттсоне гастролируют,— сказал шериф.

— Да,— сказал Джейсон.— И если бы мне найти такое должностное лицо, чтоб хоть мало-мальски позаботилось насчет защиты тех, кто его избрал на должность, то я бы тоже уже в Моттсоне сейчас был.— Он опять принялся излагать, едко подытоживать, как бы смакуя свое посрамление и бессилие. Шериф его уже не слушал.

— Джейсон,— сказал он.— На что вам было прятать в доме три тысячи долларов?

— На что? — сказал Джейсон.— Это мое дело, где я держу свои деньги. А ваше дело — помочь мне вернуть их.

— А матушке вашей известно было, что вы храните дома столько денег?

— Послушайте,— сказал Джейсон.— Мой дом ограбили. Я знаю кто и знаю, куда скрылись. Я прихожу к вам, поставленному на стражу закона, и я вас опять спрашиваю — намерены вы принять какие-то меры к возвращению моей собственности или нет?

— Допустим, вы поймали их,— что вы сделаете с этой девочкой?

— Ничего,— сказал Джейсон.— Ровно ничего. Я до нее пальцем не дотронусь. Дряни, которая стоила мне моей должности и тем лишила меня единственного шанса на успех в жизни, которая свела в могилу моего отца и день за днем сводит в могилу мою мать, а мое имя обратила в посмешище в городе,— я ей ничего не сделаю,— сказал он.— Ровным счетом ничего.

— Вы сами ее довели до побега, Джейсон,— сказал шериф.

— Как я веду мои семейные дела, вас не касается,— сказал Джейсон.— Намерены вы мне помочь или нет?

— Вы сами ее довели до побега,— сказал шериф.— А насчет того, чьи это деньги, у меня есть кой-какие подозрения, только вряд ли мне дознаться полной правды.

Джейсон стоял, медленно обминая в пальцах поля шляпы. Он

сказал тихо: — Так вы не окажете мне никакого содействия в их поимке?

— Это не входит в мои обязанности, Джейсон. Будь у вас фактическое доказательство, тогда я обязан был бы действовать. А так — думаю, что это не мое дело.

— И это ваш окончательный ответ? — сказал Джейсон.— Советую прежде подумать.

— Окончательный, Джейсон.

— Что ж, хорошо,— сказал Джейсон. Надел шляпу.— Вы об этом еще пожалеете. Я найду защиту. Нацепил бляху и думает, что на него уже управы нет.— Он сошел с крыльца, сел в машину, завел мотор. Шериф смотрел, как он тронул с места, развернулся и рванул мимо дома — обратно к площади.

Высоко в солнечной ряби опять плыл благовест яркой кутерьмою звуковых лоскутьев. Джейсон остановился у бензоколонки, велел проверить шины и заправить бак.

— За город, верно, собрались? — спросил заправщик-негр. Джейсон не ответил.— Вроде все ж таки распогоживается,— сказал негр.

— Черта с два тебе распогодится,— сказал Джейсон.— К двенадцати как из ведра захлещет.— Он поглядел на небо, представляя себе дождь, склизкую глину дорог, свою машину, застрявшую где-нибудь за много миль от города. С каким-то злорадным торжеством подумал он об этом и о том, что в Моттсон поедет сейчас же и к полудню из-за этой неотложности очутится как раз в равноудалении от обоих городов, притом голодный. Во всем этом ему увиделся некий промах, послабленье со стороны давнишнего врага, имя коему Обстоятельства,— некий шанс, и он накинулся на негра:

— Ты сколько еще будешь там копаться? Уплатили тебе, что ли, чтоб задержал меня здесь подольше?

— Тут у вас скат спустил,— сказал негр.

— Отойди к дьяволу, дай подступиться,— сказал Джейсон.

— Да я накачал уже,— сказал негр, подымаясь с корточек.— Можете ехать.

Джейсон сел за руль, тронул с места, включил вторую передачу. Двигатель фырчал, захлебывался, а он, выжав до отказа педаль дросселя и яростно действуя кнопкой заслонки, гнал обороты. «Дождь будет, и обложной,— подумал он вслух.— Как раз на полдороге и захватит». Оставив позади город и колокола, он ехал, рисуя себе, как машина застряла и он пешком месит грязь в поисках упряжки мулов. «А на фермах никого, вахлачье все по церквам». Как, наконец, церковь разыскана, мулы отвязаны, а хозяин их, подскочивший было с криком, свален ударом кулака. «Я — Джейсон Компсон. Посмотрим, как это вы мне воспрепятствуете. Навыбирали шерифов — посмотрим, как шериф мне воспрепятствует»,— сказал он вслух, воображая, как с двумя солдатами входит в здание суда и выволакивает оттуда шерифа. «Я тут должность теряю, а он будет себе сидеть ручки в брючки и смотреть. Я ему покажу должность». Не о своей племяннице он думал и не о деньгах, трех или скольких-то тысячах. Ни то, ни другое для него вот уже десяток лет не существовало раздельно, само по себе, а лишь олицетворяло в совокупности своей ту банковскую должность, которой он лишился, не успев и занять ее.

Облачные бегущие тени редели, свету прибывало, день разгуливался, и ему чудилась в этом очередная вражья каверза и неминуемость новой битвы после стольких прежних стычек и ран. Время от времени навстречу попадались церкви, деревянные некрашеные зданьица с крытыми жестью колокольнями, с привязанными мулами вокруг и обшарпанными автомашинами,— и ему казалось, что это

мелькают арьергардные посты, следят из укрытий за ним дозоры Обстоятельств. «И Тебя к чертям собачьим тоже. Твоя персона, думаешь, мне воспрепятствует»; он представил себе, как пойдет — а поодаль за ним, свитой, те два солдата и шериф в наручниках — и стащит с трона самого всевышнего, если потребуется; как прорвется сквозь построенные к бою легионы преисподней и небес и схватит наконец беглянку.

Ветер дул с юго-востока. Дул упорно в щеку Джейсону. Он словно ощущал, как этот протяженный ветровой удар пронизывает ему череп, и вдруг — со знакомым предчувствием боли — он резко выжал тормоз, остановил машину, посидел не двигаясь. Затем поднял руку к шее и принялся ругаться — сидел и чертыхался сиплым шепотом. В сколько-нибудь длительные поездки он брал с собой накамфаренный носовой платок, сразу же за городом повязывал его на шею и дышал этим запахом. Он вышел из машины, поднял подушку сиденья — не завалялся ли там платок. Проверил под обоими сиденьями, постоял, опять ругаясь, видя, что оставлен в дураках собственной злорадной спешкой. Прислонился к дверце, закрыл глаза. Либо возвращаться за платком, либо ехать дальше. И так, и этак голова расколется дорогой, но дома камфара всегда есть, а вот достанет ли он ее в чужом городе, в праздник. Но возвратиться — значит прибыть в Моттсон с полуторачасовой задержкой. «Может, если ехать медленно,— произнес он.— Ехать медленно и думать о другом...»

Он сел за руль, поехал дальше. «О другом буду думать»,— сказал он и стал думать о Лорейн. Представил, как лежит с ней, но ничего, кроме лежанья рядом и своих жалоб, просьб о помощи, не смог представить; затем вспомнил о деньгах, о том, что баба, соплячка, взяла над ним верх. Ограбь его тот галстучек — и то б не так обидно. Но лишиться денег, накопленных с таким трудом и риском, предназначенных возместить ему утрату должности,— и кто ж похититель? Девчонка, живой символ той утраты и, к довершенью всего, шлюха малолетняя. Он ехал, отворотом пиджака защищая лицо от упорного ветра.

Ему зримо увиделось, как две противоборствующие силы — его судьба и его воля — теперь быстро идут на сближение, на схлест, откуда возврата не будет; он стал напряженно и остро соображать. «Промашку я себе позволить не могу»,— предостерег он себя. Верный ход здесь возможен лишь один, и он обязан его сделать. Оба они, полагал он, со взгляда узнают его, у него же надежда на то, что Квентина мелькнет ему первая, разве что на пижоне по-прежнему тот галстук. И в том, что на галстучек полагаться приходится, была вся соль и суть нависшей впереди беды,— а беду эту он чуял, ощущал почти физически сквозь молотки, стучащие в мозгу.

Он поднялся на последнее перед Моттсоном взгорье. Дым лежал в долине, крыши и один-два шпиля над деревьями. Он спустился, въехал в город, сбавляя скорость, вновь твердя себе об осмотрительности, о необходимости сперва узнать, где расположились гастролеры. Перед глазами у него мутилось, но надо терпеть — ибо это не кто иной, как враг, беда нашептывает ехать прямо за лекарством. У бензоколонки ему сказали, что шатер еще не установлен, а вагоны их— в тупичке, на станции. Он поехал туда.

Два пестро раскрашенных пульмана стояли на боковой ветке. Он скрытно обозрел их из машины, стараясь дышать неглубоко, чтобы в голове не стучало так. Вылез из машины и пошел вдоль станционной ограды, щупая взглядом вагоны. Несколько мятых одежек свисало из окон — досушивались, очевидно. У одного вагона, у подножки, стояли три парусиновых стула. Ни души, однако, не видать; но

вот показался в дверях человек в грязном поварском фартуке, широко плеснул мутной водой из тазика, сверкнув на солнце выпуклым металлом, и ушел в вагон.

«Надо взять его с нахрапу, а то успеет их предупредить»,— подумал Джейсон. Ему и в голову не приходило, что в вагонах может и не оказаться их. Чтобы их там и не было, чтобы исход дела не зависел всецело от того, он ли их, они ли его первыми увидят,— такое было бы совершенно противоестественно, шло бы в разрез со всем ритмом событий. Нет уж — именно он должен увидать их первый и отобрать свои деньги, а там пусть себе делают что хотят, его не касается; иначе же весь мир узнает, что его обобрала Квентина, племянница, шлюха.

Он снова обозрел, проверил обстановку. Затем направился к вагону, проворно и без шума взбежал по ступенькам и приостановился в дверях. Внутри было темно, затхло попахивало кухней. В глубине смутно белел фартук, напевал что-то надтреснутый, дрожащий тенорок. «Старик,— подумал он,— и пощуплей меня». Двинулся вперед — тот поднял голову, оборвал пение, произнес:

— А?

— Где они? — сказал Джейсон.— Только быстро. Там, в спальном вагоне?

— Кого надо? — сказал повар.

— Только не лгать мне,— сказал Джейсон, идя к нему и спотыкаясь в загроможденном сумраке.

— Что-о? — сказал тот.— Меня обзывать лгуном? — Джейсон схватил его за плечо, повар возвысил голос: — Ох, нарвешься!

— Только не лгать,— сказал Джейсон.— Где они?

— Ах ты гад,— сказал повар. Плечо его дернулось, хрупкое, тощее под пальцами Джейсона. Безуспешно повырывавшись, старик обернулся к заставленному посудой столу и стал возить рукой, нашаривая что-то.

— Отвечайте,— сказал Джейсон.— Где они?

— Сейчас ты у меня узнаешь, где они,— визгнул старик.— Дай только секач найду.

— Послушайте,— сказал Джейсон, вцепляясь покрепче.— Вам что, вопрос нельзя задать?

— Гад несчастный,— возопил тот, шаря, скребясь по столу. Джейсон обхватил его обеими руками, силясь сковать эту тщедушную ярость. Тельце противника было такое старое и хилое, но такая смертоносная устремленность ощущалась в нем, что тут уж Джейсон узрел пред собой четко и незатененно ту беду, к которой несся сломя голову.

— Прекратите! — сказал он.— Хорошо! Хорошо! Я ухожу! Но дайте же мне уйти.

— Обзывать меня лгуном! — вопил тот.— Пусти! Пусти руку только на одну минуту! Я тебе покажу!

Джейсон дико озирался по сторонам, не ослабляя хватки. На дворе было теперь светло и солнечно—быстролетно, светло и пустынно,— и он подумал о том, что вскоре праздничный народ степенно потянется по домам, к воскресному столу, а он тут вцепился в этого неистового, гибельного старичишку и не смеет выпустить даже на ту секунду, чтобы повернуться и броситься в бегство.

— Уймешься ты, дашь мне уйти? — сказал он.— Уймешься? — Но тот продолжал рваться, и Джейсон, освободив одну руку, нанес ему удар по голове. Удар поспешный, неловкий, несильный к тому же, но старик обмяк моментально и, грохоча кастрюлями и ведрами, сполз на пол. Джейсон постоял над ним, задыхаясь, при-

слушиваясь. Затем кинулся к выходу. У ступенек он сдержал свой бег, сошел на землю, опять постоял, шумно дыша: «Хах, хах, хах». Он стоял, стараясь отдышаться, кидая взгляды на все стороны; вдруг за спиной шаркнуло, он обернулся, и вовремя: из тамбура неуклюже и яростно прыгнул на него старик, высоко замахиваясь ржавым резаком.

Джейсон взметнул руку, чтобы поймать резак, чувствуя, что падает, хотя, не ощутив удара, подумал: «Так вот оно чем кончится», приготовился к смерти, об затылок что-то грянуло, мелькнула мысль: «Как он сумел по затылку меня? Но это он, наверно, раньше, а я только сейчас почувствовал», и он подумал: «Скорей же. Скорее. Кончайся», но тут исступленное желание жить охватило его, и он забарахтался, слыша, как вопит и ругается надтреснутый старческий голос.

Его уже ставили на ноги, а он все барахтался и отбивался, но его придержали, и он перестал.

— Что, сильно кровь идет? — спросил он.— Из головы. Течет кровь? — Кто-то его между тем торопливо за локоть вел прочь, яростный тенорок старика глох где-то позади.— Как там затылок у меня? — сказал он.— Постойте, я...

— Ну нет, стоять не будем,— сказал человек, ведший его.— Эта язва старикан вас укокошит. Шагайте дальше. Все у вас в порядке.

— Он меня рубанул,— сказал Джейсон.— Течет кровь?

— Шагайте, говорю,— сказал провожатый. Он увел Джейсона за вокзал, на безлюдную платформу, где стоял грузовик, где жестко топорщился травкой газон с жесткими цветами по краям и с надписью из электролампочек: «Проезжающий! Глаза на Моттсон!» — причем после слова «Проезжающий» был нарисован глаз с электрическим зрачком. Здесь провожатый выпустил локоть Джейсона.

— Ну вот,— сказал он.— Двигайте отсюда и держитесь подальше от нас. Вы зачем к нему лезли? Что вам — жизнь надоела?

— Я искал там двоих,— сказал Джейсон.— Просто спросил его, где они.

— Кого именно искали?

— Девушку одну,— сказал Джейсон.— И парня. На нем красный галстук был в Джефферсоне вчера. Он из ваших. Они ограбили меня.

— А-а. Вы тот самый, значит. Так вот, здесь их нет.

— Само собой,— сказал Джейсон. Прислонился к стене, поднес руку к затылку, отнял, на ладонь посмотрел.— Я думал, кровь идет,— сказал он.— Думал, он меня резаком тем.

— Вы об рельс ударились,— сказал провожатый.— Советую не задерживаться. Их здесь нету.

— Да. Он тоже сказал нету. Я думал, врет.

— Я лгу, по-вашему?

— Нет,— сказал Джейсон.— Я знаю, здесь их нет.

— Я ему велел убираться к чертям вместе с ней. У меня тут не притон. У меня честное предприятие, и труппа вся порядочные люди.

— Да,— сказал Джейсон.— Вы не знаете, куда они направились?

— Нет. И не интересуюсь. В моей труппе таким не место. Вы ей... брат?

— Нет,— сказал Джейсон.— Это неважно. Просто хотел их видеть. Значит, он меня не ранил? То есть крови нет?

— Кровь была бы, если б я не подоспел. Вы лучше держитесь подальше. Этот кухаришка вас убьет. Что за машина там — ваша?

— Да.

— Вот и садитесь в нее и езжайте обратно в Джефферсон. Может, вы их и найдете где, но только не у меня в труппе. У меня не притон. Так, говорите, ограбили вас?

— Нет,— сказал Джейсон.— Это не суть важно.— Он пошел, сел в машину. «Что это мне нужно еще сделать?» — подумал он. Вспомнил. Завел мотор и ехал медленно вдоль улицы, пока не увидел аптечную вывеску. Дверь оказалась заперта. Он постоял, держась за ручку и потупив голову, потом отвернулся. Дождался прохожего, спросил, все ли здешние аптеки сегодня закрыты, услыхал в ответ, что все. Еще спросил, в котором часу проходит северный поезд, и ему ответили — в два тридцать. Сошел на мостовую, сел опять в машину. Через некоторое время мимо прошли два паренька-негра. Он окликнул их.

— Автомобиль водить умеет кто-нибудь из вас?

— Да, сэр.

— Сколько возьмете, чтоб довезти меня сейчас до Джефферсона?

Переглянулись, зашептались.

— Заплачу доллар,— сказал Джейсон.

Пошептались.

— За доллар не с руки нам,— сказал один.

— А за сколько?

— Ты разве поедешь? — спросил один.

— Мне-то нельзя,— сказал другой.— А тебе почему б не отвезти его? Все равно делать нечего.

— Нет, есть чего.

— А ну, какие у тебя дела?

Опять пошептались, посмеиваясь.

— Два доллара дам,— сказал Джейсон.— Тому, кто повезет.

— Да мне тоже нельзя,— сказал первый.

— Ладно,— сказал Джейсон.— Ступайте.

Время шло, он сидел. Услышал, как пробило полчаса, затем показались горожане, одетые по-воскресному, по-пасхальному. Иные, проходя, бросали взгляд на человека за рулем небольшой машины,— а он сидел, и невидимая пряжа его жизни была растереблена, спутана, висела рваными махрами. Немного погодя подошел негр в спецовке.

— Это вас надо в Джефферсон? — спросил он.

— Да,— сказал Джейсон.— Сколько возьмешь с меня?

— Четыре доллара.

— Два дам.

— Меньше чем за четыре не могу.— Человек в машине сидел не шевелясь, не глядя даже на негра. Негр сказал: — Так хотите или нет?

— Ладно,— сказал Джейсон.— Садись.

Он подвинулся, негр взялся за баранку. Джейсон закрыл глаза. «До Джефферсона дотерпеть, там лекарство,— сказал он себе, расслабляясь, приноравливаясь к тряске.— Там-то найдется». Они выехали из города — улицами, где люди мирно входили в свои калитки, к праздничным обедам. О лекарстве, об отдыхе думалось Джейсону. Не о доме джефферсонском, где Бен с Ластером ели холодный обед за кухонным столом. Что-то — отсутствие ль прямой и гибельной беды, угрозы в привычном, повседневном зле — позволило ему погасить в памяти реальный Джефферсон, где должна будет возобновиться его жизнь.

Когда Бен и Ластер поели, Дилси велела им идти во двор.— Чтоб гулял с ним тихо-мирно, до четырех. Пока не вернется Ти-Пи.

— Да, мэм,— сказал Ластер. Увел Бена. Дилси пообедала, убра-

ла в кухне. Затем подошла к лестнице, послушала, но наверху стояла тишина. Дилси вернулась, прошла через кухню, остановилась на крыльце. Бена с Ластером не было видно, но вот от погреба донесся краткий «дзинь», она подошла к двери погреба и увидела повторение утренней сценки с пилой.

— Он точка в точку так делал,— говорил Ластер, с унылой надеждой глядя на недвижную пилу.— Только биту бы найти подходящую.

— В погребе она тебе найдется, видно,— сказала Дилси.— Веди его оттуда скорей на солнышко, пока оба не схватили воспаление легких на этом сыром полу.

Под бдительным оком Дилси они пошли через двор туда, где кедры кучно росли у забора. Затем Дилси ушла в хибару.

— Только без воя,— сказал Ластер.— Достаточно уже с тобой сегодня навозился.— Между кедрами привешен был гамак из бочарных клепок, скрепленных, перевитых проволокой. Ластер лег в гамак, а Бен наугад побрел дальше. Он опять начал поскуливать.— Цыц,— сказал Ластер, привставая.— А то отлуплю.— Снова улегся в гамак. Шаги Бена затихли, но помыкивание продолжалось.— Замолчишь ты или нет? — сказал Ластер. Встал, направился следом, подошел к Бену, присевшему на пятки у земляного холмика. С краев его воткнуты были две склянки синего стекла, в каких хранятся яды. Из горлышка одной торчал завялый стебель дурмана. Бен глядел на склянки и помыкивал, постанывал протяжно. Неопределенно поводив рукой вокруг себя, он нашел веточку, вставил во вторую склянку.— Ты чего развылся? — сказал Ластер.— Тебе ж не с чего. Или хочешь, чтоб была причина? Это я могу.— Присев, он вдруг выхватил склянку из земли и спрятал за спину. Мык оборвался. Бен застыл на корточках, глядя на оставшуюся ямку, набрал в легкие воздуху,— но тут Ластер вернул бутылочку на место.— Тшш! — шикнул Ластер.— Не смей! Поори только мне. Вот он, твой пузырек. Видишь? Вот он. Да нет, здесь от тебя тишины не жди. Пошли, посмотрим, как они там — мячик гоняют уже? — Потянул Бена за руку, поднял с корточек, подвел к забору, и они встали рядышком, глядя в просветы, сквозь сплетенье жимолости, еще не зацветшей.

— Вон они,— сказал Ластер.— Вон там, подходят. Видишь?

Они смотрели, как четверо играющих, загнав мячи в лунку, послали их дальше от стартовой точки. Бен глядел, поскуливая, пуская слюни. Рванулся за проходящими, мотая головой, мыча. Один из игроков подозвал к себе мальчика с клюшками:

— Эй, кэдди. Подай клюшки!

— Тихо, Бенджи,— сказал Ластер, но Бен уходил вдоль забора своей косолапой рысцой, хватаясь за планки и хрипло, безнадежно голося. Игрок ударил, пошел дальше, а Бен бежал с ним вровень до оконечного угла забора и прижался там, не сводя глаз с уходящих.

— Замолчишь ты? — сказал Ластер.— Замолчишь ты? — Потряс Бена за локоть. Бен вцепился в забор, плача хрипло, упорно.— Кончишь ты шуметь? — сказал Ластер.— Или так и не кончишь? — Бен глядел через забор не отрываясь.— Ладно же,— сказал Ластер.— Орешь сам не знаешь с чего. Так сейчас тебе будет причина.— Через плечо оглянулся на дом. Затем зашептал: — Кэдди! Ну, ори же. Кэдди! Кэдди! Кэдди!

Минуту спустя, в промежутки между протяжными воплями, слышен стал зовущий голос Дилси. Ластер взял Бена за руку, и они пошли к ней через двор.

— Я говорил же, развоется,— сказал Ластер.

— Ты, мерзавец! — сказала Дилси.— Говори, чем ты его обидел?

— Да не трогал я его. Я же говорил, что заревет, как только там игра начнется.

— Подведи его ко мне,— сказала Дилси.— Тшш, Бенджи. Не плачь.— Но Бен плакал. Они торопливо прошли двором к хибаре, вошли туда.— Беги за туфелькой,— сказала Дилси.— Только не растревожь мис Калайн. Если она чего скажет, успокой ее, что он со мной. Иди же — уж это-то, я думаю, ты можешь сделать.— Ластер ушел. Дилси подвела Бена к кровати, усадила рядом и, обняв, забаюкала, закачалась с ним взад-вперед, утирая подолом ему слюнявый рот.— Ну, не плачь,— приговаривала она, гладя его по голове.— Тшш. Дилси с тобой ведь.— Но он голосил — медленно, убого и бесслезно, и в сумрачном и безнадежном звуке этом звучала вся безгласная горесть вселенной. Вернулся Ластер с атласной белой туфелькой — пожелтелой, треснутой, замызганной. Вложили ее Бену в руку, и он притих. Но вскоре похныкиванье опять перешло в громкий плач.

— Может, ты Ти-Пи разыскал бы,— сказала Дилси.

— Он вчера говорил, уйдет за город. А к четырем вернется.

Дилси раскачивалась взад-вперед, гладя Бена по голове.

— Долго ждать, о господи,— сказала она.— Ох, долго.

— Я же умею править, мэмми,— сказал Ластер.

— Ты шарабан перевернешь,— сказала Дилси.— Заозоруешь, и оба расшибетесь насмерть. Ты сумел бы, я знаю. Но тебе нельзя доверить. Ну, не плачь,— сказала она.— Тшш. Шшш.

— Что вы, мэм,— сказал Ластер.— Мне же Ти-Пи дает править.— Дилси покачивалась, обняв Бена.— Мис Калайн сказала, если не можете утихомирить, то придется ей самой встать и сойти к нему.

— Не плачь же, голубок,— сказала Дилси, гладя Бена по голове.— Ластер, голубчик,— сказала она.— Будешь помнить про старую мэмми, не будешь озоровать?

— Да, мэм,— сказал Ластер.— Я буду точка в точку как Ти-Пи.

Дилси гладила волосы Бену, баюкая.

— Я делаю все, что могу,— сказала она.— Господь мне свидетель. Что ж, запрягай иди,— сказала она, вставая. Ластер так и брызнул из хибары вон. Бен плакал с туфелькой в руках.— Ну, не плачь. Сейчас Ластер тебя на кладбище прокатит в шарабане. За шапкой в дом ходить, тревожить матушку не станем,— сказала она. Пошла в угол комнаты, закрытый ситцевой занавеской, взяла там войлочную шляпу, в которой была утром.— Одежки — что, одежки — полгоря, а знали бы люди все наше горе...— сказала она.— Для божьего дитя в одежках нет зазору. А скоро и меня бог к себе приберет, и то пора. Вот так,— надела ему шляпу, застегнула куртку. Он мерно плакал. Дилси вынула у него из рук туфельку, спрятала, и они вышли. Подъехал Ластер в побитом кривобоком шарабане, запряженном белой лошадью преклонных лет.

— Обещаешь, Ластер, не озоровать? — сказала Дилси.

— Да, мэм,— сказал Ластер. Она помогла Бену взобраться на заднее сиденье. Он было замолчал, потом захныкал снова.

— Ему цветок нужно,— сказал Ластер.— Я сейчас принесу.

— Сиди на месте,— сказала Дилси. Подошла, взялась за ремень уздечки.— Теперь беги, срывай.— Ластер сбегал за дом, в огород. Вернулся с цветком нарцисса.

— Принес поломанный,— сказала Дилси.— Не мог хороший выбрать.

— А там больше нет никаких,— сказал Ластер.— В пятницу все дочиста повырвали — церковь украшать. Да я сейчас поправлю.— И, приложив к сломанному стеблю прутик, Ластер закрепил лубок

двумя бечевочками и подал нарцисс Бену. Затем влез на козлы, взял вожжи. Но Дилси не спешила отпускать уздечку.

— А дорогу ты знаешь? — сказала она.— Улицей на площадь, оттуда до кладбища и обратно домой.

— Да, мэм,— сказал Ластер.— Нно, Квини.

— Так обещаешь не озоровать?

— Да, мэм.— Дилси отпустила наконец уздечку.

— Нно, Квини,— сказал Ластер.

— Стой,— сказала Дилси.— Дай-ка сюда кнут.

— Ой, мэмми,— сказал Ластер.

— Давай сюда кнут,— сказала Дилси, подходя к передку шарабана. Ластер с великой неохотой отдал ей кнут.

— Теперь Квини и с места не стронешь,— сказал он.

— Об этом не печалься,— сказала Дилси.— Квини лучше тебя знает, что ей делать. Ты знай сиди там и вожжи держи. Так не забыл дорогу?

— Нет, мэм. Которой Ти-Пи каждое воскресенье ездит.

— Вот тою самою дорогой и езжай.

— Ясное дело. Я ж двести раз ездил с Ти-Пи.

— Вот и езжай двести первый,— сказала Дилси.— Ну, трогай. Но если, парень, расшибешь мне Бенджи, то не знаю, что я тебе сделаю. Кандальной команды тебе так и так не миновать, но ты у меня раньше всякого срока туда угодишь.

— Да, мэм,— сказал Ластер.— Нно, Квини.

Он шлепнул вожжой по широкой спине Квини, шарабан качнулся, двинулся.

— Ох, Ластер,— сказала Дилси.

— Нно, пошевеливайся,— сказал Ластер. Опять шлепнул вожжами. Екая утробно селезенкой, Квини потрусила нога за ногу по аллее на улицу, и там Ластер перевел ее в аллюр, смахивающий на затяжное, нескончаемое паданье вперед.

Бен смолк. Трясясь на средине сиденья, торчмя держал в кулаке перевязанный цветок, глядел взором светлым и неизреченным. Прямо перед ним вертел ядрообразной головою Ластер — все оглядывался, пока дом не скрылся из виду; тогда Ластер свернул к обочине, спрыгнул с козел, сломил лозинку с живой изгороди. Бен глядел на него, Квини же опустила голову и принялась щипать траву. Ластер вернулся на козлы, вздернул вожжами ей морду, понудил к прежнему аллюру, а сам высоко расставил локти — в одной руке лозинка, в другой вожжи — и принял молодецкую осанку, никак не вяжущуюся со степенным постукиваньем Квининых копыт и органным аккомпанементом селезенки. Автомобили проезжали, шли мимо пешеходы; попалось навстречу несколько подростков-негров:

— Глядите — Ластер. Куда путь держишь, Ластер? На свалку?

— Наше вам,— откликнулся Ластер.— Ага, на ту самую, куда и вас свалят. Шевелись, слониха!

При въезде на площадь — где из-под мраморной руки незрячими очами вглядывался в облака и ветер солдат Конфедерации,— Ластер еще удалей приосанился, стегнул непрошибаемую Квини, осмотрелся вокруг.

— Вон мистера Джейсона машина,— сказал он и тут заметил еще кучку негров.— А ну, покажем им, как люди в экипажах ездиют — а, Бенджи? — сказал он.— Одобряешь? — Оглянулся на Бена. Тот сидел с цветком в кулаке, глядел безмятежно и пусто. Ластер опять стегнул Квини и повернул ее от памятника павшим влево.

На момент Бен замер ошарашенно. Затем взревел. Затем опять, опять; рев креп и рос почти без передышек. В нем звучало мало

сказать изумление — ужас в нем был, потрясенье, мука безглазая и безъязыкая, шум и ничего иного.— Ты что? — ахнул Ластер, оборотясь, блеснув белками на яркий миг.— Тихо! Тихо! — Он волчком крутнулся к лошади, стегнул с размаху. Хлыст переломился, он кинул его прочь (а голос Бена восходил к неимоверному крещендо), перехватил вожжи, нагнулся вперед — и в это время Джейсон, метнувшийся прыжками через площадь, вскочил на подножку шарабана.

Косой отмашкой отшвырнул он Ластера, схватил вожжи, рывком завернул назад Квини и, сложив концы вожжей, захлестал ими по лошадиному крупу. Квини ринулась валящимся галопом — под хриплые раскаты муки Беновой,— и Джейсон повернул шарабан вправо от памятника. Кулаком по голове ударил Ластера.

— Очумел ты, что ли, влево поворачивать,— выговорил; перегнулся назад, ударил Бена, заново сломав у цветка ножку.— Молчать! Молчать! — Осадил Квини, спрыгнул наземь.— Вези его домой сию минуту. И если еще раз сунешься с ним за ворота, я тебя убью!

— Слушаю, сэр,— сказал Ластер. Взял вожжи, хлестнул ими Квини.— Нно! Нно же! Бенджи, имей совесть!

Голос Бена гремел и раскатывался. Квини тронула с места, мерный перестук копыт возобновился, и тут же Бен замолк. Ластер оглянулся быстро на него и снова задергал вожжами. Над цветком, сломанно поникшим из руки, взгляд Бена был опять пуст, и синь, и светел, а фасады и карнизы уже вновь плыли слева направо; столбы и деревья, окна, двери и вывески — все на своих назначенных местах.

■

Критика

ЛАСЛО КАРДОШ

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Не однажды поднимался и до сих пор поднимается вопрос: существует ли на самом деле мировая литература, имеет ли серьезное, реальное содержание этот термин? Сейчас мы определяем его как совокупность представляющих единое целое выдающихся литературных произведений всего человечества. Конечно, мировую литературу можно понимать и как количественную сумму национальных литератур — сумму, которая объединила бы всю продукцию национальных литератур, не принимая во внимание ее качество. Однако это превратило бы мировую литературу в нечто аморфное, не поддающееся изучению.

Но исследование мировой литературы возможно, если под суммой различных литератур понимать совокупность тех произведений, которые история литературы соответствующей нации оценивает как выдающиеся произведения, как литературные памятники. Этот вариант понятия «мировая литература» исключает средние или массовые явления национальных литератур — и включает в себя лишь те творения, что высятся над ними, подобно вершинам.

Однако при этом возникает еще один вопрос: относится ли к мировой литературе литература всего мира? Существует мнение, будто мировую литературу представляет литература европейская, ее прошлое и настоящее. При этом имеют в виду Европу не как географическое понятие, а как понятие, так сказать, духовное. Это должно означать, что мировую литературу создают произведения, которые проникнуты «европейским духом», и понять их можно сквозь призму европейской культуры. Правомерность подобной европоцентристской оценки более чем спорна. Техническое развитие, особенно путей сообщения и средств информации, с каждым днем все больше сближает культуру разных народов, их литературы. Но дело не только в техническом развитии. Речь идет и о моральном, политическом возмужании, о становлении человеческого, народного, национального самосознания, а все это сопутствует сокращению духовных расстояний между нациями и народами, сближению всех литератур мира, увеличению их непосредственных и косвенных контактов. Речь идет, таким образом, не о стирании граней между литературами, не о потускнении драгоценных народных характеров, а о гармоническом сочетании всех ценностей.

Тем, кто воспринимает мировую литературу как цепь вершин-гигантов художественного творчества, вероятно, чужда будет мысль о том, что каждая литература должна получить место в рамках понятия «мировая литература». Антал Серб, автор популярной в свое время венгерской истории мировой литературы, принадлежал именно к этой группе. Литературу восточных народов он рассматривал вне рамок мировой литературы. Она, по мнению Антала Серба, «не оказывала никакого влияния на литературу западного очага культуры, она не вошла в мировую литературу, то есть ее произведения не стали общим достоянием человечества». Примерно так же рассуждал и Михай Бабич. «Чуждые, варварские и экзотические, литературы,— писал он,— выпадают из сферы мировой литературы». Мы не согласны с этой позицией, как и с позицией тех, кто готов народную поэзию изъять из сокровищницы мировой литературы; народная поэзия и сама по себе является ее органической,

ценной составной частью, и в то же время входит в нее опосредствованно, ибо на плодотворной почве фольклора вырастали такие поэты, как Гейне, Бернс, Петефи, а их творения безусловно принадлежат к мировой литературе.

Как известно, впервые контуры понятия «мировая литература» очертил Гёте в своих беседах с Эккерманом в 1827 году. И в дальнейшем он неоднократно возвращался к этой проблеме. В его рассуждениях о мировой литературе явственно видно свойственное мыслителям XVIII века стремление к обобщениям; видно понимание растущей роли международной торговли — особенно книготорговли,— отчетливо ощущается и боль поэта, сознававшего, что немецкая поэзия в определенном смысле отстает от поэтических успехов других наций; слышна надежда на то, что взаимное влияние, взаимопроникновение литератур, послужит становлению объединяющих нации идеалов гуманизма; чувствуется, наконец, мощное дыхание гения, для которого уже тесны границы немецкой его родины.

Гёте трезво и реалистично, без чрезмерных иллюзий рассматривает, что может привнести в отношения между народами мировая литература. «...Мы хотим лишь повторить,— пишет он,— что не может быть речи об унификации образа мыслей различных наций, а лишь о том, и только о том, чтобы нации узнали друг о друге, и даже если они не смогут взаимно возлюбить друг друга, то научатся по крайней мере друг друга терпеть». Среди различных доводов в пользу ускорения развития межнациональных литературных связей Гёте указывает и на то, что немецкая нация сможет вернее судить о себе, узнать, как судят о ней другие. «Нам отнюдь не повредит,— говорит он,— если мир принудит нас поразмыслить о себе».

Через двадцать лет после того, как Гёте произнес слово «Weltliteratur» и бегло наметил содержание этого понятия, на страницах «Манифеста Коммунистической партии» было четко сформулировано материалистическое определение мировой литературы, точнее, условий ее образования. «Потребность в постоянно увеличивающемся сбыте продуктов,— читаем мы здесь,— гонит буржуазию по всему земному шару... На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится как к материальному, так и к духовному производству. Плоды духовной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература»[1].

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. Москва, Госполитиздат, 1959, стр. 36.

Здесь уместно вспомнить слова Н. И. Конрада о том, что с падением колониальной системы ускорилось развитие колоний и полуколоний, изменилась структура их литератур, и это повлияло на структуру мировой литературы в целом.

■

Если термин «мировая литература» понимать не как математическую сумму, а как некий органический живой процесс, то характерными для него являются различные изменения связей и взаимовлияний. Связи, влияния и взаимовлияния могут быть конкретизированы и освоены уже при нынешнем уровне и глубине наших познаний. Однако легко предположить, что в будущем эти закономерности выявятся еще отчетливее.

Различными путями и способами попадают литературные произведения в кровеносную систему мировой литературы. Есть произведения, известные далеко за границей, об идейных и художественных особенностях которых наслышаны даже те, кто их не читал. Например, величие Шекспира немецкие исследователи почувствовали чуть ли не раньше и стали декларировать чуть ли не более успешно, чем английские; заслуги Лессинга в раскрытии достоинства Шекспира столь же неувядаемы, как вдохновенные нападки Гердера или переводы Шлегеля и Тика. Или — «открытие» Омара Хайяма: в течение 600 лет он оставался практически неизвестным мировой литературе, и лишь после появления переводов Фицджеральда в нем увидели сокровище поэзии, которому дивится мир.

Большая часть произведений познается через перевод. Очевидна связь между оживлением международных литературных контактов нашего времени и горячим интересом к теоретическим проблемам художественного перевода. Несомненно, что оригинальное произведение в переводе может несколько поблекнуть, однако эта опасность — опасность потускнения существует и в тех случаях, когда произведение читается в оригинале людьми, не знающими языка в совершенстве. Прав поэтому академик Н. И. Конрад: «Творцами литературы в каждой стране являются не только писатели, но и переводчики».

Есть произведения, которые почти тотчас после своего рождения становятся достоянием мировой литературы. Другие входят в нее позже, иной раз значительно позже. А некоторые лишь ждут своей очереди на пороге мировой славы, и ждут подчас напрасно. Какое место занимает тот или иной писатель в мировой литературе — это зависит от многих причин. Примеры можно взять из нашей венгерской литературы. Имя Петефи зарубежные истории мировой литературы не обходят, но в разные эпохи и в разных странах его поэтический ореол сияет по-разному. В XIX веке — иначе, чем в наши дни, и совсем по-разному, скажем, в нынешней Болгарии или Голландии. Зна-

чение поэзии Ади несомненно для целого ряда современных ему центрально- и восточноевропейских литератур, но о повсеместном приятии его как всемирно-литературного явления мы, однако, говорить не можем, как ни убеждены в его поэтическом величии. (В скобках напомним здесь сжатую формулировку нашего поэта Дюлы Ийеша: «Писатель, как и народ, может иметь мировое значение и не имея мировой славы».) Гений Аттилы Йожефа лишь сейчас стучится в ворота мировой литературы, но, по-видимому, с большим успехом, чем гений Ади.

Момент «вступления» в мировую литературу ни в коем случае нельзя, по примеру наивных регистраторов фактов, связывать безоговорочно с датой появления за границей какого-либо перевода или упоминания писателя на том или ином континенте. Подобные частности лишь тогда превращаются в великий миг причисления к мировой литературе, когда оказываются отправным пунктом органического, живого процесса, а не остаются случайными филологическими фактами.

Со всем этим живо соотносится и такая проблема: какие творения мировой литературы могут оказывать существенное влияние на венгерскую литературу? Какое именно, когда и в какой степени? Для плодотворного восприятия произведения иноязычного писателя требуется целый ряд условий и в том числе наличие достойных данного произведения переводчиков и комментаторов. Иллюстрацией может послужить, например, путь Бодлера в Венгрии. Знаменитая книга Шарля Бодлера «Цветы зла» вышла в 1857 году, и, хотя уже в середине восьмидесятых годов благодаря Ревицкому и Эндреди Бодлер зазвучал по-венгерски, понадобилось еще три десятилетия, чтобы созрели те общественные, литературные и языковые условия, в результате которых французский поэт получил в Венгрии широкое признание.

Исследователей мировой литературы интересует, например, и такой вопрос: какие препятствия мешают переступить порог мировой литературы тому или иному писателю, произведению, в результате взаимодействия каких сил запираются в определенных случаях — временно или окончательно — ее ворота. Типический случай — «Человеческая трагедия» Мадача, приобщение которой к мировой литературе мы неизменно ощущаем как актуальную задачу, но перед которой эти поистине таинственные ворота открываются лишь на минуты. Другой случай — Анатоль Франс, который, будучи первоначально принятым полностью, за последние десятилетия как будто начинает оттесняться на второй план. Или — Уэллс, который сравнительно легко вошел в мировую литературу, но в наши дни оказался по сути дела за ее пределами. Интересны примеры литературных судеб Маттисона, Байрона или Гёльдерлина. Итак, интенсивность признания тех или иных писателей мировой литературой изменчива. Она может усиливаться, ослабевать и даже — временно или навсегда — прекращаться.

■

Объективный анализ закономерностей, происходящих в мировой литературе, расстановка ее ценностей — задача чрезвычайно сложная. Трудность ее разрешения усугубляется тем, что родственные явления могут возникать независимо друг от друга в различных точках карты мира, а усердное изучение и филологические параллели, прокладываемые между ними, затушевывают истинную сущность и самостоятельность этих явлений. Нередко мешают и националистические позиции исследователей. Научные исследования не всегда свободны от узконациональных пристрастий, и при определении места тех или иных произведений в мировой литературе различные пристрастия могут сталкиваться друг с другом. В прошлом случалось, что уже само понятие «мировая литература» оскорбляло националистическую чувствительность, вызывая обиду за национальную литературу, якобы оттесняемую на задний план, порождало тревогу, сегодня представляющуюся почти нелепой.

На памятной поэтической венгерской дискуссии, которая развернулась у нас 90 лет назад вокруг «космополитической поэзии», Янош Арань выступал в защиту поэзии, проникнутой духом народности, с присущими только ей красками и ароматами, не признавая «пустых, отвлеченных идеалов», «равнодушной гармонии» «поэта, принадлежащего миру», и утверждал, что все великие поэты мировой литературы отражали жизнь своего народа, своей родины.

Ведь и я перелистывал когда-то
Кое-кого из наилучших;
Все они были зеркалом: из каждого
Возникали передо мной его народ и родина.

В ответе Дюлы Ревицкого явственно слышится возражение Араню:

Прекрасна песня, свята песня,
Она — драгоценное сокровище, коль национальна,
Но всех прекрасней песня, извечно
Всеобщая, общечеловеческая.

Споры отшумели, и мы уже ясно понимаем, что истинно народные, подлинно национальные ценности являются в то же время и общечеловеческими ценностями. Здесь будет уместно, по-видимому, процитировать высказывание Гийяра о взаимосвязи литератур: оно явно чересчур заостренно, однако содержит в себе и долю истины. Гийяр говорит: «Никогда ни одна литература не могла изолироваться от других без того, чтобы тем самым не обесцветиться, и все прекраснейшие успехи литературы национальной во все времена покои-

---

ЛАСЛО КАРДОШ
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ

лись на заимствованиях извне — то ли благодаря тому, что она вбирала их в себя, то ли потому, что добивалась более полного самовыражения с их помощью или в борьбе с ними».

Часто значительную роль во всемирном признании писателей или произведений играет положение той державы, духовную жизнь которой они отражают. Политическая и экономическая мощь, в ряде случаев — численность населения, внушительная картина распространенности языка немало способствуют известности в мире литературы данной страны. К слову сказать, все это учитывают и капиталистические предприниматели, которые с помощью хорошо разработанных методов имеют возможность в какой-то степени и на какое-то время влиять на перемещение по всемирно-литературной шкале тех или иных ценностей. Борьба различных течений и моды, лозунгов и теорий в свою очередь может временно вносить свои коррективы.

Литература небольших народов, относительно малоизвестных языков находится, с точки зрения всемирно-литературного признания, в гораздо худшем положении, нежели литература больших народов, широко распространенных языков. Литературу малых народов мир, если знает вообще, то лишь в переводах. А переводное произведение — мы этого уже касались,— достигнув порта иноземной литературы, всегда платит солидную пошлину, теряет в весе. Впрочем, существуют, конечно, и счастливые исключения.

Все это не означает возможность существования как бы нескольких мировых литератур. Мировая литература — понятие единое. Те, кто видит пропасть между так называемым «европейским», «азиатским» или «африканским» «духом», «душой»,— а таковых немало даже сейчас, не говоря уже о прошлом,— пропасть, роковым образом разделяющую эти культуры без всякой надежды на соединение, являются жертвами исторического заблуждения. Они подходят метафизически к отдельной исторической фазе, воспринимая ее как извечную. Разумеется, я не хочу сказать, что мировая литература гомогенно едина. Не требует доказательств, что литературы стран Центральной и Восточной Европы, например, во многих отношениях более родственны друг другу, чем, скажем, англосаксонским литературам (во многих отношениях, хотя и не во всех). Несомненно и то, что разноязычные советские литературы (или, скажем, западноевропейские и североамериканские, австралийская и, частично, южноамериканские литературы) ближе сегодня друг другу, чем к другим областям мировой литературы. Австрийская литература чрезвычайно восприимчива к формирующему влиянию одноязычной немецкой литературы, хотя одновременно, столь же восприимчива и к созидательной силе исторически сложившегося австрийского бытия, особой австрийской действительности. Южноамериканские литературы испанского языка не могут отрицать взаимного влияния, идущего от общности языка и уходящего вглубь, далеко за языковую оболочку (и здесь мы не можем не вспомнить и о европейской испанской литературе!). Но и специфика жизни их народов поразительным образом сказывается на различиях между этими литературами. В связи с этим кругом вопросов много примеров и поучительных фактов может предоставить и венгерская литература смежных с Венгрией стран.

«В течение долгих столетий,— пишет Михай Бабич,— мировая литература имела особую среду, особый язык — латынь. Это было ее главным руслом, а отдельные литературы на национальных языках длительное время скромно оставались на обочине. Латынь, в свою очередь, была лишь законной наследницей своей более богатой греческой тетушки; греческий язык также на протяжении огромных периодов древности выполнял роль всемирного литературного языка». И для греческой, и для латинской эпохи понятие «мировая литература» означает нечто иное, нежели ту совокупность проявления духа, о какой говорим мы сегодня по отношению к нынешней мировой литературе. Образование национальных языков, национального сознания, национальных литератур расширяет почти до полной необозримости проблематику мировой литературы.

Изучение условий формирования мировой литературы, иными словами, взаимопроникновения, а в отдельных случаях и взаимоотталкивания — в силу чего литература X восприимчива к литературе У и почему в то же время литература У безразлична к литературе X, даже сторонится ее; как и почему одна литература выделяет из другой литературы того или иного писателя, пренебрегая остальными,— все это заслуживает особого исследования.

Происходящие в мировой литературе жизненные процессы мы должны рассматривать во всех пространственно-временных изменениях. Побеги древней классики расцветают при Ренессансе, Вийон и Донн вдохновляют XX век, Бержени не может быть должным образом оценен вне античных традиций, но также и без бурных страстей и фантазии, свойственных романтизму. В. М. Жирмунский писал, что в богатом и сложном наследии великих классиков прошлого писатели, принадлежащие к различным литературным направлениям и социальным группам, во все времена могут найти такие элементы, которые окажутся актуальными и явятся необходимыми для решения любой творческой задачи, стоящей на очереди. В наше время достаточно нескольких недель, месяцев — иной раз и того меньше,— чтобы процессы, происходящие в Европе, нашли отзвук в Америке или в другой стране, и наоборот. Но это возможно лишь там — стоит ли подчеркивать еще раз?— где имеется почва, готовая принять падающие в нее семена.

Великие события мировой истории, конечно, получают более длительное отражение в мировой литературе. Влияние великой французской революции долгие десяти

летия чувствовали на себе многие национальные литературы. Незабываемые десять дней, которые «потрясли мир», как гласит название знаменитой книги, потрясли также и мировую литературу. Они пробудили писателей к осознанию своей «ангажированности». Так или иначе, но Октябрьская революция заставила писателей мира занять ту или иную позицию. Главное содержание этой революции литература уже не могла обходить. Можно было встать за нее, можно было восстать против нее, можно было попытаться возводить мост между полюсами — но не принимать ее во внимание означало уже создавать произведение, не имеющее никакого веса. Не боясь преувеличения, можно сказать: это означало писать, но не творить.

В наши дни в современной мировой литературе все большую роль играют произведения, проникнутые духом ответственности за мир и гуманизм. «Ангажированная литература» не однородна с точки зрения идеологического ее содержания — ведь существенна разница, например, между буржуазной гуманистической ангажированностью и сознательной марксистской идейностью. Над литературой, которую мы определяем не слишком строгим и точным термином «западная», часто нависает мрачная тень страха перед атомной войной. Этот страх существенным образом влияет как на содержание, так и на ее жанровый строй. Так называемая «восточная» литература трезвее и оптимистичнее смотрит в будущее, что в свою очередь сказывается на ее содержании, форме и т. д.

Конечно, нельзя понятия «запад» и «восток» рассматривать как резко отделенные друг от друга, несвязанные и несвязуемые данности, как наглухо замкнутые контуры. Именно из наиболее современного осмысления понятия «мировая литература» следует, что обе эти сферы могут самыми различными способами соприкасаться друг с другом и действительно они соприкасаются, влияют друг на друга, изменяют друг друга.

Из круга проблем, связанных с мировой литературой, не может быть исключено влияние читательских масс на писателей. Несомненно, что эти массы играют определенную роль в формировании литературы. Наблюдающийся во всем мире интерес к той или иной теме, средствам выражения, тем или иным политическим явлениям оказывает обратное действие на саму литературу: речь идет о вдохновляющей роли успеха. Это влияние мировой читательской общественности на литературу родственно в некотором роде тому, которое оказывает критика в международных, всемирно-литературных масштабах.

Нельзя не упомянуть также и о проблеме литературного провинциализма. Когда национальной литературе угрожает опасность провинциализма?

Провинциализм в литературе может проявляться в форме двух заболеваний. Заболевания эти известны. Одно из них — самодовольство, которое охватывает национальные литературы в случае, если они придают собственной продукции значение, намного превышающее ее действительную ценность. Другая болезнь состоит в том, что национальная литература недооценивает своих писателей и их место в мировой литературе. Лекарство против этих заболеваний одно: широкая осведомленность, ясное понимание реального положения вещей, трезвый взгляд на свои собственные достижения.

Очевидно, что проблематику мировой литературы можно и дальше расширять и дробить (упомянем хотя бы только сложнейший вопрос периодизации). Ее проблематика почти столь же беспредельна, изменчива и подвижна, как и само понятие «мировая литература». Пути же мировой литературы, в конечном счете и в главных чертах своих, определяются движением человеческой истории. В этом смысле судьба мировой литературы неотделима от судьбы человечества, а тем самым — от судеб гуманизма, социализма.

г. Будапешт

◆

Критика

ПРИЧАСТНЫЙ ОГНЮ БУДУЩЕГО

К 175-летию со дня рождения Генриха Гейне

Юбилей Генриха Гейне был широко отмечен международной общественностью. Торжественно прошел гейневский юбилей в Германской Демократической Республике. В Веймаре 6—9 декабря 1972 года состоялась международная научная конференция германистов-гейневедов. На торжественном заседании в Берлине с большой речью о месте Генриха Гейне в гуманистическом наследии немецкого народа выступил Клаус Гизи.

В ФРГ к декабрю 1972 года было приурочено вручение почетных грамот Гейневского общества, а также впервые учрежденных премий имени Гейне.

Широко был отмечен юбилей на второй родине поэта — во Франции.

Мне лично пришлось участвовать в конгрессе в Дюссельдорфе, на родине поэта, который состоялся в октябре 1972 года. На нем присутствовало 290 ученых — германистов, историков, философов из 18 стран Европы, США, Азии, Латинской Америки, Австралии, Канады. Социалистические страны были представлены только тремя делегатами: из ГДР — доктор Кауфман (Берлин) и доктор Хан (Веймар), из СССР — я. (А. Дейч — также приглашенный в Дюссельдорф, скончался летом 1972 года, и его доклад был зачитан на секции литературы.)

Организаторами конгресса были магистрат Дюссельдорфа, Гейневское общество и Дюссельдорфский университет. Последнее может показаться странным — ведь общеизвестен длящийся уже четыре года международный скандал, связанный с отказом деканата ходатайствовать о присвоении университету имени Гейне. Объясняется участие университета в организации конгресса внутренней оппозицией реакционному решению, давлением международной и западногерманской общественности и отчасти тем, что основной гонитель великого поэта — доктор Димер — уже не является сейчас ректором. Однако эта «проблема Гейне» по-прежнему на повестке дня, остается эпицентром «подземных толчков», что и объясняет остроту идущих вокруг нее споров, во многом определивших работу конгресса.

Фронт сторонников переименования университета, а также полного признания исторического величия поэта очень широк. Он включает в себя и молодую либеральную профессуру, и представителей старшего поколения, если можно так сказать — последних могикан досоциалистического гуманизма, и представителей радикальных кругов интеллигенции. На левом фланге, боюсь, что отчасти и на «левом» в кавычках, стоит и оппозиционно настроенная часть студенчества. В справедливом неприятии как реакционного мракобесия, так и либеральной половинчатости в решении всех связанных с именем Гейне проблем, молодые ниспровергатели, подняв как знамя «свободомыслие» поэта, готовы зачеркнуть не только реакционную, но и всякую науку, в которой «мысль не становится немедленным действием».

Необходимо отметить также, что в спор о Гейне вмешалась и международная общественность. Группы ученых, писателей, публицистов Франции, Италии, Голландии, США, Англии и других стран опубликовали в печати или направили в адрес университета письма в поддержку его переименования. В частности, документ из Франции подписан 33 крупнейшими деятелями культуры, такими как Арагон, Мария Павловна Роллан, Пьер Абраам, Салакру, Веркор, Андре Вюрмсер и другие.

Любопытно и характерно также, что противники переименования выступают якобы отнюдь не как враги, а как друзья и почитатели памяти поэта. Они, по их словам, борются не против Гейне, а против «культа личности», над таким проявлением которого посмеялся бы сам Гейне. Они считают также, что давать имя Гейне любому учреждению — это столь же явное святотатство, как присвоение продовольственным товарам имени Лейбница или Шиллера.

В противовес правой демагогии и ультралевым перегибам атмосфера работы конгресса была спокойной, деловой и лояльной в отношении делегатов социалистических стран.

Конгресс принял специальное решение поддержать требования присвоить университету города Дюссельдорф имени Генриха Гейне.

Научная весомость многих докладов была несомненной. Идейно-политическая тональность большинства их была буржуазно-либеральной или буржуазно-демократической с некоторым оттенком современных неогегельянских увлечений, с нередкой подменой диалектики также очень модным ныне релятивизмом.

Эта общая тональность проявилась вполне наглядно в том очень интересном полнометражном документальном фильме о Гейне, который демонстрировался на конгрессе. Архивы, рукописи, рассказы ученых о работе над академическим изданием, гейневские места — Дюссельдорф, Гамбург, Гарц, Бонн, Мюнхен, Кёльн, Италия, Гельголанд, Париж, Испания — и портреты современников, песни Шумана и Шуберта и «Марсельеза» при кадрах, связанных с книгой «Le Grand», и в кадрах об Июльской революции, где встает «Свобода» Делакруа. Но «Марсельеза», и только «Марсельеза», сопровождает появление портрета Маркса и картину, следующую за этим кадром, изображающую семью голодных пролетариев — столь тенеобразных, понурых, беспомощных, что никакая мысль о революционной потенции таких жалостных нищих у зрителя возникнуть не может.

Да, в фильме — за кадром — с тучными колóсьями и огромными алыми маками на первом плане звучат слова «новой» лучшей песни» из первой главы «Германии. Зимней сказки». Но, может быть и не совсем случайно, автор статьи о фильме в «Известиях Гейневского общества» говорит о том, что эти маки — «сорняк», который автор сценария «пусть невольно, но сделал роковым символом «красной веры». Конечно, слова эти следует оставить на совести их автора, но в тетрадочке «Известий Гейневского общества» они звучат изрядным диссонансом.

Открытие конгресса было очень торжественным. Было зачитано приветствие канцлера Вилли Брандта, в котором он говорил, насколько мероприятие это полезно для дела мира, демократии, взаимопонимания народов — ведь юбилей Гейне в равной мере «делят» и культура Германии, и культура Франции. Конгресс приветствовали обер-бургомистр Дюссельдорфа, министр просвещения ФРГ, посол Франции в ФРГ, министр-президент земли Северный Рейн — Вестфалия, новый ректор Дюссельдорфского университета.

Торжественную речь, озаглавленную «A propos Гейне», произнес профессор доктор Голо Манн — второй сын Томаса Манна, блестящий мюнхенский историк, оратор, эрудит и очень изящный релятивист. Руководителями конгресса были профессор доктор Виндфур — заведующий кафедрой новой германистики университета, основной организатор борьбы за присвоение ему имени Гейне, а также директор Гейне-института доктор Галлей и профессор университета Нанси, старейшина французских гейневедов Пьер Граппен.

В течение четырех дней очень уплотненно и интенсивно в залах «Дома Якоби» — исторического здания, где бывал еще Гёте,— работали шесть секций конгресса: секция лирики, секция истории (Zeitgeschichte), секция философии, секция «Путевых картин», секция литературы, секция текстологии. Доклады были прочитаны (всего их было 28) делегатами ФРГ, ГДР, СССР, Франции, Бельгии, Швейцарии, Англии, Австралии, Израиля. В прениях, кроме ученых уже названных стран, участвовали также и делегаты Италии, Латинской Америки, США. Я была связана работой своей секции (Zeitgeschichte), которой руководил Пьер Граппен, присутствовала на докладах товарищей из ГДР, а также на чтении доклада А. Дейча, который был очень хорошо встречен. Мне не удалось присутствовать на заседаниях секций философии, «Путевых картин», текстологии. За моим докладом последовали вопросы о советских гейневедах, об изданиях, тиражах, о том, когда Гейне вошел в широкий обиход советских читателей, и т. д. Оживленные прения по ряду докладов (в том числе и по докладам — очень интересным — товарищей из ГДР) были большей частью содержательны и достаточно объективны.

Но, как я уже говорила, многие доклады и многие выступления (из тех, что я слышала) были отмечены либерально-абстрактным пониманием «гуманизма», «прогресса», а также стремлением либо затушевать противоречия творчества Гейне, либо про-

сто «положить» их рядом, не пытаясь найти монистического объяснения их. Но вместе с тем не следует недооценивать глубокие знания, научную добросовестность, преданность делу изучения творчества великого немецкого поэта у большого количества ученых стран капитализма, прежде всего — ученых ФРГ и Франции.

Несомненно, положительным результатом конгресса надо считать и то, что он способствовал установлению более тесных связей ученых двух немецких государств — ГДР и ФРГ.

Е. КНИПОВИЧ

ЕВГ. ВИТКОВСКИЙ

ПОЭЗИЯ ГЕЙНЕ В СОВЕТСКИХ ПЕРЕВОДАХ

Предстоит дать Гейне нашей эпохи — труд большой и ответственный.

Александр Блок

Ни один великий зарубежный поэт не переводился на русский язык так много, как Генрих Гейне. За последние сто пятьдесят лет — начиная с 1827 года, когда Ф. И. Тютчев впервые напечатал в альманахе «Северная лира» несколько стихотворений Гейне в своем переводе,— интерес к поэзии Гейне никогда не угасал в России. В XIX веке Гейне переводили такие поэты различных направлений и дарований, как Лермонтов и К. Павлова, Майков и Курочкин, Тургенев и А. К. Толстой, и еще многие и многие. Иные переводы того времени, попадаясь современному читателю на пожелтевших страницах старых журналов, напоминают об огромной популярности Гейне в России, давая между тем далеко не достаточное представление о его поэзии,— парадокс, вызванный тем, что большинство русской интеллигенции имело возможность читать Гейне в подлиннике. Разносторонность его дарования позволяла поэтам-переводчикам выбрать стихи, наиболее близкие им по духу. Удач было немного. Царская цензура тяготела над переводчиками, вынуждая делать искажения и купюры, просто запрещая многие стихи. Только, пожалуй, лирика Гейне нашла достойное воплощение в переводах Тютчева, Лермонтова, Григорьева, Михайлова и некоторых других мастеров. Гейне — «барабанщик революции» — оставался тогда почти незнаком широким кругам русских читателей.

60—70-е годы прошлого века принесли некоторые удачи и среди переводов социально-значительных стихотворений Гейне (стоит вспомнить «Двух гренадеров» Михайлова). Но более поздние переводчики — Вейнберг, Быков и другие, группировавшиеся вокруг издававшихся в те времена Полных собраний сочинений Гейне,— очень обесцветили своими переводами (а их было много) великого немецкого поэта, и в массе этих переводов затерялись удачи предшественников.

В начале XX века новое поколение — символисты — воспринимали Гейне как чистого лирика, к социально-значительным его стихам относились резко отрицательно. Несколько переводов Анненского, Брюсова, Бальмонта, Блока — вот и весь итог предреволюционных десятилетий.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла возможность показать читателю подлинного Гейне, сняв с великого поэта цензурные оковы. На новом художественном и политическом уровне должно было продолжиться дальнейшее знакомство русского читателя с поэтом, чье творчество знал и любил основоположник советского государства В. И. Ленин — по воспоминаниям Н. К. Крупской, даже в сибирской ссылке томик стихов Гейне был постоянным спутником Ленина. Прекрасно владея немецким языком, Ленин читал Гейне в подлиннике. По предложению Ленина в 1918 году имя Гейне было включено в список тех деятелей мировой революционной культуры, которым надлежало в первую очередь поставить памятники в молодой республике Советов. 17 ноября 1918 года по постановлению Совета Народных Комиссаров памятник Генриху Гейне был открыт в Петрограде, перед зданием университета.

Созданное по инициативе Максима Горького издательство «Всемирная литература» одним из первых предполагало издать собрание сочинений Гейне. Несмотря на обилие переводов требовалось почти все делать заново. Даже самые лучшие из дореволюционных переводов следовало подвергнуть внимательной переоценке. С другой стороны, открывались широкие перспективы для создания новых переводов из Гейне.

Вместе с революцией естественным образом завершился некий литературный этап, который можно наименовать «дореволюционным Гейне». Для Гейне на русском языке наступила новая эпоха — советская.

Предлагаемая читателю статья — попытка проследить основные этапы развития «советского Гейне», коротко останавливаясь на важнейших достижениях советских поэтов-переводчиков.

I

Первым советским переводчиком Гейне был Александр Блок.

24 ноября 1918 года по предложению директора издательства «Всемирная литература» А. Н. Тихонова (Сереброва) Блок взял на себя редактирование сочинений Гейне.

Блок с увлечением сразу же составил «План издания сочинений Гейне». Предполагалось издание в пяти (позднее — в семи) томах, а также отдельная книжка лирики Гейне в «народной серии» издательства. С этих дней записные книжки Блока пестрят одной и той же фразой: «Весь день — Гейне». Блок читает огромное количество переводов, сличая их с оригиналами. Уже к 6 декабря он весьма сурово формулирует свое отношение к некоторым переводам: «Что же это сделали даже с прозой Гейне не только Вейнберг, но и Михайлов!» На следующий день, в письме к В. А. Зоргенфрею, Блок писал:

«Предстоит дать Гейне н а ш е й эпохи — труд большой и ответственный. Редакторские полномочия насчет старых и новых переводов у меня есть, т. е. я могу делать все, что сочту нужным. Чем дальше я читаю старые переводы, тем больше ужасаюсь. Оказывается, русские профессора и версификаторы не умели совладать не только со стихами, но и с прозой Гейне. Русского Гейне, несмотря на два полных собрания и множество отдельных переводов, не существует, есть только либеральный суррогат».

10 декабря Блок получил от издательства полномочия привлечь к работе не только Зоргенфрея, но и других переводчиков. Зоргенфрей сразу приступил к работе над переводом «Путевых картин». Приблизительно тогда же, или несколько позднее, были привлечены к работе В. П. Коломийцов, Е. Книпович, В. Аренс, В. Рождественский и др.

В январе 1919 года Блок отвлекся от Гейне в связи с изданием «Избранных сочинений» Лермонтова. Но уже в марте 1919 года Блок вернулся к работе над Гейне и продолжал ее до марта 1921 года, до начала своей предсмертной болезни.

Из первых советских переводчиков Гейне следует отметить В. П. Коломийцова. Коломийцов был профессиональным музыкантом и музыковедом, ему принадлежит огромное количество переводов оперных либретто, текстов романсов и песен, переводы Коломийцова высоко ценились в музыкальной литературе, они были необходимы вокалистам — однако чисто литературная работа Коломийцова ограничилась переводами из Гейне. Ему же принадлежит неопубликованная работа «Принципы эквиритмического перевода», где впервые были последовательно изложены принципы ритмической передачи дольников Гейне на русском языке. Блок писал Коломийцову: «В том, что переводы должны быть «эквиритмичными» или никакими (подражаниями, переделками и т. д., только не переводами), я убедился окончательно, прочтя Ваши переводы, хотя это и не Гейне во многом, но это — почти первое подобие Гейне на русском языке и в большой степени — благодаря ритму».

21 мая 1919 года на заседании редколлегии «Всемирной литературы» Блок прочел доклад «Гейне в России».

Лучшими из старых переводов поэзии Гейне на русский язык Блок признал переводы М. Л. Михайлова и А. П. Григорьева. Он по заслугам оценил и того и другого, ибо Михайлов, почти всю жизнь посвятивший переводам, и в частности переводам из Гейне, создал первого довольно полного Гейне на русском языке (хотя он часто нарушал форму подлинника, но в ряде случаев он поднимался до истинно поэтических высот). Аполлон Григорьев был вообще одним из любимых поэтов Блока, и Блок заметил, что «открытие гейневских размеров в русском языке принадлежит ему, но пользовался он ими неряшливо и по собственной прихоти». Очень строгому разбору подверг Блок творчество больше всех переведшего П. Вейнберга. Заканчивая доклад, Блок писал: «Все это приводит к выводам жестоким: всю работу над Гейне надо начинать сызнова. Перед работающими не просто чистая доска, но доска, исчерканная, исштрихованная скрипучим грифелем, надо сначала мыть, скоблить, счищать».

Блока больше интересовали переводы лирики Гейне, к его сатирическим и политическим стихам он относился отрицательно. Обилие же плохих переводов делало работу редактора-составителя тяжелым и утомительным трудом. И все же Блок продолжал начатую работу, редактируя и старые и новые переводы из Гейне, мучительно пытаясь довести до приемлемого уровня несовершенные произведения — порою переписывая их почти заново. Больше того, когда Коломийцов прислал ему свой «эквиритмический» перевод знаменитой «Лорелеи», в котором почему-то не рифмовались первая и третья строки в строфах, он без колебаний перенес в него значительную часть из своего не менее «эквиритмического» перевода, сделанного еще в январе 1909 года[1].

Эта работа по редактированию и была основным занятием Блока до осени 1920 года. В 1920 году во «Всемирной литературе» вышел пятый том «Избранных сочинений» Гейне («Путевые картины» и «Мемуары»). Шестой том вышел уже после смерти Блока с предисловием Е. Книпович. Два тома увидели свет из намечавшегося семитомника.

Вероятно, к ноябрю 1920 года Блоку стало особенно невмоготу редактировать чужое, и он с 6 ноября 1920 года по 5 февраля 1921 года сделал десять новых переводов из Гейне. В сочетании с тринадцатью, сделанными в январе 1909 года,— всего двадцать три перевода из Гейне оставил нам Блок. Они уже рассматривались исследователями. Безусловно, все эти двадцать три стихотворения представляют большой интерес для русского стихотворного перевода. Однако, несмотря на то, что Блок — как редактор — настоящий «отец» «советского Гейне», его собственные переводы из этого

[1] Что доказывается фотокопией машинописи Коломийцова с правкой Блока, опубликованной в седьмом томе Собрания сочинений Блока в 1932 году.

поэта значительно уступают как собственным стихам Блока, так и некоторым его переводам из других литератур (армянской, финской). Блок выбрал для своих переводов тончайшую лирику Гейне, где лишь исключительное соответствие настроений и переживаний поэта и переводчика может привести к удаче. Блок не был исключением из этого правила. Некоторые его переводы очень хороши сами по себе:

Как луна дрожит на лоне
Моря, полного тревогой,
А сама, ясна, спокойна,
Голубой идет дорогой,—
Так, любимая спокойна
И ясна твоя дорога,
Но дрожит твой образ в сердце,
Потому что в нем тревога.

(Переведено 29 января 1921 года)

Блок был первым, кто взял на себя титанический труд по разбору старых переводов и редактированию новых, по самой постановке редакторского дела. Главная же заслуга Блока в том, что он собрал тот первоначальный костяк переводов, вокруг которого «наращивали мясо» последующие редакторы.

2

Со смертью Блока «блоковский этап» советского Гейне не закончился. Позднее (когда было организовано издательство «Academia») редакторскую и составительскую работу Блока в значительной мере завершил В. А. Зоргенфрей, подготовивший книгу «Стихотворения», которая вышла в 1931 году.

К переводчикам, которых привлек Блок, добавились М. Кузмин, М. Лозинский, А. Я. Оношкович-Яцына. Были в книгу включены переводы Г. Шенгели и Ю. Тынянова — оба в двадцатых годах издали авторские книги переводов из Гейне,— а также «Диспут» в переводе И. Б. Мандельштама. Зоргенфрей писал в своем предисловии: «Использование старого материала (переводы XIX века) основано прежде всего на отметении балласта произвольных размеров перевода, неудачных и грубо-ремесленных пересказов и, в некоторой степени, переводов архаичных. В итоге отбора оказалось возможным сохранить для издания до 50% старых переводов, разумея под последними переводы XIX столетия, путем внесения в них, впрочем, значительных изменений».

Другие 50% книги составили работы «новых» переводчиков, имена которых названы выше. Впервые появились семь отличных переводов М. Л. Лозинского — «Чайльд-Гарольд», «Сегодня ты такой печальный», «Царь Давид» и др. Переводы Лозинского справедливо могут быть названы лучшими из новых в этой книге. Они производят впечатление прежде всего крепким мастерством стиха, сочетающимся с верно уловленной интонацией подлинника.

Сегодня ты такой печальный,
Каким уж не был много дней!
Щека блестит росой хрустальной,
И вздохи сердца все слышней.

Иль вспомнил родину в далеком,
Туманно-призрачном былом?
Ведь ты бы рад был ненароком
Побыть в отечестве своем.

Иль вспомнил даму, что так мило
Бывала гневною подчас?
Сердился ты — ей грустно было,
Потом смеялись всякий раз.
. . . . . .
Уж поздно. Дали серебрятся
Сквозь мокрый снег белесой мглой.
Однако время одеваться
И ехать в гости. Боже мой!

Чрезвычайно интересны также и переводы А. Я. Оношковича-Яцыны, замечательного мастера советской переводческой школы, чье творчество еще ждет своего исследователя.

Сам Зоргенфрей перевел из Гейне чрезвычайно много: кроме прозы, трагедий «Альманзор» и «Ратклиф» — огромное количество лирики. Многие из его переводов с точки зрения сегодняшнего читателя уже устарели, но многие до сих пор не превзойдены — это относится как к лирике, так и к упомянутым выше трагедиям.

В середине двадцатых годов в различных газетах и журналах стали появляться отдельные переводы из Гейне, подписанные именем Юрия Тынянова, который к тому времени был широко известен как прозаик и литературовед. Переводы сразу же привлекли внимание читателя своей резкой непохожестью на все предыдущие переложения русских поэтов «из Гейне» — это относилось как к подбору стихотворений, так и к методу перевода. Многие стихотворения Гейне до революции были переведены только по одному разу — это в основном стихи, которых цензура не пропускала в периодическую печать, хотя и согласна была их стерпеть в Полном собрании сочинений в каком-нибудь достаточно выхолощенном переводе — в случае чего неугодные строфы просто вырезались. Внимание Тынянова прежде всего привлекли те стихи Гейне, которые ранее были «полускрыты» от читателя. Это были социальные сатиры Гейне, характерные своей резкой политической направленностью,— такие, как, например, «Ослы-избиратели»:

...Стояли Старо-Ослы во главе
Ослиного комитета;
Носили кокарды на голове
Черно-красного, с золотом, цвета.

Была еще партия жеребцов,
Но та голосов не имела;
Боялись свирепых Старо-Ослов,
Кричавших то и дело.

До революции существовал один-единственный перевод этого стихотворения, выполненный Д. Минаевым. Обладая хорошей поэтической техникой (хотя и не владея немецким языком), Минаев тем не менее не сумел справиться со сплошной рифмовкой — в его переводе в строфах рифмовались только вторая и четвертая строки и, кроме того, сделан весь перевод был гладким и убаюкивающим амфибрахием:

Собраньем ослов управлял комитет
Из старцев, они отличались
Все тем, что кокарды трех наших цветов
На их головах красовались.

Хотя небольшая, но партия там
Была и старшин лошадиных;
Но голос не смела она подавать,
Боясь диких криков ослиных.

Так же можно было бы сравнить «Родословную мула» (в переводе Тынянова — «Ишачество») с дореволюционными переводами того же стихотворения — Д. Минаева и Ф. Вишневского-Черниговца (один другого хуже) и многие другие стихи. Усвоив достижения предшественников, разработавших на русском языке ритмы гейневских дольников, и хорошо чувствуя своеобразие немецкой ритмики, Тынянов довел до завершения работу по «приживлению» гейневских ритмов к русской поэзии. В его дольниках больше ритмических сбоев с амфибрахия и просто ямбических строк, чем у самого Гейне. Это следует объяснить тем, что Тынянов, как всякий экспериментатор, порой впадал в крайности. Но эксперимент его был весьма плодотворен. Переводя по преимуществу сатирические, даже издевательские стихи Гейне, Тынянов при этом для создания нужного эмоционального воздействия на читателя щедро обогащал лексику своих переводов канцеляризмами (вроде «данный момент»), германизмами («пумперникель», «мамахен») и просторечиями («батюшка», «мамзель») и т. д. Прекрасно владея стихом, Тынянов создавал превосходные произведения — ему не во вред шли даже неточные рифмы,— убивающие «романтическую лирику», но сообщавшие какой-то дополнительный задор сатирам Гейне. Пожалуй, нарушение классической рифмовки повредило только переводу «Германии».

В конце 20-х — начале 30-х годов Гейне в переводах Тынянова несколько раз выходил отдельными изданиями. Насколько нам известно, переводческая работа Тынянова этими книгами и ограничилась. Несмотря на то, что стих Тынянова порой страдал шероховатостями и небрежностями (что очень хорошо видно с высот переводческого искусства 70-х годов), его переводы сыграли огромную роль в формировании «советского Гейне» — впервые была наглядно выявлена революционная сущность его поэзии.

3

Следующий этап «советского Гейне» неразрывно связан с именем литературоведа, редактора и переводчика Александра Дейча. Литературную деятельность Дейч начал в 1911—1912 годах именно как поэт-переводчик: тогда в печати появились его переводы из Новалиса, Рильке и т. д. Как переводчик Гейне Дейч впервые выступил в 1924 году, когда в журнале «Огонек» был напечатан его перевод стихотворения «Диспут». Несмотря на то что впоследствии Дейч еще довольно много перевел из Гейне, «Диспут», пожалуй, остался высшим его достижением в области художественного перевода. В 1929 году тот же «Диспут» вышел отдельной книжкой с превосходными иллюстрациями Д. Моора. Дейч переводил и прозу Гейне. В конце 20-х — начале 30-х годов Дейч еще продолжает переводить Гейне, но главной работой в дальнейшем для него становится литературоведение и редактирование русских изданий Гейне.

В 1934 году, редактируя «Избранные произведения» Гейне, Дейч коренным образом пересмотрел старые переводы. Вместо работ 29 старых переводчиков, которые были использованы в книге издательства «Academia» 1931 года, в его издании дореволюционных переводчиков только 13. Однако в их число он ввел отсутствовавших в книге у Зоргенфрея — Лермонтова, а также Бальмонта, Брюсова. Даже единичные переводы этих поэтов значительно расширили картину русского Гейне. Были отброшены старые переводы В. Лихачева, И. Лебедева, Ф. Вишневского-Черниговца, которыми был еще переполнен однотомник издательства «Academia». С другой стороны, не считая работ самого Дейча и советских переводчиков, чьи переводы были использованы в книге «Academia», в ней приняли участие 10 новых переводчиков.

Но надо сказать, что главная удача этой книги была по преимуществу в подборе уже опубликованных переводов. В процессе замены неудачных старых переводов в ряде случаев Дейч помещал на их место новые, не многим более удачные, хотя и выполненные в соответствии с достигнутым уровнем: дольник везде переводился дольником, верлибр — верлибром. Стремление к преувеличенной точности и особенно к формалистической «эквиритмии» перевода доводило иногда до нелепых результатов — к примеру, в переводах Мушниковой дольники Гейне переводились слог в слог по немецкому оригиналу, что само по себе «сколь трудно, столь и бесполезно»[1]. Несколько интересных новых переводов сделал для этой книги М. Сандомирский (основные его работы были опубликованы позднее). И, наконец, в полном смысле слова «новым» переводчиком, сделавшим и тогда и позднее значительный вклад в «советского Гейне», был Лев Пеньковский. Впоследствии он неоднократно возвращался к творчеству Гейне, ему принадлежат, кроме многочисленных переводов сатир, также переводы поэм «Атта Троль» и «Германия». Простота и разговорность интонации — главные достоинства переводов Пеньковского.

Однотомник «Избранные произведения» (1935) под редакцией Я. Металлова также выгодно отличался от предыдущих изданий — не только хорошим подбором старых переводов, а и новыми переводами также. Наряду с новым переводом поэмы «Германия» в нем впервые было опубликовано около 20 переводов лирических стихотворений, сделанных В. Левиком, а также переводы М. Тарловского. Можно сказать, что в середине тридцатых годов «советский Гейне» вступил в период своего расцвета.

[1] Выражение А. К. Толстого.

4

Следует отдельно остановиться на переводах поэмы «Германия», сделанных в эти годы. «Германия. Зимняя сказка» — одна из самых значительных поэм XIX века. Неудивительно, что к ней не раз обращались русские переводчики. Первый полный ее перевод выполнил М. А. Михайлов в 1847 г., но текст его ныне утрачен. В 1861 году появился перевод В. Водовозова — со значительными купюрами и искажениями (как, впрочем, и все последующие дореволюционные переводы).

Позже выходили переводы В. Костомарова, Заезжего (В. М. Михайлова, этот перевод был отредактирован И. С. Тургеневым), Д. Минаева, П. Вейнберга. Существует неопубликованный перевод первых семи песен поэмы, принадлежащий Максимилиану Волошину. В 1920 году Блок отредактировал перевод той же поэмы В. П. Коломийцова, но он также не был напечатан. Нового полного перевода с начала XX века и вплоть до 1933 года на русском языке опубликовано не было. В двадцатые годы появлялись лишь отрывки в переводах Г. Шенгели, А. Дейча и др. Зато в 1933—1935 гг. на русском языке появилось сразу четыре новых перевода.

В Германии с середины двадцатых годов Гейне издавался все меньше и меньше, не говоря уже о временах фашистской диктатуры, когда на площадях складывались костры из его книг, когда культуртрегеры третьего рейха собирались заменить тексты Гейне в песнях Шуберта и других композиторов иными, написанными «поэтами-арийцами» Поэма «Германия. Зимняя сказка», самое остросоциальное произведение Гейне, своим и сатирическим и гневным обличением «великогерманского духа» была фашистам ненавистна втройне. В отдельных местах она звучала пророчески. В главе, где Гейне говорит о явившейся ему картине будущего Германии, есть следующие строфы (царская цензура их в печать не допускала):

...И даже святого пугала труп,
Как призрак, встал из гроба.
Налитая кровью народов и стран,
Раздулась гнилая утроба.

Чумным дыханьем весь мир отравить
Еще раз оно захотело,
И черви густою жижей ползли
Из почерневшего тела.

И каждый червь был новый вампир,
И гнусно смердел, издыхая,
Когда в него целительный кол
Вонзала рука роковая.

(Перевод В. Левика)

Третий рейх — тот самый «труп святого пугала» — ненавидел Гейне и боялся его Сжигая книги Гейне, третий рейх признавал в поэзии Гейне оружие антифашизма. Естественной была та необходимость нового прочтения, которая породила за короткий срок четыре новых перевода.

В 1933 году вышел отдельным изданием перевод Юрия Тынянова, в 1934 году — перевод Семена Рубановича под редакцией Дейча, в том же году отдельным изданием вышел перевод Льва Пеньковского и в 1935 году в «Избранных произведениях» Гейне под редакцией Я. Металлова появился перевод В. Левика. В периодической печати вокруг этих переводов разгорелась дискуссия.

Впервые на русском языке[1] — именно в переводе Тынянова — текст поэмы был опубликован без изъятий, восстановленный по прижизненному французскому изданию, приложены добавления и варианты, частично исключенные автором по «практическим» соображениям обхода цензуры. Б. Гейман («Звезда» № 10, 1933) справедливо отмечал значительную «деконкретизацию» перевода Тынянова по сравнению с оригиналом (в основном утрату анахронистических реалий, столь характерных для Гейне) и, кроме того, указывал на то, что у Тынянова слабо использовано характерное для Гейне оттенение смысла через акцентирование спорных смысловых образов в рифме (кроме того, рифма Тынянова чрезвычайно неточна, а в оригинале такая встречается как исключение). Как впоследствии отметил Н. Вильмонт, перевод Тынянова скорее представлял «остроумнейший историко-литературный и лингвистический комментарий к поэме, чем перевод ее».

Е. Книпович («Художественная литература» № 1, 1935) откликнулась очень интересной рецензией на перевод Льва Пеньковского: «Гейне Л. Пеньковского — это подлинный «барабанщик революции». Но в этой удаче переводчика оказалась новая западня. Его Гейне сознательнее, «монолитнее», «выдержаннее», чем он был на самом деле. Его Гейне атакует романтическую реакцию извне — как воинствующий безбожник, ничем с ней внутреннее не связанный». Е. Книпович справедливо заметила, что в переводе Пеньковского поэма Гейне стала политически острее, чем была в оригинале. Но «социальная активность» Гейне в переводе Пеньковского была вызвана весьма немаловажным политическим фактором. Так прочел поэму советский переводчик вскоре после прихода в Германии к власти фашистов.

В первом варианте своего перевода Пеньковский огрубил и опростил лексику Гейне порою до смешного. Он писал «олухи» вместо «дураки», «мерзкий язычок» Мюссе вместо «острого языка», Вар не просто застрял в болотах Тевтобургского леса, но и «закис» в них, и так далее, вплоть до оборотов вроде «сучья сука». А. Лежнев писал, что «подлинный Гейне гораздо свободнее, блестящее, артистичнее, чем Гейне переведенный,— но переводы Тынянова и Пеньковского являются большим шагом вперед». А. Федоров проанализировал четыре перевода «Германии»: Вейнберга под редакцией Зоргенфрея, переводы Пеньковского, Рубановича и Тынянова («Звезда» № 5, 1935). Перевод Пеньковского был подвергнут уничтожающей критике, это в свою очередь вызвало выступление в печати с

[1] На три года раньше — впервые в СССР,— в 1930 году, полный перевод поэмы на украинском языке появился в Харькове.

защитой перевода Пеньковского со стороны известного австрийского поэта и переводчика Гуго Гупперта. Л. Пеньковский был достоин защиты, тем более что во втором и третьем издании своего перевода он избавился от большинства стилевых и смысловых недостатков, на которые ему указали.

Перевод В. Левика был издан, как уже сказано, в 1935 году. Н. Вильмонт писал: «Перевод Левика нам представляется лучшим из существующих переводов «Германии». Его основное достоинство — верность тона. В. Левик не обыгрывает отдельные слова и интонации, не демонстрирует те или иные приемы, а подчиняет все элементы, из которых складывается поэма, некоему художественному единству».

С 1935 по 1971 год перевод Левика выдержал около 20 изданий (если учитывать, кроме полных публикаций, также и фрагментарные). Хотя в тридцатые годы, по справедливому замечанию Н. Вильмонта, перевод Левика был лучшим на русском языке, но сегодняшнему читателю, требования которого возросли не меньше, чем уровень мастерства советских переводчиков, нужен был бы новый перевод «Германии». Такой перевод существует, и сделал его снова Левик. Если сравнить текст поэмы в первом издании перевода Левика (1935) и в последнем (1971), то с первых же строк создается впечатление, что это работа вообще разных переводчиков. В старом и новом варианте перевода совпадает всего 10—15% строк. Все остальное переведено заново. С переводом Левика случилось нечто уникальное в своем роде: новый перевод не был сделан сразу, а «образовался» путем почти сорокалетней редактуры со стороны самого переводчика.

Левик-переводчик, начав свою творческую деятельность еще в 20-е годы, прошел творческую эволюцию вместе со всей советской переводческой школой. Во всех русских изданиях Гейне, начиная с 1935 года, используются его переводы, их количество неуклонно растет, как растет и их качество — ибо многие переводы лирики за прошедшие годы Левик переработал не меньше, чем свой перевод «Германии». Но кроме поэм и лирики, Левик обратил свое внимание на жанр, которому переводчики Гейне до того уделяли относительно мало внимания — на те баллады, что носят серьезный и трагический характер. Таковы «Невольничий корабль», «Фрау Метта» и другие, превосходно переведенные Левиком и являющиеся одной из вершин «советского Гейне».

Более десяти тысяч строк Гейне сейчас уже опубликовано в переводах Левика, и переводчик продолжает работу. Но Левик не перевел полностью ни одного из лирических циклов Гейне. В оригинале у Гейне каждое стихотворение лирического цикла сопрягается со всем циклом. В переводе — лишь отдельные стихи, в каждом из которых переводчик хочет передать не только словесное значение и смысл оригинала, но и частицу того художественного впечатления, которое в оригинале создается от чтения всего цикла. Отсюда некоторая «чеканность» языка лирики Гейне в переводах Левика — «чеканность» поэтической речи вообще присуща его переводам и является неотъемлемой частью Левика-поэта.

5

Еще в 1931 году, издав «Стихотворения» Гейне, издательство «Academia» решило выпустить полное собрание его сочинений. Три тома из десяти предполагалось занять поэзией. Издательство привлекло к работе многих новых переводчиков, чьи имена мы узнаем из небольшой статьи, опубликованной в «Литературной газете» № 54, 1933, посвященной заседанию, которое проходило в издательстве «Academia». На нем обсуждались новые стихотворные переводы Гейне, выполненные Л. Руставели, М. Тарловским, Л. Пеньковским, А. Лежневым, О. Румером, А. Ефременковым. Позднее инициатива издания Полного собрания сочинений перешла к ГИХЛу, ввиду того, что в середине 30-х годов издательства слились. В 1935—1937 гг. был издан весь Гейне, за исключением восьмого тома (проза) и первых трех томов, в которые должны были войти поэтические произведения Гейне. Редактировали издание Н. Берковский, И. Луппол, А. Лежнев и др. Первый том (стихи) вышел в 1938 г.

По-настоящему интересным было в первом томе «Приложение» — где дана «Книга песен» в переводах русских поэтов от Лермонтова до Блока. В 1956 году Н. Берковский издал отдельно «Книгу песен» в переводах тех же поэтов, и эта книга — истинный памятник русской Гейнеане дореволюционного периода.

Третий том того же издания вышел в 1939 году; выходу двух оставшихся томов (второго и восьмого) помешала начавшаяся война.

Том второй вышел после войны, в 1948 году, под редакцией А. С. Кочеткова (на титульном листе как редактор был ошибочно указан В. Левик). Том этот был сделан куда добротнее предыдущих. В работу над переводами включились несколько новых и талантливых переводчиков. Были в нем использованы и переводы скончавшегося в 1940 году ленинградского поэта Михаила Фромана. Его работы заслуживают особого внимания. Первый его перевод из Гейне («Силезские ткачи») появился в печати в 1937 году в журнале «Звезда», потом «Литературный современник» несколько раз публиковал подборки его переводов, наконец, в посмертной книге «Избранные переводы» (1940) была собрана большая их часть. Многие из переводов лирики были весьма удачны.

Вместе с выходом в 1949 году последнего, восьмого тома Полного собрания сочинений как бы завершилась «довоенная эпоха» «советского Гейне».

К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

В 1950 году включился в «советского Гейне» С. Маршак. Впервые к творчеству Гейне Маршак обратился еще в 1903 году (ему было тогда 16 лет). Но к серьезному и систематическому переводу Гейне он приступил лишь много десятилетий спустя. В 1951 году в 11-м номере журнала «Новый мир» был опубликован большой цикл его переводов, в 1952 году его переводы были использованы при составлении «Избранного» Гейне в Детгизе. Работу над Гейне Маршак продолжал до самой смерти.

Автор комментариев к Собранию сочинений Маршака С. Чулков пишет: «Именно такие стихотворения Гейне, в которых лиризм причудливо сочетался с народной песней, с ее непосредственностью, юмором, привлекли внимание Маршака-переводчика». Поздняя лирика Гейне с ее трагическим мироощущением, по-видимому, была чужда С. Маршаку. Маршак в ряде случаев заведомо вступал в соревнование с уже имеющимся на русском языке и ставшим классическим переводом. Пример тому — «Они мне дни омрачали», где Маршак состязался с переводом Аполлона Григорьева («Они меня истерзали»). Рефрен стихотворения («Одни — своею любовью, другие — своей враждой») просто совпадает у Маршака с переводом Григорьева. Но трагизм Гейне у А. Григорьева передан сильнее. Стихотворения «Над пеною моря, раздумьем объят» и «Лорелей» тоже, в сущности, не лучше и не оригинальнее предыдущих переводов тех же стихов (в первом случае — А. К. Толстого, во втором — Саши Черного, Блока, Левика). Но там, где Гейне был близок «родной стихии» Маршака, народной (даже именно шотландской балладе), Маршак создавал подлинные шедевры:

Гонец, скачи во весь опор
Через леса, поля,
Пока не въедешь ты во двор
Дункана-короля.

Спроси в конюшне у людей,
Кого король-отец
Из двух прекрасных дочерей
Готовит под венец.

Коль темный локон под фатой,
Ко мне стрелой лети.
А если локон золотой,
Не торопись в пути.

В канатной лавке раздобудь
Веревку для меня
И поезжай в обратный путь,
Не горяча коня.

Весьма удачен и перевод «Мир шиворот-навыворот» — здесь Маршак вступил в спор с переводом Тынянова и выиграл его. Маршаку — как немногим другим счастливцам — удалось внести свой вклад в золотой фонд «советского Гейне».

Большой подъем «советского Гейне» — издательский и переводческий — связан с юбилейным 1956 годом (100 лет со дня смерти Гейне), когда было издано сразу три первых тома нового Собрания сочинений Гейне и «Избранные произведения» в двух томах. Эти книги вышли в издательстве «Художественная литература», но еще несколько книг меньшего объема было издано в других издательствах — Детгиз, «Правда» и т. д.

В юбилейном 1956 году наряду с прежними переводчиками выступили новые — Л. Гинзбург, А. Големба, В. Звягинцева, Б. Томашевский, Е. Эткинд и т. д. Кроме того, новое Собрание сочинений выгодно отличалось от предыдущих более внимательным отношением к переводам и переводчикам прошлого.

Из плеяды переводчиков юбилейного 1956 года выделяется Лев Гинзбург, которому принадлежит около тридцати переводов из Гейне. Многие из них по-настоящему хороши («Песня о дукатах», «Мария-Антуанетта»). Гинзбург пошел по стопам Тынянова, переводя почти исключительно сатиры, и, мастерски владея русским стихом, создал отличные переводы.

Остается сказать о книге «Стихотворения, поэмы, проза» (издательство «Художественная литература»), вышедшей в «Библиотеке всемирной литературы» в 1971 году под редакцией С. Шлапоберской. Эта книга качественно отличается от всех предыдущих изданий, отличается весьма выгодно, несмотря на то что новых переводов в ней немного и новых переводчиков — единицы. В книге достойным образом представлена работа всех — старых и новых, дореволюционных и советских — переводчиков Гейне, чье творчество заслуживает серьезного внимания. Весьма тщателен подбор старых переводов, но что еще важнее — впервые в советское время во многих случаях восстановлены первоначальные тексты переводов XIX века — скажем, переводы Л. Мея освобождены от пресловутой «ритмической правки». Ряд новых, интересных переводов опубликовали Лев Гинзбург, Вильгельм Левик, Александр Големба.

«Тангейзер», своеобразный черновик будущей поэмы Гейне «Германия», переводился на русский язык и реже и хуже, чем «Германия». Несмотря на то, что это одно из самых эффектных стихотворений Гейне — злободневная сатира, причудливо сплетенная со средневековой легендой,— достойного переводчика это стихотворение дожидалось лишь теперь — в «Библиотеке всемирной литературы» опубликован новый перевод Владимира Микушевича:

...Гамбург хорош, однако и там
Достаточно дряни плодится.
На гамбургской бирже и в целльской тюрьме
Весьма похожие лица.

Альтону в Гамбурге я осмотрел,
Местечко высшего тона.
Когда-нибудь я на десерт расскажу
О том, какова Альтона.

Поэзия Гейне давно и неразрывно связана с русской поэзией. Недаром Николай Ушаков недавно включил свои переводы из Гейне в книгу собственных стихов, недаром на столах редакций среди «самотека» неизменно появляются переводы из Гейне, недаром многие крупные советские переводчики потихоньку переводят Гейне «себе в стол». И хочется думать, что недалеко то время,

когда издательство «Художественная литература» вновь поставит в свои планы «полного» Гейне, а затем и читатель поставит на свою полку нового, советского, русского Гейне, изданного со всей ответственностью, любовью и талантом.

Скоро сто пятьдесят лет, как живет в русском языке поэзия Гейне. Каждое новое поколение читало его заново, открывая для себя все новые и новые грани его творчества, но всегда, во все прошедшие десятилетия, поэзия Гейне была поразительно современна, до самых глубин проникала она в души читателей, задевая самые насущные, самые наболевшие вопросы жизни. И, может быть, не случайно русская Гейнеана — самая богатая за пределами немецкого языка, ибо русскому народу было всегда чуждо и враждебно все то, с чем боролся в своей поэзии Гейне, точно так же, как было ему близко и дорого все то, что было близко и дорого Гейне.

За рамками статьи, к сожалению, осталась обширная история переводов поэзии Гейне на языки братских народов Советского Союза. Украина, Прибалтика, народы Закавказья знакомы с творчеством Гейне уже многие и многие десятилетия. Но и народы, впервые получившие письменность при советской власти, также познакомились с его творчеством, причем часто первым переводом с западноевропейского языка был перевод из Гейне. Эта тема все еще ждет своего исследователя: уже сейчас Гейне вышел отдельными изданиями на 20 языках народов СССР.

Жизнь Гейне в СССР продолжается. Как и прежде, каждое новое поколение советских поэтов обращается к его поэзии, открывая в ней все новое и новое; как и прежде, его поэзия неразрывно связана с насущными проблемами сегодняшнего дня. Его поэзия — спутник современности, спутник верный и надежный.

Е. КНИПОВИЧ

«ГЕРМАНИЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Существует девять переводов поэмы Генриха Гейне «Германия. Зимняя сказка» на русский язык; думается, что большего количества переводов этой поэмы не насчитывает ни одна литература мира.

И если проанализировать русский текст всех этих переводческих трудов, осуществленных за почти столетний срок, стало бы очевидным, что даже в метрике, ритме, лексике проявились не только разные индивидуальности переводивших, но и разные исторические периоды, разные эстетические принципы, разные политические убеждения, разное восприятие и понимание огромного и противоречивого единства, именуемого творчеством Генриха Гейне.

Все это помогает понять, каким образом творчество Гейне становилось оружием в идейно-эстетической войне различных групп и направлений русской литературы и литературной науки. Нежный лирик и романтик, либеральный народолюбец и «барабанщик революции», мастер разрушительной иронии, способной подточить любую веру и любые убеждения,— вот те аспекты, в каких вставал Гейне на протяжении второй половины XIX и первых полутора десятилетий XX века в сознании русских поэтов, литературоведов, читателей.

Самое любопытное заключается в том, что почти в каждом из этих аспектов жило зерно истины. Но истина, в основе которой лежит принцип «pars pro toto» — всегда сомнительна, а иногда способна привести к той операции, какую заклеймила мудрая восточная пословица — «из лоскутков правды шьют одеяло лжи».

Я думаю, что подлинное лицо Гейне открылось для широкого круга русских читателей после Октябрьской революции. И не только потому, что для советской власти и главы ее — Ленина — Гейне был тем, кто одним из первых достоин войти в ряд великих деятелей мировой литературы, который был определен и планом «монументальной пропаганды», и списком авторов возглавляемого Горьким издательства «Всемирная литература» (издание Собрания сочинений Гейне, освобожденное от купюр царской цензуры, начало подготовляться в 1918 году, и два тома его вышли в труднейшие годы гражданской войны и разрухи).

Существенным было и то, что на заседаниях редакционной коллегии «Всемирной литературы», куда входили большие писатели и ученые разных убеждений и направлений, многократно, в связи с как будто частными проблемами творчества Гейне, шел спор об общей его оценке, об основном смысле, доминанте этого творчества.

Для ныне покойного академика В. Жирмунского — тогда еще молодого ученого — Гейне был только романтиком, для А. Волынского — литературоведа и искусствоведа — пламенным поборником юдаизма, для крупнейшего античника Ф. Зелинского — либо эллином, либо «блуждающим огоньком поэзии».

Два участника спора — главный редактор будущего собрания сочинений Александр Блок и руководитель всей работы издательства М. Горький — по-разному, но в равной мере давали «монистическое решение» проблемы «Генрих Гейне».

Доклад на конгрессе в Дюссельдорфе 15—19 октября 1972 года.

Выступлений Горького по этому вопросу я не слышала, хотя мне довелось быть очень юным и, конечно, немым свидетелем некоторых из этих споров. Но о том, что точки зрения Блока и Горького были близки, я слышала от самого Блока. Несомненно, в том же русле шли и работы одного из основоположников марксистской критики — Луначарского. Я думаю, что с этих пор у нас в Советском Союзе и начала складываться та исторически-объективная оценка творчества Гейне, к которой — в конкретном анализе — стремится подойти советское гейневедение. Да, романтик, но и тот, кто отрекся от престола тысячелетнего царства романтики и его «столпов» — прежде всего от Августа Шлегеля,— на котором впоследствии, как сказал большой русский поэт, он «проплясал свой танец мести, гремя дурацким колпаком Кунца фон дер Розена». Да, иудей, воспевший красоту и величие Библии, Книги книг, и эллин, слагавший гимны раскрепощению духа и плоти, и, наконец, «барабанщик революции» — но и автор «Бродячих крыс», словом, клубок противоречий, художник и мыслитель, совершивший немалое число измен различным эстетическим и философским знаменам.

«Я не знаю, простятся ли Гейне все его измены,— говорит Александр Блок в одной из своих статей о Гейне, написанных в годы революции,— все то непостижимое скопление непримиримых противоречий, которое он носил всю жизнь в своей душе и которое делает его странно живым для нашего времени... Не знаю и скорей сомневаюсь, что подобное бессмертие равноценно гётевскому и шиллеровскому бессмертию. Я твердо знаю только, что ряд измен, проистекающих не от бедности и убожества, а от величайшей полноты, не от оскудения жизни, а от чрезмерного накопления жизненных сил, которые рвут душу на части, совершил Гейне».

К вопросу о том, что стало великим и неизменным следствием этой трагической разорванности, этих противоречий, почему этот Гейне был и остается могучим союзником в борьбе всего прогрессивного человечества за лучшее будущее народов мира — к этому вопросу мы и подойдем в связи с поэмой «Германия. Зимняя сказка».

В качестве еще одного предварительного замечания я хочу напомнить, что у Генриха Гейне был один друг, который — отнюдь не по мягкости характера, а по великой своей исторической проницательности — всегда становился на сторону Гейне и в тех конфликтах, в которых против поэта яростно выступали не феодалы и клерикалы, а публицисты и политические поэты, поборники как будто бы самых что ни на есть возвышенных идей и народолюбческих убеждений. Имя этого друга — Карл Маркс, и я горжусь тем, что сорок с лишним лет тому назад мне довелось — первой из русских гейневедов — подробно исследовать историю этой дружбы и рассказать о ней советскому читателю.

Несомненно, отношение Маркса ко всем весьма сложным перипетиям творческого и общественного пути Гейне объясняется тем, что реакция поэта — страстная, порой неистовая — на все «битвы нынешнего дня» включала в себя и категорию будущего, предвосхищение тех битв завтрашнего дня, участники которых еще лишь набирают силу сегодня.

Нет, Гейне отнюдь не был коммунистом, более того, победа коммунизма, которая брезжила для него в будущем, вызывала в нем и страх, и опасения за столь дорогие ему ценности великой человеческой культуры. Но боясь огня, он тянулся к огню, потому что этот огонь — очистительный — сжег бы прежде всего все то, что так страстно ненавидел поэт: королевскую власть, все феодальные пережитки, церковное мракобесие, современных темных людей, филистерское убожество, раболепие, косность, либеральное, абстрактное прекраснодушие.

Не думайте, что, говоря о категории будущего в творчестве Гейне, я, сторонник эстетики социалистического реализма, хочу «подтянуть» к ней и великого немецкого поэта. Нет, чтобы определить ц е н н о с т ь этой категории в творчестве художника, я возьму себе в союзники Томаса Манна, который говорил в одной из своих речей, касаясь творчества своего брата Генриха, о том, что если гений означает предвидение, предвосхищение, страстное воплощение того, что будет, то творчество Генриха Манна носит печать гениальности и помимо своих художественных дерзаний представляет собой нравственный феномен. Дело тут не в конкретной оценке творчества Генриха Манна, а в установлении неразрывной связи категории будущего с категорией гениальности художника. И вот это огненное, обжигающее ощущение будущего, которое Гейне и принимает и от которого он обороняется шуткой, издевательством, иронией, и определяет всю сущность творчества поэта и его поэмы «Германия. Зимняя сказка».

Я думаю, нет нужды вспоминать ни предыстории, ни истории, ни маршрута того путешествия на родину, которое Гейне совершил в туманном месяце ноябре 1843 года, после почти тринадцатилетней разлуки с ней. Маршрут — правда, неточный — запечатлен в самой поэме. Факты — предыстории и истории — в опубликованной в Германии и у нас переписке Гейне, в воспоминаниях родных и современников поэта Марии Эмбде-Гейне, Георга Ширгеса, Германа Детмольда, Юлиуса Фребеля, Фридриха Геббеля и других.

Существеннее для нас, так сказать, «духовный» маршрут путешествия — новая реакция на старое зло и старых врагов, новое осмысление старых иллюзий, новый, еще более острый взгляд в будущее — в диалектические варианты в о з м о ж н о г о будущего родной страны — от страшного сосуда Гаммонии до певучего пламени «ада», куда будет ввергнут тот, кого осудил на казнь поэт.

Когда подлинный художник строит свое произведение — будь то роман, пьеса или поэма,— в нем всегда, кроме общего чертежа, бывают и главы, сцены, строфы, которые как вершины поднимаются над всем

произведением, как идейно-художественные «узлы» связывают все его линии и мысли. И может быть, я в моем личном, субъективном восприятии этих «вершин» поэмы «Германия. Зимняя сказка» несколько разойдусь с общепринятой в литературоведении оценкой.

Да, конечно, сен-симонистский оптимистический запев первых глав поэмы прекрасен и заслуженно прославлен в поэзии и публицистике прогрессивных художников и деятелей всех стран в прошлом и нашем веке. Еще недавно строка о «розах и миртах» стала названием нового романа французского писателя — коммуниста Роже Шатонё. И все же эти ликующие строфы заранее данного, так сказать, прямого оптимизма для меня не так остро, непосредственно и бесспорно раскрывают сущность поэмы, как кёльнские главы, главы, связанные с темой Кифгейзера и Барбароссы, как встреча с богиней Гаммонией и, наконец, как глава, где тема огня уже совсем по-вагнеровски вырывается на поверхность.

За недостатком места я не имею возможности здесь проследить ни все богатство и сложность чертежа поэмы, ни ту тонкость «контрапункта», с какой, например, тема столь ненавистного поэту прусского орла в разных опосредствованиях встает и в главе об Ахене, и в главе Минден, и в других главах. Что касается кёльнских глав, то здесь я, естественно, никак не могу принять те инвективы против Кёльнского собора, которые в них заключены. Великие памятники зодчества — это достояние народа и памятник народного труда, и у всех нас — людей любой национальности — нет оснований проклинать собор, так же как и любой другой памятник прошлого.

Но для Гейне здесь, в поэме, это был не реальный собор, а символ церковного мракобесия, неразрывно спаянного с мракобесием феодальным. Наиболее же существенна в этих главах та тема революционной мысли, которая — другими руками — претворяется в историческое деяние, а также и та боль, то смертельное напряжение, какого стоит художнику воплощение этой действенной мысли.

Кто же он — тот таинственный человек, который, покинув поэта со дней юности, вновь появился возле него на ночных, залитых луною улицах Кёльна? В прошлом

...засидевшись в ночи у стола,
В погоне за рифмой крылатой,
Не раз замечал, что за мною стоит
Неведомый соглядатай.
Он что-то держал под черным плащом,
Но вдруг — на одно мгновенье —
Сверкало, будто блеснул топор,
И вновь скрывалось виденье.
Он был приземист, широкоплеч,
Глаза — как звезды блестящи,
Писать он мне никогда не мешал,
Стоял в отдалении чаще.
Я много лет не встречался с ним.
Приходил он казалось, бесцельно,
Но вдруг я снова увидел его
В полночь на улицах Кёльна [1].

Исследователи поэмы высказывают по поводу этого спутника различные предположения. Для одних — это просто двойник поэта, для других — символ или воплощение его веры в революционные потенции своего народа. Второе предположение не кажется мне убедительным. Что касается первого, то и его, на мой взгляд, можно принять лишь с большими оговорками. Потому что и двойники немецких романтиков, и «Двойник» самого Гейне, и даже строгий и молчаливый друг Вильяма Вильсона из одноименной новеллы Эдгара По принадлежат к совершенно иной породе, чем этот спутник поэта.

Есть в литературе XIX — XX вв. и другой ряд двойников, принявших образ черта, таких, как ночные собеседники Ивана Карамазова или Адриана Леверкюна. В них воплощено то зло, точнее, та частица исторического и социального зла, которая живет в душе героя. Но спутник Гейне при всех скептических и снижающих образ оговорках воплощает — нет, не статичное добро! — то действенное, обращенное в будущее начало творчества поэта, которое до сих пор помогает в борьбе с косностью, мракобесием, человеконенавистничеством.

Союз с этим «ликтором» дается поэту нелегко. Во сне, который следует за реальной прогулкой по Кёльну, поэт метит объекты, подлежащие разрушению, кровью из разверстой на груди раны.

И каким бы якобински презрительным ни был его спор с «тремя королями полночной страны», чьи мощи лежали в Кёльнском соборе, все же в минуту расправы над ними, учиненной молчаливым спутником и выполнителем воли поэта, удары топора как бы настигают и его самого.

И жутко, отдавшись гулом во тьме,
Удары прогудели,
Кровь хлынула из моей груди,
И я вскочил с постели.

Так, наяву и во сне, проясняющем явь и неразрывно с ним слитым, поэт произносит приговор над старым миром и старой верой, зовет к разрушению их и корчится от боли при мысли о его гибели, потому что вместе с ним уйдет и все то, чем он когда-то жил и во что верил.

Такую же сложную борьбу в сердце и строфах поэмы ведет Гейне с легендой о спасителе родной страны — императоре Барбароссе.

Четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая и семнадцатая главы — поддерборнская степь, медленное, толчками, усыпляющее движение кареты и нахлынувшие воспоминания о песнях, сказках, легендах, о том драгоценном наследии народа, которое поэт впервые узнал из уст своей няни, Зеппель Сибиллы. Так, с живого, подлинного, истинно народного запева начинается в поэме наиболее отчетливое разоблачение исторических иллюзий и националистических фетишей. Контрапункт этого зачина также очень сложен. Припев няниной песни поэт ведет через все главы к последней главе.

[1] Поэма «Германия. Зимняя сказка» здесь и далее цитируется в переводе В. Левика.

к заключению поэмы, где огонь — тема, столь важная для творчества Гейне,— вырывается наружу, где повелителем огня, более безжалостного, чем адский, и неугасимого даже волею святых и Иисуса Христа — становится по примеру предшественников своих, начиная с Данте, сам поэт.

То песнь о разбойнике, жившем встарь
Нельзя веселей и счастливей.
Его повешенным нашли
В лесу на старой иве.
И приговор к стволу прибит
Был чьими-то руками.
То Фема свершила свой праведный суд,—
«О солнце, гневное пламя!».
Да, гневное солнце следило за ним
И злыми его делами.
Предсмертный вопль Оттилии был:
«О солнце, гневное пламя!»

Но, несомненно, к теме огненного возмездия, к солнцу — обвинителю и суду Фемы, выполняющему приговор, тянется нить от кёльнских глав, где уже сам поэт — «повелитель огня» — произносит тот приговор, который приведет в исполнение его загадочный спутник.

Но песенный, народный запев четырнадцатой главы плавно, без изменения тональности и лексики идет к наивному, торжественному — тоже словами няни — пересказу легенды о Барбароссе:

Она уверяла, что он не мертв,
Что это вздор ученый,
Что в недрах одной горы он живет
С дружиной вооруженной.

И дальше — такой же эпически наивный рассказ о залах, где сложено оружие, где спят кони и воины, где на каменном сиденье у каменного стола спит и сам рыжебородый император.

Но в положенный час он воспрянет ото сна, и по его призыву воспрянет и его рать.

Им любо скакать и любо рубить,
Они отоспались на славу.
А император велит привести
Злодеев на суд и расправу —
Убийц, вонзивших в Германию нож,
В дитя с голубыми глазами,
В красавицу с золотою косой,—
«О солнце, гневное пламя!»
Кто в замке, спасая шкуру, сидел
И не высовывал носа.
Того на праведный суд извлечет
Карающий Барбаросса.

И опять-таки — повторяя «чертеж» многих глав, и прежде всего кёльнских,— сказка, легенда сливается со сном. И вот уже «дух» поэта, чье тело покоится в дорожной коляске, ведет в недрах Кифгейзера доверительную беседу с императором — во-первых, бодрствующим, во-вторых, вполне домашним и хозяйственным. И здесь в высокий строй народной легенды стремительно начинает вплетаться сатира.

Убедительность и — я бы сказала — бессмертие этого прощания с прошлым, этого низвержения «старых богов» имеет свое объяснение. Когда Генрих Гейне разоблачает здесь фетиш националистов своего времени, он ведет с легендой о Барбароссе длительную войну не только в строках поэмы, но и в собственном сердце. Сущность сказки о Барбароссе была также противоречива, так же двойственна, как и вся история национального объединения и соответствующей идеологии в Германии. И 14-я глава поэмы — это последний и не лишенный сожаления взгляд, брошенный на иллюзии самой ранней юности. Ибо никакой литературный прием, никакое заранее обдуманное намерение не могло создать тех строк, звенящих гневом и надеждой, которые предшествуют, так сказать, анализу исторической сущности этой легенды, взятой на вооружение «старонемецкими болванами» и морально приговоренной к смерти уже самой возможностью таких проявлений самодеятельности народных масс, каким была французская революция 1789—1794 годов.

В этом смысл той острой дискуссии о гильотине, которая — во сне — происходит между поэтом и весьма шокированным собеседником. Итог дискуссии: Барбаросса — тот, кто в зачине темы «Кифгейзер» возникал как герой, как вождь, выполняющий веления «гневного пламени», предстает в своей истинной, для сегодняшнего дня, для 40-х годов прошлого века сущности, то есть как дурацкая небыль в венце. Могло это случиться лишь потому, что Гейне — великий художник, как мы уже говорили,— обладал тем чувством будущего, которое и отличает великих художников. И этот путь в будущее — при всех своих противоречиях — он указывал своей родине. Но и здесь — в борьбе с легендой об императоре — победа далась ему нелегко.

И, наконец, главы о богине Гаммонии.

Встреча с богиней Гаммонией — это, конечно, кульминация сатиры, острие которой направлено против всего того в прошлом и особенно настоящем родины Гейне, что может повернуть движение истории в сторону реакции, мракобесия и человеконенавистничества.

Будущее — прекрасное или страшное — не наступает для человечества, народа, страны автоматически. При всей обусловленности движения истории социально-экономическими, идейно-политическими причинами и предпосылками для страны, народа — вплоть до отдельного человека — остается возможность, пусть трудная и ограниченная, воздействовать на ход событий, не пассивно подчиняться обстоятельствам, а «перестраивать» их в сторону будущего или, как говорил Маяковский, «тащить понятое время». В этом процессе изменения обстоятельств изменяется, становится причастным будущему и сам человек.

Диалектика построения поэмы «Германия. Зимняя сказка» как раз и показывает борьбу исторического «добра» и исторического «зла» в возможных вариантах будущего родной страны Генриха Гейне. Так, после «якобинского» спора с Барбароссой, который шел во сне поэта, следует глава, где пародируется филистерское раболепие перед феодальными призраками прошлого. И далее, в главе Минден, орел прусского герба — тоже во сне — становится мифическим орлом, который терзал прикованного к горам Кавказа титана-богоборца, а сам поэт становится этим титаном-Прометеем.

Исследователи поэмы «Германия. Зимняя сказка» единодушны в мнении о том, что весь эпизод, связанный с богиней Гаммонией, по литературно-эстетической традиции восходит к «Птицам» Аристофана. Несомненно, это так. И клятву верности «отцу моему Аристофану» Гейне и в поэме, и в других произведениях приносил неоднократно. И все же мне кажется, что в этих главах нет той божественной непосредственности, той дохристианской смелости в трактовке всех вопросов духа и плоти, с какой выступал в своих комедиях Аристофан. В некоторых эпизодах же, связанных с богиней Гаммонией, порой звучит то пародийное «богоборчество», которое приводит на память творение современника Гейне — Жака Оффенбаха.

Это не касается, конечно, строф, где перед взором поэта предстает тот вариант будущего страны, который «вырастает» из всего темного, косного, реакционного, что было в немецкой истории.

Что делать! Этот вариант будущего, несомненно, осуществился в страшной тринадцатилетней истории «тысячелетнего» гитлеровского рейха, чья память в равной мере ненавистна честным гражданам всех стран мира — в том числе гражданам немецкой национальности.

Но «предвидение», предвосхищение этого страшного варианта будущего, острота зрения, проницательность поэта также могли проявиться лишь потому, что он с огромной силой ощущал клокотанье того подземного огня, который вырвется и истребит порождение исторического «зла».

Я повторяю: Гейне не был сторонником коммунизма, но он знал, что коммунизм — враг его врагов, он ощущал всю бессмертную силу того недовольства трудового народа, которое созреет гневом и приведет к революционному взрыву.

Вот почему Гейне выделяется среди всех современных ему революционных поэтов Германии. Да, мы ценим заслуги Георга Гервега и Фрейлиграта, который в революционных симпатиях своих был последовательней Гейне. Но величие и гениальность Гейне заключаются и в том, что на проявление исторической активности трудовых масс он смотрел без народолюбческой жалости, как многие другие поэты, с острым пророческим ощущением тех грозных, близких геологическим, переворотов, перемен, которые эта активность предвещает.

Для этого достаточно вспомнить хотя бы лишь то, как откликнулись на восстание силезских ткачей шесть немецких поэтов — в том числе такие значительные, как Фрейлиграт, и насколько грозные и бессмертные строки «Ткачей» Гейне отличаются от жалостливого народолюбия других поэтов.

Как мы уже говорили, «Германия. Зимняя сказка» завершается вырвавшейся на поверхность темой огня, которая в тех или иных опосредствованиях проходит через всю поэму.

И я хотела бы закончить свои размышления о «Зимней сказке» Гейне тем образом его, какой в 1919 году нарисовал большой русский поэт Александр Блок в докладе «Крушение гуманизма», сделанном на редколлегии издательства «Всемирная литература».

Да, конечно, и о Гёте, и о Гейне поэт говорил на своем, субъективном языке и создавал субъективные их образы. Но думаю, что в этом субъективном восприятии есть и зерно объективной истины.

Гёте — «громаден», он — «веха на рубеже двух столетий», Гёте — «столько же конец, сколько начало. И его гуманизм поэтому как бы пронизан той музыкой, которая поднимается из туманной бездны будущего,— музыкой масс (II часть «Фауста»)».

Гёте во мраке начала XIX века уже различит очертания будущего, «будет наблюдать языки огня, которые скоро начнут струиться в храме европейской гуманистической культуры, на месте солнечных лучей. Гёте будет слушать музыку этого огня. Он, застывший в своей неподвижности, с загадочной двойственностью относящийся ко всему, подает руку Рихарду Вагнеру, автору темы огней в «Валькирии»,— через голову неиствующего, сгорающего в том же огне будущего, Генриха Гейне».

Думаю, что именно в этой трагической причастности «огню будущего» — бессмертное величие Гейне, объяснение современности и действенности всего того, что он создал.

Заметки на полях

ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ — ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВА

Проблема доступности художественного творчества широкому кругу читателей, зрителей, слушателей возникла не сегодня, да и не вчера. Еще Аристотель, конструируя свою эстетическую систему, сталкивался с феноменом «равности» и «неравности» произведения искусства самому себе и умозаключал, что высшую гармонию оно обретает в процессе освоения его обществом, истинно реализует свою ценность и красоту в контакте с воспринимающей его массой.

Но вечные проблемы, как известно, обладают свойством в каждую эпоху обнаруживать особый, кровно-современный смысл.

В наши дни в развитых странах к искусству приобщились самые широкие слои общества; с ходом научно-технического прогресса оно стало, как никогда, мощной духовной силой воздействия на человека. С тем большей остротой стоит ныне — и для современного писателя, и для современного читателя — проблема эстетической внятности искусства, его доступности массам.

Но что понимать под доступностью? — об этом и идет спор.

«Об общедоступности и некоторых проблемах современной общественной жизни»,— так озаглавил свою статью, опубликованную в газете «Непсабадшаг», известный венгерский критик и литературовед, главный редактор журнала «Критика» Пал Панди.

> «Понятность,— пишет автор,— я считаю правомерным требованием к искусству; это значит, что художественное произведение должно обладать объективным значением. Это его специфическая особенность, непременное условие».

Трюизм? Повторение общеизвестного? Простая декларация того, что давно уже освоено мировой эстетической мыслью и что утверждено марксистским эстетическим учением как один из родовых признаков художественного познания мира и человека в нем? Нет, критик, отправляясь от этого тезиса, вступает в полемику с теми направлениями эстетической мысли XX века, которые возводят в принцип дегуманизацию искусства:

> «Я хотел бы выразить протест против бессмыслицы, иррационализма, духовного блефа».

Пафос критика понятен и правомерен: он не приемлет искусства, принципиально отказывающегося от познания исторических закономерностей общественного развития, декларирующего природную неизменность личности, искусства, намеренно создающего дистанцию между собой и своим потребителем. И он утверждает искусство, апеллирующее к воле и сознанию человека, ставящее своей целью его нравственное возвышение и потому стремящееся, естественно, быть понятным массам.

Но тут-то и встает немедленно и неизбежно вопрос о критериях доступности искусства читательскому (зрительскому) сознанию. И именно этот вопрос выдвигает П. Панди в центр своих рассуждений.

> «Нужны очень точный анализ и очень точные выводы,— говорит критик,— когда дело касается вопроса общедоступности произведений искусства... У меня, например, часто вызывают неприязнь дидактические наставления тех писателей и художников, которые, оставляя без внимания подлинную концепцию общедо-

ступности, односторонне и вульгаризированно вменяют общедоступность в обязанность людям творческого труда».

Особый смысл и значительность затронутая П. Панди проблема обретает в рамках социалистической культуры, открыто поставившей себя на службу «миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность»[1]. Тем самым — миллионам, которые в продолжение веков были оторваны от достижений мировой культуры и которые с победой революции вступили на путь ускоренного духовного развития. Тут, в пределах конкретной исторической ситуации, обнаруживается, что дело, пожалуй, не только и не столько в наивности «писателей-дидактиков», сколько в объективных социальных условиях эпохи. Вспомнить хотя бы рапповские времена, годы популярности вульгарно-социологических теорий искусства. Справедливо отказываясь от этих теорий, от созданных по их рецептам однодневок, и уж тем более от экстремистских методов организационной работы, к которым прибегали иные деятели РАППа, можем ли мы отвлекаться от того факта, что требования, предъявленные искусству иными теоретиками того времени и их последователями, были своего рода — оголенно прямолинейным, конечно,—откликом на тенденции времени? То была попытка рывком, мгновенно преодолеть расстояние, которое в темной, неграмотной России отделяло массы людей от источников знания и культуры. Соответственно и методы предлагались такие, которые, как им казалось, могут быстрее всего привести к решению этой задачи.

Но то, что было «детской болезнью» зарождающейся социалистической культуры, сегодня, в пору ее зрелости, звучит досадным — хотя, надо признаться, довольно живучим — анахронизмом. Весьма точно П. Панди прослеживает истоки и поныне бытующих догматических взглядов на искусство, нормативных требований, предъявляемых к художественному творчеству. Он пишет:

> «Одна из причин схематизма заключается в том, что от искусства требуют отражения основной формулы, обозначающей момент исторического перелома, не учитывая того, что с течением времени действительность открывает художнику новые противоречия, новые конфликты».

Такое требование, следовательно, легко обнаруживает свою недостаточность уже с точки зрения тех социальных перемен, через которые проходит общество на пути исторического прогресса. Отражая эти перемены, естественно, меняется — и живет этими переменами — и искусство.

Замыкаться в рамках ныне распространенных представлений, жестко ограничивать себя отражением одних только идей сегодняшнего дня — чужеродно природе искусства вообще, социалистического искусства в особенности, ибо это последнее возникло в недрах самой динамической в мировой истории социальной структуры.

Поэтому весьма справедливой представляется мысль венгерского критика:

> «Только на первый взгляд кажется антидемократическим утверждение, что видимая общедоступность художественного произведения еще не есть признак его ценности... Если мы хотим, чтобы самые широкие слои трудящихся приобщились к ценностям культуры, то мы должны помнить, что краеугольным камнем оценки произведения демократической и социалистической культуры может быть лишь художественная правда».

Можно понять и ту, несколько раздраженную даже, нотку, что возникает в конце этого рассуждения:

> «Мы должны быть осторожны в своих требованиях общедоступности... Их нельзя строить на основе бескультурья».

Сказано резковато, конечно, но, с другой стороны, не приходится ли еще сталкиваться с заявлениями, авторы которых, не давая себе труда вдуматься в новаторский смысл произведения, демагогически «отлучают» его от социалистического искусства (и в то же время в качестве высоких образцов этого искусства утверждают сочинения тусклые, серые, спекулирующие на неразвитости вкуса иных читательских групп)?

Противоположностью ошибки, любил повторять Бехер, является ошибка. И если ошибочна теория, проповедующая идею элитарности искусства, то не менее ошибочным — ложнодемократическим — является взгляд, согласно которому сиюминутная доступность искусства служит высшим критерием его ценности.

Об этом с удивительной точностью сказал в свое время Ленин. Высоко оценивая талант Демьяна Бедного и его литературную работу в партийной печати, он в то же время, как известно, следующим образом отозвался о поэте: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди»[2].

Мысль огромного методологического значения, бросающая свет на проблемы не только социалистической, но и мировой культуры в ее целостности.

---

[1] «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., «Художественная литература». 1969, изд. 4, стр. 88.

[2] Там же, стр. 646.

Нередко случается так, что читательское сознание, в силу своей большей или меньшей консервативности, оказывается еще не готовым воспринять перемены, свершающиеся в искусстве. И тогда возникает довольно стойкая склонность обвинять художника в разрыве контакта с публикой. Недаром П. Панди вспоминает времена, когда

> «были не поняты Эндре Ади и Аттила Йожеф. Их и других авторов новаторских произведений обвиняли в непонятности, бессмысленности, абсурдности, сумбурности».

Конечно, в мировом искусстве нередко возникают течения — XX век ими, как известно, особенно богат,— для адептов которых поиски новой, нарочито зашифрованной, формы связаны как раз со стремлением уйти от действительности и ее конфликтов, укрыться в «башне из слоновой кости». Но искусство гуманистическое высшей своей задачей полагает нравственное возвышение человека, и для такого искусства поиск новых средств выразительности непременно связан с попытками более глубокого постижения души человеческой, личностного сознания, сложными, невидимыми подчас нитями связанного с общественным движением времени. И много потерял бы тот художник, который, даже с самыми лучшими намерениями стремясь к моментальной понятности своего творчества, жестко ориентировал бы себя на средний уровень читательского восприятия.

Искусство должно идти «немножко впереди»!

Долголетнее развитие реалистического искусства убеждает в том, что именно оно дает наиболее богатые возможности художественного преображения материального мира, исследования человеческих типов в их социально-психологическом многообразии. История убеждает и в том, что художественная правда достигается и на путях жизнеподобного воспроизведения действительности (видимо, более легкого для читательского восприятия), и средствами мощного символа, гротеска, метафоры (требующих, вероятно, от читателя более высокой эстетической подготовленности). Однако до сих пор сильна инерция недоверия к условности в реалистическом творчестве: отказ от привычных, освоенных искусством и его потребителем форм все еще, бывает, воспринимается как модернистское разрушение формы вообще, имеющее своей целью, между прочим, нарушить связь между творцом и массой. Полоса, разграничивающая реалистическое и модернистское творчество, проложена ведь не просто в области формы — более или менее традиционной, более или менее доступной. Вера в человека, в его созидательные возможности — и отрицание этих возможностей, гибельный вывод о бессилии человека перед лицом жизненных катаклизмов — вот в чем смысл идейно-художественной полемики между реализмом и модернизмом.

В наше время происходят активные процессы политизации искусства, творческий спор различных его направлений все очевиднее обнаруживает связь с современной борьбой идеологий. Но наивно и неправильно было бы уже в самой формальной структуре произведения искать прямое и непосредственное отражение политической ориентации автора.

> «Сегодня,— пишет П. Панди,— едва ли кто-нибудь может утверждать с чистой совестью, что граница политического раздела пролетарского и буржуазного, аристократического и демократического проходит на стыке общедоступных и необщедоступных произведений... Есть такие произведения, что легко, тут же воспринимаются, есть более трудные для восприятия, но по своей эстетике, чувствам, мыслям стоящие на стороне прогресса».

Ничего сенсационного в этой мысли, конечно, нет. Однако ведь и поныне возникают рецидивы былых представлений (к счастью, пределы их влияния в науке все более заметно сокращаются), согласно которым только произведение, выполненное в традиционных формах, соответствует-де высшим народным интересам; в книгах же, полотнах, кинофильмах, авторы которых прибегают к новаторским, необычным приемам типизации действительности, усматривают порой отражение аристократических интересов пресыщенной буржуазной публики. Конечно, и приверженцы подобных схем, даже бегло оглядевшись окрест, легко убедятся в том, что очень часто буржуазные идеалы выступают в самом что ни есть привычном беллетристическом одеянии (более того — сознательно апеллируют к весьма примитивному эстетическому чувству, обывательскому вкусу) и, напротив, идеалы социалистические облекаются в формы условно-поэтические (Брехт, Лорка, Неруда — список имен только мирового калибра получится внушительным).

Но литературоведческие штампы изживаются трудно. Поэтому снова приходится признать весьма своевременным предупреждение венгерского критика:

> «Поэмы Ференца Юхаса или Ласло Надя понимать нелегко. Но серьезный ущерб причинил бы нашей социалистической культуре тот критик, который, обратив внимание на их значительность, осудил бы их с точки зрения классовой борьбы буржуазии и пролетариата».

Недруги социалистической культуры неустанно толкуют о ее консервативном, каноническом-де характере, о том, что призвание ее — иллюстрация политического

тезиса. Идеологический смысл этих спекуляций понятен; фальшивая сущность подобных измышлений вскрыта в работах советских эстетиков и ученых братских стран. Но не случается ли иногда так, что мы сами, невзначай, подбрасываем нашим противникам аргументы?

Горизонты социалистического искусства широки, метод его дает прекрасные возможности для художественного эксперимента, для истинного новаторства в творчестве; но не сужаем ли мы сами эти горизонты, не обедняем ли эти возможности, утверждая эстетическую правомочность одного только способа восприятия и воссоздания мира?

Согласимся с тем, что развитие эстетического вкуса — процесс не быстрый и не равномерный и что, действительно, иные еще склонны искать в искусстве прямых ответов на поставленные жизнью вопросы. Но разве достоинство искусства — в одном лишь «жизнеподобии» (которое достаточно очевидно связывается с проблемой общедоступности)? К тому же легкость восприятия может оказаться обманчивой: уж кто, кажется, писал доступнее, чем Твардовский («вот стихи, а все понятно, все на русском языке»), а какие в его поэзии философские глубины мысли! Выходит, снова критерий общедоступности обнаруживает свою недостаточность при подходе к произведениям истинного искусства.

> «Обогащение демократической культуры и социалистического искусства,— пишет П. Панди,— я вижу как раз в том, чтобы легко воспринимаемые и трудно воспринимаемые, доступные и менее доступные произведения равным образом появлялись в рамках демократической, социалистической культуры».

Жизнь движется, непрерывно расширяется социальный, духовный, психологический мир современника, и искусство, желающее выдержать этот бурный темп, должно постоянно совершенствовать свои способы познания этого мира; должно угадывать те жизненные тенденции, которые в самой действительности еще не сформировались в качестве общественной и моральной нормы. Именно в этом случае оно пробьет себе дорогу к чувству и мысли человека наших дней, лишь тогда станет истинно доступным ему — если, конечно, под доступностью понимать не только сиюминутный, а и дальний духовный интерес личности.

Н. АНАСТАСЬЕВ

УЧЕНЬЕ — ТЬМА?

...Узнал, что правительство в жизни не врет,
Узнал, что народ наш отлично живет,
Что сами себе выбираем вождей
Как самых достойных и умных людей.
Узнал, что война не так уж плоха,
Узнал про историю без греха,
Узнал, что по мере роста полиции
Шансы на счастье увеличиваются.

Из песни Пита Сигера «Чему я научился в школе».

На Западе шумит книга Ивана Иллича «Общество без школы» (в дословном переводе с английского — «Обесшколивание общества»). Еще до выхода в свет отдельные ее главы были опубликованы в распространенных «интеллектуальных» журналах («Интеллекчуал дайджест», «Нью-Йорк ревью оф букс», «Сатердей ревью», «Нувель обсерватер», «Тан модерн» и других) и вызвали большой резонанс. Едва появившись в Америке, книга была переведена на французский и немецкий языки. О ней спорят педагоги и журналисты, социологи и политические деятели. Ей посвящаются конференции, дискуссии и семинары, на которых появление автора вызывает ажиотаж.

Причина — прежде всего в ошарашивающе парадоксальных идеях книги. Автор полностью отрицает позитивное значение современной школы, отвергает институционализированное образование — от начального до высшего, усматривает главное зло в педагогах и других «капиталистах знания». В условиях, когда капиталовложения в знания провозглашаются первейшим показателем социально-экономического прогресса, а «сословие педагогов и ученых» — средоточием этого прогресса, когда эти положения книги Гэлбрейта «Новое индустриальное общество» приняты за аксиому довольно широкими кругами технократической интеллигенции Запада,— в этих условиях радикально противоположная позиция не могла не привлечь к себе внимания.

«Его мысль потрясает»,— пишет об Илличе респектабельный «Монд». Буржуазных интеллектуалов явно заинтриговала сенсационность книги. Пресыщенное западное общество благожелательно к эпатированию, которое расцвечивает жизнь, вносит в нее острый, пьянящий привкус запретных плодов, нарушает унылое ощущение покоя и равновесия. Желтоблузых футуристов всегда стремятся залучить великосветские салоны. Так и книга Ивана Иллича обрела почетное место в библиотеках и на письменных столах «всего» Парижа, Лондона, Нью-Йорка.

Нетрудно, наверное, изобразить автора «Общества без школы» чем-то вроде интеллектуального озорника. Но это было бы близорукостью или высокомерием. Не-

предвзятого читателя книга Иллича привлекает вскрытием действительных пороков буржуазной системы образования и культуры. Правда, увлекаясь критикой этих пороков, он то и дело доводит ее до абсурда, выплескивая ребенка вместе с водой; однако заслуга автора в том, что он расшатывает те устои современной школы, которые обычно кажутся непреходящими, вечными. Идеи Ивана Иллича идут в русле гуманистической, антитехиократической критики, которой подвергают современный капитализм левая интеллигенция и молодежное движение.

Популярности «Общества без школы» немало способствовала экзотическая биография автора. Трудно даже определить его национальность. Иван Иллич родился в Вене в 1926 г. Отец — югослав-католик, мать — испанская еврейка. Во Флоренции он учился психологии и кристаллографии, в Ватикане — философии и теологии, специализируясь по Достоевскому и Вл. Соловьеву. Иллич, по собственным его словам, испытал также влияние католических философов Маритена и Тейяра де Шардена. Став священником, он переехал в США. Приход он получил в Нью-Йорке, в квартале, населенном ирландцами и пуэрториканцами. В 1956 г. был назначен вице-ректором католического университета в Сан-Хосе (Пуэрто-Рико) и произведен в епископы. Но постепенно его взгляды на преподавание стали приходить в противоречие с официальной католической доктриной. В 1960 г. он сложил с себя духовный сан. Переехав в Мексику в гор. Куэрнавака, он основал там Центр межкультурной ориентации, которым руководит по сей день. Задача Центра — изучение путей улучшения социально-культурных условий жизни в Латинской Америке.

Критика Илличем буржуазной школы начинается с раскрытия ее классового характера. Он отвергает, в частности, буржуазно-демократическую систему равных государственных расходов на учеников из всех слоев общества, которая не ликвидирует, а, наоборот, усиливает социальное неравенство.

> «Даже в школах равного качества ребенок из бедной семьи вряд ли может соперничать с ребенком из богатой семьи. Даже если они занимаются в однотипных школах и начали учиться в одном и том же возрасте, дети бедняков лишены многих возможностей для образования, которыми обладают дети из среднего класса. Эти преимущества начинаются от бесед в кругу семьи и домашней библиотеки и кончаются возможностями для путешествий и иным самоощущением... Поэтому более бедный студент обычно хуже успевает и отстает в учебе, если его развитие определяется только школой».

Однако, едва коснув истинные социальные причины неравенства, он тут же обрушивает весь пыл своей критики не на общество, а на школу, обвиняя ее в том, что она

> «вместо того, чтобы уравнять шансы (учащихся.— Е. А.), монополизировала их перераспределение».

Столь же быстро превращает Иллич зерно истины в гору абсурда, когда касается образовательных программ. Он саркастически пишет:

> «Программа всегда использовалась для предписания социального положения. Иногда она может быть заданной до рождения, подобно тому как карма предписывает человеку касту и принадлежность к аристократии».

Верно, что «грамматические школы» не могут тягаться своими учебными планами с Итоном или Хэрроу, так же как провинциальные американские университеты — с Гарвардом и остальными тремя членами высшей «плющевой лиги»[1]. Но такая дифференциация школы по программам является следствием социальной дифференциации общества, создающего для детей элиты специальные, привилегированные учебные заведения; Иллич же считает порочными все школьные программы в любом обществе, взиду их директивно внеличностного характера. В школе, по его мнению, представители всех общественных классов в равной степени воспитываются в духе лояльности и покорности существующему строю. Иллич подчеркивает стабилизирующий, консервативный характер школы, поскольку она

> «развивает высокий уровень терпимости по отношению к жизненному пути взрослых»... «В школьном процессе сплавлено обучение и предписание социальных ролей»... «Целью школьного процесса является скрыть от его участников противоречия между мифом эгалитарного общества и классовой реальностью».

Но ведь из его же рассуждений явствует, что в современных условиях такая мистификация, «приглушающая, но и воспроизводящая расхождения между мифом и реальностью», быстро разоблачается самой жизнью, что начисто развенчивает авторитет школы у молодого поколения.

И уж совсем повисает в воздухе следующий риторический вопрос:

---

[1] Привилегированные университеты США—Гарвардский, Принстонский, Йельский, Корнелльский.

«На что иное может годиться выпускник университета, как не на службу сильным мира сего?»

Обратные примеры революционеров, имевших университетские дипломы, не приходят автору на ум. Если интеллигенция и играет роль идеологического стабилизатора в интересах существующего капиталистического строя, нет оснований сводить к этому все общественные функции всей интеллигенции. Ибо она вырабатывает не только конформистское, но и революционное сознание. Классовые и политические барьеры разделяют современную интеллигенцию Запада не менее резко, чем всю тамошнюю общественную структуру в целом.

Безусловно, буржуазная школа учит не столько знаниям, сколько социальному конформизму. Подчеркивая эту мысль, Иллич именует преподавание «второй древнейшей профессией». Но, пренебрегая элементарной логикой, он взваливает всю ответственность за несправедливости социальной иерархии на школу. Хотя школа не создает, а лишь передает знания, и педагоги не разрабатывают, а только популяризируют каноны социального поведения, фиксируемые правящей элитой. Школьному учителю, которого Иллич превратил в мальчика для битья, уже крепко досталось от безжалостных социальных критиков — упомянем хотя бы Чехова и Генриха Манна — за самоуверенность, ограниченность, невежество. Но от жизни ему достается еще больнее. Не стоило бы забывать, что само классовое общество, поставив учителя на низшую ступеньку лестницы социального престижа, предопределяет воспроизводство этой профессии как интеллектуальной бедноты. И все же учительская масса всегда расцвечена яркими людьми, которые, видя в воспитании свое высокое предназначение, закладывают в учениках основы личности, основы сопротивляемости среде. Положительное воздействие этих людей перевешивает ущерб, о котором говорит Иллич. Для миллионов дипломированных врачей, учителей, научных работников, которые в условиях капиталистического строя ставят свои знания на бескорыстную службу народу, обвинение в прислужничестве перед властвующей буржуазией звучит незаслуженным оскорблением.

Коренной порок школы Иллич видит в том, что она негативно противостоит естественному, окружающему человека миру, отвергает накопленный человечеством опыт. Ибо школа есть отражение научно-технического прогресса, который идет по опасному пути все большего усложнения машин и технологии и соответственно все большей социально-профессиональной дифференциации, порождающей антидемократическую монополию специалистов сужающихся отраслей знания. Простые люди, например близкие сердцу Иллича латиноамериканские крестьяне, теряются перед наплывом недоступной их разумению усложняющейся техники; одновременно забываются ремесленные навыки, благодаря которым человек развивался и подчинял себе природу.

В этих рассуждениях Иллича есть по крайней мере две мудрые мысли, но обе они были высказаны задолго до него. Первая заключается в ценности и содержательности ненаучного, практического, в том числе и ремесленного, опыта человечества. Эйнштейн сказал однажды студентам: «Возьмем совершенно нецивилизованного индейца. Будет ли его жизненный опыт менее богатым и счастливым, чем опыт среднего цивилизованного человека? Думаю, что вряд ли. Глубокий смысл кроется в том, что дети во всех цивилизованных странах любят играть в индейцев».

Поэтому привлекает призыв Иллича к трансформации самого понятия знания, к наполнению его не только искусственным, но и естественным, природным содержанием. Можно понять Иллича, когда он призывает использовать для преподавания не одних только профессиональных педагогов, но и практиков жизни, говоря иными словами, воспользоваться опытом индейца, сохранить столь обогащающее человека умение общаться с природой. Однако нужно ли во всем отдавать этому индейцу пальму первенства? Эйнштейн не случайно сопоставил его со средним цивилизованным человеком, ибо в отличие от последнего настоящий ученый или художник как созидатель человеческой культуры воспринимает и сублимированные абстракции, и конкретику повседневной жизни, внемлет «и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». Символ такого сплава земной практики и чистой науки — Ньютоново яблоко.

Опыт индейца может быть более богат, более содержателен, наконец, более привлекателен, чем у среднего цивилизованного человека, но в первом случае набор приемов поведения носит закрытый характер, практически исключающий его расширение, тогда как во втором случае — открытый. Ибо сам темп развития современной цивилизации заставляет — плохо ли, хорошо ли — приспосабливаться к нему и меняться, преодолевая косность «среднего» человека.

Вторая идея заключается в опасности чрезмерной, жесткой специализации, калечащей и закабаляющей человека. Иллич призывает к «социализации умений», к преодолению узкого профессионализма. Стоит напомнить, что с аналогичным призывом выступал Фурье, а вслед за ним Маркс и Энгельс, которые видели в социалистической революции путь к уничтожению не только старого способа производства, но и старого разделения труда. «...Человек,— комментировали они Фурье и Оуэна,— должен всесторонне развивать свои способности путем всесторонней практической деятельности,

и труд должен вновь вернуть себе утраченную вследствие его разделения привлекательность...»[1]

У Иллича есть основания тревожиться по поводу антидемократических последствий существующего разделения труда и форм, которые оно принимает, хотя представляется, что он не отдает себе отчета в объективности и непреоборимости этого процесса. Не в системе собственности и власти, а в образовании усматривает он первопричину социального неравенства. В окружающем его обществе он обнаруживает «новую классовую структуру», внутри которой

> «крупные потребители знаний — те, кто накопил наибольшие запасы знаний,— пользуются специальными привилегиями, получают высокий доход и имеют доступ к наиболее мощным средствам производства».

Столь близкие сердцу леворадикальной западной интеллигенции сетования Иллича насчет власти «капиталистов знания» забавным образом сливаются в едином хоре с самодовольными кликами интеллектуальных прислужников, всерьез считающих себя вершителями власти. Нам уже приходилось писать об этом распространенном заблуждении (см. «Иностранную литературу» № 5, 1972). Выпады против интеллигенции — «капиталистов знаний», нельзя не воспринять как самобичевание интеллигента, одержимого «комплексом вины», как антиинтеллектуализм с благими намерениями. Все это вдвойне опасно, так как отвлекает внимание от истинных властителей и разжигает мелкобуржуазно-черносотенную ненависть к интеллигенции как к козлу отпущения.

И все же нельзя безоговорочно отвергнуть мысль Иллича о том, что в условиях современного буржуазного общества интеллигенция, а вместе с ней и школа отдалены от мира, от повседневных нужд человека. В этой отдаленности — одна из причин волнений интеллигенции и студенчества, лихорадящих мир капитализма. Но школа, какой бы критики она ни заслуживала,— часть мира, отражение и порождение его. Известный афоризм можно было бы перефразировать так: скажи мне, какая у тебя школа, и я скажу, в какой стране ты живешь...

«Скрытой программой», играющей, однако, основополагающую роль, называет Иллич вдалбливаемое повсеместно ученикам убеждение,

> «будто только в школе может индивид подготовить себя к общественной зрелости, будто все, что не преподается в школе, не имеет ценности, и будто все, чему человек учится вне школы, не стоит и знать... Между тем большинство людей приобретает основную часть своих знаний вне школы... Учение человека происходит большей частью случайно, и даже выучка, осуществленная с самыми определенными намерениями, не является результатом программируемого, школьного образования».

Здесь явственно прослеживается влияние педагогических идей Л. Н. Толстого, хотя Иллич и не упоминает его имени. Отвергая казенное школьное образование как смехотворное и гибельное, Толстой утверждал, что образование народа происходит в самой жизни, которую он называл «бессознательной или добровольной школой».

Умозрительно расщепляя среду обитания современного человека на естественный и искусственный мир, Иллич точно так же безрезультатно пытается отделить школьную культуру от внешкольной. А ведь в знаниях, поглощаемых молодым человеком из средств массовой информации, приобретаемых в кругу семьи, в ходе общения со взрослыми и со сверстниками, тоже присутствует результат школьного образования, пусть в опосредствованной или даже негативной форме. Верно, что в школе и в мире практической повседневности приняты разные, вызывающе несхожие иерархии ценностей. И все же обе эти сферы существования человека — сосуды сообщающиеся, хотя и с большим трудом. Человек их и связывает, и они в равной степени оставляют на нем свой отпечаток. А с другой стороны, разве так называемый «жизненный опыт», который Иллич приемлет некритически и целиком, не учит приспособленчеству?

Учеба в школе представляется Илличу устаревшим и бессмысленным ритуалом, таинством, утратившим содержательность и сохранившим лишь внешние формы. Цель этого таинства не имеет с познанием ничего общего.

> «Призвание школ определяется предположением, что в жизни ко всему могут быть подобраны ключи, что качественный уровень жизни зависит от владения этими ключами, что ключи могут выдаваться лишь в определенной последовательности и что лишь учителя могут правильно объяснить, как обращаться с этими ключами. Индивид с вышколенным умом представляет себе мир как пирамиду разложенных по полкам товаров, выдаваемых только тем, кто предъявляет соответствующие квитанции».

Важнейшим элементом школьного ритуала Иллич считает так называемый «иммиграционный синдром». Всякий человек с детских лет является для общества как бы неофитом, который должен пройти обряды посвящения, подобно тому как иммигранты в США проходят паспортные барьеры. В школах разных уровней свидетельством

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 304.

этого посвящения является аттестат или диплом. Эти удостоверения об образовании Иллич осыпает градом ядовитых стрел.

> «Школа,— пишет он,— учит путать преподавание с учебой, переход из класса в класс и с курса на курс — с образованием, диплом — со знаниями, а умение складно говорить — со способностью сказать что-нибудь новое».

Если верить автору, диплом или аттестат удостоверяет лишь невежество его владельца. Верно, что он не всегда свидетельствует о подлинных знаниях, но является ли он помехой им?

Доказывая, сколь неэффективно институционализированное образование, как много времени тратится в школе впустую, Иллич приводит разные примеры из опыта нью-йоркских образовательных учреждений. Обычная школа не дает элементарных знаний иностранного языка, хотя при хорошей методике и эффективной учебе им можно овладеть за полгода. У медсестер загромождение учебных программ ненужными предметами приводит к затяжке учебы до четырех лет, тогда как девушки из бедных семей не могут позволить себе столь длительное отсутствие заработка. Отсюда и нехватка медсестер. Мало кто может пользоваться «результатами искусственно усложнившейся медицинской технологии», хотя

> «любая крестьянская девушка смогла бы быстро научиться выявлять и лечить большинство инфекционных болезней, если бы ученые-медики разработали дозировки и инструкции для каждого определенного географического района».

Свидетельства косности и неэффективности образования можно обнаружить не только в Соединенных Штатах. Но сколь бы убедительны они ни были, бесспорно и то, что школа, помимо профессиональных знаний, дает общую культуру, которая не воспринимается за полгода. Иллич же игнорирует ее значение. Он не видит проку в теоретических знаниях, которые вчерашний школьник, возможно, действительно не сумеет применить в своей трудовой деятельности. С точки зрения Иллича, теория — это шифр, придуманный злонамеренными «капиталистами знания», чтобы оградить от народа свою монополию на знания, тогда как единственная культура — это ремесленное «умение», приобретаемое в результате производственного ученичества.

Иллич ссылается на неграмотного латиноамериканского крестьянина, недовольного тем, что его детей заставляют ходить в школу, когда они могли бы помогать по хозяйству. Но возникает вопрос: а насколько реален такой крестьянин? Не мифическая ли это фигура, придуманная теми интеллигентами, которые вчера назывались народниками, а сегодня — антитехнократами? Ибо народ обычно с уважением относится к знаниям и образованию. Поэтому прискорбно, что искренне сочувствующий простому человеку интеллигент препятствует его детям хотя бы немного расширить свой кругозор и подрубает основы человеческой культуры, предлагая в XX веке строить здание цивилизации ремесленными методами или даже вообще без фундамента.

Известно, что развивающиеся страны, остро нуждающиеся в специалистах, нередко сжимают сроки обучения и сводят к минимуму теоретические предметы. Но это — вынужденная, временная мера, негативные последствия которой дадут себя знать позже. В конечном счете этим странам придется по ходу дела заполнять возникшие пробелы, ориентируясь на уровень мировой науки, который в свою очередь определяется главным образом развитыми странами. Но, видимо, Иллич находится под сильным впечатлением китайской «культурной революции», по призывам которой дипломированных медиков и учителей оттеснили «босоногие врачи» и другие самоучки-крестьяне. Было бы чистым снобизмом игнорировать пользу, которую приносят эти люди своей стране, где интеллигенция слаба и унижена, хотя, разумеется, нам ясна суть «культурной революции» как орудия борьбы Мао за восстановление полноты своей политической власти и устранение своих соперников. Иллич как левый радикал далек от понимания истинного смысла «культурной революции». Но ему стоило бы заметить, что само же китайское руководство, убедившись в пагубности «культурной революции» для национальной экономики, восстанавливает высшую школу и реабилитирует научные, теоретические знания и их носителей.

Увенчивая свои рассуждения парадоксами в стиле Уайльда, Иллич, однако, сам их принимает всерьез.

Парадокс первый: школа представляет смертельную угрозу человечеству.

> «Во всем мире школа оказывает на общество антиобразовательное воздействие... Она присваивает предназначенные для образования деньги, людей и добрую волю и к тому же препятствует другим учреждениям принять на себя образовательные задачи...» Если школа не будет уничтожена, то «мы очутимся в «прекрасном новом мире»[1], где всех нас будет воспитывать Большой Брат...[2] Всеобщая школа только по названию будет отличаться от всеобщего сумасшедшего дома или всеобщей тюрьмы, где воспитание, исправление и подготовка станут синонимами».

[1] Название социальной антиутопии Олдоса Хаксли.

[2] Таинственный и всесильный деспот из социально-фантастического романа Джорджа Оруэлла «1984 год».

Парадокс второй: общественные расходы на школу — прямой подрыв народного благосостояния.

> «Эскалация школ столь же разрушительна что и эскалация вооружений, хотя и менее видима. Повсюду в мире стоимость школы растет быстрее, чем занятость и валовой национальный продукт... Мы должны признать, что оно (обязательное образование.— **Е. А.**) в принципе экономически абсурдно...»

Парадокс третий: всеобщее обучение детей вредно, так как оно

> «уничтожает у большинства учащихся тягу к самостоятельным занятиям» и «неизбежно поляризует общество; оно также распределяет страны мира по международной кастовой системе, когда принадлежность к более или менее высокой образовательной касте определяется средней длительностью учебы граждан...»

После этого уже не удивляет вывод о необходимости прекратить государственное финансирование школ и вообще отменить обязательное — начальное или среднее — образование.

Ретроградность этой негативной программы очевидна. Включение расходов на образование в стоимость рабочей силы явилось результатом многолетней борьбы рабочего класса капиталистических стран, а Иллич, ничтоже сумняшеся, предлагает разом отказаться от достигнутого. Бюджетные ассигнования в капиталистических странах на школу и культуру несопоставимы с гигантскими расходами на вооружения,— а Иллич ставит вещи с ног на голову, на радость всей консервативной Америке, которая считает дорогостоящим баловством государственное просвещение и социальное обеспечение и принимает как должное гонку вооружений.

Парадоксы Иллича показывают, в какой тупик может завести левую интеллигенцию, искренне пекущуюся о народе, абсолютное неприятие научно-технического прогресса. Уже после выхода статей Иллича в западной печати было опубликовано воззвание 33 крупных английских ученых, требующих остановить экономический рост и отказаться от индустриализации, а взамен этого строить «стабильное общество» при стабильном или уменьшающемся населении. Это технико-экономическое мальтузианство попросту наивно, ибо прогресс остановить нельзя. Но оно еще и опасно, потому что миллионы людей в мире страдают не от избытка продуктов, а от их недостатка, не от изобилия машин и механизмов, а от их отсутствия.

Если человечество хочет построить справедливое, бесклассовое общество, то школа должна быть уничтожена... Эта прямо-таки Катонова установка вызывается у Иллича тем, что именно школа, по его мнению, воплощает в наиболее чистом, иррациональном виде столь ненавистную ему, как и всей леворадикальной интеллигенции, институциональность. В этом смысле духом школярства, начетничества, авторитаризма и покорности проникнуты, по его словам, все современные организации.

> «Не только образование, но и вся социальная действительность оказалась вышколенной. Медицинское обслуживание ошибочно принимается за здравоохранение, система социального обеспечения — за заботу о гражданах, полицейский надзор — за общественную безопасность, военное бремя — за национальную оборону, выматывающая силы конкуренция — за производительный труд. Здоровье, образование, достоинство, независимость, напряженное творчество изображаются результатами деятельности институтов, приписывающих себе службу этим целям...»

Ставя себя в полную зависимость от по существу чуждой ему и противостоящей ему Организации — этого современного капища бесстрастного и безжалостного Молоха, человек проникается, по словам Иллича, «бессилием, психологической импотенцией, неспособностью постоять за самого себя».

Организация, и прежде всего школа, разрушает человека как личность. Поскольку институционализация охватывает моральные и духовные ценности, развивается «процесс всеобщей деградации и модернизированного обнищания».

Поистине апокалипсическая картина. Но у Иоанна Богослова за описанием огненных озер, в которые будет ввергнуто человечество и его искусители, следует план небесного града. Начертал и Иван Иллич свой план. Но на фоне уничтожающей и действительно впечатляющей критики в адрес школы он выглядит неубедительно, жалко и даже как-то странно.

Вот то, что автор называет «образовательной революцией». Школьное обучение он предлагает заменить самообразованием, которое только и развивает «чувство личной ответственности». Вместо того чтобы финансировать образовательные учреждения, государство должно распределять эти деньги среди всех граждан; каждому будет выдаваться «образовательно-кредитная карточка», по которой ее владелец сможет приобретать приглянувшиеся ему знания и «умения» на отмеченную в карточке сумму. Функции школ будут выполнять библиотеки, лаборатории, музеи и театры, где у специалистов по каждому вопросу можно будет получить квалифицированную консультацию; помимо этого могут быть созданы «центры обслуживания», где для каждого

будет «открыт доступ к роялю или к печи для обжига кирпичей, к пластинкам, книгам или слайдам». Вместо профессиональных преподавателей каждый должен получить право преподавать, в результате чего возникнет «свободный рынок знаний». Место дипломов и аттестатов займут «тесты компетентности для выполнения соответствующей функции или роли». Оснащенные ЭВМ информационные центры будут накапливать и поставлять желающим сведения о продавцах и потребителях знаний, а также об ищущих контактов по интересам в целях совместной, групповой учебы.

Проект этот вызывает массу недоуменных вопросов. Как автор представляет себе самообразование маленьких детей под их «личную ответственность» без руководящей роли наставников — педагогов или родителей? Где гарантия, что отмена бесплатного образования не приведет к вздуванию цен на «свободном рынке знаний»? Поскольку граждане по кредитным карточкам будут, естественно, приобретать профессии, пользующиеся наибольшим социальным престижем, что произойдет, например, с американским обществом, где тогда окажется колоссальный избыток врачей и острая нехватка инженеров? Поскольку свобода преподавать будет признана столь же элементарной, что и свобода слова, как отличить в массе предлагающих свои знания подлинных специалистов от мнимых? Когда на сотрудников библиотек, музеев, театров свалятся еще и педагогические функции, не придется ли туда направить на работу всю «освободившуюся» армию учителей? Что же станет тогда с экономией на содержании образовательного аппарата? Если каждый будет иметь право получать на дом все необходимое ему учебное оборудование, не возрастут ли многократно расходы на него? Где критерии «тестов компетентности»? Какие экзаменаторы будут проводить эти тесты и чем будет определяться это их право? Как общество справится с бюрократией, которая наверняка вырастет вокруг информационных центров? Ведь еще ни одна бюрократическая структура не признавала себя самоцелью, а всегда выдвигала как raison d'être необходимость заполнить тот или иной действительный пробел в общественном развитии.

В хаотическом проекте «нового града» звучат отголоски многих примечательных явлений нашего времени — и китайской «культурной революции», и западного студенческого движения, и коммунализма, и антитехнократизма, и «недирективной педагогики» Роджерса, и — мало ли чего еще. Поражает, с какой безответственной легкостью иные левые интеллигенты готовы предпринять полную дезорганизацию культуры, хотя не могут вразумительно сказать, чем ее заменить. Громогласно отвергая научно-технический прогресс, Иллич втихомолку его использует, когда планирует свои информационные центры. Обрекая школу на гибель, он воскрешает ее под другой вывеской. Получается: тех же щей, да пожиже влей.

Иллич считает себя ужасно радикальным революционером. Но ведь почти сто лет назад русские народники предлагали реформировать Россию через перестройку системы образования, считая, что остальные институты видоизменятся вслед за школой. Ленин характеризовал тогда эти идеи как «поразительное легкомыслие» и «социальное прожектерство».

К сожалению, эти слова вполне приложимы и к «культурной революции» по Илличу. К сожалению — потому, что наивность позитивной его программы набрасывает тень и на интересную, как мы видели, негативную критику современной школы. Абсурдность ряда его тезисов может создать обратное — ошибочное — впечатление, будто с образованием и культурой на Западе все относительно благополучно.

Но идеям Иллича грозит еще одна опасность. Современный капитализм, обращающий в товар все, к чему ни прикасается, уже запустил на рынок массового потребления атрибуты молодежной «субкультуры» — культуры протеста. Так и «Общество без школы» рискует превратиться в популярный «гэджет» — пугающую, но безвредную игрушку, штампуемую в миллионах экземпляров для развлечения.

Е. АМБАРЦУМОВ

◆

Обсуждая напечатанное

ВЛ. ГУСЕВ

ИРОНИЯ И ПАФОС ОТЕРО СИЛЬВЫ

Сейчас в мире любят посмеяться над романтизмом. Молчаливо подразумевается, что серьезная литература должна быть деловитой, по возможности документальной или документообразной и трезвой. Какие там выдумки во второй половине этого века? Какой «порыв к идеалу»?

Одним из сильнейших орудий литераторов стала ирония. Многие усвоили тон, о котором, в свое время, точно сказал Толстой: «...тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил».

Эта манера удобна для автора. Не обязывая его выписывать рецепты, обнаруживать позитивную программу (которой иногда просто нет), она в то же время дает «ощущение абсолюта», высоты позиции, всеведения ума, который незримо над всем воспаряет в торжественном своем спокойствии. Она, эта манера, внушает уважение и чувство серьезности писателя.

В гораздо более сложном положении оказывается человек «открытого» стиля, человек, идущий вперед, не заботясь о флангах, тылах (это на войне необходимо, в искусстве — порой иные законы), человек, рискующий «вдаться в патетику» и прямой позитивный пафос. Возможностей сломать на этом шею сейчас сколько угодно. Слишком многие на Западе уверены, что «все ценности дискредитированы», вся романтика пропущена сквозь горнило анализа, все идеалы дали трещины, а ужасы века таковы, что новоявленного «романтика» автоматически можно счесть или за тупого фанатика, которыми сыт мир, или за дитя неразумное, или за очередного лжеца. И все же есть люди, которые идут на риск.

Всем этим я не хочу сказать, что Мигель Отеро Сильва — «чистый» романтик в XX веке, наперекор всему. Во-первых, вспомним, что глубокий, истинный, большой романтизм отнюдь не чужд критического, «отрицательного» начала, и одним из краеугольных камней романтической эстетики в свое время было как раз понятие иронии в самом широком значении этого слова. Во-вторых, Отеро Сильва вовсе не чужд иронии и в том новом смысле, виде, который придало ей искусство XX века. Его повествование почти все время исполнено интеллектуальной «кислотности», игры, анализа и критицизма, он то и дело «снимает тезисы», не успев их «выдвинуть», мысленно разлагает предметы, не успев их назвать, как бы заранее не приемлет и невесело посмеивается над всем, о чем собирается говорить: «...солдаты императорской гвардии, свирепые в бою, как дикие кабаны: несгибаемые в страданиях, как колонны большого цирка; дисциплинированные в маневрах, как ручьи в акведуках, в общем — солдаты. Они — христиане, из той самой секты, что бредит Павлом и Ориганом...» Писатель излагает факты и при этом как бы пародирует того, кто излагал бы их напряженно и всерьез: «незаметно» он вклинивает интонации и словечки, снимающие торжественность, придающие повествованию особую условность («свирепые» вместо, положим, «яростные», «в общем — солдаты», «бредит»). Я сам, мол, настолько серьезен, что жизнь — вся, скопом взятая — не стоит того, чтоб я отнесся к ней всерьез. Эта интонация, атмосфера, эта позиция известны нам по многим произведениям американской и европейской литературы последних десятилетий.

Выше я сказал, что почти все повествование у Отеро Сильвы исполнено в этой инто-

[1] Роман М. Отеро Сильвы «Когда хочется плакать, не плачу» опубликован в журнале «Иностранная литература» № 7, 1972 г. Перевод М. Былинкиной.

нации. Но недаром применительно к искусству слово «почти» — столь важно. В романе «Когда хочется плакать, не плачу» это «почти» относится к заключительным страницам.

Чтобы дойти до них, мы прошли через многое.

Мы прошли через пролог, в котором применен прием, довольно традиционный для литературы «притчевого» стиля: события современности соотнесены с временем социально-духовной ломки, происшедшей полторы с лишним тысячи лет назад,— с временем первоначального христианства. Три молодых нынешних венесуэльца, все Викторино, заимствуют свое имя от одного из мучеников той эпохи. Но с ним вместе гибнут три его брата, а современных взрослых Викторино всего три, так что одна — видимо, главная — вакансия как бы остается пустой. (Впрочем, как часто в таких случаях, об истолковании «загадки» можно спорить). Тем самым всему повествованию заранее придается резко выраженный символический, притчевый характер.

Мы прошли через многочисленные приключения, невзгоды, мечты, мелкие победы и крупные неудачи всех трех Викторино, наследников древнего Викторино,— молодых людей Латинской Америки, ищущих — каждый как умеет — своего места под солнцем. Рассказ обо всем этом исполнен в духе той самой иронии, подтрунивания, скепсиса: «На лице его вздымались архипелаги прыщей, а на шее торчала бабочка или болталось яркое желтое кашне. Мама испытывала перед ним суеверный страх... А там приходил и Факундо Гутьеррес, отец Викторино Переса, распив не одну бутылочку спиртного. Об этом свидетельствовала его горделиво выпяченная грудь и клоунские поклоны налево и направо; вблизи же от него вообще несло, как от винной бочки. Мама и Викторино уже чуяли, что он без работы...»

«Мэми была просто великолепна сегодня утром. Она вплыла в комнату Викторино в газовом облаке своего отороченного кружевом пеньюара, запечатлела на его лбу поцелуй, поздравив с днем рождения, и небрежно сказала: «Взгляни в окно, твой отец купил тебе подарок...»

«...Чтобы стать независимым от семейного гнета, от родительской опеки, от материнской любви, от домашних споров; из кисточки волосы лезут просто клочьями, но я все-таки заставлю поработать эту нейлоновую патриаршью бородку. Однако, если я сейчас не сосредоточусь на бритье, если не сосредоточусь, то обязательно порежусь и...» Отеро Сильва не пережимает в иронии, он все время как бы подправляет ее внутренним теплым чувством, а затем снова растворяет чувство в усмешке. «Однако, если я сейчас не сосредоточусь на бритье...» — в этом пассаже и сочувствие и улыбка...

По всем законам и правилам современного аналитического романа, здесь много интеллектуальной вязи, прихотливых ходов в композиции, в выражении авторского начала. Действенно вводя прием несобственно прямой речи и иные приемы, автор все время резко меняет ракурсы повествования — ведет его поочередно с позиций (хотя и не от первого лица) то одного, то другого, то третьего парня — Викторино Переса, Перальты, Пэрдомо. Сам автор не показывается из-за кулис, но неизменно присутствует в суфлерской будке, а вернее — над повествованием. Эта его позиция сверху — отчетлива, акцентирована, заметна. Отеро Сильва демонстративно не сливается ни с одним из героев, а до поры до времени как бы никому из них особенно и не сочувствует. Например, он вроде бы явственно объясняет, почему благополучному Викторино Перальте не сидится на месте, почему он в тоске: «Тягучий вечер, скучный и глупый, предстояло вытерпеть Викторино... Смехотворный праздник, фальшиво-приторный и гладкий... Приятельницы Мэми... аромат французских духов и пошлых романов...» Но и сам Викторино Перальта — не перл творения: «Одна рука, его рука, просунется в комнату и, будто с неба, сбрызнет бензином софу, которая рядом с гардиной раскинула свои подушки. Потом эта же самая рука, его рука ...швырнет зажженную спичку...» А вот вроде бы отнюдь негероическое и о Викторино Пэрдомо: «В это время банк будет готовиться к закрытию. Целых десять мучительных часов остается еще до того, что есть будущее, настоящее, гипотеза, действительность, спорт, смерть». Перед нами незримо, но настойчиво витает образ автора: человека вдумчивого и свободного душевно, внутренне серьезного и внешне то более, то менее усмешливого; за усмешкой тут — и горечь.

Но вот мы подходим к финалу, и интонация Отеро Сильвы неожиданно меняется.

Вся игра и скепсис идут на свалку — остаются ум, патетика, тяжелое и глубокое раздумье, горячее сочувствие и жалость к той молодежи, которая вслепую ищет пути в потемках бушующего нынешнего мира — и гибнет в водоворотах непонятной стихии; выступает на сцену и новое, чего, казалось бы, совсем не было в предыдущем повествовании — открытый порыв к идеалу, напряжение духовного поиска,— чем, вместе с «иронией», всегда силен был истинный и высокий романтизм в противовес псевдоромантизму и фальши.

Юноши гибнут по-разному: один — из-за уголовного преступления, другой, бессмысленно тратя свои нерастраченные силы в автомобильной гонке, третий — вовлеченный в «операцию-экспроприацию» леваков-анархистов.

Надо хоть немного знать и любить Латинскую Америку, чтобы понять, что в такой фабуле, в такой концовке нет ничего искусственно-экзотического и натянутого. Одной из особенностей латиноамериканского характера является некая минимальность «зазора», промежутка между импульсом и поступком, духовным состоянием и действием.

Вл. ГУСЕВ
ИРОНИЯ И ПАФОС ОТЕРО СИЛЬВЫ

Анализ причин этого повел бы слишком далеко в сторону, поэтому приведу лишь примеры, да и то немногие.

В начале XIX века почти одновременно развивалось два освободительных движения — декабристов в России и патриотов в Латинской Америке. Конечно, разница между ними огромная, но возможны и некоторые сопоставления. И там и там еще не было конкретной исторической, экономической основы для победы социального строя, лишенного эксплуатации; и там и там вожди еще весьма смутно и слишком «романтически» понимали роль и функции народа в истории. Боливар и его соратники отчаянно кинулись в бой, предпочтя всем прочим духовным добродетелям одну-единственную — мужество. В таком решении была своя слабость. Однако практические успехи, результаты освободительной войны в Америке были несравнимы с практическими результатами декабристского движения. И кроме причин более существенных была этому и причина субъективная, психологическая... Боливар победил, на огромных территориях, далеких от Европы, возник республиканский строй, прогрессивные общественные институты. Что из этого впоследствии вышло — другое дело. Борьба была недостаточно подготовлена, «тылы и фланги» недостаточно обеспечены (а война — вот именно, не литература). Это не замедлило сказаться на конечных итогах войны: диктаторы, непрерывные распри, хозяйственная разруха... В дальнейшей истории Латинской Америки, вплоть до пятидесятых годов нашего века, чрезмерная решительность, импульсивная действенность характера то и дело играли трагическую роль. Непрерывные и свирепые войны, однодневки-тираны, успевавшие наворочать кровавых дел на годы вперед, разоренные народы, вдовы и сироты, плетущиеся по желтым дорогам пешком и на тощих мулах,— таковы были итоги этих «героических действий». И только пятидесятые годы выдвинули фигуры, в которых традиционный и неизбывный романтизм этого мира получил конкретное и твердое значение. (Нечего и говорить, сколь важны тут были такие факторы, как новые исторические условия, новая социальная обстановка в мире). Старый испанский образ, поэт со шпагой в руке,человек не только рефлексии, но и мужества, не только мысли, но и порыва,— образ, на заре современной истории воспетый гением в Дон Кихоте, воплощенный в самом Сервантесе, в Лопе де Вега, в португальце Камоэнсе и других,— образ этот наполняется новым историческим пафосом. Недаром и Боливар, и поэт-революционер Хосе Марти, и Че Гевара всю жизнь вспоминают о Дон Кихоте, но при этом ищут практически-действенных средств борьбы.

Образ этот порою не лишен еще старого трагизма и внутренней «избыточности». Судьба неистового Че Гевары — ныне и уже навеки тому пример, предостережение и повод для нелегкого раздумья.

И все же неизмеримо обаятелен этот образ — образ человека, для которого высокие духовные истины — это не слова, а дело, для которого любовь к Свободе несовместима с житейским рабством.

Во многих латиноамериканцах втайне живет этот огонь, это прекрасное и опасное качество — полное, порою чрезмерное слияние духовного, психического состояния с действием, с поступком. Если обычный человек — порох, то латиноамериканец — это, сплошь и рядом, пироксилин, нитроглицерин, «шимоза». Достаточно легкого прикосновения, чтобы произошел взрыв.

И взрывы, мелкие и ненужные, к сожалению, происходят слишком часто — уходит в воздух драгоценная огневая энергия. Там бессмысленная стрельба, там пырнули ножом, там с тоски разогнались на автомобиле на круче, там, не в силах сдержать «огня», напали на банк «в революционных целях», и вот — гибель, гибель, смерть, смерть.

Викторино Перес и Викторино Перальта — во многом бессознательные жертвы общественного сумасшествия и своих молодых сил, не знающих приложения. Перес бандитствует с нужды и горя, Перальта ненавидит свою мещанскую среду и чисто импульсивно бунтует против нее. Писателю жаль их, как потенциальных работников на благо народа, безвременно погибших, как заблудших овец, как людей — наконец.

Совсем иное — Викторино Пэрдомо. Это единственный из троицы, чей образ откровенно идеологичен. Именно в его «алгоритме» писатель впервые забывает об иронии — начинает говорить всерьез не только внутренне, но и внешне. Викторино Пэрдомо — «лишний человек», в старом, «русском» и благородном значении этого слова. Он заряжен на идеал, и он борется за идеал, но жизнь дает осечки. Погибают все трое, но только у него фамилия с таким корнем (perderse — гибнуть). Невозможность и оголтелость окружающей жизни, непрерывно растущая наглость зарвавшихся мещан логично толкают его к революционерам, но вот беда: среди «действующих» революционеров, с которыми он сталкивается, он не всегда видит тех, кому он — такой, как он,— смог бы довериться целиком, во всю полноту души. Взгляд его пристально обращен на отца — старого марксиста, подпольщика. Он — один из немногих, кого уважает Викторино. Отец кровью, тюрьмой и страданиями, борьбой в условиях антинародного режима действительно заработал право на уважение,— но юноше Викторино кажется, что отец, за тюрьмами, старостью и усталостью, отстает от жизни, что она слишком сильно изменилась, что нужен новый опыт. Какой? Он не знает, но он латиноамериканец, он не болтун, он жаждет немедленного идеала в действии и самого действия. Финал очевиден заранее: «...Осмотр и вскрытие трупа показали следующее: а) наличие многочисленных травм; б) перелом левого ребра; в) серьезное повреждение печени и правой почки; г) многочисленные ушибы...» Викторино Пэрдомо в день смерти исполнилось восемнадцать лет.

Конечно, в латиноамериканских социальных ситуациях и характере, в силу самих их исходных особенностей, какие-то черты

современного молодежного движения наиболее очевидны; но ведь они, эти черты, есть и в молодежи, в жизни других стран западного и «третьего» мира, и поэтому роман Отеро Сильвы интернационален по своему смыслу.

Где же был тот, кто вовремя указал бы душевно и действенно требовательному Викторино Пэрдомо его верный путь? Где был тот, кто спас бы Викторину Перальта и Викторино Переса, кто отвратил бы от «Мамы», «Мэми» и «Матери» (Мать — конечно, у Пэрдомо!) их непоправимое горе?

Тот, кто самим своим существованием заставил бы писателя Отеро Сильву чаще обращаться к патетике и высокому слогу, реже — к пепельной иронии?

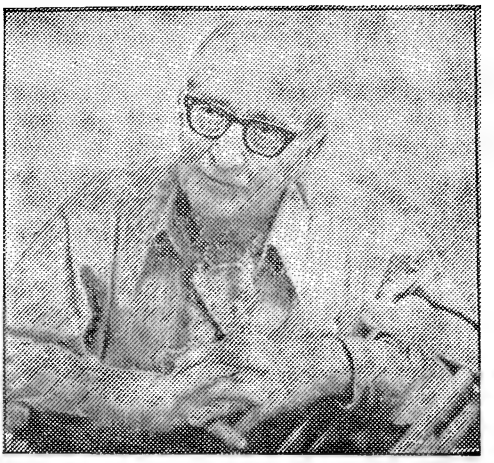
Его нет у Отеро Сильвы; и писатель видимо, сам чувствует его отсутствие: вспомним «вакансию».

Взамен он, писатель, говорит нам высокие, простые и грустные, напоминающие Шекспира слова о похоронах трех цветущих юношей — надежды страны, семей и возлюбленных; говорит о встрече трех матерей у могил: «Только у самих кладбищенских ворот полиция отвязалась. Мать входит за ограду вместе с группой молодых людей, которые поют: «Bella, ciáo, ciáo... и если я паду в бою, возьми себе мою винтовку...» Мать чувствует себя одинокой и обессиленной. Даже родственники не узнали о смерти Викторино... Мать не может объяснить себе, каким образом эти пятьдесят товарищей Викторино узнали о случившемся. Они всю ночь провели с ней у гроба, а теперь выкрикивают, как клятву: Мы отомстим за тебя, Викторино, мы отомстим! — поднимают урну на плечи, несут по узким дорожкам, мрачная ярость ожесточает молодые лица; они несут урну, обернутую красным стягом и черной лентой... И вот единственный раз в жизни скрестились пути трех женщин, одетых в траур,— той, что приехала в грузовичке с подножия холма; той, что поднялась из семейного склепа Перальта; той, что, опустив голову, вышла из узкой аллеи. Три женщины в трауре безучастно взглянули друг на друга, будто никогда раньше друг друга не видели — никогда раньше не видели, это правда — и будто бы ничего не имели общего».

Судьба да поможет всем честным, свободным сердцем и беспокойным в нынешнем мире,— видимо, хочет сказать писатель; но, хотя возвышенный романтический стиль вполне в духе его натуры, он — ироничеcкий человек — боится уж слишком высокопарных слов — и ставит точку.

◆

Наши гости



НОВАЯ ВСТРЕЧА С «ДАЛЕКИМ ДРУГОМ»

(Алан Маршалл — в «Иностранной литературе»)

Австралийскому писателю Алану Маршаллу семьдесят лет, но он уже в третий раз за последние годы приезжает в Советский Союз.

— В прошлые приезды я побывал в Москве и Ленинграде, в Сибири и Грузии, в Узбекистане и Сочи. Всякий раз, возвратившись на родину, я рассказывал о своих впечатлениях, чтобы мои земляки смогли разделить со мной радость открытий, сделанных во время этих путешествий. Я заметил, что статьи об успехах промышленности и сельского хозяйства, иллюстрированные фотографиями огромных дымящих труб или многочисленных тракторов, производят меньшее впечатление, чем рассказ о том, что в бывшей Голодной степи проложены оросительные каналы, которые больше самой большой реки в Австралии. Австралийцам интересно знать, как живут и работают, поют, едят и танцуют в разных республиках Советского Союза, а также,— смеется Маршалл,— где самые красивые женщины.

Наш гость много шутит, с веселым удовольствием рассказывает, как проводил в одном из женских монастырей Австралии читательскую конференцию по своей трилогии «Я умею прыгать через лужи». Добрый, мягкий юмор не только свойство его характера, но и черта стиля писателя: ведь любимый литературный жанр австралийцев — и самого Алана Маршалла — короткий юмористический рассказ. Многие его ответы на наши вопросы — маленькие занимательные истории. Его мастерство устного рассказчика уходит своими корнями в фольклор первых переселенцев, бродяг-свэггменов, старателей, охотников и стригалей.

До сих пор в Австралии проводятся своеобразные, совершенно уникальные фестивали «вралей». Победителем в этих колоритных состязаниях не раз оказывался Алан Маршалл, а образцом этого жанра может служить его юмористический рассказ «Вот как жили люди в Спиво...», опубликованный в журнале «Иностранная литература» № 2 за 1956 год.

Нас интересует литературная «погода» в Австралии. С горьким сожалением говорит Маршалл, что, по его мнению, сейчас австралийская литература начинает терять свое лицо. Литература критического реализма, взращенная на национальной традиции, идущей от Генри Лоусона, сегодня не в моде в его стране.

Четыре года Маршалл был в «эпицентре» современной австралийской литературы: ему — как члену жюри ежегодного конкурса рассказа — приходилось читать по пятьсот рассказов, присланных со всех концов Австралии. Лишь немногие были написаны в национальной традиции, а большинство — подражательны (причем подражают отнюдь не лучшим образцам!), нашпигованы грубым сексом, нарочито алогичны и нехудожественны.

Журнал австралийской поэзии предлагает читателям стихи, написанные в виде геометрических фигур,— и это считается серьезным творчеством, а признание в том, что подобная поэтическая эквилибристика — никому не нужная чепуха, может быть расценено как невежество, сокрушается Маршалл.

— Особенно меня пугают наши критики. Они превозносят туманное, неясное, восхваляют то, чего не понимают. Понятное и простое кажется им упрощенным, примитивным. При оценке литературы, музыки, живописи они подчас пользуются штампованными фразами — а ведь такие неискренние, бездумные фразы всегда помогали человеку замаскировать отсутствие глубокой мысли.

Алан Маршалл продолжает писать в реалистической манере. Многие его произведения вошли в сокровищницу австралийской литературы. Человеческая и писательская судьба нашего гостя сложилась очень трудно, но его литературные произведения всегда жизнеутверждающи и оптимистичны — ощущение радости жизни проис-

текает у Маршалла из интереса и любви к природе и людям. Он считает себя романтиком по натуре, беспредельно верит в величие Человека, и всегда его герои благородны, великодушны и добры.

Таков и Тим Салливан, 75-летний охотник на динго, герой одной из последних новелл Маршалла «Столь долгая охота». Старая, колченогая динго совершает смертоносные набеги на стада овец безнаказанно — она опытна и неуловима. Фермеры обращаются за помощью к бывшему охотнику, обещая 100 фунтов за ее голову,— и некогда знаменитый Тим начинает погоню. Много месяцев преследует Тим кровожадную и мудрую динго, и наконец она в западне. А он, увидев ее,— такую же знаменитую, старую, одинокую, покрытую шрамами от пуль, капканов и зубов охотничьих собак,— вдруг понимает, что они похожи. Алан Маршалл вспоминает, что никак не мог найти единственно возможного конца, логически завершавшего историю. Даниил Гранин, который находился тогда в Австралии, сказал ему, что в стиле Маршалла закончить новеллу торжественно-оптимистической нотой. И вот каким стал финал рассказа. Охотник не отдает свою добычу фермерам на поругание, он сам хоронит динго — не как врага, а как собрата. «Тени облаков падали на горы, словно быстро и тихо ступали ее лапы, высоко в небе парил орел... Это было хорошее место для отдыха».

Нелегко сегодня в Австралии опубликовать серьезное реалистическое произведение, рассказывает наш гость. Коммерческие интересы являются основным критерием, которым руководствуются частные издательства в отборе произведений. Средний тираж — 3000 экземпляров, вторых изданий обычно не бывает. В стране только четыре журнала принимают рассказы, но все они — ежеквартальники и публикуют в номере всего-навсего один рассказ.

— У меня разрывается сердце,— признается Алан Маршалл,— когда я думаю о том, сколько потенциально хороших писателей никогда не увидят свое произведение в печати.

Как-то Маршалл услышал, что один издатель для лучшей продажи романов классической литературы выпускает их с обложками сомнительного характера и продает книги не через магазины, а в газетных киосках по всей стране. Так было издано и продано собрание сочинений Бальзака. И Алан Маршалл принял предложение издателя выпустить в свет все свои произведения подобным образом.

— Не все ли равно, какая будет обложка? Не все равно, конечно, но что поделаешь?

Большое место в духовной жизни Маршалла — писателя и гуманиста — занимает любовь к детям, он с удовольствием пишет о них и для них. Одна из последних детских книг, «Шепот на ветру»,— аллегорическая сказка о детстве, о воспитании в ребенке мужества, честности, душевной щедрости.

— Ребенку нужна любовь, нужно сознание того, что он необходим другим,— тогда он будет счастлив. У мальчика Питера, героя моей сказки, много волшебных листочков, и он щедро раздает их — ведь каждый, кто получит необыкновенный талисман, становится нужным для других и любимым.

Маршалл с доброй улыбкой замечает, что, когда он разъезжает с лекциями по школам, карманы его всегда полны этими удивительными «волшебными листочками», которые он дарит детям.

У него активная переписка с юными читателями, и ни одно детское письмо он не оставляет без внимания, потому что знает, с каким нетерпением ждут его ответа. В сегодняшних мальчиках и девочках он видит прекрасное будущее человечества и, относясь к ним с уважением, серьезно, пытается как писатель и воспитатель помочь им стать гармонично развитыми личностями.

Книги Маршалла очень популярны среди ребят, и общественность Австралии настаивает на том, чтобы его произведения для детей были включены в программу обязательного чтения для школьников.

Мы спрашиваем нашего гостя о его литературных привязанностях.

— Писатель, который оказал на меня самое большое влияние,— Максим Горький. Это удивительный писатель,— отвечает Маршалл.— Впервые я познакомился с ним в маленьком австралийском городке, когда был еще мальчиком. Я разговорился с торговцем инструментами о книгах, и он сказал, что у него есть две замечательные книги — «Детство» Горького и «Преступление и наказание» Достоевского. «Прочти, мы так писать не умеем». И теперь, когда я приезжаю в этот городок, я всегда захожу к нему в лавку и первым делом говорю: «Преступление и наказание», «Детство»...

Алан Маршалл любит «Записки охотника» Тургенева, которые он считает прекрасной прозой и с удовольствием перечитывает. Среди западных писателей предпочтение отдает Хемингуэю, современную зарубежную литературу знает меньше — читает он медленно и старается больше времени посвящать австралийской литературе.

Патриот австралийской культуры, Алан Маршалл великолепно знает искусство аборигенов, он долгие годы собирал, а потом литературно обработал и издал легенды коренных жителей континента.

— Накануне отъезда из Австралии,— говорит Маршалл,— мне прислали книгу, которая оказалась очень интересной,— это написанная настоящим аборигеном история его жизни. Первый случай в Австралии! — восклицает он.— Правда, она, конечно, весьма робка в художественном отношении, но тем не менее начало положено.

Писатель рассказывает о коммерческом ажиотаже вокруг изобразительного искусства аборигенов и беззастенчивой эксплуатации народных художников. Издавна аборигены срезали кору с деревьев и

писали на ней свои тотемы, благо палитра всегда под рукой — белая глина, красная охра и древесный уголь. Традиционная манера их письма чрезвычайно привлекательна, темы их картин — мифы и легенды. За каждой картиной есть сюжет — это, по существу, целый рассказ в картине. Истинные художники-аборигены никогда не делают просто пейзаж или портрет, те же, кто пишет так, находятся под влиянием западной живописи. Так, вопреки распространенному у нас мнению, Алан Маршалл считает, что Наматжира писал все-таки в западной традиции, а те прекрасные народные сказания, которые жили в его душе, умерли вместе с ним.

Предприимчивые дельцы бойко спекулируют произведениями искусства, созданными аборигенами: туземные художники продают свои картины миссионерам за доллар, те перепродают их агентствам в Мельбурне, а там их скупают американские туристы уже по 250 долларов. В угоду бизнесу подчас создаются фальшивки, выдаваемые за творчество аборигенов. Так, на одной выставке, куда Маршалла пригласили как знатока их изобразительного искусства, на него глянула с картины королева Елизавета... с бумерангом.

Алан Маршалл убежден, что человек искусства не может существовать изолированно от общества, он должен постоянно иметь контакт с другими людьми. И это не просто декларация: Маршалл — один из самых активных граждан своей страны, принимающий деятельное участие не только в культурной, но и в общественной жизни. Дом Маршалла всегда открыт для австралийских и советских друзей.

— Как-то в минуту слабости,— шутит Алан Маршалл,— я признался, что очень люблю русский хлеб. И с тех пор, с каждым советским кораблем, приходящим в Мельбурнский порт, мне привозят русский каравай. Австралийцы, встречающиеся у меня в доме с людьми из Советской России — китобоями, писателями, артистами, моряками, учеными-полярниками,— говорят с восхищением: «Мы готовы каждый день встречаться с ними. Они сразу вас так обнимают, что вы чувствуете, какие замечательные люди эти русские».

Идеалы, за которые боролся Ленин, должны стать целью жизни для тех, кто ценит мир и дружбу на земле, как-то писал Алан Маршалл. Рассказывая правду о нашей стране в прессе, по радио и телевидению, он вносит неоценимый вклад в укрепление дружбы между Австралией и СССР.

М. ВАШКЕВИЧ

◆

Публицистика

ДЭВИД ФРОСТ, ЭНТОНИ ДЖЕЙ

АНГЛИИ — С ЛЮБОВЬЮ

Перевод с английского и предисловие О. ОРЕСТОВА

СЛЕЗЫ СКВОЗЬ СМЕХ

Книга «Англии — с любовью», отрывки из которой публикуются ниже, вышла несколько лет назад. Это не беллетристика и не научный трактат, она далека и от того, и от другого. Это несколько необычный тип публицистического произведения, в котором серьезное подносится через смешное и авторы словно беседуют с читателями, приглашая иронически взглянуть вместе с ними на современную Англию. Чтобы понять, почему авторы избрали такой разговорный стиль, нужно сказать несколько слов о них самих.

Когда книга вышла из печати в Англии, всем было ясно, что главным ее создателем был Дэвид Фрост, пользовавшийся тогда широкой известностью в стране.

Д. Фрост — журналист, телевизионный продюсер и комментатор, работавший сначала в компании Би-би-си, а затем перешедший в коммерческую телевизионную компанию Ай-ти-эй. Каждую неделю он выступал со своей собственной программой, которая получала особое наименование: «Доклад Фроста», «Программа Фроста», «Шоу Дэвида Фроста», «Фрост по пятницам», «Фрост на просторе» и т. п. Каждый раз он брал одну тему, приглашая к себе в студию самых различных людей — министров, парламентариев, бизнесменов, руководителей партий, писателей, домохозяек, студентов. Вспоминается, как перед камерами в зале собрались дети (с Фростом сидели педагоги и священники). Фрост расспрашивал детей, читают ли они молитвы, понимают ли они эти молитвы, зачем они их читают и т. д. И вот на глазах миллионов зрителей детишки откровенно рассказывали, как они барабанят молитвы, даже не думая об их содержании, только потому, что этого требуют родители и педагоги. Дети приводили абракадабру, которую они бормочут про себя, делая вид, что читают молитвы. Под конец передачи Фрост обратился к учителям и священникам с едкими вопросами о целесообразности подобного ритуала. Эта передача, как и другие программы Фроста, вызвала широкие отклики, но и недовольство определенных кругов.

В своих беседах и интервью Фрост не стеснялся, задавая приглашенным самые острые вопросы, поднимая наиболее «деликатные» и злободневные проблемы. Министры и чиновники ежились, выкручивались, а иной раз, забыв о многомиллионной аудитории, вступали в перепалку, кричали и негодовали, защищая честь мундира. Фросту только это и нужно было: значит, передача удалась, зритель будет доволен. В печати появились недоброжелательные отзывы. Фроста прозвали «великим инквизитором», упрекали, что он перегибает палку, компрометирует влиятельных деятелей. После таких отзывов передачи становились еще более популярными.

Я наблюдал за успехом Фроста на протяжении шести лет пребывания в Англии и замечал, какие характерные изменения претерпели его программы. Как это часто случается в Англии, власть имущие, недовольные Фростом, не трогали его, не запрещали его передач. Они просто прибрали его постепенно к рукам, одетым в бархатные перчатки.

В публикуемых отрывках из книги Фрост рассказывает, как английский «высший класс» поступает с некоторыми так называемыми «рабочими» лидерами: он берет их в свои мягкие, душные объятия, награждает, одаривает, поднимает над другими, и вот бывший лидер становится послушным, покорным членом истэблишмента, то есть официального механизма, управляющего страной. Можно было бы привести мно-

жество примеров подобной обработки строптивых. В Англии каждый знает имя Джорджа Брауна, бывшего лейбористского министра, «товарища» Брауна, который с каждой трибуны хвастался тем, что вышел якобы из рабочего класса, бил себя в грудь, клянясь в верности профсоюзам, а сейчас он... барон Джевингтонский, пожизненный пэр, лорд Джордж Браун.

Примерно то же произошло с самим Дэвидом Фростом. Его начал приглашать в гости премьер-министр, его хвалили и продвигали, ему платили большие деньги. А программы его постепенно теряли остроту, бледнели. Фросту устроили еженедельные телевизионные передачи в США — каждый понедельник он вылетал в Нью-Йорк, через два дня возвращался к английским экранам. И в Лондоне, и в Нью-Йорке на него работали большие бригады журналистов. Передачи получили претенциозные названия: «Фрост над Англией» и «Фрост над Америкой». Когда я покидал Англию, они уже превращались в обычные музыкальные шоу, с песнями и комическими скетчами.

А через некоторое время его назначили одним из директоров и превратили в одного из совладельцев коммерческой телевизионной компании, вырвав тем самым окончательно его острые зубы...

Энтони Джей малоизвестен. Он был телевизионным режиссером на Би-би-си, откуда ушел в 1964 году; сотрудничал с Фростом и продолжал свою деятельность журналиста.

Книга «Англии — с любовью» написана без претензий на серьезные обобщения. Легко угадывается, что авторы любят Англию как она есть, с ее недостатками и пороками. И смеются они над ней в общем-то беззлобно. Но — если переиначить старую поговорку — сквозь смех в книге проступают слезы. Работая над своими резко критическими телепередачами, Фрост умышленно выбирал отрицательные стороны жизни Англии и убедился, что материала больше чем достаточно. Создается впечатление, что авторы хотели свести все к безобидной шутке, ограничиться юмористическим набегом на английскую действительность, но она вырвалась у них из рук и повернулась перед читателем оборотной стороной. В книге, даже в отдельных лаконичных, саркастических фразах, часто дается убийственно правдивая характеристика современного английского капитализма, правящих кругов Англии, государственной бюрократической машины, буржуазного образа жизни.

После выхода книги в свет уже ушло лейбористское правительство Вильсона и на смену снова пришли консерваторы. Казалось бы, многое должно было измениться, но на самом деле в политическом облике страны, о котором пишут Фрост и Джей, все осталось по-прежнему. Разве что упомянутые ими споры об «Общем рынке» завершились все-таки вступлением в него Англии. И так же английские лидеры твердят, что они никоим образом не претендуют на «руководящую» роль в «Общем рынке», но делают все, чтобы обеспечить себе «председательское» кресло.

Весьма откровенные главы книги «Родина демократии» и «Избирательная карусель» — это смелый памфлет, разоблачающий буржуазную демократию, которую авторы вывернули перед нами наизнанку. Они говорят без обиняков, что английский парламент служит не интересам народа, а интересам его правителей. Чтобы это не звучало огульно, они, в своей обычной иронической манере, рассказывают, как выбирают депутатов парламента и чем те занимаются на деле.

Честно говоря, некоторые высказывания авторов о политических и государственных лидерах, о парламентских порядках граничат с дерзостью. Немногие журналисты решились бы называть премьер-министра «шуточным королем», а политических деятелей — «рекламными агентами». Но, в конце концов, Фрост и Джей — англичане, и можно оставить это на их совести, они знают, что говорят.

Авторы назвали одну из глав «Бесклассовое общество». С первых же строк мы видим, что это горькая ирония, что классовое общество в Англии существовало и продолжает существовать. Конечно, говоря о классовом характере общества, они пользуются неприемлемой для нас терминологией: высший, средний и низший классы. Нельзя согласиться и с утверждением, будто чуть ли не основной причиной нынешнего деления общества на классы является английская система образования, хотя она действительно служит целиком интересам правящего класса. Авторы — буржуазные журналисты обходят самый существенный вопрос — об экономической сущности капиталистического общества.

И все же, несмотря на эти изъяны, книга очень глубоко затрагивает вопрос об отношениях между имущими и неимущими, привилегированными и обездоленными. С особой горечью повествует она о судьбе молодого человека, рабочего парня, теряющего всякую надежду на какой-либо сдвиг к лучшему в своей жизни в рамках капитализма. Читая эти страницы, не сомневаешься, на чьей стороне симпатии авторов.

В резких тонах идет речь об английской судебной системе, которая так определяет понятие преступления: «поведение низшего класса, которое вызывает неудовольствие высшего класса».

Об английских судах и судьях написаны многочисленные тома и научные трактаты. Пожалуй, ничем так не гордятся правящие круги Англии, как созданной ими судебной системой, якобы олицетворяющей справедливость и беспристрастность. Фросту и Джею не понадобилось много печатных листов — они высмеяли и разобла-

чили лицемерие английских судов на двух-трех страницах. Становится очевидным — хотя в этом можно было и не сомневаться,— что судебная система Англии, как и любой другой институт, служит интересам правящего класса. Неслучайно авторы замечают: «Если один и тот же закон слишком часто ловит представителей высшего класса, то такой закон изменяют».

Пожалуй, наиболее политически актуальна глава из книги, названная авторами «Великая иллюзия» и открыто осуждающая английские правительства за бессмысленное расходование колоссальных средств на военные цели. Фрост и Джей упоминают, что военные расходы составляли фантастическую, как они ее называют, цифру в два миллиарда фунтов стерлингов. Пребывание у власти лейбористов, а сейчас консерваторов привело к тому, что эта сумма теперь выросла уже до 2 854 481 000 фунтов, а по неофициальным подсчетам даже до трех миллиардов фунтов!

Многие годы прогрессивные, демократические силы Англии выступают за сокращение военных расходов, которые тяжелым бременем ложатся на экономику страны, на плечи трудящихся. Фрост и Джей высмеивают и критикуют английских генералов и адмиралов, уверяющих, будто речь идет об увеличении ассигнований на так называемую «оборону». Они хорошо понимают, что дело не столько в военщине, сколько в иных, империалистических кругах Англии, заинтересованных в сохранении напряженности в мире, участии Англии в военных авантюрах НАТО, размещении ее военных баз на чужих территориях. Хотя и глухо, авторы книги в двух фразах упоминают этих «влиятельных деятелей», связанных с военно-промышленными кругами, которым выгодно превращать «мирные ситуации в напряженные, напряженные — в опасные, опасные — во взрывчатые». Именно эти круги и диктуют сменяющим друг друга правительствам требования дальнейшего увеличения военных ассигнований.

Читатели вынуждены согласиться с парадоксальным выводом авторов книги, что лучше всего было бы разделить эти миллиарды среди населения Англии, дать каждому жителю по 40 фунтов, и «пусть они сами обороняются». Это смешно, но в какой-то мере справедливо, ибо всем — в том числе и в Англии — известно, что стране не угрожает никакая опасность и никто не покушается на Британские острова. И если Англия расходует миллиарды — что ей совсем не по карману,— то только потому, что ее правящие круги не способны отказаться от имперской, империалистической психологии и упрямо мечтают о «ведущей» роли в военных блоках, которые не нужны английскому народу и несут ему только дополнительные беды и тревоги.

Книг об Англии и англичанах написано много. Фрост и Джей, обращающиеся к массовому читателю, не могли обойти молчанием нелепые традиции и чудачества англичан. Более того, они искренне заявляют в предисловии, что без этих чудачеств «английский пейзаж, пожалуй, был бы куда монотоннее и скучнее».

Однако ценность книги «Англии — с любовью» не в одних этих веселых — иногда анекдотических — эпизодах из жизни англичан, а в том, что ее авторы не побоялись критически взглянуть на всю государственную и социальную систему современной Англии, как говорится, классической страны капитализма. За это мы и признательны Дэвиду Фросту и Энтони Джею.

.

Всякого, кто пишет книгу об англичанах,— особенно если он сам англичанин,— поражает обилие противоречий в жизни нашей нации. Мы не только миримся с ними, но откровенно ими наслаждаемся. Будь это женщины, которые до изнеможения, до изнурения бродят по магазинам в поисках новых приспособлений, призванных облегчить их домашний труд; или кинопродюсер, который ищет талантливых молодых людей со свежими идеями, но непременно с тридцатилетним опытом работы; или предприимчивый фабрикант, который перепахивает поле, усеянное прелестными нарциссами, чтобы построить на нем завод по производству цветов из пластмассы.

Мы с горечью задумались: как могут существовать в нашей изумительной — во многих отношениях — стране подобные предрассудки, нелепости и пороки? А подумав, решили, что без них английский пейзаж, пожалуй, был бы куда монотоннее и скучнее.

Но вот мы дошли и до самого странного противоречия: как может добросердечный, гордый своей страной английский народ так холодно принимать иностранцев, приезжающих знакомиться с Англией и любоваться ею? Очевидно, есть доля правды в старой и очень простенькой английской поговорке: «Здесь хорошо жить, но мне не хотелось бы приезжать сюда в гости».

С любовью,
Д. Ф.,
Э. Дж.

О положении страны

Положение страны. Давно этим вопросом только и занимаются английские пандиты[1] и швейцарские банкиры. И те и другие рисуют чрезвычайно мрачную картину. Каждый уважающий себя пандит считает долгом, не скупясь на слова, разъяснять, что мы находимся в состоянии серьезного экономического кризиса.

Если в старые добрые годы на странице газеты со спортивными новостями появлялся заголовок: «Полное крушение Сассекса»[2], то пожилые дамы мчались к телефону с воплями: «О боже, не развалился ли мой дом в Брайтоне!» Сегодня, увы, даже заголовок «Англия рухнула до перерыва на ленч», составленный явно в спортивных терминах, чаще всего воспринимается буквально, как весть о резком падении фунта стерлингов на биржах. Сами понимаете: это вам не крикет!

Взирая на Англию, пандит видит только беды и несчастья: огромные долги, малопроизводительная промышленность, старомодные профсоюзы, неконкурентоспособные фирмы, недостаточный экспорт, сокращающиеся валютные резервы, жестоко ограниченная зарплата, забитые машинами дороги, приходящие в упадок города, безответственные подростки, неверующие священники, бегущие из тюрем заключенные, телевизионные маньяки, близорукие бюрократы и недальновидные политики. И все пытаются подпереть шатающиеся руины одряхлевшей империи с помощью небоеспособной армии и сомнительной валюты.

Пандит видит беды и несчастья. На останках столицы дряхлой империи он, словно изгнанный монарх в рваной мантии, вздыхает о былой славе и плачет от зависти к другим странам. Завидует богатству Америки, целеустремленности России, независимости Франции, трудолюбию немцев, энергии японцев; завидует швейцарским банкам и шведским нравам, вест-индским крикетистам и австралийским теннисистам. Мы сокращаем расходы на социальные нужды, чтобы задобрить иностранных банкиров; кроим нашу внешнюю политику так, чтобы угодить американским кредиторам, и собираемся лишить фунт стерлингов роли международной валюты — только бы европейские соседи помогли нам вылезти из долгов. Гордится пандит лишь английскими поп-певцами. В глубине души ему за них очень стыдно.

Англичанам, говорит он, пришел конец. Ими овладела апатия. Их терзают сомнения. Они дошли до отчаяния. Власяница и пепел на голове — их национальное одеяние, хлеб и вода — единственная пища. По крайней мере, так оно должно быть, если верны его расчеты.

Но взгляните на Англию — что вы видите? Англичанин не унывает. Население расходует на рождественские подарки и угощение колоссальные суммы, причем к следующему рождеству они будут еще больше. У агентов по продаже недвижимого имущества растет число заказов на дома стоимостью выше 10 тысяч фунтов; на скачках, в игорных домах и шикарных казино деньги льются таким потоком, что к соблазнительным зеленым столам Англии уже спешат агенты мафии из Лас Вегаса. Англия гордится и достижениями своего экспорта: мы экспортируем ученых и врачей больше, чем любая страна мира.

Толпы людей посещают картинные галереи Англии, чтобы взглянуть, где раньше висели мировые шедевры живописи. Мы знаем, что английский климат самый хороший в мире, вот только погода была бы получше. Так или иначе, Англия остается крупнейшим в мире производителем бит для крикета, «Юнион Джекс»[1], нот с мелодией «Боже, храни королеву», сувенирных пресспапье с лондонским Тауэром и железнодорожных вагонов второго класса. Моды с Карнэби-стрит[2], где девушку с трудом отличишь от парня, прославились во всех уголках цивилизованного мира. Декольте становятся ниже, подолы — выше. Никто не знает, куда все это приведет нас, но каждому хочется быть там, когда это произойдет. Но что именно произойдет? Откуда это веселье и жизнерадостность? Как объяснить, что несмотря на все свои беды англичане наслаждаются жизнью? Может быть, это последний роскошный пир в древней цитадели, к воротам которой уже подошли готы? Или Нерон веселится, наблюдая, как горит Римский договор[3]? Или это поразительная беспечность? Или прощальный вальс в сверкающем зале «Титаника» за час до его гибели под океанскими волнами?

Все это, на первый взгляд, не соответствует характеру англичан. Но может быть, за последние годы их характер совершенно изменился? По мнению иностранных наблюдателей, у англичан есть три неотъемлемые черты характера: лицемерие, холодность и снобизм. Неужели же они и впрямь смыты нахлынувшей волной искренности, сердечности и равноправия?

Непохоже, чтобы искренность совсем вытеснила наше лицемерие. Мы говорим о жизненно важных узах между членами Содружества Наций, а затем прекращаем выплату стипендий студентам из стран Содружества. Мы осуждаем расистскую политику Южной Африки, Родезии и США, где расовая проблема действительно серьезна, и с восторгом объявляем, что, пустив в Англию команду вест-индских крикетистов и назначив одного «цветного» полицейского, мы решили эту проблему у себя

---

[1] Ученый, мудрец *(ивд.)*.

[2] Речь идет в данном случае о поражении в крикете (наиболее распространенная в Англии спортивная игра) команды графства Сассекс (где расположен и город Брайтон). Крикетный матч обычно длится несколько дней, с ежедневным перерывом на завтрак (ленч). *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*.

[1] Государственный флаг Великобритании.

[2] Лондонская улица, где расположены модные магазины для молодежи.

[3] Римский договор о создании «Общего рынка» (Европейского экономического сообщества), подписанный в 1957 году.

дома. А если и не решили, то, как писал один читатель в газете «Обсервер», «во всем виновата королева. Она разъезжает по черным странам, черные исполняют для нее военные танцы и думают, что им можно ехать в Англию и отнимать у нас работу». Когда мы увольняем рабочих, оставляя их на произвол судьбы, мы говорим о «реорганизации» производства и «перегруппировке» рабочей силы. Мы запрещаем рекламу табака по телевидению, которое может обойтись и без нее, но разрешаем печатать ее в газетах, которые без доходов от нее не обойдутся. Мы позволяем болтать о чем угодно на «Уголке ораторов» в Гайд-парке, ставшем убежищем патентованных эксцентриков, но бросаем в тюрьму студентов, которые размахивали флагами перед носом премьер-министра в брайтонской церкви. Мы создали должность Государственного контролера, который исправлял бы ошибки и промахи бюрократической машины, но не даем ему никаких прав для выполнения столь важной задачи. Зато книги с руководством по санкционированному лицемерию, скажем, о том, как зевать, не открывая рта (это иногда именуется этикетом), становятся бестселлерами.

Сердечность еще отнюдь не вытеснила холодности. Предположим, что молодой англичанин сидит в полутьме на диване с девушкой, которая рассказывает ему, что нашла магазин, где продают весьма рискованные черные мини-юбки с разрезами по бокам,— просто потрясные! — белые, прозрачные, плотно облегающие стан свитеры с дырой посередине и глубоким декольте, а также легкие, словно пена, нижние юбки с шелковой подкладкой и рисунком в стиле оп-живописи. Несказанно заинтригованный юноша пытается поцеловать девушку и... получает пощечину. Басни о сексуальных аппетитах молодых англичан раздуты и придуманы завистливым старшим поколением, чтобы удовлетворить свое жадное воображение. Однако никто не говорит, что англичане обходятся без секса. Просто они не умеют легко и изящно флиртовать, стесняются теплоты и нежности, что и отличает их от других наций. Тут, действительно, изменений не произошло. Группа социологов наблюдала в разных странах, насколько часто юноша и девушка во время разговора касаются друг друга. Как и следовало ожидать, англичане оказались в самом низу таблицы.

Если в других странах, знакомясь с человеком, произносят какие-либо слова, выражающие удовольствие и радость, в Англии еще пользуются бессмысленной, формальной, холодной фразой: «Хау д'ю ду?» (нечто вроде: «Как вы поживаете?»). Англичане так же замкнуты, как и раньше. Если сомневаетесь, попробуйте завязать разговор с незнакомым пассажиром в купе — только все же советуем запастись на дорогу книгой. Даже не очень интересной книгой. Так справочник Джонсона «Сверление и токарная обработка дерева» покажется вам после «беседы» с незнакомым англичанином наилучшим развлечением.

Равноправие никоим образом не вытеснило снобизм. Г-н Джордж Браун, министр иностранных дел[1], появился на банкете в Букингемском дворце в визитке, а не во фраке, как все остальные. Газеты сочли этот факт достойным внимания и пространных комментариев, а англичан происшествие не только заинтересовало, но даже серьезно взволновало. Следует ли после этого доказывать, что Англия сохраняет все атрибуты общества, разделенного на классы! Как г-н Браун, так и остальное население Англии своим поведением доказали, что они могут одобрять или не одобрять деление общества на классы, но они прекрасно осведомлены о его существовании. Самое занятное в этом эпизоде, что никого не удивило, почему у г-на Брауна, который каждого именует «братом» и «товарищем», вообще оказалась собственная парадная визитка.

Переход из одного класса в другой сейчас совершается несколько легче, чем раньше. Но классы остаются резко разграниченными, а попытки слить их воедино вызывают сопротивление и взрыв негодования. Так, за последнее время больше всего переживаний в Англии вызвала идея обучать всех детей, независимо от имущественного положения и классовой принадлежности родителей, в так называемых общеобразовательных школах. При этом англичан нисколько не взволновал тот факт, что принцу Чарльзу[2] разрешили поступить в Кембриджский университет без вступительного экзамена. А в Челси, как говорят, есть богатый сноб, который считает недостойным ездить в одной автомашине вместе со своим шофером.

Нет, англичане не изменились. И если вас изумляет, как они могут веселиться в разгар национального — и судя по всему — глубокого кризиса, то вы просто не понимаете, что в Англии все выглядит не так, как оно есть на самом деле. Вы не знаете, что англичанам удалось превратить пуританство в удовольствие, а удовольствие сделать пуританским. Вы еще не осознали, что англичане — самые необычные люди на грешной земле. Англичане решили сложную проблему — как одновременно счастливо улыбаться и мрачно хмуриться.

Мы, англичане, бываем очень строги ко всяким проявлениям коррупции и распущенности. Политический деятель боится, как бы его не заподозрили в пьянстве, и обычно не позволяет фотографировать себя со стаканом в руке. Если на приеме или в гостях он отказывается выпить, кто-нибудь обязательно шепнет ему: «Не робей, рискни разок!»— будто толкает его на смертный грех.

---

[1] Министр иностранных дел в лейбористском правительстве Г. Вильсона, отличавшийся эксцентричностью и странностями, вызывавшими иронические замечания английских газет.

[2] Наследник английского престола.

ДЭВИД ФРОСТ, ЭНТОНИ ДЖЕЙ
АНГЛИИ — С ЛЮБОВЬЮ

Поэтому англичане добровольно стремятся к тому, чтобы любое удовольствие было сопряжено с неудобствами и трудностями; этим они достигают компромисса с пуританством. Плакаты напоминают курильщикам, с наслаждением пускающим кольца дыма, что они убивают себя никотином; их штрафуют с помощью такого налога на сигареты, что они стоят дороже, чем в других странах мира. Употребление алкогольных напитков ограничено ежедневно несколькими часами, и как только люди по-настоящему развеселятся, их выгоняют из теплого уютного паба[1] на уличный холод, чтобы они поразмыслили хорошенько над своей греховной распущенностью. Присвоение денег без разрешения хозяина считается в Англии, как и везде грехом. Но англичане относятся и к своим деньгам как к чему-то грязному и даже опасному. Они сразу относят их в банк, из которого — поскольку он открывается в 10 часов утра и закрывается в 3 часа дня — их нельзя получить именно в самое удобное для человека время — утром до работы и вечером после работы. Но даже деньги, которые все-таки остаются у англичан на руках, нелегко израсходовать, ибо вечером после работы магазины опускают металлические шторы, а поднимают их лишь на следующее утро. Но тогда все уже находятся на работе — с деньгами в кармане.

Особо поощряются в Англии три пуританских и варварских обычая: открывать окна в холодную погоду, совершать длительные прогулки в холодную погоду и купаться в холодной воде. Обычаи настолько отвратительны и неприятны, что на деле их соблюдают только самые выносливые англичане. Однако каждый англичанин знает, что ему тоже следовало бы соблюдать их. Поэтому, ублажив свою плоть горячей ванной, он затем умерщвляет ее полотенцем, напоминающим наждачную бумагу. Если англичанин придет к выводу что все же надо распахнуть окно, он этим не ограничивается и ждет, когда совсем погаснет огонь в камине, а затем топчется на месте, потирает замерзшие руки, словно он только что водрузил «Юнион Джек» на Южном полюсе. Он хорошо запомнил уроки детских лет. Чем дороже образование, тем оно более пуританское: из теплых современных зданий начальных школ, где запрещены телесные наказания, англичанин переходит к высшей стадии умерщвления плоти в сырых, холодных, нетопленых старинных зданиях привилегированных частных школ, где он живет в тесноте, питается несъедобной пищей и постоянно подвергается порке.

К счастью всегда примешивается элемент несчастья. Но это не помешало Англии процветать и жить не по средствам. В течение шестидесяти лет Джон Буль пытался отсрочить час расплаты. День ревизии приближался медленно, но в конце концов он наступил. О том, что пришел страшный момент расплаты, нам напомнил г-н Гарольд Макмиллан[1].

Мы никогда не забудем, как зловеще он провозгласил: «Вам никогда не жилось лучше, чем сейчас». Столь ужасные слова из английского лексикона еще никто и никогда не произносил — для этого понадобился шотландец, с присущим этой нации презрением к англичанам. Не удивительно, что потом его предали анафеме и так и не простили. Ведь он на момент сорвал прозрачную кисею, которой англичане отгородились от невзгод и несчастий, чтобы наслаждаться жизнью. Он заставил их наконец признать очевидный факт, что жить-то, в общем, довольно приятно.

Сначала воцарилась паника и отчаянье. Каждый англичанин оказался лицом к лицу с тяжелой проблемой: как бы он ни сопротивлялся, жизнь была хороша и все время улучшалась. Это, в свою очередь, породило национальную проблему. Если англичане как нация стремились к могуществу, деньгам и международному влиянию, то англичане как индивидуумы так боялись возможных последствий возросшего изобилия, что фактически бросили работать. К счастью, было найдено решение этой проблемы. Правительство уведомило народ, что страна погрязла в долгах, тем самым расшевелив задремавшее было пуританство, которое утвердило себя с новой силой. Мысль о постыдном банкротстве, разговоры о режиме экономии и замораживании зарплаты, призывы воскресить «дух Дюнкерка»[2] и смело отбиваться от врагов — все это помогло англичанам не только прийти к заключению, что они вовсе не наслаждаются жизнью, но и снова взяться за работу.

Правда, проблему можно было решить и иным путем — отобрать у английских компаний и трестов те миллиарды долларов, которые они вложили за рубежом, и компенсировать их фунтами стерлингов по сходному валютному курсу. Когда такой путь официально предложил г-н Эндрю Шонфилд[3], ему ответили, что это помогло бы остановить нынешний кризис, но не излечило бы более глубокого недуга. Беда в том, что такой шаг действительно излечил бы «более глубокий недуг», но одновременно подтвердил бы и ужасные слова г-на Макмиллана.

Бесклассовое общество

Счастливым для Англии был день, когда она начала разрушать свою старую классовую систему. Долгие годы деление на высший, средний и низший классы порождало вражду и горечь, пагубные для здоровья на-

[1] Паб (паблик хауз) — таверна, пивная, излюбленное место общения и отдыха англичан после работы.

[1] Г. Макмиллан — консерватор, премьер-министр Великобритании с 1957 по 1963 год.

[2] Дюнкеркская операция (май — июнь 1940 г.), когда английские войска, прижатые гитлеровцами к морю, были вынуждены эвакуироваться в Англию, понеся серьезные потери.

[3] Э. Шонфилд — известный экономист, сотрудничавший в газете «Обсервер», руководитель Института социальных исследований.

ции и составляющих ее индивидов. Царил снобизм и господствовало неравенство. Высокомерное отношение высшего класса к среднему, жестокое безразличие среднего класса к низшему; раболепие низшего класса перед двумя другими — все это превращало в насмешку идеи свободы и братства людей.

Когда все разумные народы уже отказались от бессмысленных представлений о «благородном» происхождении и аристократизме, англичане все еще цеплялись за свой классовый строй. Но сейчас у нас более гуманный век. Англичане, наконец, признали нелепость архаичного деления общества и отказались от него. Г-н Эдвард Хит сменил четырнадцатого графа Хьюма[1]; клубы Сент-Джеймса уступили место кафетериям Челси; Карнэби-стрит задушила Сэвил-роу[2]; ливерпульские поп-звезды проводят уикэнды в герцогских замках; герцоги пошли работать; старинные университеты принимают в свои стены сыновей неотесанных рабочих. Плохая старая система сломана. Архаическая пирамида — высший-средний-низший,— нечестивая троица зависти, недоброжелательства и горечи трещит и рушится. Пэры, придворные и помещики потеряли свой былой ореол. Три класса смешиваются, сливаются воедино. Рождается новая Британия.

Бесклассовость — точнее, иллюзия таковой — возникала в процессе постоянной ассимиляции, благодаря которой Англия в течение ряда веков избегала кровавых революций, гражданских столкновений и сохраняла королевскую семью и привилегированные институты, хотя почти повсюду в мире они полетели вверх тормашками. Английский высший класс умело избегал окопной войны. Вместо этого, если снизу давили слишком сильно, он прибегал к тактическому отводу сил с позиций. Высший класс уступал спорную территорию добровольно, без кровопролития и слез, но, конечно, захватив с собой все, что имело хоть какую-либо цену.

Так например, когда массы требовали избирательного права, им дали это право. Только оказалось, что оно ничего не стоит, так как вся власть в избирательных округах была передана организациям партий, находившимся под контролем высших классов и подбиравшим кандидатов, за которых теперь могли беспрепятственно голосовать массы, опьяненные завоеванной свободой. Когда средние классы потребовали вырвать из рук аристократии и дворянства государственную службу и открыть ее для всех, кто пройдет соответствующий экзамен, их желание было немедленно удовлетворено. Аристократы отказались от соблазнительных синекур, а одержавшему победу среднему классу передали в полное владение профессию, которая «гарантировала» ему мизерную зарплату, долгий рабочий день и, вдобавок, постоянные обвинения в нерадивости. Когда народ потребовал образования, высшие классы тут же согласились дать ему образование. По поводу того факта, что оно намного хуже образования, которое покупает высший класс для своих детей, вряд ли следовало жаловаться, ибо народу с самого начала внушили, что по справедливости — источником и оплотом ее, конечно, является Англия — каждый получает только то, за что он платит.

Помимо всего, покидая поле боя, высшие классы уводили с собой заложников. Они знали, что для некоторых людей невыносима и унизительна сама идея существования более высокого класса, к которому они не принадлежат. Эти люди готовы были сокрушить высший класс, хотя он и шел на уступки. К таким непреклонным, свирепым существам, жаждавшим крови — точнее, голубой крови,— применялись особые успокоительные средства. Когда они мчались в атаку, оставив позади толпу, неожиданно распахивались ворота замка; дрожащие от негодования, лидеры толпы останавливались на арене для турниров, и здесь в них вливали то, чего они добивались,— голубую кровь, кровь высшего класса; они по уши насыщались ею.

В конечном итоге такой лидер, первым примчавшийся к воротам, сам просил, чтобы их закрыли за ним, так как из-за шума толпы он не слышал, что говорят его новые друзья. И если аристократы с голубой кровью действовали умно, он вскоре уже давал своим детям имена Эмма и Филипп, Хью, Найджел или Хэмфри[1].

Ничто так не волнует англичанина, и без того являющегося представителем высшей расы, как возможность попасть в высший класс этой расы. Его природная скромность, конечно, не позволяет говорить об этом вслух; нельзя же ему самому всем объяснять, что он принадлежит к высшему классу. Поэтому можно ограничиться заявлением, что он не хуже всякого другого. А «другим» может быть и премьер-министр, и гофмейстер королевского двора, и двадцать восьмой герцог Суффолькский, и член королевской семьи,— в общем, делайте сами надлежащие выводы.

Твердое убеждение англичанина, что он не хуже всякого другого, помогло сохранить высший класс, а заодно и создать иллюзию бесклассовости.

«Да, мы все теперь равны»,— говорит тот, кто еще недавно считал себя человеком из среднего или низшего класса. В это время он сидит за пинтой доброго пива в местном пабе и читает в вечерней газете сообщение, что его старый друг и бывший сосед («знал его всю жизнь») свернул себе шею во время игры в поло[2].

[1] Э. Хит и Алек Дуглас-Хьюм — консервативные премьер-министры; первый вышел из рядов интеллигенции, второй принадлежит к аристократии.

[2] Лондонская улица, где находятся самые дорогие портные, обслуживающие «высшее» общество.

[1] Имена, распространенные среди английской знати.

[2] Игра в поло, требующая больших расходов и владения лошадьми, считается в Англии привилегией знати.

ДЭВИД ФРОСТ, ЭНТОНИ ДЖЕЙ
АНГЛИИ — С ЛЮБОВЬЮ

Вывод ясен: теперь только высший класс знает о существовании деления общества на классы; мы же все убеждены, что классовая система уничтожена. «Надеюсь, я могу не называть вас сэром?» — спрашивает рядовой член партии министра, официант — известного драматурга, паровозный машинист — директора национализированных железных дорог, лесник — миллионера, разбогатевшего на железном ломе. «Конечно, старина»,— слышат они лаконичный ответ. Появившееся было ощущение неловкости исчезает. «В конце концов,— убеждает сам себя англичанин,— я такой же человек, как и он, ничуть не хуже, хотя и не играю в поло». После чего он отправляется в таверну играть в дартс[1].

Из сказанного понятно, что высший класс отнюдь не малочислен и не замкнут, более того, он постоянно растет. Чтобы держать большинство подальше от своих рядов, он вынужден допускать в них избранное меньшинство, элиту. Если не говорить о тех, кто с рождения принадлежит к нему, высший класс готов принять, а если надо, то и силой затащить к себе всякого, кто отвечает трем основным условиям. Во-первых, вы обязаны доказать, что признаете существование высшего класса и его образ жизни. Во-вторых, у вас должны быть твердые взгляды на этот образ жизни — либо вы его одобряете, либо не одобряете, половинчатые взгляды недопустимы. В-третьих, всем должно быть совершенно ясно — поддерживаете ли вы полностью и безоговорочно высший класс или же открыто стараетесь подорвать его. Если вы отвечаете этим требованиям, вас примут в члены с испытательным сроком. Полноправным членом вы станете после того, как вам дадут несколько уроков реалистического отношения к жизни и исправят мелкие погрешности в вашем поведении. Не следует афишировать свою принадлежность к новому классу. Как и все, делайте вид, что он не существует.

Между прочим, нового члена, проходящего испытательный срок, можно узнать по жаргону. Если вы услышите, что кто-то с презрением говорит о низших ступенях общественной лестницы (с которых он только что поднялся) и употребляет такие выражения, как «средний потребитель», «массовая аудитория», «простой человек», «человек с улицы», как бы подчеркивая, что сам он не принадлежит к этим категориям, то будьте уверены — перед вами стажер высшего класса, изменивший свое поведение, но еще не научившийся говорить вполголоса.

Как же действует новая английская бесклассовая классовая система? Мы рассказали, как она сохранилась, но что она представляет собой на деле, что происходит в «новой» системе? Вчитайтесь в такое сообщение одной английской газеты: «Вчера вечером принцесса Маргарет[2] как обычный пассажир первого класса отправилась ночным абердинским поездом с вокзала Кингс-Кросс в замок Балморэл[1]». Такого рода заметка должна бы убедить иностранцев, что англичане — обычные, тихие люди. Но если ничего особенного не случилось, зачем нужно было печатать это сообщение? Кому и какое дело, что принцесса Маргарет поехала в Шотландию на поезде, ведь сотни других англичан ехали тем же поездом. Конечно, все дело в том, что принцесса Маргарет — если даже сама она считает иначе — является представительницей самой верхушки (королевской семьи) классовой системы, о которой мы ведем речь. Газета пыталась замазать сам факт существования системы словами: «как обычный пассажир первого класса».

Конечно, принцесса Маргарет не «обычный пассажир». Газета не станет упоминать имен пассажиров ни первого, ни второго класса только потому, что они ехали в поезде. Как бы принцесса Маргарет ни старалась, она не может ехать куда-либо или делать что-либо как «обычный» человек, по той простой причине, что она не обычный человек или пассажир. Она выдающийся человек. Выдающийся — согласно представлению англичан о классовой системе,— как и любой иной член королевской семьи. Это подтверждает фраза, содержавшаяся в том же газетном сообщении: «Когда поезд тронулся, пассажирка Рода Вильямсон сказала: «Я не имела представления, что принцесса едет этим поездом. Теперь я не засну всю ночь».

Возьмем, к примеру, образование. Для английской системы образования обучение детей — только побочная задача. В основном же она служит ареной борьбы, где наши дети проводят первые раунды своих классовых битв, в которых позднее многим из них придется участвовать всерьез. Классовая разведка боем, именуемая экзаменами «одиннадцать плюс»[2], оказалась настолько жестокой, что вокруг нее разгорелись жаркие споры. Английских родителей не интересуют ни методы, которыми учат их детей, ни содержание их обучения. Поэтому, если бы экзамены «одиннадцать плюс» имели отношение только к самой системе образования, они волновали бы родителей не больше, чем ежегодное рентгеновское обследование легких или ног их детей. Но суть экзаменов совсем иная. От них зависит, останется ли ребенок в низшем классе общества или у него есть шанс перейти в высший класс. Скандал произошел не потому, что англичане осуждали сами экзаме-

[1] Тяжелую стрелу бросают в пробковую мишень; эта игра — обязательная принадлежность каждого паба. Весьма популярна в рабочей среде.

[2] Младшая сестра королевы Елизаветы II.

[1] Поместье английских королей в Шотландии.

[2] Примерно в возрасте 11 лет английские дети должны проходить особый экзамен «одиннадцать плюс», состоящий из ряда тестов, которые якобы определяют способности ребенка. Выдержавшие экзамен принимаются в гимназию, которая открывает путь в университет; провалившиеся идут в обычные средние школы, которые не дают права на поступление в университет. Чаще всего экзамены выдерживают дети состоятельных родителей, занимавшиеся с репетиторами.

ны, а потому, что дети сдавали их в слишком раннем возрасте. Провал на экзамене в одиннадцатилетнем возрасте означал, что ребенок не мог поступить в гимназию — огромное перерабатывающее предприятие, которое вбирало в себя массу детей низшего класса, а выпускало ничтожное число потенциальных претендентов на переход в высший класс.

Высший класс, с присущим ему здравым смыслом и любезностью, уступил спорную территорию, унеся с собой все ценности. Экзамены «одиннадцать плюс» обещают отменить; гимназиям угрожает полное вымирание. Наши дети будут получать бесклассовое образование в общеобразовательных школах[1]. Их не затронет деление на высший и низший классы до юношеского возраста, когда им придется держать вступительные экзамены в университет.

Кое-кому даже эта уступка показалась унизительной и недопустимой. Читатель газеты «Йоркшир ивнинг пост» писал: «Не за горами время, когда дети станут такими образованными, что некому будет подметать улицы и выполнять иную важную, но плохо оплачиваемую работу. Посылайте детей на работу в четырнадцать лет (поменьше будет безнадзорных) и оставляйте в старших классах только самых способных учеников».

Итак, посылайте их на работу. Да, именно в промышленности наш высший класс показал, как он умеет защищать свои интересы. Наша промышленность — заводы, шахты, судоверфи и т. п.— была основана семьями из высшего класса, а работали в ней все, кто нуждался в корке хлеба. Существовали: «семья» (джентльмены) и рабочие (не джентльмены). Члены «семьи» работали в комнатах с пушистыми коврами, рабочие довольствовались холодным цементным полом; «семья» завтракала в теплом зале, рабочие жевали сандвичи у станков; если рабочих увольняли, «семья» все равно получала дивиденды. После многих лет существования подобных порядков некоторые рабочие поняли, что их унижают и оскорбляют, и начали требовать изменений не только для себя, но и для других товарищей-рабочих. «Семья» сразу пошла им навстречу. Она предоставила этим людям менее утомительную работу — с гроссбухами и ведомостями — и разрешила тратить больше времени на разжевывание сандвичей.

Возмущение угасло, чтобы снова вспыхнуть несколько десятков лет спустя. На этот раз высший класс (он, конечно, уже не состоял только из «семей») пошел на все и крепко прижал к своей груди рабочих лидеров. Теперь и у них конторы с пушистыми коврами и фикусами в кадках, хотя рабочие по-прежнему трудятся в цехах с цементными полами, стоя у своих станков; теперь они сами едят в просторных столовых или дорогих ресторанах, а рабочие стоят в очереди в заводской столовке; а когда рабочих увольняют, эти продолжают ежемесячно получать свое жалованье. И больше никогда не выступят с требованиями каких-либо изменений. Их именуют теперь «администрацией». И они уверенно пробивают дорогу в ряды высшего класса.

Принадлежность англичанина к тому или иному классу трудно определить и по тому, как он пользуется правом голосования на выборах, которое много лет назад ему даровал высший класс. Он может принадлежать к высшему классу и голосовать за социалистов[1], принадлежать к низшему классу и отдавать голос консерваторам. Значительно легче угадать его классовую принадлежность, зная, в какую партию он вступил и на какую работает. Организация «Молодые консерваторы» намного сильнее «Молодых социалистов» и только потому, что она открывает путь из низшего класса в высший.

Почему же англичане лишь слегка «подправили» классовую систему, а не уничтожили ее совсем, как это сделали другие, вполне цивилизованные народы? Любопытно, что только в Англии человек может требовать в суде развода, обвиняя жену в «жестокости», выразившейся в том, что «среди ночи она разбудила его, ударила по голове и осыпала грубой руганью, напомнив при этом, что он родился и воспитывался в Клэпеме»[2]. Причем все это не вызывает даже улыбки у судей.

Прежде всего классовая система очень удобна. Достаточно вам прочно утвердиться в рядах высшего класса, вести себя прилично, и тогда никакие мелкие неприятности, вроде сокращения доходов, не повлияют на ваш статус. Американцам, например, приходится много трудиться, чтобы увеличивать доходы и тем самым оставаться в своей социальной группе. Англичанина из высшего класса это не волнует; если он попал в этот класс, он может быть совершенно спокоен. Принадлежность к высшему классу определяется тем, кто́ этот человек, а не тем, что́ он делает. Он может быть абсолютно никчемным и неспособным, если оценивать способности человека с надлежащей точки зрения. Такую точку зрения хорошо выразил один из профсоюзных лидеров в интервью газете «Гардиан». Он отвергал обвинение в том, что профсоюзные лидеры потеряли контакт с профсоюзными массами, и заявил, что на самом деле это массы потеряли контакт с лидерами.

Но мы раса снобов, и перед нами открываются широкие перспективы. Сейчас куда больше шансов пробиться в высший класс. Ну, а как быть с неудачниками? У членов

[1] В Англии уже несколько лет дебатируется предложение о полном переходе на так называемые «общеобразовательные» школы, которые принимают детей без экзаменов «одиннадцать плюс», но открывают путь в университет. Это предложение встречено в штыки имущими классами, требующими сохранения гимназий.

[1] Социалистами именуют себя английские лейбористы.

[2] Клэпем — район Лондона, населенный в основном рабочими и низкооплачиваемыми служащими.

ДЭВИД ФРОСТ, ЭНТОНИ ДЖЕЙ
АНГЛИИ — С ЛЮБОВЬЮ

низшего класса, которые провалились на жизненных экзаменах — не выдержали «одиннадцать плюс», не попали в организацию «Молодые консерваторы», не нажили кучи денег, не поднялись до уровня директоров,— все же остается «рыба с жареной картошкой»[1]. Если они менее покорны и угнетены, чем их прадеды, то разве они не могут восстать и поднять такие широкие массы, чтобы высшему классу не удалось их ассимилировать?

Нет, этого не случится. Они англичане, а следовательно, им присуща основная черта сноба — постоянно чувствовать в душе, что ниже тебя есть еще хотя бы о д и н слой людей, еще одна группа, к которой ты можешь относиться свысока.

Такая низшая группа должна неизбежно состоять из отверженных и париев. В течение столетий снобизм низшего класса англичан сохранялся благодаря тому, что по всему миру, по всей доблестной империи были разбросаны сограждане, которые преклоняли перед ним колена, так как он был белый, а затем склоняли и голову, так как он был англичанином. Он стоял выше другого. И был доволен.

Империя рухнула. Мы наблюдали робкие симптомы революции, когда низший класс с тревогой заметил, что он и впрямь оказался на самом низу общественной пирамиды. Но тут начали прибывать сотни тысяч людей, на которых он мог глядеть свысока в своей собственной стране. Приезжие брались за самую грязную черную работу, селились в страшных трущобах. Они были даже иного цвета, так что никто не мог бы принять их за представителей н а ш е г о низшего класса. Теперь они подвергаются незаслуженным унижениям и оскорблениям, которые обычно предназначались для отбросов общества,— они, дескать грязны, ленивы, нечистоплотны, нахальны (то есть ведут себя так, будто нет никакого классового деления). Пройдет еще немного времени, и они будут окончательно осуждены. Если им удастся установить в своем доме ванну, их все равно обвинят, что они хранят в ней уголь.

Итак, империя оказывает последнюю и величайшую услугу метрополии из Тринидада и Барбадоса, из Индии и Африки она шлет своих сыновей спасать нашу классовую систему.

Родина демократии

Отовсюду, из разных стран стекаются люди, чтобы с благоговейным трепетом взглянуть из нее — мать парламентов, цитадель свободы, оплот совести, колыбель демократии. Именно здесь, как нигде в мире, на берегу прекрасной Темзы, может человек по-настоящему дышать воздухом свободы. Именно здесь—как поясняют приезжим,— в этом великом Парламенте, английский народ оберегает завоеванное им столетия назад право определять свою судьбу. Это могучий источник энергии; центр всех событий; образец конституций, признанных непригодными почти всеми независимыми странами Африки.

Почтительно и смиренно поднимается посетитель на галерею для публики. И что же он видит? Нескольких полуусnувших депутатов парламента, пытающихся внимать речи полубодрствующего оратора, который время от времени замолкает, чтобы люди в опереточных штанах, париках и с кружевными манжетами могли совершить непостижимый обряд, внося и вынося церемониальные жезлы и побрякушки. О том, что «мать парламентов» — престарелая, точнее, совсем одряхлевшая леди, посетитель начинает догадываться с наступлением сумерек. Он замечает, как в темноте один из развалившихся на скамье депутатов расправляет затекшие члены и поднимается на ноги.

— Господин спикер,— жалобно произносит он,— я предлагаю внести свечи!

Сразу вспыхивает электрический свет. И посетитель уходит счастливый, что выполнил долг, но разочарованный, что в этот день не обсуждались более важные проблемы. Позднее он узнает, что билль об обязательном посещении заседаний депутатами палаты общин был принят тремя голосами против двух. Он может на мгновение заподозрить, что один из депутатов, которых он видел в палате, проголосовал дважды, но тут же — к счастью для Англии — отбросит эту мысль и будет по-прежнему придерживаться ошибочных и неразумных представлений, с которыми он вступил под своды Вестминстерского дворца.

Всякому понятно, что организации, где обсуждаются и решаются действительно важные вопросы, не следует походить на дикую помесь школьных уроков красноречия с заседанием масонской ложи. Но именно такая атмосфера царит в английском парламенте. Это один из тех английских институтов — вроде выноса парадных знамен, смены дворцового караула, церемониального выезда лорда-мэра, гусиной ярмарки в Ноттингеме и т. д. и т. п.,— в которых форма сохранилась в церемониях, традициях и ритуалах, а содержание уже давно забыто: девять десятых всего, что происходит в Вестминстере,— это хорошо отрепетированное театральное представление. Как правило, депутаты произносят речи, зная, что они не окажут влияния ни на чьи убеждения или поступки, и думая только о том, чтобы из сообщений в местных газетах избиратели усвоили, что если их депутат и не всемогущ, то, по крайней мере, еще жив. Ткнув пальцем в страницы Гансарда[1], он может объяснить избирателям, как усердно он боролся против плана строительства электростанции на территории единственного в городе парка. Даже хваленый «час запросов» — это просто бок-

[1] «Фиш энд чипс» — куски горячей жареной рыбы и картошки, которые продаются в специальных небольших лавчонках, где их по традиции отпускают обязательно в листе старой газеты. Своеобразный символ «народности».

[1] Сборник протоколов парламентских заседаний.

серский бой с тенью, правила которого продуманы так, чтобы никто не пострадал. Это пантомима, во время которой депутат замахивается на министра бычьим пузырем на палке, а министр бьет депутата связкой сосисок. Выглядит это примерно так. Г-н Джеймс Дэмси (лейборист, Коутбридж и Эйрдри) делает запрос министру здравоохранения, собирается ли он, в интересах гигиены, принять меры для запрещения работы особ женского пола, носящих «топлесс»[1] на предприятиях питания, и не сделает ли он соответствующего заявления.

Г-н Сноу отвечает: в административных предписаниях о гигиенических правилах обращения с продуктами питания от 1960 года и без того содержится требование, чтобы лица, имеющие дело с продуктами питания, содержали в чистоте все те части тела, которые могут войти в соприкосновение с продуктами питания.

Парламент старается как можно эффективнее использовать час, отведенный для запросов, так как он является единственным — тоже весьма сомнительным — подтверждением его независимости. В остальное время депутаты становятся жертвами «лобби»[2]; партийная дисциплина не позволяет им отклонить или хотя бы дополнить законопроект, с которым они не согласны. Не удивительно, что наиболее талантливые депутаты начинают приходить в отчаянье от всей системы. В предвыборных речах они именуют себя стражами интересов народа. Но вскоре обнаруживают, что у них нет никаких возможностей (ни конторы, ни секретаря, ни помощников) всерьез контролировать деятельность исполнительной власти. Как от членов суверенной ассамблеи страны, от них требуется только одно — голосовать так, как им прикажут. Малейший признак неповиновения — и их отчитывают и отделывают под орех парламентские «хлысты»[3]. Серьезный намек на бунт — и им всыплет хорошенько сам премьер-министр, предупредив, что собаке разрешается укусить хозяина только один раз и не больше. Случись это второй раз — партия откажется от поддержки на выборах кандидатуры провинившегося.

Депутаты разминают мускулы в час, отведенный для запросов, но как только прозвучит звонок, зовущий на голосование, они должны забыть приятное ощущение силы, которое породили мускульные упражнения, сделать вид, что вытирают пот со лба, и смиренно плестись за своим лидером. Их никто не просит решать, глупо или разумно принимаемое решение, хорош или плох поставленный на голосование законопроект. Выбирать они могут только между своей и другой партией.

Партии изобрели столь хитроумную систему, что заднескамеечники не могут помешать принятию решения, если даже оно им не по душе, но предложено их собственным правительством. Если они сделают такую попытку, то предложение немедленно объявляется важным вопросом, требующим голосования доверия правительству. В этом случае заднескамеечникам приходится выбирать: или допустить, чтобы это конкретное предложение стало законом, или же согласиться на отставку правительства и объявление новых всеобщих выборов. А это значит расчистить путь к власти другой партии, а может быть, и самим потерять депутатские мандаты. Вот почему этого никогда не случалось — по крайней мере, в нынешнем веке.

И все же нельзя сказать, что парламент не служит никакой цели. Однако цель, которой служит парламент,— не интересы народа, а интересы его правителей. Для правительства парламент полезен как барьер между народом и Уайтхоллом[1]. Он служит местом, где люди могут выговориться, отвести душу; трибуной, с которой можно метать гром и молнии, хотя толку от них очень мало. Бурные парламентские дебаты оказывают такое же влияние на течение событий в национальной жизни, как шумно захлопнутая дверь на исход семейной ссоры.

Парламент, как известно, состоит из двух палат: лордов и общин; но о палате лордов, собственно говоря, сказать нечего. У нее только две функции: распределять места в первых рядах во время коронации и печатать бланки для писем со штампом палаты лордов, на которых пэры пишут сердитые письма в «Таймс» и льстивые письма кредиторам. Правда, при решении крупных государственных проблем палата лордов имеет важное конституционное право заявить: «Да» или «Да, но не раньше, чем через несколько недель».

Кажется удивительным, как удается подобному институту вербовать своих членов без помощи обязательной воинской повинности. Но, во-первых, у депутата хорошее жалованье — 3 тысячи фунтов в год, а повезет, то и больше, особенно если он сговорчив и податлив. Во-вторых, парламентарии не утруждают себя работой. Хотя парламент постоянно требует, чтобы страна трудилась упорнее—его заседания начинаются только после обеда, депутаты не работают в субботу и воскресенье и три раза в год разъезжаются на каникулы. Помимо всего, парламент обладает той приманкой, которая влечет англичан к членству в муниципалитетах и различных комитетах, к должности секретарей клубов,— возможность занимать высокое положение, не принося никакой пользы и не особенно утруждая себя. Надо признать, что далеко не все

---

[1] В 60-х годах в Англии появились рестораны, где официантки были обнажены до пояса. Такие «одеяния» называли «топлесс-дресс», то есть «платье без верха».

[2] Организованная форма давления на депутатов парламента с целью проведения определенного законопроекта или политического курса.

[3] Назначаемые партийной фракцией в парламенте люди, следящие за дисциплиной депутатов от данной партии.

[1] Лондонская улица, где сосредоточены все министерства и наиболее важные государственные учреждения.

депутаты возмущаются парламентским пустозвонством и церемониальной мишурой. Кое-кому это даже нравится, и они невозмутимо шагают по жизненному пути, вручают хромированные подсвечники победителям собачьих гонок и открывают местные торжественные церемонии, подменяя забывшую о приглашении кинозвездочку или перепутавшую дату артистку телевидения.

Можно сказать, что такова участь большинства депутатов парламента. Их всего 630 человек, но после выборов только около двадцати депутатов займут высшие министерские посты и еще человек сорок получат сравнительно важные должности. Но как же подобрать этих шестьдесят человек?

Требуется исключительное мастерство, чтобы управлять сложным, высокоиндустриализированным западным государством с населением в пятьдесят с лишним миллионов человек, центром беспокойного Содружества Наций, главного участника запутанной сети договоров и пактов, контролировать международную валюту и крупнейший мировой банковский центр, защищать от жестоких конкурентов нашу судоавиаавтомобилестроительную, электронную и машиностроительную промышленность, финансировать широчайшую систему здравоохранения, совершенствовать современную систему просвещения, которая позволила бы нам выдерживать соперничество с другими и в 70-х, и 80-х годах этого столетия. Требуется глубокое изучение искусства управления государством, упорный труд и долголетний опыт решения самых различных жизненных проблем.

Деятели, занимающие самые высокие посты, должны обладать государственной мудростью и знаниями; им должен быть гарантирован длительный срок пребывания у власти, что абсолютно необходимо для осуществления долговременных планов, для принятия важных решений и проведения переговоров, то есть всего того, что входит в обязанность любого руководителя крупнейшего предприятия.

Взгляните на бизнесменов, возглавляющих концерны «Империэл кэмикл индастрис», «Юниливер», «Стандард ойл» или «Дженерал моторс». Они прошли большую школу, привыкли решать сложнейшие проблемы, с успехом продвигались по служебной лестнице, пока, наконец, им не предложили занять кресла в зале заседаний директоров фирм. А теперь взгляните на тех, кто берется управлять значительно более крупным концерном — Соединенным Королевством.

Прежде всего выбор ограничен группой депутатов парламента от партии, пришедшей к власти. Это примерно четыреста человек, среди которых попадаются очень юные и совсем старые, столичные снобы и дремучие провинциалы и, наконец, просто ограниченные люди. Сам подбор этих четырехсот депутатов — печальный фарс. Им занимаются партийные комитеты избирательных округов. Как сказал в сердцах один из министров: «Это наглые женщины в причудливых шляпках — у консерваторов, и ворчливые мужчины в потрепанных макинтошах — у социалистов». Никто не знает, чем руководствуются комитеты при подборе кандидатов на выборах, но, честное слово, только по счастливой случайности они могут выбрать человека, способного участвовать в управлении государством! Мы же не поручаем Союзу матерей или Британскому легиону подбирать директоров фирмы «Куртолдс»[1]! Но, к сожалению, именно так мы подбираем высших руководителей страны, ибо только за кандидатов, отобранных этими абсурдными комитетами, дозволено голосовать избирателю.

Бедняга кандидат достоин жалости. Назначение его кандидатом на выборах — фарс, его подготовка к государственной деятельности — комедия. Он побеждает на выборах; его партия приходит к власти. Если он попал в число шестидесяти привилегированных лиц, его сразу же возносят до ранга министра. В противном случае он становится заднескамеечником, и тогда его не допустят на пушечный выстрел к государственным делам. Он никого и ничего не контролирует, он не организатор, он не может отдавать приказы. Ему не разрешено учиться у других или хотя бы наблюдать, как они управляют государством, так как этот процесс проходит не в палате общин, а в министерствах на Уайтхолле. А там он совсем никому не нужен, даже на роли подмастерья или ученика. Он может только надеяться, что его назначат членом одной из многочисленных межпартийных делегаций, отправляющихся в веселое бесплатное турне за границу для «изучения методов управления государством» в какой-нибудь молодой независимой стране. Он не может отвязаться от мысли, что в любой момент — во всяком случае, не позднее чем через пять лет[2] — его могут вообще вышвырнуть из парламента, и тогда опять придется работать. Поэтому благоразумие подсказывает: старайся быть на виду у новых хозяев, заручайся их поддержкой, подражай им, но не теряй расположения и старых хозяев. Более предусмотрительный депутат не бросает прежнюю работу. По крайней мере, будучи депутатом парламента, он может заниматься и каким-то продуктивным трудом.

Предположим, что наконец наступил день, когда депутат, совершенно неподготовленный к государственной деятельности, «завоевал» успех и ему вручили министерский портфель. Например, его назначили министром здравоохранения. Это, действительно, важный административный пост. Министр несет ответственность за сотни больниц, тысячи поликлиник, десятки тысяч врачей и сестер, огромную фармацевтическую промышленность и жизненно важные научные исследования. Одним словом, ответственность за здоровье целого народа. С по-

[1] Одна из крупнейших промышленных монополий по производству искусственного волокна.

[2] Английский парламент избирается на пять лет, если только до этого срока правительство не падет или не назначит новые выборы, чтобы укрепить свое положение.

мощью прессы, которая любит приписывать достижения отдельным личностям, новый министр в первую же неделю обнаружит, что именно он — единственный зачинатель и инициатор всех широчайших планов, выполнение которых началось еще три года назад: «Законопроект Смита о больницах», «Программа Смита на будущее» и тому подобное. Через две недели Смит выяснит, что он несет ответственность за ошибки, совершенные другими много лет назад. Еще через месяц он и сам поверит во все это.

Допустим, что он все же не поддался на лесть, понял, что о системе здравоохранения он имеет такое же представление, как и первый встречный на улице, и решил изучить ее. Самому талантливому администратору, если бы его ничем не отвлекали, понадобилось бы не меньше года, чтобы разобраться, как работает министерство, обнаружить недостатки и планировать его будущее. Даже в наиболее благоприятных условиях это было бы исключительно сложной задачей. Но наш министр работает в самых неблагоприятных условиях.

Он обязан ухаживать за своими избирателями, присутствовать на партийных собраниях, выступать по телевидению, беседовать с журналистами, ездить на доклад в Букингемский дворец, появляться на парадных обедах, принимать депутации врачей, сестер, пациентов, рентгенологов, аптекарей, владельцев фармацевтических заводов, фабрикантов медицинского оборудования, участников кампании борьбы против абортов и фанатиков фторирования воды. Он обязан торжественно открывать больницы, научно-исследовательские лаборатории, рентгеновские кабинеты, курсы медицинских сестер и поля орошения. Он обязан присутствовать на заседаниях правительственных комитетов, комитетов кабинета министров во время дебатов и запросов в парламенте. Если же, по счастливой случайности, у него окажется свободная минута, чтобы заняться делами министерства, раздается громкий звук парламентского звонка[1], и он стремглав мчится в Вестминстерский дворец, чтобы принять участие в голосовании, скажем, по такой важнейшей «медицинской» проблеме, как национализация сталелитейной промышленности, и тем самым спасти свое правительство от неминуемого падения.

Вся система построена так, чтобы затруднить участие министра в управлении государством. Более того, его участие просто невозможно, потому что в министерстве существует так называемый постоянный секретарь[2]. Он с почтительным вниманием выслушает планы и теории нового министра, а затем докажет на фактах и цифрах, что все предложения, которые не одобряют постоянный секретарь и его подчиненные, невозможно осуществить на практике. Да, скажет он, мы предлагали подряды на производство лекарств разным фирмам, чтобы выяснить, которая из них готова заплатить больше, но все они предложили одну и ту же сумму. Да, подобный план мы разработали еще четыре года назад, но профсоюз работников больниц не дал согласия на проведение его в жизнь. Да, мы хотели бы слить амбулатории с больницами, но местные муниципалитеты против, а у министерства нет права заставить их это сделать. Да, врачам следовало бы платить больше, но министерство финансов не дает денег. Да, мы изучали в 1960 году возможность модернизации психиатрических лечебниц, но по смете потребовалось 260 миллионов фунтов — конечно, в ценах 1960 года. Что? Вы хотите отменить плату за лекарства, отпускаемые по рецептам? Ну что же, тогда навсегда придется отказаться от всех остальных планов и программ. Только за счет этих средств удалось поднять зарплату врачей и сестер, а также отремонтировать больницы, построенные до 1900 года... Загнанный в тупик, новый министр убеждается, что постоянному секретарю известно буквально все: факты и цифры, все камни преткновения, прецеденты, ошибки прошлых лет, возможности. Ему известны все нужные люди, все обходные маневры. Только он знает, что следует делать, что невозможно и о чем не стоит даже мечтать. А если министр — по глупости — решит действовать через голову постоянного секретаря и обратится прямо к нижестоящим чиновникам, он увидит, что они отнюдь не заинтересованы в завоевании его расположения, так как министру не дано права найма или увольнения служащих. Через год или два он уйдет со своего поста. Постоянный секретарь останется на месте. Нетрудно догадаться, что может больше повредить карьере чиновника — недовольство министра или гнев постоянного секретаря. Одним словом, министр обнаруживает, что, хотя он и занимает высокий пост, власти у него никогда не будет.

И ему остается махнуть рукой на министерство и постараться проявить свои таланты в парламенте. Если это удастся, то даже в самом худшем случае, когда у него отберут министерский портфель, он может рассчитывать на пожизненный титул пэра или другую синекуру. В парламенте цель должна быть одна: беззастенчиво делать вид, что он прекрасно разбирается в проблемах, за решение которых формально несет ответственность. Ему следует научиться говорить вычурным и двусмысленным языком и не стесняться прибегать к обману. На помощь приходит специфический парламентский жаргон, придуманный именно для тех труд-

[1] Парламентский звонок проведен во все дома и места работы депутатов, чтобы они могли немедленно явиться в палату общин, когда предполагается голосование по важным проблемам от которого зависит судьба правительства

[2] Постоянный секретарь — самая высшая административная должность. Фактически он является заместителем министра. Постоянный секретарь, как и все государственные чиновники, не может быть членом какой-либо партии, и на его положение не влияют смены правительств и министров.

ных случаев, когда надо говорить одно, а подразумевать совсем другое, а может, и вообще ничего не подразумевать. Это делается так: «Мой почтенный и высоко эрудированный друг с противоположной скамьи» означает на самом деле «Мой погрязший в пороках и невежественный враг»; «Не будем тратить время на бесполезные споры» значит «Вы правы»; «Я не отрицаю, что в определенных условиях, при благоприятных обстоятельствах это, хотя и маловероятно, но не совсем исключено» — «Черт возьми, вы совершенно правы!»; «Может быть, почтенный депутат не совсем понял меня» — «Я врал»; «Очевидно, я ослышался, когда говорил почтенный депутат» — «Он врал»; «Если требуют интересы нашей великой нации» — «Меня, наверное, уволят»; «Интересы моих избирателей» — «Меня уже уволили»; «Наша великая партия» — «Мне предложили пожизненный титул пэра». Вполне возможно, что Соединенное Королевство вообще не нуждается в правительстве. Достаточно приглядеться повнимательнее, и станет понятным, кто в действительности управляет страной.

Страной управляют старшие государственные чиновники. Они действительно прошли процесс строжайшего отбора, испытательный срок, период ученичества, имеют большой опыт в различных сферах административной деятельности, с каждым продвижением вверх на их плечи ложится все больше ответственности и власти. Изо дня в день они практически участвуют в процессе управления государством. Какое правительство ни пришло бы к власти, какого политикана ни дали бы им в качестве министра, они остаются на своем месте. Так, например, независимо от пребывания у власти того или иного правительства они следят, чтобы государственная финансовая политика оставалась единым, непрерывным процессом. Они прикидываются просто высокооплачиваемыми клерками и администраторами, смиренно и анонимно выполняющими приказы, проводящими в жизнь планы других людей. Они анонимны, это правда. Они не обязаны отчитываться перед народом, перед правительственными комитетами. Возможно, что они и впрямь смиренны. Но, так или иначе, они и есть наше правительство. Ибо сама система построена так, что это они принимают решения по долгосрочным проблемам и определяют политику на будущее, даже если под документами стоит подпись политического деятеля, а его довольная улыбка появляется на телевизионном экране.

Возникает вопрос: если чиновники управляют государством, то чем же занимаются политические деятели? Об этом, пожалуй, лучше всего говорят их привычки. Есть ли стране польза от их привычки постоянно пребывать на виду у публики, читать все виды газет и журналов, привычки приглашать к себе избирателей, прося без утайки рассказывать о своих бедах и жалобах, привычки следить за малейшими изменениями в настроениях общественного мнения, анализировать их и подыскивать «политический курс», который учитывал бы эти изменения? Нужно откровенно сказать, что это не искусство управления государством, а искусство рекламы и обработки общественного мнения. Вот чем занимаются наши политические деятели: они служат рекламными агентами нашего подлинного, тайного правительства — чиновничества.

Пока все не полетело в тартарары, нам следует восстановить монархию, какой она была при королеве Елизавете I[1]. Тогда сэр Уолтер Хит и сэр Фрэнсис Вильсон смогут продолжать свои рекламные трюки, только отныне с плащами, табакерками и низкими поклонами, а правительство Ее Величества будет — впервые за последние три с половиной столетия — твердой рукой успешно править страной. Боже, храни королеву!

Избирательная карусель

Нам предстоит разобраться еще в одном противоречивом явлении в жизни Англии. Речь идет о церемонии, именуемой всеобщими выборами. Мы уже знаем, что выборы не имеют никакого отношения к системе управления государством, так как чиновников не выбирают — их подбирают. Ничего общего не имеют выборы и с политикой. В противоположность тому, что воображают политические деятели и иностранцы, англичане не бормочут себе под нос, прогуливаясь по главной улице после выборов: «Ого-го-го! Я уже живу в новом обществе Гарольда Вильсона!» Переговариваясь с соседом через садовую изгородь, они не говорят ему: «Дела-то нынче пошли не так, как в былые дни при Алеке Дугласе-Хьюме, не правда ли?» Отмечаясь по приходе на работу, они не выкрикивают: «С сегодняшнего утра я иду за лейбористами!»

Жизнь меняется — даже в Англии,— но меняется постепенно и совершенно не считаясь с политическими деятелями. Появление в продаже свежезамороженных овощей и бройлеров оказало больше влияния на нашу жизнь, чем деятельность всех кабинетов министров послевоенного периода, вместе взятых. Многие чаще всего вспоминают знаменитые «100 дней Гарольда Вильсона[2]» потому, что в это время появились шипящие ручки с фетровыми стерженьками. Это, действительно, был серьезный сдвиг вперед. А победа Англии в мировом футбольном чемпионате произвела на всех нас гораздо большее впечатление, чем победа лейбористов на всеобщих выборах.

Неразберихе в наших впечатлениях от выборов в значительной степени способст-

[1] Правила с 1558 по 1603 год. Далее автор иронически сравнивает Эдварда Хита с Уолтером Ралеем, а Гарольда Вильсона с Фрэнсисом Дрейком. Ралей — государственный деятель, Дрейк — мореплаватель и пират, оба — приближенные Елизаветы I.

[2] Примерно через 100 дней после выборов 1964 года, приведших к власти лейбористов, газеты подводили первые итоги деятельности правительства Г. Вильсона, наименовав их по аналогии с эпохой Наполеона — «100 дней Вильсона».

вуют отчеты о них политических журналистов и комментарии ученых-социологов. Они обязаны убеждать народ, что государственная политика в области обороны, финансов или просвещения сразу изменится, как только будет избрана одна группа политических деятелей, а не другая. Достаточно поразмыслить в течение двух минут о реальных фактах нашей повседневной жизни и убедишься, что этой басне верят только сами политические деятели и журналисты. Действительно, пятьдесят миллионов человек не согласятся без всякой причины переносить судорожное и нервное напряжение всеобщих выборов. Англичане не сумасшедшие. Они не станут тратить время и энергию на какую-нибудь чепуху. Ключом к их представлению о выборах в какой-то мере может служить следующая заметка в газете «Санди миррор»:

«Ночной клуб «Пигаль» тоже займется политикой в ночь подсчета голосов на всеобщих выборах. На сцене появятся хористки, единственным одеянием которых будут синие, красные и оранжевые розетки[1]. Каждый раз, как радио сообщит о потере парламентского мандата консерватором, лейбористом или либералом, будет сброшена розетка соответствующего цвета».

Итак, что это вам напоминает? В частности, специально подобранные девушки. Прекрасные, но недостижимые. Целомудренные и чистые; по мере того как ночь вступает в свои права, они разжигают нарастающие страсти, освобождая себя от символических кусков шелка, защищающих их девственное тело от поклоняющейся толпы. А затем кульминационный момент: снята и отброшена последняя розетка! Девственное тело подвергается надруганию и насилию (конечно, только символически, ибо англичане не предаются разнузданным оргиям), и толпа, измученная и в то же время освеженная, идет заниматься своими делами. Каждому кажется, что он стал как-то чище и лучше.

Это напоминает примитивный религиозный праздник. Только потому, что английские выборы и е с т ь примитивный религиозный праздник.

Предвыборному периоду, когда с телевизионных экранов исчезают самые интересные программы и взамен предлагаются чудовищно скучные предвыборные передачи, можно найти аналогию в большинстве религий. Это первобытный обряд самоотречения и очищения, когда люди превращаются в аскетов и стараются загладить грехи, которым они предавались в течение года. Христиане называют его великим постом, евреи — пасхой, мусульмане — рамаданом. В конце поста религия предусматривает обильный пир. У христиан — пасха, у евреев — последний пасхальный день, у мусульман — аль-фитр и т. п. У англичан — это ночь всеобщих выборов, когда заканчиваются отвратительные ханжеские передачи и люди до глубокой ночи едят, пьют и наслаждаются падением тех, кого совсем недавно они сами избрали могучими правителями.

Этнографы могут подтвердить, что у последователей многих религий есть своего рода шуточный король, герой-шут, которого племя во время специального обряда торжественно чествует, венчает, а затем уничтожает. Фесте из «Двенадцатой ночи», представляющий собой средневекового английского «Главу пира дураков», вероятно, потомок этих древних шутов. Маколей описывал «жреца древнего Рима, который умерщвлял палача, а затем сам подвергался казни». Обычно это был раб, живший в священной роще; он становился жрецом-королем, убивал своего предшественника, а затем самого жреца умерщвлял его преемник. Обряд искупления грехов был широко распространен в древнем мире.

Ученые пандиты и социологи обеспокоены тем, что Англия вроде бы идет по пути к «президентскому правлению». Они утверждают, что нам следует больше думать о политике и партиях, а не поднимать на щит отдельные личности. И все же в нашем представлении выборы — это Вильсон против Хита. Это объяснимо: нам нужен шуточный король, приношение в жертву человека, а не абстрактных идей или анонимных групп. Шуточный король должен служить козлом отпущения. На него племя сваливает все свои грехи. Во время выборов мы решаем, кто будет нашим шуточным королем, нашим ритуальным козлом отпущения на ближайшие пять лет. Тогда англичане могут утверждать, что совершенные ими ошибки на самом деле были ошибками ритуального шуточного короля. На него легко свалить ответственность за все неполадки, вызванные плохой работой директоров заводов, трусливых чиновников, глупых генералов и обюрократившихся местных муниципалитетов.

Во время предвыборной кампании потенциальные козлы отпущения отдают себя на растерзание народу, который подвергает их более или менее мучительным испытаниям и определяет, чего они стоят. С течением времени выработались особые методы испытаний. Прежде всего метод издевательства, когда здоровые молодые джентльмены тычут и колют кандидата в шуточные короли, а тот извивается от боли. Он должен проявить выносливость и стойкость, иначе боги сочтут его недостойным приношения в жертву. Мы, англичане, именуем этот метод издевательства «беспристрастным телевизионным интервью». Каждый претендент должен перед лицом всего населения (или тех жителей Англии, которых интересует эта часть ритуала) отвечать на самые наглые и ядовитые вопросы, терпеть грубейшие насмешки. Причем шуточный король должен делать вид, что он воспринимает вопросы совершенно серьезно. Это отнюдь не значит, что он обязан всерьез от-

[1] Символические цвета политических партий: синий — консерваторов, красный — лейбористов, оранжевый — либералов.

ДЭВИД ФРОСТ, ЭНТОНИ ДЖЕЙ
АНГЛИИ — С ЛЮБОВЬЮ

вечать на них, но теряться ему нельзя, тем более что он всегда может воспользоваться одной из семи магических формул, разработанных в процессе совершенствования предвыборного обряда.

Как ответить на самый, самый острый вопрос, который действительно затрагивает суть проблемы? Претендент должен уметь уничтожить сам вопрос: «Этот вопрос вызван смешением понятий. В действительности мы имеем здесь две различные проблемы. Первая из них...» Тут он сам придумывает вопрос, на который ему хотелось бы ответить. Можно воспользоваться и другим, не столь прямым вариантом: «Это очень интересный вопрос, и я благодарен, что вы задали его мне. Разрешите мне ответить, задав вам вопрос»... Шуточный король обязан доказать, что его не собьешь никакими острыми вопросами, а затем перейти к проблеме, которой он не опасается.

Он должен уметь уничтожить того, кто задает вопрос: «Скажите, молодой человек, приходилось ли вам вести переговоры от имени двух миллионов человек? Нет, не приходилось. Так вот, разрешите сказать вам...» Такая способность раздуваться до нелепых размеров совершенно обязательна при исполнении этого обряда.

Он должен уметь разрядить вопрос. Когда вопрос содержит в себе предположение или утверждение, необходимо отвлечься от самого вопроса и поставить под сомнение утверждение. Если мучитель говорит: «Многие утверждают, что вы совершили ошибку при...» — то правильно ответить так: «Кто утверждает это? Кто эти люди? Назовите мне хотя бы десять имен!» Мучитель в этом случае старается сразу перейти к другой теме.

Он должен доказать, что его нелегко сбить с толку: «Знаете ли, я пришел к выводу, что не могу согласиться с вашим предложением о том, как мне следовало бы ответить на этот вопрос, то есть с предложением, которое вы сделали, когда мы говорили на эту тему несколько ранее. В действительности же вопрос заключается...» Таким образом, на какой-то миг он ставит инквизитора на свое место претендента на пост шуточного короля, а затем одним ударом сбивает его с ног.

Он должен уметь затягивать время: «Это очень интересный вопрос, и в ответ мне хотелось бы затронуть девять важных пунктов». Ясно, что на девять пунктов времени не хватит, и мучителю приходится бросить реплику: «Может быть, вы ограничитесь тремя наиболее важными пунктами?»—и тогда уже шуточный король заявляет совершенно серьезно: «Нет, это слишком важный вопрос, чтобы отделаться поверхностными замечаниями. Если мне нельзя дать исчерпывающий ответ, я предпочитаю не отвечать вообще...»

Он должен уметь намекнуть на необходимость секретности: «На этот вопрос можно было бы дать исчерпывающий ответ, но он затрагивает те самые проблемы, которые в настоящий момент обсуждаются весьма конфиденциально. Боюсь, что я еще недели две не смогу говорить на эту тему».

Наконец, он должен уметь искать спасения в длительном бессмысленном разговоре: «Видите ли, когда много лет назад — трудно даже вспомнить, сколько лет прошло с тех пор,— я впервые начал общественную деятельность, жена сказала мне — то есть она еще не была моей женой. Нет, нет, это было очень, очень давно. Мы оба с ней были избраны тогда членами муниципалитета городского округа Уорплесден. Тогда, как ни странно, возник примерно такой же вопрос, что вы задали мне сейчас. Конечно, не в таком широком масштабе. Но принцип был тот же. Как вы знаете, принципы не меняются, и я с удовлетворением констатирую, что мои принципы никогда не менялись. Точно так же и у моей жены. Во всяком случае...» Если он настоящий шуточный король, то подобная способность затягивать время поможет ему как-нибудь связать конец своей бессвязной речи с заданным вопросом.

За издевательством следует спектакль. Шуточному королю полагается провести крайне серьезное и официальное сольное представление перед телевизионными зрителями и убедить их, что он выглядит и ведет себя как настоящий король. Он обязан пользоваться определенными ритуальными фразами, вроде «Англия ожидает... Впереди трудные времена... Дух Дюнкерка... Вперед, в Европу», демонстрировать магические знаки, именуемые диаграммами, и всерьез делать вид, что он способен за пять минут разъяснить сложнейшие финансовые и экономические проблемы. Все время, пока он ораторствует, люди у себя дома до упаду хохочут над ним, делают грубые жесты и скабрезные замечания. Он хорошо знает, что это происходит в миллионах домов, но сохраняет полную невозмутимость. Таков электронный вариант старинной дыбы и позорного столба. В наши дни каждому кандидату в шуточные короли подсовывают одни и те же факты, одни и те же заранее заготовленные кадры из телевизионных фильмов. Он должен умело воспользоваться ими, чтобы разбудить совесть согрешившего племени и убедить его, что именно он будет самой лучшей искупительной жертвой. Кадры из фильмов показывают играющих детишек, медицинских сестер в больницах, дымящиеся трубы заводов, дома без теплых уборных.

Правящему шуточному королю надлежит говорить: «Наши дети никогда не были такими крепкими... Наш народ никогда не был таким здоровым... Мы никогда не были богаче, чем сейчас... У нас никогда не было так мало трущоб...»

А тот, кто хочет свалить короля, должен говорить: «Нашим детям остается только играть на улицах, так как не хватает школьных зданий... Медицинские сестры

начнут бастовать, если мы не повысим им зарплату, и тогда, в случае болезни, некому будет ухаживать за нами... Этот дым загрязняет атмосферу и несет с собой рак легких... Я дам каждой семье в ее собственность хороший уютный дом...»

Наслушавшись речей, англичане начинают оценивать свое собственное поведение. Если им кажется, что при правящем шуточном короле они вели себя хорошо, то они снова избирают его. Если, по их убеждению, они много грешили, то выбирают одного из его соперников. Если идет дождь, то им вообще наплевать на всех кандидатов в шуточные короли: подумать только, не могли договориться и назначить выборы на погожий день — значит, все они просто клоуны. Затем англичане с нетерпением ждут предстоящего праздника, когда объявят результаты голосования и когда избранный шуточный король, со свитой из скоморохов и фигляров, начнет шутя рассказывать о том, как он будет пользоваться дарованной ему «властью». Победившего шуточного короля везут в Букингемский дворец, где он целует руку настоящего монарха.

Это сигнал к окончанию празднества, и немедленно прекращаются насмешки и шутки. Отныне к шуточному королю относятся так, будто он и впрямь король. Ему разрешается назначить придворными шутами самых преданных друзей. Каждый из них служит особому богу — богу денег, войны или чумы,— у каждого есть свой храм, своя ритуальная колесница (черные «хамберы», чуть-чуть напоминающие «дэмлеры» и «кадиллаки», которыми пользуются настоящие монархи, но, упаси бог, не очень похожие на них). Им предоставляют большие пустые комнаты для кабинетов, а настоящие правители, то есть чиновники, делают вид, что советуются с ними по важнейшим государственным делам и что приказы будто и впрямь исходят от шуточного короля и его придворных.

Если придворный шут окажется неспособным умиротворить бога, которому он обязан служить, его приносят в жертву и назначают другого. Если разгневаются сразу все боги, то в ярость приходит и сам Великий бог, и тогда устраивается торжественное ритуальное приношение в жертву всех придворных шутов и самого шуточного короля, причем этот обряд называется «падением правительства».

Имя Великого бога—Демократия. Поклонение ему — это официальная государственная религия. Наши подлинные правители не верят в него, но подогревают нашу веру, даря нам магический — как они утверждают — амулет, именуемый «правом голосования на выборах».

Нужны огромные средства на содержание Великого бога, подлинных правителей и двора шуточного короля. Поэтому наши правители изобрели особые, шуточные деньги, которыми оплачивают эти расходы. Они называются «общественными деньгами» и не имеют никакого отношения к деньгам, принадлежащим отдельным членам общества.

Деньги, принадлежащие обычному человеку, бывают двух видов: карманные деньги и деньги в чеках. Карманные деньги — это нечто реальное. Их приятно держать в руках. Они хороши на ощупь. Они тяжелые или хрустящие. Они звенят или шуршат. Получать их — одно удовольствие. Расставаться с ними — подлинное горе. Вы получаете их после недели тяжелого труда; ради них вы соглашаетесь подчиняться другим людям и дисциплине. Деньги исчезают за прилавком магазинов и в кассах. Не успеешь получить деньги, как их уже нет. Их можно хранить в чулке или под подушкой, вообще, где вам заблагорассудится. Но самое приятное, это знать, что они ваши.

Деньги в чеках менее реальны, чем карманные деньги. Расплата чеком не так болезненна, как наличными деньгами. Как ни странно, всегда чувствуешь себя увереннее с пятидесятифунтовой пачкой в кармане, чем с двухсотфунтовым счетом в банке. Нереальность чека особенно ясно ощутима, когда в магазине покупаешь вещь стоимостью в десять фунтов, а затем выписываешь чек. Если хозяин магазина не знает тебя, он попросит написать на обороте чека твой адрес. Он руководствуется странной теорией, что ты можешь подделать свою фамилию, но никак не адрес. Можно спокойно написать на чеке: «Герцог Норфолькский», но на обороте обязательно надо написать «Рэйлуэй каттингс, № 3»[1].

Однако когда мы вступаем в сферу денег, которыми ведают наши правители, то есть «общественных денег», мы видим, что они не имеют ничего общего с деньгами самого народа. «Общественные деньги» не имеют отношения к реальному миру труда, забот или вышивки в пабе. Министерство финансов говорит о годовом доходе в тысячи миллионов фунтов, но на Уайтхолле ничего не производят и ничего не продают. «Общественные деньги» — это не вознаграждение за труд; они кружатся в воздухе словно снежинки. Государственные чиновники (они, как и все, живут на карманные деньги или деньги в чеках) подсчитывают и собирают «общественные деньги» так, будто они играют в монополи[2] — игру, в которой только им дозволено орудовать кучей бумажек, изображающих фунты стерлингов, потому что никто больше не знает правил этой игры.

«Общественные деньги» неистощимы. Если у Уайтхолла их не хватает, он про-

[1] Нечто вроде: «Привокзальный тупик, дом 3».

[2] Популярная настольная игра, участники которой получают определенные суммы «денег», скупают и перепродают «дома» и «земельные участки», спекулируют ими. Основная цель в игре — отнять все «деньги» у противников.

ДЭВИД ФРОСТ, ЭНТОНИ ДЖЕЙ
АНГЛИИ — С ЛЮБОВЬЮ

сто требует еще. Многие планы Уайтхолла, если бы он имел дело с наличными деньгами или чеками, довели бы его до банкротства. Но с «общественными деньгами» немыслимо банкротство — только просчет или недооценка. За просчет с карманными деньгами или чеками расплачиваются нищетой или даже тюремным заключением; наказание за просчет с «общественными деньгами» сводится к переводу виновника в другой департамент, где он балуется с меньшей суммой «общественных денег». Самое тяжелое наказание сводится к тому, что в этом году он не попадет в новогодний список награжденных или вместо ордена Британской Империи 2-й степени ему дадут орден Британской Империи 4-й степени.

Вся прелесть расходования «общественных денег» заключается в том, что никто, кроме чиновников, не представляет себе конкретно размеров сумм, с которыми приходится иметь дело. Обычному человеку цифра в 100 000 000 фунтов стерлингов кажется чем-то абстрактным. Однако комитет из государственных чиновников может разделить ее на несколько частей, удвоить ее, признать недостаточной, потребовать эту сумму от Банка Англии или, наконец, израсходовать ее на то, чтобы ставить на каждое яйцо штамп с изображением маленьких львов и утверждать, что этим утром они хорошо поработали [1]. Затем они займутся чем-нибудь более важным, вроде дела Полины Гау, которое было связано с проблемой «общественных денег» и несколько лет назад поставило в тупик министерство просвещения. Полина жила в пяти с половиной милях от школы. Вполне естественно, что там же и в том же доме жила Шейла Гау — сестра Полины. Согласно правилам расходования «общественных денег», если в данном месте не проходит автобус и ребенку всего семь лет, школа может оплачивать такси, которое доставляло бы утром Шейлу на занятия, а после уроков домой. Но согласно тем же правилам, не разрешается добавить к этому расходу несколько пенсов, чтобы Полина могла ездить вместе с сестрой. Сестра должна ходить пешком. Потому что ей уже восемь лет. Речь шла о расходовании пары медяков. Вопрос обсуждался и дебатировался долгие месяцы.

В данном случае размеры расходов всем понятны, но что такое расход в 2 000 000 000 фунтов на оборону? Как же, черт подери, выглядит эта сумма? Дело в том, что никто не хватится этих «общественных денег»; никто не заметит, что они исчезли из его бумажника. Вот поэтому никому до них нет никакого дела.

И все же кто-то получает выгоду от операций с этими колоссальными суммами «общественных денег». Мы не хотим сказать, что государственные чиновники набивают себе карманы, так как в личном плане они безупречно честны. И конечно, управление государством нельзя назвать прибыльным бизнесом, как то было при старомодном капитализме. Однако мы перешли из эры старомодного капитализма в новую эпоху менеджеризма, и хотя на государственной службе нет капиталистов, там существует целая армия менеджеров.

Лучшее удовольствие для менеджера — прибрать к рукам самую интересную работу и все, что поднимает престиж его департамента, а другим департаментам отдать что похуже. Он мечтает о более высоком чине, о втором личном секретаре, об изысканных обедах со льстивыми магнатами, которым нужны «общественные деньги» на расширение бизнеса, о новых отрядах почтительных подчиненных. Поэтому государственный административный аппарат требует создания все новых отделов, новых департаментов и даже новых министерств, зная, что на эту приманку клюнет и парламент, и политические деятели.

На Уайтхолле никогда не говорят: «Сколько денег нам нужно и где мы их достанем?» Там говорят: «Сколько денег мы можем достать и что мы с ними будем делать?» Уайтхолл, следуя примеру других, неуклонно разрастается. Если взглянуть на штаты, расходы и ведомости зарплаты государственного аппарата, то станет ясно, что это одна из наиболее быстро растущих отраслей нашего хозяйства.

Англичане постоянно обвиняют правительство в расточительстве и мотовстве. Но достаточно заглянуть в любое государственное учреждение, чтобы убедиться, что наша администрация не купается в роскоши. Самая дешевая и неудобная мебель, отвратительные столовые и буфеты, навевающие тоску унылые комнаты для ожидающих посетителей. Вдове, живущей на государственное пособие, не дадут дополнительно и шиллинга, чтобы она выпила лишнюю чашку кофе и съела лишнюю булочку; инвалиду-пенсионеру не поставят удобного кресла в приемной государственной больницы. Казалось бы, не упрекнешь правительство в мотовстве. Но одновременно с этим создаются никому не нужные учреждения, назначаются главы департаментов, которым едва по силам заведовать отделами, заведующие отделами, которые способны быть лишь столоначальниками; три департамента выполняют работу, с которой справился бы один департамент; разрабатываются проекты, которые диктуются не потребностями государства, а прихотью министра. Это именуется «прогрессом».

Одно из министерств поручило высокопоставленному чиновнику разработать предложения по сокращению штатов и ненужных отделов. Он с готовностью согласился выполнить задание, но добавил: «Для начала мне понадобится еще один кабинет, три помощника и четырнадцать секретарей».

[1] Намек на хорошо известную телевизионную рекламу государственной организации, торгующей яйцами. На яйцах действительно ставится подобный штамп, а актер, ведущий рекламу, говорит: «Отправляясь утром на работу, обязательно съешьте одно яичко!»

Преступления и наказания

Для того чтобы узнать англичан, нужно обязательно понять характер их юридической системы и характер самой преступности в стране. И то и другое, конечно, тесно связано между собой, но несколько иначе, чем в других странах. После 1964 года при разговорах о преступности в Англии неизбежно вспоминают «великое ограбление почтового поезда», когда были похищены два с половиной миллиона фунтов стерлингов. Хорошо известно, что если уж англичане возьмутся всерьез за что-нибудь — в том числе за борьбу с бандитизмом,— они всегда добьются сногсшибательных результатов. Так что преступление 1964 года, пожалуй, не настолько типично, чтобы делать выводы об их отношении к закону и законности. Лучше взять в качестве примера широко распространенное преступление, которое повсюду осуждается, о котором имеет четкое представление любой человек. Мы имеем в виду пьянство и нарушение общественного порядка.

Вот мелкий случай пьянства, о котором писала газета «Уокинг геральд». Мировому судье доложили, что самое убедительное доказательство вины подсудимого заключается в том, что во время врачебного освидетельствования на предмет установления опьянения его попросили стиснуть зубы, «в ответ на что обвиняемый вынул зубы, подал их полицейскому врачу и сказал: «Нате, попробуйте сами стиснуть!»

Наверное, большинство скажет, что человек, осмелившийся сделать столь безобразное, провокационное замечание полицейскому врачу, да еще в полицейском участке, либо был безнадежно пьян, или же он опасный революционер. В любой другой стране слова «Нате, попробуйте сами стиснуть!» были бы достаточным поводом для осуждения виновного. Остается вынести приговор и закрыть дело.

Но только не в Англии! Возможно, что это было остроумное замечание. Оно было несомненно дерзким. Но достаточно ли этого для доказательства опьянения? Ни в коем случае. Англичанину дозволены подобные вольности. Тем не менее суд признал этого человека виновным. Но только потому, что английские судьи не могут даже представить себе, чтобы трезвый англичанин совершил подобный поступок. Это была безобразная, вызывающая выходка, а значит, он был абсолютно пьян. Вытащив при всех вставную челюсть, он как бы демонстративно показал, что принадлежит к низшему классу.

Постараемся разъяснить эту мысль. Сама принадлежность к низшему классу не является нарушением закона. Но английский закон исходит из предположения, что преступления совершают люди из низшего класса, и если у суда достаточно доказательств принадлежности обвиняемого к низшему классу, можно считать, что обвинение почти выиграло дело. В упомянутом выше случае прокурор холодно заметил, что обвиняемый своими собственными устами вынес себе приговор.

Более или менее обобщенное определение преступления в Англии звучит так: поведение низшего класса, которое вызывает неудовольствие высшего класса. Преступления совершает низший класс, а наказывает за них высший класс. Принципы уголовного права и деятельности уголовных судов заключаются в том, чтобы высший класс мог поставить на место низший класс. Отсюда хорошо известное у нас выражение: «преступный класс». Вот к кому это относится. Один из высоких полицейских чинов заявил, что подчиненный ему детектив не годится для работы в районе Мэйфэр [1], «но он чувствует себя в своей стихии, имея дело с преступниками из низшего класса, орудующими в Сохо» [2]. Итак, подразумевается, что существует различие между преступностью высшего и низшего классов. Так оно и есть. Представители высших классов возбуждают друг против друга судебное дело за клевету. Представители низших классов бьют друг другу физиономию в пабе, после чего их судят за нарушение общественного порядка. Высшие классы получают в суде разводы. Низшим классам дают пять лет тюрьмы за двоеженство. Если человек из низшего класса прижмет другого к стене и даст ему взбучку, это назовут оскорблением действием. Если то же самое сделает человек из высшего класса, это поименуют игрой в «итонскую стенку» [3].

Достаточно несколько раз побывать в судах и прислушаться к вежливой, уверенной, присущей высшему классу, речи судей и адвокатов, а затем к местным диалектам запинающихся, малограмотных обвиняемых, и вы поймете, что главная задача наших судов — преподать надлежащий урок низшему классу. Так, с североанглийским акцентом может говорить любой миллионер — это считается приемлемым,— но только не судья.

Воспитание, образование, профессиональная подготовка и образ жизни людей, заседающих в наших судах (большей частью пожилых мужчин в маскарадных одеяниях), преследуют единственную цель — изолировать их от тех эмоций, забот и реальных фактов, которые составляют жизнь девяти десятых людей, предстающих перед ними в суде. У них фантастические представления о жизни. Большая их часть

---

[1] Один из самых богатых и фешенебельных районов центрального Лондона.

[2] Район Лондона, где расположено большинство злачных мест города — ночные клубы, кабачки, стриптизы, кинотеатры порнографических фильмов, тайные игорные дома и т. п.

[3] Итон — одна из наиболее дорогих привилегированных школ, в основном для детей аристократии.

утратила всякий контакт с реальностью. «Скажите, ради бога, кто такие битлы?» — спрашивает судья, и адвокат отвечает: «Насколько мне известно, это современное общество хорового пения, милорд». А чего стоит прокурор, который во время суда над издателями книги «Любовник леди Чаттерлей» [1] задал присяжным заседателям классический вопрос: «Разрешили бы вы читать подобную книгу вашим слугам?» Или лорд Мэнсфилд, главный судья графства Пертшир, который заявил: «Я бы хотел, чтобы с нарушителями закона обращались более сурово. Неплохо было бы ввести опять колесо, которое в старину крутили прикованные к нему заключенные». Конечно, он не имел в виду, что вокруг тяжелого колеса будут топтаться изможденные аристократы. Он требовал более сурового обхождения с низшими классами. Иногда низшие классы поступают так нехорошо, что просто вынуждают суды наказывать их. Выслушав женщину, обвинявшую мужа в том, что он ее побил, мировой судья в графстве Эссекс отклонил жалобу, заявив: «У некоторых классов считается совершенно нормальным, что женщине иногда дают пощечину или бьют ее. Это обычные издержки семейной жизни».

Имея дело с низшими классами, судьи стараются исправлять их поведение: «Мой долг, молодой человек, преподать вам урок и заставить вести себя пристойно. Итак, 99 лет заключения...»

Вот они, наши судьи: за холодной, суровой, бесстрастной внешней оболочкой бьется холодное, суровое, бесстрастное сердце. Как и некоторые помещики, в глаза не видавшие своих земель, судьи и барристеры [2] черпают средства к своему существованию на полях жизненного опыта, которых они и не видели; на полях, обрабатываемых людьми, чувства и заботы которых им совершенно чужды. Будь это иначе, они не могли бы выполнять свои обязанности в суде. Поэтому они превращают суд в театральное представление со сценой, с режиссерами и актерами в костюмах прошлых веков. У них, как и у всех представителей гуманитарных профессий Англии, есть важное преимущество — только они сами могут устанавливать правила, которыми руководствуется их профессия. Они похожи на врачей, но на таких врачей, которые получили право изобретать болезни.

Особое значение это имеет для гражданского права, то есть деятельности, обогащающей наших юристов. Они придумали такие хитрые правила, которые сумму судебных расходов ставят в прямую зависимость от суммы судебного иска. Не так давно счет юристов за судебное разбирательство дела по поводу земельного участка ценой в два с половиной миллиона фунтов составил 100 тысяч фунтов. Нет сомнения, если бы участок стоил только две с половиной тысячи фунтов, судебное разбирательство оказалось бы проще, так как на нем много не заработать. Существует пункт, согласно которому гонорар юриста при покупке дома увеличивается в зависимости от стоимости дома. Мы, англичане, знаем, что если нам нужна юридическая помощь, нет смысла справляться о гонораре у трех или четырех различных юристов, как мы это делаем, нанимая декоратора, водопроводчика или маляра для работы в своем доме. Можно сказать телевизионному технику, что мастерская за углом выполняет ту же работу дешевле, но этого нельзя говорить нашим юристам. Во-первых, юрист за углом не сделает работу дешевле, а во-вторых, мы имеем дело с представителями высшего класса. Все, что они говорят,— неоспоримо. Как сердито заметил судья свидетелю, который принимал присягу, не вынув руки из кармана: «Запомните, голубчик, что вы обращаетесь к Всевышнему и к судье Верховного суда».

Хотя законы Англии помогают охранять высший класс и вылавливать правонарушителей из низшего класса, сеть закона сплетена не настолько совершенно, чтобы иногда в нее не попадались и люди из высшего класса. Но если один и тот же закон слишком часто ловит представителей высшего класса, то такой закон изменяют.

Высший класс мало волнует вопрос, справедлив или несправедлив тот или иной закон. Он обеспокоен тем, что в результате неосторожных действий в тюрьму могут угодить вполне «приличные люди». Если же закон нельзя изменить, если он все же ведет к задержанию некоторых представителей высшего класса, то такой закон (который, по словам Анатоля Франса, «с изумительной беспристрастностью запрещает как богатым, так и бедным красть хлеб и спать под мостами») предусматривает разные наказания для разных людей. Например, за нарушение закона о правилах вождения автомашин под суд попадают и многие представители высшего класса. Нарушителям предлагается выбор: платить штраф или идти в тюрьму. Высший класс платит штрафы, что не беспокоит его ни в малейшей степени. Люди из низшего класса или наскребают и занимают по грошам деньги, или же направляются в тюрьму, где им и положено находиться. Но никому не хочется посылать в тюрьму образованных людей: у них очень дурная привычка рассказывать потом, что представляют собой наши тюрьмы, сочинять злые басни о садизме, бессмысленности заключения, парашах с вонючей мочой и тем самым рассеивать наши иллюзии о перевоспитании и профессиональном обучении в тюрьмах.

Можно спросить: почему сейчас у нас так много молодых людей — кандидатов в

---

[1] Роман известного английского писателя Д. Г. Лоуренса (1885—1930). Был устроен суд над издателями романа как якобы порнографического. Это вызвало возмущение английской интеллигенции, и суд отклонил предъявленное обвинение.

[2] Барристер — высшее звание адвоката в Англии.

обитатели Паркхэрста и Уэрмвудскрабс[1]? В конце концов, преступность не новое явление. Первый закон, дарованный человеку, гласил, что он не должен есть плоды с Древа познания добра и зла. Все мы знаем, много ли времени понадобилось Адаму и Еве, чтобы нарушить закон.

Почему же находятся желающие выступить против общества, которое создали для нас высшие классы, или порвать с ним всякую связь? Конечно, есть профессиональные преступники, есть люди, просто потерявшие нить в жизни и не сознающие, что они делают. Но что сказать об остальных? У нас есть работа, система здравоохранения и социального страхования — почему же они не удерживают нас от преступлений? Вряд ли можно объяснять рост преступности увеличением числа нуждающихся. У нас нет сейчас армии неимущих и маленькой группы имущих. Но богатые и бедные так же далеки друг от друга, как и раньше, хотя это менее заметно, ибо их разделяют не только деньги. Англичанин с первых лет своей жизни знает о существовании мира богачей и мира бедняков. В значительной степени этому способствует деление школ на обычные средние школы и гимназии. Оно порождает у молодых людей или интерес к жизни, или скуку, надежды или апатию и разочарование. Полиция задержала как-то парня, который стрелял по окнам домов из духового ружья. «А что еще делать в Барнстапле по воскресеньям?» — спросил он мирового судью графства Девоншир.

Юноша, оставляющий среднюю или общеобразовательную школу в возрасте пятнадцати лет, вступает в совершенно иной мир, чем его ровесник, который продолжает учиться, чтобы получить аттестат «О»[2]. Этот парень может на что-то надеяться, перед ним открываются определенные перспективы. Вероятно, он не всего достигнет, не поднимется очень высоко, но он знает, что существуют вакансии на ответственные должности — контролера или инспектора, помощника управляющего. Они доступны ему, если у него будет драгоценный аттестат. А когда он получит аттестат «А» или диплом, перед ним откроются еще более привлекательные и многообещающие пути в жизнь.

Однако семьдесят процентов учащихся покидают школы в пятнадцать лет. У большинства из них перспективы далеко не радужные. Они попросту оказываются в тупике. Молодые люди идут на завод, им показывают место у станка или конвейера, и они знают, что так и останутся здесь, пока в 60—65 лет не уйдут на пенсию. Они видят рядом с собой ровесников своих отцов, а может быть, и дедов, которые выполняют ту же работу, что и они, получая лишь капельку больше денег за выслугу лет. Могут сказать, что это карикатура на действительность, но нет — это настоящая правда: огромное число молодых людей, оставивших школу, попадает именно в такое положение. Работать с интересом, получать удовлетворение и двигаться вперед — это привилегия меньшинства. А у этих людей даже не возникает мысли о каком-либо успехе в жизни. Парень, идущий на фабрику из школы в пятнадцать лет, не думает о повышении в должности, о том, чтобы стать мастером или начальником цеха. Классовая структура английского общества, так ярко выраженная в отношениях в промышленности, приводит пятнадцатилетнего парня к убеждению, что таким, как он, не подняться вверх по общественной лестнице. Вырваться из тупика юноша из низшего класса может только с помощью образования. Если у него нет особых способностей к науке, лучше даже не стараться. Он всю жизнь простоит у конвейера.

Более того, он обнаруживает, что мир, в который он вступил, полностью регламентирован не только на производстве, но и во всех остальных сферах жизни. Нашим парнем управляют все: фирма, на которую он работает, с ее директорами, инспекторами, контролерами, начальниками отделов кадров, мастерами, начальниками цехов, профсоюзными бонзами и цеховыми старостами. Ему диктуют свою волю законы страны в лице их исполнителей — полицейских, сторожей в парках и регулировщиков уличного движения. Над ним стоят сборщики налогов, страховые агенты, лавочники, продающие товары в кредит, муниципальные и санитарные инспекторы, агенты социального обеспечения и сотни других людей, представляющих те или иные органы власти. Они могут заставить его или запретить ему делать что-либо, вынудить давать сведения о других людях. Все они — орудия высокоорганизованного и сверху донизу управляемого общества, хотя это не значит, что оно хорошо организовано и хорошо управляется. И парень не может определять свою собственную судьбу. Он существует для того, чтобы им управляли.

Конечно, можно смириться с этим; так и поступает большинство. Люди приходят к выводу, что работа — это тягучая, нудная обязанность, которая поглотит значительную, лучшую часть их жизни.

Вы не проявили способностей к науке — и вас выгнали из школы в возрасте пятнадцати лет. Но все же может оказаться, что у вас много энергии, талант организатора и руководителя, стальные нервы и львиное сердце. Это ничего не значит — вы не справились с системами уравнений и придаточными предложениями, а значит, сбились с официально признанного пути,

---

[1] Две известные английские тюрьмы.

[2] Чтобы завершить среднее образование, школьник должен сначала сдать предварительные экзамены и получить аттестат «О», который еще не дает права на поступление в университет. Продолжая учиться, он сдает, наконец, экзамены на аттестат «А», или аттестат зрелости, и может поступать в высшее учебное заведение.

ДЭВИД ФРОСТ, ЭНТОНИ ДЖЕЙ
АНГЛИИ — С ЛЮБОВЬЮ

который привел бы вас в лоно английского общества. Наше общество повелевает, чтобы вы оставались в низшем классе.

Если вы приняты в гимназию, а затем получили аттестат «А», то жизнь потечет иначе. Нет надобности заниматься тоскливой и тяжелой работой. Ваш ровесник из средней школы планирует ограбление ювелирного магазина, а вы подписываете контракт на строительные работы для фирмы «Вимпи» или набрасываете проект строительства гидроэлектростанции где-нибудь в Африке. Вы движетесь вперед, жизнь не проходит даром.

Конечно, побудительной причиной преступления не обязательно является стремление добиться успеха в жизни. Но нет ничего удивительного, что на психологию многих людей, замышляющих мелкое или крупное преступление, робкое или дерзкое покушение на закон, гораздо больше влияния оказывают пережитые ими жизненные разочарования, чем все назидательные инструкции о необходимости соблюдать законность и порядок. Никогда еще людям не разъясняли так подробно и настойчиво, чего бы они могли достичь и что они упустили в жизни. Следует ли удивляться росту преступности? Крупные корпорации считают, что полиция не в силах защитить их интересы, и создают свои собственные полицейские силы с помощью частных фирм, формирующих военизированную охрану. Похоже, что мы возвращаемся к эпохе полного беззакония XIX века, когда домовладельцы в богатых районах городов создавали свою собственную полицию для охраны их владений. Оказывается, и сейчас многие богачи и влиятельные лица не прочь восстановить существовавшие в XIX веке наказания для злостных преступников.

«Я предлагаю наказывать за убийство полицейских, тюремных надзирателей, охранников и за убийство с целью грабежа не только десятилетним заключением, но и ампутацией обеих ног до бедра, без права пользоваться в дальнейшем протезами. Предоставлять преступнику лишь тележку на маленьких колесиках. В случае рецидива преступления — применять дальнейшее расчленение тела»,— писал один из таких господ в газете «Хаддерсфилд дейли экзаминер». Другую крайность представляет такое предложение, опубликованное в «Дейли мейл»: «Можно остановить хулиганство среди подростков, если матери будут одевать их в детские костюмчики до юношеского возраста. Короткие штанишки не позволят мальчику подражать поступкам великовозрастных парней».

Беда в том, что добрая половина законопослушных членов общества не вполне твердо представляет, на чьей она стороне. Ведь не только же преступники, но и огромное множество людей возмущаются стремлением властей регламентировать нашу жизнь, ограничивать нашу свободу, применять принуждение, прибегать к слежке за нами. Невольно люди начинают восхищаться теми, кто бросает вызов могучим органам власти и отказывается им подчиняться.

В 1964 году, когда произошло «великое ограбление почтового поезда», значительно большее число англичан радовалось, а не возмущалось. Было известно, что машинист поезда получил увечья, но англичане все же жалели пойманных и осужденных грабителей, хотя сами они, конечно, никогда бы не приняли участия в такой авантюре.

Где же выход — если, конечно, не предлагать неосуществимого решения, то есть ликвидации нашей классовой системы? Как сократить преступность? Не поможет ли решить проблему телевидение? «Дейли миррор» опубликовала письмо женщины, в котором она писала: «Трое из моих детей уже побывали в исправительных заведениях за мелкие преступления. Четвертый чуть было не пошел по тому же пути, но в это время я купила в кредит телевизор. Мальчик стал прямо золотым. После телевизионных передач он начал ходить в церковь, и его нельзя было даже выгнать на улицу. За неуплату очередного взноса телевизор у меня отобрали, и мальчик снова вступил на скользкий путь преступлений».

По-видимому, спасать этого мальчика уже поздно, но нельзя ли сделать что-нибудь для всех остальных? Каждую неделю телевидение показывает около двадцати страшных фильмов о преступниках и преступлениях. Во всех фильмах неизбежно торжествуют власти. Не удивительно, что мы подсознательно мечтаем, чтобы в жизни все было наоборот! Мы искренне надеемся, что бедному, обездоленному преступнику удастся спастись!

Если высший класс хочет, чтобы мы поддержали его борьбу против растущей преступности, если (что весьма сомнительно) все судьи и адвокаты хотят остаться без работы, они должны воспользоваться своими полномочиями и добиться, чтобы в течение целой недели телевидение показывало массовую кровавую бойню. Стид, Барлоу, Гидеон, Джон Дрейк, Сэнт, Джек Уорнер, Локхарт, не говоря уже о Бэтмене и Робине [1],— все они должны погибнуть на наших глазах в страшных муках от рук злодеев. Нужно, чтобы хоть на неделю власти и высшие классы согласились занять место обездоленных и неудачников, и тогда преступники могли бы распрощаться со всеми надеждами. Против них вооружилась бы вся нация, и преступность постепенно сошла бы на нет.

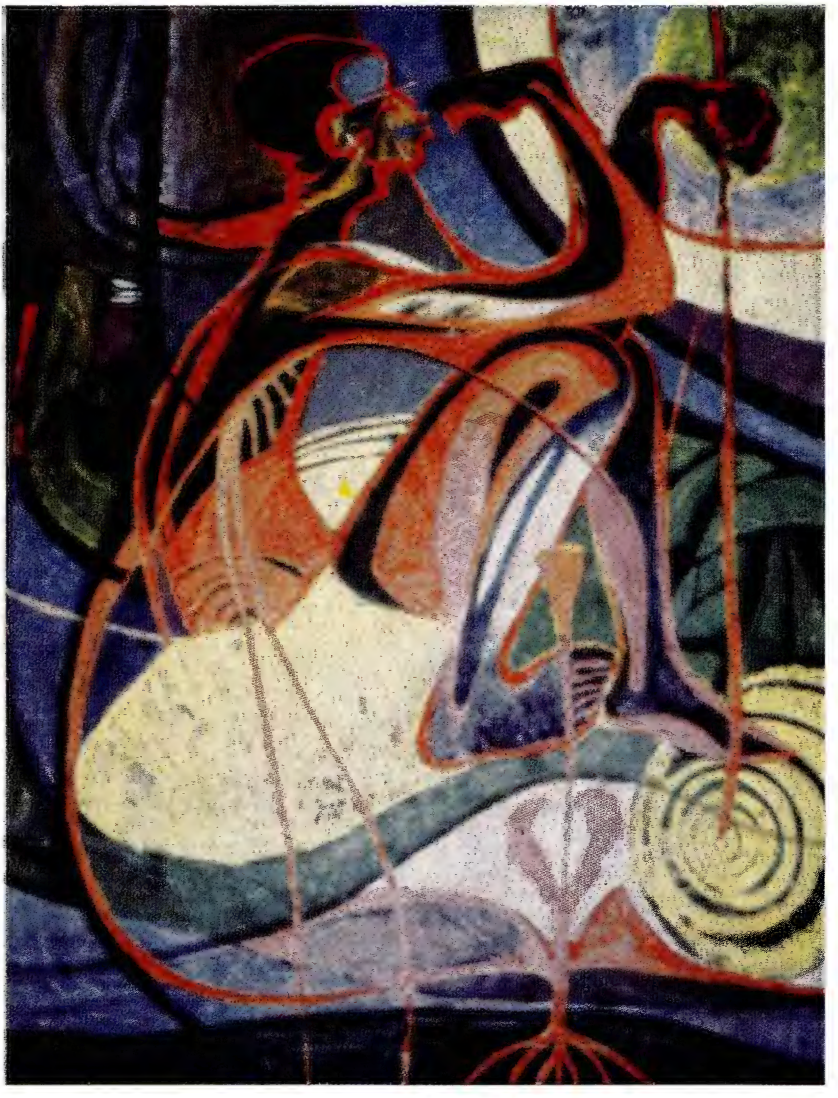
Великая иллюзия

Англичане, как мы видели, питают самые различные иллюзии. Но есть среди них Великая иллюзия. Англичане часто грешат против логики, однако в одном вопросе они

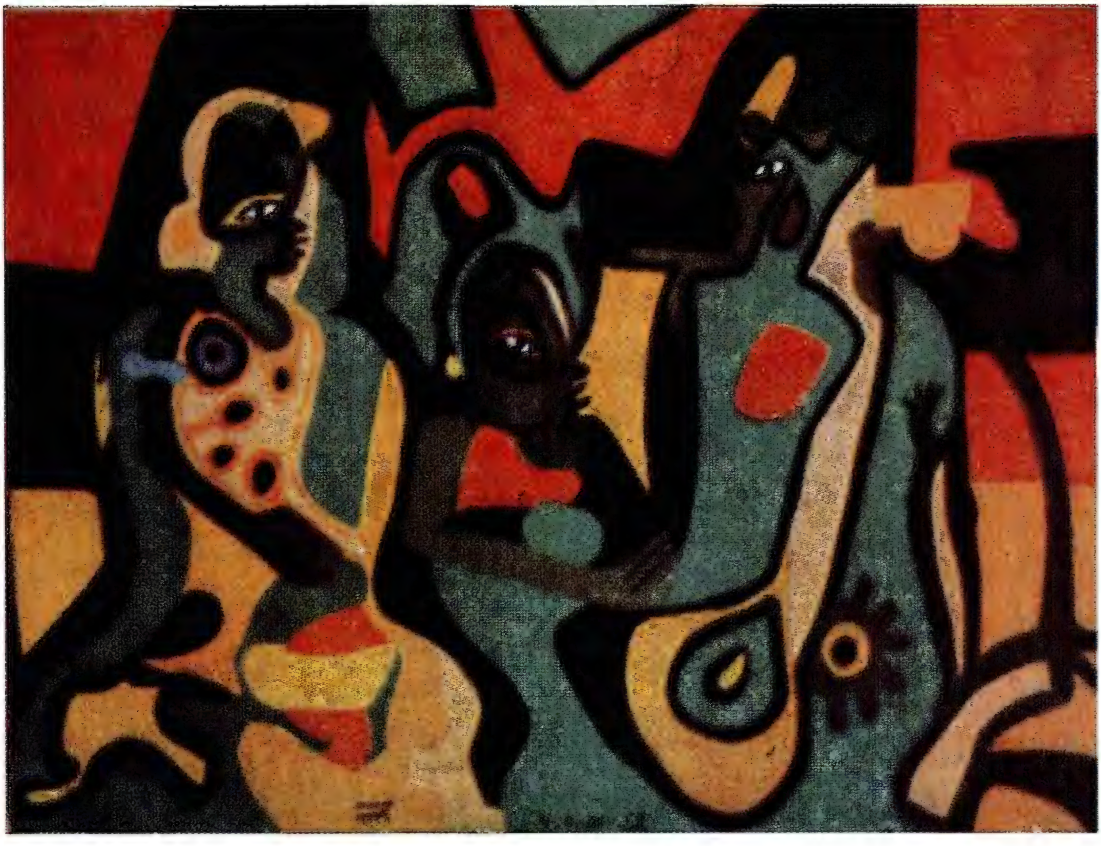
[1] Семь первых имен — это имена известных по западным фильмам и телевизионным программам сыщиков и детективов. Бэтмен — своего рода «супермен», герой комиксов и мультфильмов. Робин — его юный помощник.

Сенегальские гобелены

(Из Государственной ковровой мастерской г. Тиеса. Руководитель мастерской — художник Папа Ибра Талл)



Папа Ибра Талл. Сенегалец.



Гобелен.

Гобелен.

Гобелен.

разделываются с ней беспощадно. Этот вопрос объединил в себе бесчисленное множество тех несуразиц и чудачеств, о которых мы говорили выше. Противопоставление «общественных денег» деньгам, принадлежащим членам общества; неумолимый рост числа государственных департаментов; своеобразное расслоение нашего общества, с которым мы охотно миримся; донкихотская смесь недоверия к любому иному обществу и чувство превосходства над ним; наша способность сглаживать острые углы и двуличие, а точнее, троеличие; вопросы, которые — как нас учат — не следует задавать; навязанные истины, которые мы должны принимать беспрекословно.

За все прегрешения против логики нам ежегодно предъявляют счет на 2 000 000 000 фунтов стерлингов, составляющий статью расходов, именуемую Оборона. Такой ценой мы оплачиваем армию, военно-морской флот и военно-воздушные силы. Не так уж много осталось нынче коней в кавалерии, парадных полковых знамен или дворцов, которые караулила бы лейб-гвардия, но платить приходится два миллиарда фунтов стерлингов в год. Частенько нам напоминают, почему мы обязаны платить по этому счету. Оплачивая армию, военно-морской флот и военно-воздушные силы, мы, дескать, платим за мир и безопасность. Если этого не делать, то русские не сегодня-завтра будут маршировать по Масуэл-хиллу [1]. Сумма поистине фантастическая: она в десять раз превышает расходы правительства на строительство и содержание дорог и в двадцать пять раз — расходы на здравоохранение. Верьте или не верьте, но эта сумма составляет от одной трети до половины вообще в с е х расходов правительства. К счастью, сумма настолько огромна, что, во-первых, никто не в состоянии конкретно представить ее размеры и, во-вторых, никто не поверит, что можно израсходовать эти миллиарды так, чтобы народу от этого не было никакой пользы. И уж тем более никто не поверит, что девять десятых этих денег летит на ветер, хотя так оно и есть на самом деле.

Невозможно подытожить прибыли и убытки оборонного бюджета. Каждый год мы презентуем вооруженным силам два миллиарда фунтов, но что мы получаем взамен? Ответ один: мир и безопасность. Это удивительно напоминает язык торговой рекламы: откуда вы знаете, что вы жили бы так же хорошо и без нашего товара? Откуда вы знаете, что без огромных расходов на оборону вы жили бы так же мирно и в безопасности, как и сегодня?

Если бы мы завоевывали новые территории, защищали рынки для наших товаров, захватывали силой источники сырья для промышленности, то можно было бы хоть как-нибудь оправдать существование наших вооруженных сил, даже рискнув вызвать моральное осуждение со стороны всего мира. Но мы же этого не делаем. Нас интересует только оборона. Следовательно, авианосцы, атомные подводные лодки, истребители и бомбардировщики типа «V», ракеты и противоракетные ракеты, сложные электронные системы наводки, управления и слежения за ракетами «Бладхаунд» и «Сислаг», «Блю стрик» и «Блю уотер», «Поларис», и TSR-2, и F-111 — все эти виды вооружения существуют, чтобы защищать нас, если они еще способны выполнять такую миссию. Например, у королевских воздушных сил есть самолет, который может даже долететь до середины территории России, и к этому моменту его конструкция еще не устареет.

О т ч е г о и о т к о г о нас обороняют? Абсурдность затеи заключается в том, что если кто-нибудь захочет уничтожить нашу страну, он в состоянии сделать это в любой момент по собственному усмотрению. Уже давно по орбитам в атмосфере носятся сотни орудий истребления, на которые никто не обращает особого внимания. Штук пятьдесят из них могут оказаться боеголовками водородных бомб, которые легко направить на наши крупнейшие города. Точно так же составные части водородной бомбы можно без труда контрабандным путем завезти в страну, собрать в частных домах в центре городов и держать их готовыми к детонации. Существуют смертельные яды такой концентрации, что несколько бутылок, опорожненных в двадцати водохранилищах, могли бы навеки разрешить нашу проблему перенаселения. Бактерии могут быть выброшены в атмосферу. Против такой угрозы у нас нет никакой защиты, да о ней никто и не думает. Почему же враги еще не уничтожили нас с помощью подобного оружия? Приходится полагаться на невероятные утверждения военных авторитетов, что враги в этом не заинтересованы.

Если мы задумаемся над вопросом, какую реальную пользу приносят нации наши вооруженные силы, мы не найдем ответа. Ответ заключается в стремлении самих вооруженных сил к самосохранению и — если возможно — к дальнейшему росту независимо от того, диктуется ли это необходимостью. После окончания войны казалось (хотя и это весьма спорно), что державам необходимы ядерные бомбы, чтобы создать «равновесие страха». Однако в 50-х годах создалось положение, когда стороны овладели средствами взаимного уничтожения, и выяснилось, что защищаться от них почти невозможно. Созданная при затрате бесчисленных миллионов долларов система ДРО (дальнего радиолокационного обнаружения) предупреждала США о приближающихся из СССР ракетах, если бы, конечно, русские любезно послали их северным полярным маршрутом. Систему еще не успели привести в действие, как обнаружилось, что русские могут посылать ракеты и через Южный полюс.

Возникает сложная дилемма. Если оборона невозможна и у обеих сторон есть все необходимые средства массового уничтожения, то для чего нам содержать армию, во-

---

[1] Один из районов Лондона.

ДЭВИД ФРОСТ, ЭНТОНИ ДЖЕЙ
АНГЛИИ — С ЛЮБОВЬЮ

енно-морской флот или военно-воздушные силы? Почему бы не посадить в подземных убежищах нескольких человек у радарных экранов, «горячих линий» и кнопок и не распустить остальных, чтобы они занялись полезным трудом? Наши военные долго думали над этим вопросом и, проявив необычайную изобретательность, предложили новейшую оборонную философию. На протяжении всей истории военные разрабатывали такое вооружение, с помощью которого они могли бы отразить ту или иную опасность и угрозу. Отныне процесс стал обратным: военные так подбирают опасности и угрозы, чтобы они соответствовали существующему вооружению. Если у них есть ракеты «Земля — воздух» — значит, опасность представляют вражеские самолеты-бомбоносители. Если у них есть военные базы на чужой территории и 150 тысяч солдат, то опасность могут представлять мелкие сухопутные враждебные операции стран, не владеющих ядерным оружием. Если у них есть бомбардировщики с радиусом действия в 2 тысячи миль, то они опасаются нападения со стороны держав, расположенных в радиусе 2 тысяч миль от баз наших бомбардировщиков, и готовятся отразить удар. Любую другую опасность не принимают во внимание, точнее, ее игнорируют, поскольку нет реальных средств защиты от нее. Во многих частях земного шара есть враждебные страны и существует угроза миру, но в этих районах у Британии нет войск, и на эти территории не распространяется ее юрисдикция. Печально, но тут уж мы ничего не можем поделать. Если Ближний Восток охватит война, мы будем голько горько вздыхать. Но если появятся партизаны в Адене[1] или Борнео, это означает угрозу миру, и долг Британии вмешаться иначе весь мир сгорит в пламени войны.

В нелепых патрульных операциях гибнут рядовые солдаты, защищая территории, которые мы все равно через год-два покинем. Однако эти операции — единственное оправдание существования всех майоров и полковников, генералов и адмиралов, которые заполонили Уайтхолл и Бат[2]. Руководители военно-морского флота с мужеством, достойным лучшего применения, доказывают, что отнюдь не каждый служащий на флоте одержим желанием пробить себе дорогу в комфортабельные кабинеты Адмиралтейства. Проведенный недавно опрос показал, что только 27 процентов служащих на флоте хотят быть адмиралами. Что и говорить, цифра внушительная, но нельзя обойти молчанием тот факт, что остающиеся 73 процента — это уже адмиралы.

Когда мы читаем сообщение о том, что в каком-то далеком уголке земного шара «партизаны совершили сегодня несколько атак на правительственные военные базы», мы хорошо понимаем, что следовало бы писать: «демократы пытаются свергнуть поддерживаемую нами фашистскую марионетку», что вскоре наших солдат снова бросят в бессмысленную авантюру и они будут умирать и сражаться за дело, не имеющее никакого отношения к нашей демократии и, вполне вероятно, пагубное для демократии в этой далекой стране. И все же происходит именно так.

Торжественная церемония выноса боевых знамен, выезд конной гвардии и другие пышные зрелища способствуют сохранению иллюзии. Ясно, что ни один директор автомобильного завода не станет обучать своих рабочих маршировать «правой — левой» и разом поднимать и опускать руки. Да и рабочие достаточно разумны, чтобы не согласиться на подобную чепуху. Нам кажется, что в торжественных церемониях есть что-то мистическое, особое, доступное только военным, но не штатским людям. Так маскируют очевидную истину, что всю «работу» военных куда лучше выполнили бы инженеры, математики, служащие пароходных и авиационных компаний, электрики, водители грузовиков, менеджеры и представители других гражданских профессий.

Реалистически мыслящие люди понимают, что расходуемые средства не гарантируют нам никакой безопасности, но чтобы как-то оправдать оборонный бюджет, они утверждают, что эти деньги помогают развитию промышленности. Чистейшая ерунда. Если бы деньги, расходуемые на вооруженные силы, были ассигнованы на технические исследования, развитие и расширение индустрии, они принесли бы неизмеримо больше пользы. Огромное количество вооружения мы покупаем в США. Ракеты «Поларис» и самолеты F-III — только верхушка айсберга. На содержание наших гарнизонов в чужих странах тратится ценнейшая валюта. Вооруженные силы едва не довели до гибели производство английских компьютеров, и его спасло гражданское министерство технологии. Нашу станкостроительную промышленность так и не удалось вывести из застоя, на который ее обрекли военные. В результате их хозяйничанья в авиастроительной промышленности создалось положение, когда у США есть самолет с меняющейся геометрией крыла, а мы, вместе с французами, возимся со строительством пассажирского самолета, который из-за бюрократической волокиты, длившейся несколько лет, устареет прежде, чем поднимется в воздух.

Только Закон об армии и Закон о государственной тайне мешают народу узнать правду о том, что причиной многих его нынешних бедствий является ежегодное расходование двух миллиардов фунтов, большая часть которых выбрасывается на ветер. Ясно одно, что куда полезнее было бы разделить эту сумму на число жителей Британии, выдать каждому мужчине, женщине и ребенку по 40 фунтов, и пусть они сами обороняются.

Иногда создается впечатление, что вооруженные силы приближаются к такому состоянию, когда они вообще не будут сражаться, но это неверно. Одни из самых оже-

---

[1] За время, прошедшее после издания книги, Аден уже стал столицей независимой Народной Демократической Республики Йемен.

[2] Бат — курортный город в Англии, где обычно селятся отставные высшие офицеры.

сточенных сражений нашего времени происходят на Уайтхолле — между военно-морским флотом и королевскими воздушными силами, между королевскими воздушными силами и сухопутной армией за новые виды вооружения, а также между всеми тремя родами войск и кабинетом министров против его попыток сократить расходы на оборонные нужды и экономить за счет вооруженных сил. Если даже мир воцарится на всей земле, вояки с Уайтхолла будут по-прежнему сражаться.

Кажется чудовищным, что два миллиарда фунтов ежегодно расходуются на пышные парады, содержание ненужных учреждений, жалованье бесчисленным адмиралам и генералам, которые могли бы с большей пользой работать швейцарами в кинотеатрах. У этой системы — помимо ее огромной стоимости — есть и другие отрицательные стороны. Отношения между офицером и подчиненным ему солдатом способствуют сохранению классовых различий в нашем обществе, пагубно отражаются и на отношениях между управляющими и подчиненными им служащими и рабочими от которых они подсознательно ждут такого же слепого повиновения, как от солдат, которыми они когда-то командовали в армии.

Сама организация армии, с ее корпусами, дивизиями, бригадами и батальонами, служит наихудшим образцом бюрократического аппарата, который рабски имитируют многие гражданские институты. В результате у нас появилось много высокопоставленных и облеченных полномочиями граждан, которые материально заинтересованы в том, чтобы мирные ситуации превращались в напряженные, напряженные—в опасные, а опасные — во взрывчатые. Они получают такие соблазнительные и выгодные подряды от армии, что и за пределами Уайтхолла есть люди, охотно раздувающие их алармистские настроения. Депутаты парламента от избирательных округов, где находятся военные заводы, постоянно испытывают на себе давление со стороны этих кругов. Один из таких депутатов, выступая на предвыборном митинге, заявил: «Моя партия будет по-прежнему выступать за мир». Затем, услышав, что некоторые избиратели заворчали, быстро добавил: «О, конечно, не при жизни нашего поколения».

Размышляя о ничтожной пользе и о серьезном вреде, которые приносит наша военная система, приходишь к весьма печальному выводу: проблема бездомных, нехватка учителей и врачей, забитые транспортом дороги, дырявые тюрьмы, из которых бегут заключенные,— все это вызвано недостатком денег, тех денег, которые так щедро платят вооруженным силам по счету в 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Если цель современного государства — укрепление национального благосостояния, то политика — это деятельность, связанная с распределением богатства. Если благосостояние — это возможность владеть тем, что бы вам хотелось иметь или в чем вы нуждаетесь, то почему же мы безрассудно тратим богатство на то, в чем мы совершенно не нуждаемся? Мы сами губим себя, отказываясь выйти из игры в великие военные державы, хотя всем давно известно, что фактически нас уже исключили из этой игры. Все труднее становится доказывать логичность нашего присутствия на Борнео и в Сараваке, но, например, не на Яве. Десять лет назад мы имели какое-то отношение к Суэцу. Последние события в этом районе нас уже не касались. А что будет через десять лет?

С какой стати мы губим себя — бессмысленно и бесцельно — попытками сохранить Британию на роли древнего мини-Рима?

Как сказал один генерал, взглянув на здание новой больницы: «Только подумать! Ценой десяти таких зданий мы могли бы купить еще одну ракету «Поларис»!»

◆

Среди книг

Издано в СССР

«В КРАЮ, ЗАБЫТОМ БОГОМ И ЛЮДЬМИ...»

Чезира Фьори. Жить запрещается. Рассказы. Перевод с итальянского Я. Лесюка. Предисловие Цецилии Кин. Москва, «Прогресс», 1971. 169 стр.

Небольшую книжку рассказов Чезиры Фьори пишущий эти строки взял в руки с особым волнением: судьба столкнула его с автором книги в 1944 году, вскоре после освобождения Рима от гитлеровских оккупантов. Итальянская коммунистка была одной из представительниц славной гвардии борцов Сопротивления, которых мне посчастливилось узнать в те бурные времена. Она совсем недавно вырвалась из фашистских застенков и теперь вышла из подполья.

Столица Италии постепенно переходила к мирной жизни, хотя фронт долго еще стоял всего в трехстах километрах от Рима,— и Чезира Фьори, верный друг Советского Союза, вспомнив о своей довоенной профессии, терпеливо учила итальянскому языку первых работников нашего посольства, приехавших в «вечный город». Помню, как я прервал один из ее уроков, ворвавшись с газетой, только что полученной с наконец-то освобожденного севера: я спешил сообщить радостную весть о том, что жив-здоров ее пасынок Марио, один из видных деятелей Сопротивления, а ныне сенатор-коммунист. Наверное, это был единственный случай срыва занятий у нашей строгой и требовательной учительницы...

В ранней юности вступив в социалистическое, а затем коммунистическое движение, Чезира Фьори десять лет провела в фашистских тюрьмах и ссылке, а затем два года — в подполье и партизанских отрядах — занималась политической работой в своем родном краю. Профессиональной писательницей Чезира Фьори стала много позже, рассказав о борьбе, лишениях и муках — своих и своих товарищей по неволе — в глубоко выстраданной книге «Женщина в фашистских тюрьмах», вышедшей в 1965 году и переведенной у нас три года спустя. Думается, значение этой книги далеко выходит за рамки воспоминаний старой коммунистки — это не только исторический и человеческий документ большой силы, но и талантливое литературное произведение.

И вот на склоне лет еще одна книга — сборник рассказов «Жить запрещается». В русское ее издание вошли десять из

двадцати пяти рассказов — лучших или, во всяком случае, наиболее характерных. Некоторые из рассказов явно автобиографичны, в других приводятся истории, предания и легенды, некогда услышанные автором от односельчан.

Чезира Фьори родом из нищих деревень, что укрылись в Сабинских горах всего в какой-нибудь полсотне километров от Рима. Это край не только нужды и темноты, но и богатой истории, самобытных и гордых человеческих судеб и характеров, особенно женских. Недаром ведь еще древние римляне любили брать себе жен не из этрусских, а из сабинских селений, ценя в сабинянках, помимо красоты, живой ум и энергичность. Родной сабинской деревне в «краю, забытом богом и людьми», и посвящены рассказы писательницы. Действие одних происходит в самом начале нашего века — во времена детства Фьори, других — в период гитлеровской оккупации и Сопротивления, третьих — в наши дни. Однако крестьянская жизнь, которая здесь описана, одинаково наполнена нуждой, страданием, несправедливостью. Кажется, что само время остановилось в этих горных деревушках, что обошли их стороной цивилизация, технический прогресс, проблемы этого века.

Рассказы Чезиры Фьори и их персонажи заставляют вспомнить не только горькую книгу Карло Леви «Христос остановился в Эболи» или описания итальянского юга в произведениях Данило Дольчи, но и более давнюю литературную традицию. Рассказы Фьори хочется назвать веристскими, поставить их в ряд с произведениями виднейших представительниц веризма, писательниц конца прошлого века Грации Деледды, Матильды Серрао или основоположника этого направления Джованни Верги. Такие же бурные страсти, такие же незаурядные, гордые характеры персонажей, такая же жестокая несправедливость людей и жизни. И такое же глубокое проникновение в самую толщу народной стихии — никакой боязни в показе, порой натуралистическом, ее непривлекательных сторон, такой же сочный, подчас грубоватый юмор.

Но если веристы считали человеческие несчастья фатальными, а неудержимые страсти и пороки объясняли врожденными инстинктами, то автору книги «Жить запрещается» чужды всякий биологизм и роковая предопределенность в показе человеческих судеб. Совершенно права Цецилия Кин, когда говорит в предисловии к книге, что «именно опыт политического борца, широкий кругозор, острота видения позволяют писательнице с такой глубиной раскрывать социальную и психологическую подоплеку и первопричину многих событий». Именно четкая социальность рассказов Фьори поднимает их над старым веризмом и во многом сближает с неореалистическим направлением в итальянской литературе. Так же как некогда веризм противостоял данунцианству, неореализм противостоял позднейшему декадентству. В приверженности демократическим традициям итальянской литературы — сила и значение рассказов Фьори. Прозе писательницы чужды полутона, еле заметные нюансы, но, быть может, именно это придает ей такую остроту: ее яростно-правдивые, страстные рассказы четки, как черно-белое кино, резки и беспощадны, как палящее солнце ее родины.

Два года назад товарищи Чезиры Фьори по партии и Сопротивлению отмечали ее восьмидесятилетие. Однако писательница продолжает много работать, словно стараясь наверстать упущенное для литературного труда время в годы тюрем, каторги, подпольной борьбы. Она писала автору этих строк, что у нее плохо с глазами, но все же работает и прислала новые рассказы. Ее книги переводятся на многие языки. Писательнице-коммунистке, прошедшей долгий и славный путь, есть о чем поведать людям, и благодарные читатели воздают должное ее жизненному подвигу и по-молодому сильному, свежему литературному дарованию.

Г. БОГЕМСКИЙ

ОБРЕТЕНИЕ СОЗНАНИЯ

Амрита Притам. Черная роза. Стихи. Перевод Сергея Северцева. Составитель и автор предисловия И. Серебряков. Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1971. 151 стр.

Вопросы, вопросы, вопросы... Они мучают мир, терзают людей, они лишают покоя поэтов.

Любой вопрос
Вырастает на почве ответа.
Любой ответ
Вырастает на почве вопроса.

Новое понимание задач творчества, обретение сознания настолько умножили количество вопросов, что даже все человечество не всегда может найти искомые ответы.

Индия обретает сознание. Обретает сознание целая страна, целая нация. У страны — со своей многовековой философией, со своей древнейшей религией — появляется и утверждается новое общественное и экономическое сознание. Речь идет о путях развития всей страны, о выборе пути для каждого человека в отдельности.

С ярким и незаурядным человеком, с поэтессой Амритой Притам встречаемся мы, раскрывая книгу «Черная роза».

Каждый день
Я рождаю солнце,
Побеждающее темноту.

Каждый день
Это новое солнце
Превращается в сироту.

Поэтический образ солнца отсылает нас к личности поэта. Сам поэт восходит над ми-

ром, как светило, каждый раз новое, загадочное, неповторимое, каждый раз по-новому прекрасное. Каждый день, каждый миг поэт чувствует себя на земле одиноким: сиротливее его нет никого в мире.

И вместе с тем горе других становится личным для истинного поэта:

Пишу и в светлый день
О горе и нужде,
чтоб песнь моя
Других от горя оградила.

А что такое горе? Это — война, голод, крушение надежд. «Это стало всеобщим бедствием: кража мечтаний, кража снов» Поэт боится за людей, которых обкрадывает жизнь, за тех, кто вынужден «копошиться где-то внизу», кто должен отправляться в пекло войны.

Еще не успела созреть пшеница —
Зловонный порох
Колосья сжег.

Человек не может без хлеба. Утверждают, что мир не может без войны. Человек сжигает с трудом выращенную пшеницу. Печали одного человека весомы, значительны, но

Что стоят мои печали,—
Когда в опасности — вся планета! —

говорит поэт. И Амрита Притам много размышляет — о громадной нищей и изобильной земле, о трудном и добром хлебе, о беспросветной нужде и гомерическом богатстве, о безумии войны и трудностях мира Думая о мирной жизни, решая для себя важнейшие вопросы бытия, невозможно не думать о войнах И тогда в стихах женщины слышатся твердые, почти мужские интонации:

Каждому человеку
Обеспечен собственный труп.

Зачем это? Кому это нужно? Вопросы, вопросы, вопросы...

Амрита Притам пытается отвечать на них и в стихах и в прозе. В одном из последних выступлений она пишет: «Человек оказался связанным с далекими, никогда не виданными им людьми, с другой стороны, он безмерно отдалился от тех, кто рядом с ним. Получилось страшное смешение близости и одиночества. Это — как человек, который пытается идти в двух направлениях одновременно. И такова судьба всех, кто обрел сознание. Можно сказать, что это проклятие сознания, но проклятие знания лучше, чем благословение невежества. Так же, как тревога понимания лучше покоя непонимания».

Подобно всякому серьезному поэту, Амрита Притам бежит от покоя непонимания, бежит от благословения невежества. В ее стихах подкупает именно это столкновение близости и одиночества, стремление личности обрести и понять мир, обрести самосознание.

Казалось вначале, вроде было непохоже на то, чтобы поэта по складу его дарования заинтересовали социальные проблемы, но извечная тяга настоящего писателя к жизни да еще работа на радио принесли свои плоды. Так связались судьбы мира и личная судьба поэта. Так, все усиливаясь, зазвучал голос Амриты Притам:

Сегодня голос мой стал
Голосом нашей эпохи.

Эпоха врывается в ее личный, трагический и поэтический мир грозными сообщениями о смертях и войнах, голоде и разрухе.

Амрита Притам заметила как-то: «Крестьянская литература весьма и весьма отличается от литературы больших городов. Мы еще не оторвались от простой и медленной жизни деревень, мы еще не научились двигаться со скоростью прогресса развитых стран...» Сборник «Черная роза» интересен еще и тем, что в нем удивительным образом сочетаются эти два направления в литературе, отражая патриархальную, медлительную жизнь деревни и резкий, прерывистый темп города. Кажется порой, что некоторые стихи пенджабской поэтессы пахнут свежевыпеченным хлебом, потому что хлеб, пшеница — главнейший вопрос и для поэта выросшего в крестьянской среде, и для его многострадальной страны.

Один из европейских индологов еще сто лет назад сказал о родном языке Амриты Притам. «В нем присутствует вкус пшеничной муки и горьковатый запах деревенского очага» Стихотворения Амриты Притам, как зерна, составляющие колос пшеницы, образуют эту удивительную, может быть, несколько необычную для нас книгу.

Поэт приходит к осознанию социальной проблемы через свой собственный опыт Личный опыт. Для женщины он прежде всего— в любви. И снова — вопросы, вопросы, вопросы... «Что будет со мной?», «Разве изменчивыми словами можно хоть что-нибудь изменить? Недоказуемыми словами можно хоть что-нибудь доказать?», «Что такое вздох, скажи мне? И не скрыт ли в каждом вздохе миллион рождений новых?», «Но есть ли сосуд, вместивший страданий земных поток?», «Но кто я такая?», «Кого ты любила, кого ты любишь?» и т. д. Подлинная любовь никогда не бывает легкой, и ответить на все вопросы невозможно, ибо за каждым ответом следует новый вопрос.

Индийская литература, как и другие литературы, решает сегодня для себя пробле-

му: быть ли пигмеем в громадной вселенной или великаном на маленьком пятачке. Каждый художник подходит к этой проблеме по-своему. Решение Амриты Притам графически можно было бы изобразить в виде двух концентрических кругов — один в другом. Большой круг — это Вселенная, меньший, внутренний — душа поэта. Большой круг — непостижимый, чужой, не всегда и во всем понятный, меньший — кровный, близкий, родной. Скажем иначе: один круг, ближний — моя кожа, другой — моя одежда, которую можно сбросить, сменить, оставить, но которую ты вынужден носить.

Обретение поэтом сознания помогает порой максимальному слиянию этих кругов, и тогда даже интимное стихотворение звучит весомо. Вселенная вторгается в маленькое, слабое женское сердце, и тогда публицистика становится поэтичной, наполненной, как пульс по-настоящему взволнованного человека.

«Черная роза» — первый сборник Амриты Притам, вышедший в СССР. И это издание очень своевременно, ибо слава поэта перешагнула границы Пенджаба, границы Индии, отдельные, лучшие стихи приобрели интернациональное звучание.

АЛЛА КИРЕЕВА

ЭЛЮАР И ОБ ЭЛЮАРЕ

Поль Элюар. Стихи. Перевод М. Н. Ваксмахера. Послесловие и комментарии С. И. Великовского. Москва, «Наука», 1971. 423 стр.

Имя Поля Элюара давно известно нашим читателям. Уже первое поколение советских переводчиков (В. Парнах, А. Эфрос, Б. Лифшиц) заинтересовалось молодым в ту пору французским поэтом. В последующие десятилетия переводы из Элюара неоднократно появлялись в периодической печати. Как переводчик отдал дань его творчеству и Павел Антокольский, издавший отдельную книгу его стихов и значительную часть их включивший впоследствии в свою антологию французской поэзии «Медная лира». Исследования В. Балашова и С. Великовского осветили жизненный и творческий путь Элюара. Важным этапом в нашем приобщении к творчеству поэта был сборник 1958 года, составленный О. Савичем с предисловием И. Эренбурга.

Таким образом, задача, стоявшая перед авторами новой книги, посвященной Элюару, в известной мере облегчалась, ибо существовала уже традиция в истолковании и передаче его творчества на русском языке. Однако за истекшие после сборника О. Савича годы советские переводчики широко освоили свободный стих (верлибр), и то, что казалось вполне удовлетворительным в пятидесятых годах, стало недостаточным в семидесятых.

В новой книге Поль Элюар прежде всего представлен гораздо полнее в количественном отношении. Но поскольку это дало переводчику возможность осветить новые грани его творчества, углубиться в его поэтику, постольку различие получилось и качественное. Содержательный, глубоко раскрывающий поэзию Элюара творческо-биографический комментарий и послесловие С. Великовского (пускай с некоторыми его деталями можно и поспорить) дополнили общую картину. Отбор стихотворений сделан со вкусом и пониманием того, что является в наследии Элюара главным.

Вспомним в общих чертах поэтическую биографию Элюара.

Солдат первой империалистической войны, он вернулся домой с тетрадью стихов, выражавших усталость от окопной жизни и еще не осознанное неприятие режима, породившего кровавую бойню.

Я шагаю и знаю: огромное счастье
Охватило бы нас, если б мы захотели.

И, как единственное прибежище в этом окаянном мире — близость любимой женщины, семейный уют и дети.

Всех моих товарищей на свете —
О друзья! —
Мне сейчас милей жена и дети,
За столом сидящая семья,
О друзья!

Вскоре Элюар примыкает к дадаизму — этой одной из многих часто возникавших и быстро умиравших в первой половине нашего века группировок, поначалу бунтарских, выражавших протест передовой буржуазной интеллигенции против официального мещанства и его проявлений в искусстве: академизма, салонности, догматизма...

Но уже через три года Элюар порвал с дадаистами и примкнул к другому, тоже бунтарскому в то время течению, к сюрреализму, апостолом и поэтической гордостью которого он стал на долгие годы.

И все-таки — сказать, что Элюар был сюрреалистом, значит ничего не сказать. Как и всякий большой поэт, он не умещался в границах своей школы. Сюрреализм, увлекаясь идеями Зигмунда Фрейда, отдавал, как известно, художественное творчество целиком во власть «подсознательного», которое «сбрасывает оковы разума». Он искал питательную среду в «сновидениях и грезах», призывал «не исправлять написанное», считая, что «написанное сразу», без размышлений, по воле пишущей руки, ближе к подпочвенным, глубинным движениям души, а следовательно, искреннее, правдивее и вместе с тем дальше от «обманчивой реальности». Элюар упорно не соглашался подменять работу поэта «автоматическим письмом». И стихи его, при всей алогичности ассоциаций и часто образов, почти всегда соотносимы с реальностью. Он считал, что стихотворение — это «плод определенной воли», «эхо какой-нибудь надежды или отчаянья». Подчиненное строгой задаче, оно может со-

зреть только в результате обдумывания и труда. И если еще можно говорить о некотором композиционном произволе в стихах Элюара, то никак нельзя отказать им в лаконизме и в продуманности, с которой осуществляется авторский замысел.

Таково расхождение Элюара с сюрреалистами в том, что касается самого материала стиха, основ его поэтики. Но было и другое расхождение. Сюрреалисты полностью отвергали гражданскую и политическую поэзию, как поэзию, прежде всего подчиняющуюся логике и несовместимую с принципом автоматического творчества.

В те послевоенные годы, когда политическая обстановка в Европе, казалось бы, стабилизировалась, в творчестве Элюара действительно преобладала тема любви,—правда, любви, не ограниченной лишь интимными рамками, часто выступающей в общечеловеческом, скажем даже философском, аспекте. Но когда политический горизонт Европы омрачился, когда разразилась гражданская война в Испании, политическая тема властно вторглась в поэзию Элюара. А когда и Франция попала в тиски фашистов, стихи Элюара стали партизанскими листовками, его знаменитая «Свобода» — гимном сражающейся Франции.

Еще в 1926 году Элюар начал активно поддерживать идеи коммунизма и вместе с группой товарищей по сюрреализму печататься в левом журнале «Ясность». И хотя его общественная деятельность до поры до времени не находила отражения в стихах, его активность была чрезвычайно велика. Протест против разбойничьего нападения Франции на Марокко, организация срыва колониальной выставки 1931 года, лекции в Праге, осажденном Мадриде, участие в международном антивоенном конгрессе, конгрессе писателей в защиту культуры — вот далеко не полный список того, в чем проявился гражданский темперамент Элюара.

Естественно, что в дни фашистского надругательства над Францией он стал активнейшим подпольщиком, безумно смелым и дерзким, бравшим на себя самые опасные поручения. В 1942 году он вступил в коммунистическую партию, а по окончании войны и до конца жизни (умер он в 1952 году) оставался одним из виднейших деятелей борьбы за мир, искренним другом Советского Союза, объездившим десятки городов и стран с миссией доброй воли.

Все современники — в их числе Арагон и Эренбург — говорят об Элюаре как о необычайно благородном человеке, участливом и добром, с сердцем, созданным для любви и дружбы, отважным перед лицом опасности, мужественным и гордым перед лицом врага. Таким же рисуется он в его стихах, избегающих литературных прикрас ради торжества простоты и правды. Таким же предстает он перед нами на портретах, созданных рукою Пикассо, который был его ближайшим другом и неоднократно рисовал его профиль, добавляя с годами только морщины и острые углы.

Эренбург считал, что поэзия Элюара непереводима. Нет, она переводима, как свидетельствует лежащая перед нами книга, но звуковое оснащение, которое придает стихам Элюара особую изощренность, подчас действительно непереводимо. Проблема эта уже не переводческая, а лингвистическая. Она упирается не в мастерство переводчика, а в различие языков: в темпераментную быстроту французского и величавую медлительность русского языка; в несовпадение рифмующих лексических групп, в лаконизм подлинника, не оставляющий места для переводческих компенсаций.

Элюар, особенно ранний, конструируя образ, часто прибегает к столкновению контрастирующих слов, семантически почти не соединимых. Встречая это в подлиннике, читатель удивляется. Встречая это в переводе, читатель приписывает переводчику неудачу. Иногда, при оборванной логической связи, строки цементирует только звукопись во всех ее видах. Слова самые простые (Элюар всегда стремится к обыденности языка) расстанавливаются так, что приобретают новый смысл. Элюар почти никогда не прибегает к концевой рифме, но многие его стихи изобилуют внутренними рифмами, ассонансами, анафорами, различными повторами. Даже заголовки порою строятся на рифмах и аллитерациях (Lingères légères, Le dur désir de durer). М. Ваксмахер правильно поступил, отказавшись в некоторых случаях от передачи звукописи и вообще внешнего обрамления стихов Элюара (кстати, французские переводчики, по традиции переводя стихи прозой, отказываются от этого всегда). Куда, к каким отклонениям от смысла привела бы переводчика неизбежность, если бы он стал передавать всю сложную внутреннюю рифмовку такого, например, стихотворения:

La petite chérie arrive à Paris,
Paris fait du bruit, Paris fait du bruit,
La petite chérie traverse la rue.
Le bruit tombe en pluie, le bruit tombe en pluil
La petite chérie est sur le trottoir
Ou des gros monsieurs cossus et tout noirs
Empêchent son cœur de faire trop de bruit.

Зато в других случаях М. Ваксмахер пошел на Элюара, что называется, в лобовую атаку и выиграл сражение.

Вот один из многих примеров перевода, который хочется назвать безупречным.

Огонь мимолетный зеркало
Пчела и перо шальное
Вдали от букета улиц
От семейных домов уютных
Огонь пред твоими глазами
Твои подымает веки
Мелькает и прочь уходит
В ясный прохладный вечер.
К другим таким же глазам
Все более омраченным
Все более совершенным
Все более неуловимым.

Конечно, не всегда удавалось так полно приблизиться к оригиналу, но и в этих случаях М. Ваксмахер все-таки заложил, как говорится, фундамент, на который с уверенностью могут опереться последующие интерпретаторы Элюара.

Отдавая должное переводам М. Ваксмахера, нельзя не вспомнить, что были большие удачи и у его предшественников. Но, пожалуй, ни у кого собственный поэтический голос не совпал так полно с голосом Элюара, с его полушепотом, с тихой игрой его цветов и оттенков. Здесь, конечно, сказывается многолетняя влюбленная работа Ваксмахера над Элюаром, оградившая переводчика от всего случайного и равнодушного. Принципиальное отличие от сборника 1958 года заключается и в том овладении верлибром, о котором говорилось выше. В прежних переводах стихи Элюара часто выходили более ритмизированными, больше похожими на нерифмованный ямб, чем на верлибр.

И еще одно положительное качество книги, о чем нельзя не упомянуть,— это единство переводческой манеры, которое в свою очередь выгодно отличает ее от того же сборника 1958 года, где, скажем, медно-трубный голос П. Антокольского, счастливого соперника «Медных лир» Барбье, Гюго и Рембо, явно диссонировал с голосами, например, Северцева или же Ваксмахера. Впрочем, таково всегда преимущество книги, сделанной одним переводчиком.

В. ЛЕВИК

Издано за рубежом

ГОРЕНИЕ

Váci Mihály. Százhuszat verö sziv. Válogatott versek. 1955—1970. Budapest, Magvetö, 1971.

«Пульс — сто двадцать» — так, по одноименному стихотворению, озаглавлен сборник избранных стихов безвременно погибшего венгерского поэта Михая Ваци (1924—1970).

Название это — поистине девиз и заповедь его сравнительно недолгой творческой деятельности. Ибо смысл нравственного кредо Ваци лучше всего можно выразить прекрасным понятием из нашей литературы, революционной и трудовой жизни — «горение». Иначе говоря: беззаветная отдача себя, всех сил души другим, высокой, социально облагораживающей цели; внутренняя потребность такой самоотдачи, без которой и существовать немыслимо, незачем. Эта самоотдача, которая делала Ваци человеком словно уже коммунистического будущего, и воплотилась в его стихах.

Отдавал он себя прежде всего вчерашним беднякам, чьими чувствами, надеждами жил. Когда Ваци начал писать, и десятка лет не прошло после избавления от фашизма, хортистского режима, при котором трудовому человеку глаз некогда было поднять от плуга, станка, от земли или железнодорожного полотна (отец поэта сам был железнодорожным рабочим, потом стрелочником). Приходилось гнуть спину от зари до зари — и все равно не удавалось выбиться из нужды, из забот.

Обездоленность людей труда, сыновняя радость и гордость при виде сегодняшнего их «выпрямления», братское и государственно заинтересованное внимание к их повседневной жизни, которая должна стать еще осмысленней, полнее, светлее,— таков один из главных мотивов поэзии Михая Ваци.

Другой, нераздельный с этим мотив — неотступное чувство ответственности за происходящее в стране и во всем мире перед теми, кто в нем еще унижен, согбен. Постоянный в своих демократических идеалах, требовательный в их осуществлении, горящий нетерпеливым пылом исторического созидания, Ваци не мог и не желал терпеть ни помех, чинимых социализму проходимцами, карьеристами, фразерами, которые зарятся на признание, ни творимого империалистами разбоя. Нежным участием преисполняли его и героизм кубинских революционеров, и храбрая самозащита вьетнамцев. Он и погиб, отправясь, несмотря на слабое здоровье, с венгерской делегацией туда, на землю борьбы за свободу. Ведь он сам в стихах все время в полном смысле воевал за нее, пуская в ход и оружие сатиры, не скрывая и боли собственных ран.

Радуясь успешной борьбе друзей, мы знаем, сколько подчас усилий, крови и нервов она поглощает. И поэзия Ваци тоже несет ее кровавые следы. Как все натуры романтически-гражданственного склада, он был очень чувствительным, легко ранимым. И стихи его иногда дышат не только внутренним жаром, но и глубокой усталостью. Не просто петь одинаково бодро и уверенно, видя, что вокруг еще не все хорошо, что пламя твое медленней выжигает всякую накипь и ржавчину, чем хотелось бы, зная, что на земле до сих пор и голод, и пытки, и войны, и болезни... Минутами кажется, сил больше нет и сердце, по его признанию, делает уже не «сто двадцать» ударов, а едва половину, словно почти замирая, останавливаясь...

Ноты усталости, о которой тихо вопиют иные его стихотворения, романтическая неудовлетворенность, разочарованность могут внешне, на первый взгляд, напомнить встречавшиеся в советской литературе 20-х годов «антинэповские» настроения разных оттенков. Но сравнение это правомерно ровно настолько, насколько и у наших лучших поэтов подобные ноты выражали лишь кризис роста. Ибо как раз в последние годы неожиданно оборвавшейся жизни Ваци вступал, по-видимому, в пору настоящего духовного возмужания, когда учишься и умеешь смотреть любой правде в лицо, ни от

чего завоеванного не отступаясь, ни в каких высоких убеждениях не колеблясь, а только укрепляясь. В творчестве этого, по его же выражению, «за веру горящего на костре еретика» начиналась трудная внутренняя работа самооценки и придирчивой оценки достигнутого, но ныне недостаточного; мучительного познания новых задач, возможностей и потребности сегодняшнего социалистического общества и всего человечества.

В этом самообновлении кроется особое обаяние лирики Ваци. Притягательна сила жизнеутверждения, проходящего испытание огнем личного и коллективного опыта, доброты, закаленной, умудренной в его горниле.

Ваци «трагически много» возложил на свои плечи, писала о последних его стихах венгерская критика. Но сама логика его жизни убеждает, что взятое на себя он бы вынес. Хотя бы уже потому, что никогда не искал легких торных путей, всегда принимал только и дающую право жить гражданину, революционеру полноту ответственности, а не удобненькую «свою долю». И не случайно лирика его именно в последние годы (это служит и своеобразным эстетическим дополнением к сказанному) не только интеллектуально, но художественно обогащается, словно предваряя и воплощая новый выход к людям, к новым горизонтам миропонимания.

В ней появляется раздумчивая, напоминающая порой то Лермонтова, то Есенина напевность, которая будто из глубин души выносит зреющие там философски значительные обобщения, заветные мысли и чувства. Расцветает та, именуемая в поэтике синестезией (метафорическим сближением далеких цветовых, звуковых, слуховых впечатлений) и отчасти знакомая по Ади, Маяковскому, Йожефу, по современной мировой лирике насыщенная образность, которая передает ощущение неисчерпаемо-изобильной красоты и прежде всего — непрестанного волнения, движения, обновления и обновимости жизни и самой земли, этого радостного сокровища человечества.

Зеркало андерсеновского тролля искажало мир. Попадая в глаза людям, осколки его уродовали их, заставляли видеть все в темном свете: вместо высокого — низкое, вместо добра — зло. Сердце Михая Ваци, свободного человека нового общества, как магическая линза, собирало солнечные лучи добра И частицы этого сердца, капельки его крови — стихи, западая в души, вливают в них тепло требовательно-гармонического отношения к жизни, помогают лучше различать вокруг главные, чистые цвета и грани: видеть коммунистическую цель.

О. РОССИЯНОВ

VÁCI MIHÁLY

Százhuszat verő szív

РЕВОЛЮЦИЯ В США: ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Piers Paul Read. The Professor's daughter. London, An Alison Press Book. Secker and Warburg, 1971.

Новый роман молодого английского прозаика Пиейрса Поля Рида назван скромно и непритязательно — «Дочь профессора». Однако содержание книги, ее идейный замысел намного шире рамок рассказа об одной жизненной судьбе, хотя история Луизы Ратлидж сама по себе интересна и типична.

Объектом своего художественного исследования писатель выбрал американскую действительность конца 60-х годов, точнее, один из ее важнейших аспектов — движение молодежного протеста. Об этом явлении в странах Запада написано уже множество книг — философами и социологами, психологами и литераторами. Появился даже расхожий термин «молодежная революция». Но сколь различны формы этой «революции» — от невинного студенческого хэппенинга до террористических актов экстремистов. Есть, разумеется, в этом движении и здоровые элементы.

Однако Рида меньше всего занимают конкретные проявления протеста, как известно, нередко весьма экстравагантные. Ему, вдумчивому художнику-аналитику, необходимо постичь суть происходящего, докопаться до его причин и истоков, раскрыть возможные перспективы.

Проще всего свести недовольство молодежи к пресловутому «конфликту поколений», что и делают многие буржуазные социологи и журналисты. Убедительно опровергая их построения, Рид в то же время показывает, сколь не прост и извилист путь буржуазной молодежи к подлинному, осознанному, социально направленному протесту.

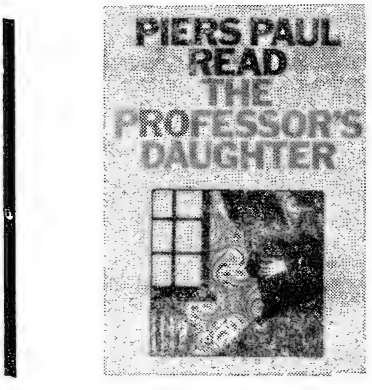
До шестнадцати лет Луиза Ратлидж жила в счастливом и безмятежном мире. Она обожала отца, всемирно известного профессора политических наук, искренне гордилась тем, что один из ее предков подписал Декларацию независимости. Первое принципиальное столкновение с отцом случилось во время их совместного путешествия по Африке. Увидев воочию голод и нищету, Луиза еще

неосознанно, по-детски жаждет справедливости и требует, чтобы отец, богатый и всесильный, помог беднякам, отдал бы голодающим деньги. Еще больше начинает Луиза стыдиться своего богатства, когда от одного из своих приятелей узнает, что и в ее родной стране, например в индейских резервациях, дети буквально умирают от голода.

Острота конфликта в семье Ратлидж определяется тем, что Луиза не только не хочет жить в роскоши и довольстве, как жили родители, она настаивает на том, чтобы отец отказался от солидного семейного капитала. Неподкрепленный жизненным опытом нравственный максимализм Луизы приводит девушку в среду хиппи, образ жизни которых привлекает ее вызывающей антибуржуазностью, презрением к собственности и, как ей вначале кажется, естественностью чувств и отношений.

Первая любовь Луизы достается Джейсону Джоунзу, который при знакомстве объявляет ей, что он — революционер. Однако сущность его революционности незамедлительно уточняется автором, который иронически замечает, что его герой «говорил настолько много, что на дело не оставалось времени». В отношении Рида к Джейсону есть справедливая доля антипатии и даже презрения, поскольку этот парень олицетворяет все скверное, что есть в движении хиппи.

Джейсон — человек без идей и убеждений. Его антибуржуазная «революционность» — лишь поза, модный маскарад, скрывающий мелкую и ничтожную душонку. Декларирующий независимость от собственности и полное пренебрежение к ней, Джейсон — сам побочный продукт «общества потребления». На словах отвергая стиль жизни родителей Луизы, он отнюдь не брезгует их деньгами, принимая как должное то, что Луиза содержит его. Ни учиться, ни работать он не собирается. Но более всего отвратителен в Джейсоне его крайний индивидуализм, граничащий с бесчеловечностью. Ответить на искреннее чувство Луизы ему нечем. Сознание какой бы то ни было ответственности для Джейсона невыносимо: в нем он видит проявление «буржуазности» и покушение на свою свободу. Поэтому он «уступает» ждущую ребенка Луизу одному из приятелей, в обществе которого она знакомится с основами «сексуальной революции». Вскоре оставшись одна, Луиза, морально надломленная, возвращается в родной город. Там она оказывается вовлеченной в замысел нескольких студентов из семинара ее отца — начать в Америке... революцию.



Беспощадно и трезво ведет Рид рассказ о так называемой революционной теории и практике этих студентов. Испытывая очевидную симпатию к своим героям, он не может не видеть фантастичность и бесперспективность их планов.

Занятия семинара профессора Ратлиджа все более и более начинают походить на заседания подпольного революционного штаба, вырабатывающего стратегию и тактику грядущих выступлений. Герои Пиейрса Поля Рида страстно ненавидят капиталистическое общество. Однако в выборе конкретных форм борьбы они оказываются под влиянием идей Маркузе и других мелкобуржуазных теоретиков, повторяя роковые ошибки недавно разгромленной западногерманской полицией группы РАФ («Роте армее фракцион») или же аналогичной японской ультралевой молодежной организации, кстати называющейся также «Красная армия».

Герои Рида, правда, весьма далеки от мысли, что именно они — единственная по-настоящему революционная сила в США. Просто революция нужна им сегодня, сейчас, и поэтому они становятся на обманчиво простой и привлекательный своей кажущейся легкостью путь террора. Намеченное ими убийство видного сенатора-«ястреба», воплощающего для них пороки американской системы, призвано служить ответом на злодеяния, творимые американцами во Вьетнаме.

Даже сам лидер студентов, фанатичный католический священник Аллан Грей, пытающийся соединить коммунизм и христианство, понимает, что им не под силу переменить строй в США. Поэтому предполагаемое убийство сенатора Лафлина он рассматривает как акт самоутверждения или, если угодно, как пример для подражания. «Мы должны показать, что настроены серьезно»,— говорит Аллан. Но карточный домик его фантазий не выдерживает первой же жизненной бури — один из активных участников группы оказывается платным осведомителем ФБР, так что вся затея с самого начала обречена на провал.

Знаменательную эволюцию претерпевает мировоззрение Генри Ратлиджа. И по происхождению, и по унаследованному состоянию профессор принадлежит к элите американского общества. В начале книги он — один из идеологов этого общества, искренне убежденный в преимуществе американского образа жизни, не только сулящего «процветание», но и основанного на «благородстве, энергичности и справедливости».

Однако Ратлидж безусловно незаурядный,

умный и честный человек. Под влиянием дочери и своих студентов он находит в себе силы признать ложность тех идей, которые он на протяжении многих лет защищал, пропагандировал, понять необходимость радикальных перемен в американском обществе.

Трагическая гибель профессора от руки Аллана Грея в финале романа глубоко символична. С одной стороны, она еще раз убеждает в ошибочности и бесперспективности тактики террора, с другой — вновь свидетельствует о принципиальном крахе буржуазного либерализма. Ведь даже признав в теории закономерность революционной борьбы, Ратлидж на практике ищет альтернативу плану своих учеников в границах, характерных для буржуазной демократии,— он предлагает например, дискредитировать Лафлина и тем самым помешать его политической карьере.

Образ Ратлиджа, при всей его кажущейся неожиданности и нетипичности, отражает важнейший процесс, происходящий ныне в США, тот сдвиг в сознании многих американцев, без учета которого нельзя верно определить политический пульс страны. Водораздел в американском обществе сегодня пролегает не только между антагонистическими классами, но даже внутри правящего класса. Трезво мыслящие представители американской буржуазии выступают против той позорной роли мирового жандарма, которую столь часто выполняет Америка. Война во Вьетнаме, расовые проблемы, вопиющее социальное неравенство в стране — все эти вопросы волнуют героев Рида, как и миллионы других американцев. И решают они их по-разному. Расходятся жизненные пути двух американских миллионеров, бывших друзей и соратников сенатора Билла Лафлина и профессора Генри Ратлиджа.

«Дочь профессора» кончается на ноте ожидания. 1968 год. Сенатор Маккарти выдвигает свою кандидатуру на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, и Луиза Ратлидж и ее друзья едут помогать Маккарти, чтобы «дать системе единственный шанс».

Четыре года спустя американские радикалы стали возлагать надежды на Макговерна. Но вера в то, что Маккарти либо Макговерн смогут коренным образом изменить американское общество, столь же фантастична, как и надежда на пистолет Аллана Грея.

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ

«ИСТОРИЯ МОИХ ЛЕТ»

Манолис Анагностакис. Та пиимата 1941—1971. Салоники, 1971. (На греческом языке.)

Когда-нибудь я напишу историю моих лет, обещал Манолис Анагностакис в одном из своих ранних стихотворений. И вот перед нами книга «Стихи 1941—1971», которая является и отчетом автора за тридцатилетний творческий путь, и своеобразной историей этого бурного тридцатилетия. Главами «истории» стали небольшие поэтические циклы Манолиса Анагностакиса: «Времена» (1941—1944), «Времена — II» (1946—1948), «Времена — III» (1949—1950), «Продолжение» (1953—1954), «Продолжение — II» (1955), «Продолжение — III» (1956—1962) и, наконец, «Цель», цикл последних стихов, эпилог «истории», ее итог.

Названия циклов содержат заметный элемент хроникальности, однако в самих стихах автор отнюдь не напоминает нам хрониста: он мало заботится о воспроизведении исторических событий и картин быта, его внимание обращено в сферы духовной жизни общества, поглощено прежде всего психологическими проблемами современности, теми явлениями, которые раскрывают их с наибольшей наглядностью. В названия многих своих стихотворений Анагностакис выносит слово «сейчас», а в эпиграфе к последнему циклу «Цель» специально выделяет его из строки:

Важно, что говоришь с е й ч а с...

Столь острое чувство актуальности, ощущение того главного, что определяет облик времени и человека, придает книге Манолиса Анагностакиса особую ценность, достоинство подлинной истории, именно истории, а не хроники.

Отправным пунктом, началом летосчисления для Анагностакиса стали годы итало-германской оккупации Греции, годы Сопротивления. Масштабность, значительность этого периода открывались поэту уже тогда: «полюбив новую бурю», его друзьям и сверстники «денно и нощно играли в прятки со смертью» во имя того, чтобы «подарить людям Весну». Мечта о Весне, «разжигавшая тысячи огоньков, воспламенявшая юность», рисовала перед ними картины «новой жизни», освещала «золотые города» будущего, «омытые светом Правды». Зрелое понимание, что битва за такую мечту будет долгой, более долгой, чем битва против фашизма, пришло к поэту рано, раньше, чем ко многим его ровесникам.

Тогда ты сказал мне: война окончена.
Но Война еще не окончена,[1] —

писал Анагностакис после Освобождения, выделяя слово «Война» во второй строке, подчеркивая, что дальнейшая борьба за жизнь, «омытую светом Правды», окажется не менее суровой и жертвенной, чем война.

Эта мысль: «Война еще не окончена» стоит за каждым последующим циклом Анагностакиса. Не случайно второй и третий циклы носят то же название, что и первый — «Времена», самым непосредственным образом подключаясь к циклу Сопротивления.

Стихотворение «Сейчас» из первого цикла «Времена» передает трезво взвешенное решение продолжить начатый путь, какие

[1] Здесь и далее перевод стихов принадлежит автору рецензии.

бы «недобрые дни» ни ожидали поэта впереди. Мысль о верности цели выражена здесь в духе мужественного стоицизма, который впоследствии станет еще более ощутимым и у Анагностакиса, и у других поэтов его поколения:

Нет, Димитрис, назад возвращаться
нельзя
Наш долг не возвращаться назад.

Потому что, Димитрис, жизнь, конечно,
прекрасна.
Даже если пришлось пережить очень
недобрые дни,
Даже если нам суждено переживать их
сейчас или, быть может, потом.

Поэтому из многих дорог, «столь щедро открытых Судьбой», приемлемой становится только та, на которой нет «стабильности оплаченного смирения». Во второй половине 40-х годов эта дорога пролегла через тюрьмы и концлагеря.

Друзья
Уходят
Исчезают однажды
Голоса
Ночью
Далекие крики
Безумной матери на пустынной улице
Детский плач безутешный
Развалины
Как дырявые флаги.

Кошмары
На железных кроватях
Когда свет убывает
Перед рассветом.
Но кто расскажет об этом с болью?

Это стихотворение «Другу Н. Е. ...» датировано 1949 годом, последним годом гражданской войны в Греции, закончившейся поражением демократических сил. Тяжесть утрат столь велика, что крик боли вырывается даже у такого аскетически сдержанного в выражении чувств поэта, как Анагностакис:

Не знал я что создан для того чтоб
однажды
За пыльной дорогой увидеть
Горящий город город трупов на улицах
Оплакать людей с которыми не был
знаком
Несчастных женщин которых не целовал
никогда...

(«Согнувшись, прошли...»)

Но как ни остра боль, в критический час «дикой ночи, скачущей в вечное», когда «за Завтра Утром нет уже ничего», поэт вновь отвергает «сребреник покорности». Он верит, что «скорбные песни поэтов», «погибших совсем молодыми», возродят к новой жизни тех, кто остался в живых. Он верит в продолжение их дела, и свой новый сборник, увидевший свет в 1954 году, поэт называет «Продолжение».

У Анагностакиса есть поэтические строки, которые он повторяет в нескольких стихах, в нескольких циклах. Сделанный однажды, удачный, характерный штрих возникает вновь в роли своеобразной приметы времени, условного знака, символа. Так, например, фраза: «Много света нужно еще для рассвета» из третьего сборника «Времена» открывает одно из стихотворений следующего сборника «Продолжение». Она символизирует сложность и напряженность обстановки, не располагающей к легкому оптимизму, служит лаконичной декорацией к психологической драме.

Многие стихотворения Анагностакиса из циклов «Продолжение» и в самом деле напоминают короткие психологические драмы. Главный конфликт заложен в столкновении идеалов юности, за которые пролито столько крови, и будничной суеты, затягивающей своей монотонностью, приземленностью, усталостью, когда «сотни капканов, расставленных жизнью, ждут твоего падения».

Последняя фраза тоже принадлежит к числу повторяющихся, ключевых. Поэта очень тревожат эти капканы, замаскированные обманчивым ощущением, что «приговоренные дни», «когда ночи сменялись ночами», уже миновали:

Ты только знаешь
Как можно пропасть утонуть
В прекрасном течении лет в белых
рубашках
В белых улыбках в белых новеньких
книгах

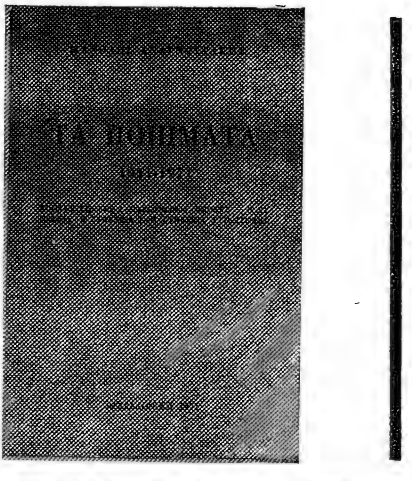
Ты только знаешь как тонут
В новой одежде на новых улицах
В аплодисментах которыми тебя
провожают
В благожелательных отзывах которых
все больше и больше.

«Сотни капканов расставленных жизнью
ждут твоего падения»
Капканы аплодисментов как холостые
выстрелы.

(«Ты только знаешь...»)

Падение — это осознанный, а иногда и неосознанный отказ от прошлого, метаморфоза перерождения, которая вызывает у Анагностакиса негодование и презрение. Тем глубже уважение поэта к «рыбакам, которые оставили свои сети» во имя борьбы и «не покидают пути, которому нет конца».

«Прошлое не продается»,— пишет Анагностакис в третьем цикле «Продолжение», а несколько лет спустя, уже после переворота 1967 года, в стихотворении «Небо» он подтвердит свою верность «высоким деревьям»,



СРЕДИ КНИГ

на коре которых вырезаны «святые имена», и в заключение твердо скажет: «Здесь дровосеки не ходят».

Название последнего цикла —«Цель» — сообщает сборнику особое звучание, передает идею его композиционного единства и укрепляет у читателя ощущение почти сюжетной связанности циклов в неразрывную художественную ткань, в цельное произведение о том, как поколение греческих демократов, призывников Сопротивления, вот уже тридцать лет неуклонно идет к высоким целям свободы и демократии.

Предугадывая упрек критики, ожидающей от поэзии «чарующей туманности», упрек:

А вы взяли молот и словно цыгане
Непрерывно стучите по одной
наковальне,—
(«*Критика*»)

Анагностакис демонстративно признает:

Как цыгане
стучим
непрерывно
по одной наковальне.

Он провозглашает неизменность своей главной темы и своей суровой, мужественной поэтической манеры.

С. ИЛЬИНСКАЯ

ПЕРВЫЙ РОМАН АЛЬБЕРА КАМЮ

Albert Camus. La mort heureuse. Paris, Gallimard, 1971.

Спустя тринадцать лет после гибели Альбер Камю по-прежнему остается одним из наиболее читаемых писателей во Франции. Роман «Чума» недавно побил тиражный рекорд крупнейшего издательства Галлимара: полтора миллиона экземпляров. Конечно, тринадцать лет — срок еще небольшой, но показателен характер славы Камю: его не просто читают, но и изучают с пристрастием. Организован даже специальный научный центр.

Камю в самом деле интересен для изучения. И не только как выдающийся писатель XX века, но и как сгусток характерных рефлексий и забот, которыми обременена известная часть интеллигенции современного Запада. Советский читатель в достаточной мере знаком с художественным творчеством Камю и знает сильные и слабые стороны его дарования. Это был писатель, близко к сердцу принимавший страдания людей и в то же время отвергавший революционные формы борьбы за социальную справедливость. Это был моралист, откровенно признавшийся в своей «исповеди» при получении Нобелевской премии, что богат одними сомнениями.

Камю рано нашел свои темы и остался им верен всю жизнь. Менялось, однако, их освещение. Взгляды Камю, сама его философия претерпели значительную эволюцию. О становлении Камю как писателя мы можем ныне полнее судить по содержанию недавно опубликованной в Париже первой «Тетради Альбера Камю», которая занята юношеским его романом «Счастливая смерть».

Роман писался на протяжении 1936—1938 годов, был в основном завершен, но так и не был опубликован его создателем. Появившись в прошлом году на книжных прилавках Парижа, он пользовался известным успехом и даже на несколько недель попал в списки бестселлеров. Не следует, впрочем, обманываться: успех всецело определялся именем, стоящим на обложке. Камю знал, почему он не печатал свою книгу. В процессе работы над «Счастливой смертью», буквально во чреве этого произведения, родился, а затем стал бурно развиваться, поощряемый авторской фантазией, замысел другого романа, который в конце концов «задушил» «Счастливую смерть», не имевшую сил сопротивляться новому сюжету «Постороннего». «Счастливая смерть»— наиболее автобиографический из романов писателя. Камю поселил своего героя Патриса Мерсо (в «Постороннем» герой сохранит ту же фамилию, лишь добавится одна буква: Mersault—Meursault) в бедном алжирском квартале, атмосфера которого была хорошо знакома автору с детства. На ранней стадии работы над романом Камю даже намеревался сделать Патриса непризнанным писателем, замыслившим рассказать историю приговоренного к смертной казни (эта тема волновала Камю всегда). Автор «переписал» в роман свой путевой дневник, полный впечатлений о поездке в Прагу и Вену, а в набросках женских профилей «на полях» биографы без труда узнают первые увлечения молодого Камю.

«Счастливая смерть» — роман о счастье и его смысле. Мелкий служащий почтовой конторы, Мерсо, как все люди на свете, желает быть счастливым. Но какое может быть счастье, коли бедность навязывает его существованию монотонный ритм, похожий на тиканье ходиков? Финансовая независимость становится необходимейшей предпосылкой для счастья. А ради нее все позволено? На этот вопрос, вызревающий в романе, Камю отвечает отнюдь не с опреде-

ленностью автора «Преступления и наказания». Он как бы на минуту заколебался, не решив до конца коренной моральной проблемы. И тут же, словно сквозь щель, пролезло полупозволенное преступление.

Через свою любовницу, очень схожую, кстати, с машинисткой Мари из «Постороннего», Мерсо знакомится с неким Загреусом,— богатым калекой, потерявшим обе ноги. Загреус проникается к нему симпатией, а затем сам толкает на путь опасных искушений. Он указывает Мерсо местонахождение своих капиталов, а также револьвера и записки, заготовленной им на случай самоубийства с традиционным «никого не винить». Мерсо не устоял. Он разрядил револьвер в висок Загреуса и взял деньги.

Казалось бы, Мерсо лишь «помог» бедняге, для которого жизнь утратила смысл, но ведь и преступление налицо. При этом (что важно!) Мерсо не теряет благосклонного к себе отношения со стороны автора, который охотно дарит ему «ту способность забвения, которая свойственна ребенку, гению или невиновному человеку». Пользуясь методом исключения, легко установить, что Мерсо, по мнению автора, «не виновен».

Проблема преступления ради счастья остается в романе открытой, и это весьма опасная «открытость».

Заполучив деньги, Мерсо отправляется в путешествие по Европе, но хмурое небо севера гнетет его, и он с облегчением возвращается в родной Алжир. Поселившись на берегу моря в доме под символическим названием «Дом перед миром» (с его веранды видны голько звезды, закаты, приливы), Мерсо находит свое счастье, сотканное из одних чувственных удовольствий. Как выясняется, он активный враг интеллекта и относится к нему по меньшей мере с подозрением. Знакомясь со своей будущей женой (и прельстясь ее телесной «выпуклостью»), Патрис с радостью отмечает, что она «неумна».

В конце концов герой оставляет «Дом перед миром». На вопрос «почему» отвечает туманно: человек рискует лишиться счастья, ежели он любим. Мерсо теперь счастлив, живя в деревенском уединении. Но он болен туберкулезом, дни его сочтены. Задумываясь над прожитой жизнью, он не скорбит о приближении смерти: кто был счастлив, к тому придет счастливая смерть. И неважно, сколько времени был счастлив человек — достаточно мгновения,— важно, что он был счастлив. В отличие от убитого им Загреуса, который встречает смерть с глазами, полными слез, Мерсо умирает спокойно и «счастливо».

Описывая смерть Мерсо, Камю — сам болевший в молодости туберкулезом, который довел его в 1936 году до кризисного состояния,— предложил свой вариант преодоления извечного страха смерти, но вряд ли его можно признать сколько-нибудь удачным...

Нетрудно заметить, что роман дает богатые возможности для сближения его с «Посторонним» (чем не преминут заняться исследователи творчества Камю). При самом беглом сравнении двух центральных героев бросается в глаза, что оба они в большей или меньшей степени представляют тип асоциального человека с атрофированным честолюбием. В своем догреховном язычестве они очень похожи, хотя и разница между ними существенна. В «Постороннем» заметно непримиримое противоречие между характером героя и формой повествования (от Мерсо), которая волей-неволей заставляет его занять активную позицию в оценке событий, хотя бы при отборе и подаче фактов. Камю же стремился (по собственным словам) создать персонаж, лишь отвечающий на вопросы. «Актерство» Мерсо, в последних строчках романа открыто созывающего зрителей на представление собственной казни за убийство араба, дает герою возможность ускользнуть от однозначной оценки и оставляет читателя в недоумении: не роман, а головоломка!

Подобная намеренная неопределенность, нетождественность героя самому себе совершенно несвойственна Мерсо (из «Счастливой смерти»). Случается, правда, слышать из его уст философские рассуждения, к нему никак не идущие, но читатель быстро ориентируется: это заговорил сам автор,— и герой остается, так сказать, незапятнанным. Он еще обитает в мире «традиционных» человеческих чувств. Он не станет уверять, что ему безразлично, кто целует его Мари,— нет, он устроит любовнице сцену ревности, нелепую, как все сцены ревности, не достоверную, доподлинную. Он не станет, как Мерсо-старший, также бравировать равнодушием к памяти матери. Напротив, он вспомнит ее с нежностью: «Раньше бедность рядом с матерью имела свою сладость,— читаем мы в «Счастливой смерти».— Когда они встречались вечером и вместе ужинали при керосиновой лампе, то в этой простоте и убогости было какое-то свое тайное счастье... Теперь же бедность в одиночестве превратилась в ужасную нищету».

Патрис Мерсо имеет свои идефикс (вроде «счастливой смерти»), но Мерсо из «Постороннего» сам по себе становится идефиксом, который, не будучи в состоянии воплотиться в реальном человеческом облике, принимает форму «мифа»,— и в этом отличие одного Мерсо от другого.

Характеризуя «Счастливую смерть», французская критика отмечала, что роман плохо скроен, но замечательно написан. «Замечательно», возможно, и преувеличение, дань уважения к имени Камю, однако действительно язык книги — особенно описания довоенной Праги с ее соборами, кабачками, уличными торговками, а также всегда любезные сердцу писателя алжирские средиземноморские пейзажи — свидетельствует о незаурядности дарования автора «Счастливой смерти». Вместе с тем сюжет откровенно вял да и композиция не совсем ловкая: вставным эпизодом выглядит в книге все европейское путешествие... Впрочем, само литературное «путешествие» Альбера Камю тогда только начиналось.

ВИК. ЕРОФЕЕВ

◆

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«МАГОГ» ЭНДРЮ СИНКЛЕРА

Издательство «Уайденфелд энд Николсон» выпустило роман известного английского прозаика, историка по образованию Эндрю Синклера «Магог». «Магог» — продолжение предыдущей книги автора «Гог», опубликованной в 1967 г. Если в «Гоге» Эндрю Синклер рассказал о некоем Джордже Гриффите, человеке не от мира сего, всеми силами души ненавидящего современную Англию коррупции и цинизма, то в «Магоге» речь идет о его брате Магнусе, полной социальной и этической противоположности Джорджа.

На протяжении всей своей карьеры Магог занимает высокие посты. В начале книги он — крупный служащий военного министерства, в его обязанности входит уничтожение нервно-паралитического газа, оставшегося после войны. Правда, Магог весьма своеобразно понимает эту задачу: нимало не заботясь о неминуемых трагических последствиях, он отдает распоряжение сбросить контейнеры с газом в море.

После военного ведомства полем его деятельности становится английская кинопромышленность. Однако свою миссию он ограничивает тем, что при нем вообще не ставятся никакие фильмы.

В конце своей далеко нечистоплотной карьеры Магог решает приобщиться к академическим сферам. Он публикует исследования, написанные не им и не представляющие никакого научного интереса. «Успех в науке» наводит Магога на мысль субсидировать строительство колледжа, чтобы в дальнейшем стать его деканом. Однако он вынужден уйти в отставку, не выдержав напора «молодых магогов».

Прозвища Гог и Магог, которые друзья дали брать-

Внимание английской театральной критики привлекла поставленная театром «Роял Корт» новая пьеса известного английского драматурга Арнольда Уэскера «Старики». По мнению критики, общее ее настроение можно передать словами Екклесиаста «суета сует...», однако, как отмечает рецензент американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн», в ней «много жизнерадостности, упоения малыми радостями жизни... надежды и человечности».

Сьюзан Энгел и Макс Уолл в пьесе А. Уэскера «Старики».
(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

ям, заставляют вспомнить о двух гигантах древнего Альбиона, каменные фигуры которых находятся в Гильдхолле в Лондоне. Предание и библейский текст гласят, что братья находились в постоянной вражде друг с другом.

Для Эндрю Синклера мифические параллели неслучайны. Хотя действие происходит в послевоенной Англии и охватывает период времени в 25 лет (с 1945 по 1970 г.), эпическое повествование, как отмечают британские рецензенты, пронизывают миф, притчи, аллегории. Повествование приобретает космический размах и раздвигает временные рамки.

Английская критика очень живо откликнулась на появление нового романа Эндрю Синклера. Обозреватель «Таймс литерари сапплмент» озаглавил рецензию на книгу «Сплошное безумие». По мнению критика, писатель дает глубоко сатирическую картину современной Англии и целого ряда других западноевропейских государств, показывает, в какой фарс превратились многие общественные институты.

Освел Блейкстон в еженедельнике «Букс энд букмен» в целом считает роман удачей, но отмечает, что книга, несомненно, выиграла бы, если бы автор был более сдержанным и не столь слепо отдался во власть фарса, пародии, гротеска. Иногда этот фарс утомляет и портит серьезное эпико-сатирическое повествование.

Интересна статья Кена Штита в «Нью стейтсмен» под названием «Поиск». Критик полагает, что «Магог» это не только широчайшее эпическое полотно в котором перед читателем проходят многие государства, вершатся исторические события: рушится Британская империя, происходит революция на Кубе, гремят майские события 1968 г. во Франции, бунтует молодежь Америки, заявляют о своем существовании хиппи,— «Магог» — это и моральная притча.

Рецензент пишет, что жизнь основных героев романа можно рассматривать как поиск того, что в состоянии наполнить существование смыслом. Каждый персонаж находит собственное решение: одна из дочерей Магога, Роза, становится убежденной гедонисткой, ее сестра Джозефа уезжает на Кубу строить социализм. Сам Магог на закате дней своих приходит к выводу, что жизнь бессмысленна без любви, без служения «светлым силам жизни».

В целом одобряя новый роман Эндрю Синклера, английские критики указывают на ряд недостатков и художественных просчетов. Автору, в намерение которого входило создать гигантское эпико-сатирическое полотно, слишком часто не хватает цельности, стройности и четкости. Эндрю Синклеру, ученику Олдоса Хаксли и Ивлина Во, пока еще не хватает мастерства учителей.

«СВЯТАЯ СИБИЛЛА ТОРНДАЙК»

Театральная общественность Англии отметила недавно 90-летие со дня рождения выдающейся деятельницы Национального театра—Сибиллы Торндайк. Это ей Шоу подарил экземпляр своей пьесы о святой Иоанне с такой надписью: «Святой Сибилле Торндайк от святого Бернарда Шоу»,— после того как актриса выступила в заглавной роли его пьесы, премьера которой состоялась 26 января 1924 года. Вокруг этой постановки возникли даже легенды: так, некоторые утверждали, будто Шоу написал пьесу о Жанне д'Арк специально для Сибиллы Торндайк.

За семь десятилетий, отданных театру, Сибилла Торндайк сыграла немало ролей, создала множество образов. Она известна и как неутомимая общественная деятельница, отдавшая немало сил становлению Национального театра. Вместе со своим мужем Сибилла Торндайк участвовала в предвоенные годы в борьбе за создание союза актеров и ликвидацию безработицы, за разоружение и предоставление независимости Индии.

Юбилей Сибиллы Торндайк отмечается печатью разных направлений. Газета «Морнинг стар» напечатала обширное интервью с ней.

ВЕНГРИЯ

НОВАЯ ДРАМА ДЮЛЫ ИЙЕША «БРАТЬЯ»

Имя крупнейшего современного венгерского поэта, прозаика, драматурга, лауреата Государственной премии им. Кошута Дюлы Ийеша знакомо советскому читателю по пьесе «Пламя факела», опубликованной в сборнике «Современные венгерские пьесы», сборнику стихов «Рукопожатие» и повести «Обед в замке» (см. «Иностранную литературу» № 9, 1971 г.)

Новая пьеса Д. Ийеша «Братья» — пьеса историческая (как, впрочем, почти все драматические произведения писателя), она посвящена предводителю крестьянского восстания в Венгрии в 1514 году, легендарному герою венгерского народа Дёрдю Доже, 500 лет со дня рождения которого в прошлом году отмечалось в стране как национальный праздник.

Дюла Ийеш не первый раз обращается к образу крестьянского вождя. Еще в 1956 году им была написана пьеса «Дёрдь Дожа». «Поскольку я сам выходец из крестьян, первые свои драмы я посвятил им, предводителям народной революции»,— писал Ийеш в 1967 году. Время показало, что не только первые.

В «Братьях», где главными действующими лицами являются Дёрдь Дожа и его брат Гергей, сподвижник по борьбе, Ийеш ставит задачу переосмысления важнейших событий своей истории с позиций сегодняшнего дня. Пьеса написана в форме диалога: два брата — Дёрдь

и Гергей — отстаивают свои точки зрения на сущность революции. «Я хотел подчеркнуть в этой пьесе,— пишет Дюла Ийеш на страницах газеты «Непсабадшаг»,— что зачастую мы вынуждены делать не то, что планируем, а то, что необходимо в настоящих обстоятельствах». Дёрдь был человеком действия, Гергей — сторонником идеи. Гергей должен был умереть, потому что с самого начала он не смог пойти по пути осознанной необходимости... Но Ийеш считает, что полностью раскрыть образ Д. Дожи ему не удалось и в этой пьесе. Он думает это сделать в третьей...

Такое утверждение свидетельствует о том, что писатель, которому недавно исполнилось 70 лет, полон сил, энергии и творческих планов.

ВЫСТАВКА СОВЕТСКОЙ КНИГИ

С большим успехом прошла в Венгрии выставка советской книги, посвященная 50-летию СССР.

Экспонаты и плакаты выставки рассказали посетителям о книгоиздательском деле в СССР, о том, что в Советском Союзе было выпущено более 38 миллиардов книг, в типографиях каждую минуту рождается 2500 книг, в стране работает больше 200 издательств.

Среди книг, представленных на выставке, значительную часть занимали произведения В. И. Ленина и книги о нем. Широко экспонировались на выставке произведения русской и зарубежной классики, а также произведения советских писателей.

Специальный раздел был посвящен литературе народов СССР, в котором представлены книги всех республик Советского Союза.

Несколько стендов занимали произведения венгерских писателей, изданные на русском языке и языках народов СССР.

ГАБОН

Кадр из фильма габонского режиссера Филипа Леури «Тамтамы замолчали», удостоенного специального приза жюри на фестивале франкоязычных стран 1972 года в Динаре.

(Журнал «Жён Африк»)

ГАНА

ДЖОН ОКАЙ — ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ГАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

«Поэт, совершивший революцию в ганской литературе» — под таким заголовком ганская газета «Уикли спектейтор» поместила статью о выпускнике Московского литературного института имени М. Горького Джоне Окае. В статье, в частности, говорится:

«Окай поехал на учебу в СССР в 1961 году по стипендии ганского правительства. В 1967 году он вернулся на родину, но там его ждал прохладный прием. Интеллектуалы, не понявшие его стихов и не простившие ему того, что поэт учился в Москве, закрыли Окаю доступ в свой круг. Долгое время ему не удавалось найти работу».

В 1968 году, все еще будучи безработным, Окай был избран членом Английского королевского общества изящных искусств. Поэт уезжает в Англию и поступает в аспирантуру Лондонского университета. Закончив ее в 1971 году, Окай вновь возвращается на родину.

К нему, наконец, приходит запоздалое признание. В настоящее время Окай работает преподавателем факультета иностранных языков Ганского университета и является президентом Ассоциации ганских писателей.

ГДР

НОВЫЙ РОМАН ГЮНТЕРА ДЕ БРОЙНА

После большого перерыва встречаются два человека, дружившие в юности, а затем потерявшие друг друга из виду. Пауль Шустер стал автором многих книг, ему присуждена литературная премия, Тео Овербеку предстоит произнести речь на торжественном вручении этой премии. Однако своей речи Овербек так и не произносит. Он не может похвалить книгу, по существу слабую, хотя и написанную «по всем правилам», не может принять своего бывшего друга, ставшего преуспевающим писателем, а по существу воинствующим мещанином.

Один день описал в своем новом романе «Присуждение премии» Гюнтер де Бройн, показав жизнь семьи Овербеков и поставив важнейшие для современной жизни вопросы о долге человека, его совести, его призвании. Рядом с Тео, его женой Ireной и 17-летней дочерью Корнелией, их жизнью и проблемами, которые их волнуют, особенно гротескными выглядят Пауль Шустер и его жена Улла. Они не раз заставят читателя посмеяться, хотя сатирически-юмористическая основа романа не мешает серьезным и глубоким размышлениям.

«Проблематика романа «Присуждение премии» в какой-то мере более социальна, чем в романе «Буриданов осел» (см. «ИЛ» № 11—12, 1969 г.),— сказал Гюнтер де Бройн в беседе с редактором издательства «Миттельдойчер ферлаг»,

выпустившего книгу.— Два человека сталкиваются в романе — писатель Пауль Шустер, который думает, что жить нужно проще, на многое смотря сквозь пальцы, и его бывший друг Овербек, которого его жизненные принципы заставляют жить «неудобной», трудной жизнью... У меня было много сложностей во время работы, я старался достичь предельной концентрации сюжета и поэтому использовал приемы новеллистики. Это придало книге ту форму сжатости и немногословности, которая мне представлялась необходимой».

«Новая книга де Бройна, задуманная как роман о браке, вышла далеко за пределы семейной темы,— пишет Вернер Лирш в еженедельнике «Зонntаг».— Главные проблемы романа — поиски правды и разное отношение героев к этой правде — делают роман «Присуждение премии» произведением о человеческой этике и морали».

РАССКАЗЫ ЭРВИНА ШТРИТТМАТТЕРА

«Эти четыре рассказа объединенные в один цикл, одновременно и новеллы, и истории из жизни самого писателя. Написанные с большим юмором, они тем не менее дают читателю представление о чувствах и мыслях автора, воскрешают картины его детства и юности»,— пишет журнал «Нойе дойче литератур» в аннотации на новую книгу Эрвина Штриттматтера «Голубой соловей, или Начало чего-то».

Рассказывая о себе, о своем деде и других родственниках, писатель затрагивает целый ряд проблем: это и история Германии, и семейные отношения людей, и нравственные вопросы, и проблема фашизма. Мастерски рисуя такие характеры, как характер тетушки Эли — самоотверженной труженицы или дядюшки Филе, ослепленного алкоголем и бульварной литературой, Штриттматтер отнюдь не идеализирует «старое доброе время». Наоборот, сильные и интересные люди из народа в его рассказах предстают перед читателем как жертвы того времени, тех социальных условий.

Эта автобиографическая книга интересна еще и тем, что читатель встретит в ней прообразы многих героев Штриттматтера. Дед, который играл в жизни мальчика очень большую роль, явился прототипом старого Краске из «Тинко», многие черты деда нашли отражение в «Календаре всякой всячины» и в «Без четверти сто маленьких историй», одна из героинь напоминает сатирическую фигуру Фриды Симсон из романа «Оле Бинкоп».

«Новые автобиографические рассказы Штриттматтера позволяют заглянуть в творческую лабораторию писателя, каждую новую книгу которого мы ждем как большого, настоящего друга»,— пишет в журнале «Нойе дойче литератур» Клаус Ярмач.

ДАНИЯ

ИЗДАНИЕ ДНЕВНИКОВ АНДЕРСЕНА

Вышли из печати два первых тома дневников замечательного датского сказочника Ханса Кристиана Андер-

---

Пьеса Эриха Кёлера «Дух Краница» о жизни современной деревни поставлена на сцене берлинского театра «Фольксбюне».
На снимке: Гюнтер Юнгханс и Герман Бейер в главных ролях.

(Еженедельник «Зонntаг»)

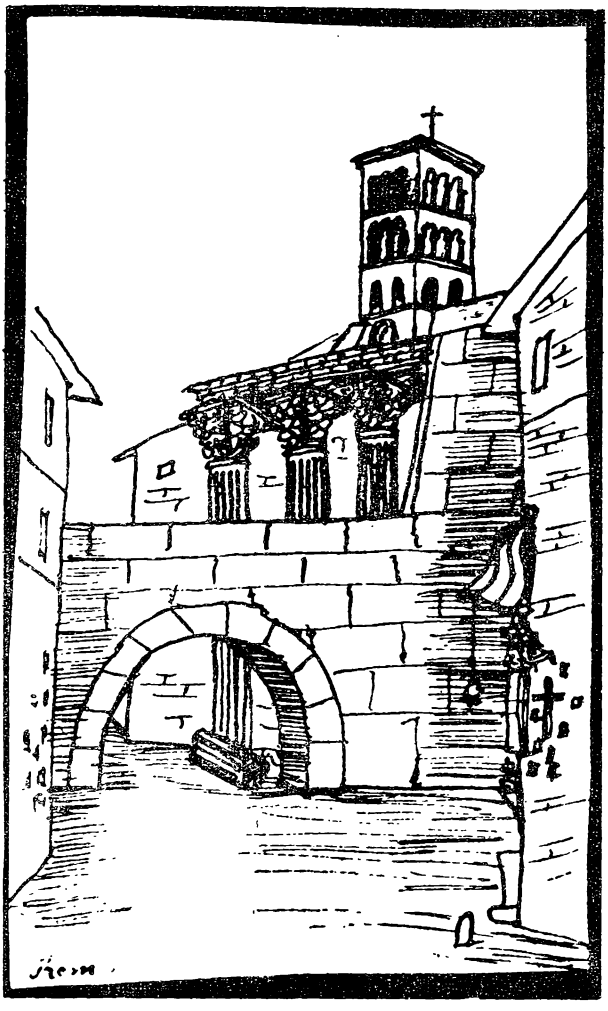


Рисунок Х. К. Андерсена.

(«Дэниш джорнэл»)

сена, которые он вел, начиная с 1825 года в течение полувека, вплоть до смерти. Издание это предпринято датским Обществом языка и литературы в связи с предстоящей в 1975 году столетней годовщиной со дня смерти писателя. Всего выйдет из печати десять объемистых томов, из которых читатель узнает о повседневном быте Андерсена, больших и малых событиях в его жизни, о его путевых впечатлениях, о радостях и заботах.

Как отмечает рецензент ежеквартального издания «Данск бладфорлаг» Лотта Эскелунд, до сих пор издавались лишь отрывки из дневников Андерсена. При жизни писатель создал автобиографические заметки, однако, по мнению рецензента, они даже отдаленно не напоминали дневники, где Андерсен пишет о себе весьма откровенно и непосредственно.

Для человека той эпохи, когда железная дорога была высшим достижением технического прогресса, Андерсен много путешествовал. В 30-е годы XIX века он побывал во Франции, Италии, Швейцарии. В Париже Андерсен встретился с Виктором Гюго и Генрихом Гейне.

Жизнь этих стран живо интересовала писателя, находя отражение в его дневнике и рисунках, воспроизводимых в этом издании. Окна собора Парижской богоматери напоминают ему «колоссальных размеров калейдоскопы»; сосны «похожи на раскрытые, а кипарисы — на закрытые зонтики». А 14 сентября 1833 года он сделал следующую запись: «Когда мы приблизились к месту спуска с Юры... Альпы показались мне сложенными крыльями Земли. Она словно подняла их, расправила огромные перья, образуемые темными лесами разных оттенков, живописными водопадами, глетчерами и облаками: какая великолепная картина!..»

ЕГИПЕТ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ «ДИВАНА» ИБН ШУХЕЙДА

Недавно в Каире в серии «Наше наследие» вышло новое издание «Дивана» Ибн Шухейда под редакцией и с большой вступительной статьей ученого-арабиста Дж. Дики.

Ибн Шухейд является одной из крупнейших фигур в литературе арабо-мусульманской Испании. Выходец из аристократической семьи кордовских визирей, поэт, писатель и критик Абу Амир Ахмад Ибн Шухейд (992—1035), как считают ученые-востоковеды, первым из писателей Андалусии выступил против слепого преклонения перед восточноарабскими литературными авторитетами, подвергнув их остроумной и едкой критике в своем знаменитом «Послании о духах-двойниках и демонах».

Кроме прозаических произведений, Ибн Шухейду принадлежит немало великолепных стихов — изящных лирических газелей «винных» стихотворений и панегириков, отмеченных большим чувством собственного достоинства.

К сожалению, поэтические произведения Ибн Шу-

хейда дошли до нас в основном в отрывках. Французский востоковед Шарль Пелла впервые собрал все сохранившиеся стихи поэта в «Диван», который был опубликован в Бейруте в 1957 г.

Издающийся в Лондоне «Бюллетень школы восточных и африканских исследований» опубликовал рецензию на новый «Диван» поэта. По мнению автора рецензии — видного американского специалиста по арабо-испанской литературе Дж. Т. Монро,— новое издание представляет особую ценность благодаря вступительной статье, содержащей критическое исследование биографии Ибн Шухейда и его эпохи. Вступление к «Дивану» состоит из семи частей. В первых пяти частях прослеживаются обстоятельства жизни и политической карьеры Ибн Шухейда на фоне быстрого упадка и последовавшего вслед за тем распада Кордовского халифата, свидетелем которых пришлось быть поэту. В шестой, по мнению Монро, самой интересной части вступления, которая носит название «Идеи Ибн Шухейда», рассматриваются взгляды поэта на литературное творчество. Ибн Шухейд считал, что главное для писателя — талант и что «красноречие не достигается заучиванием наизусть малопонятных слов и грамматических правил». Заключительная, седьмая часть вступительной статьи посвящена анализу источников биографии поэта. «Диван» включает 73 стихотворения Ибн Шухейда. В приложении к книге помещены словарь рифм, высказывания современников об Ибн Шухейде и стихи отца поэта, служившего визирем у прославленного андалусского правителя аль-Мансура (Альманзора).

«ПОЭЗИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЕГИПТА»

В качестве приложения к «Журналу арабской литературы» — новому периодическому изданию на английском языке, выходящему в Лейдене (Нидерланды) один раз в год, — опубликован труд арабского литературоведа Муны Хури «Поэзия и становление современного Египта (1882—1922)». В книге М. Хури исследуется творчество крупнейших египетских поэтов, живших в эпоху британской колониальной оккупации страны, и рассматривается связь их поэзии с национально-освободительным движением.

В хронологической последовательности автор исследует творчество поэта-трибуна, участника вооруженного восстания против англичан Махмуда Сами аль-Баруди, политические стихотворения прославленных мастеров поэзии Ахмада Шауки, Хафиза Ибрахима и Али аль-Гаяти и произведения выдающихся лириков Халиля Мутрана и Абд ар-Рахмана Шукри.

ИОРДАНИЯ

«КАРТИНЫ С ЗАПАДНОГО БЕРЕГА ИОРДАНА»

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», в Аммане вышла книга «Картины с Западного берега Иордана», автор которой скрыл свое имя под псевдонимом «Арабский журналист». Книга, по словам журнала, содержит разнообразные очерки, посвященные «проблеме, которая в настоящее время занимает умы всех арабов,— жизни и борьбе арабского палестинского народа на оккупированной Израилем территории. Очерки привлекают своей искренностью и остротой».

РАССКАЗЫ МОЛОДЫХ НОВЕЛЛИСТОВ

Три начинающих иорданских новеллиста — Халиль ас-Савахри, Бадр Абд аль-Хакк и Фахри Каавар выпустили сборник коротких рассказов под названием «Три голоса».

Как пишет журнал «Аль-Адиб», этот сборник представляет собой удачную попытку изобразить современную иорданскую действительность, хотя содержащиеся в нем рассказы неравноценны по степени художественного мастерства.

ИНДИЯ

ВЕХА В ИНДИЙСКОМ КИНО

Новая работа бенгальского режиссера Мринала Сена «Калькутта-71» представляла Индию на 33-м Международном кинофестивале в Венеции. Недавно картина начала демонстрироваться в индийских кинотеатрах и сразу привлекла внимание широкого зрителя и критики.

Рецензент еженедельника «Линк» Ашиз Барман называет ее «вторым самым знаменательным произведением

Актриса Мадхаби Чакраварти в фильме «Калькутта-71». *(Журнал «Линк»)*

национального экрана за 25 лет независимого развития страны». Первым признан фильм «Дорожная песня», созданный в 1955 году крупнейшим художником Бенгалин Сатьяджитом Раем.

Герой картины «Калькутта-71» молодой индиец совершает воображаемое путешествие во времени. Его глазами смотрит режиссер на мир, с его позиций оценивает происходящие события и явления.

В фильме несколько тем, но Мринал Сен не придерживается последовательности повествования. Он добивается убедительности приемом контраста, располагая рядом кадры прошлого и настоящего и сопоставляя их с картинами будущего.

«Калькутта-71», по оценке рецензента,— «веха в индийском кино не только с точки зрения социальной глубины и политической бескомпромиссности, но и с точки зрения художественной завершенности стиля».

ИТАЛИЯ

ГРАЦИЯ ДЕЛЕДДА И САРДИНИЯ

Внимание литературной общественности Италии привлекла научная сессия, посвященная творчеству Грации Деледды, которая проводилась в связи со столетием со дня рождения писательницы на ее родине — в сардинском городе Нуоро. Были заслушаны семь докладов, получившие затем широкий отклик также и в римской печати. Как сами доклады, так и участие в сессии многих видных литературоведов, социологов, специалистов по проблемам Юга Италии свидетельствовали о важности и актуальности этого научного совещания, значение которого выходило за рамки изучения творчества писательницы и явилось заметным событием в культурной жизни страны.

Видный социолог Спинацола остановился на причинах невероятно широкой популярности произведений Деледды, о которой свидетельствовало также присуждение писательнице в 1926 году Нобелевской премии. Одну из причин этой популярности он видит в «стилистической демократичности» писательницы, стремившейся к доходчивости своих книг. Произведения Деледды — один из сравнительно ранних примеров «массовой литературы».

Острую дискуссию вызвала проблема, являющаяся, видимо, на Сардинии злободневной и поныне,— язык, на котором писала Деледда: писательница описывала жизнь родной Сардинии не на сардинском, а на итальянском языке, прибегая к некоторым диалектизмам. Многие выступавшие говорили о том, что она «предала» родную сардинскую речь, хотя вместе с тем признавали, что сардинский язык своей письменности до сих пор не имеет и все больше деградирует, превращаясь в один из итальянских диалектов. Научная сессия, посвященная Деледде, вылилась в широкое обсуждение многих животрепещущих вопросов культурной жизни острова. Обсуждение творчества Грации Деледды, как отмечает печать, явилось всего лишь «предлогом» для такой дискуссии. Большую статью, посвященную итогам этой научной конференции, поместил в газете «Унита» критик Марио Лунетта.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ

Из многочисленных итальянских литературных премий премия «Поццале» имени литературоведа Луиджи Руссо, присуждаемая рабочими и студентами в городе Эмполи,—несомненно, самая демократическая. Сперва она присуждалась на народных праздниках, выдавалась она натурой — вином, сыром, фруктами или какой-нибудь живностью, жеребятами, овцами. Потом эта учрежденная двадцать пять лет назад премия стала

«Тревико-Турин» называется фильм, поставленный режиссером - коммунистом Этторе Сколой и привлекший внимание итальянских зрителей и прогрессивной критики.

(Газета «Унита»)

присуждаться молодым писателям за первое произведение, оценки ее давались строже, присуждать премию начало специально избранное жюри.

Ныне эта премия, полностью сохраняя свою демократичность, становится еще более авторитетной, освобождается от своего несколько провинциального характера. В этом году премия «Поццале» будет присуждаться за лучшее произведение года — как литературное, так и публицистическое, и литературоведческое. Состав жюри расширен, в него вместе со специалистами по-прежнему входят рабочие и студенты. Еще не установлены ни порядок присуждения, ни порядок вручения премии, ни ее содержание — все эти вопросы оставлены на усмотрение общественности и добровольных организаторов конкурса. Определен лишь список произведений, участвующих в конкурсе на соискание премии, в город привезено достаточное количество книг, чтобы с

ними смогли познакомиться все читатели. В числе полутора десятка книг — участников конкурса — «История неаполитанского рабочего» Каччапуоти, «Встречи с Дебенедетти» Чекки, сборник «Хочу травы» разных авторов, роман «Хотим все» Балестрини и многие другие романы, повести и исследования, вышедшие в свет за последние два года.

КАНАДА

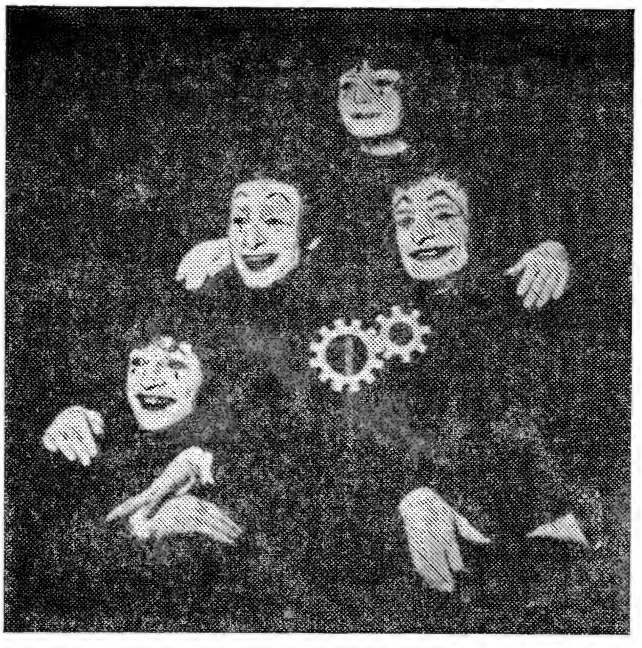
НА СЦЕНЕ МИМИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Значительную популярность приобрел в настоящее время Канадский мимический театр, гастролировавший в последнем сезоне по стране, а также совершивший поездку в Болгарию. В репертуаре театра — короткие пародии и сцены, а также двухактная пьеса канадского драматурга Мартина Леджера «Скитальцы», поставленная режиссером Алексом Нэги.

В пьесе рассказывается история двух безработных, перебивающихся случайными заработками. Они встречают бедную девушку, спасают ее от самоубийства, отчаянно борются за существование, с трудом добывая кусок хлеба. Однажды надежда как будто улыбнулась им, и они попытались открыть маленький ресторан, но все их старания пошли прахом. Все трое хотели пристроиться в театральную труппу, но только девушке предложили работу, а приятелей-скитальцев отвергли. Настал печальный момент сказать друг другу нерадостное «прости»...

Рецензент газеты «Кенэдиен трибюн» Мартин Стоун пишет о великолепной игре Мэгги Поттер в роли несчастной девушки, а также Адриана Пекнолда и Хэрроу Мэскоу в ролях приятелей-скитальцев. Рецензент пишет об успехе пьесы, который, по его мнению, обусловлен острым социальным содержанием «Скитальцев».

Члены труппы Канадского мимического театра (слева направо): Уэйн Спехт, Адриан Пекнолд, глава труппы, Мэгги Поттер и Хэрроу Мэскоу.
(Газета «Кенэдиен трибюн»)



КУБА

МАЯКОВСКИЙ НА ГАВАНСКОЙ СЦЕНЕ

В гаванском театре-студии «Уберт де Бланк» осуществлена постановка спектакля под названием «Ваше слово, товарищ Маузер» на стихи Владимира Маяковского. Стихи зачинателя советской поэзии всегда находили живой отклик среди кубинцев, и поэтому неудивительно, что спектакль был с энтузиазмом принят публикой и вызвал оживленные комментарии прессы.

Когда актеры появляются на сцене, пишет критик газеты «Гранма» Хосе Мануэль Отеро, через весь зал проносятся взволнованные слова «Ленин — всегда с нами!» Так начинается этот необычный спектакль, поставленный театром-студией. Здесь нет привычной сценографии, нет каких-то напоминаний об эпохе Маяковского, об исторических этапах, через которые прошла Советская страна. Этого и не нужно... Сами актеры — через стихи, через мизансцены — дают зрителю возможность живо вообразить те далекие события, потрясшие мир.

Группа театра-студии, отмечает кубинский критик, обращается непосредственно к чувствам и мыслям зрителя. Перед нами предстают жизнь и история, история и жизнь, в которых человек — главное действующее лицо, ведущее извечную борьбу против социального гнета и эксплуатации. Это театр, открывающий зрителю окно в мир больших чувств и страстей.

Каждая сцена, каждое слово спектакля приобретают свой особый смысл, вызывают особый резонанс, пишет Хосе Мануэль Отеро. Мы как бы воочию видим то время, когда пало русское самодержавие, когда русский рабочий приступил к созданию нового общества — того «земного рая», о котором он мечтал. Мы как бы встречаемся с человеком, уверенным в своем

будущем, человеком, который покончил с позорным прошлым и несправедливостью. Каждый исторический момент, каждый воинственный клич, каждая улыбка, рожденная от сознания, что ты работаешь на себя, несут в себе огромный эмоциональный заряд, который тут же передается зрителю. После того как со сцены прозвучала последняя нота «Интернационала», по залу пронесся шквал аплодисментов, и овация длилась более 10 минут...

Спектакль, продолжающийся около часа, завершается символической посадкой на сцене саженца оливкового дерева.

МАРОККО

НА СЦЕНЕ — «МАКАМЫ БАДИ АЗ-ЗАМАНА АЛЬ-ХАМАДАНИ»

Событием на IV Фестивале арабского театрального искусства, проходившем в прошлом году в Дамаске, явилась постановка пьесы известного марокканского режиссера и актера Тейиба эс-Саддики «Макамы Бади аз-Замана аль-Хамадани».

Живший в X веке в Иране арабский писатель Ахмед ибн Хусейн аль-Хамадани, прозванный «Бади аз-Заманом» («Чудом времен»), был основоположником очень популярного в арабской литературе жанра макам — своеобразных плутовских новелл, объединенных личностью главного героя — нищего бродяги, как правило, смышленого и красноречивого, пускающегося на разные хитрости, чтобы добыть себе пропитание. В макамах Бади аз-Замана этого героя-плута зовут Абу-ль-Фатхом Александрийцем.

«Тейиб эс-Саддики, поставивший впервые «Макамы Бади аз-Замана» на сцене руководимого им Муниципального театра в Касабланке, — пишет сирийский критик Рияд Исмет в статье «Опыт Тейиба эс-Саддики», опубликованной журналом «Аль-Адиб»,— придал «Макамам» современную праздничную, театральную форму в духе народной комедии». В его спектакле, по словам критика, достижения европейского театра сочетаются с традиционными для марокканского народного театра пением, танцами, мимикой и масками. Сирийский критик расценивает спектакль Муниципального театра Касабланки как подлинно новаторскую постановку, где «клоунада сочетается с высоким искусством, цирк — с современным театром и где рушатся все классические каноны. Все произведение пронизано критикой религиозных предрассудков, ловкого мошенничества и кричащих противоречий между ужасающей нищетой и фантастическим богатством».

Сирийский критик отмечает прекрасную, слаженную игру марокканских актеров и актрис, занятых в спектакле, особенно игру самого эс-Саддики, выступающего в роли главного героя «Макам» Абу-ль-Фатха.

Постановка «Макам Бади аз-Замана аль-Хамадани» знаменует собой новый успех эс-Саддики как режиссера и актера необычайно широкого творческого диапазона, воплотившего до этого на сцене образы героев Мольера (только в роли Скапена эс-Саддики выступал более 500 раз), Беккета и Ионеско и ряда марокканских пьес. Небезынтересно, что в ранней молодости эс-Саддики довелось работать во Французском национальном театре вместе с прославленным Жаном Виларом. Французские газеты писали о нем: «Этот марокканец пришел, чтобы научить нас понимать Мольера».

НОРВЕГИЯ

ПОРТРЕТ УБИЙЦЫ

Известный писатель и публицист Пер Ханссон написал книгу «Кто был Генри Риннан».

Имя Генри Риннана, одного из самых крупных военных преступников, связано с мрачными страницами норвежской истории.

Ближайший соратник Квислинга — главаря норвежских фашистов, шеф разведывательной службы с романтическим названием «Лола», Риннан был ставленником гестапо в Норвегии.

Документы судебного процесса, согласно которому 20 сентября 1946 года Риннан был приговорен к высшей мере наказания, дают полное представление о личности Риннана, о его преступной деятельности в годы второй мировой войны.

Активнейшим образом на протяжении многих лет Риннан истреблял, пытал и отправлял в концентрационные лагеря тех, кто оказывал сопротивление нацистским оккупантам, тех, кого подозревал в сочувствии большевикам.

Риннан и его банда «прославились» также как коварные провокаторы. Под маской борцов за свободу они проникали в группы Сопротивления, предавали и расстреливали его участников. Провокационная деятельность Риниана стоила жизни тысячам и тысячам невинных.

До последней минуты Риннаи не верил, что смертный приговор иад ним приведут в исполиение. Находясь в камере-одиночке, он еще рисовал «радужные перспективы» третьей мировой войны. Риннан надеялся, что спасительная рука поможет ему продолжить деятельность преступника и провокатора. И действительно... Фантастическим образом в рождественский вечер 1945 года, когда Берлин встречал первый мирный год после долгой войны, Риннан покинул тюрьму и незамеченным прошел к строго охраняемому отелю для дипломатов. Вряд ли он в одиночку справился бы с массивными стальными запорами. Правда, свобода Риннана длилась всего около часа.

В конце концов справедливость восторжествовала. Генри Риннан и его при-

спешники получили по заслугам — сам Риннан был расстрелян 1 февраля 1947 года.

В книге о Риннане Пер Ханссон не ограничивается лишь биографией преступника. Следуя фактам и событиям, он исследует причины возникновения фашизма в Норвегии, создает образы национальных героев норвежского Сопротивления.

Специалисты найдут в этой книге немало свежего исторического материала. Но достоинство книги не только в ее документальности. Произведение П. Ханссона отмечено гражданским пафосом, публицистичностью.

Рецензент газеты «Фрихетен» отзывается о книге как о новом достижении писателя: «Книга Пера Ханссона исключительна во всех отношениях... Она заинтересует и тех, кто рос во время войны, и современную молодежь, и особенно тех, кто участвовал в борьбе против оккупантов, явится великолепной иллюстрацией к важному поворотному пункту истории Норвегии».

ПОЛЬША

МУЗЕЙ МАРИИ ДОМБРОВСКОЙ

Читателям трилогии Марии Домбровской «Ночи и дни» хорошо известна деревня Сербинув, в которой жили герои романа Барбара и Богумил Нехчич. Подлинное название этой местности — Руссув, она расположена недалеко от города Калиша. Именно музей Калишской земли организовал здесь, в бывшем помещичьем доме, небольшой филиал музея великой писательницы.

В нижнем этаже помещается комната, оборудованная мебелью из варшавской квартиры Марии Домбровской. В верхнем этаже находится постоянная выставка, где можно увидеть фотографии Домбровской времен ее детства и юности и кончая снимками из последних лет ее жизни. Здесь экспонируются также портреты родителей писательницы — Людомиры и Юзефа Шумских, прототипов героев романа. В музей передано много писем, в том числе переписка Домбровской с жителями города Калиша, близкого писательнице и занявшего значительное место в романе «Ночи и дни».

В музее можно также познакомиться с Домбровской-художницей, так как здесь собраны акварели и пастели, написанные ею во Вроцлаве, где она жила в годы 1947—1948. На полках выставлены ее сочинения на польском и иностранных языках, на стенах висят театральные афиши и снимки сцен из спектаклей, поставленных театрами Вроцлава и Калиша по пьесам Домбровской.

Заместитель директора музея Калишской земли Олех Подлевский, рассказавший на страницах «Трибуны люду» о работе Руссувского филиала, говорит также о проекте создания небольшого этнографического музея с несколькими избами и хозяйственными постройками, где бы Сербинув был представлен таким, каким он был, когда здесь жили и трудились герои «Ночей и дней».

ПОЛВЕКА КАТОВИЦКОМУ ТЕАТРУ

Катовицкому драматическому театру им. Выспянского исполнилось 50 лет.

Первый театр в Шлёнске был создан в 1922 году. В межвоенные годы театр был активным пропагандистом польской национальной культуры. Он представил своим зрителям творения великих романтиков: Мицкевича, Словацкого, Норвида, Выспянского.

Катовицкий театр дал польскому искусству целую плеяду замечательных мастеров сцены, которые работают во многих театрах страны.

«Прекрасные традиции шлёнской Мельпомены, — сказал нынешний директор театра Игнацы Гоголевский,— продолжает плеяда, воспитанных этим театром актеров».

Сцена из спектакля Катовицкого театра «Королевские хроники». В роли Казимежа Ягеллончика — Томаш Мажецки, в роли кардинала Збигнева Олесьницкого — Владислав Корнак.

(Журнал «Перспективы»)

Юбилейный спектакль «Королевские хроники», поставленный Игнацы Гоголевским, стал событием. В основу спектакля легли произведения Выспянского, инсценированные Людвиком Рэнз.

«Этот спектакль, — по словам рецензента журнала «Панорама», — взволновал зрителей до глубины души. Перед их глазами возникла мистерия, повествующая о национальной особенности польского характера, о нашем историческом опыте и раздумьях, так мастерски воспроизведенных автором «Свадьбы» и «Ноябрьской ночи».

РУМЫНИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА ВАСИЛЕ РЕБРЯНУ

Недавно вышедшая в свет книга «Большой принц» из-

вестного прозаика и драматурга Василе Ребряну ярко раскрывает его дарование публициста. Некоторые вошедшие в этот сборник эссе и очерки были уже ранее напечатаны в румынских журналах, другие же вышли в свет впервые. Очерки Ребряну явно перекликаются с его лирической, глубоко поэтической прозой. В этом характерная черта его публицистики, то, что придает ей особую прелесть, делает ее страницы запоминающимися. Ребряну не просто рассказывает о каком-либо путешествии, не просто описывает впервые им увиденный город или страну — он создает подлинные поэмы в прозе, живые картины жизни, динамичные и глубоко взволнованные. В этом он, несомненно, ученик и продолжатель известного румынского очеркиста Джео Богзы. Настоящими поэмами в прозе звучат такие лирические миниатюры, как «Снега», «Грустный октябрь», «Признаки хорошей погоды», «Осеннее письмо». В тематическом и жанровом плане книга Василе Ребряну весьма разнообразна. Тут и эссе — раздумья о судьбах родины, о родной земле, о становлении румынской культуры, о народном творчестве («Предки», «Вновь вспоминая», «О родине», «История»); тут и цикл исторических эскизов о крупных событиях из жизни и революционного прошлого румынского народа («Ровине», «Бобылна», «Тудов», «Бэлческу» и др.); тут и ряд весьма интересных статей с подчеркнуто личным, своеобразным комментарием, посвященных таким крупнейшим румынским писателям, как Михаил Садовяну, Ливиу Ребряну, анализу отдельных их произведений; тут и полемические статьи о судьбах современного романа, о путях современного изобразительного искусства. Наряду с этим в сборнике — ряд путевых очерков, зарисовок, среди которых особо выделяются страницы, посвященные поездке по Советскому Союзу. Волнующие строки посвятил Василе Ребряну «гению Революции» Владимиру Ильичу Ленину, «который как никто другой сумел соединить теорию с практикой». «Сегодня,— заключает румынский писатель, — повсюду, в разных странах и на разных материках растут ряды наследников ленинских идей...»

Интересны воспоминания автора о днях, проведенных на Волге и в городе Максима Горького. Василе Ребряну был среди зарубежных гостей, приглашенных на празднование 100-летия со дня рождения Горького. Ему запомнился навсегда город, где родился и провел свое детство русский писатель. «Путешествие по Волге, — пишет Василе Ребряну, — дало нам прекрасную возможность войти в мир русского писателя, понять этот мир; этому способствовали сама река, спокойная, величавая, чайки, какие-то неземные, взметающие с криком куда-то вверх, к свету, те же пароходы и баржи, степь, распростертая с одной и с другой стороны, — все это как будто воссоздавало естественную атмосферу, присущую книгам Горького, и давало нам возможность лучше понять суть его личности...»

Глубокое впечатление произвело на румынского писателя посещение Ясной Поляны, в особенности могилы Льва Толстого, и могилы Сергея Есенина на Ваганьковском кладбище.

Подчеркивая интерес и значение новой книги Василе Ребряну, газета «Скынтейя» пишет: «Это литературная мозаика, в центре которой находится образ «Большого принца» французской литературы, образ Антуана де Сент-Экзюпери, рыцаря, боровшегося за утверждение идеала и человечности... Книга представляет интерес как выражение определений авторской позиции, как синтез писательского мировоззрения... Автор выступает в защиту «живой» точки зрения на действительность, в защиту той прозы, которая не ищет «выдуманных конфликтов», той прозы, которая в одинаковой мере сторонится и вычурного, неестественного, и так называемого реалистического копирования, по существу бездарного и серого».

СИРИЯ

ВАЖНОЕ НАЧИНАНИЕ ЖУРНАЛА «АЛЬ-МАРИФА»

В Дамаске вышел специальный расширенный номер журнала «Аль-Марифа», посвященный современному арабскому театру.

В редакционной статье, предпосланной номеру, говорится: «Редакция журнала составила годичный план издания специальных номеров с тем, чтобы этот план охватывал духовную деятельность арабов в различных ее проявлениях... Этот номер, посвященный театру, представляет собой попытку рассмотреть театральную жизнь в арабских странах, не оставляя при этом без внимания театральную жизнь всего мира».

В номере использованы материалы проходившего прошлой весной в Дамаске IV Фестиваля арабского театрального искусства и состоявшейся в рамках этого фестиваля конференции, в которой приняли участие видные театральные деятели арабских стран — режиссеры, драматурги и артисты.

На 424 страницах специального выпуска журнала широко освещается театральная жизнь арабских стран — Сирии, Египта, Ирака, Марокко, Ливана.

Следующие три специальных номера «Аль-Марифа», как сообщается в редакционной статье, будут посвящены литературной критике, проблеме арабского единства и киноискусству в арабских странах. Редакция журнала приглашает читателей принять участие в дискуссиях на его страницах.

«ПСИХОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА»

Издательство «Дар альмаариф» в Каире выпустило книгу известного переводчика русской классиче-

ской литературы на арабский язык, бывшего посла Сирии в Египте доктора Сами ад-Даруби под названием «Психология и литература».

Исследование ад-Даруби широко иллюстрировано примерами из русской и мировой литературы.

США

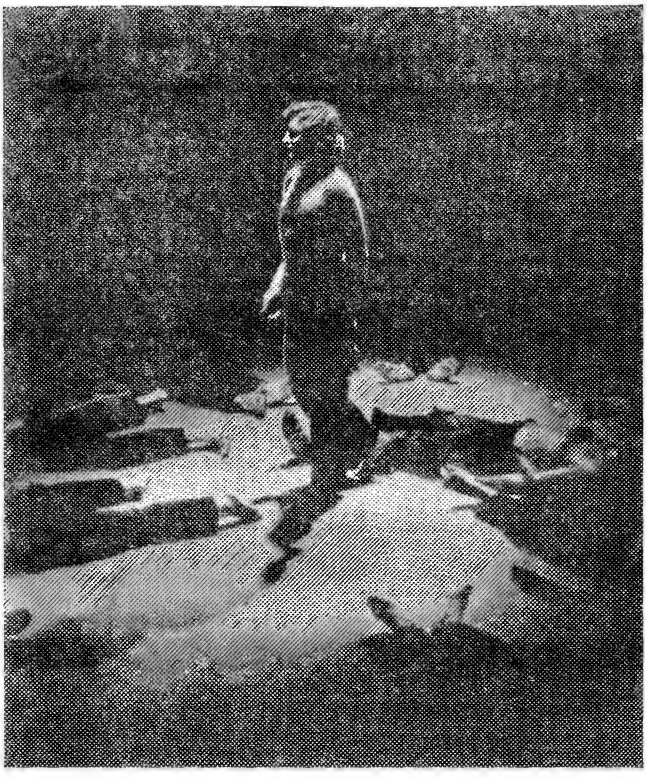
НОВЫЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС

«Бук уорлд» публикует рецензию на новый сборник рассказов Джойс Кэрол Оутс «Свадьбы и измены».

Рецензент возражает против критических штампов в применении к этой писательнице: «Она не в большей степени повергает в трепет, чем сегодняшние заголовки газет, не в большей степени изображает насилие, чем ежедневные телепередачи. Но центр ее внимания, но ее творческий импульс — стремление отнять у насилия характер учреждения, проникнуть глубоко, проникнуть в души, уже наркотизированные средствами массовой информации. Если в ее книгах и можно обнаружить «журнализм», то лишь в необыкновенной актуальности происходящего и в тех деталях, которые, в сочетании с ее беллетристической виртуозностью, живо представляют читателям самые ужасающие аспекты сегодняшней американской жизни. Да, она повторяется, но лишь так, как повторяются все художники, верные своим темам».

Оутс — автор четырнадцати книг. Новый сборник, включающий 24 рассказа, «демонстрирует, по мнению рецензента, ее блистательные качества как писательницы, он необыкновенно разнообразен по стилю. В некоторых рассказах ощущается влияние Флэннери О'Коннор. Писательница проникает в подоплеку тех убийств, которые газета назвала бы немотивированными. Ей свойственно также глубокое сочувствие своим персонажам.

Критик полагает, что в этих рассказах Оутс изображены черты сегодняшней американской молодежи, в особенности людей одиноких, выбитых из колеи, людей, пребывающих «между кошмаром и химически чистым существованием».



Сцена из спектакля Театра университета штата Миннесота «365 дней», поставленного по одноименной книге Рональда Дж. Глассера. Пьеса, как и книга, рассказывает о трагической судьбе американской молодежи во Вьетнаме.

(Журнал «Сатердей ревью»)

«КАК Я ВЫЖИЛ»

Ежемесячник «Эсквайр» под таким названием публикует заметки из дневника Теннесси Уильямса.

Драматург рассказывает очень подробно о начале своего творческого пути, о том, как много и часто он в те годы голодал. «Я убежден, что... общество, где существовала такая богатая элита, такое общество, где некоторые считают миллионы долларов, как мы считаем центы, могло и должно было бы больше заботиться о судьбе своих молодых художников — тех, кто в дальнейшем, если бы у них был шанс созреть, мог бы оказать влияние на очень изменчивую культуру нации, которая, как и прежде, управляется небольшой бандой, что устроилась на острой вершине и боится соскользнуть вниз».

Уильямс рассказывает, что первую свою пьесу «Кайр! Шанхай! Бомбей!» он написал в 1934 г. в доме бабушки и дедушки в Мемфисе и ее тогда с успехом поставил маленький театр. Однако еще пять лет автор нанимался на разные ранчо для заработка.

Он послал в «Груп тиэтр» пьесу «Американские блюзы» и получил приветственную телеграмму за подписями таких известных людей: Гарольда Клермана и Ирвина Шоу. «Поддержка мне тогда была важнее хлеба». То лето «было самым счастливым летом в моей жизни».

Однако только с 1946 года Теннеси Уильямс приобретает общеамериканскую, а потом и всемирную известность.

Уильямс надеется, что его заметки не покажутся грустными. «Я не мизантроп... я скорее клоун, я настоящий комедиант в своем общественном поведении. Мой юмор подчас может быть черным, но все-таки это юмор...

Зачем я это пишу и печатаю? Потому что испытываю «необходимость убедить мир в том, что я все-таки существую, и сделать это фактом общественного интереса и развлечения».

ТУРЦИЯ

ПРЕМИИ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕСТВА

Основанное первым президентом Турции Мустафой Кемалем Ататюрком Турецкое языковое общество, согласно уставу, ежегодно присуждает премии за лучший роман, книгу стихов, книгу рассказов, книгу переводов, пьесу, критическую и научную работу, но в 1971 году впервые премии не были распределены без объяснения причин. Однако по неофициальным сведениям, просочившимся в печать, причиной послужило недовольство новых военных властей результатами голосования жюри, в частности, присуждением премии за лучший роман писателю Факиру Байкурту, брошенному в тюрьму.

За 1972 год были присуждены лишь четыре премии из семи — известному поэту Метину Эльоглу, новеллисту Аднану Ялчинеру, драматургу Халдуну Танеру, переводчику Бертану Анарану. Снова не получили премии романисты и критики.

Выступивший с речью от имени лауреатов Аднан Ялчинер сказал на вручении премий: «Я предстал здесь перед вами, одолев множество препятствий и барьеров: использовав свое личное усердие, предоставившиеся мне возможности и счастливое стечение обстоятельств. Но сколько людей из народа, сколько блестящих умов и талантов, не отточенных образованием, не имеет возможности предстать перед вами. Вот почему турецкий писатель, каждый турецкий интеллигент обязан быть реалистом, обязан отражать реальность в своих творениях, не отклоняясь от нее ни на волос. Он должен возвращать народу то, что взял у него, использовать в интересах народа свои знания, свои способности, просвещать и образовывать его, не это ли одна из задач всякой революции?!. Я знаю, есть круги, которые пытаются прямо и открыто препятствовать каждой революционной народной акции; есть и такие, что с помощью искусной хитрости пытаются отвлечь турецкого интеллигента, писателя от его главной цели... Вот почему именно в этот день я хочу, чтобы рядом с нами встали и те наши товарищи по перу, которые заслужили право на премии Общества, основанного Ататюрком, но не получили ее. Политические кризисы и обстоятельства приходят и уходят, а искусство остается. В особенности искусство революционное — оно собственность народа, которой его не удастся лишить».

ФРАНЦИЯ

«НОЧЬ ПОД ОККУПАЦИЕЙ»

Французская печать отмечает успех новой книги Жана Лаффита — известного писателя-коммуниста, активного участника движения Сопротивления и борца за мир — «Ночь под оккупацией», в которой писатель снова обратился к постоянной для его творчества теме — борьбе с гитлеровскими захватчиками в годы второй мировой войны.

По данным анкеты, проведенной в истекшем году газетой «Леттр франсэз» среди ряда издательств, эта книга пользуется у французских читателей большим спросом.

Одной из самых увлекательных и волнующих книг, посвященных Сопротивлению, называет рецензент еженедельника «Франс нувель» историческую повесть Жана Лаффита.

В книге рассказывается о том, как однажды ночью 1942 года французские коммунисты помогли бежать Марселю Кашену и его жене из бретонской деревушки, куда они были сосланы после того, как в результате протестов и настоятельных требований широкой общественности семидесятитрехлетний М. Кашен был освобожден из-под ареста. Тщательно подготовленный и организованный по заданию руководства ФКП побег удался, несмотря на неусыпный полицейский надзор, несмотря на все трудности и риск.

Личный опыт борца-антифашиста, глубокое проникновение в материал, встречи с единственным оставшимся в живых участником этой дерзкой операции и талант художника помогли Жану Лаффиту воссоздать еще одну героическую страницу из истории французского Сопротивления и рассказать о его участниках — скромных, благородных, самоотверженных и мужественных людях.

К СТОЛЕТИЮ ШАРЛЯ ПЕГИ

В январе 1973 г. исполнилось сто лет со дня рождения Шарля Пеги, видного французского поэта и публициста. Его журнал «Двухнедельные тетради» объединил в начале века ряд прогрессивных литераторов, одушевленных идеями социального обновления. Там был впервые опубликован «Жан-Кристоф» Ромена Роллана. В 1914 г. Пеги пошел добровольцем на фронт и погиб в бою в самом начале войны.

Литературное наследие Пеги, в котором искренний демократизм и антибуржуазное бунтарство противоречиво сочетаются с националистически - почвенническими и религиозными настроениями, давало и дает много поводов для споров. Перед юбилеем Пеги во Франции заметно оживился интерес к нему.

В избранных сочинениях Ромена Роллана, публикуемых «Кружком библиофилов» совместно с издательством Альбен Мишель, вышел его посмертный труд — двухтомная биография Шарля Пеги. В «Леттр франсэз» появились статьи двух комментаторов этого издания. А. Гильмен прослеживает историю взаимоотношений Роллана и Пеги: они на протяжении ряда лет были соратниками, пусть многое и разделяло их. Ю. Жюэн доказывает, что биография Пеги была для старого Роллана актом борьбы против фашизма: этот труд был продиктован стремлением не допустить, чтобы реакция «аннексировала» наследие Пеги.

С неожиданной стороны освещено творчество Пеги в работе Даниэль Бонно-Ламотт, напечатанной в марксистском журнале «Пансэ»— «Пеги — поэт и свидетель Коммуны». Автор, обращаясь к малоизвестным материалам, показывает влияние идей Парижской коммуны на духовное формирование издателя «Двухнедельных тетрадей». Это влияние сказалось на лучших страницах, написанных Пеги, особенно в ранний период его деятельности. По словам исследовательницы, «эпопея 1871 г. навсегда вписалась в его сердце, в его память и поэтическое воображение».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ФИЛЬМ О МЮНХЕНСКОМ ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ

Известный чешский кинорежиссер, народный художник ЧССР Отакар Вавра снимает по сценарию Мирослава Фаберы художественный фильм «Дни предательства», рассказывающий о мюнхенском сговоре, имевшем трагические последствия для Чехословакии. Фильм основан на документальном материале, и в нем действуют реальные исторические личности. Роль Клемента Готвальда, который был в то время председателем Коммунистической партии Чехословакии, играет артист Реалистического театра имени Зденека Неедлы Богуш Пасторек. Это, как пишет газета «Руде право», первая попытка отразить на экране деятельность Клемента Готвальда именно в этот сложный период.

Сотрудники съемочной группы отмечают значительное внешнее сходство Б. Пасторека с Клементом Готвальдом.

«Свою роль в фильме «Дни предательства», — пишет сам Богуш Пасторек в газете «Руде право»,— я считаю исключительно важной в моей актерской работе. Я хочу использовать весь мой опыт для того, чтобы создать образ Клемента Готвальда таким, каким он запечатлелся в сознании наших людей».

Кадр из фильма «Дни предательства». В роли Клемента Готвальда Богуш Пасторек.

(Газета «Руде право»)

ШВЕЦИЯ

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ БЕРТИЛЯ КАРЛССОНА

В литературную жизнь Швеции вошел новый, талантливый пролетарский писатель. Его имя Бертиль Карлссон. За недавно вышедший автобиографический роман «Сын плавильщика» (издательство Гидлюнда, Стокгольм) он получил первую премию в литературном конкурсе, устроенном двумя шведскими издательствами. Прогрессивная шведская критика единодушно отмечает большие достоинства этого произведения, являющегося первой частью задуманной трилогии.

В «Сыне плавильщика» Бертиль Карлссон описывает свои детские и юношеские годы, проведенные в небольшом рабочем поселке на побережье северной Швеции. Действие романа разыгрывается на фоне социальных конфликтов и мрачных международных событий 30-х и 40-х годов (безработица, рост фашизма, война).

Центральное место в повествовании занимают родите-

ли мальчика Бертиля. Его мать, бывшая батрачка, находит свое «счастье» в домашних заботах, в спокойном уюте семейного очага. Отец — рабочий-плавильщик. Он не жалуется на свою судьбу. Многие живут хуже его. Но интуитивно он чувствует, что коммунисты правы, что он живет в несправедливом обществе, где производство подчиняется алчным интересам горстки крупных капиталистов.

Несмотря на этот довольно мрачный фон, книга Бертиля Карлссона не является пессимистической. Ее скорее можно назвать светлой, оптимистической. Детство мальчика отнюдь не лишено радостей. Он видит и понимает многое, растет физически и духовно. В конце книги Бертиль уже взрослый человек. Он стал коммунистом и работает преподавателем.

Можно всецело согласиться с мнением известного шведского писателя Пера Улова Энквиста, который в своей рецензии для газеты «Экспрессен» пишет: «За последние несколько лет ни один молодой писатель не дебютировал более ярким произведением».

ЮАР

КОНЧИНА ЭЛФРЕДА ХАТЧИНСОНА

В Нигерии в возрасте сорока восьми лет скончался известный южноафриканский писатель Элфред Хатчинсон. Хатчинсон жил в Нигерии в качестве политэмигранта и работал в федеральном министерстве просвещения.

Элфред Хатчинсон родился в 1924 году в провинции Трансвааль, закончил кейптаунский колледж «Форт Хейр» и учительствовал в Южной Африке. В пятидесятые годы он принимал активное участие в кампании бойкота расистских законов и был приговорен к тюремному заключению. Власти лишили его права преподавать в школах.

В 1956 году Хатчинсона вновь арестовывают. Он был одним из обвиняемых на печально известном процессе о государственной измене, продолжавшемся четыре года. Когда после расстрела мирной демонстрации в Шарпевиле в 1960 году в Южной Африке было объявлено чрезвычайное положение, Хатчинсону пришлось эмигрировать.

Известность на родине и за ее пределами принесли Хатчинсону его литературные произведения. Его рассказы печатались в таких южноафриканских изданиях, как «Файтинг ток» и «Нью эйдж», запрещенных правительством в 1962 году. Его наиболее известная книга «Путь в Гану» издана во многих странах мира, в том числе и в Советском Союзе («Издательство восточной литературы», Москва, 1961 год).

«Смерть Элфреда Хатчинсона явилась невосполнимой утратой для нашей литературы, — заявил видный южноафриканский прозаик, лауреат премии «Лотос» Алекс Ла Гума. — Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его друзей».

ЮГОСЛАВИЯ

«ВОЙНА И МИР» НА МАКЕДОНСКОМ

Впервые в переводе на македонский язык вышел роман Льва Толстого «Война и мир». Издание осуществило издательство «Мисла» в Скопле. Как известно, в Югославии давно читают этот роман на сербо-хорватском и словенском языках. Теперь он вышел на третьем из югославских языков — македонском в переводе известного писателя Симона Дракулы, переведшего уже не одно произведение русских и советских писателей.

Затратив титанический труд, переводчик сделал роман-эпопею великого писателя достоянием еще одного народа.

ЯПОНИЯ

Артисты японского театра «Красный Будда» с успехом выступили на гастролях во Франции. Они показали спектакль «Человек с Востока», в котором слились воедино музыка, танец, мимическое и драматическое искусство. Сначала японская труппа приняла участие в Авиньонском фестивале, а затем ее спектакль увидели парижане.

На снимке — сцена из спектакля «Человек с Востока».

(Газета «Юманите»)

Авторы этого номера

ДОНЧО ЦОНЧЕВ (род. в 1933 г.).

Болгарский писатель. Окончил геохимический факультет Софийского университета. Был учителем, каменщиком, затем в течение семи лет геологом. Его первая повесть «Мужчины без галстуков» («Мъже без вратовръзки») вышла в 1966 году. Затем писатель выпустил сборники рассказов «В воскресенье после обеда» («Неделя след обяд», 1967), «То, что вокруг» («Това наоколо», 1969), повесть «Красные слоны» («Червени слонове», 1970), «Роман на колесах» («Роман на колелета», 1970) и др. На литературных конкурсах Дончо Цончев неоднократно отмечался премиями. В 1972 г. он был награжден премией Союза болгарских писателей за сборник рассказов «Опасные типы» («Опасни типове»), откуда взяты публикуемые рассказы.

■

ДИКО ФУЧЕДЖИЕВ (род. в 1928 г.).

Болгарский писатель, заслуженный деятель культуры. Окончил юридический факультет Софийского университета. Работал на лесопильне, на медном руднике, затем был журналистом и редактором сценарной студии. Первая повесть Д. Фучеджиева «Волчьи сны» («Вълчи сънища») появилась в 1961 г. Затем вышли сборники рассказов «Весенние соки», «Гневное путешествие», знакомые советскому читателю по русским переводам.

«Иностранная литература» напечатала повесть Д. Фучеджиева «Небо над Велекой» (№ 6, 1965).

Вниманию читателей мы предлагаем рассказы из его новой книги «Воздушные мосты» («Въздушните мостове»), в 1972 г. получившей премию Союза болгарских писателей.

■

ЗБИГНЕВ ХЕРБЕРТ — ZBIGNIEW HERBERT (род. в 1924 г.).

Польский поэт. Окончил юридический факультет в Торуне, учился на философском факультете в Варшавском университете. В 1948 г. дебютировал как поэт на страницах литературных журналов. Был отмечен многими премиями на поэтических конкурсах и фестивалях. Его первая книга стихов «Струна света» («Struna światła») вышла в 1956 г. Затем вышли сборники «Гермес, пес и звезда» («Hermes, pies i gwiazda», 1957), «Исследование предмета» («Studium przedmiotu», 1961), ««Надпись» («Napis», 1969), книга очерков об Италии и Франции «Варвар в саду» («Barbarzyńca w ogrodzie», 1964), «Драмы» («Dramaty», 1971). О его творчестве см. предисловие В. Британишского на 38 стр. этого номера.

Цикл стихов, напечатанный в этом номере, взят из собрания стихотворений З. Херберта («Wiersze zebrane», 1971).

■

ХИРОСИ СЭКИНЭ (род. в 1920 г.).

Японский поэт, публицист. Автор сборников стихов «Усталые заводы Ямата» (1958), «Поджечь храм Тодайдзи» (1961), «Собрание стихов Хироси Сэкинэ» (1968), «Наш Синдзюку» (1969), многих статей об искусстве и литературе, публицистических работ. (Подробнее о нем — во вступительной статье А. Долина на 84 стр. этого номера.)

Публикуемые стихотворения взяты из вышедшей в Японии «Антологии лучших произведений современной японской поэзии» (Большая серия, том 11, 1966).

■

РУМИКО КОРА (род. в 1932 г.).

Японская поэтесса. Автор сборников стихов «Школьник и птица» (1958), «Пространство» (1962), «На невидимой земле» (1970), сборника статей и эссе о западной и японской поэзии «Слова вещей» (1968). Румико Кора присуждена высшая литературная награда для поэтов в Японии — премия Н. (аш). Б 1970 г. в составе японской делегации она участвовала в Международном конгрессе писателей Азии и Африки в Дели. (Подробнее о ней — во вступительной статье А. Долина на 84 стр. этого номера.)

Публикуемые стихи были напечатаны в «Собрании стихов Румико Кора» («Библиотечка современной японской поэзии», том 43, 1971).

ЛАСЛО КАРДОШ — KARDOS LASZLO (род. в 1898 г.).

Венгерский критик, литературовед, переводчик, лауреат Государственной премии имени Кошута, действительный член Венгерской Академии наук, главный редактор журнала «Надьвилаг», Перу Л. Кардоша принадлежит ряд работ в области литературоведения. Наиболее известны сборники статей «Произведения и мастера» («Müvek és mesterek», 1958), «Очерки, эссе, критика» («Vázlatok, essezék. kritikák», 1959), сборник статей «Близкое и далекое» («Közel is távol», 1966). Им переведены на венгерский язык произведения Софокла, Бодлера, Шекспира, Гюго, Пушкина, Гейне, Рембо, советских поэтов — Твардовского, Тихонова и др.

Статья «Мировая литература: понятие и проблемы» получена в рукописи.

В разделе «Публицистика» мы печатаем отрывки из пользующейся в Англии популярностью книги «Англии — с любовью» («To England with Love»). Ее авторы:

ДЭВИД ФРОСТ — DAVID FROST (род. в 1939 г.).

Английский журналист, снискавший известность своими сатирическими телевизионными программами, в которых выступал как автор, режиссер и комментатор.

ЭНТОНИ ДЖЕЙ — ANTONY JAY (род. в 1930 г.).

Английский журналист, режиссер и редактор телевидения.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Сдано в набор 7/XII 1972 г. А 06042. Подписано к печати 15/I 1973 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,38. Зак. 4004.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394